

6

С. В. МАКСИМОВ



Сергей Васильевич

МАКСИМОВ



Собрание сочинений

ТОМ 6

Сергей Васильевич
МАКСИМОВ

Собрание сочинений
в семи томах

Сергей Васильевич

МАКСИМОВ

Собрание сочинений
в семи томах

Сергей Васильевич

МАКСИМОВ

Собрание сочинений
в семи томах

ТОМ 6

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ

Москва 2010

КНИГОВЕЖ[™]
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
М17



Внешнее оформление художника
А. БАЛАШОВОЙ

Максимов С. В.

М17 Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6: Лесная глушь: Очерки; Примечания. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 608 с.

ISBN 978-5-4224-0034-8 (т. 6)

ISBN 978-5-4224-0028-7

Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) — русский путешественник, писатель, исследователь-этнограф, знаток русского быта.

Глубокое знание быта и нравов народа, правдивость и живость зарисовок обеспечили С. Максиму подобающее ему достойное место в русской литературе.

В 1855 году писатель предпринял путешествие по Владимирской губернии, о котором подробно рассказал в очерках, составивших книгу «Лесная глушь». Эта книга вошла в шестой том собрания сочинений.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-4224-0034-8 (т. 6)
ISBN 978-5-4224-0028-7

© Книжный Клуб Книговек, 2010

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ

ИЗВОЗЧИКИ

(Очерк)

Издавна извоз составляет самый любимый промысел русского человека. Извоз можно даже назвать по преимуществу *русским* промыслом: в какую бы среду ни был поставлен православный переселенец и поселенец, он везде первым долгом поспешит обзавестись лошадью и сделаться извозчиком. Лошадка вывозила на первых порах изо всех бед и напастей всю русскую колонизацию, и колонизаторы наши редко умели осваиваться с местом без помощи извозного промысла. Так спасли себя (и разбогатели теперь) те наши сектанты (напр., молокане и духоборцы), которые выселены были за Кавказ в среду недружественного мусульманского населения. Так между разнообразными выселенцами в Воронежской губ. извозом занимаются только русские. В Сибири, на Барабе, русские извозчики (возчики) успели даже выхолить из туземных пород особую породу обозных лошадей, — и т. д. в бесконечность. Промысел извоза чрезвычайно прост и удобен, особенно для того, кому нет желания жить по чужим людям, далеко от родной семьи, и даже выгоден преимущественно, конечно, там, где много езды между торговыми городами и где торговая деятельность во всей своей силе. Когда не было еще ни железной дороги, ни почтовых и частных дилижансов, класс извозчиков был чрезвычайно многочислен. Теперь же, при быстром улучшении путей сообщения, заметно уменьшился он: опустели огромные ямы, которыми усеян был путь между двумя столицами, много извозчичьих домов, существовавших лет по сто и более, покинули свое ремесло и сделались

хозяевами легковых извозчиков. Но в тех из наших губерний, где еще нет шоссе, или если и есть, то недавно устроенные, извозчий класс сохранился во всей своей простоте, со всеми своими оригинальными особенностями.

В Сибири, напр., по большому торговому тракту от Казани вплоть до Кяхты промысел этот сохраняется до сих пор во всей чистоте и неприкосновенности; особенно же сумел он уберечь патриархальное добродушие и невинные нравы и сохранил первобытными людьми тех, которые занимаются извозом в местах Сибири, где тракт разошелся с почтовым и потянулся по травяной степи — Барабе. Там простодушно-чистых людей, занятых извозом, иначе и не зовут, как *дружками*, а дружки они и потому также, что живут между собою в самой тесной приязни, не подъезжая друг друга, и такою дружною артелью, которую никто не плотил, но которая, однако, ощутительно для всех существует, и до сих пор никакими кабинетными правилами еще не изломана и не испорчена. Правда, что и эти извозчики китайских чаев и московской мануфактуры, с падением кяхтинской торговли и с заведением на сибирских реках пароходов, стали упадать силами и количеством, но качество их все то же. В недавнюю старину, в начале прошлого столетия, из этого почтенного сословия сумел выделиться и такой замечательный человек, как Анфилатов. Записавшись в купцы города Слободского (Вятской губ.), он на долговременном промысле доставки товаров самолично в Сибирь, а потом при помощи приказчиков по многим местам России, умел дойти своим собственным разумением до необходимости основания банка. Банк его, учрежденный в городе Слободском, был первым частным банком в России, сумевшим долгое время поддерживать заграничную торговлю слободских, вятских и орловских купцов чрез Архангельск и выразившим свою плодотворную деятельность, с другой стороны, в процветании ремесел, которые приходят в большее и большее развитие.

В таких глухих местах, где еще не пылят шоссе, не свищут ни локомотивы, ни пароходы, извозчий класс до сих еще пор делится на два совершенно отличные один от другого типа, не говоря уже в общем, но даже и в частности: на *троечников*, едущих постоянно на тройке, редко на паре и решительно никогда на одной лошади, и на *одиночников*, наоборот — едущих всегда на одной, на двух, редко на трех лошадях, но всегда в *разнопряжку*: на одной, двух и трех телегах, смотря по числу домашних лошадей. Одиночник никогда не запрягает тройку в одну телегу и весьма редко пару; со своей стороны троечник считает за стыд ехать на одной. Первый занят ремеслом по нужде, второй или троечник — чисто из любви и привязанности к нему, если только он сам хозяин, а не нанятой работник. Троечник всего чаще возит седоков побогаче: купечество и дворянство, и если доставляет товары, то всего чаще те, которые идут на дворянскую же руку: красные товары, бакалею и т. под. Одиночник из живой клади доставляет крайнюю бедность: семинаристов на родину, солдат на побывку, а из товаров те, которые громоздки, посерей и подешевле: горшки, деревянную посуду, соль (для которой в южных местах России существует, также отживая свой век, особый промысел чумачества, отправляемый вместо лошадей на волах) и так далее. Но скажем о каждом особо и сначала об аристократах.

І. ТРОЕЧНИК

У ворот постоянных дворов, в дальних губернских городах, где-нибудь в Ямской или Московской, до сих пор еще толпятся несколько мужиков, легко одетых, по-домашнему: летом просто в рубашках, подпоясанных красным кушаком, зимою в полушубках, слегка накинутых на плечи. Это извозчики-троечники, поджидающие седоков и от нечего делать прибегнувшие

к различным развлечениям: один, уместившись на облучке собственного или чужого экипажа и обхватив обеими руками увесистый ситник, удовлетворяет и аппетиту, готовому явиться по собственной воле хозяина во всякое время, и искреннему желанию приятно провести время. Другой, выпросив у дворника балалайку, сел на скамейке у самых ворот и потешает не столько соседа, сидящего рядом, сколько себя самого, охотника отколоть ущипкой какую-нибудь новую штуку в давно известной всем песне и на привычном ему инструменте. Двое поодаль, дружно ухнув, подняли громаду-тарантасище на толстой палке и, подставив дугу, начинают смазывать колеса. В другой стороне собрались охотники до видов и любуются проходящею семьею свиньи; другие заняты дракой уличных мальчишек, вполне сочувствуя ловкому удару одного, советуя взять побежденному противника под силки и доказать ему, что знай-де наших.

Но вот подходит какой-то господин. Извозчики разом смекнули, что это седок, и окружили подошедшего.

Объявляется место поездки и неимение собственно-го экипажа.

— Так, стало, у вашей милости нет своей кибитки? — переспросят ребята. — Что ж, ничаво, можем и свою снарядить. — И почешутся.

— Знамо уж свою надыть, коли нетути ихней, — заметит другой и в размышлении продолжает рассуждать: — Вестимо без кибитки плохое дело: дождичек пойдет — мочить будет и все такое ... Так, выходит, и телега наша, все как есть наше, а вашей милости, значит, только сесть да и ехать.

— Все как следует примерно, — увлеченные размышлением соседа, говорят его товарищи.

Наступает глубокое молчание, которое нарушает седок вопросом о цене.

— Кака цена? Шашейные-то вы, что ли, платите? — спрашивает один.

— Разумеется, уж ты все бери на себя, а мне чтоб никаких беспокойств не было.

— Вестимо вам надуть спокойствие ... А вас сколько примерно поедет?

— Двое.

— Стало, клади у вас немного, — не отяготит: чемоданчик, подушки...

— Одеяло, — подскажет один.

— А скоро ты меня повезешь?

— Да уж это как вашей милости будет угодно: лошади у нас хорошие, — мешкать не станем. Как прикажете, так и поедем.

Снова наступает молчание, прерываемое обыкновенно опять вопросом о цене. Немного подумавши и переглянувшись с товарищами, торговавшийся решительно говорит свою цену.

— Да что, барин, без лишнего: двадцать рубликов с вашей милости взять надуть.

Нанимающий страшно озадачен запросом и не соглашается на предложение.

— Эй, барин, не дорого! Пора-то, вишь ты, рабочая; никто меньше не возьмет... будьте уж не в сумлении.

Один новичок берет 18; ему обещают 12.

— Нет, барин, эдак уж совсем несподручно. Что скупиться-то: говорите делом. Вон молодец-то, пожалуй, берет и 18, да вы с ним и жизни-то не рады будете, измучит вашу милость, как есть измучит... двои суток проваландает; ведь у него вся тройка с сапом и хромает; а мы бы вашу милость и в одне сутки приставили.

— Хочешь 13 и ни гроша больше.

— Нет, барин, видно тебе ехать не надо, коли так упираешься! — заключают как бы обиженные извозчики и отойдут несколько в сторону от вышедшего из терпения седока.

— Ну, слышь, сударь — ладно!.. Будем толковать настоящее дело, — говорит опять рядчик вслед уходящему седоку. — 19 берем, коли хошь, а то как знаешь...

Седок, однакож, упорен в своей цене.

— Эй, право, какой ты барин несговорчивый, ну... 18 с полтиной.

— 13, и ни копейки! — говорит уже выведенный за границу терпения нанимающий и вполне убежденный в том, что, набавивши рубль, придется прибавить и другой и до конца сделки выдержать роль набавлятеля. Тогда, в свою очередь, с тем же упорством не будут поддаваться извозчики и заставят-таки дать требуемую ими цену. И потому, обсудив, что барин-де кремень, как есть значит кремень, его не сломаешь, — сразу видать, что не впервые едет, благо хоть дает-то не 10 рублей, несходную цену, извозчики непременно вернут седока.

— Слышь, почтенный... ну, вот уж и осерчал. Ведь мы не сердились же; слушали и твою цену: запрос — не обидное дело. Какое ваше последнее слово, да и по рукам.

— Сказано вам — 13.

— Ну, ладно, ладно... берем, хоша и не повадно маленько да уж, видно, барин-то хороший. На чаек-то уж пожалуйста, ваше благородье! — заговорит сторговавшийся вкрадчиво-льстивым голосом, снявши свою шапку; его примеру следуют и товарищи, низко кланяясь победителю.

И будь седок хоть и в самом деле кремень, но на водку даст-таки, хоть даже и из чувства самодовольства, не говоря уже — от радости.

По уходе пассажира начинается обоюдная сделка: если сторговался хозяин постоянного двора, то он посылает очередного своего работника, или, если выгодно ему передать за меньшую цену другим, он начинает с ними торговаться. По большей же части дело кончается проще — метанием жребия: извозчики или вытаскивают из мозолистой руки собрата узелочек пояса, или перебирают рукою на тут же валявшейся палке, или же, наконец, вынимают условную вещь из шапки: будет ли

это с известной отметкой щепочка, камешек, ломанный грош с оттиском зуба, и т. под.

Большую частью, при всех подобного рода сделках, извозчики, с общего согласия, выбирают *рядчика*, — человека привычного, опытного в этом деле и, конечно, честного. Избранный облачается полною доверенностью остальных, вполне убежденных в том, что он несходно не сторгуется и никогда не допустит выскочку-новичка, не участвующего в сотовариществе, *отбить седока*. Новичок поедет с седоком разве в таком только случае, когда возьмет чрезвычайно дешевую цену, которую никогда бы не взял опытный извозчик и которой ему самому хватит только на прокорм себя и лошадей, — а о барыше, при всей бережливости, нет и помину. Поэтому троечники составляют из себя род некоторого общества, основанного на общем интересе — возить седоков не дешевле заранее положенной, по общему уговору, платы.

Сторговавшийся троечник обыкновенно везет седока *до места с кормежкой* и тогда, конечно, в полном распоряжении своего пассажира, от которого вполне зависит и срок времени, которое придется быть на станции, и, наконец, самая езда. Троечник, подрядившийся до места, беспрекословен и понуканьям и требованиям остановиться. Но по большей части все троечники возят на *сдаточных* и в таком случае всегда целую компанию пассажиров. Нанявши троечника, дают ему полное право приискать *попутчиков*, не претендуя уже на то, если придется выехать позднее обыкновенного срока и в компании человек шести и более, потому что извозчик, везущий на *сдаточных*, мало обращает внимания на то: тяжело ли будет его тройке, зная, что на следующей станции его сменит новый ямщик на *свежих* лошадях. Собравши своих седоков, извозчик дает им клочок бумажки, где расчислены деньги, следующие к выдаче на каждой станции, и предлагает кому-нибудь из пассажиров быть чем-то вроде кассира, или, по их

выражению, *плательщиком*, и вручает ему деньги, сторгованные за проезд, с вычетом барыша и денег за первую станцию. Барыш, конечно, и остается в пользу рядчика или того, кто первый повезет седоков. В огромном, крытом со всех сторон тарантасе, получившем, в последнее время, на языке извозчиков громкое название — *дорожного вагона*, отправляется поезд. Каждый пассажир здесь уже в полной власти извозчика, — он не может претендовать ни на тихую езду, ни на неловкость сиденья и при первой попытке высказать свое неудовольствие озадачивается резонным ответом:

— Уж мы не впервые ездим, — знаем все заподлинно и нас не учить стать: видали, примерно, всяких. Ведь вон сидят же другие господа, — ничего не говорят... а коли неловко, — сядь половчее; сказано, всяк о себе старается, а ведь и те такие же деньги платили...

Последнее замечание не всегда бывает справедливо: весьма часто седок, к полной своей досаде, узнает от соседа, что передал лишних два рубля, тогда как очень часто другой сосед заплатил вдвое дешевле обоих, потому что уж не впервые в дороге и знает обыкновения извозчиков. И успокоиваемые собственными промахами, седоки дают зарок не давать другой раз лишку и не беспокоить уже извозчика понуканьями, вперед уверенные в том, что легче взять с него этот лишек, чем заставить изменить привычке — ехать по собственному усмотрению, а не по желанию и прихоти пассажиров. Во всяком случае, извозчики помнят обещание и верны в данном слове — предоставить на место в условленный срок, и разве часами двумя позднее (но не более) седоки увидят цель своего путешествия.

Место родины хозяина-троечника — какое-нибудь торговое село, где отец его содержит постоянный двор, а следовательно, и занимается извозом. Еще с малолетства отец приучает ребенка к будущему его ремеслу. Поедет ли в поле *треножить* лошадей или просто привести их на двор для впряганья, он сажает своего парнишку на

лошадь впереди себя и дает ему в руки поводья; нужно ли съездить в соседнюю деревню за овсом или сеном, он смело вверяет это поручение своему восьмилетнему сыну. Ребенок до того привык к лошади, что ему нипочем проскакать галопом по целому селу на речку, чтобы там напоить или выкупать лошадей; даже в детские игры ввел он езду на тройке сверстников, делая замечания коренной бежать рысью и как можно больше поднимать ногами пыль, а пристяжным бежать вскок и держать голову как только возможно больше набок, — а сам, развалясь в санках или тележке, вполне наслаждается плодами своей опытности.

Мальчику исполняется 12, 13 лет — возраст, когда отец считает его способным управлять тройкой и достойным того, чтоб доверить ему седока.

— Ты, смотри, вызволи меня, постреленок! — говорит последний, боясь ввериться неопытности мальчика.

— Да, небось, барин, не вывалим, нешто не знаю: вот Сивко маненько рысист, так мы его посдержим, а уж коренной Воронко хоть и с норовом, да меня теперь не надует, — отвечает новый извозчик, судорожно сжимая кучу вожжей, в первый раз в жизни, к несказанной его радости, очутившихся в его руках. Отец, низко кланяясь, спрашивает вашу милость не сомневаться, и дает приличные наставления сыну.

— Смотри ты у меня, лошадей не задергивай, под гору — спущай, на гору во все лопатки; уважь их милость! А то коли что неладно, смотри ты у меня, сыч, дам такую таску, что до новых волосьев не захочешь. Телегу-то помазать попроси там кого-нибудь. Без подмазки — не езд: оси горят. Да слышь — не забудь! там долго-то не балуй, не вертись — покормишь, да и с Богом назад. Эй, легонько, дурак, пристяжных не задергивай!.. коренника-то осадил... под гору легонько. Эй, не хлещи! Говорят те: не хлещи! — кричит отец вслед отъезжающей кибитке.

Но первое доверие оправдалось: телега цела и, как видно, смазана, лошади не в мыле, да и мальчишка прибыл своевременно.

— Поди, — говорит обрадованный и довольный отец, — поди в избу, там тебе матка пряженцов напекла, да уж оставь, оставь шлею-то... без тебя сделаю. На вот: возьми вожжи, снеси в избу, а уж здесь и без тебя сделают.

Обучение кончилось. Мальчишка с этих пор уже частенько получает подобного рода поручения, теперь уже ловко подбирает правую полу и засучивает ее за новый красный кушак, подаренный отцом за способности. Крепко наметавшийся в своем деле и сделавшись к нему привычным, теперь, пожалуй, он и посмеется не-доверчивости седока, лаконически ответив:

— Нешто впервые? Не с эдакими-де езжали.

Отец только посмеивается бахвальству парнишки и ни за что не согласится отказать сыну в удовольствии и только скажет, когда уже все готово: «Ну, с Богом! Благослови Господи! Прощай, барин, счастливого пути!»

Лет через пять или шесть отец совершенно перестает ездить, предоставивши это дело сыну. Сам только и делает, что рассчитывает извозчиков за обед и сено, да изредка чинит порвавшуюся сбрую.

Но вот приблизилась пора заменить и старуху. «Пора женить парня», — думает отец, рассчитывая взять молодницу у такого соседа, который также занимается извозом. Когда дело слаживается, все хозяйство передается на руки молодых. Теперь у отца только и дела что копошиться в углу.

— Пускай-де теперь молодые сами поломаются, а наше дело со старухой киселя поесть да лежать на печи, аль на полатях. Теперь, благодаря Бога, все сделали, что могли, не много надо: саван сошьет сын, так и тем будем довольны, — рассуждают старики, радуясь на новых хозяев.

Молодой начал с того, что перекрыл двор новой соломой, давно уже лежавшей в запасе, приделал новые

березовые колоды кругом двора. Самый двор усыпал свежей соломой, переклал печи и украсил горницу, назначенную для почетных проезжающих, картинами, купленными им у проезжего офени-владимирца. Извозчики, по старой привычке, все еще въезжали к нему и — не раскаивались: молодая хозяйка кормила их славной лапшой и кашей, которые как-то и покрутее сделались, чем у старой, да и наливает-то она как-то побольше и пощедрее. Завела она пироги, чего у стариков не было, — одним словом, ведет и она свое дело не хуже, коли еще не лучше мужа. И вот вследствие таких-то обстоятельств, а еще главнее вследствие того, что новый хозяин охотно дает и обед и корм лошадям в кредит, — обстоятельство весьма важное для извозчика, особенно если он подрядился до места не брать с седока денег, — мало посещаемый прежде постоянный двор по целой дороге сделался известным за самый лучший и выгодный.

Всякий извозчик и своему брату, и барскому кучеру, впервые едущему с господами на своих, посоветует остановиться у свояка. И вот, глядишь, у нового хозяина и изба выстроилась новая, и вместо одной горницы для господ приезжающих у него явились две и обе вдвое просторнее прежней. И зажил он себе припеваючи: в доме у него *тепльнъ*, а в хозяйстве тишь да крышь да благодать Божья, нет ни в чем недостачи. Зачем бы, кажется, ему подвергать себя и зимней вьюге, в которой ничего нет хорошего — сечет она ему немилосердно лицо, и летнему зною, который безжалостно производит загар на его лице и мускулистой широкой шее? Но страсть, привычка вечно быть на козлах не дает ему покоя и влечет на новые предприятия. «Так отец мой делал, — думает он, — не след и мне покидать ремесла; мастерства я никакого не знаю, а плотники питерские не лучше меня живут: знать, уж и умереть доведется извозчиком, да и парнишке передать мою волю — не покидать извоза. Только немного неповадно ездить

одному, без товарищей, и лошадям тяжело, да и сам ину пору по неделе не бываешь дома, ладно, кабы взяли на пай возить на сдаточных: оно все бы лучше было, а то все у ворот стоять как-то неладно стало».

И вот однажды за чашкой чаю в городском трактире сам извозчий хозяин предложил честному мужичку идти в долю и возить на сдаточных — обстоятельство весьма важное в жизни извозчика! Если парнишка еще малолеток и нет в доле брата, извозчик нанимает батрака и на лишние деньги покупает новую тройку: теперь ему гону много будет, успевай только пошевеливаться. И будь он немного изворотлив и бережлив, дела пойдут ходко: явятся новые планы, при деньгах весьма легко исполнимые, только умей заслужить доверие собратьев. При удаче он делается необыкновенно смел и предприимчив.

Раз как-то стороной он услышал, что в городе передается постоялый двор и старый хозяин ищет покупателя, который вел бы его хозяйство и был ему известен; у смельчака мгновенно родится в голове новое предприятие — купить этот двор, покинуть родную деревню и выписаться в мещане: предприимчивость влечет его туда неудержимо. Никому не сказавши о своем намерении, он поехал в город, сторговался со свояком, отдал половину денег; остальную же ему, как мужику честному, поверили и, возвратясь в деревню, объявил он жене неожиданную весть.

— Где уж нам в городе жить: жили в деревне — хорошо было, а там Бог весть, что будет — может, и помрем.

— Полно, баба! Помереть помрешь и здесь. А и в городе люди не лыком шиты. Что тебе деревня-то, а там и человек другой... Да что тут с тобой растабарывать? Сказано — волос длинен, да ум короток; нечего мешкать: дело сделано — собирайся!

Нагрузив несколько возов, он отправил их в город, потом сам перевез семейство. На первых порах в нем

будто проснулась как бы на время затаившаяся страсть к извозничанью: он года два еще ездит с охотой, и все так же, как и прежде, т. е. на сдаточных. Но скоро сделалась в нем непонятная перемена: извоз, с которым он свыкся с малолетства, — ему опостылел, ничто не заставит его выйти на улицу — выжидать седоков. Нужна особая рекомендация, чтоб он взялся вас прокатить, и уж если запросил какую цену — ни копейки не уступит, лучше и не торгуйтесь, скорее не поедет, чем возьмет меньше запрошенного. Видно, что уже не нужда заставляет его ехать с вами, а эта страсть поездить — покататься. Здесь он прежде всего делает удовольствие себе самому и потому, на обратный путь, для шутки, возьмет иногда чрезвычайно дешево, так что вам самим смешно и странно покажется, и повезет вас так, как никто не возит и как сам никогда не ездил прежде: на сотне верст у него одна упряжка, и то на короткое время. Бог весть, когда успевают наедаться и отдыхать его лошади. И что за чудо его лошади! — ни один извозчик не проедет мимо, чтоб не мызгнуть губами и не сказать вслух: «славные рысачки, говорят, на Вятку сам ездил, по пятисот рублей дал за каждого живота».

В начале путешествия он невыносимо молчалив и как будто важничает. Вот зарыбили по сторонам и на пути деревеньки. От нечего делать седок желал бы знать их названия, в надежде разговориться с ямщиком; но отрывистые слова: «починок», «задний двор», «средний двор», «передний двор», решительно отбивают последнюю надежду разговориться с ним. Видно, что ямщик еще как-то не разошелся.

Седок начинает дремать, утомленный однообразием полей, засеянных овсом и рожью, рожью и ячменем, изредка прерываемых густым перелеском еще с более скучным однообразием стволов или можжевельника, или березы и сосны. Кибитка незаметно въехала в большую деревню, при самом въезде в которую торчит маленькая избенка с крылечком посередине. На

фронто́не кры́лечка ви́ден при́манчи́вый знак — пучок засохшей порыжелой елки — признак питейного. Извозчик поехал мелкой рысцей немного подалее вперед, осадил тройку и, повернувшись вполоборота к седоку, просит позволения *промочить горло*. Промачивание продолжается недолго, но в сытость, после чего извозчик успокоит седока приличным замечанием.

— Не бойсь, барин, наверстаем! — говорит он, покрывавая и поглаживая бороду. — Маненько позамешкались, да ничего, — держись только! так-то махнем, что старикам на печи икнется, а старому свату живот подведет. Эй вы, распрекрасные, дети любимые, уважьте... ой, ударю! — И, громко взвизгнув, он только махнет вожжами и обрадованная тройка вихрем мчит вас вперед.

Тогда не попадайся навстречу развеселившемуся троечнику ни один одиночник: он сразу осмеет его с ног до головы и свернет обидное замечание.

— Эй ты, ворона, — вишь как развалился, словно знать никого не хочет! гляди, гужеед: ведь ось-то в колесо попала!.. Коней надорвешь — по миру пойдешь, глянь-ко: всех ведь в мыло загнал. Эх ты, сипа-сипа: ешь ты сыто, мякину да горох, что дедко стерег.

Не утерпит остряк, чтоб не отпустить приличного комплимента и деревенским девушкам, толпою идущим за грибами, и резкого, бранного замечания деревенским ребятам, вечным спутникам последних в их прогулках и занятиях.

Вот минута, когда седок смело может положиться, на словоохотливость ямщика и узнать у него не только подробные биографии всех владельцев мелькнувших в стороне и на дороге усадеб, но даже душевные склонности и привычки помещиков. Про деревни и спрашивать нечего: хозяина каждой избы он знает по имени, и вообще обнаружит в себе человека бывалого, который из семи печей хлеб едал — не морщился. Если пассажир не соскучится слушать его болтовни и крепко понра-

вится извозчику, последний готов его *поважить* песенкой, сначала любимой, потом, пожалуй, и по заказу седока, какой он захочет и сам пожелает. Коренные песенники, кажется, теперь только в среде этого сословия и удерживаются.

Одним словом, нет услужливее, словоохотливее троечника, подрядившегося до места. Исполняя всякое требование седока, он сам, со своей стороны, чрезвычайно уступчив и невзыскателен. Требования троечника ограничены: зимой — дозволение погреться в питейном, а чтоб дать вздохнуть лошадям — веселая беседа с седоком, достаточно вознаграждаемая живым участием и вниманием к разговору. Летом, когда по деревням на дороге начнутся праздники и веселые хорыводы девушек, окруженных густой стеной любезников-ребят, наполнят деревенские площадки около часовни, а толпы подгулявших гостей-мужиков переходят из избы в избу попить-пображничать, — тогда извозчику-троечнику достаточно, *если милость ваша будет*, забежать к свояку поздравить его с праздником. Не пройдет и десяти минут, как извозчик в сопровождении хозяйна и хозяйки той избы, около которой остановилась его тройка, выйдет к снисходительному седоку, пропустив вперед свояков, с низкими поклонами будет потчевать крепкой брагой и праздничными пирогами.

— Да не погнушайтесь, ваша милость, взойдите в избу нашей хлеба-соли отведать: чем богаты, тем и рады! — скажут, низко кланяясь, хозяева.

Русское радушие и гостеприимство не замедлят вознаграждать за потерянное в угощениях время, а еще более разгулявшийся извозчик *наверстает* и привезет в обещанный срок к назначенному месту.

Таков троечник больших почтовых трактов, где много езды, а следственно, и проезжающих. Добрый, разговорчивый, *привычный* к своему седоку, охотник побалагурить и поразговориться, услужливый и беспрекословный на большом тракте, — он делается

совсем иным человеком, как будто перерождается там, где меньше езды и где он как будто лишен сообщества людей и товарищества и делается человеком, прямо и безотносительно занятым собственным интересом *пожиться*, и пожиться не только на счет седока, но даже и своего брата-извозчика.

Есть чрезвычайно много в огромной России таких трактов, где не пролегает торговой дороги, но где также изредка бывают проезжающие, имеющие нужду в извозчиках. Здесь обыкновенно в какой-нибудь деревне, верстах в 5—6 от города, найдется мужичок, имеющий пару лошадок (третью он выпросит у соседа, если потребуется надобность непременно в тройке) и даже в рабочую пору, ненадолго, готовый ради лишнего рубля прокатить проезжающего. Отысканный непременно по знакомству и особой рекомендации, он запрашивает огромную плату, вполне уверенный, что он нужен, крайне нужен, что без него дело не обойдется. Проезжающий, употребив всевозможные средства в отыскании других, снова обратится к нему, согласный на запрошенную цену. Не проедет извозчик и 10 верст, как уже передает седока другому, при седоке же торгуясь с новым извозчиком, при нем же уступая его за треть условленной платы. С этим, конечно, сопряжено бесчисленное множество неприятностей: часто везут седока, противно условию, на паре и не так скоро, как бы желал он, потому что впряженные лошади совсем не дорожные, а простые, изможденные — рабочие. Наконец, случается и то, что несчастного пассажира часов пять возят из одной избы в другую, из деревни в соседнее село, чтоб сбыть его походнее и прибыльнее. С ужасом недоумевает несчастный, отдавая, по прибытии на место, не менее его несчастному последнему извозчику, — жертве корыстолюбия его собратьев, ничтожную сумму, доходящую иногда до полтинника и менее.

Напротив, троечник больших торговых дорог только летом, когда он вместо себя, для домашних работ, дол-

жен нанимать работника, и выгоден зимой, когда кормы бывают дешевле и езды больше, потому что и питерщички едут домой, да и у *школьников* бывают каникулы.

В заключение очерка должно сказать, что редко, почти даже никогда не случается так, чтобы сын троечника покинул ремесло отца. Оно, можно сказать, делается наследственным в роду, переходя от отца к сыну, и нередко случаи, что попавшийся современному путешественнику извозчик уже десятый в роду занимается извозом. Редкий также случай, чтоб троечник сделался одиночником, разве сгорит все его имущество, кроме его любимой тройки, или другое какое горе сделает его бедняком, но не отобьет у него охоты и привязанности к прежнему ремеслу, с которым он свыкся от колыбели и пристрастился по обстоятельствам.

Напротив, бывает множество обратных случаев, — т. е. одиночник делается троечником с охотою и искренним желанием заниматься ремеслом и выгодным и прибыльным, но только, впрочем, в таком случае, когда ему, что называется, *сильно повезет*. Большею же частью одиночник, достигнувши своей цели, т. е. подновив или переделав избу и поправив хозяйство, снова берется за старое свое ремесло — пахаря, без всякого сожаления к покидаемому временному. Избалованный же своим ремеслом троечник ни за что в мире не согласится сделаться одиночником и скорее пойдет на почтовую станцию ямщиком или легковым извозчиком в столицу, чем покажется всем знакомым своим не лихим троечником-запевалой, а гужеedom-одиночником.

Прямое, резкое отличие троечника от одиночника, конечно, кроме тройки, — это сапоги валяные зимой и кожаные летом, синий кафтан внакидку на красную рубашку и плисовые шаровары — летом; теплая непотертая шуба баранья, высокая шапка — зимой, заменяемая в жару низенькой пуховой шляпой, в которой вечно торчит павлинье перо, иногда даже два или три вместе. В шапке и шляпе всегда найдется у троечника

красный платок — подарок жены или полюбившей его девушки; в сапоге уж всегда и непременно маленькая коротенькая трубочка, а в широких шароварах кiset с *самбраталическим*, имеющим свойство всякого курящего заставить раз сто плюнуть и крикнуть, прежде чем выкурится крохотка-наперсток трубочка. Вот все, что только любит брать с собою в дорогу троечник, да разве путь лежит мимо родной деревни, куда забежит он повидаться, и старая мать или молодая жена сунет ему за пазуху тряпку с пирогом. Таковой он немедленно же и истребляет, зная, что по дороге много к услугам его и постоянных дворов с дешевым обедом — и потому-де запас тут лишняя вещь, ни к чему путному она не ведет.

Тихо и незаметно умирает троечник, завещая сыну любимое свое ремесло и последнюю главную волю — похоронить на родном погосте, где лежат все родные под покрывившимися деревянными крестами, немного поодаль от каменной церкви соседнего села, в котором он был когда-то прихожанином и молещиком.

II. ОДИНОЧНИК

Отец одиночника, простой мужик-пахарь, вовсе не занимается воспитанием сына, предоставляя это дело жене — хлопотливой крикунье-бабе, или лучше самой природе. Мальчишка, который два года поползает на грязном полу отцовской избы между овцами и телятами, столько же времени повалается в грязи и пыли деревенской улицы, с раскрытым ртом удивляясь невиданным диковинкам: от простой крестьянской телеги до затейливых старинных дрожек проезжей старушки-помещицы; потом несколько лет походит с ребятишками-сверстниками за грибами и ягодами, раз по десяти в день купаясь в соседней реке-луже. Лет 16-ти он уже принимается за серп и косу, вовсе не думая

о своем будущем ремесле. Наступит зима со своими холодами и бездействием; мужику осталось завалиться на печь или сесть в угол и точать свой неуклюжий лапоть, но во дворе у него пара лошадеенок и двое саней, — тут уж как-то не хочется быть в бездействии, особенно если за мужичком числится недоимка. И вот, по совету соседа, мужичок подновит свои сани, починит сбрую и отправится в соседний город за товаром; здесь земляк найдет ему доверителей свезти пеньку, шерсть, муку в губернский город и обои сани нагрузит этим добром до самого верху. В огромном обозе, длиною с версту, потянулась и пара лошадок новобранца-извозчика вслед за другими. Сложивши в городе кладь и получивши расчет, ему остается или опять искать *оказий*, или просто ехать порожняком. Приятель-земляк и тут его не оставит и выручит из беды: найдет ему целую кучу седоков на двое саней, так что доехать до деревни ему придется не только даром, но еще и с излишком, а расчет за кладь весь почти останется целым в его кошельке.

Подобного рода оборот чрезвычайно полюбился мужику по очень простой и естественной причине: у него нашелся и лишний грош в хозяйстве, и случай коротать полезно и выгодно зимние ночи. Мало-помалу одиночник заводит знакомства и начинает возить исключительно одних седоков, и только разве за неимением последних возьмется за кладь. Глядишь, каждую зиму он является в городе и где-нибудь за углом выжидает своих седоков, каких-нибудь семинаристов или гимназистов, пользующихся вакацией. Пройдет зимы три-четыре, и у одиночника завелись седоки постоянные, знакомые, которые избавляют его от необходимости стоять за углом, и уже сами отыщут его где-нибудь на печи или полатях постоялого двора. Торговля с ним короткая, цена за проезд известная, незначительная. Всякий из седоков знает и своего извозчика, и то, какое число пассажиров любит он сажать в свои широкие пошевни, называемые им *креслами*; а потому никто и

не претендует, если он посадил лишнего и выедет позднее, чем обещал, да и повезет мучительно тихо, потому что всякий знает, что ни один одиночник не любит делать больше 60 верст в сутки и меньше четырех станций на стоверстном пути. Даже эти станции, или *привалы*, самый постоялый двор, где останутся, известны каждому седоку как нельзя лучше, наконец, имя и хозяина и хозяйки его и число часов, которые доведется просидеть в душной избе, или рассматривать затейливо пестрые и занимательные суздальские картинки, которыми увешаны стены пассажирской горницы. Досужий гимназист найдет достаточно времени, чтобы разобрать все надписи, которыми унизаны и потолок и стены, наконец, и сам найдет, что и по себе оставить приличное воспоминание в стихах следующего содержания:

Здесь мы были,
Чай пили,
Яичницу ели
И трубку курили.

Пока седоки пьют чай или едят яичницу, изготовленную услужливой хозяйкой, извозчики распрягли лошадей и задали им сена. Один за другим входят они в избу и, предварительно помолвившись и поздоровавшись с хозяевами, начинают *разболочаться*. Снявши полушубки, одиночники являются в рубашках, подпоясанных тесемкой с болтающимся на ней медным гребешком, которым тотчас же и приводят в порядок растрепавшиеся волосы.

— А что, хозяйшкa, не покормишь ли ты нас? — заговорит один, покрывивая и почесываясь.

— Да вы все ли тут пришли: нет ли кого на дворе? — спросит хозяйка и, получив в ответ лаконическое: «кажись бы все», начинает накрывать на стол: положит коротенькую скатерть, поставит солоницу — четырехугольный деревянный ящик с такой же крышечкой, от-

крывающейся кверху, каравай хлеба; сбегает в погреб и в ендове принесет квас, наконец, начнет копать около печи. Извозчики залезают за стол, крайний берет нож и *рушает* хлеб, остальные в глубоком молчании ожидают *варева*. Приходит хозяйка и на деревянной тарелочке приносит говядину, половину которой тем же порядком и крошит сидящий с краю. Является огромная деревянная чашка со щами: сюда складывается приготовленное крошево; сидящий в переднем углу под образами начинает есть, — его примеру чинно, не торопясь, следуют остальные.

Щи съедены, только на дне чашки осталась непочатою говядина; застучат ложки по столу и хозяйка снова в другой, третий, четвертый раз подливает щей. Едят — едят да вдруг все и перекрестятся: чему обрадовались?

— Куски пошли! (Настало время за крошево принимать).

За щами является лапша и съедается с тою же невозмутимою тишиною, нарушаемою только стуком ложек или просьбою подбавить еще немного лапшицы и передать *сужрой* хлебца.

Когда съедается лапша, разговор начинает как будто навязываться. Какой-нибудь из сидящих вызовется уже и лошадок проведать и уйдет из избы, за ним другой и третий. А между тем хлебосольная хозяйка приносит кашу и глиняную плошку с топленным маслом. Каша как-то особенно вкусно приготовлена и понравилась извозчикам: трех чашек как не бывало, и странное свойство — она развязала языки. Начинаются толки. Откуда ни возьмется красноречивый, опытный рассказчик в лице проезжего офени или господского лакея.

— Эй, слышь-ко, хозяйка! есть что ли еще что-нибудь?

— Молоко с творогом, коли хотите! — отвечает голос из-за перегородки.

— Давай, поедим и молока твоего!

И две чашки молока с творогом разместились в желудках разгулявшихся потребителей.

— Пирог подавать, что ли, ребята? — снова спросит хозяйка.

— Да они с чем у тебя? — скажет какой-нибудь шутник.

— Вдругорядь будут с кашей, а теперь с амином, — ответит хозяйка. И действительно, пирог с амином, т. е. пустой, без начинки.

— Ну, баста, ребята, вылезай, пора и коней попоить. Сами поели, и им пора дать волюгу.

Напоивши лошадей и задавши им овса, извозчики ложатся спать. Пройдет часа два или три, и снова воз за возом отправляется из задних ворот дорожный поезд.

Здесь не лишним будет заметить, что одиночник никогда не едет один, а всегда в компании с другими, держась поверья, что задним лошадям легче плестись за другими. Потому редкий когда-либо согласится ехать впереди, всегда стараясь немножко позамешкаться, чтобы после догнать товарищей и примкнуть сзади. Но если уже выпала ему такая несчастная доля — предводительствовать обозом, и у него двое саней в *разнорядку*, то никогда не пустит вперед ту свою лошадь, которая получше другой и пошагистее, а норовит поместить не так рысистую лошадь и всегда правит ею своеручно. Он ни разу, во всю дорогу, не употребит плети, которой очень часто даже и нет у него, как вещи совершенно ненужной при такой тихой езде, как езда одиночников. Вообще одиночник чрезвычайно любит своих *животов* и бережлив к ним даже до мелочности: ни за что не посадит балуна-школьника на свое место, на облучок, не даст ему ни вожжей, ни плети.

Ничем столько не угождают ему седоки, как слезши с воза пойдут сторонкой — мера единственная, даже полезная зимой, потому что, сидевши неподвижно на одном месте, можно отморозить себе ноги, да, наконец, нужно же разнообразие в такой тихой езде, тянущейся

мучительно медленно. В благодарность за одолжение одиночник любит *поважить* своих седоков, а в свою очередь, когда дело дойдет до горы, он соберет их на воза, громко крикнув: «Садись, ребята, гора!» и легонькой рысцей спустит их вниз. Затем опять продолжается та же история — согревание себя и своих ног собственным же средством — взбиранием пешком на гору.

Во время таких обоюдных, дружеских одолжений с обеих сторон — незаметно наступят сумерки, а за ними и темная, глухая ночь. Седоки на своих местах; извозчики тоже на облучках; передний зачмокал, задергал вожжами, и лошаденки мелкой рысцей потащились вперед, — разительный признак близкого ночлега.

За столько же сытным, как и обед, ужином разговоры бывают обыкновенно обильнее и интереснее. Ночной ли сумрак и темнота только что проеханного леса, страсть ли русского человека к чудесному, имеющая много пищи в тихой езде, когда от нечего делать и в лесу сильно воспламеняется воображение, но только за ужином у одиночников всегда затеваются рассказы о разбойниках.

— А слышали, ребята, — начнет какой-нибудь краснойбай, — *намнясь* в Вожерове како дело случилось?

— Нет... а что? нешто не ладно? — отзовутся собеседники.

— Да чай знаете Михея-то Терпуга, ну вот что с товаром ездит, еще такой коренастой, с черной бородой, да он завсегда тут все разносчиком ездит: никак годов больше двадцати будет.

— Будет-то будет, —отзовется хозяин, охотник послушать разговор своих гостей и принять в них деятельное участие, — знаем Терпуга...

— Ну! — в нетерпении отзовутся в один голос все извозчики.

— В осеннюю Казанскую в Вожерове ярмарка бывает, что ли, аль базар какой, заподлинно не могу сказать.

— У них на Веденьев день бывает ярмарка! — заметит хозяин, присевший на лавку, поближе к гостям.

— Терпуг приехал с товарами, лавочку открыл, по-сбыл товару сколько мог, да говорят, и больно много. К вечеру собрался, связал воз, все как следует, да на перепутьи и забеги в питейной. Хватил косулю, другую, третью, — разобрало... Он и давай бахвалить про деньги, на столько-то товару всякого продал; спросил еще косулю, — выпил. Случись тут трое молодцов из тутошных, перемигнулись примерно и вышли. Михей выпил косуху и тоже вышел. Да вам, чай, в примету, братцы, на десятой версте отселева мост-от?

— Коло Починкато, что ли? — спросил хозяин...

— Ну! — подхватили слушатели.

— Вот эдак, примерно, около первых петухов едет Михей один, работника с ним не было; только на мост въехал, как хватит его кто-то по затылку, да так больно, что он и свалился. Как опомнился, пришел в чувствие, — видит, дело плохо: один молодец держит под уздцы лошадь, а двое лезут с дубиной ... «Давай, говорят, деньги, а не то под мостом будешь, не успеешь-де родным и поклону справить». Михей изловчился, вытащил кистень, да как рванет того, что первый полез на него: у того только искры из глаз посыпались... упал! Тот, что лошадь держал, драло под мост, а за ним и третий. Съехал Михей с моста, а они ему вдогонку: счастлив-де, проклятый, догадался — кистень достал, а то бы хлебал уху в омуте...

— То-то я гляжу, — намнясь за маслом ездил в Вожерово, — Спирька-Сыч что-то сгорбился, с овина бает упал, — перебил хозяин. — Да вот вечер ваши же ребята рассказывали, что Терентий Павлов вез на тройке купцов с ярмарки и тоже, примерно, в питейное вожевовское зашли и выпили на порядках — знатно. Тут на задах-то у нас перелесок будет; они, что въехали туда, слышат, свистнуло в стороне, а там в другой. Купцы, хоть и на кураже были, а струсили... Терентью и горя мало, едет да попевает, еще шажком и тройку-то пустил. А в *корни*-то у него была *вятка сивая*, бает, триста

рублев в Котельниче дал... Видят купцы, около дороги человек верхом показался, — выехал на дорогу. За ним другой тоже на лошади, поравнялись, да и давай раста-барывать. Терентий с ними: куды-де едете, не по пути ли, да что больно лошаденки-то у нас плохи? — купцы было кричать, чтоб шибче ехать, а Терентий как бы и не слышит, знай толкует. Да вы, говорит, ребята, не хотите ли поменяться лошадьми-то? я бы коренника-то, баает, уступил дешево, взял бы, пожалуй, обеих, да коли, и третий бы был и того бы взял. Те только посмеиваются да переглядываются; один пустил немножко вперед, да только было хотел ухватиться за поводья, как гикнет Терентий, индо купцы носы в лисьи шубы попрятали. Кони взвились, только пар валит; те было версты две поехали, да видят, дело — дрянь, не догонишь. «Ладно, говорят, в другой раз поедешь — нас не минуешь». А Терентий только посмеивается да покрикивает — так и удрал...

— Да нешто они давно, хозяин, так-то занимают-ся? — спросил один из извозчиков.

— Ну, теперича маленько посмирнее стали: зря-то не нападают, разве ночью на одного.

— Вестимо в обозе-то что они сделают? так только лишь... бока наломаем, знают они, на кого нападать. Да никак пора, ребята, лошадок попоить да и спать завалиться! — заключил первый рассказчик, вставая из-за стола и поблагодарив хозяина за хлеб и соль.

Через полчаса в избе все стихает. Извозчики забрались на печь, на полати, на лавки и, подложив полшубки под голову, наполнили всю избу сытым и тяжелым храпом. Хозяин притащил из сеней огромную связку щиты или плетенный из соломы ковер и бросил его в углу на пол, наконец, погасив лучину в *светце*, вскоре и сам захрапел за перегородкой. Около полуночи, между спящими, начинается некоторого рода суматоха; лежавшие на печи и полатях перебираются на пол, будучи не в состоянии выдержать той страшной духоты, которая едва терпима в самой избе — на

полу и лавках, но становится удушливою на печи и полатах. И хотя по пословице: «пар костей не ломит», все же этот жар в течение пяти часов редкий в состоянии вытерпеть и готов даже отдать должное удивление и полную дань справедливости тому, кто всю ночь вылежится там и долго потом, проснувшись, протирает глаза и не может очнуться.

— Эк его разжарило! обрадовался теплыни, словно и невесть чему, как это хватило мяса, что хоть глаза-то привел Бог протереть, — не весь сжарился!.. Пройдись маленько, свояк, а то чай всего разломало, — заметит лежавший на лавке.

— Благо хоть свет-то Божий привелось увидеть, а то и не чаял; вишь какой зуд пронял, словно блохи накусали, — подхватит какой-нибудь остряк-швец, сшивающий хозяйские овчины для тулупа. — Попробуй, сват, кваску, авось не прогонит ли тоску, и, подавая кружку все еще не очнувшегося и протирающего глаза свату, добавит: — Славный квас, землячок, один пьет, а у семерых животы рвет; выпьешь глоток, со смеху покатишься, а выпьешь другой, сведет тя дугой — небось еще не попросишь.

— Что, небось ладен: глаз изо лба воротит? — спрашивает разговорившийся остряк, когда ошеломленный, наконец, крякнул, выпивши полкружки и свесив свои ноги на лесенку.

— Теперь пройдишь маленько, да смотри не забудь онучки-то, а то тебя тут и не дожدهшься; вишь ведь словно дома развалился! — продолжают острить одинокники, увлеченные примером бойкого парня-швеца, давно уже поджавшего ноги где-нибудь подле светца на лавке и ловко вскидывающего руку с иголкой, так что глазам больно следить за его работой.

Снова смолкнет все в избе, хотя уже и проснулись все ее временные и постоянные обитатели и, обвинив свои ноги онучами и оборами, подвязывают лапти. Изредка, в разных углах раздается протяжный зевок в виде завывания: «ох-хо-хо — ау...чих ; ехала деревня

поперек мужика»... Вскоре начнется плескание водой из глиняного рукомыльника с тремя горлышками, висящего на веревочках около печи, под полатями рядом с рушником или полотенцем. Этот рукомыльник имеет весьма дурное свойство — всякому непривычному, во все нехстати, налить воды за шиворот, если он слишком сильно раскачает его на веревках и не догадается придержать рукой прежде, чем наклонит свою голову.

За хозяйской перегородкой начинается однообразное щелканье счетами при отрывистом высчитывании потребленного овса и сена. Зазвенят медные деньги, захлопает дверь из избы в сени, иногда раздастся голос нетерпеливого седока, понукающего своего извозчика поскорее закладывать и всегда озадачиваемого следующим ответом:

— Ишь какой прыткой! дай разделаться с хозяином-то, гляди, еще и не закладывали. Без других я не поеду... спешить некуда, к вечеру будем в городе, небось, — не замешкаем. Мы свое время знаем, барин; поди-ка лучше буди своих-то, — рано поднялся больно, еще только третьи петухи пропели...

Иногда после такой речи раздастся голос растерявшегося извозчика, отыскивающего какой-нибудь синий или красный кушак и рукавицы, и через полчаса изба пустеет. И снова воз за возом медленно мучительным шагом, при всеобщем молчании еще не разгулявшихся путешественников, потянется длинный обоз одиночников по избитой ухабами зимней дороге.

ШВЕЦЫ

(Очерк)

К числу необходимых промышленников, составляющих насущную потребность в крестьянской жизни, принадлежат едва ли не более всех *швецы*, которых можно также обозначить именем *деревенских* или, даже лучше, *русских портных*.

В большей части Костромской губернии обязанность швецов исполняют жители одного из самых промышленных и многолюдных ее уездов — Галицкого, который сотнями высылает плотников, пильщиков, каменщиков и печников в Петербург и Москву и столько же разбрасывает промышленников по своей губернии в лице меховщиков, извозчиков, ездящих с мерзлою и сушеною рыбою, со свежими огурцами и проч. — Из этого уезда, в конце осени, небольшие кучки швецов плетутся по проселкам и большим почтовым дорогам, иногда чрезвычайно отдаленных уездов, каковы, напр., северный край Кологривского, по реке Меже и Унже, Ветлужский, Макарьевский, иногда Солигаличский, Буйский и Чухломский. По быту этих-то швецов и обрисовываются картины промысла, представляемые в настоящем очерке.

Замечательно, впрочем, то обстоятельство, что швецовский промысел всегда не зевает укрепляться в той местности, где поживее развита промышленность на разную статью, стало быть побольше соблазнов на отхожие заработки. На таких простых основаниях завелись швецы в тех центральных пунктах, вокруг которых (иногда на больших расстояниях) всякое иное ремесло знают, исключая этого. Но, само собою разумеется, деревенские портные в наибольшем числе держатся около таких мест, где пристроилось скорняжное дело: выделывают меха, дубят овчины, как, напр., под Романовым (в Ярославской губ.), под г. Галичем (Костр. губ.), где село Шокша выделывает меха, получаемые из Архангельской губернии, и из таких далеких мест, каковы печорские отдаленные палестины. В последнем случае швецы пользуются большою известностью, которая дает им смелость знакомить со своим искусством самые отдаленные местности и рисковать выходом на заработки не только в Москву и Казань, но даже и в более далекий Питер. В последнем городе, между прочим, известны шапошники, выходцы из села Молвити-

на (Костр. же губ. Бувевского уезда). На Волге в большой славе *кислая овчина* — мурашкинцы (из села Мурашкина, Княгининского уезда, Нижегородской губернии), которые и по присловью — шапками обоз задавили (они тоже зимой шьют полушубки, ходя по деревням, но в остальное время не перестают кормить себя иглой, заручаясь другими заказами). Не боится швецовский промысел и глухих мест, самых заброшенных захолюстьев (и даже, кажется, их сильнее долюбивает); так, напр., в том глухом углу одного из самых глухих уездов, каков Пошехонский (Яросл. губ.), который прилегает к Вологодской губернии, с деревней Трушковой в центре, все население по преимуществу и почти сплошь — странствующие портные.

В первом случае, когда этот промысел вызывается безвыходною местною потребностью, швецы только временные (осенние и зимние) портные, и тогда они в скромных границах негромкого промысла — ремесленники на короткое время для известного околотка. Количество их считается тогда не сплошь целыми деревнями, а лишь несколькими домами в немногих селениях. Таких мастеров, которые по пословице на грош крадут да на рубль изъяну делают, не по многу, но много во всех уголках России. И если межевать последнюю на губернии в административных границах, а не на окраины и урочища с экономическими гранями, таких швецов на домашнюю потребность в каждой губернии найдется по нескольку кучек в двух-трех уездах. Между прочим, про таковых можно бы и совсем не слышать, как, напр., про тамбовских швецов, которые и шьют плохо, и ходят только по р. Цне, не добираясь до столиц и стало быть до ученых исследований и печатных известий.

Но из среды моршанских швецов выделилась историческая личность основателя молоканской веры — одной из наиболее распространенных сект — Семена Матвейча Уклеина или попросту и по-молокански — Семенушки.

Будучи уроженцем той местности (под Борисоглебском, Тамб. губ.), где кормились некоторые от портного ремесла, и он, по завету отца, ходил по деревням с товарищами кроить и сшивать овчины в полушубки про домашний обиход желающих и в казну по подрядам от денежных людей. Поработав у одного из таковых (Побирухина) и вступив в его веру (духоборческую), Семинушка Уклеин рассорился со стариком, ушел от него, покинув жену — дочь Побирухина. Додумавшись до своей веры, во многом отличной от духоборской, Уклеин, под видом и с ремеслом швеца, пошел ее рассказывать везде там, где ему давали работу. В то время, когда его товарищи забавляли хозяев в долгие и темные осенние и зимние ночи сказками да загадками, песнями да прибаутками, мистически-настроенный и начитанный от книг св. Писания Семен Матвееч проповедовал новую веру: учил держаться одного Евангелия, отвергал церковь и духовенство, советовал собираться на моление для того только, чтобы петь псалмы и слушать и толковать Евангелие. Не побоялся он (когда того потребовали) торжественно войти в г. Тамбов (как бы в Иерусалим), соблазнить в молоканскую веру много народу по Цне, по Хопру. Когда же императрица Екатерина II повелела освободить его из тамбовского острога (куда попал он после вшествия в Тамбов), он привел в свою секту множество деревень: около Новохоперской крепости, под самым Тамбовом (в селе Рассказове), под г. Балашовом. Соблазнил многих из приверженцев духоборства (в Песках) и из исповедников иудейской веры (субботников под саратовским городом Балашовом). Ушел за Волгу и там распространил молоканство по рекам Иргизам и Узеням. Теперь его вера и на Молочных водах в Таврической губернии, и за Кавказом в Бакинской и Тифлисской губ., и в Сибири под Томском и на Амуре и на Зее под Благовещенском.

Собственно про этих-то одиночных швецов и предлагается следующий рассказ, поставленный в границы

всей безыскусной простоты невинного и полезного промысла.

Не вдаваясь слишком далеко в объяснение причин, по которым можно было бы узнать всю степень важности и значения шведовского ремесла, мы хотим представить простую и нехитрую картину его проявления.

Прямым и неизбежным следствием появления шведов бывают следующие обстоятельства:

Редкий мужичок не имеет на дворе у себя пары две и даже три баранов и овец, составляющих предмет предпочтительной любви и благорасположения хозяек-баб, которые называют этих животных многими ласкательными именами, каковы, напр., *бляшка* и даже *яшка*. В продолжение долгого лета, эти бляшки до того *закужляются*, что к осени потребуют новой стрижки, как бы взамен первой, которая производится в Великом посту.

В любой крестьянской избе, в начале ноября или в конце октября, непременно уже открывается следующая семейная картина: все бабы, начиная с *большухи* и оканчивая десятилетней *девонькой*, сидят в *куту*, или заднем углу избы, под полатями, и держат на коленях мохнатого барана или овцу-*яловку*. Бляшка поминутно вздрагивает и жалобно кричит под большими, особого устройства ножницами и как бы ждет не дождется, когда кончится эта невыносимая пытка, хотя и приправляемая ласкательствами мучительниц. А между тем, огромный *грохот* постепенно наполняется густою волною, которая, наконец, кладется и в лукошки, за неимением другой подобной посуды. Одновременно с окончанием подобной операции являются в деревнях местные *шерстобиты* или *волнотепы*. Эти промышленники сортируют шерсть на два отдела: та, которая подлиннее и помягче, назначается для кафтанов и струною *волнотепы* превращается в мочки. Остальная шерсть — густая и жесткая, преимущественно со спины и боков

животного, пойдет в продажу и в руках макарьевского и кологривского *валяльщика* превратится в сапоги, которые иной бережливый хозяин четыре зимы носит и не изнасит, особенно если догадается *подсоюзить* их кожей. Первый, лучший сорт шерсти, превращенной в мочки, тотчас по уходе шерстобитов прядется бабами и приготовленные нитки употребляются для бабьих чулок, или для варежек, или же, наконец, на ткацком станке является сукном-сермягой для понёв и кафтанов. Может быть, в то же самое время, как бабы исполняют свои обязанности, мужик-большак с сыновьями творит распорядок в подполице или где-нибудь и режет нестриженных яловиц и баранов для того, чтобы после, снявши с них шкуру, иметь овчины для полушубка или даже, пожалуй, и для тулупа. Устроивши таким образом дело, мужичку остается поджидать прихода швецов, которые не замедлят явиться в деревне в середине или конце ноября, но всегда после Кузьмы-Демьяна.

* * *

Нетрудно узнать догадливому то ремесло, которым занимаются эти мужички-путники, только что сейчас вышедшие с проселка на большую дорогу и потянувшиеся к виднеющейся вдали черной массе деревни. Почти что новенькие овчинные шубы туго-натуго подпоясаны красными или синими кушаками и надеты на коротенький полушубок. На спине каждого из них крепко привязан небольшой кожаный мешок, укрепленный на груди крест-накрест наложенными ремнями. Внизу ремней, из-за кушака, торчат огромные ножницы. По ним-то и по мешку назади ясно видно, что путники идут совсем не в Соловки Богу молиться или в Питер работой бока протирать: иначе мешок был бы побольше и не кожаный, да и внизу его непременно были бы привязаны пары две или три новых лаптей и, по крайней мере, хоть одна пара сапог. У этих, напро-

тив, даже вместо толстой и суковатой можжевелевой палки видны в руках палочки дубовые, коротенькие, по нарезкам и четырехугольной форме которых нетрудно различить самодельные аршины. Почти все путники немного сутулы и ступают неровным шагом, а не с перевалом, как делают это плотники. Из-под теплой шапки, опушенной у иных барашком, а у других и просто кошачьим мехом, смотрят насмешливые глаза и открытая физиономия: не сонная, как у каменщика и печника, а такая же смелая, как и у иного ярославца — петербургского лавочника. Впереди этой толпы идет парнишко-ученик, который от скуки гоняет носком лаптишек валяющиеся на дороге комки.

В полуверсте от путников показались черные клетухи-бани, предвестницы начинающегося жидья. Все они, по обыкновению, обсыпаны большими кучами льняных *отрепьев* — следов недавней бабьей работы. Утро только что началось: в деревне все тихо, и только скрип колодца да дальнейшее мычанье коровы попеременно нарушают тишину. Из деревянных труб показался черный дым и прямым столбом потянулся к далекому небу.

— Вот он — Починок-то!.. Давно уж мы тут рыщем, а все тебя, молодца, ищем; принимай добрых людей да давай им работу — во льготу! — заговорил один из швцов, слегка улыбнувшись и переглянувшись с товарищами.

— Тереха не утерпел: спозаранку начал белендрасы подводить. Что-то будет, как на работу-то нарвется, — заметил другой швец остряку, всегда неизбежному лицу во всякой швцовской компании. — Говорил бы ты дело-то, путное что-нибудь, — как дела поведем: вот теперь в чем главная причина.

— Как поведем? вестимо, как поведем; нечего тут и разум моторить, коли в деревне весь народ, почитай, на знати. И то молвить, не одни, чай, лаптишки, ходючи сюда кажинную зиму, поизмызгали. Вот дядя Степан

седины понабрался, а все, смотри, сюда же лезет. Так ли, дядя Степан, я баю?

— Так, так, Тереха; неча греха таить: скоро двадцать зим минет, как в Починке работу беру.

— Да что тут толковать: толкнемся к соцкому Миките и дело в шляпе. Поди, он всех баранов перерезал, да и овец-то уж, чай, давно пообстриг.

— Эй, вы, люди добрые, нет ли *шитва*? Выходи сюда, кто там жив остался, — говорил Тереха, уже под волоковым окном избы сотского, раза три постучав своим деревянным аршином в доску-подоконницу.

Через четверть часа высунулось бабье лицо, запачканное мукою, и, всмотревшись в путников, улыбнулось.

— Ай, родимые: Тереха, Степан, Петруха, Ванюшка!.. Войдите, ребята, в избу, на дворе студено что-то стало.

— Как живете-можете? — спросила хозяйка, когда шведцы, помолвившись образам, сели на лавку.

— Твоими молитвами, ничего... живем помаленьку: ни шатко, ни валко, ни на сторону. Где ж у тебя большак-то?

— Да еще третьеводни уехал к барину в город, о сю пору еще не бывал, баял, что долго не будет мешкать. А молодницы-то в баню пошли — лен треплют. Большаков-ребят в Питер отпустили: Гришу в плотники, а Иван, знамо, в печники снарядился.

— Нешто ты, Матрена, Ванюху-то оженила? Кажись, у тебя только одна невестка и была — Аграфена.

— Как же, кормилец, и Иванушку женили, около Масленой женили. Хорошая девка попалась, и к работе приобычна, и дела исполняет куды баско. Да и то молвить, из хорошего дому ведь пошла: потрусовского старосты Дементья дочка.

— А припасла ты нам работы, тетка Матрена? Ведь вот, поди, теперь и молодежи полушубки надо снарядить. А мы, признаться, на вас только и надежду полагали.

Пока тетка Марена ходила в голбец¹, швецы успели *разболочься* и развязать свои мешки. Вскоре постепенно одно за другим показалось из этих мешков: утюги, наперстки, кусочки синего воску, обглоданный мел, наконец, суконный цилиндрик самодельной работы, назначенный для булавок, и игольник с большими и маленькими иглами. Остались в мешке, может быть, только нижнее белье, праздничный чистый платок на шею, да новые шерстяные синие перчатки. Хозяйка принесла сырые овчины, извиняясь, что не успела просушить их за отсутствием большака.

— Чего ж у тебя молодуха-то смотрит? Знамо, где твоим старым костям с этим делом возжаться: поди уж, лодыжки щелкают. Ну да ладно, — печь топлена, а дело это не хитрое — снарядим сами...

И Тереха с учеником-парнишкой занялся просушкой овчин: он развесил их на шесте перед печкой, несколько раз снимал, чтобы вытягивать руками, а в некоторых местах, для сравнения морщин, ухватывался даже зубами; потом опять вешал и пробовал иголкой в тех местах, которые казались ему просохнувшими. Кончивши это дело, он наметал намеленной ниткой прошивы и начал кроить, уверенный, что просушенная овчина уже свободно будет пропускать толстую иглу и самые руки его не будут потеть, а следовательно, и затруднять работу. В то же самое время и остальные швецы Степан и Петруха кроили сермягу, принесенную хозяйкою с подволоки, где висела она для *проветриванья*. Обрезки от овчин и армяка мальчишка-ученик подбирал в то время с полу и клал в хозяйские сумы. Это поступало уже, по общепринятому обычаю, в собственность швецов, хотя между этими обрезками попадались и такие куски, из которых шутя можно составить целую спинку, а чего доброго, и приделать рукава на руки любого верзилы.

Пришедшие молодницы принесли все какие припасены были ими нитки. Оставалось только начинать шить;

но дело это не состоялось, потому что подоспела пора обеда. Швецы подобрали все, что было на столе, на котором вскоре очутилась огромная чашка со щами. Старшая невестка посолила их, но ушла за хлебом за *переборку*. Молодуха, не заметив этого, посолила в другой раз. Шутник Тереха, следивший за ними, не утерпел и тут, чтобы не отпустить свою заветную штуку: пусть-де посмеются ребята. Он взял из солоницы целую ложку соли и размешал ее в чашке уже в то время, когда все уселись за стол.

— Чтой-то, молодец, нешто ты не видал, что я посолила? — заметила молодуха.

— А я, признаться, думал, что уж такой обычай завелся в новом хозяйстве, чтобы все солили, — ответил Тереха и самодовольно улыбнулся, заметив, что обе молодые хозяйки переглянулись.

— Все-то вы, кажись, ребята такие сорванцы, прости меня Господи! Вон хоть бы зимусь и в нашей деревне: ваши же галицкие ребята были, и Калиной еще и парня-то звали. Шил он у дяди Егора тулуп, да и заставил его раздеться всего. Ишь без того-то, бает, и мерку неловко снимать. Тот и лег на стол: больно, вишь, он прост у нас, куды — прост, Матвей-от. — И не в догадку ему, что Калина шутки шутит. Этот и мурызни его вдоль спины-то, да так индо больно, что Матвеевы ребята *по шеям* Калину, да и вон из избы.

— И не то бывает, кормилка, коли знать хочешь; ведь недаром и поговорка про нашего брата ходит: швецы-портные.

— Ну-ну, Тереха, видно, мели Емеля — твоя неделя. Ты уж, братец ты мой, не всяко слово в строку мети, нужно и разум знать, — перебил остряка Степан, все время соблюдавший молчание: он давно уже оставил шутки и ведет свое дело серьезно.

— И, дядя Петр! — смалкивай, знай, невестка, — сарафан куплю! Вишь ведь, молодлица не знает всех свычаев-то наших. Вот хоть бы, примером, тепереча,

слыхала про Власа да Протаса? А нет, — так никшните. Жили, вишь ты, кормилка моя, два брата подгородные, тоже швецы, как бы и мы со Степаном; да и звали-то их по-простецки: сивой Влас да гнедой Протас. Наклевалось им делишко, куды хорошо: у мужика богатого, что деньги помелом метет и лопатой в кузовья загребают. И все бы хорошо, да недоимочка махонькая стояла, — голова-то, вишь, была словно жбан пивной: звон большой, а браги нету, — тоже, как бы вот и ты порассказала, тоже сметка-та к закаблущью, знать, пришта была. Принял он этих молодцев шубу шить себе, а овчин-то дал чуть ли не на две. Влас и Протас, надо вам молвить, знали хорошо, на какую он ногу хромает, и всю его придурь словно по-писанному читали. Сговорились они промеж себя, да и задумали, в добрый час сказать, в худой промолчать, непутное дело. Э! думают про себя, куда кривая не вывезет, сегодня ухну, хоть утре и будут бока пухнуть.

— Слушай, хозяин, молвил Протас, как ты смекаешь, догонит Влас, коли завернусь в эту шубу да вбежки побегу, аль не догонит?

— Нет, догонит! — бает тот. А сам ухмыляется, любо, вишь, на потеху на такую,

— Ан не догонит, хозяин. На что хошь на спор пойду, не догонит.

— Попробуй! — брякнул тот сдуру, что с дубу.

Завернулся Протас, да дёру задал такого, что любо да два, — индо пятки засверкали. А мужик-то стоит, разиня рот, да любится:

— Гляди-ко, гляди, ребята, чуть-чуть не догонит; вон как за лес забежит, — поравняются... и поймает, беспременно поймает.

— Ишь тебе любо, Тереха, — заметила большуха: — нешто христианское дело затеяли.

— Да и то молвить, тетушка Матрена, быть молодцу — не укора, а мало ли непутных-то делов на белом свете, — ответил Степан.

— У наших ребят руки не болят!..

— Спасибо хозяйшкам за хлеб, за соль, да за щи с квасом, а за кашу-то песенку спою, — говорил Тереха, молясь образам.

Когда убрано было все со стола, швецы снова сели за работу. Бабы тоже поразобрали с полок свои копылы, и слышно было в избе, как зашумели на полу веретена, обвиваясь новыми нитками.

— Ты из какой деревни, молодец? — начала молодуха.

— Да ты у кого спрашиваешь-то? — сказал Степан.

— Вестимо, кто пошустрей, да и позубастей всех, — объяснила тетка Матрена.

— Я-то откуда? да все оттуда ж. Больно молода, — много будешь знать, мало станешь спать. Скажи-ко мне лучше: зачем мужа-то в Питер пустила? Неладное дело в вашей стороне ведется: дурак ваш мужик, не тем будь помянут. Женится, да и лезет в Питер, словно угорелый, как будто мало народу там и без нашего брата-шалопая; сидел бы дома, да точил веретена, да жену журил.

— Ишь ты, какой сыч, прости меня Господи, — заметила молодуха, видимо, сочувствуя шутнику Терехе. — Я бы тебе космы-то повытрепала, коли б была женой-то твоей. Стал бы ты у меня по жердочке ходить... Да молвишь ли ты, как зовут-то тебя?

— Меня-то? Терешкой, Терешкой, голубка востроглазая, и парень-то я галицкой ерш. Вон и Петруха ерш, да и мы все тут, почитай, ерши, и все галицкие.

— А родня вы промеж собой?

— Да как родня? — когда моя бабушка родилась, вон Петрухин дедушко онучки сушил. Кто у нас не родня? Коли в поезжанах был, так и свои, — вот как в нашей стороне ведется, да поди я в вашей так же?

— А ты нешто женат? — продолжала неотвязчивая допросчица.

— Нет еще. Вот уж коли домик путем заведу, а ведь в нашем ремесле из-за хлеба на квас не заработаешь.

Теперь все и хозяйство, что вот есть на себе; во дворе скотины — таракан да жуковица, а и медной-то посуды всего одна пуговица.

В таких-то беседах пролетело время до сумерек. Швецы оставили работу. Двое из них, Степан и Петруха, легли на лавке, подложив полушубки под голову. Старшая невестка занялась головою свекрови, которая сначала, словно кот против солнышка, щурила глаза, а вскоре и совсем их закрыла. Тереха, в это время, подсел к младшей невестке, которая вытирала горшок, и стал балагурить.

Изба приняла тот тихий и спокойный вид, который бывает в самую золотую пору крестьянской жизни и который обозначается русским названием — *сумерничанья*. Тишина в избе дошла до такой степени, что не только слышно мурлыканье кота в печурке², но даже, как баран и овца жевали жвачку в подполице. Это затишье нисколько не нарушалось ни храпением большака (который был в отсутствии), ни визгом *меньшака* — неугомонного ребенка, которого еще не было в доме.

Когда уже довольно смерклось, — опомнился от забытья Степан. Растолкал Петруху, толкнул в бок ученика и попросил *свету*. Старшая невестка принесла из голбца треногий *светец*, значительно почерневший от частого употребления и близости искр, и поставила его подле лавки, из-под которой тотчас же вытащила лохань, налитую до половины водою. Ученик-парнишка исщепал целое полено для лучины и высек огня.

Снова началась работа, приправляемая рассказами Терехи. Начал он с шуток и долго болтал молодой сказку *про белого быка*, да о том, что вот *жили да были баран да овца; поставили они стог сенца*, — не начать ли-де сказку опять с конца. Но, видно, не найдя сочувствия к подобным рассказам, он начал загадывать бабам загадки.

— Ну, Марья Семеновна, отгани загадку и не хитрую, — сказал Тереха, обратившись к младшей

невестке: — слушай! Ни кто ни таков, как Иван Ермаков: сел да поехал, слышь, прямо в огонь.

Задумались бабы все до одной; молодуха было сунулась с «ухватом», да не туда попала. Тереха улыбнулся и покачал головой; что ни говорили бабы, все не то, даже Степан предложил было «пожар», да и он не потрафил. Перебрали, наконец, все, что попадалось на глаза, но, к несчастью, забыли «горшок» и испортили все дело.

На один горшок — бабий струмент и любимое детище — у Терехи нашлось тридцать загадок, — всего больше. А пошел он по избе глядеть, так загадывал загадку про все, что на глаза попадалось: и про сучок, и про матицу, про тябло — божницу и про ставец — шкапчик. Зарябили в глазах знакомые образы и звания, да так затуманены, что голова разболелась. Но ловкий шутник приемы знал: повел вон из избы и довел до самой двери.

— Ну еще, — продолжал разговорившийся загадчик, — два стоят, два лежат, один ходит, другой водит.

— Дверь! — с радостью закричали все бабы.

Выведя за дверь и задав задачу для бабьей сметки на вольном воздухе, шутник-швец попал чуть ли не в самое богатое место, где для вдохновения загадчиков, дедов и учителей Терехи, не было пределов: выучились они допрашиваться сметки и про такие мудреные задачи, как ветер в поле, гроза в небе, мороз и роса на земле и вся красота поднебесная; надумили прикрывать иносказанием и все то, что растет в лесу и любезно сердцу, от гриба до ягоды, и все то, что вызревает на огородах: и лук (баба на грядках, вся в заплатках), и редька (пуп в луже, борода наружи), и морковь (девица в темной темнице, коса на улице), и капуста, и хмель-милый друг, и горох и репа — чего слаще нет. А на соху, на борону, на овин и косу стариковским загадкам, кажется, и счету не подведешь.

Замотал Тереха короткую бабью память и ленивую сметку до того, что самому стало скучно. Уважил он их

напоследок и перестал ходить по задам, когда повел свинью из Питера всю истыкану.

Хозяйки в один голос закричали: «наперсток», и даже дошло до того, что старшая невестка вынула из кармана, который привязан был у нее на поясе подле левого боку, это орудие и показала его Терехе.

Неугомонный шутник рассказывал потом настоящие сказки, предварив, что это бывальщина и случилось от него по соседству. Рассказанная сказка воодушевила не только баб, но даже и остальных швецов, из которых каждый рассказал также по бывальщине. Невестки только слушали, дивились диковинкам и искренно верили рассказываемому. Одна только свекровь заметила, что песня — быль, а сказка — ложь; но тотчас же рассказала про лешую, которую сама видела, когда, еще бывши молодухой, мыла белье на реке.

— Сидит водяница на колоде и такая-то большущая да рыжая, а волосищи, почитай, что не до пят стелются, а вода-то, кормилицы вы мои, так и льет, так и льет с волосиц-то. Взглянула я, родители вы мои, и — обомлела: и поджилки затряслись. Слышу, вот как хоть я вас теперь слышу: захлопала водяница в ладоши да совой и заухала. Как добежала до дому, кормилицы мои — уж и не помню: словно кто пришиб мне память-то. Опосля мне, как опомнилась, рассказывали, что священника-де призывали отчитывать, так инда перепужалась я водяницы-то...

— Бывает, Матрена Селифонтьевна, бывает. Вот ведь недалеко ходить: бродишь ину пору по лесу за грибами, али бо что... ходишь, ходишь, а все к одной березе придешь. Придешь: ну вот-так вот и видишь, и береза та, и муравейник тут, около... вон и палку еще бросил на муравейник-то, ну и та... тово... тут, — поддержал старуху Степан. — Да чево, бабушка, вот у меня пара животов на дворе стоит. Пришел я раз, коло Покрова: сивко стоит, хоть бы што... а саврасая кобыла, что у благочинного купил, в мыле. В мыле, слышь, Матрена

Селифонтьевна, словно кто на ней целую ночь ездил. Что ни говори, а *домовик* это ездит, лесовик это в лесу тебя обходит...

— Ох! что и баять, кормилец, кому как не ему, домовику этому... Я уж как из старого дому перебиралась кирпичик из чела в печи выломила, да в *коник*³ и положила; вот тебе грех молвить, — а не хочу и таить, — положила. Ну... и ничего: коровушки, благодаря Бога, живут, овечки тоже. Вот и гнедку, почитай, что кажиную ночь гриву заплетает. Подберет эдак, знаешь, косички и репейником поизукрасит: таково-то индо любо да красиво.

Между тем, время незаметно подходит к ужину, и молодая хозяйка, накрывши на стол, приглашает швецов:

— Садись и ты, Терентий Иваныч, поужинай чем Бог послал, чай уж поди попроголодался маненько.

— Да у нас, Марья Семеновна, коли признаться сказать, не ужинают, — отвечал Тереха, потягиваясь, а насмешливая улыбка так и прыгает по его рябому лицу.

— Что ты баешь, не ужинают: да как же ложатся-то?

— Как? а поедят маленько, да *так* и ложатся!..

Поработали швецы и после ужина, вплоть до того времени, как запели вторые петухи. Один только Тереха, кончив незаметно полушубок и наметавши еще рукава на кафтан, завалился вместе с прочими на полати.

На другой день приехал и сам хозяин — сотский, в то время, когда швецы сшили два полушубка, два армяка, теплую шапку хозяину и целую овчинную шубу хозяйке. Хозяин примерял свое, прошелся раза два по избе, заставив баб посмотреть: ладно ли сшито, не мал ли воротник и не жмет — ли ему под мышками. Оставшись довольным, он рассчитал швецов по заведенным ценам: отсчитал два рубля за два полушубка, рубль двадцать копеек за два армяка; семьдесят копеек за шубу и пятьдесят копеек за новую теплую шапку⁴.

— Слушай-ко, Степан Михеич, — заговорил сотский, доставши из ставца⁵ бутылъ водки и угощая шведов. Давно меня задор пробирал спросить тебя: куда подевался шоринский Матюха; еще такой песни гораздый был петь, что твой в ину пору Терентий?

— Эх! загубил он свою душу, как есть загубил ни за денежку. И не то, чтобы запивать, что ли, *хрушко* стал: еще это куды бы ни шло, а то как бы тебе молвить?.. Задурил...

— Да чего задурил? — перебил Терентий. — Бахвальство, вишь, в нем завелось, хозяин. Форс-от этот проклятый его и подгогулил. На руку нечист больно стал: вот оно что! Так мы его и не берем по этой причине. И то про нас худая слава. Чего не скажут: и «нет воров супротив портных мастеров», и «словно бы нам только мерку снять да задаток взять», будто бы мы чего получше и не стоим. Не нашей иглой каменные дома выстегивают и строчка-то наша по тому полотну, какое дают, а кроим — сам видал, чай — к старой одежде новую прилаживаем, иначе и не примеряешь. Вишь он какую *однова* штуку удрал у Игнатовских. Надыть тебе молвить, он шубенкой тогда поизносился, ну и армячишко, признаться, с плеч уж полез; а все чихирем-то вот этим не в меру занимался. Пошел он, вишь, к Игнатовским; думает: наши ребята туда мало ходят, коли что и сделаю, — не узнают. Понаведался. Дали ему, примерно, работу; сваял себе шубу ночью, да и след показал. Сам еще нам и делом-то этим похвалялся; и сошло было с рук. А вот на другом, так словно на льду обломился. И случилось-то это дело непутное тоже коло нашей деревни: купил, вишь, лошковский мельник Дементий ячменю хорошего, а Матюха на ту пору работал у него, да и заночевал примерно. Встает Дементий мельник поутру, да и спохватись ячменю-то; совался мужик туда и сюда: все закоулки поисшарил. Нет ячменю, словно помелом кто вымел; пропал ячмень совсем и с мешком, и с веревочкой.

— Не видал, бает, Матюха, куда ячмень подевался?

А тот, словно правый, за работой сидит и нитку еще в ту пору вдергивал.

— Нет, Дементий Андреич, не видал; слышал, признаться, впросонках, словно твой Жучко на кого лаял, а не видал. И греха на душу брать не хочу: не видал. Ну, заперся, слышь, заперся, словно я невесть что! Да уж по весне узнали, кто греху был причастен: сам же Матюха и привез к Дементию. А ячмень-от был не нашенской, а заморской, еще и у барина-то у Безинского купил. Пошла про Саву худая слава: мы его не берем, одному ходить — неповадно, да все уж и знают; а нет, так и мы подкузьмим. Посовался Матюха туды да сюды: видит — дело дрянь, не выгорает; так он по весне и сгинул, словно топор ко дну. Бают ребята, что в Рыбное потянулся в бурлачину. Ну уж там, знамо, ухверт-народ, не клади пальца в рот, зараз тяпнут.

Только что вышли швецы от сотского и показались, в полушубках нараспашку, среди улицы, почти изо всех окон слышались приглашения. Между громкими бабьими криками особенно резче всех раздавался одной.

— Нишкните-ко, ребята, чтой-то солдатка-то больно зазывает? — спросил Степан. — Нешто много работы у тебя?

— Понька⁶ есть, полушубок, кормильцы.

— Ишь, ведь, горлодериха эдакая, — бабью работу зазывает: поньку шить; нешто у самой-то руки отвалились? Поди-ко, Терентий, учи ее, глупую, уму-разуму, да втемяшь ей хорошенько, чтоб вдругорядь не навязывала чего не следует. Сшей ей полушубок-то да и приходи к нам, — распорядился старик Степан, видимо, обиженный и принявший предложение шить поньку за насмешку.

Компания швецов разделилась. Все они разбрелись по разным избам и в одиночку; один Степан вдвоем с учеником. Тереха, между тем, явился к солдатке.

— Кошку бьют, невестке намеки дают; поньку-то ты шей сама: ваше это дело бабье, а вот коли полушубок есть, так стачаем. Давай, где он у тебя тут?

— Ишь ведь, как ты расчуфырился, словно я невесть что обидное молвила. Я и сама, коли хошь, так сдачи дам.

— Сдачи мне твоей не надо, береги про себя: а мы не то что с бабой, и с волком справлялись! — говорил Терентий уже не тем шутливым голосом, а таким, какой был бы даже впору и самому старику Степану.

— Знаешь ли, тетка, как я волка надул? — продолжал он, садясь за работу. — Шел, вишь, я по полю, отседа не видать, бежит серый по лесу да ухмыляется.

— Здравствуй, швец-молодец, дай я тебя съем!

— Дай, говорю, запреж хвост тебе аршином смеряю. Взял я его хвостицо кужлявый, намотал крепко на руку, да и лудил я его аршином по спине, инда самому больно стало.

— А все мне тебя, швец-молодец, съестъ хочется. Целый день, бает, рыщу: живот подвело!

— Нет, говорю, мои кости неломки: зубы не возьмут. Поди, вон баран ходит по горам, авось, может, послаще будет. Прост ведь серый-то, хоть бы вот и ты, тетка Лукерья. Так, что ли, тебя величают? Да ты, смотри, не обидься!

— Меня-то? Офросинья меня зовут.

— Ну, вот, тетка Офросинья, у меня тоже бабушку звали Офросиньей, и сестра была Офросинья. Так о чем, бишь, я тебе молвил?

— Баран там, что ли, по горам...

— Так вот, вишь, пришел он к барану и тоже есть попросил, серый шут. «Вставай, бает, баран, под гору, а я как раз тебе в глотку вскочу». Распялил серый пасть, а баран как мурызнет его в лоб рогами, так что мой волк *вперемековшки*⁷. Все, слышь, зубы во рту повышиб и есть уж нечем стало. Опомнился серый, да позапоздал маленько: швец-то, поджавши ноги, строчку строчил, а баран сено жевал в подполице.

— А вдругорядь ты понек не сули!.. Эдак и сарафаны нашему брату шить доведется, — заключил свою речь Терентий у новой хозяйки.

* * *

Таким образом, переходя из избы в избу, из деревни в деревню, сообщая, в компании и в одиночку, особняком, смотря по количеству наличной работы, швецы проходили на чужой стороне далеко за зимнего Николу. Осталась всего неделя до Рождества Христова; ясное дело, нужно провести этот праздник в кругу домашних, по обычаю и по заветной мысли.

И вот швецы уговорились сойтись в первом питейном ближайшего села, чтобы разделить сообщая и поровну свои заработанные деньги и опять вместе держать путь на родину. Степан, как предводитель и самый старший между товарищами, производил дележ. Досталось каждому, вместе с заработанными им самим деньгами, около пятнадцати рублей серебром: Степану немного побольше, потому что он ходил с учеником.

Немедленно совершены были *слитки*, или так называемый *запой*; товарищи поздравили друг друга с прибылью. Ученику-парнишке куплены были две бутылки меда и пряники. Тем бы дело и кончилось, если б Тереха не увлекся легким похмельем и не спросил себе кое-чего покрепче, да и в посудине побольше. Петруха не отставал и тоже за спасибо угостил товарища. Через полчаса Тереха уже стлался вприсядку по уродливому полу кабака и визжал пьяные и нескладные песни. Собралось народу много, желая посмотреть, как-де швецы *запой* творят, пляшут и песни галицкие поют. Петруха достал у целовальника балалайку и тренькал на ней для большого задору Терехи. Дело кончилось тем, что мужики-зрители прельстились удалством галицкого ерша и начали его потчевать. Бог весть, что бы дальше было, если б не стояла на стороне братская дружба и

опытная старость в лице старика Степана. Он кое-как уговорил товарищей идти, после многих ругательств Терехи и упирательств и руками и ногами Петрухи. Степан хладнокровно перенес все обиды, держась по словицы: пьяному море по колена; не сам говорит, а хмель за него распорядок творит.

— Что ж ты не пил, дядя Степан? А ведь знатную штуку удрали: инда мужики тутошные потчевать начали, — говорил очнувшийся на другой день Тереха.

— Куда уж мне с своею старостью да с немогою тягаться за вами? Бывало, брат, время, тягивал я куды хлестко. Не только тебя, а вот и Петруху бы *завидки*⁸ взяли: штоф ошарашишь, — словно ни в чем не бывал: еще косуху в придачу попросишь... только ухмыляешься да и песенки попеваешь. Ноне не то стало: хватишь стакашка три для куражу да от холоду, ну, — и удовлетворен с почтением. Вам, ребята, хорошо, пока вот молодух-то не завели; тогда, вестимо, другую песню затынешь.

Так совершает швец свою нехитрую работу, перемежая ее прибаутками и присказками. Мужик любит его за такие одолжения и не прочь, в длинный и скучный зимний вечер, послушать его веселых рассказов: на то и сказка придумана, чтоб добрых людей потешать. Иной раз и страшно делается, и чуется привычному уху, как

По селам ткут,
По деревням ткут.
Одна баба-яга
Костяная нога
Помелом метет
Вдоль по улице.
Захотелось ей
Все б по Ваниным
Да по Машиным,
Все б по косточкам
По ребяческим
Покататися,
Повалятися.

И вспомнит, может быть, мужичок-то благодатное время, когда бабушка напевала ему своим дрожащим, старушечьим голосом ту же присказку. И головой она качает, и голос ее как-то страшен стал. Страшно сделалось и ребенку: завернулся он в бабушкину плахту, только видна его головенка; крепко боится ребенок буки. Смотрят его испуганные глазки на старуху, слезинки так и прыгают по разгоревшимся щечкам. Долго глядел он на морщинистое лицо рассказчицы и вдруг заплакал, да так громко заплакал, что самой бабушке страшно стало.

Изо всех сказок шведов про шведов — вот одна самая характерная и любопытная:

Когда-то жил-был царь на царстве, на ровном месте, как сыр в масле. Этот царь охотник был сказок слушать. И послал он по царству указ, чтоб сказали ему сказку, которой еще никто не слышал.

— За того, кто лучше скажет, отдам полцарства и дочку свою царевну.

Этой сказки сказать никто не находится.

Приходит из кабака швец, — говорит царю:

— Ваше царское величество! Извольте меня напоить-накормить: я вам буду сказки сказывать.

И напоили, и накормили, и на стул посадили.

И стал швец сказки сказывать:

— Как доселева был у меня батюшка: богатого живота человек! И он построил себе дом; голуби по шелому ходили, — с неба звезды клевали. У этого дома был двор: от ворот до ворот летом целый день голубь не мог перелетывать. Слыхали ль такую сказку вы, господа бояре, и ты, надежа-царь великий?

Те говорят:

— Не слышали.

— Ну, так это не сказка, а присказка: сказка будет завтра вечером. Теперь прощайте!

И ушел.

И приходит опять на другой день и говорит:

— Ваше царское величество! Извольте напоить-накормить: я вам буду сказки сказывать.

И напоили, и накормили, и на стул посадили.

И стал швец сказки сказывать:

— И как доселева был у меня батюшка, богатейшего живота человек! И он состроил себе дом: голуби по шелому ходили — с неба звезды клевали. У этого дома был двор: от ворот до ворот летом в целый день голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой; во трубы трубят, и в рога играют, а друг у друга лица не видят и голосов не слышат. Слыхали ли такую сказку вы, господа бояре, и ты, надежа-царь великий?

— Нет, не слышали.

Шапку взял, да и ушел.

Царь видит, что это человек непутной: жаль стало царевну отдать, — говорит боярам:

— Что, господа бояре? Скажем ему, что слышали такую сказку и подпишимся.

Бояре согласились, что слышали-де такую сказку, и подписались.

На третий день приходит этот портной и говорит:

— Ваше царское величество! Извольте меня напоить-накормить: я вам стану сказки сказывать.

И напоили, и накормили, и на стул посадили.

И стал швец сказку сказывать:

— Как доселева жил-был у меня батюшка: пребогатого-богатого живота человек! И состроил он себе дом: голуби по шелому ходили, с неба звезды клевали. У этого дома был двор: от ворот до ворот летом, в целый день, голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой; во трубы трубят и в рога играют, а друг у друга лица не видят и голосов не слышат. И на дворе была выращена кобыла: по трое жеребят в сутки носила и все третьяков. И он в ту пору жил гораздо богато! И ты, надежа-царь, занял у него сорок тысяч.

Слыхали ль такую сказку вы, господа-бояре, и ты, надежа-царь великий?

Господа видят, что делать нечего: говорят все, что слышали.

— Ты, великий царь, занял у моего батюшки сорок тысяч денег: вот, вишь, все господа слышали. А ты мне денег до сих пор не отдаешь.

И видит царь, что дело нехорошее: надо отдать царевну и полцарства, либо сорок тысяч денег.

Отдал ему сорок тысяч денег.

И пошел этот портной опять в кабак с песнями.

Вот и сказка вся.

Мало этих рассказов, — швец, за отсутствием большака, наколует, пожалуй, и дров и воды натаскает в избу; сам и лучины нащиплет. Хоть и поведет он на будущую зиму те же обычные прибаутки, какими тешил и запрошлый год, но ведь и то сказать, ину пору и старое годится, коли хорошо да потешно. Так рассуждая, мужичок любит своих швцов-прибаutoчников и всегда принимает их радушно и для угощенья их ничем не скупится. В свою очередь, и деревенские ребята любят швцов и ни в чем не отстанут от старших: поят их вином, уступают первое место на *супрядках*⁹, подводи лишь только *белендрясы*, чтобы и им было любо, да и девкам потешно.

Вот почему швец, хотя и шабашит в субботу и ничего не работает в праздник, но зато всегда найдет в праздник теплый угол и горячие щи в любой деревенской избе. Впрочем, это и не так необходимо, потому что холостые ребята утром побывают в селе, а вечером уже непременно до вторых петухов сидят на поседках. У женатого швеца своя компания: он или в избе на полатях, или на крыльце кабака *судачит* со словоохотливыми мужичками о хозяйственных делах: каково-то Бог даст на будущий год лето, будет ли урожай, да мало что-то снегу выпало: не померзла бы озимь.

Праздник Рождества швец уже непременно встречает за заутреней в сельской церкви своего прихода.

И если нет после праздников работ по соседству, он, смотришь, копается около дому: новые дранки на крышу положит; двор вновь выстелет, если есть запасная солома; лаптишки тачает, веревки вьет; себя и своих обшивает, баб уму-разуму учит, одним словом, исполняет все, что требуется по хозяйству. Там, посмотришь весной, — он подновляет телегу, снаряжает соху или косулю, *клеплет* косы, закупает серпы и незаметно входит в сферу жизни семьянина-пахаря. Чирикает его лопатка по косе где-нибудь на лугах; изогнул он свою спину на пашне и подрезает серпом высокую рожь и пшеницу. Наступит осень, — и повез швец-прибаutoчник целый ворох *снопов* на своем *скрипучем андреце*¹⁰ в овин. На другой день он или стоит на *запажинах*¹¹ и, высунув из *садила*¹² голову, кладет снопы на *колосницы*¹³ для просушки, или хлопает *молотилом*¹⁴ по высушенным и разбросанным по *току*¹⁵ колосьям. А может быть, везет он, на своем любимом гнедке, в *паловни*¹⁶ уже обмолоченную и готовую перхлину¹⁷.

Одним словом, весной, летом и в начале осени швец ни в чем не отстает от любого своего соседа мужика — не швеца. Но лишь только пооблетит весь лист с черемухи, что растет под самыми окнами его избы, и опустеет скворечник, что приделали балуны-ребятишки на длинном шесте, подле амбара, — он уже чует близость любимой работы. Кончится в хозяйстве *капустница*¹⁸, перемелется собранный хлеб, смотришь, на двор подоспела уже и осенняя Казанская, заволокло снежком всю улицу; валит пар в избу, лишь только отворит баба дверь или волоковое окно; а грачи и вороны так и гоношат, чтобы сесть поближе к трубам на крыше. Пришло время ребятам обновы шить к празднику, шубенку какую или армячишко, — чтоб и на зиму заручка была. И вот дня три или четыре ходит швец по соседям до

самой Казанской. А там, смотришь, недели через две или три он начал приготовляться и к дальней дороге.

Дня за два хозяин подговорит прежних товарищей и назначит им время зайти за ним. С вечера накануне велит хозяйке приготовлять путину: одежонку, какая понаберется по скорости, лепешку какую-нибудь с творогом, яиц вкрутую. Сделает на другой день запой с ребятами-спутниками, и снова поплелись шведцы по ухабистой дороге, в знакомые селения — шутки творить, работу спорить.

Вот вся нехитрая жизнь и работа галицких шведов! Но прежде чем он делается независимым хозяином, ему предстоит еще много испытаний, начиная с той поры, как он, парнишкой, расстается с родной избой, до той, когда кончит ученье, т. е. делается работником-подмастерьем.

Вот как обыкновенно делается это дело: не в силах отцу прокормить большую семью, или проще — зашаллся у галицкого мужичка парнишко, ладу с ним не стало, а ведь надо сделать из него путное дело. Вырастет балбесом, ни семье впрок, да и себе только маета. Думает-думает отец и ума не приберет: как бы извернуться с блажным детищем. Ляжет на полати, — сон не берет: то и дело перевертывается с боку на бок, — только полати скрипят. На лавку ли сядет: закусил клочок бороды и голову повесил, а сам искоса поглядывает и на жену-большуху, и на баловника-парнишку, который вот только что сейчас всех кур, бураком с бабками, перешугал из коника. Выбежали куры посеред избы и закудахтали, — так что насилу сама уняла. Сели за ужин; ничего большак не ест и словно не глядел бы ни на что. Лег он спать: опять та же дума лезет в голову: в Питер, Нижний, в Москву пустить — баловаться еще пуще станет без родительского смотренья. Наконец, кое-как решил поместить балуна около своей деревни, держась пословицы: дальше моря, — меньше горя.

Встал большак поутру — ухмыляется, так что и бабе-жене любо стало. Ломало, ломало вчера, думает она, словно и невесть что приключилось. Бурей такой смотрит, — инда и словечка боялась промолвить: залепит туза, другой раз не сунешься. А сама крепко следит за распорядком мужа: надел он полушубок, платком и кушаком туго-натуго подвязался; надел на ухо шапку-треух, а сам улыбается и хоть бы словечко промолвил. Берет невтерпеж бабу, и только бы спросить, куда-де собрал, — а боязно: ляпнет старый, ни за что ляпнет. Пошел большак к двери и только за скобку...

— Обедать ждите! — таково-то громко промолвил, инда душа в пятки залезла, и повернул на зады. Обогнул вон и бурмистрин овин, и земского клеть назади оставил, и свою баню прошел. «Ну, знамо, куда как не в Демино!» — решила большуха, следившая за путешествием мужа.

И действительно, — вот что случилось: пришел большак прямо в швецову избу, что хозяином всегда ходит и учеников берет на выучку.

— А я к тебе, дядя Степан.

— Милости просим! Что тебе надеть, дядя Митяй?

— Не возьмешь ли парнишку на выучку? Я б Ванюшку свою — во бы как рад отпустить.

И дядя Митяй показал рукою на сердце.

— Да ты как его хочешь пустить? Работника, сам знаешь, я не держу: один за всем смотрю; а в ученье я уж взял, признательно, одного молодца. Сам и упросил, сам и выбрал изо всей деревни, — что есть смирёну. Вишь, ноне я не пойду далеко-то, — хочу около своих походить.

— Яви милость, дядя Степан, — не откажи, уважь просьбу-то! Заставь со старухой вечно Бога молить. А уж в другом-чем мы не постоим: что хошь возьми, только научи парнишку уму-разуму. Вестимо, как у вас там ведется, — потом и дадим.

— Да как у нас ведется: на сколько зим-то ты хочешь отдать?

— Твое дело, дядя Степан, твое дело; на сколько хошь отдадим: во-как!! — говорил обрадованный отец, а сам ухмыляется. Подсел к Степану и кота гладит, что у того под боком мурлыкает, и шапку с места на место перекладывает.

— Об одном только и толк весь: возьми парнишку, а о зимах не толкуем.

— Берем занятного на три зимы, — заговорил Степан, — а коли туп молодец да не скоро толку-то набирается, ну, — и пять зим живет. Дольше и не держим, да и в заводе нету этого. Одевать-то его сам, что ли, станешь?

— Где самому, — ты уж одень!

— Ну, а заручку дашь, что ли, какую?

— Знамо дело, дядя Степан, масла дам, яиц... коли надыть: сушеной черники. Всего, чего хошь, дадим.

— Яиц мне не надобе: своих много. А вот кабы медку прислал, — важно бы было!

— Ладно, ладно, — меду большущий бурак... ниток... Холста, поди, хочешь?

— Не мешает и это. Ну, а как науку кончит, — мне зиму должен служить, без платежа, — на *спасибо*. Одежонку всю сошью, а ученье кончит — тулуп бараний, шапку тоже от себя дадим. Ладно ли? А ладно, — так проводи утре Ванюшку, и дело шито!

На том и порешили.

Пришел Митяй домой на радостях, — словно сейчас оженился: и весело таково смотрит, и за обедом с лихвой наверстал вчерашний ужин. Потом немного повозился на дворе; разболочся, лег на полати, свесил с бруса голову и повел такие речи:

— Спишь, Офимья, аль нету? Да где Ванюшка-то?

— Нет, не сплю, пахтанье пахтаю!

— *Шляки*¹⁹ считаю! вон вечор Гришка Базихин все-го облупил: два десятка *гнезд*²⁰ выиграл, — отвечали два голоса на хозяйский позыв.

— Утре в ученье идешь! — решительным голосом продолжал отец. — С деминским Степаном сговорился на три либо на пять зим. Обещал шубу сшить. Только меду бурак попросил, да холста, да ниток пять *пасм*. Шабаш, Ванюшка, баловствам твоим непутным, садись за иглу, авось толку-то побольше будет. Приготовь ему, matka, полушубок, портянки. Лаптишки-то сам пособири, какие там есть у тебя, да еще что придется... Шляков, мотри, не бери, пучеглазый, некогда будет баловством заниматься, слышь?..

На другой день мальчишка, со всеми прибавлениями, был уже в швецовой избе, хоть и не дальше пяти-семи верст от своей деревни. Вечером, при огне, он уже получил работу — *задачу*: наложить заплатку на старый хозяйский армяк. Учитель усадил его на лавку, научил класть ноги по-швецовски — калачиком, держать иглу и вошить нитку, Долго возился парнишка с непривычной работой, наконец, одолел и отдал хозяину.

— Ишь ты каких косуль накропал! — сказал тот с ободрительным видом и насмешливою улыбкою, рассматривая куда как плохо заштукованную прореху. — Ну да ладно, — на первых порах и то ничево, как есть нечево. Опасля смекнешь, коли в толк будешь брать да слушаться. Бают ведь старики: тупо сковано — не наточишь, глупо рождено — не научишь, а коли сметка есть: пойдет дело в *кон*²¹. Наша работа нехитрая, — мало-мало всякая баба не умеет. Главная причина — не балуйся да не повесничай: запреж говорю. Денную работу сполняй безупречно, как по-писанному; а на шабаш, что хошь делай: только чтоб мне не было тошно. Вот как по-нашему! Уж я человек вот каков уродился: имей ко мне лишь обычай да потрафляй, — в чем тебе потрафлять мне надеть, — и жить в миру будем, не обижу тебя и отцу твоему угодим. А коли супротивность какая выдет, да дело волком в лес глядеть станет: ну, знамо, пеняй на себя да на свою спину; я тебе толком запреж говорю.

— Есть у меня про вашего брата штука, не одного тебя в люди вывела, — заключил наставник и показал ременную плетку.

Плетка эта составляет также необходимую принадлежность всякого швеца, который имеет учеников. Он и носит ее всегда с собою, в заветной кожаной суме. Устройство этого орудия чрезвычайно оригинально: это — длинный, тоненький кожаный мешок, туго набитый куделью и залитый на конце довольно большим куском вару. Пользу ее швец признает по тому обстоятельству, что иногда приходится ему сидеть далеко за полночь при спешной работе. Ясно, что непривычный ученик задремлет или даже просто прикорнет под тяблом. Иглою в бок или кулаком не достанешь иной раз, а плеткой этой как раз пробудишь: плетть-де не мука, вперед наука.

Сначала трудно бывает привыкать парнишке к новому житью в чужом доме, да еще и в ученье. Это не то, что дома! Здесь встанешь утром спозаранку в такую пору, что дома и бабушка-то только-только встает. Умоешься: поди дров наколи, натаскай их в избу, если не успел сделать это с вечера. Там, немного погодя, за водой ступай на колодец, что посеред улицы, да такой крутой, насилу раскатаешь. Воду-то принеси в избу. Глядишь, баба заломается и избу велит выместь, печку выгрести, овец загнать в *изгородь*²², чтоб не бегали по двору; а *сам-от* коней велит напоить: успевай, знай, пошевеливаться. Трудно парнишке на первых порах, если нет заручного: и рад он, крепко рад, когда подойдет суббота, и побежит он в свою деревню, чтоб за всю прошлую неделю выспаться, в бабки наиграться, да и колобушки домашние как-то повкуснее и подобнее Степановых; «а кажись, из такой бы и муки-то сделаны, и опара на дрожжах, и масла нашего клали!»

Разумеется, если у швеца учеников двое живут, им и работа не в работу. За водой пошлют, — в снежки прежде поиграют; овец загнать велят, — попробуют, не

свезет ли какая; а лошадей поить — и ждут не дождутся. Прежде чем доведут они их до колоды, смотришь — скачут два баловника рядком *на выгон*; а сами смотрят, не увидал бы хозяин. Заметил он, — на допрос позовет: кто делу зачинщик. Поклеплют ребята один на другого, а не удастся штука, вздерет хозяин обоих: и тут ничего, — на людях и смерть красна. Пойдут в сенцы, посмеются оба, да еще и спор заведут о том, кого больше высек, кому больше розог дал: а целый веник истрепал, что лежал в углу подле *приступков*.

Кончится зима, а с нею и швцовы работы, — ученики уходят домой на целую весну и лето. Глядишь, а парнишко уже и *рубец*²³ накладывает прямо; так приладит заплату, что и баб зависть возьмет. Пошел парнишко, в куче соседских ребят и девок, за грибами и ягодами летом; играет в городки посеред деревенской улицы или в лапту где-нибудь на лугу. Осень придет, — топит он отцовский овин и печет в *яме*²⁴ картофель; капусту рубят дома — ест не наестся сладких кочерыжек, — живот даже вспучит. Да и то сказать: скоро опять в чужие люди придется идти: запас не худое дело.

Через три-четыре зимы ученик делается уже настоящим швецом-работником. Ничто уже не отобьется от его приобвыкших рук, — никакая там хитрая выкройка, хоть бы даже придумал ее сам заказчик. Иной задает такую задачу, что и сам-от в толк не возьмет: хочется вот ему положить на карман красную кожу с зубчиками, да так, чтобы было красиво и всякая б девка заметила. Разом смекнет молодец-работник: и тюленьим ремешком обложит, и пуговики красивенькие подберет, и петельки ровненькие сделает, — во всем угодит приятелю. Поневоле тот угостит догадливого мастера в питейном. Иному барскому кучеру захочется, к новой красной рубахе, сделать широкие шаровары из плису, да такие широкие, что вот шел бы он — словно барка по Волге на всех парусах. И тут швец не ударит в грязь лицом и подведет такую штуку, что целую неделю барский кучер будет ходить по двору да ухмыляться: —

пусть-де девки страдают по его удалству да *потяпкам*²⁵.

Первою мыслью молодого швеца, по окончании условного срока ученья, — установить свое мастерство и ходить особняком от хозяина, — конечно, в таком только случае, если он не обязан отслужить учителю на *спасибо*. Но ведь и этот же срок имеет конец. Как бы то ни было, задуманное предприятие на следующую же осень приводится в исполнение; но почти всегда кончается неудачно. Поговорка ли, какую сами же швецы про себя сочинили, да еще и хвастаются: что мы-де швецы-портные, воры клетные, день с иглой, а ночь с *обротью*²⁶ (ищем поймать лошадь о трех ногах), а может быть, и такое рассуждение хозяев: «что поди-де еще к новому-то молодцу привыкай, да на какого нарвешься, иной только взбудоражит все в доме: и невесток перессорит, коли добро это заведется в хозяйстве; а чего доброго, и штуку какую стянет: ведь есть же сорванцов-то на белом свете; в душу не влезешь, чужая душа — потемки, а грех да беда на ком не живет, — огонь и попа жжет». Вследствие такого рассуждения, мужичок как-то тут и неповадлив на прием незнакомого швеца и любит держаться, по *знати*, за старых.

Попробует новичок, да на том и порешит, чтоб искать на будущую зиму товарищей, — не возьмут ли в артель. Куда ближе обратиться, как не к учителю: он познакомит, мужички приглядятся, — а уж там, коли Бог поможет, можно и самому учеников понабрать и хозяйство по-путному обставить.

И нигде, можно положительно сказать, нет такого единодушия и товарищества, как в швецовских артелях. Нигде так не оправдывается и не приводится в исполнение заветная поговорка: один и в доме бедует, а семеро и в поле воют, как в этом небольшом классе промышленников. Ходят они вместе; деньги делят поровну, безобидно, так что в зиму достанется каждому иногда свыше пятидесяти руб. асс.; никогда не пользует-

ются заслуженною славою хороших людей я мастеров, чтобы отбить у другой компании работу: только вывесит в окно пары две овчинных ремешков, — и пройдут ребята мимо этой деревни в свою, знакомую. Не спорят и о том, если перебьет иной швец работу по соседству, и засядет там, где другой сидел в прошлую зиму: тут весь народ знает друг друга и сам виноват, если запоздал, и прозевал урочное время, или худая слава на твою честь легла. В этом обоюдном братстве могут спорить со швецами одни, может быть, земляки-плотники питерские в своих артелях.

СЕРГАЧ

Приступая к рассказу об одном из оригинальных промыслов, составляющем исключительную особенность русского нрава, спешим оговориться.

Промысел или способ прокормления себя посредством потехи досужих и любопытных зрителей шутками и пляскою ученых медведей не так давно был довольно распространен. Теперь, при изменившихся взглядах, при усилиях общества покровительства животных, промысел сергачей значительно упал и близок к окончательному падению. От столиц сергачей положительно отогнали: теперь не видать ученых медведей, пляшущих на окраинах, на дачах наших столиц в летнее время. Кое-как держится еще этот промысел около мелких ярмарок в глухих и отдаленных местностях, всего больше в северных лесных и южных степных губерниях. Но и на юге, в Одессе, организовалось общество покровительства животных, обеспечившееся членами в разных других городах Херсонской, Подольской и Волынской губерний; оттого, может быть, теперь и на севере стали чаще появляться с медведями бессарабские цыгане. В то же время очень мало уже показывается и сергачей из Приволжья.

В наших северных великороссийских губерниях обычай водить медведей усвоен жителями известных местностей; большею частью водят татары Сергачского уезда, Нижегородской губернии. И вот происхождение названия сергача, которое переходит с хозяина-поводыря и на мохнатого плясуна; один проводник остается при своем неизменном названии — *kozy*. Имя *сергач* сделалось в последнее время до того общим, что будь поводырь из Мышкина (Ярославской губернии), владимирец, костромич, ему непременно дается имя нижегородского городка. Часто, однако, появление плясунов оповещается и еще более общим криком — говорят обыкновенно: «медведи пришли!» Впрочем, маломальски знакомый с коренными, главными отличиями великороссийских наречий и говоров, легко отличит сергача от мышкинца и владимирца: первый говорит своим мягким низовым — нижегородским наречием, оба остальных — суздальским грубо-окающим. Цыгане с медведем решительно никогда не заходят на север, вероятно, ограничиваясь своей благодатной Украиной. Однако не лишне заметить и то обстоятельство, что нет правил без исключений, нет закона безусловно неизменного: попадают и такие, которые так себе надумали приняться за медведя, без исконного обычая предков, и потому неудивительно, если при расспросах признается поводырь, что он не ближе, не дальше — сосед ваш, только бы жил он на бору, да водились в этом лесу медведи. Но это бывает очень и очень редко.

Ученые медведи носят еще название *сморгонцев*, наш «сергачский барин» переименовывался в «сморгонского студента», «сморгонского бурсака», но это медвежье прозвище было распространено лишь в западной половине России, да и там теперь исчезло. Исчезновение произошло вслед затем, как прекратились, повымерли все те ученые медведи, которых воспитывал богач Радзивилл, знаменитый «Пане-Коханку» и на которых — по преданию — он ездил в Вильну и раз даже

явился на сейм в Варшаве. По преданию этому (кое-как сохранившемся на месте), Радзивиллу ловили медведей в густых первобытно-диких лесах Полесья по Припяти около Давид-Городка. Вели их 300 верст до знаменитой резиденции Радзивилла — Несвижа, в трех верстах от которого (в фольварке Альбе) существовал разнообразный зверинец. Здесь косолапый ставленник отдыхал короткое время и затем уводим был в другое имение Радзивилла — местечко Сморгоны, лежащее на почтовом тракте из Вильны в Минск, в 30 верстах от Ошмян и более чем в 200 от бывшей резиденции князя Радзивилла. Здесь, в Сморгонах, было особое каменное строение, медвежье училище, носившее шуточное прозвище Сморгонской Академии. Косолапые студенты здесь обучались особыми мастерами в двухэтажном здании, в котором каменный пол второго этажа накаливался громадною печью из нижнего этажа. Студенту надевали лапти (каверзни) на задние лапы, предоставляя передним становиться на горячий пол; но так как нежные медвежьи подошвы жару не выдерживали, то медведь и был принужден держаться на задних лапах на дыбах. Достигая такой привычки или способности, медведь приучался затем к известным штукам, которые делали из него зверя ученого, но которые, однако, не вызывали таких остроумных приговоров, какими славятся нижегородские сергачи. Выученные медведи производили репетиции и жили потом в местечке Мире, другом радзивилловском имении, в 46 верстах от г. Новогрудка (в Минской губ.) и уже только в 28 верстах от радзивилловских дворцов в Несвиже. В Мире ученые медведи поступали к цыганам, которые, как известно, издавна были поселены здесь и имели — по преданию — даже собственного короля, пожалованного в это звание чудачком и самодуром Паном-Коханком. Мирские цыгане водились со сморгонскими бурсаками, бывшими в саду в особом деревянном здании-зверинце, превратившемся теперь в уютный и теплый

жилой дом современного владельца (гр. Витгенштейна). Кроме экстренных случаев сеймовых поездок эксцентрического Пана-Коханку и прогулок его на медведях по собственным местностям, — цыганам предоставлено было право водить медведей на посторонние потехи и для собственных заработков. Отсюда и появление с учеными медведями — сморгонскими бурсаками — и цыган вслед за нижегородскими татарами. В настоящее время (по личным нашим расспросам в тех местах) не только не существует в Сморгонах чего-либо похожего на этот промысел, но и в Мире не осталось даже следа цыган, переродившихся в коренных белорусов. Самые предания очень слабы, неточны, хотя и существуют указания на месте бывших зверинцев. И только в склепе несвижского огромного костела среди других Радзивиллов сохраняется скелет и Пана-Коханка, человека огромного роста с широкою грудью, одетого в высокие кожаные ботфорты (хорошо сохранившиеся), в полуистлевший бархатный кунтуш, с вышитой на левой стороне груди звездю и с тканым серебром широким шелковым поясом.

* * *

— Ну-ко, Михайло Потапыч, поворачивайся! Привстань, приподнимись, на цыпочках пройдишь: поразломай-ко свои старые кости. Видишь: народ собрался подивиться да твоим заморским потяпкам поучиться.

Слова эти выкрикивал нараспев и тем низовым наречием, в котором слышится падение на мягкие буквы с некоторой задержкой или как бы коротеньким, едва приметным заиканьем (каким говорят по всей правой стороне Волги) — низенький мужичок, в круглой изломанной шляпе с перехватом посередине, перевязанным ленточкой. Кругом поясницы его обходил широкий ремень с привязанною к нему толстою железною цепью; в

правой руке у него была огромная палка — орясина, а левой держался он за середину длинной цепи.

В одну минуту, на заманчивый выкрик, сбежалась толпа со всех концов большого села Бушнева, справлявшего в этот день свой годовой праздник летней Казанской. Плотной обступила глашатаю густая и разнообразная стена зрителей: тут были и подвязавшие пестрые передники под самые мышки — доморощенные *орженушки*, охотницы щелкать орехи, хихикать, закрываться рукавом и прятаться друг у дружки за спиной, когда какой-нибудь незнакомый любезник начнет *отгибать колена* и поведет медовые речи. Толкались и ребята в рубашках, без шапок, готовые при первом удобном случае прилично встретить и проводить захожего любезника, если он не сойдется с ними заранее. Подобрался позевать и приезжий посадский парень, вырядившийся в свою праздничную синюю сибирку, страстный любитель пощелкать в бабки, и для того всегда державший в заднем кармане несколько гнезд и свинцовую битку, за которую часто доставалось его боккам и микиткам. Подошел посмотреть и волостной писарь в халате, мастер выкуривать одним духом целую трубку самбраталического и не поперхнуться. Не было только одних стариков и солидных гостей, которые, забравшись в избы, поднимали страшный шум о какой-нибудь запущенной мельнице, да бабы-большухи, как угорелые, метались от шестка к столу и обратно, выставляя жирные пироги и поросят с кашей на потребу дорогих гостей, которые кучами валили из избы в избы от раннего полудня до позднего вечера.

Между тем, на площадке раздавалось звяканье цепи, и мохнатый медведь с необычайным ревом поднялся на дыбы и покачнулся в сторону. Затем, по приказу хозяина, немилосердно дергавшего за цепь, медведь кланялся на все четыре стороны, опускаясь на передние лапы и уткнув разбитую морду в пыльную землю.

— С праздником, добрые люди, поздравляем! — приговаривал хозяин при всяком новом поклоне зверя,

а наконец, и сам снял свою измятую шляпу и кланялся низко.

Приподнявшись с земли последний раз, медведь пятится назад и переступает с ноги на ногу. Толпа немного осаживает, и поводырь начинает припевать козлиным голосом и семенить своими измочаленными лаптишками, подергивая плечами и уморительно повертывая бородкой. Поется песенка, возбуждавшая задор во всех зрителях, начинавших снова подаваться вперед:

Ну-ко, Миша, попляши,
У тя ножки хороши!
Тили, тили, тилибом,
Загорелся козий дом:
Коза выскочила,
Глаза выпучила.
Таракан дрова рубил,
В грязи ноги завязил.

Раздается мучительный, оглушительно-нескладный стук в лукошко, заменяющее барабан, и медведь с прежним ревом — ясным признаком недовольства — начинает приседать и, делая круг, загребает широкими лапами землю, с которой поднимается густая пыль. Другой проводник, молодой парень, стучавший в лукошко и до времени остававшийся простым зрителем, ставит барабан на землю и сбрасывает привязанную на спине котомку. Вытащив оттуда грязный мешок, он быстро просовывает в него голову и через минуту является в странном наряде, имеющем, как известно, название козы. Мешок этот оканчивается наверху деревянным снарядом козлиной морды, с бородой, составленной из рваных тряпиц; рога заменяют две рогатки, которые держит парень в обеих руках. Нарядившись таким образом, он начинает дергать за веревочку, отчего обе дощечки, из которых сооружена морда, щелкают в такт уродливым прыжкам парня, который, переплетая ногами, время от времени подскакивает к медведю и щекочет его своими вилами. Этот уже готов был опять

принять прежнее, естественное положение, но дубина хозяина и щекотки козы продолжают держать его на дыбах и заставляют опять и опять делать круг под веселое продолжение хозяйской песни, которая к концу перешла уже в простое взвизгиванье и складные выкрики. С трудом можно различить только следующие слова:

Ах, коза, ах, коза,
Лубяные глаза!
Тили, тили, тилибом,
Загорелся козий дом.

Медведь огрызается, отмахивает козу лапой, но все-таки приседает и подымает пыль.

Между тем, внимание зрителей доходит до крайних пределов: девки хохочут и толкают друг дружку под бочок, ребята уговаривают девок быть поспокойней и, в то же время сильно напирают вперед, отчего место пляски делается все уже и уже и Топтыгину собственной спиною и задом приходится очищать себе место.

Песенка кончилась; козы как не бывало. Хозяин бросил плясуну свою толстую палку, и тот, немного огрызнувшись, поймал в охапку и оперся на нее всею тяжестью своего неуклюжего тела.

— А как, Михайло Потапыч, бабы на барщину ходят? — выкрикнул хозяин и самодовольно улыбнулся.

Михайло Потапыч прихрамывает и, опираясь на палку, подвигается тихонько вперед, наконец, оседлал ее и попятился назад, возбудив неистовый хохот, который отдался глухим эхом далеко за сельскими овинами.

— А как бабы в гости собираются, на лавку садятся да обуваются?

Мишук садится на корточки и хватается передними лапами за задние, в простоте сердца убежденный в исполнении воли поводыря, начавшего, между тем, следующие приговоры:

— А вот молодницы — красные девицы студеной водой умываются: тоже, вишь, в гости собираются.

Медведь обтирает лапами морду и, по-видимому, доволен собой, потому что совершенно перестает реветь и только искоса поглядывает на неприятелей, тихонько напевая про себя какой-то лесной мотив. Хозяин между тем продолжает объяснять:

— А вот одна дева в глядельцо поглядела, да и обомлела: нос крючком, голова тычком, а на рябом рыле горох молотили.

Мишка приставляет к носу лапу, заменяющую на этот случай зеркало, и страшно косится глазами, во всей красоте выправляя белки.

— А как старые старухи в бане парются, на полкѣ валяются? а веничком во-как!.. во-как!.. — приговаривает хозяин, когда Мишка опрокинулся навзничь и, лежа на спине, болтал ногами и махал передними лапами. Эта минута была верхом торжества медведя; смело можно было сказать ему: «умри, медведь, лучше ничего не сделаешь!» Ребята покатались со смеху, целой толпой присели на корточки и махали руками, болезненно охая и поминутно хватаясь за бока. Более хладнокровные и выдавшие виды сделали несколько замечаний, хотя и довольно сторонних, но все-таки более или менее объяснявших дело.

— Одна, вишь, угорела, — продолжал мужик, — у ней головушка заболела! А покажи-ко, Миша, которое место?

Медведь продолжал валяться, видимо, желая до конца напотешить зрителей, но хозяйская палка, имевшая глупое обыкновение падать как раз не на то место, где чешется, напомнила зверю, что нужно-де всему меру знать, а хозяйские уроки не запомнить. Очнувшийся Мишка сел опять на корточки и приложил правую лапу сначала к правому виску, потом перенес ее к левому, но не угодил на хозяина. Этот, желая еще больше распотешить зрителей, сострил, и, дернув порывисто за цепь и ударив медведя по заду, промолвил:

— Ишь ведь, старый хрыч какой! живот ему ломит, а он скулу подвязал! Покажи-ко ты нам, как малые ребята горох воруют, через тын перелезают.

Мишка переступает через подставленную палку, но вслед затем, ни с того ни с сего, издает ужасный рев и скалит уже неопасные зубы. Видно, сообразил и вспомнил Мишка, что будет дальше, и крепко не по нутру ему эта штука. Но, зная, такова хозяйская воля и боязно ей поперечить; медведь ложится на брюхо, слушаясь объяснений поводыря:

— Где сухо — тут брюхом, а где мокро — там на коленочках.

Недаром Топтыгин неприязненным ревом встретил приказание: ему предстоит невыносимая пытка. Хозяин тащит его за цепь, от одной стены ребят до другой, противоположной, как бы забыв о том, что зверь всегда после подобной штуки утирается лапой. С величайшею неохотою поднимает он брошенную палку и, схватив ее в охапку, кричит и не возвращает. Только сильные угрозы, на время замедлившие представление, да, может быть, воспоминание о печальных следствиях непослушания заставляют медведя повиноваться. Сильно швырнул он палку, которая, прокозырявши в воздухе, далеко перелетела за толпу зевак. Наказанный за непослушание, медведь начинает сердиться еще больше и яснее: он уже мстит за обиду, подмяв под себя вечно неприязненную козу-барабанщика, когда тот, в заключение представления, схватился с ним побороться. Прижал медведь парня лапой, разорвал ему армяк, и без того худой и заплатанный, и остановился, опустив победную головушку. Только хозяйская памятка привела его в себя, громко напомнив и о плене, и о том, что пора-де оставить шутки, не место им здесь.

Осталось Мишке только пожалеть об этом и сойти со сцены, но неумолимая толпа трунит над побежденным и поджигает его схватиться снова с медведем. Однако

этот последний совсем не расположен тягаться, достаточно уверенный в собственных силах. Он окончательно побеждает противника уже простою уступкою: Мишка валится навзничь, опрокидывая на себя и козубарабанщика.

— Прибодришься же, Михайло Потапыч, — снова затянул хозяин после борьбы противников. — Поклонись на все четыре ветра, да благодари за почет, за гляденье, — может, и на твою сиротскую долю кроха какая выпадет.

Мишка хватает с хозяйской головы шляпу и, немилосердно комкая, надевает ее на себя, к немалому удовольствию зрителей, которые, однако же, начинают пятиться, в то время как мохнатый артист, снявши шляпу и ухватив ее лапами, пошел, по приказу хозяина, за сбором. Вскоре посыпались туда яйца, колобки, ватрушки с творогом, гроши, репа и другая посильная оплата за потеху. Кончивши сбор, медведь опустил голову и тяжело дышал, сильно умаявшись и достаточно поломавшись.

Между тем, опять начались на время прекратившиеся хороводы, сопровождаемые писком гармоник и песнями горластых девок. В одном углу, у забора, щелкали свайкой, в другом играли в бабки, соображаясь с тем: жохом или ничкой ляжет битка. На одном крыльце показалась толпа подгулявших гостей и затянула песню, конченную уже в соседней избе на пороге. Чванились гости, кланялись хозяева, прося хоть пригубить чарку и не погнушаться пирогом с морковью, и буйно-весело разгорался деревенский праздник, которому и веку-то только три дня, и то потому, что покосы кончились, а рожь только лишь недавно начала наливаться.

— Что, земляк: поди, с Волги аль с Оки, что ли, какой? — спросил старик, подходя к возжаку, пробирававшемуся к питейной.

— Маленько разве что не оттеда! — отвечал тот и поплелся дальше.

— Давно, поди, возишься с суседушкой-то? — спрашивал старик, указавши на Мишку, который, понурив голову, плелся за хозяином и искоса поглядывал на допросчика.

— Годов пять будет, коли не больше. Да не балуй, неповадной! — продолжал он, дернув за цепь медведя, который успел уже присесть на корточки и начал сосать лапу.

— От себя, что ли, ходишь али от хозяина?

— Мы от себя ходим. Нынче охотников-то и в нашей стороне куды-куды мало стало: всяк лезет в бурлачину, а зверь и гуляет себе на всем просторе.

— А поди, уж, чай, попривык к свояку-то? — продолжал спрашивать любопытный старик и шепнул что-то парнишке, который, спустив рукава рубашонки и разинув рот, пристально разглядывал мохнатого плясуна.

— Вестимо попривык: ко всему привыкнешь! — отвечал вожак, как бы нехотя и как будто крепко надоели ему людские расспросы на каждом перекрестке. Но когда парнишко принес деревянный жбан хмельной деревенской браги и старик попотчевал провожатого, сергач стал заметно словоохотливее и, утерши бороду, удовлетворял любопытству тороватого старика.

— Да вот как привык: коли когда поколеет — ссохну с тоски, коли не того еще хуже. Известно, почти свой человек стал, без него хоть сгинь да пропади, — вот как привык! На-ко, Миша, пивка, попей сколько сможешь; ты ведь у меня завсегда ко хмельному охочий был; годи вот маленько, а то и сердитей чего хватим. Пей-ко, брат, коли есть что — не чванься!..

И вожак, налив пива в шляпу, поднес своему кормильцу.

— Вот видишь, старина, сам что ешь или пьешь — ему завсегда уж уделишь. И совесть тебя мучает, коли не отлочишь чего, да и он-то таково жалостно смотрит, что кусок не лезет в горло — и все делишь пополам! —

продолжал рассуждать поводомь, в то время как Мишка, утершись лапой и пощелкав зубами, выказал нетерпеливое желание идти дальше.

И видел старик расспросчик, как куцый зад Топтыгина скрылся за дверью питейного, и слышал он, как взвизгнула баба, нагибавшая коромысло колодца и обернувшаяся назад как раз в ту минуту, когда мохнатый философ проходил мимо, не дальше как пальца на три от ее сарафана. Бросилась она опрометью в избу, оставив ведра подле колоды, и долго ругала на всю деревню и зверя и провожатого.

Не уйти сергачу от любопытных расспросов и не отмолчаться ему, когда возьмет свое задорный хмель и начнет подмывать на похвальбу и задушевность.

— Маленьким, братцы, взял, вот эдаким маленьким, что еле от земли видать было, — говорил он любопытным *завсегдатаям*, обступившим пришельцев и всегда готовым слушать все, что ни предложит им досужество, будь это хоть в десятый, хоть даже в сотый раз.

— Было, вишь, их два брата, вестимо двояшки: ни тот ни другой старше. А жил-то я, братцы, у нашего благочинного в батраках — отцом Иваном звали, — продолжал сергач уже таким тоном, который ясно говорил, что вы-де народ темный, а мы люди бывалые, слушайте только да не мешайте: таких диковин наскажем, что вам и во сне не привидится. Кое-кто из слушателей подперлись локотками, другие самодовольно обтерли руки о полы своих полушубков, а краснорожий сиделец всею массою жирного тела перетянулся через стойку и вытаращил масляные глаза.

— Жена у меня померла; домишко весь ветром продуло и солому всю снесло на соседской овинник; а вон Мишутка мой еще махонькой был. Эх, думаю, худая жизнь без хозяйки! а все лучше хлебушко путем доставать, — не биться о холодный шесток: вот и нанялся я к отцу-то Ивану. Ну и живу, братцы, ничего... живу путем — толком, ни он меня, ни я его не обижаем, — все

идет в мире, в согласии. Да вот стали раз как-то недобрые слухи ходить: ниоткуда взялась медведица, да и начала рвать скотину по соседству, досталось-таки на порядках и нашим сельским: которой вымя выест, которую всю изломает, а сычухинский мельник еще хуже рассказывал. Ухватил, слышь, медведь-от Базихину буренку за шиворот, да и поволок к лесу. На первых порах все, слышь, задом пятился, да, зная, корова-то больно ревела или сам-от добре приустал, только взвалил он ее на закорки, стал на дыбы, да и потащился к оврагу. Собрались наши сельские миром, да и порешили идти сообща против зверя: кое у кого ружьишки понабрались, у Матвея Горшка достали рогатину. Хотели было ямы вырыть, да и позавалить берестом, так старики да девки пристыдили. Начало, братцы, и меня подмывать пойти на охоту. Берет такой задор, словно в лихоманке хожу, — и ружьецо было: на тридцать сажень хватало, и долото промыслил для заряду.

— Пусти, говорю, отец Иван, с ребятами на охоту! Рогатины, говорю, достали и ружей никак с пяток было.

Тот — никак, и матушка тоже.

— Убьет, говорят!.. что тебе в этом толку? Да и парнишко сиротой останется, некому и порадеть будет. Чем, говорят, на медведя-то ходить, в другом чем будешь пригоден. А там и без тебя народу много: сам говоришь, все село идет.

«Дело, думаю, толкуешь! — твои бы речи и слушать». Подумал я, братцы, подумал, да и пошел клепать косы на *повить*. Пришли наши ребята с охоты и медведя приволокли с собою убитого: шкура вся взбита, словно решето какое, и брюхо распорото, Медведь бы куды ни шло: затем, стало быть, ходили, а то, вишь, с ним еще барского повара притащили: тоже *побывшился* (умер). А дело-то было вот как: сунулся он с ножом кухонным, что говядину режет; разогнал ребят, никого не подпускал к себе: «сам, говорит, справлюсь, один на один;

только, говорит, не мешайте». Пошел он по медвежьей тропе, да и не приходил назад: слышали ребята, как ревел благим матом, а подступиться боялись, да уж потом целым миром и подошли к оврагу-то. Видят ребята, оба лежат не шелохнутся; поднял медведь Еремку, задрал, слышь, с затылка, да и сосет мозги. Начали палить; не сдвинулся медведь, все лежит на одном месте. Подошли наши, а он уж и помер. Кабы, говорят, Еремка в сердце угораздил, да подшиб его под ноги, может, и убил, говорят, и сам бы жив остался. А то как понажал тот его, да изловчился ухватить за затылок — ну и помер.

— У нас так это не так бывает, — перебил один из слушателей. — Живем мы в лесах глухих, волока верст по сотне будут: едешь ты лесом — ни одной деревни, все дуб да береза — взглянуть так шапка валится. На всем волоку и жилья-то только две либо три избенки, и то лесники строят.

— А ты из каких мест? — спросили бушневские.

— Вятские, — из Яранска-города бывали.

— Не знал ты там Гришуху Копыла: торговал хомутами, и пошел-то из нашей деревни?

— Где, братцы, знать: народу всякого есть; всех не спознаешь.

— Вестимо, где там всякого знать! — подтвердил тот же, который задал вопрос.

— Ну! — крикнули завсегдатаи, проводив это «ну!» тяжелым вздохом.

— Да вот теперь, он рассказывал, летом было, а у нас так по осеням за медведем-то ходят. Как, примерно, началась перевозимица, набросало снежку: он, говорят, и пойдет искать берлоги и все старую выбирает, а то выгребают и новые, так... на поларшина. А уж коли пошел он к берлоге, знамо чернотроп после себя оставит. Охотники-то уж и знают это время, замечают тропу по деревьям да по кустам, а ему дают улечься. У них только бы знать, в какую сторону пошел, а уж там найдут по чутью, на нос.

— Берлогу-то найти нехитрая штука. Сам, брат, хаживал, хоть и не рассказывай, все сам произвел, коли хошь так и тебе расскажу, — прихвастнул сергач. — Берлогу он завсегда в глуть на три четверти роет, только бы самому улечься. Как, стало быть, ляжет, так и навалит сверху хворосту всякого, лапок соновых, валежнику, а дырочку для духу завсегда-таки оставит наверху. Вот и видишь, как завалит хворост-от снегом, — из дырочки пойдет пар змейкой, — ну, знать, засел тут дедко и сосет лапу. Тут его только сам не замай, да не говори про него, не поминай его имени, чтобы не услышал он: не тронет, ни за что не тронет, да и такой-то увалень, что и не повернется. Один раз только и повертывается он во всю зиму, а то целых ползимы на одном боку лежит, да ползимы на другом.

— Слыхать-то слыхали об этом, — поддакнули слушатели. — Ну, а ловить-то как?

— Да так же, поди, как и у них. Главная причина из берлоги вытравить: поймают, вишь, зайца, да и начнут щипать, а сам-от больно этого писку не любит; а не то собак улюлюкают. Потапыч-то, вишь, осерчает, вылезет из берлоги, да и встанет на дыбы; тут его в пять, шесть рогатин и начнут донимать. Из ружей мало стреляют, плохо берет его пуля-то — тепла, вишь, шуба: пальца в три будет, коли не того больше. А ноготки? гляньте-ко, ноготки-то!

И хозяин полюбовался двухвершковыми когтями своего воспитанника.

— Ведь вот бьешь его палкой, — думаешь, больно, так нет тебе: словно деревянной, разве щекотное место попадешь. Только и надежда одна, что на кольцо, а то всего бы, кажись, изломал. Бывали и такие случаи, что подымут облавой — собаками, тут бы и бить его, так иной раз косою шут дёру задает с перепугу да спросонья; начнет кувыркать — на доброй лошади не догонишь, а коли он сам пустился в погоню — ни за что не уйдешь! Тут уж он всю зиму не лежит, — и бродит все

по соседству. Злей его тогда нет зверя на свете: хуже волка голодного. Человек тогда не попадайся ему, хоть в другой раз и не тронет, если молодой еще да не попробовал человечьего мяса.

— Мед, говорят, охотник он есть? — поджигали сергача его слушатели.

— Винцо, братцы, больше любит. Вот и теперь бы выпил, кабы было чего...

Догадались бушневские, куда наметил рассказчик, да только переступили с ноги на ногу и почесали затылки. Первый начал вятский:

— Не хорошо, говорит, братцы, обижать прохожего человека. Пойдет далеко, понесет худую славу: «вот-де был на бушневском празднике, да знать у них свои свычай: сами пьют, а гостей не потчуют».

Сергач, после угощения, сделался еще разговорчивее. Мишка сладко облизывался и, когда хозяин опять растабарывал с земляками, он свернулся на полу и крепко заснул, пустив страшный храп и сап на всю избу.

— А далеко ходишь? — спросил опять вятский. — Домой-то, чай, не скоро попадешь?

— Наше время известное: как вот начнет немного завертывать, станет эдак моросить первоснежье, — мы и потянемся на наседало. Ходим-то, вишь, босиком, так зимой уж и щекотно станет: сам-то он не привык, так и делаешь во всем по его. А не то, так куда больно серчает!

И поводырь, защуривав глаза, медленно покрутил головой.

— Ни за что ты его не приневолишь на ноги встать, коли зима застанет; знает шут это время: свои-то, вишь, в берлогу залягут, да и сосут на досуге лапу; ну, а ведь на него не лапти ж надеть. Да коли правду сказать, так и сам лето понамаешься: рад-рад, как попадешь домой на печь поотогреться.

— Эх, земляк, куда ни шло! Расскажи уж заодно: как ты его залучил под свою статью? А трудновато, поди

было, долго не поддавался: — да ведь чего человек-от не сделает? Вон один, говорят, блох выучил пляске, слышал я в Питере, а за морем так еще облизьяну выдумали! — поджигал сергача один из бушневских и хитрою речью и хмельной водкой, которая до того развеселила поводыря, что он затянул песню, подхвативши щеку, и такую заунывную, что самому сделалось жалостно. Однако благодарность за угощение и чувство довольства самим собой, а еще больше воспоминание прошлого, которое чем страшнее, тем приятнее, — заставили Сергача рассказать всю подноготную, которую у него же, у трезвого, не вышибешь колом, не то что лукавым словом.

— Давно, братцы, было: и признаться не то, чтобы очень, а таки Мишутка мой еще и пушком не зашибался, а теперь, глядите-ко, и борода полезла. Да что, Мишук, нешто спать захотел, кажись, брат, рано? Ты на этого-то мохнача не гляди, зверь ведь он, как есть зверь, поел, да и потяготки взяли, — говорил отец, обращаясь к товарищу-сыну, который, сидя на лавке, минутно закрывал громкие и широкие зевки не менее широким кулаком.

— Тоска, тятка, слушать-то все одно да одно. Который уж раз доводится? вот вечор тоже рассказывал, а мне запрет сделал: «ничего, говоришь, про медведя не рассказывай!» А сам, где ни спросят, всю подноготную скажешь!..

— Эх, Мишуха, брат ты Мишуха! Правду старики молвят, — продолжал отец с тяжелым вздохом и с укором качая головой, — зелен горох невкусен, молод человек не искусен, и толк-от бы в тебе, Миша, есть, да, знать, не втолкан весь! Слушай-ко вот лучше: умная речь завсегда и напредки пригодна бывает. Жил я, братцы, у нашего отца Ивана в работниках и как раз вот на ту пору, как медведя-то ребята убили...

— Помним, земляк, помним, — еще барского-то кучера больно помяли! — поддержали слушатели.

— Не то на другой, не то на третий день после охоты, не помню, братцы — вот хоть лоб взрежьте, не помню —

поехала матушка с дочкой своих проведать. Жили-то они всего с поля-на-поле от нашего села, и церковь ихняя словно на ладонке стоит — все видно, только одна река и отделяла. С нашей стороны берег и ничего бы: покат и ровень-гладень, а вот оттуда — крутояр такой, что береги только скулы да ребра придерживай, а то как раз на макушку угораздишь. Прибежали, вишь, наши: волком воют, все село перепугали; думали, уж опять не медведь ли им встрелся. Так, вить, нет, говорят — другое что. Пошел я на двор, да и смекнул сразу, чему бабы взвыли. Пришла, вишь, буланая-то кобыла, что с ними отпустил, да без телеги; одну оглоблю цельную приволокла, — другой только осколышок, а заверток так совсем не нашел, — пополам порвались. Пришел я к оврагу, стоит телега вверх бардашкой и на одном колесе шина лопнула и спицы повыпрыгали. Пришел я домой да и говорю батюшке:

— Так и так, говорю, отец Иван, телега на мосту лежит, надо бы домой привезти.

— Что ж, говорит, возьми саврасого мерина, да и привези.

— Что, говорю, савраску возьми — я и на себе приволоку; не этакую, говорю, тяжесть важивали.

— А что, говорит, Мартын, ведь колесо-то новое надо?

— В кузницу, говорю, снести надо — обтянуть шиной; на себе, говорю, снесу и коли хошь, так сегодня.

— И оглоблю-то, говорит, новую надо. Поди, говорит: выруби!

— Ладно, говорю, отец Иван, вырублю!

Взял я, братцы, топор, да и пошел за гуменники. Тут у нас лес идет, да такой благодатный, что иное дерево с утра начнешь тятать, а к обеду едва одолишь.

— Нешто уж больно толсты? — спросили бушневские.

— Сучков, видишь, много, да такие коренастые, — насилу обрубишь: коли не прихватишь пилы, — хоть матушку-репку пой. Выломил я ему оглоблю березо-

вую — веку не будет, и для заверток зарубку наметил, да так, ради прохладения, и завернул в малинник. Он тут и пойдет вплоть до реки: питают есть ребята, а все ягод много, и такие все сладкие да крупные, что твоя морковь или репа. Ем я, братцы, малину, и еще песни попеваю от радости. Слышу, сзади поурчит что-то, да пощелкает, почавкает, да опять заурчит. Забралась, думаю, корова чья, кому больше? Да нет, думаю, корове тут нечего взять, да не пойдет она в малинник, — всю исколет. Взял меня, братцы, задор посмотреть. Только б ступить, ан шмыг мне под ноги медвежатка. Взвизгнул я благим матом, да уж дома одумался: коли, думаю, не изломали, так, стало быть, некому, а коли медведицу убили, так, знать, это сироты ее горемычные. Может, пестун остался при них? Да где, думаю, поди, того теперь и с собаками не сыщешь — далеко ухрял: ему до чужого добра дела мало.

Вот и загорелось, братцы, ретивое, больно захотелось медвежат-то изловить. Прихватил про всякой случай и ружьишко и рогатину, — думаю, коли пестун наскочит — поборемся, постоим за себя. А там задами, чтоб свои не знали, пробрался я в малинник и смотрю из-за сосны, куда медвежатка подевались? Слышу, опять поляскает, да пощелкает, да опять: я выдвинулся немножко вперед и рогатину наладил. Долго смотрел, больно долго: выбежали пострелята и начали на спине кататься; один ухватил лапами малину и сосет ягоду. Все, братцы, стою, да гляжу, как один другого лапой мазнет, да и отскочит и спрячется за кустом. Нет-нет, да опять подскочит и достает другого лапой, да не достал: кувырнулся через голову, а братишку опять задевает. Один подпрыгнул ко мне. Стою, братцы, не трогаюсь, а сердце вот так ходуном и ходит, а все смотрю по сторонам: думаю, выскочит пестун, коли не мать сама, — приму на рогатину. Постреленок, тем часом, развязал мне оборку у лаптя, ухватил в рот и защелкал, а сам жужжит, словно шмель или оса какая. Немного погодя и другой подскочил и тоже лапоть дергает, а братишку

нет-нет, да и мазнет лапой. Смотрел я, смотрел: сгреб их в подол, да и света в очах не взвидел. Домой прибежал, — языка не доищусь; от одышки сердце ходуном ходит. Своим показать боюсь: велят выбросить, а больно жаль. Снес я их в овин, да и запер до поры до времени. Сходил опять за оглоблей, прислушался — смирно везде: нет, думаю, далеко пестун, — коли матери брюхо вспорото, хоть и брат, а видно, свои животы-то подороже.

— Знать, правду говорят, что пестун-то им братом доводится? — допытывал любопытный вятский.

— Да ведь вот как у них это дело-то ведется: родила мать двояшек, один медведь, а другой Матрена Ивановна. Вот и ходят они с матерью, говорят, до первого снегу; медведица-то поскорей растет, так и мать поскорей ее от себя гонит: «ступай-де на свои харчи, а мне тебя девать некуда — неволю уж стало». Братишко вот дело другое; его она всегда с собой берет и в берлоге холит, а как выведет новых, то и приставит к ним: «блюда-де, да посматривай за ними, чтоб не баловали, а коли в чем непослушны, сам расправы не делай: мне скажи!» И уж тут, что не по ней — выволочку задаст такую, что, вон рассказывал Елистрат Кривой, долго валяется на земле да ревет что есть мочи. Поревет, поревет, да и перестанет, а все, слышь, плетется за матерью: знать, в большом страхе держит, коли и колотухи не донимают.

— И злющая же эта медведица! — заметил вятский. — Коли человека, говорят, где изломает — все она. Сам не таков, толкует народ. Того как раз самого испугать можно; только, слышь, коли завидел, иди смело навстречу — не тронет. Сзади зашел, только ухни, что ни есть мочи — забежит, слышь, и следа не отыщешь. Да если и начнет кувыркать он к тебе, только на землю ложись, да не дыши. Придет, говорят, понюхает, попробует лапой, а лежачего ни за что не тронет, только лежи дольше, пока совсем не уйдет, а завидел, что ты встал, да пошел, тут хоть и ложись опять — другой

раз не надуешь. А за зад не дает хвататься; и уж если собаки впились туда, пропала медвежья сила. Так ли я говорю, дядя?

— Попытал, брат, я этой медвежьей силы: был под хмельком, да и ударь раза два для смеху. Взревел Мишук и плясать перестал; как ни ломал — не хочет! Я его еще колонул, как он рявкнет, братцы, да вскинется: вот о сю пору памятка осталась;

И сергач, в удостоверение истины, показал на изрытое рубцами плечо, где еще ясно можно было разглядеть пять кругленьких ран — следы медвежьего гнева.

— Насилу, братцы, водой отлили! — закончил сергач.

Дивились слушатели и качали головами.

— Ведь вот, почтенные, толковать теперь будем: и зверь, глядишь, а сердце словно человечесь! — заметил целовальник.

— Да и хватки-то все человечесьи! — поддержал его один из самых молчаливых слушателей. — И на лапах-то у него по пяти пальцев, и мычит-то он, словно говорить собирается, а сбоку попристальнее глянешь, словно видал где и человека-то такого.

— Уже и смышлен же, ребята: откуда разуму понабрался! — продолжал между тем сергач. — Вот как повозишься-то с ними и поприглядишься ко всему, и все запомнишь, коли и рассказать, — так слова не выкину. Все, бывало, в овине сижую, да с ними и занимаюсь: и на задние-то лапы ставлю, и *падог* в руки дам, ну и побьешь в ину пору, коли не понимает. Уж пытал батюшко-священник уговоры делать:

«Чтой-то, — говорит, — Мартын, ты, братец, тот да не тот: никак тебя теперь к дому не залучишь; уж не жениться ли собираешься? Вот овин бы, говорит, топить надо, да и снопов остатки нужно перевезти туда, а то погниют совсем».

Тут-то меня словно по лбу кто, а у самого догадки-то не хватило: сгреб я пострелят-то мохнатых, да и поволок в свою избу, что пустой стояла: жила тут нищенка, да и померла в осенях. Бегом бегу я домой и крепко

полы придерживаю, да как раз на самого-то тут тебе и наткнулся. Начал стыдить: земля, братцы, подо мной загорелась.

«Ты-де не малый ребенок: нанялся бы в няньки, все лучше с человеком-то возиться. Повойник бы, толкует, надел, сарафан синий, взял бы копыл и нитки сучил».

— Гвоздил, братцы, до того, что горю со стыда, деться негде, а и выпустить медвежат — так в пору. Да нет! Удержался, хоть и народ обступил. «Ни за что, говорю, не брошу, хоть и стыдно больно, а не кину; привык, говорю, водой не разольете!» Как приду, бывало, к ним в избу — овсянки натолочь или щей налить, что у матушки выпросишь, — идут к тебе пострелята вперевалку. Станут на задние лапы и на руки к тебе просятся, а сами друг дружку толкают; приучил, вишь, так: кому первому, так и берут завидки и того и другого. Приласкаешь немножко, покормишь: играть начнут с тобой. Дашь им палец — сосут, а не кусают, пока зубов-то не было. Начали вот и зубы прорезаться, так с зуду что ли, али потехи ради все лавки изгрызли. Корято, вишь, было, так и то никуда стало не годно: все исщепали. Гляжу-погляжу: стали мои ребята промеж собой драки заводить, да так часто, что уйму не было. Слышу, бывало, из сенцов, возню да рев подымут такой, что унеси ты мое горе. Прихожу как-то раз в осенях: лежит один косоглазенькой и еле дышит; глянул на меня, да и опять нос под себя подвернул. Поставил я овсянки, — так не ест и с места не встает; братишко его такой шустрой да веселенькой, нет-нет, да и щипнет лежачего-то. Ну, думаю, подрались ребята, — помирятся. Пришел я повечеру, лежит еще тот и на меня уж не глянул. Братишко возле сидит да нюхает: и лапой-то двинет, и на меня-то обернется. Э, думаю, худо дело! зашла шутка не туда, где ей следно быть. Потрепал живого сорванца, да видно одно и осталось: стащил мертвого на зады, да и закопал в ямку. А уж куды, братцы, жалостно было: ино место слеза прошибла. И остался я при одном, вот при этом, а ту, медведицу-то, так и поучить не удалось.

— Возился-то я с ним до весны, — продолжал сергач, утерши слезинку, выжатую не то хмелем, не то, и в самом деле, воспоминанием об утрате одного кормильца. Пришел я, братцы, в хозяйскую избу; сидит эдак батюшко за столом, под тяблом, и книгу толстушую с поллицы снял, да читает. А тут попадья сидит на конике и считает яйца. Положил я на полати шапку, рукавицы, распоясался и начал балокать. Слышу, крякнул отец Иван, поглядел на меня через очки, да и стал выговаривать:

— Что ты, говорит, Мартын, не попрigliaдишь себе местишка какого, ведь вон весна наступает? Али с медвежатами, говорит, пойдешь, да ведь поди еще не пляшут? — А сам улыбнулся, да и опять сердито смотрит: — Ищи, говорит, Мартын, места другого, а уж нам ты не нужен!

Больно разобидел он меня этим словом, уж лучше бы инако как вымолвил.

«Ну, думаю, ладно: служил я тебе без перебору; а коли медвежонок тебе не люб — прости, отец Иван, не поминай лихом!» Да на другой же день и перебрался я, братцы, к себе в избу. Кое-как перебился и лето и зиму: то лыки драл да плел лапотки, да березки молоденькие подрубал, то веники вязал, да продавал в город. Больше, впрочем, ученика-то своего обучал. Прислушался у татар приговоров, кое-что от себя понабрал на досуге, — да как поприсохло весной, я и поволок его в город: ходи-де, Миша, похаживай, говори да приговаривай. С тех пор вот и мыкаемся с ним по чужим людям и везде — спасибо! — обиды не видим. Разве у иного ребят перепугаешь, так велят убираться. Зимой лежишь дома. Сам-от спит, а ты свое дело справляешь: лапти, что ли, тачаю... По три, братцы, пары в сутки делаю! — прихвастнул сергач и, разбудивши товарищей, поплелся вон на свежий воздух, сопровождаемый единодушным, тяжелым вздохом всех своих слушателей.

Вышел вятский на крыльцо и видит он, как поднялся сергач на гору и повернул направо к густому

перелеску. Все меньше и меньше становятся путники; далеко бредут они по оголенному пару, чуть-чуть видна вдали деревенька, словно одна изба, и ничего кругом: одно только длинное поле, по которому босому пройти крошечная мука: торчат остатки ржаной соломы вперемешку с пестами, до которых охотники малые ребята да деревенские свиньи. Идет хозяин все впереди, опираясь на палку. Чуть-чуть передвигая ноги и низко опустив голову, плетется и его медведь; сзади идет, с котомкой, коза-щелкунья. Можно еще и цепь различить и ноги пешеходов, но вот все это слилось в одну сплошную массу и чуть распознаешь их от черного перелеска. Скоро и совсем потонули они в куче деревьев. Вот завыли где-то далеко собаки, видно, почуяли незнакомого зверя и дикое мясо. Вдохнул вятский и вернулся в питейный, да прямо к сидельцу:

— Дай-ко, — говорит, — поскорее еще красовулю!

* * *

Недалеко ушли наши путники: где-нибудь под сосенкой или просто в дорожной канаве завалятся они на ночевку: тут медведь, рядом с ним и сам поводырь. Ухватил Мишук хозяина лапой и дует ему в лицо и ухо целые столбы пару. Крутит головой сонный хозяин, а проснуться не хочется, — крепко умаялся в запрошлый день, да и отяжелела голова от бушневского угощения. К утру только очнулся сергач и, изловчившись от тяжелых и душливых объятий зверя, положил свою голову на его мягкую, мохнатую спину и поглядел на сына. Крепко спит тот, уткнувшись в котомку и накрыв лицо шапкой; ни с того, ни с сего ухватился он за веревку на барабане-лукошке и тянет на доморощенном свистке нескладную песню. Но вот выкатилось солнышко из-за верхушек сосен, потянулось по небу и назойливо глянуло в защуренные глаза наших комедиантов: обдает их варом и ложится на лица загар новым слоем,

а тут налетели комары да мошки; собака взвыла по близости, лошадь бешено заржала и коровы мычат как-то жалобно. Овцы брыкают по полю и собрались свиньи в особую кучу, тесно сбившись спинами. Проснулись и наши путники и, умывшись в первой попавшейся речке, снова поплелись в дальний путь-дорогу.

Сегодня опять будет плясать и медведь, и коза, и поводырь. Может быть, опять попадут на праздник и угостят их густым пивом, крепко приправленным свежим хмелем. Будет хозяин читать опять те же приговоры — ничего не прибавит. Попробовал было раз, да плохо вышло, и почесал он под бородой, а на другой день встал, совесть мучает, и спрашивает вожак своего сына:

— А что, брат Мишутка, никак уж я вечор больно дурить начал? Вишь ведь эта хмель проклятая, прямо тебя на смех сует. Надо завсегда бояться того, чтобы такой приговор твой поперек сердца не пришелся становому, что ли, или какому начальнику. Захочется брякнуть: оглянись, а то все лучше привяжи язык свой на веревочку. Меня уже за это раз в городе отодрали и выгнали вон.

И зарекся он с тех пор прибавлять от себя и решил один раз навсегда: «видно, как все говорят, так и мне приходится, а новое-то как-то и не под стать, да и ребятам не нравится, разве уж когда под хмельную руку и выскочит что не думавши, так тому стало этак и быть».

Может быть, попадет сергач в барскую усадьбу и начнет покрикивать перед балконом, поминутно путаясь от старания говорить не то, что прилично слушать своему брату, а господскому уху и вовсе и неприлично.

Станет расспрашивать его барин, пригласивший медведя для удовольствия детей:

— Что это у тебя: медведь или медведица?

Сняв шапку и низко кланяясь, сергач говорит своим низовым наречием, свысока и с выкриком:

— Вядмидь, батюшка, вядмядича-то ашшо махонькой померла.

— А как ты выучил его пляске?

Сергач, почесывая затылок и опять с поклоном, отвечает барину:

— Все, батюшко, палкой! знать, на все-то она пригодна, кормилец. Палкой Мишку донял, палкой и науку втемяшил.

Усмехнулись все гости и дальше продолжают расспросы:

— Из выручки-то остается, поди, лишок?

— Какой, господа милостивые, лишок: еле конец с концом сведешь, да и то бы ладно.

Говорил поводырь сущую правду. Ремесло сергача не для наживы, а для прокорму: еще ни один из них не только каменного, но и деревянного дома не выстроил, а вернее, что и тот у него, который от отца достался, разметал ветер и прогноили дожди. Промысел этот — весь ради шатанья, и эти плясуны — бродяги настоящие (что и медведь в лесу), к тому же бродяги такие, которые и в народе не пользуются никаким уважением, как шуты гороховые и скоморохи. От последних они, впрочем, и происходят по прямой нисходящей линии, как законное и кровное потомство. Для медвежатников, как бы широко ни концентрировались круги, у всех один центр — кабак. Для вина и пьянства, кажется, сергачи и с места поднимаются и лет по десятку не возвращаются на родную сторону. Не только спиваются сами хозяева, но спаивают и делают пьяницей и медведей, зверей лесных: пьют они с горя по утрате воли.

Но барин продолжает спрашивать:

— А не продашь ли ты медведя-то? мне бы вот сани казанские обить хочется; знатная бы полость вышла из твоего зверя.

Увлеченный предположением барина, сергач погладил медведя, любуясь его густой, жесткой шерстью.

— Нет, кормилец, ста рублей твоих не надо! — отвечал он решительно. — Пусть лучше сам поколеет, тогда разве не жаль будет и шкуру снять. А теперь нам продать не из чего. Нет уж, ваша милость, не утруждайтесь! Еще послужит он на мое убожество. А убить за что? — худого

не сделал, кроме добра одного, — продолжал рассуждать вожак, с любовью глядя медведя и кланяясь барину.

— Отчего он у тебя маленький: молод что ли? — спросила востроглазая барышня. — К нам недавно большого приводили.

— Уж такой, стало быть, уродился маленький. Вот медведица, так та, вишь, завсегда покрупней бывает.

— А чем ты кормишь его? — продолжала востроглазая расспросица.

— Высевками, кормилица, да мякиной. Сделаешь месиво на горячей водице, да тем и кормишь. Мяса-то, вишь, боимся давать, хоть и охоч он до него, особо до сырого-то. Злитя он больно, благует так, что из послушания выходит и уйму нет никакого. А уж плясать, матушка, так ничем не приневолишь: урчит да огрызается и рыло под себя подбирает.

— Принесешь ты нам медажонокков маленьких? — картавил баловник в плисовой курточке. — Папаша! вели ему принести медажонокков.

Кланялся сергач домочадцам, и утешал папенька баловня-сынишку.

— Не кусается он? — спросила опять любопытная барышня.

— Нет, матушка, не кусается.

— Да, я думаю, и нечем? — подтвердил барин. — И кольца в зубы продеты, да и самые-то зубы, чай, все повышиб с места. Если и оставил какие, так и те, я думаю, сильно качаются. Так, что ли?

— Как же, коли не так, ваша милость?

— Так ступайте же на кухню: там вас обедом накормят и вина поднесут. А это сын, что ли, твой?

— Сынок, кормилец, Мишуткой зовут.

* * *

Вот так, пробираясь по барским усадьбам, маленьким городкам и деревенским праздникам, бредет наш сергач и на родину, чтобы плести дома из лыка лапти,

тачать берестяные *ступанцы* или веревочные *шептуны* из отрепленных прядок, и вьет к ним оборы, а потом целым возом таскает их на ближний базар и кое-как пробивается до весны, в которой ему ровно нет никакого дела. Уж если обзавелся медведем, так одна дорога — мотаться по чужим людям, куда редко пойдет тот, у кого есть запашки и пожни, хотя даже и небольшие. В свою очередь ограничиваются и неприхотливые зрители одним и тем же представлением и от души смеются тем же присказкам и остротам, какие, может быть, только вчера рассыпал перед ними другой вожак. Редкое, диковинное наслаждение, истинный на *улице праздник*, когда появятся в деревне в один день два зверя и четыре проводника: во-первых, и грому больше — в два лукошка грохочут и борьбы больше — два парня снимаются. А во-вторых (и это едва ли не главное), стравливают медведей, которые, как звери незнакомые, рвут на себе шерсть до того, что клочья летят, ревут так, что у слушателей волос дыбом становится и сильная медведица так быстро и далеко бросает менее сильного медведя, что человеческой силе и во сне не привидится. Это удовольствие хотя и просто делается — стоит только соединить обе цепи противников или столкнуть их задами, да подальше прогнать толпу зевак, — но зато случается чрезвычайно редко. Не всякий хозяин решается жертвовать своим кормильцем, разве соблазнят его большие деньги, затаенная мысль о предстоящих выгодах и прибыли, да крепкий задор похвастаться силою своего питомца. Тогда он даже готов согласиться с охотником-помещиком и на травлю собаками: снимет цепь, да и отойдет, подгорюнясь, к сторонке.

Долговечно ремесло сергача, как и всякое другое, на какое попадает русский человек, который не любит метаться от одного к другому и крепко стоит за знакомое и привычное, только бы полюбилось ему ремесло это. А там не до жиру, быть бы живу, рассуждает он, и сыт

и весел, как попался мосол, лишь бы только свой брат не попрекал негожим словом. И ходит он с медведем, пока таскают ноги, а свернулся зверь от лет или болезни и купит его шкуру наезжий кожевенник, — берет тоска *хозяина*: не ест, не пьет, все об одном думает. За дело хватится, — да все прыгает вон из рук; отвык от всего, ни к чему способа нет приступить. Подумает, подумает горемыка, да и пойдет, при первой вести о лютном звере, с рогатиной или другой какой хитрой уловкой, чтобы загубить медведицу и отнять у ней детищей. Потом опять набирается он терпением: учит медвежат стоять на задних лапах, передвигает им ноги для плясу и других потех, какие делал покойник, а там кое-как проденет кольца, попытает ученика перед своей деревенской публикой, и смотришь — повел он зверя на людское позорище и опять выкрикивает свои старые приговоры.

Но вот стареет сергач, долго ходит он все с одной потехой, — приелась она ему, как иному старику *сулой* с овсяным киселем, и стыдно становится, да и укоры начались от других стариков свояков: «что ребятской-де потехой занимаешься на старости лет? Зубы ведь крошатся, а ты песни поешь, да пляшешь перед народом».

— Брось, Мартын, пора за ум взяться, какое ведь твое ремесло? ничего ты не нажил, вот и выходит, что и с седой ты бородой, да с худобой.

«Может, и дело говорят», подумает вожак, да и сбудет выученика первому наклевавшемуся охотнику. Немного протоскует, конечно, да найдет утешение: просто-напросто делается из поводыря записным медвежатником; одно от другого недалеко, оба ремесла двор о двор, по соседству живут.

Первую песенку зардевшись спеть, говорит поговорка, так-то и медвежатник начинает свою охоту хитрыми уловками, которые состоят в том, что он ловит медведя там, где этот невольно показывает свою слабую струнку. Известно, что нет ни одного зверя, который

бы любил так мед и так бы часто посещал борты, как мохнатый Михайло Потапыч. Сколько смешных и вместе с тем остроумных шуток придумал враг-человек: повесит чурбан, который чем сильнее бьет медведя в лоб, тем больше злится зверь и качает чурбан лапами; соорудит навесец — лабаз, который отгораживает сласти от лакомки, и лишь только Мишка пропихнет свою лапу в единственную щель, оставленную ему хитрыми врагами, и иной раз даже вытащит соты, как десятки острых гвоздей готовы уже к его услугам: как ни бьется медведь, а приходится умереть самую глупую смертью: разобьют его зад толстыми палками и примут потом на рогадины. К таким штукам прибегает на первых порах охотник и не заводит собак, не покупает двухствольного ружья, предоставляя это дело настоящим охотникам: он без крику и шуму выберет в лесу березовую толстую палку, обточит ее поглаже, зайдет к соседу-кузнецу и упросит сделать копые-наконечник, потом приделает под копые перекладинку из той же березы — и вот он, обладатель рогадины, идет подбивать кое-кого из охотников.

Втроем-вчетвером, все с рогадинами, один про запас ружьишко прихватил, — идут смельчаки, по протоптанной тропе, прямо к берлогу. Разбудили зверя и криком и шорохом подняли на дыбы, и зачинщику первое место. Наученный заранее, как вести дело и остерегаться, чтоб зверь не вышиб или не переломил бы рогадины, смельчак, невзвидев света, рванулся на зверя и врубил половину оружия в медвежье мясо, прямо под ложечку. Дико заревел медведь, но напал не на олухов. Не успел он, может быть, осмотреться порядком, как охотник упер рогадину в корень дерева, и чем больше бился зверь и хватался за рогадину, тем она дальше и дальше уходила внутрь. Осталось товарищам дорезать добычу ножом и разделить между собою.

Но вот, полонивши с десятков медведей сообща с товарищами, охотник задумал новую штуку: понабрал

пузырей, сыромятной кожи и обтянул себе затылок, шею и плечи; засел на печь, и заскорузли снаряды толстой броней. Два дня принимался он точить широкий нож, заостренный с обоих концов, и никому не говорил о задуманном, как ни добивались ребята-товарищи. Они уж после смекнули, что надумал он идти один на один.

— Пускай попытает! — решили они, и ему ни полслова о своей догадке.

Пришли только раз да сказали, что вот-де верст с десяток оттуда проложил медведь тропу и ревет по зарям. Закипело сердце у охотника: и страх и радость, и боязнь и храбрость, все в один раз приступило. Привязал он нож туго-натуго ремешком к руке, надел полушубок и захватил одну только рогатину. Идет по тропе и прямо к тому месту, где медведь показался. Смотрит мохнач и заподозрил врага: встал на дыбы и прямо к нему навстречу. Минуты не прошло, как уже рогатина попала в зверя и крепко рассердила его. Пока он собирался с духом, охотник прислонился за толстым деревом и выжидал удобной минуты. Свирепствует зверь и хватает землю огромными глыбами; начал вырывать кусты и швырять их в сторону. Стоит охотник незамеченный, и взбрела ему мысль непрошенная: дать тягу, да куда-нибудь подальше. Но, видно, не совсем потерялся: вспомнил, что тут-то ему в бегстве и неминуемая гибель. Загорелись его глаза каким-то страшным огнем и губы дрожат, а мурашки так и сыплют по телу: бросился он вперед что было силы и, заслонив лицо левым локтем, лежал уж под зверем и порол ему брюхо острым ножом. Через минуту внутренности медведя, одни за другими, показались на свежий воздух. Угораздил смельчак, как истый знаток, в самое сердце и разодрал шкуру от самой лопатки до клочка хвоста. Льет с него пот крупным дождем, и от трудной работы, и от огромной массы, которая тяжелым камнем легла ему на плечи. Облегчился он от нее, свалил мертвого медведя и ни с кем уж не делил его, никого не брал в складчину.

Было бы хорошо начало, а за другим чем уж дело не стало: понравилось молодцу ходить один на один, и бьет он на то, чтобы дойти тридцатого, а там, говорят, сколько ни ходи, — ни один уж медведь не уйдет и не тронет.

БУЛЫНЯ (Очерк)

Булыня — представитель тех эксплуататоров крестьянской мелкой собственности, которая таким тяжелым трудом наживается и с такою бессовестною беззастенчивостью выманивается различными способами. Тип этот разнообразен и многочислен и появляется в виде торгаша-плута, почти всюду с одинаковыми приемами, хотя и под различными названиями. Сюда относятся и мелкие *офени* — торговцы (владимирские картавые проходимцы), меняющие на свой залежалый и прогнивший товар домашние изделия деревенского досужества, и разного рода *закупни*, *перекупни*, известные под именем *маклаков*. У хлебного дела стоят такие выжиги-посредники между базарным продавцом и портовым негодяем — приказчики какого-нибудь крупного хлебного торговца с Волги, так характерно называемые *кулаки*, у крестьянских лошадей — *барышники*: произрастание бойких конных торжков и ярмарок, умеющие организоваться в шайки артелями и, по подобию офеней и столичных мошенников, для больших успехов в надуваньи, придумавшие свои языки, целые словари темных условных плутовских слов и выражений. На инородцев русских (в особенности северных) и преимущественно на сибирских налетают целые стаи торговцев водкой и скупщиков у промышленных в лесах пушных и ценных зверей и птицу, — торговцы, которые в одно и то же время спаивают водкой диких людей до вырождения породы и обменом на

соль, хлеб, свинец и порох дорогих шкурок, доводят дикарей до кабалы, до неоплатных долгов. При долгах и скудном вымене хлеба инородцы доходят до отчаяния голодовок и повальной смертности. Таким домашним благодетелям — имя легион, прозвание, наиболее точное и характерное — *мироеды*, а деятельности и беспредельно-вредному влиянию еще до сих пор не установлено никаких преград и не положено никаких препятствий. Кое-какие узаконения выводили лишь умение обходить их, закупать и подкупать блюстителей закона. Язва задатков, кабальных денег, выдаваемых вперед и притом в самые тяжелые времена крестьянской нужды и инородческих голодовок продолжает утеснять бедный люд и господствовать во всей силе на всем пространстве Русской земли. Замечательно при этом, что приемы всех таких мироедов значительно между собою схожи и не представляют особого труда и затруднений для борьбы с ними. Не двойной, а можно сказать — шестерной мелок, которым записываются отдаваемые в долг товары, если отчасти и пишется успешно и бойко на слепых глазах безграмотного люда, то с другой стороны и приставленные законом и властью, вместо того чтобы быть исполнителями должности и долга, позволяют ослеплять себя избытками от успехов плутовства да сплошь и рядом сами превращаются в тех же кулаков, перекупней, мироедов.

К сожалению, для зла обширное поле в среде долготерпеливого люда, умеющего лишь рассказывать про таких кровопийц подспудные анекдоты вроде того, что одному из них за крестьянские слезы прислали из Питера железную шляпу в полпуда и велели надевать всякий раз, когда надо ему идти в какое-нибудь казенное место или по начальству; другому дали железную медаль в пуд весом и не велели уже снимать во всякое время. Но по этим рассказам можно узнавать только про тех единиц, которые уже очень насолили; те же, которые не успели еще истощить меру долготерпения,

продолжают быть для своего околотка *благодетелями*: в одно время и кулаками, и ростовщиками. И нет того пятка-десятка деревень, для которых не существовало бы такого мироеда! Не надо и ходить далеко, и как бы далеко ни зашли вы — везде найдется сих дел мастер, который лишь на старости лет, когда уже очень зазрит совесть, отольет большой колокол для сельской церкви, вычинит иконостас, построит новую каменную матушку-церковь, но опять-таки за себя, а не за грехи людские.

Но не об этих больших кораблях рассказ наш: в тесных пределах деревенских околиц, около которых держатся настоящие наблюдения наши, действует и суетится мелкий плут, более других нам известный и знакомый. Вспоминаем о нем по деяниям и заслугам его художества и досужества.

* * *

С весны уже начинают бабы-хозяйки думать о будущем лете и по приметам, приобретенным навыком или по преданию, судят о нем: стояло на Евдокеи погоже, будет и лето пригоже, по их мнению.

«Дал бы Бог на Сороки холодных утренничков, — думают они, — в хлебе недороду не будет, а на Фофана (Феофана, 12 марта) да на Человека Божья (17 марта) станут расстилаться по земле густые туманы, и на лен устоит урожай. Не лежали бы только замерзи дольше Благовещенья дня и выпал бы на этот праздник дождичек теплый». Опытная и бывалая хозяйка в этот день старается всячески избегать взглядов на пряжу, особенно суровую, не стоит под дымом, а на другой день на Архангела не станет прясть (работа впрок не пойдет). Другие еще на первой сочельник гадают, вытаскивая из-под скатерти соломинку, и кладут в кутью: какова длинна былинка, таков и лен будет. На Онисима (15 февраля) зарнят пряжу, выставляя моток на утренник, чтобы была пряжа белая.

И вот Марьи (1 марта) — зажглись снега, заиграли овражки; прилетели сверчки и жаворонки; вскоре ворон выкупал в новой воде своих детенышей; там подошли рассадницы и «разрой берега» и Алексей — «с гор потоки»; на Ирину — «урви берега» засеяли морковь и свеклу; мужик вывернул оглобли и бросил сани на повить. Прошло окликанье родителей, — пришла пора скотину в поле выгонять и весну окликать. Береза сок дала; по подоконьям пастухи пошли для обдариванья; Еремей-запрягальник, на Власа выпала роса; а вот на дворе и подымай мужик сетево: сей рожь в залу да в пору, топчи овес в грязь — будет князь, прорастет сквозь лапоть. Бабам пора рассаживать по грядам рассаду, сеять горох и засеять льница льном-плауном так, чтобы успел волокон сделаться длинным, пока прилетят комары, минуют сиверы и явится на двор Елена — длинные льны. Первый засев на Сидора 14 мая. У хороших хозяев на этот день так и бывает: лены Олене.

С этой поры лен начинает нежиться и крепнуть в корне, чему способствуют большие росы по июньским утренникам; особенно хвалят и верят в росы Федора (8 июня), но боятся рос на Марию Магдалину (22 июля); от сильных рос льны бывают серы и косы, а с первого Спаса всякая роса хороша. На третьего Спаса старозаветные бабы по жниве катаются и приговаривают: «жнивка-жнивка! отдай мою силку: на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено». Наконец, лен зацветает и две недели держится в цвете, после чего семя пойдет в налив, и лен в течение четырех недель станет поспевать в ту пору, когда хлеб начнут зорнить зорницы. На св. Прокопия озими доходят в наливах, на этот же день и лен урастает, пока бабы польют огороды и дожидаются Ильина дня. Но тогда, говорят, и камень прозябает.

И вот на Нерукотворного Спаса заципали горох и запахали озими; на Успенщине обмотали серпы в солому; на Ивана Предтечу поспела брусника, овес созрел;

а с ним вместе и лен доходит, как известно: недаром на Лупа (23 августа) льны лупит, а на Ивана Посного последнее стлице на льны. Лопаются сами собой льняные головки и полетело семя. Пора идти бабам в поле, тербить лен и уставлять его в *бабках*²⁷, чтобы расщепились головки от солнечного жара и не разлеталось бы по ветру семя. Там — смотришь — полакомились бабы свежим толокном на овсяницах, пирогом с новой капустой в заимки на Воздвиженьев день и опять идут на льнице развязывать бабки, обивать семя вальками на рогожку и расстилать лен по полю или озими, которая с этих пор называется *стлицем*. Из семени выжмется масло постное; а выжимки — *избоина* — пойдут на пищу коровам в дуранде.

Отлеживается лен на своем стлице до тех пор, пока не увидит баба, что пробный снопик — опуток — хорошо обивается на мяльне и мало в нем, или нет совсем негодной прозелени.

Тогда остается одно: поднимать лен со стлица, топить баню и тащить туда же с повита *мялки*²⁸, *трепалы*²⁹ и *мочила*³⁰. После Покрова (с половины грязников) настает пора топтать лен, очищать его после просушки и мочки. Отрепье или охлопки пойдут на завалины около изб, чтобы сберегалось в них тепло в зимнюю пору и не задерживалась сырость весною. У иных этим отрепьем выстелют хлев или двор, у других они так и сгниют около бань в кучах и размочат их весенними дождями и сыростью. Отоптанный лен бабы начинают расчесывать гребнями и прибирают очески на продажу канатникам и веревочникам. Расчесанный лен называется *мыканным* и *изгребным*. Чтобы получить нитку тоньше — перечесывают его в третий раз и называют *пачесным*; остатки от этого чесанья — *изгребье* — пойдут мужику в теплую шапку или на стеганье к зиме бабьих понёв.

Между тем, незаметно в этих работах проходит для баб и Фекла Зоревница; а с ней вместе и овин отпразд-

новал свои именины, в которые хозяину достался хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок. На Покров было последнее гулянье и первое зазимье; свадьбы кое-где затевались и разыгрывались к Казанской, с которой осенняя грязь, говорят, отстоит от зимы только на три седмины. Вот уже на дворе и Парасковья-льняница (14 октября). А когда сомнет лен, то на Параскевин день постарается первинки принести в церковь для приклада. Толковая хозяйка не сядет в этот день за пряслицу, боясь ногтоеда и заусеницы, от которых, чего доброго, сведет ей и руки. Лен к льняницам приготовлен совсем в отделке; у доброго хозяина выжато из семян и масло свежее; стоит только садиться за стол, есть кисель овсяный или пшеничную кашу с новой начинкой. Молодой на этот обед зовет к себе тестя и тещу и задает им пирушку с вином.

На 29-е ноября справляют Абрама-овчаря: в третий раз, после весенней, начинается осенняя стрижка овец. Затем пройдут шерстобиты, обобьют бабам шерсть — *волну* — мужикам на сермягу; а тут, смотришь, нагрянут и швецы-портные. В деревнях наступают Кузьминки, затеваются ссыпки, на Михайлов-день первый мороз нагрянет: запирается простой человек со всей семьей в избу; бабам настала пора затевать супрядки, которые кончаются у них поздним вечером. Настала прибируха — зимняя пора и для мужика и для бабы. В избах зашумели веретена, затянулась песня; у доброй хозяйки что ни день, то новые тальки выходят из рук гостей-попрядушек; *намычки*³¹ то и дело вытягиваются в нитки. На пряслице делаются нитки погрубее, на гребне прядут только мастерицы, и не выпрядают всей кудели — намычки, а оставляют изгребье — охлопки, которые идут, вместо ваты, на подкладку под поневы и в шапку.

Богатая баба-хозяйка к концу супрядков уже и не прядет сама: ее дело принимать с веретен на простни или клубки, а оттуда на мотовило, готовые нитки,

отсчитывать по четыре, чтоб составить чисменку, и, перевязав веревочкой-пасменником сорок чисменок, составить пасму. Двадцать таких пасм, свитых на воробе³² в двухаршинную петлю, составят тальку.

И вот в эту-то пору, когда уставит баба в избе станок, натянет с вороба на вертлявой турик все пасмы для основы, приготовит в челнок *цевку*³³ для утока, когда навесит бердо и начнет им прищелкивать уток к основе — является в избе *бульня*³⁴ — старый знакомый покупатель-барышник.

Он молится иконам, кланяется, желает: «Бог на помощь! челночок в основку!»

— Где же у тебя большак-то, что это его не видать в избе? — спрашивает бульня вовсе не кстати, потому что сам же выглядел то время, когда хозяин сошел со двора.

— Да со швецами пошел в кабак раздел делать, Михай Спиридоныч, — отвечает, однакож, хозяйка, зная, зачем пришел этот плут с беглыми рысьими глазами, которые так и носятся с полатей в кут и под лавки, и не поглядят совестливо, не останоятся на месте даже на минуту. Хозяйка спешит сама предупредит бульню, который подошел к стану и рассматривает нитки, навитые на цевках, и готовое уже полотно, намотанное на *щеколду*³⁵.

— Тебе, поди, пряжи нужно?—спрашивает она.

Бульня спохватился, чуть было не изменил себе, но оправляется:

— Нет, не нужно пряжи: много и так накупил! Зашел, признаться, погреться только да проведать хозяина: целую почесть зиму не видал. Живем-то далеконокко; в ваших местах только по надобности бываем, — отвечает наш бульня; но хитрит, как записной плут, которого не очень-то жалуют богатые хозяева, не нуждаясь в их деньгах и при первом же посещении указывая им — где Бог и где двери.

Хозяйка опять начинает прищелкивать челноком; бульня бессознательно вертит пустой валик на скаль-

не и опять пробует цевку. Оба молчат; но время дорого для булыни: может вернуться хозяин, хотя и пошел на такое дело, которое не скоро кончают. Булыня первым нарушает молчание:

— Вот коли льну у тебя осталось немыканого, пожалуйста, возьмем! — да и то уж так... из повадки хорошему человеку; а у нас, признательно, много накоплено, пожалуйста, и не увезешь на одной-то лошади...

— Немыканого нет, а есть изгребной! — отвечает хозяйка.

— Такова не надо! — врет булыня. — Нынеча он совсем не имеет ходу: не берут!.. Хозяин нынешний год в биржах снял подряд на сырье, а ниток и совсем не велел покупать.

— Ладно, одначе, коли залишний есть да не много, возьмем и изгребного! — решает булыня, вполне уверенный, что убедил тупоголовую бабу, которая, пожалуйста, сразу-то и не сообразит, что изгребной лен и лучше (т. е. мягче, чище сырья, особенно если пройдешься по нем гребнем раза три-четыре), и дороже.

Но изгребной лен не понравился булыне:

— Не хорошо, говорит, трёпан; *кострики*³⁶ много осталось, не вся обита трепалом, да и *волоть*³⁷ коротка, и не так крепка, да и черна что-то ... не выбелилась!..

Одним словом, забраковал булыня лен, как никуда не годный; другая баба и не вынесла бы, пожалуйста, такой срамоты на хозяйстве — вырвала бы лен, закричала б, затопала на барышника: алтынником бы, кулашником нечесаным обозвала, но бóльшая часть поступает иначе.

Пока рассматривал и браковал лен покупатель, хозяйка успела надумать многое, от чего ей сделалось даже жутко.

«Вот, — думалось ей, — купил бы он у меня этот залишек, да дал бы. Муж-то не знает, сколько всего льну осталось, совсем не мешается в наше бабье дело; а я бы купила себе бусы (старенькие-то почернели больно), либо позументику на штофную-то душегрейку, там с одного краю не хватило; а самому боюсь молвить...»

Булыня, между тем, успел вытащить из-за кушака безмен и прикинуть лен на фунты, мысленно посулив бабе дать полтора рубля — свою цену, если только упрется она, зная цены ходячие. Между тем, для большего успеха он все еще продолжает встряхивать лен и даже швырнул его опять в голбец.

— Надо быть, матерня-лен, что больно в ствол пошел; а не то долгунец — либо ростун какой: таких не берем!.. Прощенья просим! — говорил он, взявшись за шапку, но не двигаясь с места.

Булыня угодил как нельзя больше вовремя: в воображении бабы только что начала рисоваться заманчивая картина: как она в новой душегрейке пойдет на село, как эта душегрейка будет топыриться сзади и отливать и беленьким заячьим мехом, и новым золотым позументом... Она остановила торговца, начала торговаться с двух гривен и еле-еле добралась до заветной полтины. Булыня смекнул, что бабе и еще-таки нужны деньги, но ошибся, потому что она была удовлетворена в своих планах и к тому же не имела залишнего льну.

— Может, нитки продашь? — подсказал неотступный булыня.

— Да вот еще не знаю, батько, сколько на кросна пойдет! коли дашь гривенничек за тальку, бери, Христос с тобой!..

Но булыня уже не браковал ниток; цена, запрошенная бабой, была ему с руки, но чтобы не уйти с такою ничтожною покупкою, он явился соблазнять бабу пряниками, которые выдавал за вяземские, хотя и пек их сам на досуге.

* * *

Таким образом ходит торгаш со своим безменом и сладкой приманкой из избы в избы, только от безделья в глухую пору зимы после Святков. Настоящее же время его деятельности обыкновенно бывает по лету, когда у

баб начнет наливать лян, заколосится рожь, заиграют по полям зорницы и время подойдет к покосам.

Обыкновенно эти торгоши — доверенные какогонибудь богатого купца в уездном городе, который приобрел кредит на соседних биржах и буянах. По весне он собирает своих доверителей, оделяет каждого из них достаточным количеством денег, судя по способностям каждого; наконец, тут же выдает свидетельства, выправляемые на свое имя, делает приличное угощение с нужными наставлениями и прощается с ними до поздней зимы. Бульни расходятся по разным сторонам и стараются вести дело особенно от своих товарищей, сходясь в своих интересах только тогда, когда являются на рынках или замечают пройдошество какогонибудь новичка-перебойщика. С этим у них обыкновенно дело кончается слитками в попутном питейном, а на рынках сообща подводят любого мужика-перекупня *под обух*, т. е. или заставляют его уехать в свою деревню, не продавши товару, или дадут ему цену свою, меньшую даже той, которую дают они по деревням на домах. Вот почему редкий мужик вывозит свой лен и нитки на базар, а дожидается прихода бульней к себе на дом по лету.

И вот со дня Петра-Афонского солнце стало укорачивать свой ход: месяц пошел на прибыль. По гумнам забегали вереницы мышей, по полям зарыскали голодные волки, вороны застлали свет Божий, застонала земля. На скотину напала мошка, по лесам полетел паутинник, засвистали перепелы, пчелы полетели из ульев, стала попевать земляника, по полям показалась кашка и чернобыльник; трава в кое-каких местах пригорела от солнца: скоро наступит Петров день, красное лето, зеленый покос, когда и солнышко играет и зорница зорит хлеб на полях — одним словом, подходит пора сенокосная. Знает об этом мужичок, но еще лучше знает об этом наш бульня.

Он нагрузил целый воз косами и серпами, стал на ту пору косником и идет в знакомую деревню, прямо ко двору старосты. Отыскав его, кланяется ему парой кос

и разукрашенным серпом, просит не оставить в дружбе напередки и *скредить* теперь запойным полуштофиком, который на тот грех и тащит уж из-за пазухи.

— Вот, говорит, к Демиду теперь пойду, да к Матвею, да к Ильюшке, да к Егору косолапому, не оставь нашу милость!..

— Хорошо, хорошо! — говорит ему староста или бурмистр чванливый, но податливый. — Коли не устоит кто, — смекай к Юрьеву дню...

— Я тебе, — говорит булыня, — и грамотку принесу; все пропишу, что кому дам и насколько заторгую из сырца. По осени опять понаведаюсь с поклоном.

— Ну, ладно, ладно, — отвечает бурмистр, — приноси там какую смастеришь грамотку-то. Ты ведь грамотный, а мне и земской скажет, что ты там настрочишь; да смотри же не больно шибко... строчи-то!..

— Рад служить твоей милости без обиды, — говорит заручившийся торгаш и спешит к какому-нибудь Демиду или Егору косолапому. Отыскивает того и другого где-нибудь на повети; там они либо старые косы клепят, либо точилки натирают песком со смолой.

Булыня для них старый знакомый, по-старому и входит с масляным рылом, с уснащенной разным доморощенным краснобайством речью. Начинает кланяться, словно кто его сзади за жилы дергает: и плечами перебирает, и ногами заплетает, и шапкой помахивает, как цыган-плясун с диковинными коленами в пляске:

— Как-де ты, дядя Демид, живешь-можешь?

— Твоими молитвами! — отвечает дядя Демид и загремит опять молотком по заклепкам.

— Давай-то Бог доброго здоровья хорошему человеку! — улещивает булыня. Но дядя Демид не внимает гласу, стучит себе, словно кузнец какой по заказу.

— Не утруждайся: спина заболит! — спешит перебить досадный стук торгаш-булыня. — Нешто у тебя на запасе-то нету новых?..

И дух у булыни замер: вот, думает, скажет, что есть.

— То-то грех, что нет: были летось, да разбились! Вот теперь мастерю клепки, авось, может, выдержат; а в город идти не удосужишься...

— Да на что тебе в город идти? купи у меня!

— Нешто ты ноне не с ложками ездить?

— Было, дядя Демид, и на это время; сем-ко, смекаю, в другом попытаюсь! Я и серпов привез, коли хошь, и лопатки есть готовые...

— Купилы-то, знакомый человек, притупили: весь измаялся, одежонка с плеч лезет, ребятишки голы-голехоньки, собаки в избе ложки моют, козы в огороде капусту полют... — отвечает дядя Демид.

— С тебя, дядя Демид, недорого возьму! — подхватил булыня. — Коли надо: две косы так — деньги по осени, ну и серп идет в придачу; а за останное сколотись как-нибудь хоть на половинной пай. Ладно ли я говорю, толковый ты человек? угостил бы я тебя, право: да гляди, нониче хозяин-то словно кобыла норовистая: закупай, говорит, на свои, коли надо; а я-де тебя не обижу на скличке... Вот оно, дела-то ноне какие стали!

И долго ли разжалобить *простоплетенного* мужика базарному человеку-пройдохе; трудно ли навязать мужику вещи, очевидно нужные ему для хозяйства?

В других случаях булыня поступает иначе: ему известна вся подноготная в знакомых деревнях. Знает он, в каком доме мужик большаком, в каком сама баба на дыбках ходит, а где и семейная разладица стоит. Булыня умеет в мутной воде ловить рыбу...

«Выведем все, — думает он, — на свою поверхность: на то вот мы у этого дела и приставлены. Вот Иванов день подойдет — на село поедем!...»

И сдержит слово: в Иванов день или в ближнее воскресенье до сенокосной поры стоит он на видном месте в ту пору, когда мужики выходят из церкви, помолившись Богу, и одни тянутся за своими бабами на погост, а оттуда домой, другие, позадорнее, спешат по привычке проведать Ивана Елкина, чтобы не так же проходил

праздник, как будень. Булыня наш таких знает, выгладит их в толпе и проследит в путешествии до старой избенки со сгнившим крылечком и разбитыми стеклами, именуемой кабаком, или иногда, для нежного слова — и питейным.

Булыня здесь совсем другой человек, чем на деревенской повети: он, подкрепившись немного, начинает шутить, как бы и записной завсегдатай, и скоро собирает около себя целую кучу, но не упускает из виду заранее им намеченных. Мужички тем временем выпьют на последние, хотя и всегда незалишные; времени до обеда остается у них еще много, отчего же часок не потолкаться, не побалагурить с досужим человеком. На то в кабаке и лавочки поделаны и разные инструменты держат: балалайку, гармонию; целовальник на торбане поигрывает, и заходят заклятые *верезги*, которые и песню, пожалуй, залихватскую вытянут. Одним словом, мужики замешкаются, а булыня и рад тому: к тому да к другому прицепится со словом, начинает шутить.

— Вот, — говорит, — почтенные! болит у меня бок девятый год, да не знаю, в каком месте — снадобился было у старух, да, слышь, надо голову обрить до года, ошпарить да молотком приударить...

В заведение входит новый гость, знакомый, но не нужный булыне, хотя и отвесивший ему поклон. Булыня, к немалому смеху, почтил его приветом:

— Будь здоров, дядя Мирон, со всех четырех сторон!..

Вошедший не обиделся; а булыня успел уже прицепиться к другому, вырядившемуся в красную рубаху. Он потрепал его по плечу и промолвил:

— Эх ты, щеголь Яшка: что ни год, то рубашка; а портам да сапогам и смены нет!..

Но этот молодец оказался покрутее нравом:

— Да ты что же богачеством своим расчванился? Мы, брат, и в лаптях не спотыкаемся...

Но булыня нашелся и тут:

— Будь же здоров и ты с четырех сторон. Мы, брат, и сами коли дома живем, так едим пока не упадем, а и на ноги поставят, опять есть станем, — и прочее, тому подобное, по доморощенному складу, уменью и досужеству.

Мужикам почему-то весело становится от этих шуток. Булыня смекает свое: берет балалайку и пляшет; бросает балалайку, — дергает на гармонии и своей веселостью увлекает всех, но опоминается вовремя. Вскатывается с полу, на котором стлался вприсядку, и задает громогласный вопрос:

— Эх-ма-хма! денег-то тьма: кого бы, братцы, угостить из вас?

Желающих, разумеется, много; но избранный, лучше — намеченный — один какой-нибудь Егор косолапой, которого и хватает булыня в охапку и тащит к стойке, зная, что этот мужик побогаче прочих: не одни гоны засеваает льном и яровыми, и, не довольствуясь своею, *кортомит* чужие земли. Мужик этот, что называется, идет в гору и торговлю смекает, да и не прочь в сделку втянуться. А и втолковать ему что за стаканчиком водки — не хитрое дело для привычного человека.

— Сколько ты ноне гонов-то засеял? — спрашивает прямо булыня мужичка, уже порядочно подрумянив его.

Мужичок отвечает.

— А почем продавать думаешь?

— Да каков уродится! — отвечает мужичок. — А ты каким манером покупать норовишь?

— Много засеял, — так и сырым возьмем... на пуды! пожалуй, и с посконью купим, нам все едино на брак — в биржевое дело пойдет, сам ты, умная голова, знаешь!..

— Обчесать-то бабам велишь, али сам будешь?

— Да коли ранним делом зададутся — отрепли только, расчешут и на хозяйских шофах!..

Мужичок соглашается и на это, потому что он рад продать, а в рабочих руках у него на дому нет недостатка. Наконец, доходит дело и до цен. Булыня, как знаток

своего дела, спешит уверить мужичка, что по *ономняш-ным* ценам покупать не сходно, хоть сам-де на базарах справься, да еще кто знает, каков будет урожай и каков задастся лен в учесе: перед хозяином-де отвечает мощна и спина его, булыни, а не продавцова. Покупаем-де на веру и то потому только, что знаешь хорошего человека, да хочешь от сердца помочь ему, когда нужда приспеет — на том-де стоим.

Долго они, по обыкновению, не сходятся в цене; но хмель не свой брат, ульщеванья булыни сахаром обсыпаны. Краснобай этот так мягко выстилает и уснащивает, что мужику уже стыдно даже и за угощенье, полученное им на чужой счет. Он соглашается и берет задаток. Задаток пригодится ему на подушной оклад, на оброчную статью, глядишь — лошадь замоталась, зачахла от волчьего зуба, или закаталась от чемеру, а время подойдет к тому, что снопы придется свозить с поля. Залишная деньга мужичку и тут подмога. Он бьет по рукам с булыней, запивает с ним слитки и идет повестить домашних о продаже.

Едва только бабы успеют к осени выщипать лен, булыня идет опять наведываться: сначала, по обещанию, к бурмистру или старосте, а потом и к задаточным.

— Веди его, бабы, в поле: покажи, что за лен задался!

Здесь сметливый и привычный булыня уже по корню судит о достоинстве закупленного товара: гол корень — волоть плоха и лен плох задастся в учесе, даст много в оческе негодных пачесей. Если корень мохнат и с усиками — лен будет и мягок и ловко потянется в нитку, не будет сечься. Эти сведения необходимы для торговца при производстве будущей расплаты, равно как и то, чтоб не израстался он выше 10-ти вершков в стебле, не текло бы семя само по себе еще на корню, да не выбили бы его бабы прежде урочного срока отдачи в хозяйские руки. Булыню не обманешь: он знает, на сколько с пуда кудели выходит фунтов семян, и даже смекнет, пожалуй, на сколько обивается в то же вре-

мя кострики. Одним словом, не надуют бабы булыню, не надул бы он их при расплате, когда он не прочь толковать и о том, что лен весок оттого, что не той чистотой трепан, много мочен, плохо сушен, кострика мало бита. В этом торгаш — настоящий алтынник, крохобор, кулак-надувало, который к тому же имеет еще и заручку с самой главной стороны. Расплата никогда не обходится без ссоры, но ее умеет русский человек заливать легко и дешево и забывает скоро.

«Не я первый, не я и последний! — думает мужичок. — А все оттого, что к бабьему делу свой мужичий разум приспособил; вон в кузовьях либо в яровых меня не надуешь!.. На том, стало, и стоим!.. Поди, бабам еще хуже достается. С моего гроша не разбогатеет, да и я не обеднею. Господь с ним и с бурмистром-то!» — утешает себя мужик и опять не прочь сойтись в сделке с булыней, который, забравши на воза весь товар, свозит его к хозяину-доверителю.

Здесь — в доме доверителя — делается в урочное время общая сходка или склик всех его булыней-приказчиков. Свезенный с разных концов уезда лен в сырье и часто в нитках передается *воротиле* — главному приказчику, который к весне и свозит его на ближние биржи или продает оптом на фабрики скупщикам. Из валовой цены делается расчет — *в руку* — за все убытки, получаемые им при покупке и перевозке к хозяину, который довольствуется небольшими процентами на выданную сумму для купли. Эти проценты при большом хозяйстве, конечно, бывают весьма значительны и дают возможность главному булыне завести у себя на дому ткацкие станы и мало-помалу фабрику для выделки посконных полосухок, *понитков*³⁸, *портнин*³⁹, равендуков, *новин*⁴⁰, холстов, *пестряди*⁴¹ и прочего. Была бы только охота по этому делу, да знакомство и умение держать в руках закупней.

Мелкий булыня продолжает скупать холст домо-тканый, изделие самих деревенских хозяек. С восьми

лет каждая девушка уже посвящается во все тайны хозяйства домашнего; с пяти приучается к прялке; с семи она уже умеет вышивать полотенца (рушники, утиральники), вязать чулки, шить домашнее платье, и затем, после 12 лет, она уже мастерица ткать холсты и полотна.

Холсты и полотна — лакомый кус для торговца-бульни: за суровой холст платит подешевле; за бученой, т. е. беленой, и сами хозяйки просят вдвое дороже.

Ткут они холст пасм 9, 10 и 12 (широкий и узкий). Белят его на солнечном припеке на траве и для этого поливают холодной водой, чтобы не просыхал. Через четыре дни снимают суровье и бучат в небольшой кадке или бадье, куда складывают суровье. Сверху кладут толстую холстину; на нее насыпают золу; весь бук наполняют водою, в которую с раннего утра и до вечера спускают раскаленные уголья и переменяют их, лишь только они перестают кипятить воду. На ночь бук оставляется с холстом, утром рано разбирается. Вынутый холст снова расстилают по траве и поливают. После трех солнечных дней холст полощется в воде, сушится и снова бучится тем же порядком. После четырех буков холст выходит отличной белизны.

Из холста делают полотенца — непременно принадлежность приданого всякой девушки-невесты. Вышивают полотенца узорами. Узор с древнейших времен нашей истории бывает везде одинаков: древо, лев, орел, звезда, утка и другие. Полотенца эти любят покупать прохожие богомольцы для приношения к святым мощам и для подвесок к честным и чудотворным иконам, и в таком случае полотенцы непременно должны быть с узорами. Они же поступают у невест дружкам через плечо, по образцу кавалерских орденских лент. Этими же полотенцами одаривает кума кума на крестинах.

Закупень-бульня поступает к хозяину или за поручкой от доверенного человека, или на основании испытанной честности. От хозяина идут деньги небольшие,

доверие маленькое: он уже сам должен извертываться и изворачиваться, чтобы и на свой пай зашибить копейку. Толковый обыкновенно вкрадывается сначала в доверие хозяина и начинает вести свои дела не шибко: ходит с безменом и скупает немного, что только можно ухватить под мышку, но чем дальше — тем больше. Бабы к нему приглядятся, освоятся с ним, а там — долго ли русскому человеку побрататься со своим свояком. Молодцу доверяют, с молодцом ведут дела. У него завелась залишняя копейка на то, чтоб угостить старинного опытного булыню. За штоф выпытывает молодой от него все тайны будущего ремесла.

— Вот-де ты, — говорят ему, — не покупай льну мокрого да не просушенного; не ходи в тот дом, где большак сам торговец, улучай поймать бабу: с бабами сходнее дела иметь...

— Мочки встряхивай хорошенько, чтоб чище были от охлопков; коли попадетя под руку трепало, так и сам обей мочки, коли купить тут хочешь. Это опять хорошо и прибыльно, не то сбесятя с жиру; а ты с худобы сблагуешь.

— Сначала пригляди к нитяному делу: оно проще, толковитее; а потом, пожалуй, приступай и к льняному, да слушайся — смотри — не перечь артели своей: тут рука руку моет; все заодно — хоть сам пройди по базарам, посмотри, как стоим за себя, словно за братьев-свойственников. Опять же не дремли, пронюхивай... В деревнях-то со всеми ведись, да всех знай.

Новый булыня мотает на ус все наставления стариков; без них он бы пропал и с руками и ногами. В следующую же зиму он является в тех деревнях, где снискал доверие — и меряет пряжу смело, оставаясь в полной надежде утянуть в свою пользу две-три тальки пряжи, моток или два кудели, которые, при окончательной перевеске у хозяина на весах, рассчитываются обыкновенно в его пользу и увеличивают его мощну лишними гривнами и даже рублями. Ловкость булыни в этом

случае удивительна. Он, при дальнейшей приглядке к делу, часто поступает напропалую, рискует платиться потерей доверия и собственными боками, но всегда выйдет чист из воды. Его выкупают те же закадышные приятели, от которых он выучивается сноровке. Они готовы уступить ему свои деревни и потом в тех, где прогорел их товарищ, пожалуй, посудачат о нем, поругают за глаза, но с ним же посмеются на сходке в кабаке и еще ловчее подведут свою штуку под доверившихся, да еще и похвастанутся ею, как бы делом обыкновенным и законным.

Булыню или вконец загубят неудачи, и он навсегда бросает свое ремесло, принимаясь за другое, или поступает на хозяйские шофы и фабрику. А повезет булыне *одноглазое* счастье — он сам глядит попасть в хозяева. Начинает пореже заглядывать в кабак, наливаясь до последнего нельзя чаем в городских харчевнях, побранивая здесь и главного хозяина, и приказчика-воротилу. Если женат он — жена уже ходит в шугаях; сарафаны на ней ситцевые да кумачовые, на крашенные она и глядеть теперь не станет, хозяйство правит из-за наемной работницы, а сама подчас ничего в нем не видит. Наведаются к нему старые побратимы, он к ним словно всем сердцем поворотился: не знает где посадить, чем угостить; для них — и другого нужного человека — у него и самовар завелся, и чашечки с воробья и с надписями приличных пожеланий. Угощая чаем, нетнет да и ругнет он хозяина и резко и зло, но как будто к слову, без умысла.

— Он, — говорит, — пузыри на глазах насыпает, лежит на печи, словно тесто на опаре киснет; а у тебя Андроны едут — Миронов везут, спина свербит, словно перед баней, не ведаешь — куды сунуться, во что кинуться... Кормит калачом, да по спине норовит кирпичом...

— Добрый он, братец ты мой, человек! — заметит иной раз кто-нибудь из гостей.

— Воды не выжмешь, сам, поди, помнишь! С тобой же и было на скличке-то, когда вперед на подушное денег попросил. Я бы, брат, последнюю рубаху дал, по мне это дело святое: вот как теперича вижу этот сахар... все едино!

Булыня обыкновенно не договаривает, а спешит глубоко вздохнуть, как бы давая намек, что вот-де у меня какая душа широкая и сердце теплое: если хочешь — с ногами полезай, будет место.

Иной гость заикнется про смиренность хозяина и его добрые обычаи, но рассерженный булыня и их отвергает:

— Смиренность его знакомое смиренность: когда спит — без палки проходи смело; а про добрые-то обычаи — натошак не выговоришь. Да и упрям опять же: ты ему хоть кол на голове теши, а он два ставит. На пусто-то николи не плюнет, а все — глядишь — норовит в горшок, либо в чашку. Стоит хозяина-то вашего подарить чёрту, да незнакомому разве, чтобы назад не принес...

И вот, когда наступила вторая весенняя скличка, на которой хозяин-булыня раздает воловые деньги и свидетельства, ругавший его булыня не явился. Хозяин наводит справки. Отвечают:

— Сам хочет хозяйствовать.

— От себя по миру ходить. Что же, со всей дурости-то али только с полудурья? — шутит хозяин.

— Чего, говорят, с полудурья: выправил, слышь, и свидетельство на третью гильдию. Да это, говорит, так только: а то бы на вторую мол, надо. Вот мол, в город скоро перееду, жить там стану, новый сарай на сто трепален выстрою: назову шофом и работников скличу побольше хозяйского десятка...

— Да что это вы, ребята, в глум ли говорите, али и взаправду?

— Тебя, хозяин, пытал ругать, расшумелся — слышь, словно голик по полу, — подвернул работник себе на уме. — У — костоват! — и работник покрутил головой.

— Ум-то у парня не с шило был, что говорить! — решил хозяин, но не верил слухам до тех пор, пока не почувствовал сам, что под боком у него засел опасный сосед, который сгоряча-то и нанове повел дела так бойко, что многих старых булыней сманил к себе и забрал почти всю окольность. Зачем-то, сказывали, уезжал недель на шесть и вернулся домой в лисьей шубе.

— Стало быть, нашел доверителей! — решил прежний хозяин булыни. — Давай ему Бог!..

— А збойливая, братцы, собака все-таки исподтишка ест. Оказал мне смирение — ну и поддался я, старый дурак, на соблазн. Правда сказана: съешь с человеком пуд соли, тогда только узнаешь его. Клал он, стало быть, как вытный приказчик, грош в ящик, да пятак за сапог. Не оставьте, братцы, не покиньте! За порукой я не стою!..

Приказчики дадут слово и сдержат, пожалуй, т. е. на первом же базаре начнут перебивать на залишние хозяйские деньги пряжу и лен, иной раз и сумеют это сделать как нельзя лучше и удачнее. Новый хозяин даже может увидеть беду на вороту, но не поддастся ей, выдержит напор со славой.

— Это ли беда? — спрашивает он. — Беда из бед бедней всех бед, когда денег нет; а коли денег столько — что и большой черт не унесет на себе, так нечего надрываться и кручиниться.

— Бейте, братцы, наперебой в мою голову! — говорит он своим приказчикам и во всяком случае или выгорит, подыметя в гору, если первым поддастся соперник, или, при неровной, но усиленной борьбе, что называется, надорвется — прогорит вместе с ним и закроет хозяйство. Тогда — ясное дело — из этого перебоя выходят чистыми одни перебойщики, от изворотливости которых зависит самим сделаться хозяевами, начиная с мелкого крохоборничества до большого дела на трепальнях и ткацких станках в шофах.

Задорный, хотя и прогоревший булыня-хозяин (если здоровье еще прыщет в нем и гомозится риск) не скоро уgomонится, не скоро поддастся неудачам. Испытав их в булынном промысле, он поспешит приняться за другое, более надежное и не шаткое.

Упорно сидит он в избе, пилит, строгает, почти никуда не выходит: вот он выстрогал саженный шест-лучок, толщиной вершка в полтора. На обоих концах его приделал две кобылки: одну большую, другую поменьше. В большой наружную сторону сделал потолще, прорезал в ней желобок и накрыл его кожаным ремнем, объяснив ребятам, что этот ремешок называется наволочкой. Прикрепив эту наволочку крепкими бечевками к большому шесту лучку, он натянул струну, за которой нарочно сходил в город. Настрогал тоненьких лучинок и связал их веревочками в возможно мелкую решетку, длиной в полтора аршина. Затем обточил он из березового полена тоненький брусочек — катеринку. С одного конца выдолбил в нем дыру, чтоб можно было ухватиться большим пальцем, с другого наделал зарубочек вроде пилы; потом выстрогал другую деревянную палочку, которую сносил в кузницу и там приделал к ней железный наконечник.

Палочку эту, или *пику* он приладил к решетке. Потом, смотрят домашние, мастер упер эту пику одним концом в стену, другим в решетку, отчего та скрипнула и выгнулась в полукружье; тут же привязал он к низу решетки холстинную сетку и весело улыбнулся. Велел бабам нести скорее из голбца остатки шерсти, класть ее на решетку и смотреть на его мастерства шерстобитню. Новый шерстобит приладил узенький ремешок — подкладок, забил его под наволочку, кобылка приподнялась, натянула струну, мастер дернул по струне зубцами катеринки, но струна подалась плохо, как-то задрезжалась, нужно было опять поправить подкладок...

Струна ударила сильно и густо, и пошла гудеть на всю избу; ребятки запрыгали на одной ноге, бабы

усмехнулись в рукавок и обступили торжествующего мастера. Он двинет по струне катеринкой: струна застонет; ударит по шерсти: взобьет ее, выровняет. За решетку летит уже на пол негодная пыль, или сор — подрешетка; на решетке остается шерсть пушенная, кудрями... Бабы снимают ее в кузовья; мастер смотрит гордо и торжественно. Бабам уже не до смеху, только одни ребятенки продолжают прыгать на одной ноге; а струна все гудит да стонет, а кузов — полней да полней.

Мастер с радости забежал в питейный, поздравил себя и целовальника с новым ремеслом, и после Кузьминок на овчаря взвалил шерстобитню на плечи, обмотав струну тряпицей, и пошел мерять версты от деревни до деревни, где надобно шерсть взбивать и пушить. Здесь станет он снимать подряд по полтине с лукошка; здесь удивятся ему и, пожалуй, обрадуются, как человеку давно знакомому, давно не виданному, хотя уж и не булыне, а горемычному волнотепу.

Раз пройдет он весной, когда сбивают шерсть однострижку — старичну. Если есть у него досуг — пройдет и в другой раз по лету, когда готова двустрижка, и непременно бродит в Кузьминки, когда разбивают руно двухгодовалых овец или пушат поярок: молодых первачков-ягнят. Походит он волнотепом много два года, на третий увидит, что ремесло это не сытно кормит, благо — поправило немного беду хотя и не избыло ее совсем в тартарары, да и с его ли задором щелкать струной и стоять у полтинного подряда с дому?

Толковая сметка подмывает его пуще прежнего; а недавно покинутое ремесло булыни стоит перед глазами, как живое, только в новом свете и при иной обстановке: привычка берет верх, кропотливое досужество приходит на выручку и старый булыня из волнотепов незаметно превращается в скупщика, но только не льну, а залишной шерсти. Он порывается открыть новое хозяйство и кое-как, в долг да в *поколоть*, достигает цели.

Сначала он заводит прялки и сам и жену заставляет выпрядать на них шерсть. Шерсть эту продает он или на базарах, или по домам, или на фабрики в нитках, а часто и в чулках, в варежках и в прочем. Он уже знает, что ту шерсть, которая пойдет на уток, сначала расчесывают гребнем, а потом натирают маслом, а ту, которая годна для основы, моют только мылом. Мало-помалу знакомится старый булыня с валяльным делом, приспособляется различать доброту шерсти, как той, которая снята со спины, так и той, которая обстригается с горла и подбрюшины. Он давно уже знает, что осенняя шерсть — руно и мягче, и тоньше, и гуще, курчавее весенней; что пуша, снятая с молодых овец — ярок, самая мягкая, самая нежная шерсть.

Остается ему завестись небольшим хозяйством: смастерить каток, на который будет наматывать шерсть, купить стальной гребень, который перед расчисткой шерсти он будет накаливать в печи докрасна, и обзавестись скребачом — железными граблями. Скребачом валяльщик впусшит сначала шерсть, потом навернет ее на каток и будет повертывать до тех пор пока слой шерсти не превратится в сплошной, плотный войлок. Войлок этот он будет сращивать — загибать края вместе, чтоб образовать сапог, и потом начинает катать, *платя сапог*, т. е. накладывая новые клочки шерсти на *тонины* (где мало шерсти). Затем делает сrostку или шов и начинает стирку. В железном котле кипятится вода до ключевого боя, и жамкается вывернутый наизнанку сапог с головы, закатываемый взад и вперед до половины голенища. Если делается подъем не ниже трех вершков, а носок вытянется в полтора — валянный сапог готов. Он идет купцам на продажу. Белый натирается мелом и стоит дороже, черный для прочности обсоюзивается кожей и носится бережливым хозяином зимы три или четыре...

В новом ремесле старого булыни нет перебоя, хозяйство его идет ровным гладнем. Тут работа не базарная, а

домашняя и, большею частью, по заказу от состоятельных купцов и барышников. Валяльщик ремесло свое чуть только в могилу не уносит с собою. Недруг его не укусит, как ни точи зубы, была бы только у него устойка в деле, вскакивал бы он горошком на дело свое. Встань эта мужика кормит, лень только портит. Недоброму, завистливому человеку долго приходится ждать: у людей голова кругом, — а у него еще и не болела.

МАЛЯР

Питерщики-пришельцы столичного города из разных губерний России составляют, как известно, большую половину всего городского населения. При этом самое большое число заходящих работников получает Петербург не из соседних губерний, как бы следовало ожидать, но из более отдаленных. Ближайшие высылают преимущественно чернорабочих, — таковы все пришельцы из городов и уездов Петербургской губ. и из губерний Новгородской и Псковской. Отдаленные губернии выставляют своих представителей всегда с каким-либо искусством-мастерством и специальными знаниями по роду промышленности и ремесел, усвоенных известными урочищами или местностями разнообразной земли Русской.

Вся масса пришлого из России в Петербург люда к 1868 году равнялась 539122. В этом числе мужчин — 313443 и женщин 225679.

В этом случае на первом месте стоят губернии: Ярославская, Тверская и Костромская. Затем следуют в строгом порядке постепенности: Новгородская, Рязанская, Псковская, Калужская, Лифляндская, Московская, Смоленская, Витебская, Вологодская, Курляндская и Эстляндская, Олонецкая и Архангельская.

С крайнего востока, юга и юго-запада приходит народа так мало, что не стоит и упоминать о том. При этом

многие из губерний высылают людей какого-либо одного занятия преимущественно перед другими.

Извозчики (ломовые и легковые) приходят большею частию из губ. Петербургской, затем Тверской, Рязанской, Новгородской и, наконец, Калужской. Портные — или петербургские уроженцы, или ярославцы и тверяки. В сапожниках всего больше тверяков (кимряков); между столярами — костромичей. Плотники либо костромичи, либо тверяки исключительно. Кузнецы — ярославцы и тверяки. Обойщики — ярославцы. Печники либо ярославцы, либо костромичи. Шапошники и шляпники — костромичи и ярославцы. Половина садовников и огородников — ростовцы; медники — также ярославцы; ярославцев же всего больше в штукатурках; в каменщиках — вологжан и смоляков, в скорняках также все ярославцы (романовцы) и калужане; полотеры — воложане, и т. под.

Маляры всей своей массой принадлежат Костромской губернии (а потому для обрисовки питерщика и взят этот тип ремесла). Маляры, не ушедшие в побывку на родину, как известно, на осеннее время превращаются в стекольщиков.

* * *

На петербургских улицах разыгрывались обыкновенные будничные сцены: проехала карета с опущенными шторами, коляска с поднятым верхом; пешеходы идут с утомленными, красными лицами; барыня, с зонтиком, обмахивается батистовым платочком и по временам утирает лицо. За каким-то толстяком плетется огромный водолаз, высунув на поларшина красный и сухой язык; извозчик провез кого-то с огромным зонтиком; другой извозчик хитро улегся на своем калибере, оборотившись спиной в ту сторону, откуда припекало жгучее солнце; дворники поливают улицу, в надежде угомонить едкую и несносную пыль, поднимаемую и экипажами и самими дворниками.

С противоположных сторон улицы сошлись два человека: оба мастеровые, потому что оба запачканы краской, но с тем главным различием, что один почти весь белый и рубашка белая, тогда как на рубашке и фартуке другого заметно преобладание двух цветов: черного и зеленого. У первого на лице белильные крапинки, у второго — желтая полоса между левым глазом и ухом, оба в пуховых шапках. У первого в руках огромная кисть и ведро, а сзади за поясом скирка; у разноцветного нет ничего и даже сапоги его заметно лучше и показистее. Первый непременно штукатур — ярославец, второй — маляр, может быть, костромич, т. е. чухломец. Узнать и это нетрудно: стоит только прислушаться к разговору, который завязался у них, после того как они сошлись и поздоровались. Остановившись посреди тротуара, мастеровые потрясли-покачали руками, оглянули друг друга с головы до ног, по обычаю, и улыбнулись.

— Куда путь-дорога? — спросил штукатур.

— К домам пробираюсь, хозяин послал, вишь, парнишко у нас больно захворал, — ответил маляр.

— А давно хворает? — опять спросил штукатур.

— Да вечор еще в лавочку бегал за квасом.

— Ну, а дела-то твои как? у старого хозяина живешь?.. все у того-то... у рыжего?

— У него еще пока.

— Прощай!

— Прощай, земляк; заходи когда к нам.

Мастеровые разошлись и не оглянулись.

Один в разговоре сильно напирал на ó, даже слишком, что называется, пересаливал; другой как-то тянул слова и округлял фразу совершенно иным образом, чем первый, который говорил отрывисто и как бы нехотя; напротив, маляр говорил так, как будто он любит говорить, и ему это очень приятно. Как бы то ни было, только давно уже известно здесь, что плотники — галличане, штукатуры — мышкинцы, огородники — ро-

стовцы, колбасники — если не немцы, так непременно угличане, сидельцы в питейных и портерных рязанцы, т. е. дедновские макары и проч. Так и маляр, если не ярославец, то почти всегда чухломец.

Как же он попал сюда? Да очень просто. Издавна завелся этот обычай ходить на заработки в столицы; знает об этом вот хоть бы и Дементий Сысоев, у которого старший парнишко из годков выходить стал — двенадцать минуло. Дай-ко я пушу его на чужую сторону; кроме добра, худа не видно из этого.

— Слышьте-ко, ребята, — говорил он питерщикам, когда те снова в Великом посту собрались на заработки в столицу, — не возьмете ли моего Петруньку с собою, может, пригодится?

— Ладно, дядя Дементий, пожалуй! Да вот, вишь, в чем главная-то причина: нам, признаться сказать, на своих харчах вести его в Питер совсем не с руки, — сам знаешь это. Кабы вот ты дал нам пособьишко, что ли, какое — маху бы не дали и дело статочное было. Лиха беда до Питера дотянуть, а там все берем на себя и найдем парню местишко. Да вот нешто не возьмешь ли ты, Егор Кузьмич? — говорили свояки, обратясь к тому маляру, который уже другой год ходил от себя и собирался то же сделать и на это лето.

— Отчего не взять парня? Человек не лишний, коли еще пользы нет в этом. Собери да и по рукам.

Сборы эти недолги: в назначенный день отец уже прощается с сыном.

— Полно, бабы, реветь! Ведь не на невесть какое дело, что в люди парень идет, на путь на дорогу. Собирайся, Петруня, не гляди на бабьи-то слезы: тоску только нагоняют и ничего путного. Ведь не на смерть идешь, и то сказать: коли Бог грехам потерпит, — не далека вежа: годка через два придешь на побывщину, и опять, стало, свидимся. То же слово бабы, — да не так молвят! Нишкните же, говорят! Дело толком не дадут молвить: ишь ведь благо дорвались и обрадовались! —

И большак топнул ногой, желая прекратить громкие причитыванья домашних.

Парень облокся: туго-натуго подпоясал овчинную шубу и накинул сверху заплатанный кафтанишко; мать сунула ему за пазуху кое-что из съестного, а сама стала в сторонку между золовками и невестками. Подпершись локотком, бабы как бы поджидали снова того времени, когда можно будет опять напутствовать парня посильными криками.

Большак сел на лавку подле стола и усадил баб, громко прикрикнув:

— Садись-ко вот лучше, да пора и прощаться с Петруней!

В избе наступила тишина. Молча отец поднялся с лавки и начал молиться иконам, подавая пример и остальной семье. Окончив поклоны, он обратился к сыну:

— Ну, прости, Петруня, прости, наш голубчик, — не забывай же, смотри, стариков: грех тебе будет и никакого талану. Отписывай ты нам, да почаще смотри, как ты там уместисься. Да, коли надо чего, повести только: все тебе справим по твоему пожеланью...

И не утерпел старик: прослезился и сам, когда начал надевать створчатый медный образ, которым давно-давно благословил умиравший отец его — дедушка будущего питерщика.

Тут в избе опять начался плач, на который чуть ли не вся деревня собралась в Дементьеву избу.

— Ишь, никак Петрушка-то Коряга в Питер собирается? — говорили друг другу соседи и валом валили посмотреть на такое диво.

Виновник всего этого прощался со своими и, тихо всхлипывая, пошел к выходу, прощаясь на пути и с чужими. Дошел Петруха до дверей, да и вспомнил, что маленькая сестра, разбросавши ручонки, спит на материнской постели за переборкой.

«Как, — думает он, — не повидать на *последях* сестренку: ведь почти что сам ее вынянчил: все, бывало, на закорках таскал и кормил чем ни попало. Вот и теперь вся черникой замарана».

Любил Петрунька сестру, да и она не оставалась неблагодарною: вчера еще где-то пряник достала, пришла в избу и протянула ручонку: «на вот, возьми, говорит, съедим вместе, ты для меня ничего не жалел». Вспомнил он это и, простившись с сестрой, переменял свои сдержанные слезы на сильную икоту: пошел снова к дверям и начало его подергивать. А бабы-то, бабы-то!..

— Ну, ладно никак, Дементий Григорьич, пора, кажись, эту оказию порешить!.. Садись-ко, Петруха вот так-то: хорошо будет! Прощай, дядя Михей!.. Прости, тетка Орина!.. Марья Терентьева, прости, матушка!.. не поминайте лихом!.. Эй, ну, сивко! трогай!..

И воз питерщиков, труском, потянулся на выгон, за деревенские овины и бани. Смотришь, там рысцей да пешечком, да на чугунке сидя, добрались маляры и до Питера. Разошлись они по своим местам, куда кому линия шла, а Егор Кузмич поплелся с новобранцом в свой угол на Васильевской остров, к Смоленскому кладбищу.

Здесь-то вот и началось ученье Петрушки, пока он не сделался Петром Дементьевым, то есть пока не кончил ученья.

Время это подошло незаметно, но для ученика чрезвычайно ощутительно. Во-первых, потому, что был он в ученье, а во-вторых — оттого, что имел учителя. Известное дело, что хозяин ему не давал ни в чем потачки, хотя на первых порах ученик и был словно бука, — тише воды, ниже травы. Сидит в углу, насупившись, словно впервые в свет Божий вглядывается, и все ему чуждо. Заставит дело хозяин делать, так точно машина какая: трет ему краски, болтает в ведерке мел и не обернется, не бросит дела, пока не крикнет хозяин и не велит оставить. Спросят ли о чем — ответу не дает никакого; скажет слово, да и то все невпопад. Мальчишки

заденут — схватит щепку, да и метит в задорных, того и гляди в лоб или глаз попадет: не вяжись-де ко мне, коли *не замаю*.

Послал его хозяин не то в лавочку за квасом, не то в питейное за очищенной: идет он по панели и видит — какой-то барин, в сюртуке и без шапки, стоит в дверях нижнего жилья и слышит Петруха, как зовет его барин и машет рукой.

— Эй, малец! — ходи немножко ко мне.

Петруха ни слова в ответ, — не спросил, зачем и нужно, и даже не противился, когда два молодца, в сюртуках и с ножницами, схватили его под руки, посадили на стул и начали щипать кто за висок, кто за вихор; досталось даже и уху и затылку, обкорнали дочиста хохлатую голову, нагородили лестниц и пустили к хозяину.

А между тем, это дело было не последней важности и вот почему: любил озорник-хозяин показать Петрухе, как колбасники щетину щиплют, и все, бывало, на его затылке упражняется. А не то схватит обеими ладонями за виски, да и велит Москву смотреть: не видать ли Ивана Великого? Да еще подсмеивается — может, говорит, туманом позаволокло, так и не видно. Тут бы и кстати, что ученики-цирюльники удружили, так шутник-хозяин новую штуку придумал: схватит за нос либо за ухо, да и спрашивает: чей нос? Тут как ни ответишь, — все неладно; надерет ухо до того, что слеза прошибет и больно станет.

Особенно участил эти шутки хозяин с той поры, как ученик, по его мнению, стал поперягаться и поосматриваться. Пойдет, бывало, за делом, да и толкается у колоды и слушает, о чем толкуют дворники, а там начал задевать и встречного мальчишку-сапожника; раз до того осерчал, что поставил посудину со скипидаром к тумбе, да и начал сажать сапожнику под микитки: не заметил даже, как какой-то прохожий схватил посудину, да *дал тягу*. Как же тут не серчать хозяину и не учить парня уму-разуму? Затем ведь и взял: известное дело!

Но вот хозяин стал Петруху брать с собою на работу и показал ему диковинный город, весь как есть налицо. Что ни шаг, то новость молодцу: на каждом угле только и видно, что навесец с маковниками, пряниками и разными соблазнительными сладостями. И продается то, сколько заметил Петруха, по разнице и не слишком чтобы дорогой ценой: можно купить и на грош, можно и на три копейки. А тут вот тебе баба сидит на *тычке* — на боевом месте, где народу рабочего много ходит, охотников поесть и сердито, и дешево. Словно сорока щебечет она то с тем, то с другим, а народу обступило ее так очень на порядках: знать, диковинное дело показывает. Не утерпел и Петруха, чтобы не посмотреть, что такое продает она и расхваливает. Подняла баба черную тряпицу и хоть чихнуть так впору: пронесся парок и защекотал в носу чем-то как будто жареным. Присели зрители на корточки и словно ни живы ни мертвы от нетерпения; присел вместе с ними и Петруха, и купил бы он, да денег-то больно мало — ровно ничего. Вынула торговка большой кусок сычуга, разрежала на кусочки, сгребла в руку и подала первому счастливцу, который тут же и истребил вкусное кушанье. И видит Петруха, как потянулся счастливец-плотник в другой раз, и досада Петруху берет, что плотник еще спорить начал, когда кусок ему показался что-то очень черен.

— Толкуй с тобой, глупым, а еще плотником зовешься, домá рубишь! — щебетала торговка. — Словно в первый раз сычуги-то ешь — не знаешь, что это-то самый сочный и есть: вишь, как облепило, — и подливки не надо. Бери-кошь небось экую мякоть, а не то опять в чугуны опущу, да прихвати сольцы, хоть и солила дома. Ведь на вашего брата не угодишь.

А сама сует ему кусочки в руку да о каком-то *скусе* толкует; выхватил тот из кармана морковь, да и начал закусывать.

«Ишь как уплетает! — думал Петруха и щелкал языком, набивая смаку и следя за торговкой. — Вона

солдат пришел!.. Знать, знакомый — даром дает. Эх, кабы пятиалтынник, али гривенник: всю бы корчагу съел!.. кажинный бы день ходил, — все бы ел!..».

И просидел он тут до последнего куска и долго смотрел вслед отъезжавшей торговке.

А тут рядом другая: тоже с корчагой и на тележке, и кричит она проходившему каменщику:

— Эй, поди-ко, дядя, за копейку горло отрежу?

Оглянулся дядя, посмотрел на торговку, проворчал что-то под нос и пошел дальше.

Петруху мучат соблазны на каждом шагу вплоть до хозяйской квартиры: то квас малиновый продают, то сбитень пьют с молоком и булкой. Там мастеровые какие-то сели на калибер и делятся с извозчиком репой.

«Вот тут, — думает он, — и живи в учениках, да ходи в город; хоть бы хозяин-то переехал сюда, — все б, гляди, лучше было. Да нет, поди, не послушает он меня, коли переговорить с ним об этом, да еще того гляди Москву покажет. Э, ну, его!.. все он с своим показываньем — *нали* надоел совсем, — словно потолковой чего не найдет!..» Думал да гадал Петруха, и наконец-таки напал на то, чего ему надо: решил во что бы ни стало достать себе денег и прямо к приятелю-мальчишке, с которым свел недавнюю дружбу в лавочке.

— Как бы, Матюха, хошь пятак достать? а то, брат, хочется сладкого, а купить не на что. Стянешь вот морковь с шестка у хозяйки, коли выйдет из фатеры, да того гляди увидят и выжмут тебе ее соком? Где ты берешь, паря: у тебя завсегда почти деньги есть?

— Я-то где беру? да либо бабки продаю, либо бутылки эти хозяйские меняю. У нас, брат, не то что у вашего хозяина: добра много. К нам, брат, все разные господа купечество ездят. Работы много, так большие, вишь, и дела ведем. Приедут, да все меня вон в угольный погребок и посылают. По три копейки, брат, дают в погребе-то, — хвастался сосед-мальчишко.

— Не возьмет ли меня, Матюха, хозяин-от твой?

— Ладно, коли хошь, я похлопочу. Будет говорить, — замолвлю словечко. Да у нас, вишь, все артельный Иван Прохоров делает, всем он и заведует. Работники у нас народ хороший; только дело свое знай, да исполняй все, что тебе укажут. Да и ты, поди, краски натирать умеешь, клей разведешь и белила размесишь. Вот ведь и все, коли хочешь знать! А я с тобой не прочь подружиться: давай-ко вот так.

Матюха взял руку нового друга и, покачавши ее, продолжал опять покровительственным тоном:

— Ладно, ну!.. ладно!.. похлопочу, — только, вишь, у нас больно крут артельной Иван Прохоров.

— Ишь, как у них знатно! Попрошусь-ко пойду к Егору Кузьмичу — не отпустит ли к ним: ему, кажись, все одно и без меня будет. А там бутылки бы вместе с Матюхой продавали! — решил этим Петруха и попросился у хозяина, но, конечно, получил отказ с неизбежным показанием, как кухарки рябчиков, да кур щиплют: пора-де, глупый, баловства остановить, семнадцатый год пошел. А не то, так вот-де штука, как чухонцы масло ковыряют.

— Так, — говорит хозяин, — возьмут снизу, да и ведут-ведут, да и ковырнут: тебе, вишь, больно, а маслу-то ничего.

«Ну, нет! — думает Петрушка. — Коли на то, пошло, хозяин, так больно ты бьешь, хоть на разум наводишь».

И начал с тех пор заговаривать Петруха с хозяином и довольно частенько: придет к нему и стоит, почесываясь.

— Егор Кузьмич!

— Что, небось, опять к соседским?

— Нету, Егор Кузьмич, не хочу, что правда — то правда: много доволен!.. Дай, хозяин, пятак на баню.

Получит пятак, да и купит три банки моченого гороху, если дело зимой, или красного крыжовнику, если дело в урожайное лето. Там, глядишь, опять:

— Егор Кузьмич!

— Что тебе надо?

— Дай я твой полштоф-от, что в шкафе стоит, отнесу назад!

— А Москву видал?

— Видал, брат, Егор Кузьмич, — ответил Петрушка и спрятался за дверь. Но полштоф-таки взял и уже стоял на рынке и щипал киту гороху зеленого, да запивал его сбитнем. А после:

— Скипидару, Егор Кузьмич, налил: вишь, белила надо было развести, поставил полштоф-от на лестнице, да вон из того дома пришла кошка и разбила. Коли не веришь, осколки тут валяются, сам посмотри!

— Егор Кузьмич!

— Опять дуришь, сорванец эдакой!

— Вахреневские ребята приходили даве; бают, коли хозяин с работы придет, посылай скорей к нам. У них, вишь, Евсей именинник сегодня.

— Ну ладно же, смотри, сиди дома; не забегай далеко, да и свечей не зажигай, а то знаешь манеры мои?

С этими словами хозяин ушел со двора и пришел уже довольно поздно, приведя с собой двоих, из которых только одного узнал Петруха, другой совсем был незнакомый и одет довольно чисто: в скюртуке коротеньком, при часах, и папиросы курит.

На другой день Петруха уже рассказывал своему приятелю, Митьке, следующую историю:

— Хозяин-от мой, слышь, пришел; смотрю я на него. «Вон бери, говорит, Иван Прохорыч, бери этого молодца! Поди, Петрунька, сюда». — Вишь, уже они совсем в перевод сладили: я завтра перехожу, а хозяин опосля обещался — с фатерой, вишь, надо, говорит, разделаться! Гляжу, они оба целуются, да обнимаются, а ваш-от жмет моему руку. «Небось, говорит, не оставим: не впервые с тобой хлеб-соль ведем; свои, говорит, землячкие. И кто тебя, говорит, подряд-от эдакой снять сунул, да и работников-то, говорит все выжигу нанял:

у нас не жили, — к тебе пришли», говорил ваш-от, сам головой качает. Я стою около печи и все слышу: весь разговор-от их взял в толк. Вишь, нашему-то хозяину подошло-то, что хоть по миру ходить, а запреж козырялся; целый завод, говорит, на подряд сниму и тебя, говорит, Петрунька, артельным старостой сделаю. А сам в те поры ухмыляется. Вот вишь, Митюха, они и порешили к вам; завтра совсем перейдем!

Немногим чем лучше стало Петрухе у нового хозяина, только, может быть, больше перепадало на его долю того баловства, о котором мечтал он. Все-таки незаметно протекло и для Петрухи время его ученичества, и видит артельный, что молодец и ведро окрасит не хуже другого, и фигуры наведет на полу по трафаретке, если заставят, и со шпалерами сладит.

— Могим и это сделать теперича, — хвастался Петруха товарищам. — Лиха беда в шпалере конец найти, да надумать, какая фигура к какой идет, коли наставочку придется приложить. Да что, хоть бы и другие ребята: тоже иной раз артельного спрашивают! Что ж, что вывески пишут? и я бы писал, как бы грамоте-то хоть маленько мараковал. Картины, вишь, на вывесках берутся наши ребята писать, — эдак-то и я возьму, да что толку-то; принесешь, — приругают только; вон как было с Матюхой, да еще и вывеску-то цирюльник назад отдал. Глаза, слышь, словно очки вывел, да и нос-то, толкует, не тут посадил.

Смиренно сознавался Петруха в своем неуменье исполнять живописную работу, но в то же время получил от хозяина первую месячную плату за житье в работниках, и незаметно перешел он за тот предел, дальше которого нет уже ни пинков, ни щелчков хозяйских: пришла пора самому о себе радеть и стараться.

Между тем, подошла масленица со своими самокатами, райками, паяцами, пушечной пальбой и другими затеями. Сказалось это время и мастеровым ребятам: крепко захотелось им позевать на потехи; к тому же работу

шабашили. Но ведь вот беда: худая гулянка без денег, а их-то у всех ребят, что называется, *только так*.

Собрались они в кучку и калякают, как бы делу ход дать, чтоб и самим любо было, *да и хозяина не обидеть*, как выразился Матюха. Но где же достать денег, как не у хозяина? И тут беда: один на баню да на отсыл забрался столько, что чуть ли не всю зиму придется жить задаром; другой пошел бы просить, да армяк когда-то шить задумал и взял на это деньги, но хоть армяка и не купил, а завел сапоги личные, да гармонию за двугривенный, а все-таки денег нет, да и за хозяином всего тоже очень немного. Думал было и Петруха, как делу пособить, да видит и ему не везет: недавно денег просил на отсыл, а часто беспокоить хозяина — совсем не годится: в другой раз не поверит.

Судили да рядили ребята: и языком-то щелкали и затылки чуть не в кровь расчесали, а видят, что ушли не дальше того, с чего начали. Стоят в кучке и молчат, и долго б так было, если б не закадышный друг косолапый дворник Тихон, всегдашний их советник, а в случае — ходатай и покровитель. Он-то и выручил их из беды, нечаянно вспомнив одно обстоятельство:

— Да что, ребята: нешто забыли, что с Петрухи Кореги магарыч еще надо? Ведь, кажись, третий месяц берет работницкие-то?

— И впрямь, брат Петруха, что ты глыздишь? Поди к хозяину, проси у него.

Промолчал тот, как бы и не его дело.

— Поди же проси, неча отмалкиваться-то! ишь ведь и резоны взяли. Совесть, что ли, зазрить начала?

И ребята начали поталкивать его прямо в калитку к хозяину.

— Ступай, брат; внаем ведь твои счета с хозяином; знаем, когда брал и сколько осталось. Пихайте его, ребята, в калитку, пусть увидит хозяин, да позовет, коли самого честью не упросить.

Петруху уже просунули между вереей и дверью, но он оставался непреклонен.

— Нет, ребята, пустите лучше! Скажу вам всю правду: недавно в деревню брал отсылать, — все деньги забрал, ничего, братцы, не осталось: сами спросите хозяина.

— Нету, брат, врешь, — три рубля твоих за хозяином осталось, ступай! Нешто думаешь не отдаст, что ли?

— Уж я тебе говорю, не отдаст! Да и что вы, ребята, пристали, словно вар какой! Ступайте сами!.. Ишь и боитесь!

— Э, брат Петруха! корить начал? Ладно коли так, удружим сами. Небось любил наш чай-то пить, да еще и лимону раз попросил. Мы, брат, тебе ничего не говорили.

— Нешто я просил вашего чаю-то? — защищался Петруха.

— А лимону-то тоже не просил?

— Отвяжись, Матюха, что ты пристал к нему... ишь каприз взял! Правду молвит хозяин пословку-то: «Кузька, иди молотить! — Брюхо, тятка, болит! — Кузька, — иди горох хлебать! — А где, слышь, моя крашенная ложка». Так-то и наш Петруха! — порешил косолапый Тихон.

— Прах его побери, коли товарищей знать не хочет. Сами удружим, когда ни на есть подвернется! Учить еще, вишь, надо, как по дружеству, в согласии надо жить с нами.

Вспылил обиженный: крепко не по нутру пришлись ему последние слова товарищей.

— Ладно, ребята, никшните, сейчас принесу! — вскричал Петруха и пошел вперевалку к калитке. Ребята за ним и смотрят из-за косяка, что с ним случилось: идет мимо окон и руками разводит и, как слышно, ворчит про себя, а на хозяйские окна и взглянуть боится. Отворил вот и дверь в сени и скрылся за нею.

Вернулся Петруха от хозяина с целковым. Немного погодя в ушах ребят послышались учащенные выстрелы, уже на площади, из ближнего балагана. Эта

неожиданность так поразила маляров, что они только усмехнулись, разинув рты, и взглянули друг на друга, как бы недоумевая.

Гулянье было в полном разгаре: кучками собирались тулупы, шубы и полушубки около тех мест, где виднелись кудельные парики, бороды и пуховые шапки, подобные тем, которые надевают тороватые хозяева на огородных чучел. Примкнули и наши ребята сюда и вплоть до вечера слушали потешные остроты паяцев и смотрели, как барышни то и дело прыгают на дощечках. Немало занял их, на обратном пути, маленький мальчишка — кукла в красненькой рубашонке, которая стоит на крышке зеленого ящика и хлопает в медные ладоши. Подошли ребята и, оскалив зубы и приложив ухо, слушали веселенькую песню:

Чики-брики
Так и быть,
Как бы теток не забыть,
Как бы теток, как бы баб,
Как бы малых, эх, ребят.
Живы будем,
Не забудем,
А умрем,
Так прочь пойдем.

— Ну, ребята, хотите что посмотреть? и недорого б взял — по грошу с брата! — спросил борода-хозяин по окончании песни.

— Нету, брат, не охота! — отвечали ребята и поворотили оглобли.

— Ну!.. пятак со всех: эй вы!.. маляры!

— Мелких нету.

— Разменяю!.. сдачи дам!..

— Менять неохота; деньги, вишь, крупны: у тебя и сдачи не хватит.

Ребята, однако, пошутили только из обычая, но, наклонившись и прилипнув глазами к круглым стеклышкам, видели ярко размалеванные картины и слушали

бессмертный приговор базарного остряка на этот раз в таком тоне и смысле:

— Вот я вам буду первоначально рассказывать и показывать иностранных местов, разных городов, городов прекрасных. Города прекрасны — не пропадут ваши денежки напрасно. Города мои смотрите, а карманы берегите.

И пошла писать:

— Это извольте смотреть-глядеть: город Москва бьет с носка и лежачих поталкивает. Ивана Великого колокольня, Сухарева башня, Успенский собор: 600 вышины, а 900 ширины, а может, и поменьше. Ежели не верите, пошлите поверить да померить.

А это извольте смотреть да рассматривать, глядеть да разглядывать: как на Ходынском поле из Петровского дворца сам Император Александр Николаевич выезжал в Москву — на коронацию: артиллерия, кавалерия по правую сторону, а пехота по левую.

А это извольте смотреть да рассматривать, глядеть да разглядывать: как от французькаго Наполеона бежат триста кораблей, полтора галетов с дымом с пылью, с свиными рогами, с заморским салом — дорогим товаром, а этот товар московского купца Левки — торгует ловко.

А это вот город Париж, не доедешь — угоришь, а кто не бывал в Париже, так купите лыжи: завтра будете в Париже.

А это вот Летний сад: там девушки гуляют в шубках — в юбках, в тряпках — шляпках, зеленых подкладках. Юбки на ватках; пукли фальшивы, а девицы плешивы.

Ребята смотрят, да не разбирают, что подчас не то видят, о чем толкуется. У раевщика не хватило картины на весь ящик, он к одной картине совсем другую приклеил. Берут ребята на веру и понимают, что тут больше слова, чем самая картина. А слова такие занятные:

— А это извольте смотреть-рассматривать, глядеть да разглядывать: город Цареград. Из Цареграда выезжает салтан турецкой со своими турками, с мурзами и татарами-булгаметами и со своими пашами. И собирается Расею воевать и трубку табаку курит и себе нос коптит, а потому в Расеи зимой бывают большие холода, а носу от того большая вереда, а копченый нос не портится и на морозе не лопается.

А вот извольте смотреть, как князь Меншиков Севастополь брал: турки палят все мимо да мимо, а наши палят все в рыло да в рыло. А наших Бог миловал — без голов стоят, промеж себя говорят, да трубки покуривают, да табачок понюхивают. И это бывает, а бывает, что и ничего не бывает.

А вот извольте смотреть рассматривать, глядеть разглядывать, как в городе Адесте, на чудесном месте, верст за двести, прапорщик Щеголев англичан угощает: калеными арбузами в зубы пуцает.

Это московский пожар: пожарная команда скачет, по карманам трубки прячет, а Яшка кривой сидит на бочке с трубой, сам плачет да кричит: чужой дом горит.

А вот и Макарьевская ярмарка, что в городе Нижнем бывает. Московские купцы продают рубцы, сено с хреном, суконные пироги с навозом. Московский купец Левка торгует ловко, приехал на лошади: лошадь-то пега — со двора не бегаёт, а другая чала — головой качала, приехал с форсу, с дымом, с пылью, с копотью, а нечего дома лопать. Привез барыша три гроша. Хотел дом купить с крышкой, а привез глаз с шишкой.

Ну, теперь будет...

Достаточно смерклось, и ребята отправились в подвал харчевни исполнить обещание — похолить себя чайком-кипяточком.

Этим начались похождения Петрухи: не было ни одного праздника, когда бы не пил он чаю, от которого недалеко переход к меду и пиву. Конечно, на зарабатываемые деньги не разгуляешься, потому что известна

залишняя копейка мастерового: только и хватит разве чаю напиться. Выпрошен гривенник на баню, из него три копейки отдано за беленький медный билетик, а остальных, в складчину, хватит раза на два напиться горяченькой водки из-под невской лодки.

Незаметно за длинной порой гороху, гречневой каши с конопляным маслом, да тертой редьки с лавочным квасом и луком, наступило и то время, когда хозяин оделил трех своих работников, которые были постарше, в том числе и Корегу, деньгами, давши им по рублю серебром на гулянку. Молодцы побрели опять на качели, но не дошли туда, по простому обстоятельству. Дело это вот как случилось:

Идут ребята по Гороховой и толкуют всякий вздор, как взбредет в голову.

Видят, в одном окне хитрая штука: торчит деревянная с золотом птица и вертится кругом, а в зубах у ней бумажник, в котором господа носят деньги и сигары.

— Ведь вот, братцы, — начал Петруха, — кому какой талан дается. Хоть бы и наше дело тепереча взять: поди, заставь плотника шпалер натянуть; ан нет! ша-лишь — не дотянет. Намнясь в Лесном на даче и сами обойщики клеили, да что вышло? нас же, гляди, позва-ли, потому, значит, что все отклеилось. Выходит, что на то, мы маляры, нам и честь предлежит. Не так ли я, братцы, говорю?

— Умные речи хорошо и слушать. Как же, коли не так? штукатуры, вишь, еще с нами в линию лезут! Да где им глиняным лбам, сапогам плетеным, такой узор подвести, как я вечор на печи вывел? Мрамор, братец, настоящий мрамор, — никак, значит, не отличишь. Сам ведь видел, Петруха. Хорошо ведь было?

— Что и толковать, паря? Известно, штукатура одно дело: положи, выходит, настилку, примерно, — да и ступай подальше: без тебя, значит, сделаем. Так-то и обойщика дело, чтоб около карет да колясок возить-ся. А покажи-ка мне эту штуку хоть один раз: подве-ду, значит, так, что любо, да два. Коли на правду дело

пошло, так я бы обойщику только и дела давал, чтоб к плотничьим сапогам подошвы *однотесом* подбивать!.. — острил Матюха к единодушному смеху товарищей.

— Стой, ребята!.. — громко крикнул косолапый Тихон, незаметно увязавшийся с малярами и до времени слушавший их тары-бары. — Коли так толковать будем, так тово и гляди попадем на площадь, а ведь дорога привалы любит и идет-то вон прямо туда! — И дворник указал на одну дверь.

— Нет, я не пойду... — начал Петруха.

— Что же, брат, так?

— Вишь, дело-то это впервые будет со мною, так оно маненько опасно. Коли хотите знать, так я не знаю, как и двери-то туда отпираются.

— Вот, лихая беда узнать единова, а уж попадешь, так оттуда силой не вытащишь. Нешто, Петруха, не пивал еще водки, а кажись, брат, было дело? — допытывался Митюха.

— Ну, брат, нет! уж этим, значит, ты меня не кори: в чем другом, а этому греху не причастник. Уж, брат, и не кори, — дело небывалое...

— Да идешь, что ли? а то одни пойдем. Смотри, чтоб после попреков не делать. А, Петрух?

— Претит, ребята... неохота!..

— Что это, Петруха, нешто рот у тебя сахарный, и водка тебе не по губам?

И ребята ввалились с Петрухой, куда желали. Немного погодя Петруха очутился впереди всех и требовал водки.

Долго морщился Петруха и вздрагивал для потехи всеми членами, словно мороз пробежал мелким горошком по телу: и плечами крутит, и ухаает с перекатами, да с одышкой; наконец, и выпил и начал после оплевываться.

Спустя полчаса Петруха предлагал песни петь. Товарищи решились идти в полпивную, и драл же там Петруха нескладицу своим зычным разносистым голосом!

Об одном жалел косолапый дворник, что забыл захватить рукавицу свою, в которой носит жильцам дрова, чтобы закрыть ею, как он называл, Петрухину прорву.

Таким образом издержали ребята все до последней копейки. После этого раза стал Петруха как будто и не тот: стали заводиться за ним и прогульные дни, и неизбежные хозяйские вычеты, споры и другие неудовольствия. Начала у него и голова кружиться, когда случилось ему лезть на леса или кóзлы, и синего цвета, бывало, не отличит от белого, а вместо того, чтобы влезть наверх, у Петрухи зачастую подкашивались ноги и он всем туловищем ложился на пол, к общему смеху товарищей. Только хозяйский обычай — ни задавать много денег работнику — мешал всем затеям Петрухи, который стал уже теперь просто Петром — у хозяина, и Петром Дементьевым или просто Корегой — у товарищей. Наконец, стал замечать хозяин, что Корега начал запивать, и совой глядит, и работа не мила, словно впервые спознался с ней. А там уж и слышит сторонкой, что работник начал новых хозяев присматривать, о ценах справляться. Вот он и сам пришел, наконец, и плачется.

— Из деревни письмо, говорит, получил; бают овин перестраивать надо; на дворе навес настилать новый. Пособи, Кузьма Петрович! заслужим твоей милости, коли не ноне, так на будущую весну пригодимся. Дай, говорит, двадцать рублей: до зарезу нужно. А то хоть в гроб ложиться, — так впору. Такая-то напасть подошла!

— Нет денег, — говорит хозяин, — вчера последние вашим роздал. — А сам смотрит на работника, да так смотрит, что смекает тот, что и деньги есть, да дать не хочет: не верит ему.

— Коли так, Кузьма Петрович, — говорит Петруха, — так рассчитай меня; кажись, там еще что-то доводится. Уж я к Андрею Фомичу пойду. Бери, говорит, пачпорт да приноси — тридцать рублей дам, говорит.

Как бы то ни было, но Петруха расчет получил немедленно. Конечно, этот расчет и весь-то состоял из

полтинника, да и Андрей Фомич дал ему за остаток лета всего только десять рублей, но все-таки Петруха простился с прежними товарищами, тяжело вздохнул, махнув рукой, и побрел на новые нары.

Андрей Фомич был обстоятельнее и крутее Кузьмы Петровича: он просто не дал Кореге ни копейки вперед и пригнал дело к тому, что тот поневоле должен был работать так, что сам хозяин прихвалил его. Ясно, что Корега, наконец, взялся за ум и нечаянно сохранил заработанные деньги. Получивши их, он отослал в деревню; сам хозяин и письмо написал, сам и деньги отнес на почту. Мало-помалу вбивался работник в хозяйскую доверенность и даже получил еще три рубля прибавки.

Осенью стал Корега потолковывать и о том, как бы в деревню справиться, откуда уже начали наказывать ему, что пора-де, Петр, и на побывку прийти: шестой год в Питере живешь, а как уехал туда, с тех пор и не видали, да и отписываешь редко: возгордился, что ли? — кто тебя знает. И мир толкует, что «пора-де, Дементий, оженить сына: однолетки его, почесть, все хозяйками обзавелись, а кой у кого уж и ребятишки попискивают. Пусть приедет парень, да посмотрит, а девок у нас, кажись, не занимать стать: сам ты это, Дементий Сысоич, знаешь».

«Знать, тому и быть, чтоб в деревню ехать, — думал Корега. — Ведь и то сказать — не век же бобылем по свету таскаться; посмотрю-погляжу, авось невест и на мой пай хватит. Да вот хоть бы и Матвеева Матренка, коли не померла: знатная, поди, девонька вышла, право, знатная!»

И в воображении жениха рисуется облик невесты: полная, румяная девка — кровь с молоком, и брови дугой, и словно бор густые, а из-под них смотрят черные, большие глаза. Идет она с работы, вместе с товарками, косы да грабли на плечах несут: поют девки песни, а Матрена шибче всех задирает, почти одну только и слышно ее, голосистую.

Улыбнулся Корега, укладываясь на нары, и снится ему свой, деревенский, праздник: все девки собрались и ведут хороводы; ребята плотной стеной окружили их и играют, кто на балалайке, кто на гармонии. Вот Матрена, плотная, рослая гладыш-девка, вышла на середину и разносисто и громко поет знакомую песню, а сама ходит *воробушком*. Откуда потяпки такие, откуда стать и посадка! Мокрая курица перед нею порука ее, хоть и эту хвалят ребята. Любо молодцам: толкают они друг друга в бочок, пальцами на Петруху указывают и кричат ему громко, на всю улицу: «Ишь, гляди, ребята, девка Корегу полюбила, сговор был, а все оттого, что в Питере живет, да подарков разных навез ей с отцом, с матерью. Вот и сошлись в пожеланиях. Эй, Корега, счастлив, братец, ты!»

Может быть, и еще лучше бы приснилось Кореге, если б только ночь у путного человека была подлиннее, а то так коротка, что не успел Корега и налюбоваться Матреной. Как встрепенулся утром, так и побрел к хозяину, чтобы застать его дома.

— А я к тебе, Андрей Фомич! пусти в деревню побывать. Назад вернусь — к твоей милости приду, коли не противен стал.

— За чем же дело стало? — ответил хозяин. — Собирайся! Не худое дело родных повидать, а работы, видел сам, вплоть до весны почти никакой не будет. Придешь в посте, — понаведайся: может, опять возьму!

— Спасибо, Андрей Фомич, уж не откажи.

И Корега поклонился хозяину в пояс.

— Мы от твоей милости ни за что не отстанем; то исть не в обиду тебе, уж эдакой хозяин, как ты, просто, значит, на редкость. Все ребята это говорят, да и я пытаю хвалить тебя всем: Егорка Семенов затем и пришел к твоей милости от Кузьмы Петрова, что я за тебя крепко стоял; ино, слышь, слеза прошибла! Во как полюбил тебя, Андрей Фомич, и ни за что, брат, не отстаю!.. Хоть режь, не отстану. Да и денег твоих, что прибавку положил, не возьму: любя тебя, значит, все дело

буду сполнять, только уж ты не оставь попечением, не гони от себя, коли из деревни к тебе заверну.

Понравились хозяину Кореги речи, кусал он свою бороду, пока работник хвалил его и чествовал. Хотел было говорить и сам, да речь не сложилась: только и слов было:

— Ладно!.. тово!.. спасибо, тово... хорошо!.. хорошо!.. Да нет ли, тово, нужды тебе какой для деревни? — спросил, наконец, довольный хозяин. — Пособия там, что ли, не надо ли?..

— Благодарим покорно, Андрей Фомич. Пособие какое же для деревни? Сам знаешь! да и мне тоже немного надо. А мы не из чего твоей милости служим: так, значит, из любви. Вот спроси, брат, ребят наших, хоть сам спроси, что они про меня скажут?

И Корега прослезился.

— Не в обиду ли тебе, молодец? тово... поправки, может быть, дома нужны?..

— Какие поправки, ваша милость, Андрей Фомич? Все твоя доброта сделала: и овин перестроен, и баня новая поставлена, лошадь новую выменяли, овец прикупили... А все твое пособие, Андрей Фомич, — вот ведь ты, как человек-от доброхотный: по гроб не забудешь!..

— Ну, что пособие?.. пособие, тово?.. — говорил расстроганный хозяин. — Коли денег надо, — я дам и теперь; вперед дам, сколько тово... можно, а после сочтемся... ведь за тобой не пропадет!

— Эх, Андрей Фомич, — закричал Корега, — уж коли ты такая душа добродетельная, вот тебе всю душу на распашку, как отцу родному... Жениться хочу, — понизив голос, продолжал работник, — больно, вишь, пора жениться-то. Невесте подарок бы надо, родным... тоже, ну и свадьбу справлять. А коли не так, так и опосля можно сделать. Коли твоя милость, Андрей Фомич, не согласны, так и отложить дело можем, не важная штука!..

— Зачем же, зачем откладывать?.. можно, тово... и теперь сделать, я рад помочь хорошему делу, в худом

только не участник, тово... не потатчик!.. А сколько тебе нужно денег-то?

— Нет, уж и не спрашивай, Андрей Фомич, — твое дело! Сколько твоей милости, значит, угодно, и на том по гроб благодарны. Сам ведь лучше нашего знаешь, сколько дать, а мы и женимся-то впервые.

— Да ты скажи, примерно... тридцать тово... рублей будет, что ли? — брякнул хозяин. — Али поменьше возьмешь?..

— Дай уж тридцать пять, Андрей Фомич! Во как благодарны будем!..

И Корега поклонился низко, так низко, что когда поднялся, все волосы лежали у него на лице, багровом от низкого поклона.

— Ну, ладно, молодец, получишь! слова назад не вернешь. Принеси только записочку с поручительством: сходи к управляющему, что ли... или кто у вас тут заведывает-то? Напиши, что вот-де взял вперед за лето, и что обещаюсь-де к хозяину в апреле прийти, ну и все там... как следует.

Уладивши дело, Корега уже подговорил попутчиков, нашел даже совсем из одной деревни; следом затем выхлопотал поручительство от управляющего и уже спал в вагоне, спал невыносимо крепко: ни пинки перелезавших через него, ни холод, ни говор и шум пассажиров, ни сквозной ветер, — ничто ему не мешало. Разве проснется, чтоб выпить сбитню или закусить черным хлебом, что прихватил с собою из города, да и опять завалится под скамейку. Вылезет оттуда, да начнет зевать и протирать глаза, — смех и шутки пустит на целый вагон, так что иную пору обидно станет, и отшутился бы за нападки, — да больно много скалозубов-то. Тратился он мало дорогой, но зато холстинный мешок, что клал он себе под голову и выносил на платформу, любого мог убедить, что Петруха уже довольно поизрасходовался: недаром же целое утро, накануне отъезда, шатался он по Апраксину.

Только тогда поддался Петруха и сделал заодно с попутчиками, когда выровнялось перед ними последнее село по дороге, от которого верст только тридцать осталось и до родной деревушки. Пришли питерщики в это село пешком, да и завернули к знакомому мужичку, что возил купеческие товары на ярмарки и держал для того две тройки.

— Здорово, сват Иван Спиридоныч, мы опять к тебе с прежней просьбой: жениха, вишь, везем, так опять прокатиться захотелось. А за деньгами, сам знаешь, не стоим: почем с брата положишь — и ладно. Знаем, что у тебя вихорь — не кони, да и сам ты, даром что стар, а нас, молодых, в этом деле за пояс заткнешь!.. На дыбках стоишь, и ни один почтарь за тобой не угонится, — дружно просили питерщики, хитро подобрав речи.

Знали они, что старик крепко любил своих коней, да любил похвастаться и своею стариковскою удалью и умением *ямщишничать*.

— Ну, садись, дружки, туда на задки. Да держись покрепче: сивого мерина в корень пустил, недаром его ребята чертом прозвали. Попривяжи назади, Еремеюшка, рогожу-то: чтобы коробом, знаешь, стояла от ветру, а шоркунцов-бубенцов по три на каждое ухо я привязал. Да не привязать ли, ребята, колокольчик для задору, да и для потехи? Пусть там бабы очи повыглядят, а девки сердца поизнобят. А дуга-то, дуга-то, ребята!.. десять рублей за одну дугу заплатил: одного золота на *лобанчик* будет. Ишь индо сизит, да солнышком в глаза отдает, коли с боку посмотришь, — расхвастался старый, подбирая полы и усаживаясь на козлы.

Загremели *шоркунцы*, словно ребятские трещотки на лугах, когда собирают они там лошадей, чтобы вести их купать, или в стойло загонять, а колокольчик заболтал языком свою нескладную, монотонную песню. Потом мелкой рысцей ехали ухари наши больше чем полпути. Но лишь завиделись им знакомые деревни верстах в семи, там за леском, да за горкой, — гикнул старый, словно испугавшись, что все зубы изо рта по-

терял, да и замер его дрожащий голос. Зачастил он, за-
частил кнутом по пристяжным, стал на дыбки и шапку
как-то ненароком на левое ухо сдвинул. Крикнул еще
раз, оборотившись назад: «Держись, ребята! да посма-
тривай, чтоб не растерять вас — вона и гумна Соснин-
ские видно!» Замолол старый, замолол языком что-то
складное, вскочил на подножки, закрутил кнутом над
головой, да и света в глазах не видит: того и гляди, что
прыгнет через лошадей, да и побежит сам *прытчее* их.

Сидят питерщики, улыбаются да переглядываются;
только немного поддает на ухабах, а избы так и летят
мимо — сторонятся. И видят они чуть-чуть из-за виска,
искоса, что в избах задвижки в окнах поотодвинулись,
а девки с ребятами выбежали за ворота посмотреть, что
за шум и грохот несется с поля, кажись, теперь свадь-
бам не время быть.

— Это питерщики, девки, да не наши; справа-то
ровно бы Петруха Лошковский. Ишь, как парят! — за-
метил один из парней.

— А крякнут подпруги либо завертки, то и быть
бычкам на веревочке! — подхватил другой.

— Ну, нет! Иван Спиридонов не таковской!.. у него
все сыромятное, не мочальное, что у нашего брата, —
ответил третий.

«Поди, денег много везут и подарков всяких неве-
стам!» — подумали старухи на полатах.

Между тем, питерщики, со звоном и присвистом
старика ямщика, из конца в конец раз промчались по
своей деревне, другой раз назад и опять также, а в
третий рысцей да и легонько: время уж и из саней вы-
лезать, молодецки да осанисто, и разойтись по своим
избам.

— Батюшка ты наш, яблочко наливное, красавец ты
всесветной! Дождались-то мы тебя! — голосили бабы в
Корегиной избе.

И целуют-то Петра, и вдоль спины-то глядят. Три
бабы овчинный тулуп снимают, одна берет из рук шап-
ку и положить куда не найдет места. Усадить не знают

где питерщика, а сами ревом ревут бабы не то от удивленья, не то с радости.

— Ишь ведь и приехал к нам — и не чаяли нашего светика! Поешь-ко, кормилец, соломаты с овсяным кисельком. А там разговеемся — яишенку-глазунью сделаем. Да не хошь ли гороху с толченым луком: ты ведь и до него куды какой охотник был! Не велишь ли к утре из любимого чего приготовить? Ох ты, наш красавец питерец! Глядите-ко, бабы, как вытянулся Петруня-то наш, и не узнали, коли бы сам не пришел, да не сказался! — говорила мать-большуха, угощая сына. А сама из угла в угол бегаёт словно угорелая, и к сыну-то подсядет да гладит его по голове, и баб-то бранит, что не тем угощают.

Слез и отец с полатей, где нарочно подольше сидел, чтоб угомонились бабы.

— Здорово, Петрован, здорово, питерец! Ишь какой!.. ишь какой!.. — говорил он, целуя сына.

Сыну, на радостях, и кусок в горло нейдет: встал из-за стола и начал оделять домашних подарками: кому платок расписной с городочками, кому ситцу на рубаху, а отцу столичный картуз привез с козырьком кожаным, да перчатки зеленые. Всех оделил, никого не позабыл и не обидел; даже сестренке, и той привез картинку.

— Спасибо, Петрованушко, спасибо, — говорил отец. — На радость ты нам вырос на старости лет. А колькой ему годок-то, бабы, пошел — кажись, восемнадцатый...

— Али двадцатый? — отвечала мать.

— Полно, сестра, — подхватила старая тетка питерщика, — ведь Петя родился, еще Онтушево не горело; ровно в тот год, как бурмистр овин новый строил. Пришла я, мать моя, с покосу, а ты уж и с постели всташь, — совсем отпустило!..

— И, нет, дева, кажись, опосля бурмистрина-то овина. Матушка, а, матушка! — закричала большуха

и повернулась к печи, откуда немедленно, послышался глухой, раскатистый кашель с перхотой, оханьем и вздохами. Наконец раздался шепелявый, старушечий отзыв:

— Меня, что ли, бабы?

— Который годок внуку-то пошел, помнишь, аль нету? — опять крикнула большуха, и опять начался кашель, да оханье:

— Не слышу, девоньки, не слышу, что хошь, не слышу. Одолеп проклятый кашель, да и уши словно куделей завалило. О чем ты тут спрашиваешь? Кому годок?

— Вот, Петровану-то? — и мать указала на сына.

— Ему-то? — И бабушка задумалась. — Ровно бы пятнадцатую зиму живет, — начала она наконец, — вот сёмая пошла, как я ничего не слышу, да пятая, как кашель начал долить. Кажись, так, бабы? аль шестая пошла, как я кашлять-то начала?

— Больше никак будет. Да не в том толк, бабы? — перебил большак и подвинулся к сыну поближе, наказавши своим не спорить, а слушать хозяйские речи.

— Вот об чем разговор будет, — начал Дементий Сысоич. — Невесту присмотреть пора, Петруня! Походи-ко по супрядкам: не приглянется ли какая, а там на поседках и переговорите друг с другом. С нашей стороны никакой помехи не будет; коли на то пойдет — сам пойду сватом. А есть у нас про тебя, Петя, клевая девка на примете — Матвея Чижя дочка, Матрена. Эдаких-то поди у вас и в Питере мало, а тебе самому, чай, и не снилась такая.

— Было дело! — ответил питерщик. — Об ней, признаться, и дума-то у меня была.

— Вот и ладно, коли так! — решил Дементий. — Коли сойдется миром да согласиём — и спорить не станем. А перечить да неволить я, брат, сам не хочу: тебе с ней жить. Девка она честная, ведется хорошо, и семья, ведь, сам знаешь, хорошая. Мы, признаться, брали уж ее после Кузьминок на испытание: ничего, братец, не

грублива, не перекощица и к работе приобычна. Так ли я, бабы, говорю?

Решила семья взять Матрену, и дело не за многим стало: походил молодец по посадкам, заручил невесту подарками да похвальбой столичной — и стал жениш-ком. Образом сговорен благословили, на другой день де-вишник, да покоры поезжанам, чтобы больше девкам подарков давали, не скупились. Лишь кончились Свят-ки и начали затеваться по соседям свадьбы, и из Де-ментьевой избы потянулся длинный поезд с колоколь-цами, прямо на горку, в приходскую церковь. Приехали молодые за свадебный стол: хмелем обсыпали, под об-раз и хлеб подошли, сели в передний угол, и началось чествованье да угощенье, подслащалась горькая вод-ка сладкими поцелуями, кланялись в пояс и молодые, и родители. Дружка носит да потчует, другой стоит у притолки, подле печи, да приговоры ведет, словно по-писанному: не то для смеху, не то уж так следует, по заветному обычаю. Вынесли ребятам браги — и хоро-шо, спокойно было: еще из ружей на всполье стреляли.

Через день *красный стол*, для ребят да девок, раз-вернулся. Словом — сделалось все по старине да по обычаю. По обычаю же пошел молодой с ребятами в приход свой в первое воскресенье после свадьбы: здесь купили водки и пили посеред улицы. Вытащил Петру-ха из-под полы балалайку, засучил рукава серого каф-тана и тешился *напоследях* с товарищами, провожая свою молодость за тридевять земель, в тридешатое.

Пришел он домой и принес жене с подругами орехов да пряников сладких. И у них стало так, что вот-де тебе паренек — женушка-лапушка, а вот-де тебе, девка, ко-куй — с ним и ликуй. Дай же вам Бог любовь да совет, живите да богатейте!..

Велся в той стороне обычай, чтоб выезжать моло-дым в посад на Масленице, кататься в посадском поез-де. Так сделали и наши молодые. Петр Дементыч за-пряг лошадку в казанские саночки и коврик на задок

выбросил. Сам надел синий армяк, зеленые перчатки, повязался шерстяным шарфом; платок желтый шелковый высунул из кармана, как будто ненароком. Сидит рядом с ним Матрена Матвеевна, словно куколка, в штофной душегреечке и в новенькой кичке с разноцветными подвесками из крупного бисеру, на висках и на лбу. Катались они вплоть до прощального воскресенья, пели с посадскими песни, и ездили шажком по середке широкой, как поле, посадской улицы. Медленно тянулась песня, и слышался в ней звонкий и бойкий голосок Матрены Матвеевны. Подпевал козелком и муженек ее питерщик.

Но вот подошло время расставанья с молодой женой.

Слеза в этих случаях идет больше женская. У рабочего с отхожим промыслом по большей части и самая женитьба не такой обряд, чтобы щемил он после сердце при разлуках. Из Питера приходят всегда переделанные, с форсом, с похвальбой, хвастуны и охолоделые. Мужнина ласка — за стыд, женщина — в большое неудовольствие, особенно если при людях. Сплошь и рядом случается, что столичные сударки выучивают так, что вызывают на другой стороне прохожих молодцов, а отсюда такая пропасть сказок и рассказов, песен и загадок про отхожего отца и прохожего молодца, что бойкому сказочнику-шведу и в два вечера не пересказать. У новобрачных только и радости и наслаждений по первопутью, когда все свежо и все новенькое.

На эту тему у тех же питерщиков имеется ими же самими сложенная песенка, которую, конечно, они в деревнях своих не поют (разве в подпитии и ради шутки), но которую можно слышать и на костылях при ремонте наружных стен столичных домов, и на лесах с потолков, и от извозчиков, беззаботно возвращающихся с выручкой к хозяевам в Ямскую, и на невских лодках от перевозчиков. Мы слышали незатейливую песенку эту на огородах между Петергофом и Ораниенбаумом и передаем ее в таком виде, как там записали:

Ну, не полно ль те, Ванюша,
С долгохвостыми гулять?
Не пора ль тебе жениться:
Ты не будешь баловать.
Наконец, Ваню женили:
Ну, об чем тут толковать?
Посылали в Питер жить,
Снова денежки копить.
Один годик постарался, —
Сот пяток рублей достал,
Ему мил домик достался,
Свою женочку достал;
Когда, денежки пославши,
Сам по Невскому пошел,
Свою прежнюю нашел,
Ну, нечаянно сошлись, —
Поздоровкались.
Как сказал он, что женился —
Разговор другой пошел:
«Ох ты, Ванюшка-дружочек!
Вспомни рощу и лесок.
Как во рощице гуляли,
Ты с Катюшой баловал.
Катя песенки запела,
Ты в гитару заиграл».
Как вот Груня восставала,
Поправляла фартук свой:
Всем подружкам рассказала:
«Беспокойный милый мой!»
Не московский был трактирщик:
Не последний был красильщик:
Разны ситцы набивал.
Получал денег немало:
По восьми сот рублей в год,
Во деревню не хватало
Двадцати рублей в оброк;
Из оброку была нужда.
Он имел в своих руках
В белом фартучке красотку,
Во сафьяных башмачках.
Придет праздник: в душегрейке,
Сарафанчик с галуном:
У нас последняя копейка
Вылетала вверх орлом.
Мы войдем тогда в избушку,
Когда мать с отцом войдет,
Мы сделаем пирушку,

Только дым столбом пойдет.
Приезжал домой без денег:
Отец с матерью ругал:
Ты, рас. к...н сын, бездельник,
Где ж ты денежки девал?
Как товарищи приходят,
По три ста рублей приносят:
Шестьдесят в оброк относят,
Двести сорок на расход,
От тебя мы не видали
Лет пять больше ничего,
Нам недавно рассказали:
Теперь знаем, отчего.

* * *

Вот сходил наш питерщик в Питер. Зимой, исполняя желание молодухи, опять наведалься в деревню, но не тот уж стал. Жена все ему сделай — и дров наколи, да вот он в посад хочет съездить — так и лошадь впряги, навяжи и вожжи, и супонь подтяни. Ребятишки помогут, коли сама не сможешь. Его дело приодеться только, приосаниться, сесть в праздничном наряде, да и ехать.

— Да скорей, жена, одевайся, по-нашему, по-питерски. Залежались вы здесь, зажирели, а мужья про вас ломом-ломайте на чужой стороне. Уж коли в деревню едем, значит, отдохнуть хотим — и все тут!

С этих пор Петр Дементьев всю зиму ничего не делает и лежит себе на полатах, ни рукой, ни ногой не шевельнет, словно другой Илья Муромец *на печи родительской во селе Карачарове*.

— Обедать, готово! — скажет жена.

— Иду сейчас: да что ж вы хлеба-то не нарушали, — чего зеваете? Ваше бабье дело за домашним хозяйством блюсти. А поила ли, Матрена, лошадей; а убрала ли, Матрена, шлею-то? Супони не подшила: ключья торчать начали.

— Подай-ко мне трубочку! да уголек принеси из горнушки. А поставьте-ко, Матрена Матвеевна, самоварчик, да сливочек принесите. Я полежу вот маненько,

что-то всего разломало. И кто ее поймет, эту болезнь какую: не то угорел в избе от бабьей стряпни да ребячьего крику, не то поел много жирного? Ох-хо-хо! — проворчит Корега, и затрещат под ним полаты.

Будет ходить Корега в Питер, а разбогатеет ли он?

— Да ведь это, батюшка, человеком ведется, — отвечает любой из его хозяев. — Коли не пьет, известное дело — приживет с достатком. Летом у хозяина, а по-смышленей кто да попроньристей — и подрядец маленький может снять. Зимой, когда глухая пора настает: работы у нашего брата-маляра мало и так к обойщику может наняться, это дело нехитрое. А то со стеклами ходят да посматривают: нет ли где битых. Все на надобности хватит, а об выпивке оставь думать. В нашем ремесле всего больше уменье значит, ну, известное дело, и *черезвым* быть следует, а пуще того грамотным. Вывески славное дело, коли умеешь грамоте! Все наше дело, да в других мастерствах также, портит кутеж этот, с горя, и так себе, а нет — так с похмелья. Пропьет все денежки-то, какие накопил, да и поет, что коза на привязи, а там зиму-то за свою глупость с крохи на кроху мелкотой и перебивается. А ведь, если правду говорить, на ушко да по секрету: так уж мы хозяйство-то с большими деньгами начинаем, да со своими, с готовенькими.

СОТСКИЙ

В квартиру станового пристава между многими просителями и другими мужичками, имеющими до него дело, или, как говорят они, касательство, пришел один, приземистый, коренастый, в синем праздничном армяке и в личных сапогах, от которых сильно отшибало дегтем. Опросивши по очереди каждого, становой и к нему обратился с обычным вопросом:

— А тебе что надо?

— Да так как теперича, значит... дело мирское, мир выходит...

Проситель при этом дергал урывисто плечами, переступал с ноги на ногу, разводил руками: видимо, не приготовился и тяготился ответом. Становой понял это по-своему:

— Что же, обидел тебя мир?

— Это бы, к примеру, ничего: мир вправе обидеть человека, потому как всякой там свое слово имеет, и я...

— Ты, пожалуйста, без рассуждений: говори прямо!

Становой, видимо, начал досадовать и выходить из терпения.

— Вот потому-то я и пришел к твоему благородию, что так как у нас сходка вечер была и сегодня слитки были по этому по самому по делу...

— Это я вижу; не серди же меня, приступай! Вас много — я один: толковать с вами мне некогда, — всех и всего не переговоришь.

— А вот я сказываю тебе, что я, к примеру, в сотские приговорен. Положили, выходит, сходить к тебе: что-де скажешь?

При последних словах становой поспешил осмотреть нового сотского с головы до ног раз, другой и третий.

— Ты такой коренастый — драться, стало быть, любишь?

— Пошто драться, кто это любит: драться по мне — надо бы тебе так говорить — дело худое...

— Я тебя, дурака, рассуждать об этом не просил. Рассуждать у меня никогда не смей. Не на то ты сотским выбран, чтобы рассуждать. Твое дело исполнять, что я рассужу. Ты и думать об этом не смей.

— Ладно, слышу. Сказывай-ко, сказывай дальше. Я ведь темной, не знаю... Поучи!

— Если не любишь драться, так по крайней мере умеешь?

— Ну, этого как не уметь, этому уж известно сызмальства учишься...

— Водку пьешь?

— Да тебе как велишь сказывать, бранить-то не станешь?

— Говори прямо, как попу на духу.

— Водку пью ли, спрашиваешь? Занимаюсь.

— А запоем?

— Загулами больше, и то когда денег много, жена...

— Об этом ты и думать не смей. Выпить ты немного можешь, хоть каждый день, потому что водка и храбрости, и силы придает. Это я по себе знаю. На полштоф разрешаю!

— Это... Покорнейше благодарим, ваше благородье, так и знать будем. Сказывай-ко: еще что надо?

— Палку надо иметь, держать ее всегда при себе, но действовать ею отнюдь не смей.

— Это знаем, что-де именины без пирога, то сотский без батога. Пойду вот от тебя к дому: вырежу. Еще что надо?

— Значок нашей на груди подле левого плеча; на базарах будь, в кабаках будут драки — разнимай; вызнай всех мужиков... Ну, ступай! принеси дров на кухню ко мне! Марш!

Становой при последних словах повернул сотского и толкнул в двери. Сотский обернулся и счел за благо поклониться.

Таким образом утверждение кончилось. Умершего (и почти всегда умершего) сотского сменил новый, которому тоже износу не будет, как говорят обыкновенно в этих случаях люди присяжные, коротко знакомые с делом.

— Ну что, как ты, Артемий, со своим со становым: привыкаешь ли? — спрашивали его вскоре потом добрые соседи и ближние благоприятели.

— Ничего, жить можно! — отвечает им новый сотский, почесываясь и весело улыбаясь.

— Чай, бранится, поди, да и часто?

— Бранится больно часто!.. Да это что... Горяч уж очень.

— А за што больше ругает: за твою вину, али свою на тебе вымещает?

— Да всяко. Ину пору сутки трои прибираешь в уме, за что он побранил, никак не придумашь. Так уж и сказываешь себе: стало быть, так, мол, надо; на то, мол, начальник — становой.

И слушатели, и рассказчик весело хохочут.

— Ну, а как, охотно ли привыкаешь-то?

— Известно, была бы воля — охота будет. По хозяйству-то по его правлю должность. Угождаю: довольны все! Одно, братцы, уж оченно-больно тяжело!

— Грамоте, что ли, учит?

— Этого не надо — говорит. С неграмотным-де в нашем ремесле легче справляться. А вот уж оченно тяжело, как он тебе стегать виноватого которого велит, тут... и отказаться — так впору.

— Нешто уж тебе привелось?

— Кого стегали-то? — спрашивали мужики.

— Не из наших. Тут уж больно тяжело с непривычки-то было. Мужичоночко этот — слышь — оброк доносил к управителю. Принес. Высчитали, дали сдачи, рад, значит: в кабак зашел. Выпил и крепко-накрепко. В ночевку попросился. Отказали: «Нет-де, слышь, знаем мы таких, что коли-де в ночевку попросился, пить затем много станешь, — облопаешься. Ступай-де туда, откуда пришел». Ну, и не выдержал он тут: пьяное-то, выходит, зелье силу свою возымело как следует; ругаться стал, его унимать — он за бороду того, да другого, да третьего. Полено ухватил; резнул за стойку — с двух полок посуду как языком слизнул. Тут, известно, платить бы надо. Стали в карманах шарить, а у него и всего-то там заблудящий полтинник. Исколотили его порядком; к нам привели. Поверенный — слышь, к барину ездил, жаловался. Он у нас сидел над погребом три дня. На четвертой и сошел барский приказ: дать-де ему с солью — и вывели. Мне велели розог принести. Принес. Раздевать велели, — стал. Да как глянул я

ему в лицо-то, а лицо-то такое болезненное, словно бы его к смерти приговорили... слеза проступает — и Господи! — Так меня всего и продернуло дрожью! Опустил я руки и кушачишка не успел распутать. А он стоит и не двигается. Мне спустили откуда-то — я опомнился, распутал кушак и армяк снял, и в лицо не глядел: боялся. Только бы мне дальше... как вззоет сердобольной-от человек этот, да как закричит: «батюшки, говорит, не троньте! лучше, говорит, мне всю бороду, всю голову по волоску вытреплите, не замайте вы тела-то моего: отец ведь я, свои ребятенки про то узнают, вся вотчина!!» Как услышал я это самое — махнул что было мочи-то обеими руками от самых от плеч от своих, да и отошел в сторону. Становой на меня. «Нет, говорю, не стану, не обижайте меня!» Получил я за то опять раз, другой... С той поры я и пришел в послушание.

— Смекаешь — мол, теперь-то?

— Да что станешь делать, коли на то призван? Своя-то спина одним ведь рублем дороже...

И опять все смеются, хотя далеко и не тем искренним, честным и простодушным смехом.

Через несколько времени наш сотский рассказывал уже вот что:

— В одном, братцы, на его благородье хитро потрафлять: сердится часто. А уж сердится он на которого на бурмистра, с тем ты человеком и на улице не смей разговоров разговаривать, и в избу к нему не входи. Эдак-то вон наемни соснинской, досадил, что ли, нашему-то, и поймай меня у себя на селе: «зайди, говорит, Артюша, ко мне: угошенье-де хорошее будет да и поговорить, мол, надо». Отчего, думаю, не зайти к куму, коли зазыв он тебе такой ласковый сказывал? «Спасибо, мол, на почестях на твоих». И зашел. Выпили. Груздей поставил. Гуся, пирогов поели. Полтинник давал на дорогу, — отказался. Барским сказывал — взял. Пошел это домой, шапочку на ухо, песенки запел: весело мне таково на ту пору было. Прохожий человек как-то встрелся, —

шапку ему снять велел: «сотский, мол, идет, почтение давай-де и всякое уважение!» Шутит значит. Да с веселого-то ума своего пройди в стантовую квартиру: со становенками, мол, поиграю! Дух, мол, такой веселый нашел: заодно уж; все же и напередки мол, пригодится ласка эта. Зашел. Сказали самому, что пришел-де Артемей-от. Вышел он ко мне в сердцах, подбоченился. Плохо — думаю — дело: знаю, мол, я ухватку твою. Я молчу; он и начал:

— Где, говорит, это ты шуры-то разводишь? Подруги, говорит, сутки ищут тебя, не найдут. Что, говорит, не жаль тебе образа-то своего, не купленной, что ли? Знаешь манеру мою: люблю чистить.

«Как, мол, не знать порядка твоего, чего другого?» думаю себе.

— Сказывай: где налимонился?

— А так, мол, и так... — Все и поведал. Так он и до-сказать мне слов моих не дал: так и заревел... Я оправился, стряхнул волосья и ни слова не говорю противу этого. Потому, как уж не в первый раз, и знаю: отвечать станешь, опять заревет. Такой уж обычай имеет. Стал он опять сказывать:

— Вот, говорит, владыка на попов выезжает: подводы ему сбивать надо. Двенадцать лошадей под него, шесть под певчую братию, тройку протодиакону, шесть архимандриту, шесть-де под рязницу, три под исправника, три под меня и под все другое.

Где соберешь? а пора летняя, рабочая, все лошадки в поле, работают...

— Загуляевской, мол, вотчине черед, ваше благо-родие: знаю, мол! — И угодил, думаю, сказом этим. Так нет, вишь: опять зарычал еще пуще...

— Ты, говорит, рассуждать не смей, когда начальство говорит. А ступай-де в Соснинскую вотчину, да там и сбивай, а загуляевского бурмистра ко мне пришли. Да так, слышь, и сделай по-моему. Послал я загуляевского, да и к соснинскому-то зашел. Старое угощение помню и

сказываю: «Становой, мол, противу тебя сердце имеет, не в черед вотчину выгонять велел, да я до времени-де не стану: шел бы ты к нему, да поклонился».

Он так и сделал. Так становой-от его и на глаза к себе не пустил, а велел позвать меня да и спрашивает:

— Ты, говорит, зачем опять своим умом жить стал, и рассуждение имеешь?

Молчу.

— Не надо — говорит — не надо.

И говорит-то это мирно таково! и ничего не делает.

Молчу.

— Ступай — говорит — на кухню; обожди.

Пошел я, по его по приказу, куда велел. Сижу я там долго, ничего это такова худова не думаю. Вижу, кучер его Гаранька приволок из сарая розог, да и положил в воду. Посмотрел на меня, усмехается да и опрашивает:

— Знаешь, — говорит, — к чему это все клонит?

— Как, мол, не знать, Гарасим Стефеич?

— Смекай, — говорит, — про тебя ведь все это. Так-де приказано, и за сотскими послали-де на село. У меня так и захватило сердечушко-то мое, защемило его, и в глазах помутилось. Вспомнил, как это в мальчиках было это дело: и еще того горше от думы от этой стало! Сижу, сам себя не ведая; на розги на те, что мокли, и не взглядывал. И пошли мне тут разные такие мысли: и про мужичоночка-то про того про сердобольного вспомнил, и барского холуя... Разных я тут вспомнил: как один молитвы вслух зачитал, как другой удрал было из сарая-то. Вспомнил бабушкину молитву, что читать наказывала, коли сердится на тебя кто! «Помяни, мол, Господи, царя Давида и всю кротость его». Что коли-де припомнишь ее, отойдет человек тот. Так и решил.

Пришли на тот час и наши сотские: Василий да Микита. Взглянули на розги, спрашивают:

— Али-де стегать кого хотят? — У меня опять ухватило сердечушко-то поперек. Смолчал.

— Не тебя ли-де, Артюха? — они-то. Смолчал.

— За что — говорят, — какая такая провинность вышла? Али-де пьян был да подрался с кем? Красть-де ты не крадешь, кабаков не бьешь и господам грубостей не говоришь никаких.

Проняли.

— Сам, мол, говорю, братцы, не знаю, за что.

Ребята головушками покачали, тронули пуще. Сказываю все как было. Молчат оба и опять головушками покачали. Хотел-было я им тут просьбу свою сказать, чтобы полегче накладывали, — да удержался. Совесть не поднялась. Сидим опять и молчим все. У меня опять сердечушко-то мое нет-нет да и обдаст всего его варом. Пытку я тут выдержал, братцы, такую, что никому не дай Господи! И за тем было... уж порядочно таки было. Сердечушко так и опустилось все на ту пору — на самое — надо быть — на донушко. Оправился это я — сердце в злобе большой, сокрушения накопилось много. Поднес становой рюмочку, другую; ласково потрепал, сказывал много хорошего — простил я ему, забыл злобу. И с той поры и я к нему, и он ко мне, как будто и разладу никакого не было — друзьями стали. И правлю я ему, братцы, должность, как следует: боюсь уж.

И действительно, что было у Артемья на словах, в мирских беседах, то было и на деле, — в мирских собраниях. Разведет ли где православный народ базар, ярмарку, и, по обычаю, подопьет и зашумит в ночи, пропивая без оглядки, без сожаления трудовой грош, не всегда лишний и всегда честный — сотский мирит пьяных. Велит ему становой запереть в сарай вышедших из возможных границ буйства и пропойства — Артемий прежде приложит руку, потешит себя и потом уже поспешит буквально исполнить приказание. Понадобится ли сбить народ на мирскую сходку для толков о подушном, о дорогах — Артемий действует спешно и послушно, не забывая ни значка своего, ни кулаков, на которые уполномочил его становой пристав своею властью, своим правом и приказом.

И спросят его бывало:

— Что блажишь, Артюха? Смирной такой прежде был, а теперь словно белены объелся.

— А то, скажет, брат, что выбрал меня мир на такую на должность на собачью — стало быть, не уважил. А не уважил мир Артемья, и Артемий угождать ему не станет.

В этом был весь его ответ и все объяснение дальнейших поступков. Через полгода его узнать нельзя было: из мужика он сделался решительным сотским.

Прошла, между тем, ненастная осень со слякотью, заметелями, падью и другими ненавистными проявлениями непогоды.

Наступила зима.. По большим торговым селам начались очередные еженедельные базары; в одном по воскресеньям, в другом по четвергам, в третьем по вторникам. Кое-кто из домовитых толковых мужиков-трудников считал уж в мощне залишную копейку, полученную за проданный избыток из предметов домашнего хозяйства, и лежа на полатах в теплой избе — толковал с доброхотным соседом дружелюбно и миролюбиво:

— Все-то пошло у нас, кум, хорошохонько...

— Зима встала такая кроткая; снежку накидал Господь вдосталь; и на базары выезжать спорко и лошаденки не затягиваются, — добавлял от себя кум и сосед.

— И мир-то промеж себя зажил таково ладно: хоть бы те же базары взять. Наклевался на товар твой купец — не бойсь, не перебьют: тебе ему и отдать свое и почин получить. Хорошо, кум. Матерь Божья! хорошо пошло.

— Со становым в ладах. Опять же исправник проезжал — не обидел. К мирским толкам поприслушаешься — тоже опять всем довольны. Одним мир скучает: сотской Артюха благует.

— С каких прибытков-то: чего ему мало?

— Поди вот ты тут... озорничает.

— Обидел его, что ли, кто, али лешой на лесу обошел?

— Дело-то это, сказывают, вот как было: пришел он в посадской кабак, в котором Андрюха сидит. Пришел-де, и слышь, и «здоровье» не сказывал. Мужичонко тут на ту пору такой немудрой сидел; посмотрел, слышь, на него впристаль да и крякнул. Опять же и ему ни словечка не молвил. Снял рукавицы, рукава засучил.

— Дай, говорит, мне, Андрюха, балалайку.

Известно, какой же кабак без балалайки живет: и Андрюха держал ее. Дал он ему балалайку: супротивного слова не молвил. Побаловал это он на балалайке-то, выбил нам трепака, что ли, какого, назад отдал. Опять взглянул на мужичонка-то на того впристаль, не спросил его... Ничего. Слушай. Перекинулся этак, слышь, через стойку-то, голову-то на стойку положил, да и спрашивает Андрюху-то:

— А что, говорит, угощение мне от тебя будет сегодня?

— Какое, говорит, тебе угощение? Давно ли, парень, полштоф-от раздавил: от меня ведь он тебе шел.

— Зато тебе и «спасибо» сказывали тогда. Теперь за новым кланяемся.

— Мне, — говорит Андрюха-то, — давать тебе не из чего да и часто так. Мы, говорит, на отчете, с нас всякую каплю спрашивают. А ты что больно разлакомился-то? Проси, коли хочешь, у поверенного, вот на днях поедет выручку обирать. Даст он тебе, так и я слова не скажу.

— Ладно, говорит, коли у поверенного, так у поверенного!.. А ты не дашь?

— Не дам, говорит, и не проси!

— Ну, коли по закону, говорит, не поступаешь, ладно, говорит. — И избиделся Артюха, крепко избиделся; в глаза целовальнику в упор посмотрел; перегнулся назад; взял руки в боки; ноги расставил; глядит на мужичонка-то на того, да и спрашивает его:

— Ты, говорит, какой-такой?

— А нездешний, мол.

Артюха-то к нему, и рукава засучил опять.

— Ты, говорит, если с кем говорить хочешь, так должен узнать сперва человека того. Я, говорит, могу вон этот кабак разорить. Вот оно что.

Мужичонко только замигал на слова на его, а целовальник не вытерпел.

— Да ты, — говорит, — с того свету пришел али со здешнего?

Ничего Артюха ему не молвил; опять пристал, слышь, к мужичонку-то.

— Я, — говорит, — таков человек, что вот поставлю промеж себя и тебя палку свою — и ты со мной говорить не можешь: потому я начальник!

— Кто же набольшой-то у вас, — спрашивает Андрюха, — ты, али становой? И смеется.

Мужичонко опять замигал.

— А кто, — говорит, — набольшой? Так вот я, слышь, станового-то и благородьем не зову, по мне он Иван Семеныч, так Иван Семеныч и есть. А ты понапрасну меня, Андрюха, не попотчевал даве на первой мой спрос. Теперь уж я сам не стану пить.

И опять, слышь, к мужичоночку пристал. Много-де он ему тут всякой обиды сказывал, корил его всякими покорами. Мужичоночко на все молчал, да и выговорил:

— Мы-де не здешние. У нас свои сотские, а ваших-де мы не больно боимся.

— А где, — говорит, — у тебя пачпорт?

— Дома, — говорить, — оставил.

— Ну так пойдём-де, слышь, к становому. А тебя, Андрюха, не закон беглых людей принимать, да папспортов у всякого у прохожего не спрашивать: об этом, брат, нигде не писано!..

Мужичоночко нейдет с ним — он его в ухо раз... и другой... и третий.

Сталась, таким манером, драка у них. И что затем было!!.. Артюха, слышь, в снегу очнулся за околицей, в крови весь и в левом боку боль учуял, крепкую такую боль, что словно-де туда пика попала. И пилила она его бесперечь, сказывали, недели две, насилу-де баней оправил, выпарил ее вениками, выхлестал, и то не всю. На левой бок свихнулся маленько, да вот с той поры и ходит кривобоким. И прозвали его ребятенки селезнем.

Так с того ли самого, али с побору целовальникова, когда тот за битого-то мужичоночка вступился да выговорил Артюхе:

— Что коли-де драться стал, так знай, мол, и моя от-машь не об одном суставе. Вчиню-де и я тебе нашинского!..

Испортился наш Артемий. К становому пришел. Тот заступился за своего за приспешника, и пошел благовать Артемий. Да вот и озорничает. Пришел, слышь, в кабак (да не в тот уж) и сказывает:

— Люблю я Ивана Семеныча за то, что он мне во всяком моем слове послушание оказывает и почитает меня. Придешь к нему на дом по его по вызову, станешь отказ ему делать, что вот-де слава Богу кругом все хорошо, никаких-таких происшествий не было, а что-де Матрена одночасно померла, так, от угару, мол. Возьмет он это меня за бороду, потреплет за нее, подлецом приласкает да накажет: «ты-де в Митино пойдешь, так от меня поклон сказывай!» «Слушаю, мол!» И стриженная девка косм не успеет заплесть: Лукешка у меня в становом огородке за банями снег уминает... И что там дальше — не наше дело! Я тем часом завсегда уж у становихи детям сказки сказываю, петухом пою, опять же по-телячьи... Соловьем свищу. Барыня сама выходит, — слушает, смеется, чаем, вином поит. Наше дело такое — умеи всякому угодить, — а затем уж тебя — никто не смей обижать. Вон обидел меня Андрюха посадской, взял я у него мужика небеглого. Мужика этого отпустили, а посадской кабак три дня заперт стоял.

Тридцать, слышь, рублей у откупщика из мошны и вон. А мне с той поры ихний ревизор во всяком кабаке по полуштофу в неделе велел отпускать без отказа. Так и знаю!..

Так объясняли себе мужики-соседи перемену в Артемье, так рассказывал и он сам о себе. Новые вести приносили немного хорошего. Артемий на все спросы говорил мало или совсем не отвечал; к соседям завертывал только за делом, и не бражничал ни с кем из них и почти нигде, ограничиваясь исключительным правом получать от откупа выговоренное угощение. В избах у соседей являлся он только по должности со словесным извещением, и то не всегда входил в дверь, а удовлетворялся обыкновенно только тем, что стучал своей палкой в подоконницу. К стуку этому, всегда урывистому и громкому, давно уже применились бабы и, при первых ударах, умели отличить его от стука, напр., нищей братии, которая стучит своими падогами обыкновенно слегка и учащенно и немедленно затем вытягивает свой оклик, небогатый словами, но глубокий смыслом. Заколотит Артемий громко-громко, изо всей силы, задребезжит стекло и взвоят в люльке разбуженный ребенок — бабы перемолвятся:

— Надо быть, опять горлодер Артемей, — чего надо?

— Дома ли большак-от?

— А на полатах спит. С мельницы вернулся, — ума-ялся, слышь.

— Буди его поскорее да гони к окну.

— Сказывай, чего надо, — перескажем ему когда очнется: вишь, недавно захрапел только... жаль!

Сотский в ответ на это еще немилосерднее застучал в подоконницу. Бабы опять разругали его промеж себя и опять окликнули через волоковое, всегда готовое к услуге, окошко:

— Да ты бы в избу вошел, отдохнул бы, молока бы, что ли, похлебал.

— Некогда... у нас дела... мы на полатах не спим, нам некогда. Буди, слышь, а то окно разобью.

— Ну, вишь, ведь ты озорной какой, пошто окно-то бить станешь? Стекол-то здесь, чай, нетути — все из города возят, куплены ведь. Вошел бы...

Но сотский неумолим: он обстукивает оконницу со всех четырех сторон и заставляет-таки баб будить большака. Долго тот не слышит ничего, не может понять, наконец, открывает глаза, щурится, опять закрывает и, повернувшись на другой бок, опять готовится заснуть. Но новый стук и сильная брань под окном и новые навязчивые толчки будильниц поднимают его с полатей. Чешется, зевает, еле шевелит ногами, чмокает и опять зевает и потягивается, разбуженный не вовремя и не в добрый час. Подходит к столу, выпивает целый жбан кислого квасу, кряхтит, крутит головой, и, только теперь приходя в сознание, с открытым воротом рубахи, садится к открытому окну слушать начальнические требования неугомонного сотского.

— Партия солдатиков пришла, — слышится голос сотского, — троих поставь некуда — слышь! В твою избу велели, — слышь! Приварок давай — слышь. Завтра уйдут в поход. Принимай-ко, слышь!

— Давно ли, парень, ставил? Шел бы к Воробьихе: ей надо!

— Начальство на тебя указало, — слышь!

— А ты-то чего забываешь очереди-то?

— Чего указываешь-то: делай что велят — слышь.

Сотский опять застучал в подоконницу.

— Бога ты не боишься. Если крест-от на тебе, что стучишь-то? Слышу ведь.

— Делай что велено. Не ругайся!

К ругательствам сотского присоединяются новые ругательства. Бабы в избе тоже сетуют и перебраниваются промеж себя.

— Шли бы вы-то, крещеные люди, не по сотскому указу, а по своему по разуму.

— Наш разум таков: куда указывают, туда и идем, — отвечают солдаты. — А нам не на улице же спать.

— И то дело, братцы! А то гляди, сотской-от ваш какой озорник, богоотлетчик. Ладно, идите!

Солдаты входят, бранят сотского и вскоре успевают по старому долгому навыку умирволить хозяев, всегда страдающих, по свойству русской природы, и всегда готовых умилиться духом, полюбить всякого сострадающего их горю, хотя и не всегда искренно, большею частию голословно.

Хозяева беззаветно и готовно напоят-накормят временных постояльцев всем, что найдется у них горячего и хорошего, всем, чего ни попросят солдаты, отпустят и с ними на дорогу и забудут вчерашнюю неприятность, хотя подчас и выговорят при случае и при встрече сотскому:

— Благуешь, брат Артюха, право слово, благуешь! На кого зол без пути, без причины, на том и ездись, тому и кол ставишь, прости твою душеньку безгрешную Господь многомилостивый.

Молчит Артемий на эти покоры, не вздохнет, не оправдается и опять так же назойливо, часто и громко стучит своей палкой в подоконницу: надо ли выгнать вотчину на поправку выбоин на почтовой дороге перед проездом по губернии губернатора, архиерея, *вельможи-ревизора* из Петербурга, надо ли мирскую сходку собрать — всегда крикливую и не всегда толковую, надо ли подводы сбивать под рекрутов, под заболевших колодников, или чего другого. Повелительно, сухо высказывает он начальственные требования.

— И словно сердцем-то своим окаменел сердечный?! — толкуют промеж себя мужики. — Ни он тебе расскажет: вот так-де надо, затем, мол, и оттого; ни он тебя лаской потешит, умирит. Все словно с дубу, будь ему слово это в покор, а не в почесть. Избаловался Артюха, совсем обзлится, словно на нем и не мужичья шкура, словно миру-то такого разбойника, такова мироеда и надо было. И вином ты его по-христиански не удовлетворишь, и ни на какую ласку не поддается. Ну-

ко, братцы, дурь какую задумал, ну-ко на какой грех душу свою запропастил. Эко не рожено, эко не крещено дитятко!

— А что-то еще выдумал?

— Да выдумал-то он по десяти копеек со двора собирать.

— За какие же за такие корысти? мало нешто и тех поборов, что есть? Эка, пора, не роженные и есть, не крещенные дитятки!

— Становому-то, слышь, деньги понадобились: мало, вишь, у него их.

— Рассказывай-ко, рассказывай, слушаем!

— Значит: Святки на дворе, надо свечей много, водки тоже, потому как пляски плясать барышеньки да барыньки наши ряженные приедут — без угощения нельзя. На другой раз — пожалуй — не приедут. Ну вот он по самому по этому делу и позови Артюху-то (Лукиян сотской в кабаке рассказывал). Позвал Артюху-то: «Ты, говорит, мне придумай такое дело, чтобы у меня рублей десять на серебро было, потому как я тебе верю и знаю, что у тебя голова не брюква, а из золота кована, жемчугом низана». Ну вот она, жемчужная-то голова, от большой трезвости от своей и поразгадала, попридумала:

— Вишь, — говорит, — ваше благородие Иван Семеныч, не на всякой, слышь, избе доски с обозначением: кому и с чем на пожар бежать: с ведром ли, с лестницей ли, с лопатой, али с кобылой. Вели оправить, а кто не может, пуцай деньги дает.

Тот ему за эти слова в темя целование, на руки благословение и крепкий наказ:

— Губернатор-де велел это дело сделать и отставкой-де пристрожил меня, коли ты-де, Артюха, не сделаешь.

Вот и пошел наш Афанас по бедных нас. Собрали-то, надо быть, много. Иван Кузьмич соснинской сказывал, слышь, на Артемьев-то сказ такое: «нате-де вам вместо

гривенника три рубля на серебро, а уж-де дощечку-то я сам нарисую; вы-де и не беспокойтесь о том. А коли-де кто по бедности такого дела не сможет, ко мне опять приходи — еще дам! И нашлась-де Агафья-нищенка (и к той-де Артюха-то спьяну зенки-то свои бесстыжие принес), сама-де сказывала — у меня душа за собой, да и та болезная, а мне уж — говорила — за доской за вашей и от смерти от моей не ухорониться. Пришел, ведь, слышь, Артюха к Ивану Кузьмичу, по его наказу.

— Ну, — перебили слушатели.

— Отдал Иван Кузьмич за старуху десять копеек.

— Что же Артемей-то?

— Взял — известно.

— Экой черт, экой леший, рука-то не отвалилась на ту пору?

— Нету, сказывают.

— Экой черт, экой леший!

— Да уж это самое слово ваше верно; накопил-таки на душе чертовщинки-то, позапасся.

— Сказывают, напередки грозится. Выговаривал-де Артюха-то девкам: «вы-де, слышь, ссыпчины-то не делайте; зима-де ноне крутая стоит, посадков по книгам значится — на тот год делать грех, так-де его благородье и наказывал мне. Оставьте думать!» Орженухи-то наши, слышь, в слезы: «так, слышь, поправить-де это дело в нашей силе». Со словами-де этими и отошел от них.

— Ну, знать, ответ держать ребятам придется, да и ответ-от денежный...

— Уж это не без того...

— Возьмут, други, возьмут и с них поручного. Быть делу этому.

— За ребят боюсь: и побьют Артюху...

— Да это и дело: на то и бьют, затем, знать, и пошел по непоказанной дороге...

Так толковали мужички перед Святками, толковали после Святков, когда посадки затевают уже без ряженных, хоть и с песнями до Масленицы.

— А ведь ребята-то наши взяли свое...

— О чем это ты?

— Артюхе-то за побор его за поседки бороду выщипали.

— Поколотили, что ли?

— И поколотили, и полбороды выкосили: две недели подвязанный ходил, а снял повязку — борода что мочалка — одно только звание! Ходит и не стыдится...

— Ну!

— Обозлился теперь до зела! Как подвыпил, так и лезет избидеть кого да обляять... Уж и бьют же — верно слово!

— Больно?

— В клочья треплют. Кажись, с тем и в гроб уложат. Да уж больно жаль!..

— Чего такого?

— Человек-от был допреж очень больно хороший, а стал вот сотским, с того и пошло.

— Да уж это точно что так: брось хлеб в лес — пойдешь, найдешь, Пошли же ему Господи мир безмятежный да покой! А жаль, коли тем износится, право, жаль. Христова, ведь, в нем душа-то, Христова. Вон, слышь, ономнясь у Прохора рекрута окликал: те, выходит, вестимо позамешкали. Жаль было: один ведь у них сын-от и всей радости. Пришел к ним Артюха в другой раз со строгим наказом. Пришел и взляял по-своему, сердито: «при мне-де и лошадей впрягайте, мне-де велено и за околицу вас проводить». Ну, известно, начальный указ принес: слушать надо. Стали иконам молиться. Артюха стоит, ждет: свою, значит, должность правит, приговаривает: «торопитесь, мол, торопитесь, тугой-де поля не изъездишь, нудой моря не переплывешь». Его известно слушают, будто слушают, а сами ревут да прощаются. Артюха стоит с падогом со своим, словно на свадьбе, чреда своего в угощении дожидает: не его-де дело! Глазом, сказывали, не сморгнул. Стали тем часом парня образом благословлять — воеет парень. Артюха падожком

своим постучал, слышь, об пол, да и опять-де свое слово сказывает: «Скорей-де, братцы, скорей, ждать некогда». Перекрестили парня образом, старик Прохор все молчал, что и Артюха же. Стал свою речь сказывать: «Сердешной-де ты мой, единое око, последняя-де надежда на спасение!..» И все такое.

«Рубашку-то ты, слышь, любимую-то свою, красную-то надень, армячишко синий мои, штаны-то плисовые, сапоги-то-де новые! Погуляй, покрасуйся на последний час свой, отведи свою душеньку-то, жемчуг ты мой самокатный, ангел ты наш хранитель-поитель. Вот двадцать рублей, слышь, уберег от своих от трудов грешных, не одну-де неделю копил.... последние!..» Сказывает это Прохор-от, а сам дрожит и голосом переливает плачевно так.

«Возьми ты, говорит, деньги эти: гармонию себе купи, потешься сколько сможешь на трудовые наши деньги. Ведь наши они, и никто-де их от нас отнять не может. Пропей-де ты их, слышь, прогуляй. Пущай пойдут они прахом, лишь-бы-де на твое на последнее ликование во своей вольной волюшке, в дому отеческом». Как сказал эти слова-то все старик Прохор, да как заревет, слышь, что молодое дитя, во всю свою силу, да как кинется на шею к парню-то... Сказывают, у Артюхи слеза на ту пору проступила, и он заревел, затем-де, слышь, из избы вышел. Вернулся — сказывают — на другой день трепаный такой, скучный. Говорит — голосом дрожит, и смирно таково и ласково: «Я-де, говорит, становому сказывал, что прихворнул парень-от твой, в два-де дня не оправится». «Нет уж, — говорит, — спасибо, Артемьшко, дальше откладывать — тяготы больше. Бери, говорит, да и вези, коли велено!» Так слышь, Артемий-от ни слова на это: опять прослезился. «Везите, говорит, сами, а я не пойду; я, говорит, и на облучок не сяду: неумогу, мол, мне». Так и не сел, так и не выпроваживал за околицу. И ровно бы на две недели замечали — посмирнее стал: озорства от него большого

не видать. Все либо, слышь, дома, либо у станового сидит, а чтобы эти крючки свои, — нет: не закидывал, не задевал никого!

— Ну, а теперь-то, мол, как?

— Да уж известное дело: поваженной, что наряженной — отбою не бывает; опять дурит по-старому...

— Экой не уладистой какой, экой не угребистой — мироед.

— Мироед и впрямь! К колдуну бы, что ли, сводить его: тот не поможет ли?

— Не поможет.

— Так к знахарке, что ли?

— Не пойдет.

— Ну и считай, знать, опять дело пропащим.

— Так, знать, и будем считать до другого сотского али до нового станового.

— А Артюха как есть пропащий человек, так и будет.

— Так, брат, сосед дорогой, и будет, так и будет: Артюха пропащий человек. Это как перед Богом.

КОЛДУН

Колдуны — не всегда ловкие плуты, обманывающие темный и суеверный народ при помощи своей сметки, которая дальше других видит и выше стоит, но также *знахари*, как остаток древних волхвов и кудесников, вызванные народной потребностью в качестве врачей и значении целителей от действия всякой вражьей силы. Не всякая болезнь, по народным понятиям, зависит от себя самого, но большая часть из них, почти все болезни, происходят от злого духа; болезни его шалости, *самого* рук дело. Какие-нибудь поносы (понос, кашель, насморк) от поветрия, от простуд (да и то под большим сомнением), а стрелы, притчи, ветряной нос, даже нарывы, чирьи и другое многое — непременно от злого духа и злых людей: по наговору или сглаза, по ветру

или по следу. Эти-то причины и должен разбирать достойный человек — знахарь. Настоящий колдун, колдун в собственном смысле, такие болезни умеет насылать, но он же знает, как *замок отпирать*. Отпирают замок и простые знающие люди. Оттого-то не одна болезнь и не лечится без наговоров и не один наговор без замка не бывает. Оттого-то нет более или менее живых околотков, где бы ни ходил слух о каком-нибудь колдуне, которые не всегда старики, но сплошь и рядом молодые люди и люди средних лет. В Великороссии только колдуны поубавились; но колдунов еще очень много.

Чем глуше место, темнее народ, чем погуще леса и подалее большие города и торговые центры, тем вернее встреча с колдуном. В настоящей глуши они, впрочем, и сами не затрудняются объявлять себя и хвастаться (в чем, однако, ради барышей и корыстей, их существенный и главный интерес личный). Взглянет в лицо да и скажет: «счастья у тебя нет, а коли злых дней не запомнишь, значит, чужим счастьем живешь», а разговорится, то и начнет хвастать: «мужа с женой поссорить грех, для того, что союз-от Богом благословенный, а поссорить парня с подругой не грех; то я и могу сделать, а как — про то не сказывается». Вот таким-то доточникам и на свадьбах первое место впереди, чтобы прочищать дорогу к венцу; таким и на пиру первое место, первая чарка и особый почет. Это — одиночки.

Колдуны водятся, по архангельским слухам, в Кореле (между корелами); по уральским заводским известиям, колдуны целыми деревнями живут в отдаленных и глухих местах Чердынского уезда (Пермской губ.), оттого и существует поверье и присловье, что чердаки-колдуны, чертовы знахари; там на Ивана Лествичника (30 марта), когда домовый бесится, и они, один раз только в году, замирают. Но там же, на Урале, те самые невинные коновалы, у которых и инструменты все на виду, коновалы, которые толпами выходят на восток (в Сибирь) из Кологривского уезда (Костр. губ.), делаются

на время колдунами и сливут таковыми вовсе не по заслугам и без всякого права.

Не про этих промышленников, но про двух из настоящих и присяжных колдунов рассказ наш, основанный на недавней были, к сожалению, окончившейся так неожиданно. Придумали на колдуна лекарство, но не из той аптеки взяли, вопреки указаниям и советам здравого смысла, а где слепой слепого водит.

* * *

Черным, полусгнившим и надломившимся в середине домишком глядит кабак Заверняйко в глаза всякому проезжему по тому дальнему и глухому проселку, где поставила кабак этот насущная потребность окрестного люда и личный произвол туземного откупа. Судьба поставила его, по обыкновению, на тычке — бойком месте; и хотя кругом прошли пустыри, да лес, да поля, и ближайшие селения далеко ушли в сторону, тем не менее сюда забежит и соседний мужик, праздничным делом пропить накопившуюся за неделю бешеную копейку, и извозчик, везущий ближним путем купеческий товар, и ямщик туземной власти, осчастливленный милостивым снисхождением своего седока, выбежит оттуда, обтираясь рукавом, побрякивая и похлопывая себя рукавицами по бедрам, как и всегда.

В кабаке Заверняйко народная сходка. Бестолковый крик, покоры и перебранка мешаются с песнями, бойко и голосисто затянутыми, не вовремя и глухо кончаемыми. Громкий гул этот, вырываясь в отворенную дверь и открытые окна, возбуждают со стороны проходящих некоторые замечания:

— Путиловские землю разделили: мироедов поят...

— Больно уж распоясались-то. Ну, да ведь и то, парень, молвить — удельные.

— Пущай гуляют: ихнее дело дворянское, как есть господа, а мироеды-то наши, народ теплый, на повадке... к бражничанью-то!

— Да уж это святое твое слово, чай, ведь и Еремка тут!

— Где ему ледащему, не свои полати: на всех перепутьях первая кочка, завсегда!..

— Зайдем, паря, взглянем!

— И то дело! Может, еще и попоштуют! Чай, уж все в загуле!

— С утра еще забрались, как, чай, не в загуле. Пойдем, взглянем.

Перед глазами входивших — старые, давно знакомые виды, с которыми не расстаться русскому человеку вовек ни в одном из питейных; прямо полки со стеклянной четверугольной посудой различных величин и цветов и по ним печатные надписания. Стойка потертая, просаленная, напротив мрачный и грубый целовальник в сторонке, недалеко от него парнишко-подносчик — пропащий навек человек; дверь сбоку, ведущая в квартиру целовальника; кругом лавки; на этот раз пропасть народу пьяного, и потому говорливого. Все в шапках, картузах или шляпах, все до единого заняты разговором. Только двое вошедших составляли исключение, но и то ненадолго: они были замечены тотчас же, как показал голос, вылетевший из середины толпившегося подле стойки народа:

— Первачки пришли, пропустите! Эй, ребята, полезай вперед, вы... соснинские!

— Пошто вперед? нам и здесь ладно!

— Подходи, ребята, к стойке: пей за путиловских. Путиловские целую полку откупили: станет на вас!

— Нету, не надо: пошто? мы ведь так зашли по себе; не надо, не просите!

— Пей, знай — не ваше дело; после сочтемся.

— Нет, да нельзя ли уволить, пошто пить? не надо!

— Помни, знай, да берись за свое, не то и без вас выпьем!

— Не просите лучше, не надо: благодарим покорно!

— Сказывай спасибо, когда выпьешь, а теперь, знай, пей за путиловских, дело-то мы их порешили. Любовное дело вышло, знай пей, не заставляй кланяться...

— Не так ли лучше полно? мы... по себе зашли. Ну да, знать, ладно; быть по-вашему: давай за путиловских выпьем.

И опять все смешалось и перепуталось в общем гуле и сумятице; только целовальнику, может быть, не всегда, впрочем, любознательному, да, наверное, двум соснинским мужикам могли броситься в глаза несколько мужиков, составляющих цель предпочтительного, общего потчеванья. Между ними один был веселее и бойчее других. Он то поиграет на балалайке, то врежет бойкое замечание в толпу мужиков и поворотит весь разговор в другую, желаемую им сторону, то подойдет к стойке и потребует новую свежую посудину на потребление, то взвоет песню, то опять идет к стойке. Глядит решительным хозяином-распорядителем настоящей попойки. Соснинские мужики подошли к нему и заговорили:

— Что, брат Еремушко, как?

— Что как?

— Ты ... тово, здесь?

— А то нет, что ли, не видишь?

— Что дело-то, порешил, значит?

— Какое дело?

— А путиловское-то?

— Ну?

— То-то порешил, мол?

— А вам-то что?

— А ничего, Еремушка, как есть ничего...

— Видели вы, братцы, воров-то соснинских? — кричал Еремушка уже вслух всей компании, вытащивши пришедших мужиков в середину. — Вот Божье рождение, все как следно, с руками и с ногами, и голова есть, а не то, потому, значит, господский народ. Спроси ты его по суду, например — не ответит, не сумеет, потому подневольный, выходит, человек; речи своей он не имеет.

Еремушка кончил; толпа замолчала. Соснинские мужики стояли, понутив головы, словно громом пришибленные; а может быть, и потребленная на чужой счет водка отняла у них право говорить свое. Может даже быть, что они не смекнули сразу, к чему повел речь затронутый ими знакомец. Еремушка явился перед ними с водкой и продолжал свое:

— Вот они теперича выпить должны, потому водка речь дает; а опять-таки у них мирского суда нету — подневольный народ. Дай ты ему, выходит, землю: на, мол, твоя она, он и возьмет, хоть по всей-то по ей камни прошли: возьмет и камни зубами повытаскает: потому самому, что господскому человеку, не велят рассуждение иметь. Сказали — и делай! Так ли я говорю, святые человеки? Не вру ведь...

— Да ты пошто это про нас-то, Еремей Калистратыч, теперича-то? Наше дело известно, в барской воле состоим, ему повинны, все от него: и суд от него...

— Не на мое ли же опять вышло: так ли я начал-то? Так, стало быть, и будет! А вы пошто у барина-то управляющего нового не просили?

— Большаки отказали: старики не пошли.

— А пошто стариков слушали? пошто не пошли сами? сказывал ведь я вам, как надо-то? Так вишь; сами, мол, с усами, а дураки, дураки несоветные.

— На совете твоём спасибо, потому тебе и угощение тогда предоставили; а сталось вот так, что не пошли...

— Вот и выходит опять, стало быть, по-моему: подневольной вы народ, речи у вас своей нету, воли нету... пропащий вы народ — вот что.

— Да ты пошто это говорить-то зачал? В другую бы пору когда... а то, вишь, народ всякой...

— Народ этот — свой. Народ этот такой теперича, что вот три года землей-то не помирили промеж себя; а пришли ко мне: приставь, слышь, голову к плечам, научи! и давно бы так. А мне что? я таков человек уж от рождения, что для своо брата православного жену

куплю да на кобылу выменяю, только что вот светлых-то пуговиц не ношу, — сделал дело, как следно. Вот потому и пьем, целой кабак для меня откупить рады!..

— Без меня бы, слышь, ребята, ни Матвей, ни дядя Евлампий, ни Тит, ни Гришутка ничего бы не поделали, а со мной и каша уварилась! — говорил он уже шепотом на ухо разгулявшимся мужикам. — Вот тепереча мы песни станем петь, а утре я опять к вам зайду — и опять потолкуем!..

В ответ на это соснинские мужики тяжело вздохнули и, махнув руками, отошли в сторонку. Еремушка уже растилался вприсядку и весело взвизгивал, как человек, у которого в эту минуту не было никакой заботы, кроме насущного потребления водки. Соснинские мужики вполголоса перемолвились:

— Не дело он, парень, затеял; не так бы ему, парень, говорить-то надо!

— При чужих-то — вестимо — неладно!

— Не ровен черт управляющему-то молвит, опять загнет...

— Загнет, паря, беспременно загнет.

— Не надо бы эдак-то, в слух-от!..

— Вот то-то не надо бы, больно не надо бы!

— Сам зачинщик — сам и ответчик, пуцай так и станется.

— Эх, паря, не заходить бы нам сюда-то!..

— То-то не надо бы: по себе бы лучше!

— Уж это известное дело!

— Ну, да ладно, нишкни пока. Смотри вон, Еремушка-то пляску задал, каково, нали — смехота берет! Вот как!.. что в ступу!.. колесом пошел, на все руки парень! огонь!

Кабацкая толпа представляла в эту минуту решительный хаос; крепко-трезвый человек не нашел бы тут ничего общего и толкового: все перемешалось и перепуталось, как и бывает это всегда на всякой пирушке, где православный люд живет прямо по себе, своим

доморощенным толком и на своей редкой, но дорогой воле. Только одни кабаки видят эти бесконечно веселые картины, всегда, впрочем, поучительные и глубоко знаменательные.

Наступили сумерки: внутренность Заверняйко, по обыкновению, мрачная и грязная, сделалась еще мрачнее, но зато стала представлять более оживленную картину. Весело было всему собравшемуся здесь люду, под задорную песню гуляки, подхватившего ухо и встряхивавшего хохлатой головой, и другого, выбивающего всей пятерней веселые трели на балалайке. Вся ватага представляла на этот раз одну дружную, согласную артель, из среды которой выделялись только две фигуры, по-видимому, не принимавшие живого участия в общей попойке, где всякий встречный — по обыкновению русского человека — гость и побратим, святая душа. Этим двум как-то и дела нет до того, что творится вокруг, и как будто дивились они и непонятным казалось им, отчего и из чего бесятся и пляшут в задорном загуле все остальные посетители веселого Заверняйко. Собираются ли они здесь на ночевку или выжидают конца общей свалки — решить пока трудно, тем более что гульба принимает еще более оживленный и шумный вид. Слышались поощрения, подзадориванья, ободрительный крик и хохот.

— Ну-ко, Иванушко, прорежь еще задорненького-то, да знаешь эту-то... разухабистую.

— С ломом-то, что ли, которая?

— Айда!

Рябой худощавый парень распоясывался, откашливался, прорезал стаканчик задорненького, становился фертом, бил дробь ногами, с гиком приседал, выкидывая из-под себя то правую, то левую ногу далеко вверх; бешено вскрикивал, выгибая плечи и летел в таком виде от двери к стойке и от стойки обратно к двери. Общее внимание исключительно было устремлено на него.

По окончании пляски снова выковыривалась пробка крючком целовальника, снова наполнялись и опорож-

нялись стаканчики, снова гудела песня, снова визжал и трещал пол от задорной пляски, и снова оглушительный крик и хохот еще сильнее, еще чаще выносился из дверей кабака Заверняйко в лес и на опустелый, глухой проселок. Но по-прежнему молча сидели оба мрачных гостя, словно выделенные, словно попавшие не на свое место; черный, словно цыган, старший мужик и худощавый, но с плутовскими глазами, приспешник его — парень-подросток. Старший покойно и незлобиво созерцал все, что происходило перед его глазами; младший показывал больше нетерпения и озабоченности. Наконец, не выдержал после того, как много перепелось песен, много выпилось вина другими гостями:

— Дядя Кузьма, дядя Кузьма! не пора ли?

— Чего пора?

— К ночи, вишь, пошло: негоже!

— Что больно?

— Пора, дядя Кузьма, ей-богу!

— Помани маленько; дай уходить: ишь гульба какая ходит. Разговоры еще у нас будут, не про всех!.. Чего тебе?

— Боязно больно!

— Чего такого? Черт ты, право, черт, вот и все!

— Знобит, дядя Кузьма! к ночи вишь...

— Ну, да ладно — поставь поди: и мы шорконем поихнему. Ставь ступай косушку на первую пору!

Парень, видимо, рад был разрешению: и он и черная борода дяди Кузьмы виднелись уже у стойки. Последний между тем разговаривал с целовальником.

— Что больно сердит ноне, Кузя? — спрашивал целовальник.

— Всегда ведь такой, как от матери вышел, — сухо и отрывисто отвечал тот.

— Чей это молодежь-от с тобой?

— Дальной.

— А чей такой?

— Нездешной.

— Сердит ты, Кузя, право слово, сердит, не видал тебя эким, а и давно мы дружбу ведем.

— Всегда такой, всегда такой: и вчера и завтра! — так же неприветливо и неохотно отвечал дядя Кузя; но целовальник стоял на своем:

— Не учить ли парня-то думаешь; али просто погадать он к тебе пришел?

Но дядя Кузьма был уже опять на старом месте и опять молча созерцал играющую перед ним картину до той поры, пока целовальник не положил ей конец повелительным криком:

— Будет благовать-то, ребята: надо и честь знать; запираюсь, спать ложусь.

— Дай, последнюю споем!

— Будет: наслушался! допевай на поле — там привольнее.

— Давай еще выпьем на тебя!

— Нету вина у меня: час не показаной!

— Экой ты какой лешой: ходить к тебе не станем.

— Не пугай — придешь.

— Идем, братцы: наплюем ему, рыжему черту, в бороду. Забирай ребят-то, кто из вас пободрее!

Вскоре вся ватага вывалила вон. Дядя Кузьма и его приспешник, видимо, ожили: первый стоял уже у стойки и, засучивая рукава и побрякивая, говорил целовальнику:

— Вот теперь и мы с тобой поведем разговоры: давай-ко покрепнее-то которой, да вспень его, мошенника, пусти искру...

Явился штоф и три стакана. Выпили. Целовальник начал первым:

— Смекнул ведь я даве-то: чужой, мол, народ есть, оттого, мол, и дядя Кузя сердитой такой.

— Ну, как тебе не смекнуть? плут ведь ты, недаром рыжий-от со сковороды соскочил.

— Что, мол, парня-то на выучку, что ли, взял? — спрашивал целовальник вкрадчивым, льстиво-добродушным голосом.

— Тебе, дядя Калистрат, что бабе: все сказывай, до всего охоч. Задорен больно!

— Уж и ты лихой черт, что глухая старуха, все про себя да на себя.

— Гадает! — отрывисто ответил дядя Кузьма и указал бородой на приспешника.

— Аль зазнобило? — спрашивал Калистрат.

Парень молчал.

— Его знобит только с холоду, а то этого, чтобы от девок там... не бывает, не такой! — ответил за парня дядя Кузьма.

Сам молодец только ухмыльнулся и почесал затылок.

— Что это не видать тебя, Кузя, — с неделю никак не бывал у меня? — спрашивал целовальник.

— Наше дело известное: все со своим ремеслом. В Митюхино, поля звали опахивать, ходил.

— А что у них неладного-то?

— Скотина, вишь, падала; пришли да и взмолились. Поучи — говорят — нету-де таких-то, чтобы указали, как надо. Три рубля на серебро выговорил — показал на девок. И уж девки же там, паря, что репа! Вырезали, слышь, этой бороной полосы вершка на два вглубь, что лошади! Ядрень-девки такие, что не привидывал.

— Ну, да тебе цыгану-то и на руку.

Слушатели засмеялись, и даже на сухом каменном лице самого дяди Кузьмы прыгнула улыбка, выказавшаяся легонькой дрожью губ и левого глаза.

— Будет, Калистрат, ты нас не держи, нам пора!

— Постой: поговори, посмеши!

— Вдругорядь приду, а теперь не до смеху, нечего и распоясываться по-пустому. Спозаранку ничего не ел, да, знать, и до утра так-то. Ты нам водки с собой отпусти; утре занесем посудину-то, да ведерко дай, да кочергу...

— Ну, Кузя, что ни говори, а парня учить ведешь.

— Не будь ты Калистрат, сказал бы я тебе такое слово, чтобы ты у меня до утра не прочихался. До завтра,

небось, не хватило б тебя подождать-то. Экой народ! Давай кочергу-то, да золы, да соли!

— Не сердись: будет по-твоему.

— Сказано: смалкивай, невестка — сарафан куплю; ну и цыц, пострел, коли кашу съел.

— Идем Матюха, Калистрат не переслушает всего-то, на него хоть намордник накидывай: по неделям, разиня рот, охочий слушать...

С тем и вышли.

Черная осенняя ночь, не возмущенная ни одним порывом ветра, ни одним людским криком или говором — была уже на дворе. Еще чернее ее стоял вдали лес без просвету; без звука, словно творилась в нем великая тайна и выжидалось оттуда страшное чудо.

Смело шел по его направлению дядя Кузьма, робко плелся за ним его приспешник-парень. Прошли поляну, прошли перелесок, не проронив ни единого слова. Вступили в лес; дядя Кузьма начал первый таким сиплым голосом, как будто не выходил он из кабака несколько суток и не спал он эти сутки в бешеном загуле:

— Помнишь ли зачуранья, как я тебе даве сказывал?

— Помню, дядюшка! — отвечал Матюха таким робким голосом, как будто смолоду били его и забили в нем всякое смелое, самобытное слово.

— Сказывай! — резко выговорил дядя Кузьма.

Парень молчал.

— Сказывай про китов, на которых земля держится; сказывай поскорее: скоро, гляди, кочетье взвопят.

— Это не страшно: отпустил душу — скажу. На тех китах земля стоит, — начал Матюха более смелым, хотя еще и дрожащим голосом, — один кит потронется — земля всколыхнется, а все то вместе — в тартарары пойдем; один помрет — все туда ж пойдем.

— Что китов держит?

— Огненная река.

— Что реку держит?

— Дуб железный.

— Куда солнце на ночь уходит?

— В златотканые чертоги на востоке; там стоит Буян остров и живет в нем змия Македоница, всем змиям старшая, на зеленой осоке сидит птица, всем птицам старшая, и ворон, всем воронам старший брат и стоят там реки-кладези студеные...

— Сказывай дальше про Афонскую гору!..

— На горе Афонской дуб стоит ни наг, ни одет, а под дубом тем живут семь старцев, семь ставцов, ни скованных, ни связанных. И приходит один старец и приносит семь муриев черных и велит их взять и колоть. И клюет тех муриев птица Гагана. И лежит там бел-горюч камень Алатырь, и излизывают тот камень лютые змии весь и ядовиты летом и через всю зиму оттого сыты бывают.

— Ладно, побратиме! обернись назад, снимай крест, да и клади под пяту в лапоть и — не оборачивайся.

— Теперь, Кузьма Семеныч, что хошь сделаю все по-твоему, по велению мне-ко што: не ругались бы над тобой опосля, а то все сделаю, — говорил Матюха задышающимся голосом и как будто сквозь слезы.

— Лишнего говорить не надо. Становись и сказывай: «отдаю себя в руки дьяволам», — перебил его дядя Кузьма.

Матюха сделал все, как указал ему тот: выворотил рубаху наизнанку, левый лапоть надел на правую ногу и обратно; два раза перевернулся через голову, опять сказал после всего старое заклятие и обернулся лицом на запад, по приказанию и при словах учителя:

— Пройдет день на вечер, вынь ты тот крест на ветер, — на стену повесь, и придут к тебе дьяволы. Для того ты спать ложись, не молясь, не крестясь. Придут — не придут: сказывай им, что я учил; примут и учить тебя станут по-всякому. А вот тебе соль и кусочек; соль наговорена, кусочек — страшное дело: потеряешь, дня не проживешь.

Видит Матюха, что соль, как соль, и кусочек поменьше горошины; и кусочек этот не то сосновая сера, не то воск или вар, липкой такой.

— Зачем соль-то, дядюшка? пушай вар, терять его, значит, не надо.

— На соль шептать надо то, что хочешь супротивнику твоему сделать: сохни, мол, тот человек, как эта соль сохнуть станет; отступите, мол, дьяволы, от меня и приступите к тому человеку, а мне-ко, мол, благо. И ступай на дорогу или в избу ступай, где тому человеку идти надо будет, и зарой ту соль, и не вдолге опять сходи, и вырой и скажи: подите, дьявольщина, прочь от меня. И крест надень. А супротивнику твоему будет скорбь и сухота. И вот тебе слово мое крепко. Чурайся, как учил с утра; говори за мной!

— Стать мне на месте, быть ведуну; знали бы меня люди и боялися: добрые и злые, неведомые и знакомые, и всякая душа человечья, и зверья, и птичья. И будь то чистое место, на котором стою, нечисто, и будь тот ветер, на который дышу, поганым. Слово мое крепко, запечатано, заказано, замок, замок!.. аминь, аминь, аминь!..

— Ложись и не вставай, пока не взвоплю!

Матюха лег навзничь и долго лежал, пока дядя Кузьма говорил над ним много всякого вздору, какой только лез в его голову, и руками махал, и кричал совой, и глухо лаял собакой, мяукал кошкой, как и всякой другой искусник, которых так много ходит по белому свету на смех и забаву доброго православного люда. Другой раз тот же бы Матюха поджал живот от смеха, махал бы руками и надрывался бы до слез и кашлю: теперь он лежал на земле, не шелохнувшись, и когда поднялся, по приказанию хозяина, по щекам его текли обильные слезы. Учитель понял их по-своему.

— Плачь, Матюха, пока слезы текут; тут не токма человек, и кремень возрыдает. Знай же раз навсегда, что теперь ты колдун стал и будет тебе все по желанию по твоему. С тем и пойдем опять к Калистрату.

Сосредоточенно, молчаливо шли они перелеском, полем, проселком и выгоном; молча вошли и в кабак, где дядя Калистрат только что проснулся и, опершись руками на стойку, по временам зевал с выкриками и глубокими вздохами, вперив свой масляный взор в потрескавшуюся невыбеленную огромную кабацкую печь. Дядя Кузьма подвел к нему Матюху с самодовольным и смелым видом, промолвив:

— А вот тебе, дядя Калистрат, и новоставленный! Давай ты нам теперь водки побольше, да не казенной. А там, знай, указывай всякому и на него, как и на меня. Знает-де, мол, и трясцу напускать, и домовых окуривать, и с лешими знается от мала до велика, что с братьями, и от дьявольских напущений способить. А смекнул ты вечор, да признанья спрашивал, больше матери знать хотел. Это не след, чтобы нашему брату все о себе сказывать, на то и голова у нас в кости скована.

«Откуда Кузя парня достал? — думал Калистрат-целовальник, проводивши гостей и оставшись один на один с собою. — Знаю я всякого народа много, затем и на тычке живу: ходят в мое жилье и господа проезжие, а из соседних баб все на примете, не токмо мужики. А нет, такого молодца не видал и не знаю. Надо быть и впрямь из дальних», — решил целовальник и на том крепко задумался.

Раз запавшая с этой минуты мысль, не находя прямого исхода, не давала ему потом покоя. Много рассказывалось с той поры в Заверняйко разных историй, веселых и плачевных, проезжими мужиками, всегда откровенно-простосердечными и добродушными, а тем более еще под пьяную руку; но любопытный, приучивший себя прислушиваться к чужим толкам проезжего люда, целовальник, не мог поймать даже намека на интересовавшую его тайну. Всегда нетерпеливый и в этом отношении даже беспокоящийся Калистрат пробовал и сам задирать кое-кого из более толковых соседей кабака Заверняйко.

— Не знаете ли вы, ребята, парня такого, с Кузей хаживал, хохлатенький, что сам Кузя? Не то чтобы он рыжий, а эдак сивенькой и косой такой, что заяц; говорить не охочий и на вино такой крепкий, что тебе соцкий любой, али бо и сам становой.

— Это какой же такой, ребята? — спрашивали обыкновенно мужики и друг друга, и самого Калистрата.

— Да у тебя-то часто бывает?

— Раз видел и наказ получил, чтоб сказывать, что и он такой же колдун.

— Ну, а звать-то как?

— Матюха, никак.

— Матюха, вишь... да, может, кузнец!

— Ишь тоже: того-то знаем доподлинно, еще солью закусывает и в кармане ее на тот конец носит.

— Ну, так дьячок.

— Про дьячков и не сказывай: весь причет знаю: заходят и они посидеть.

— Других не приберем.

— У извозчиков поспрошай: те дотощней; нищую братью опять: те только, кажись, пегого черта не знают, а черного видывали.

Попробовал Калистрат спросить у нищей братии: нашлась такая дряблая старушонка, тихая, как агнец, на паперти церковной, бойкая щебетунья в кабаке придорожном, межидворница-сплетница во всяком селении, куда вводят ее страсть к бродяжничеству и попрошайству и сердоболье ко всякой бабе деревенской, плаксивой и вечно недовольной своим настоящим.

Калистрат только заикнулся: «не знаешь ли, мол, того-то и такого-то, с тем-то, мол, ходит», — нищенка и досказать не дала:

— Мне чего не знать, Калистратушка, так обидно нали просто: выходит, в землю ложись и гробовой доской накрывайся. Матюхой звать, Иванов сын, в Питер ходил — не поладил, назад пришел, полюбовница за солдатами в поход ушла, косой ...

— Да ты постой, постой: сказывай по порядку, — перебил защebetавшую побируху целовальник.

— На ухо тебе молвить, да не при всех, Калистратушко, неладное дело с ним случилось: душеньку-то свою он в недоброе место продал, — шептала побируха.

— Знаю: сказывай по порядку.

— Косушечку от себя поставишь — всю подноготную поведаю, без утайки.

— Не стоим о том, а потому — нам знать любопытно.

Побируха подхватила локотком, целовальник оперся локтями на стойку, и начался рассказ:

— Паренька-то этого я еще оттого помню, как с покойничком сынишечком со своим, с Михайлушком, миром побирались, за Христовым то есть подаяньцем ходила. Завсегда был збойлив, завсегда шустрый такой, что опосля того и не привидывала. Не пропустит это он ни единой старушечки, ни единой Христовой сестры, чтобы не наскочил он на тебя. И либо тебе шлык сшибет, либо котомочку-дароносицу оборвет, али-бо костыль вырвет да и учнет на нем, что на лошадке, ездить. Бегаешь за ним, бегаешь, лаешь его, лаешь; уморишься ину пору до ручья кровавого. Пойдешь к батьке, нажалуешься; натреплет он его, нациплет так, слышь, зайдетя даже, в пене по полу валяется: «я не бил, говорит, не вырывал костыля, не наскакивал, говорит, не дрался». Померли у него старики — зашибать стал, крепко зашибал: на базарах на этих, в обедни пьян, а и в свалках то и дело он первый задирает; опять же о Святках девушкам проходу не дает; где он, там знай, слышь: посадка до первых петухов разойдетя от его от окаянного от озорства. На станových писарей нападать стал, чего бы тебе, кажись? Постегали крепко-накрепко и тут уйму не дался.

— Головорез — выходит! бил, стало быть, на то, что прямо бы головой-то хохлатой своей да в петлю, — заметил от себя целовальник.

— Да уж это вестимо дело! В рекрута, Калистратушко, возили: вернулся ведь! Сказывали, и кос, мол, и левое-де плечо выше правого. Ни под какую статью и не подошел. Вот он каков угорелый человек есть!

И жила у них тут в деревне девонька такая, Лукешкой звать, потаскуха. Из себя она такая бы видная и не рябая, да худую по себе славу по миру пустила. Становой ли, слышь, наедет, да хоть и в другой деревне встанет, соцкой под вечер у ней под окном завсегда падогом стучит. Одно тебе это слово; опять же другое: ни один человек ее в избу к себе не пускал, — за своих за девок опасались значит. И у Лукешки у этой по праздникам бы что ли, а то и в будни не в редкую гульбу такую ребята наши пускают, что дым коромыслом идет. И стегали ее и в волостное звали, срамили всяким делом: все прошло с нее прахом, что с гуся вода. Все в глум взяла; пошла еще пуще того, что саврас без узды. Старики взялись за свое: стали ребятам наказывать, чтоб взяли бы ее да и бросили. Рекрутством пристращали. Так только и угодили тем: перестали ходить к Лукешке и вою из ее избы не слышать стало. И она стала что своя не своя, уходилась. И на то пошло: выйдет ли за ворота — ребята стали глум на нее напущать, позорили, ворота дегтем мазали. Выходить перестала. Идешь, бывало, за своим за мирским подаяньем — сидит себе под оконцом, да песенки про себя поет-потешается, и ни тебе у ней прялка в руках, мотовильцо бы какое: сидит себе барынькой коптеевской и знать не знает. Худеть, глядим, начала: со скуки, мол, плакать стала, у оконцато, гляючи на бел на свет. Со кручины, мол. А сама хоть бы те ногой к кому за советом, со тоской со своей. Все одна. Стали замечать, что Матюха, этот озорной, допреж надругался над ней, а тут ни с чего сблаговал: стал под окошко к ней ходить, разговорами ублажал, а там поглядят: не думаячи, не гадаючи, и в избу к ней залез, да с той поры, почесь и не выходит, и долго бы и по времени то. А поваженной, вестимо, уж мол, что наряженной: отбою не бывает.

Обворожила это его девка, обложила это его красотами своими, что ни входу, ни выходу ни ему, ни другому кому. Стали по деревне слухи такие ходить опосля, что, мол, они уж и согласие друг другу сказали, на женитьбу тоись: и на улице показывали рука об руку. У Матюшки и блажь эта озорная прошла: думчивой такой стал, смиренный: не лается, не дерется, за одним делом ходит. Все бы это так и было: да поставили на ту пору в деревню ихнюю солдат. Уж известно это, Калистратушко, в деревне солдаты на постое встали, завивай горе веревочкой: держись мужики крепче зубами за женины понёвы и ворота припирай плотнее.

— Солдат не дает маху: известно, целыми деревнями бабы на проводы выть выходят, — примолвил Калистратыч. — Сказывай дальше! — И Калистратыч махнул рукой и повесил голову.

— Пришли эти солдаты, родной человек, расставили их это по избам. В Лукешкину не поставили. Наша сестра, известно, сейчас на оглядь: который лучше, да у которого усы черные, да круче выются, который опять краше фертом стоит у ворот. Все берут на примету и бабы и девки. Матюшка ровно того и ждал, что и Лукешка от других не отстанет. Она первая. Торчат солдатские усы в ее оконце что ни день все те же, хоть ты что хошь. Матюшка опять в озор! Побился с солдатом-то до крови, по начальству ходили. И Матюшку в управе постегали, и солдата тоже. Да Матюшке не впрок пошло, — девонька его другого приручила: и с тем подрался, а ушел полк-от из деревни и Лукешка за солдатом увязалась. И с той самой поры как в воду канула. О сю пору ни привету, ни ответу. Матюшка только, слышь, догнал ее где-то на дороге да поколотил шибко, тем-де душеньку-то свою и отвел.

И еще пуще опослех закручинился Матвеюшко, а отошел, стал присватываться — ин нейдет никто. Тому не гож, этому неладен; той бы и под стать, так, вишь,

за дурости-то за его поопасовались. Тут вот он и стал толковать неладное такое: «хорошо ж, говорит: коли не было мне талану ни в чем, стану я искать в другом каком месте, а к вам, говорит, приду не такой: по мне, мол, либо полон двор, либо корень вон, а уж к лихому человеку понаведаюсь». И пропал из деревни-то, что Лукешка же его. Да вот в наших местах и нашел человека-то экого, Михея-то Иваныча. Я согрешила окаянная — и жильё-то его указала. У земского у Терентья, в Матюшкиной деревне-то, в Раздерихе-то, на то время, сказывали, денег тридцать рублей бумажками пропало и на вора указать не смогли; а Матюшка-де Михею, слышь, може, опять тридцать рублей за науку-то дал и через двенадцать ножей кувыркался: такой же колдун-де стал! Да не наше это дело-то: поклеплешь, сказывают, на чужую душу, своей худо будет. У тебя в кабаке и деньги-то эти, слышь, отдавал Матюшка Михею-то: а я ведь не то, чтобы... не для худа. Что сказывают, по тому и смекаем. А ты меня не бей, убогая ведь я, и зашла-то попроситься — в Соловецки пробираюсь, кормилец!.. Порадей на убогое место копеечку во имя Христова! — выпела побирушка своим заученным плаксивым голосом в заключение рассказа и — получила-таки вспоможение.

Вернулся Матюха в свою деревню почти через месяц; стал показываться на улице веселым таким и далеко не сумрачным, как все предполагали. Вскоре стал являться и в избах, как добрый земляк и сосед; и на образа крестится не старым крестом, а все тем же — прежним. И хозяев приветствует по обычаю и здравствует добрым пожеланием: «все ли добро поживаете; подавай вам, Господи, добрым советом и согласиём на века вечные». Стали его спрашивать:

— Где это ты пропадал, Матвеюшко?

Молчит, как будто вчера только не был тут.

— Сказывают, стращал ты нас чем-то недобрым на отходе?

Улыбается Матюха и на этот вопрос и рукой машет, как будто отмахивает от себя все злые наветы и наговоры соседей.

Более любопытные и сомневающиеся уходили дальше и между разговорами, как будто невзначай, упоминали имя колдуна Кузьки. И на это Матюха отвечал решительным вопросом:

— Кто с такими негожими людьми знается?

— А в кабаке Заверняйко бываешь?

— Да коли на путь попадался, да выпить хотелось — заходил погреться.

— А целовальника Калистрата знаешь?

— Рыжий такой да толстый? Видал.

— Он ведь Кузьке-то, колдуну, сердечный друг: все, слышь, краденые вещи от него принимает; заодно-де с ним.

— А кто их знает! — отвечал обыкновенно сердито Матюха всем одно и то же.

А сам между тем и в сельский кабак стал заходить после обедни: и не буянил там, не запойничал. Сказки прежде охотник был рассказывать, — теперь и красные девки не допросятся, не только ребятишки.

Лечить попросили его — на то-де знахари да знахарки живут на белом свете. Нанялся под конец в батраки на полевые работы, так никто против него не был ретивее в этих работах. Стал, одним словом, Матюха совсем иным человеком:

— И лезет же вам, бабы, в шабалы ваши такое все несхожее да негожее, — толковали потом большаки. — ну-ко место какое: Матюха-де колдуном стал! Да видано ли где, что колдуны в батраки нанимаются да от лечьбы отнекиваются. Охоч парень был до сказок, да пригрозил в сердцах — вы и на толки нищей братии развесили уши. Было бы слушать кого! А то ишь что выдумали, непутные, право, непутные!..

Но и этим дело не завершилось: бабы творили свое.

На другой день Ивана Летнего вот что рассказывали они шепотом сначала друг другу по принадлежности, а потом и самим большакам:

— Агафья — барский подпасок — перед зарей на реку вышла и видела-де мужика на раменьях, в рубахе без пояса и без лапоток, на босу ногу, ходит-де да траву какую-то щиплет. А как стала заря заниматься, мужик-то завернул траву эту в тряпицу, подпоясался и лапотки обул, а Агафья-де стала ни жива, ни мертва: мужик-от Матюха был, нечесаный такой, словно битый. Сказывают нищенки, что-де Адамову голову собирал; трава-де такая есть, что нечистых духов показывает, нарядными-де такими кукшинцами кажет, и при себе носить надо... и другое разное такое те нищенки сказывали.

— Нет, бабы, что-нибудь и так да не так. Матюха сказывает, что на повете-де спал, а по ночам боится ходить, не токмо на Иванов день, когда и лешие бродят, и мертвые из гробов встают и плачутся, — решили мужики. И продолжали-таки горой стоять за Матюху и не опрашивали его потом ни одного раза, боясь рассердить и озлобить.

Когда таким образом мужики, всегда туго подающиеся на всякую бабью сплетню, примирительно смотрели на все, что говорилось про Матюху, сами вестовщицы не остановились на одном.

Еще спустя немного времени они опять перешептались между собою и опять окликали мужей новейшими новинками:

— Слышал ли, Кудиныч?

— Опять, чай, про Матюху да про колдунов?

— Нету, не про него: про Прасковьюшку.

— Чего с ней такого недоброго?

— Выкрикать стала.

— На кого?

— Не сказывает дока, а знобит-де ее болесь: начнется-то, мол, в горле перхотой попервоначалу и

стоит там у сердца-то недолго — вниз скатывается, да и ухватит у сердца-то и нажмет его так, что и себя-де невзвидит и не вспомнит ничего, ругается-де затем таково неладно! От лукавого, мол, это, от напуску: душу-то де лукавый не замает, а все за сердце-то у ней щемит и таково туго, что сердце икать-де начинает, глаза под лоб подпирает; по полу валяется — мужики не сдерживают: откуда сила берется. Все ведь это от нечистого, все от него!

Немного спустя опять новые вести:

— На Федосьюшку икоту наложили и она вопит; говела на Успенье, к причастью хотела идти, не пустила болость. Степанидушка за обедней выкрикала, когда «Иже Херувимы» запевали; вывели — перестала. Просил у ней Матвей-от кушака, слышь, коломянкового запреж того — не дала: зато-де...

Но и этим вестям мужики не давали веры; наконец, сами видели все и слышали — и все-таки стояли на своем, пока не втолковали бабы, что берет-де немочь все больше молодух, да и из молодух именно тех, к которым присватывался когда-то Матюха.

— И зачем Матюха, — прибавляли они, — им свой солод навязывал, когда станового на мертвое тело выжидали и потому пива варили? Сказывал им Матюха, что мой-де солод сделан так, как на Волге делают, а потому-де и крепче. Чем же наш-от худ: впервые что ли земских-то поим — и не нахвалятся?..

Задумались мужики, навели справки, — вышло на бабье: Матюха продавал солод. Спрашивали его — не отнекивается.

— Зачем же? — выпытывают.

— Да залеживался.

— Много ли его у тебя было?

— Пуда полтора.

— Ты, Матвеюшко, дурни с нами не делай! Мы ведь люди крещеные.

— А я-то какой? а с чего мне с вами дурню-то делать? не обижали ведь вы меня; а слово — не укор.

— Ну, а бабы что тебе сделали?

— Бабы-то сделали? и бабы ничего не сделали.

— Ты, Матвеюшко, не обидься, коли мы тебя в станovouю квартиру с Кузькой сведем?

— Почто обижусь? сведите!.. А не то подождали бы малое время — мы бы... я бы позапасся.

— Да не надо, Матвеюшко, твое дело правое — не спросят; зачем запасаться?

— Обождите!.. Али уж коли на правду пошло — пойдем и теперь, пожалуй! — выговорил Матюха тем резким, решительным тоном и голосом, который заставил мужиков немного попятиться и с недоумением посмотреть друг на друга.

Пришли к становому. Спрашивает и этот:

— Опаивал, оговаривал?

— Нету.

— А сибирскую дорогу знаешь?

— Какую-такую?

— По которой звон-от на ногах носят?

— Ну!

— А вот тебе и ну! Покажите-ка ему!

Зазвенели кандалы: Матюха попятился.

— В полчаса готов будешь; стриженная девка косы не успеет заплесть — зазвенят на ногах. Кузьму Кропивина знаешь?

— Не слыхал, а может, и знаю, ваше благородье.

— Пишите! В кабаке Заверняйко бывал?

— Там бывал, бывал не одна.

— Один?

— Не один, с Кузьмой бывал и с другими бывал.

— Пишите! На первый раз будет и с меня и с него.

С этого дня Матюха уже не был свободен.

Через пять уже лет, когда видели его и на большом прогонном пути и на дороге в суд, сказывалось на площади во всеуслышание такое решение:

«Кузьму Кропивина наказать плетьюми, дав, по крепкому в корпусе сложению, тридцать пять ударов, и по наказании отдать церковному публичному покаянию, что и предоставить духовному начальству; касательно до Матвея Жеребцова, то как Кропивин уличить его не мог ничем, а верить ему, Кропивину, одному не можно и за справедливое признавать нельзя и упоминаемый Жеребцов ни с допросов, ему учиненных, ниже на очной ставке, данной ему с Кропивиным, при священническом увещании, признания не учинил, то в рассуждении сего, яко невинного учинить от суда свободным и по настоящему теперь нужному делу посева хлеба времени и домашних крестьянских работ препроводить его в свое селение, а Кропивина содержать под караулом».

— На мир Матюхе клепать нечего — выручил мир, хоть и по самое горлышко в воде сидел. А Кузьке подделом — зашалился больно, и меня ни за што, ни про што подвел — перепутался. Ну, пуцай посидел я немного в негожем месте, да у меня хозяева есть, хорошие хозяева, можно за них Бога молить — откупили... то бишь оправили и опять в кабак сидеть отослали! — хвастался Калистрат-целовальник, спустя уже многое время после того, как провели столбовой колдуна Кузьму.

— А примешь, Калистратушко, сибирку синюю купецкую? Неможется — выпил бы, — перебил его робкий голос одного из гостей-слушателей.

— Спроси хозяйку мою: сам не принимаю ноне...

— Что так, Калистрат Иваныч? — в один голос выговорили посетители.

— Да чтоб с живого лык не драли: теперь, брат, и я старого лесу кочерга и меня на кривых-то оглоблях не объедешь тоже: первая голова на плечах и шкура невороченая. Всякую штуку к бабе теперь неси, а мне-ка — деньги.

Да и то смотри, братцы, по-кабацки: что слышал здесь — не сказывай там. Прощайте-кось: запираюсь!

ВОТЯКИ

Увлеченный непреодолимым любопытством короче познакомиться с кое-какими представительными промыслами нашего простонародья, чтоб видеть на месте кропотливую, трудовую жизнь, автор предлагаемой статьи ехал по Вятской губернии.

Далеко впереди неясно рисовалось его воображению обильное поле для наблюдений: целые картины живой, интересной, оригинальной жизни; но пока перед глазами одна только сухая действительность — поездка к предположенной цели, а следовательно, нетерпение скорее доехать.

До цели еще двести с лишком верст, целые сутки езды по вятским дорогам, — остается неизбежная обязанность собственными средствами скоротать это время. Разговорился бы с ямщиком, но вятский ямщик несловоохотен, даже угрюм, если не сумеешь навести его на любимый предмет; к тому же он слишком занят своею обязанностью; посадив проезжающего и объявив о количестве полученных и переложенных им вещей, он тотчас подбирает вожжи, спешит выехать за околицу, чтобы там, на вольном просторе, за глазами ямского старосты, приударить по тройке и на *унос* промчать свою станцию по гладкому, как доска, полотну дороги.

Остановить его нет никакой возможности: всякое слово ваше, будет ли это даже просьба ехать потише, он не выслушает и поймет по-своему: не оборачиваясь назад, ямщик учащеннее задергает левой рукой, и завертит над головою правой, кнут в которой вьется и визжит. Лошади бешено схватываются, ямщик гикает, лошади вытягиваются и мчат быстро вперед.

Вот мелькнул пестренький верстовой столб и остался позади; вы успеваете заметить поле, перебежать глазами до самого дальнего его конца, где чернеется дальний перелесок, по которому опять глаз добирается до дороги и опять видит пестрый верстовой столб

немного впереди, потом ближе, ближе... опять подле и опять позади.

Поля прекращаются; их сменяет перелесок, густая чаща которого чернеет направо и налево и тянется вдаль, где опять поле, серенький мост, перекинутый через овражек, небольшая гора, по которой навстречу дороги раскинулась вятская деревня. В ней с первого взгляда видно довольство и достаток, начиная от изб, везде крытых тесом, до амбарушек, поместившихся напротив и ветряных мельниц, усыпавших околицы.

Незаметно долетаем до станции, где встречаем услужливость и повиновение, и где через четверть часа готовы уже лошади, чтобы мчаться все дальше и дальше к цели поездки и желаний.

Время незаметно летит вперед. На землю падают сумерки, густо застилающие всю окольность; с трудом различаешь ближайшие предметы. Месяц еще не выплывал. В воздухе стоит какая-то свежесть, заставляющая ямщика накинуть на плечи армяк. Легонькой рысцой выезжаем на поляну. Направо тянется поле, за ним черный бор; налево тоже поле и вдали густой туман, поднимающийся над рекою. Ни впереди, ни позади ни одного огонька, ни одной искры, которая дала бы вам возможность заподозрить близость селения. Всюду тишина замечательная, нарушаемая только стуком колес тарантаса и урывистым, нескладным звоном колокольчика.

Сумерки густеют, и непроницаемый мрак окружает нас со всех сторон; с трудом даже замечаешь своего ямщика, который, инстинктивно подергивая вожжами, шатается справа налево, как будто дремлет. На ваш крик он вздрагивает, вскрикивает на лошадей, бьет направо и налево, бранится. Язычок колокольчика от скорой езды заплетается, на некоторое время смолкает, чтобы опять звякнуть раз десять и опять замолчать.

Вам, одинокому в этой пустой и темной окрестности, скучно; в голову лезут Бог весть какие мысли, и одна из

них навязчивее прочих — это мысль о возможности нападения разбойников. Припоминаются старинные рассказы о поимке негодяев, которые отрезывали чемоданы и пугали проезжих. При этом воспоминании становится немножко неловко, немножко даже страшно. Вы уверены в ямщике, но боитесь права и лева, в темноте которых не знаешь, что творится; может быть, целая шайка грабителей насторожила уши и ждет — не дождется. Праздное воображение утомляется между тем до того, что забывает эти картины, берется за новые, забываешь и их, забываешь все на некоторое время... начинаешь дремать. Но, Бог знает отчего, чуткое ухо слышит где-то звон, воображение с силою ухватывается за оставленную мысль о разбойниках, вы просыпаетесь и с особенным удивлением слышите звон своего колокольчика, и еще новый, который несется вам навстречу. Ямщик останавливается, слезает с козел. Явно возникает вопрос: зачем?

— Лошадьми поменяемся, — отвечают вам. — Не беспокойтесь, ваше благородье, — ничего!

Вы волей-неволей подчиняетесь желанию ямщика и, обернувшись направо, видите тарантас, откуда слышится такой же вопрос, произнесенный хриплым заспанным голосом. Оба проезжающих соблазнены одним желанием ехать на менее утомленных лошадях, и следовательно, еще скорее, чем прежде.

Голос в тарантасе замолчал, слышится только скрип и звяканье упряжи. Ямщики поправляют обе дуги, причем колокольчики звенят, а лошади фыркают и жуют оторванный ими клочок придорожной травы. Скучно следить за процессом впряганья, а сон нейдет в голову; вытесняемый старою мыслью, которая продолжает преследовать и в то время, когда, бессознательно устремив взоры вперед, вы начинаете прислушиваться.

Издали прямо на вас несутся чьи-то голоса. По мере приближения их нетрудно выслушать упреки, которые сыплются на ваш счет: говорят, напрасно вы

останавливаетесь ночью, в глухом месте, где может случиться всякая неприятность.

— Хорошо еще — говорят — что вы на большой дороге встретились; на проселке была бы совсем беда.

Вы видите, сколько позволяет мрак, движущиеся фигуры на лошадях. Страх окончательно овладевает вами. Словно в забыты, вы насчитываете шесть человек, видите ружья... готовы кричать, — но разбойники проезжают мимо в противную сторону. Тарантас отъезжает, равняется с верховыми, ямщик бранит их названием ночных шатал, велит сторониться. Дальше вы уж ничего не слышите; ваша тройка схватывается с места. Ямщик покрикивает, вы спасены. Завтра, когда летнее солнышко далеко поднимется в небе, вы будете где-нибудь в селе.

Здесь только что кончилась обедня и прихожане в праздничных платьях кучами усыпали дорогу. Ямщик не вытерпел, крикнул во все горло и закрутил над головою плетью еще учащенное и сильнее. Мужики снимают шляпы; породистые бабы и девки кланяются. Всюду вам привет радушный, который вы только и можете встретить вдали от больших городов.

Однообразие увеличивается по мере того, как вы опять углубляетесь дальше вперед, и все-таки мелькают поля и перелески, деревни и села и, как бы в награду за долгое терпенье, попадетя на глаза уездный городок.

Вы здесь останавливаетесь на некоторое время, садитесь к окну, выходящему на главную улицу, и от нечего делать слушаете болтовню прислужника.

— Вот-с, — говорит он вам, указывая на странный экипаж — долгушку, на которой уместилось по крайней мере человек десять, — семейство судьи! У них вчера-с крестины были: хозяйка ихной милости десятым разрешилась и все более дочек рожают; три уж на возрасте, остальные малолетки-с...

— Это-с исправница! — спешит предупредить вас половой, заметив ваше удивление при виде черноглазой дамы, одетой в тальму едва ли не последнего рисунка.

— С ними-то рядом идет купец здешний, молодой человек богатых родителей да промотался-с...

— У нас в это время все господа прогуливаются перед чаем!.. — вставляет половой свое замечание.

— А потом? — спрашиваете вы его бессознательно.

— А потом более в карты играют. На этот предмет и вечера меж собой разложили: сегодня вот у окружного, завтра у судьи... Барышни окружного отлично на фортопьянах играют-с и поют.

Надоедают и эти рассказы полового, и этот городок, в котором черноглазая исправница, и барышни окружного, играющие на фортепьяно, и эта однообразная дорога, которая опять начнет преследовать до самой цели.

Но вот уже эта цель недалеко, осталась одна станция, и та последняя. Радостно сжимается сердце, и вы томитесь и нетерпением поскорее во все взглядеться, ко многому прислушаться, и сомнением в том: каким же образом приступить, с какого конца начать? Сторона неизвестная, людей знакомых никого, все зависит от собственного уменья и догадки. Обращаетесь к ямщику, но он знает едва ли не меньше, да и как его спросить: как вызвать на откровенность? Начинаете теряться в догадках, чувствуете себя совсем неловко, нападает даже раскаяние, боязнь за себя. Едва осиливаете вы эти чувства, заменяя их одним, самым спасительным в подобных случаях — надеждою.

Вы понукаете ямщика ехать скорее.

— А далеко ли еще? — спрашиваете его.

— Да вот эта тепереча деревня наша, та опять будет наша. А как повернем в бор, да перекинемся через овраг, пойдут уж все ихние...

Эти простые слова еще более усиливают нетерпение: даже смешным и досадным становится собственное положение и роль, которую вы добровольно возьмете на себя среди этих людей, живущих за дальним оврагом. За чем вы будете пользоваться их простотой и, может быть, доверием и искренностью? Кто знает, что они сделают с

вами, на основании той же простоты и искренности, когда узнают, с какою целью забрались к ним? К тому же и ямщик успел предварить, что совсем-де дикий народ: с нашими не братается, и хлеба-соли не водит, а все по себе и праздник, значит, по себе и харчи свои потребляет, да и на нас совсем, дескать, не похож...

Неизвестность о том, что будет дальше, продолжает томить и надоедать, а между тем вот и лесок, вот и овражек сухой, обсыпавшийся, не так глубокий. На дне речонка — высохла. По сторонам вётлы... стог сена, ни души кругом.

Поднимаемся на гору шажком и поля видим и деревню, которая подвигается все ближе и ближе. Кругом обступили ее глухие леса, вятские леса, где и медведей и всяких див много.

Лес одной стороной подвинулся к самой деревне, другой ушел далеко вдаль, может быть, в Сибирь, в Камчатку. Сколько в нем болот, паленики, как тихо! Иные деревья татарский погром помнят. Ни за что бы, кажется, не решился пройти этот лес из конца в конец: медведи бы, волки сели, в болоте потонул.

— А вот тебе, сударь, ваше благородие, и орда ихняя *угмордая!*⁴² — перебил мои размышления ямщик, не позволяя их дальнейшему развитию.

Мы въехали в одну из вотяцких деревень Глазовского уезда, верстах в полутора от города. Это было летом, в чудную ясную, теплую погоду, в самый день празднования Преображения Господня.

В деревне, видно было, рады были этому празднику: чуть ли не все высыпали на улицу, по крайней мере — женская часть населения; мужчины попадались реже; ребятишек почти совсем не было видно. Кое-где бродили коровы и пропасть гусей и уток. Дома решительно во всем походили на обыкновенные русские крестьянские избы в деревнях. Все также были выкрыты тесом; те же деревянные трубы с деревянной крышкой или горшком наверху, с теми же продушинами по бокам.

Кое-где скрипели колодцы с очепами, которые, может быть, здесь называются иначе. Странно только пора-жал глаза какой-то развалившийся навес на столбах, соединенных между собою полусгнившею решеткою, которая внутри окружена была также сгнившими и обрушившимися скамьями. В самой середине навеса были еще целы четыре столбика; на них, вероятно, укрепле-на была доска; я начал догадываться, но не совсем еще доверял своей догадке.

— Что это такое, не знаешь? — спросил я ямщика, который остановил лошадей прямо против этого навеса на площадке.

— По-ихнему-то это старинная кереметь, выходит. Тут, вишь, ваше благородье, часовню будут строить. А я вот, ваше благородье, старшину твоей милости при-веду: поди ведь тебе пристать где надо? — продолжал ямщик, изменивши самый тон речи.

При слове *кереметь* воображение невольно пере-неслось во времена давно минувшие, языческие, когда вотяки не были еще христианами, и уже рисовало кар-тину, от которой как-то вовсе не хотелось оторваться без того, чтоб не проследить ее до конца.

«Вот, — думалось мне, — в этой же самой деревне давно-давно случился падеж на рогатый скот. Скоти-на валилась десятками; у хозяев нет средств и уменья избыть беду непрошеную. Народ выбирает старшин и посылает их к своему волхву — туне, рыжая, лохматая борода которого страшила не только одну эту деревню, но и много других в окрестности».

Туна этот страшен не только видом, но и обычаем; туна знается с шайтаном, туна и с алидом (лесовиком) и с ву-муртом (водяным) дружбу ведет, а с албастом (домовым) он всегда свой человек. Входят старшины в избу и в пояс:

— Отврати, туна, беду от деревни! У меня четыре го-ловы шайтан загубил, у него — пять, у этого — шесть...

Туна хмурится, чешет голову; встает с места, по избе ходит, а сам молчит, хоть бы словом порадовал рыжих старшин.

Видят они, что трудна беда, не легко избыть, не с ровным делом вести приходится. Одна надежда на умные туны: от его рук никакое дело не отбивалось. Не даром он шесть десятков лет все этим занимается: из чужих деревень к нему ходят...

Ушел туна в подизбицу, долго возился там и вышел оттуда страшнее шайтана самого: весь в белом; на лбу какие-то бляхи навязал...

Пали старшины в землю и не поднимались на ноги без его приказа. Сел туна за стол, выкинул сорок один синий боб и стал перекидывать с одного места на другое. Хмурится туна пуще прежнего; страшнее и глаза его стали, и борода копной ... Собрал туна бобы, опять ничего не сказал и опять ушел в подизбицу.

Вышел назад весь в красном; опять старшины пали на землю, опять садится туна за стол и кладет два куска хлеба, да два угля один против другого. В середину положил он один кусок хлеба, иглу в него воткнул, поднял руки и начал смотреть, страшно смотреть. Глаза наливаются кровью, всего ведут судороги ...

Туна быстро встал с места и объявил вслух, что с самым старшим шайтаном ведут дело: нужно завтра собраться в кереметь и привести с собой двух коров, так как на них сильнее падеж. Велит пригласить из соседней деревни гостей, чтобы при них спорчее шло дело, и посылает старшин идти повестить об его решении всю деревню.

Вышли старшины от туны и собрали совет у керемети, чтоб решить безобидно: с чьего двора вести скотину. Долго они спорят, по обыкновению кричат и ссорятся; перекорили друг друга и женами и дочерьми, подрались даже сгоряча и кое-как решили, что на ком больше несчастье стряслось, да осталось у него в живых хоть одна голова рогатая, тому и ответ держать.

Поутру, на другой день рано, все обмылись; надели чистое белье и платье, а у кого было новое, тот и в новое вырядился. Взяли у баб караваи пресного ржаного хлеба, виноватые вывели свою скотину, и к восходу солнечному вся деревня была уже в керемети, в глухом лесу, на широкой площадке. В деревне остались только бабы да ребятишки, и то потому, что не место им там, где стоят за мирское дело.

Приходит куреза — старший жрец, велит бить скотину, собрать кровь в горшки, содрать кожу и потом повесить эту кожу на суку того дерева, которое стоит прямо против того места, где восходит солнце. В то же время у скотины вырезывались особо глаза и уши, вынималось сердце и требушина. Все это сваливалось в котел, наполненный водою. Народ разделился: одни обчищали жир и сало и потом смешивали все это с кровью и овсяной крупой, клали в пузырь, связывали ниткой, опускали в котел в то время, когда изрубленное другой половиной народа мясо варилось в котле. Пены не снимают, не выбрасывают. Народ с трепетом ожидает молитвы. Куреза встает и обращается к востоку и повешенной коже; все падают ниц. Раздается, при общем молчании, голос молитвы к верховному Инме, который торжественно восседает на солнце со своей матерью *Кальциной* и теткой *Шундой*:

— Инма! батир! вюлих!.. Инма!.. Шунда!.. Калцина!.. батир *вюлих*⁴³!.. — продолжал кричать своим разбитым голосом куреза.

Народ бил головою о землю. В лесу все тихо. Только треск дров, да крик курезы нарушал тишину и глухим эхом отдавался в оврагах.

Молитва кончилась; народ поднимался, помолившись за себя, за жен и детей. Куреза отламывал кусок хлеба, вынимал из котла кусок мяса, бросал все это на землю и подавал знак к пиршеству. Ничего не оставляли вотяки из съедомого, боясь оскорбить верховного Инму. Только кости уносили они домой на хранение и

прятали их далеко от глаз кровожадной собаки и чужого глаза. В лесу, после буйного шума, наступала опять тишина. Дрова догорали, бросая искры; куреза сидел в подполье и переодевался; народ — в надежде на умилоствление Инмы. Все при своем...

— Вот, ваше благородье, старшину привел! — перебил ямщик мечтания, указывая на рыжего мужика в белой рубашке.

— Насилу отыскал, ваше благородье, — продолжал ямщик, — у них нонича выходит праздник, так и разбрелись все.

Я взглянул на старшину, который низко поклонился, и, во-первых, заметил, что борода его была клином и решительно рыжая, даже красная, подходившая скорее к печному пламени, чем к каштану, но зато волосы заметно побелели и неровными прядями обрамляли загорелое лицо. Глаза какие-то узенькие, подслеповатые, нос широкий. Сам вотяк сугорбый, приземистый и по худощавости представлял решительный контраст с ямщиком. Не то старик был болен, не то ежился нарочно, как казалось мне с первого взгляда. Впоследствии я нашел между всеми вотяками решительное сходство; один был похож на другого, как две капли воды, даже женщины их походили на мужей и братьев; такие же подслеповатые глаза, такой же облик физиономии; та же тупость во взоре и неповоротливость. Разница одна: у мужчин были бороды, без чего, кажется, совсем было бы трудно отличить их от женщин. Некоторые между ними попадались белокурые, как женщины, так и мужчины, но большая часть, и исключительно — рыжие. То же единообразие и в одежде: старшина пришел ко мне в армяке-понитке до колен, из-под которого виднелась белая холщовая рубаха, отороченная кругом красными нитками в самых прихотливых узорах. Видел я и пояс, на который мешком спущена сверху рубашка; чуть ли не видал даже на этом поясе медного гребешка. На ногах старшины надеты были чистые серые шерстяные

портянки, кругом которых обвивались оборы новых веревочных лаптей, по-русски — шептунов. На голове надет был род какого-то бурака, с виду похожий на грешневик, какой носят извозчики в Москве и по Нижегородской дороге.

Старшина пошел вперед, я за ним. На дороге догоняет ямщик.

— У них, сударь, брага-то своя. От откупа запрету нет, сами стало и курят.

— Что же такое, и к чему ты сказал это?

— Да, вишь, нонича они Спасов день справляют; знать, по нашим деревням проведали. Так поди кумышку станут пить. А уж какое средство, барин, кумышка-то эта!..

Новое слово, особенно поразившее слух, заставило меня обратиться к ямщику с вопросом, и потребовать объяснения, что такое кумышка.

— Не то чтобы пиво, али вино, маненько рази погуще вина. А есть у них еще мед; и ставят они этот мед в бутылке в песок, да и заморят так, что очень хорошо бывает.

— На водочку-то, ваше благородье, пожалуйста! хорошо вашу милость приставил, да вот и касательно фатеры-то радение имел.

Исполнив желание ямщика, я вошел в избу и немало удивился, увидев во всем обстановку любой крестьянской избы. Налево накатная печь из глины, рядом переборка; подле нее на очепе зыбка; налево в угол придвинут был ткацкий станок с натянутыми нитками, на которых валялся челнок. Я рассмотрел станок этот пристально и увидел начатый холст, намотанный на валец. Кругом всей избы пристроены лавки, и в них в заднем углу — или куту — коник; в переднем углу чисто выскобленный стол и тябло, на котором заметил я створчатый медный образ и другой на деревянной доске, писанный яичными красками и источенный тараканами.

Над кутом надстроены полати, и на них валялись тулупы, какие-то тряпки, пустые крынки, горшки.

На печи зашевелилась и закашляла баба. Скоро спустила она ноги на приступки и слезла вниз, оправляя свой высокий шлык, в котором, кажется, и спала даже. Она дала, таким образом, возможность осмотреть и ее костюм, который состоял из той же рубашки, мешком опускавшейся спереди и сзади на пояс. На ногах я заметил те же серые портянки и белые веревочные шептуны, как и у мужчины. На плечи опускались концы белого платка, так же как и рубашка, отороченного красными, замысловатыми узорами. В ушах продеты серьги, к которым прикреплялись крупные бисерные бусы, болтавшиеся на груди. Головной шлык на лбу оторочен был подвесками из тех же крупных бус, рядов в восемь. Коса сзади опускалась на спину и концами привязана к поясу; в нее вплетены монеты: старинные полуполтинники, полтинники, целковые, и откуда ни взялся французский франковик.

Старуха была решительно безобразна: та же подслеповатость, как у мужика, крупные морщины, как у всякой старухи, прожившей на свете десятков семь или восемь лет, но желтизну неприятную и поражающую с первого же взгляда, едва ли можно встретить на чьем-либо другом лице, кроме лица вотячки.

Она подошла к столу, поклонилась низко-низко, открыла деревянный жбан и начала пить, дав возможность разглядеть и плесень, которую она обдувала с влаги, наполнявшей жбан, и бесцветность самой влаги, похожей на русский молодой, еще не выбродившийся квас.

Я попробовал, и можно ли представить себе что-нибудь отвратительнее этого напитка?

— Что это такое: затхлый квас или болотная вода?

— Сюкась, бацько! — ответил вотяк, приведший меня в избу и до того времени хранивший молчание.

Старуха подошла к печи, разрыла в горнушке уголья, притащила маленький железный чугунок и на деревянном крюке повесила его над угольями.

«Верно, угощать она меня хочет?» — подумалось мне, и чтобы предупредить ее угодливость, я поспешил выйти на улицу вон из этой избы, духота которой становилась невыносимой: и от нечистого, никогда, кажется, не мытого пола, и от скважин в нем, выходявших в подполицу, где непременно запирались и свиньи, и телята.

В дверях остановил меня хозяин.

— Хоць, бацько, кумышка напиваться?

— Спасибо, хозяин! Поди, не хороша ведь, хуже суюкася?

— Хорошо, бацько! кумышка — водка, сама гонял! Поверенный пьет!

Нужно было согласиться на предложение, чтоб, попробовав, окончательно убедиться, что у вотяка все дурно, а кумышка его Бог весть какая дрянь.

Только лишь открыл хозяин бутылку, она уже поразила своим отвратительным запахом:

— Спасибо, хозяин: не хочу!

— Пей, бацько, слабо!.. а лихо!

Он покрутил головой.

— Это молодой, бацько! А старая мед был... три года в земле стоял, а приехал поверенный, маленькую выпил.

Говоря это, вотяк улыбнулся и продолжал:

— Поверенному хорошо. «Дай — говорит — еще!» — «Не дам, бацько!» «Жалко?» — говорит. «Тебя, бацько, жалко! меду не жалко, тебе будет хорошо и мне хорошо!» Дай, говорит. «Тебя, бацько, жалко». Сам налил и выпил, да и с места не встает: сердился, меня прибил, а не пьян, а ноги стой...

Вотяк смеялся долго, смеялся от души, как ребенок. Вотяк едва успокоился и махнул рукой:

— Ступай, бацько, и я пойду вон туда!

Он показал на лес, который начинался тотчас же за его избой и, как сказано, тянулся далеко вдаль.

На улице открылись виды обыкновенные: ряд черных изб, разбросанных в беспорядке, одна вышла как-то криво, углом; другая подалась на зады: все без дворов и навесов — это особенность, какой нельзя заметить по всем вятским деревням, где живут русские.

У вотяков все эти дворы, отчасти заменяются амбарушками, ряд которых идет параллельно с избами и хлевами, которые выходят на дальние зады. И здесь особенность: все замки деревянные, даже петли, гвозди и ключи такие же. Внешняя обстановка избы решительно одинаковая с русскими: окна большею частью волоконные: косячатых, как заметно, не любят; во всей деревне, в двадцати дворах, не насчитаешь и пяти. Внутри избы: как у одного, так и у другого, грязь и нечистота; в углу стол, на большей части которых (сколько я мог заметить, заглядывая, от безделья, в некоторые избы), кроме жбана с сукасем, валялись неприбранными грязные тряпки — род домашних скатертей с заплатами, а в них хлеб и морковь, или редька.

Попробуешь кусок хлеба и опять раскаиваешься, что решился и на этот подвиг; хлеб — недопечка, мякоть липнет к рукам; на вкус что-то вяжущее; наводит на сомнение, не пополам ли с золой он печется; к тому же кусок такой серенький, запах затхлый...

Духота избы выгоняет опять на улицу, где изредка попадаются навстречу вотячки, одни в шल्याках, как и старуха хозяйка, другие в шапочках, наподобие тех, какие носят странники. Это наводит на сомнение; стараешься допытаться причины у самих вотячек, которые так некрасивы и даже похожи друг на друга, но вотячки смотрят странно, не понимают вопроса, переговариваются на своем картавом, неприятном для слуха языке, по выговору очень схожем с татарским, улыбаются своими узенькими глазами и молчат. Прибегаешь к известному средству — расспрашиваешь знаками, т. е. дотрагиваешься рукою до головного убора и на собственном лице стараешься изобразить, по возможности,

вопросительное выражение. Вотячки улыбаются, опять взглядывают друг на друга и отрывисто бунчат:

— Аишон, бацька!

Понятно, что головной убор называется *аишоно м*, но отчего в покрое его такая разница?

— В шапочках-то, выходит, девки, а в кичке-то молодухи! — объясняет мне ямщик, явившийся на помощь, и уж, как заметно, немного навеселе.

— Где же это ты пропадал?

— А в чумах был, — и он показал рукой на лес. — Кумышкой там потчевали. Да нет же — дрянь водка!.. Наша лучше: целый, почитай, штоф один выпил, никакого удовлетворения, так только, слабость. Есть вон мед замореной, да не дают: скупость одолела!

— Ты, барин, не гляди на них, коли что хочешь, бери — не спрашивай, а то такие жилы, что на-поди!.. — говорил ямщик наставительным тоном и был прав, как после и удалось мне испытать на самом себе.

— Где же мужики? — спросил я его, встречая на улице одних только женщин.

— Они в чумах все теперича. Поди-ко у них какая там гульба идет, а с чего? дрянь эта кумышка, — долго не разбирает. Да и они-то ни с чего благуют? Не столько пьяны, что притворяются, как бы и наш брат мужик. Не стану пить этой кумышки!..

— Веди же меня в чумы.

— Не осерчали бы, барин. Пьяные-то они больно блажные, ни к чему придираются. Черезвый-то бы и ничего — ровно теленок, а подвыпил кумышки — и пошел на кулаках ходить. Знаем мы эту орду!..

Нужны были некоторые настойчивые убеждения, чтоб уговорить ямщика проводить до чумов, дорога к которым тянулась позади деревни, через лес, по узенькой тропинке.

Лес был так густ, как бывают густы и непроходимы леса, не назначаемые в срубку, — но здесь поражала та особенность, что на редком дереве не было бортей для

пчел. Последние то и дело жужжали во всех концах. Не трудно было поверить теперь, что одним из любимых и коренных занятий вотяков считается пчеловодство и что недаром известен по Вятке сарапульский мед. Не вывозят отсюда только воску, потому что вотяки упорно держатся того поверья, что продать воск — обездомить улья и таким образом лишиться меду и, следовательно, верного сбыта его в руки купцов.

Кругом было тихо; видно, вотяки забрались своими чумами далеко. Мы прошли с полверсты, но ни одного звука человеческого голоса не долетало до нас. Тропинка вилась прихотливо направо, потом перегибалась около овражка, чтобы пойти налево в дальнюю чащу.

Посмотришь вверх — те же ульи на высоких столетних лиственницах; прислушиваешься кругом — треск хвороста под ногами и звонкие удары носа дятла в кору липы. Услышав шорох, дятел поднимает голову, смотрит на нас и опять принимается за свою работу и, с прежнею настойчивостью и терпением, достает лакомых червячков. Не любит вотяк этой птицы; не любит за то, что клюет она личинки у пчел. Бойтся вотяк дятла, как опасной птицы, личного врага.

Вот начался малинник, облепивший стволы лип, берез и лиственниц. Сюда собираются вотяцкие ребятишки, да заходит медведь по пути на прогулку; к тому же и ульи близко, но недаром же над ульями надстроены навесцы из досок, вроде балкона. В середине навесца дыра с гвоздями; глупый медведь влезет на дерево, упрется головой в навес, просунет лапу к улью, да не достанет меду, потащит лапу назад и завязнет в гвоздях, повиснет... Вотяк убьет его в зад из ружья, а не то и палками заколотит до смерти.

По высокому дереву взбирается векша; проводник мой жалеет о ружье, которого не захватил с собой, и сообщает мне интересную новость:

— Вот что мне теперь векша! — говорит он. — Гривенника в наших местах не дадут, а вотяки жрут ее,

неповитые, да еще и сласть, слышь, находят. Едят они теперь лягушей, говорят...

— Да не врут ли?

— А кто их знает, может, и врет народ, да коли сказано, что не ешь лошади, а ешь корову, потому что копыта раздвоены, и не ешь ту птицу, которая человеческим голосом вопит...

— Что же еще-то едят вотяки? — перебил я его философию.

— Да едят они теперь молоко квашеное, по-нашему сыворотку, и не то чтобы с творогом, как следно быть. Одурь возьмет, как попробуешь, такая приторь!.. Гуся сушат да в ступе толкут. Тепереча опять едят они кашу размазейку на молоке. До луку охотники — все огородцы луком поусеяны. Едал я у них яичницу, редьку по постам. Капусты не квасят, щей и в заводе нет; одно вариво — похлебка, либо уха. У них тут Кама прошла, — рыбы вдоволь. Ну, к картошке попривыкли — жарят. Есть у них яшка теперь (так они кушанье свое зовут), словно бы лапша наша, только тесто покрупнее сушат и не с молоком, а в горячей воде подают с маслом. Опять теперь мясо свиное любят, не то что татаре, тех вон коло нас тоже много живет, те, слышь, лошадей потребляют. Сказано: ешь ту скотину, у которой копыто раздвоено...

— Кто же по-твоему лучше: вотяк или татарин? — перебил я ямщика.

— Вотяк посходнее будет: вотяка не замай — смирен. Татарин сердит: чем ни попало кидает в тебя — совсем зелье. А вотяк что? навернешь покрепче — и с ног летит. Теперича бы и поймал его в чем: ты украл? — нету, — говорит, — Бегаш там какой-нибудь либо Урак украл. А коли сослался на другого, бери его да и веди к старшине, — он украл, а туда же хитрит.

— И все от татар, ваше благородье, заимствуются. По себе ничего — робок!..

— Говорят, они скупы?

— Это есть: что купил, — ничего не даст, а что в избе лежит свое, бери не спросясь, не тронут, робеют тебя... Опять-таки и богаты они очень!

— То есть чем богаты: скотом, птицей?..

— Всяким добром богаты; и денег много копят; вино-то свое, так и траты мало, а береж их на удивленье. Теперича они деньги свои в кубышки прячут и зарывают в лесу. Был поверенный по кабакам у нас, и этакой ему талан задался, барин: принюхался к лесу так, что ни приедет, то и выроет кубышку; раз так целое решето откопал, и все-то со старыми полтинниками, и целковые попадались. А оттого это опять выкопал, что клады кладут. Живут, словно жиды какие. Попроси вон утку зажарить либо гуся; да задавится скорей, и денег с тебя не возьмет, а гуся не даст... Вон оно, какой народ! Давеча кумышки просил, не дают, а подошел сам да выпил — и ничего, слова на сказали...

В истине слов ямщика мне удалось убедиться самому лично: я просил утки — не дали, и денег рубля серебром не взяли. Подсказывал мне волостной писарь: «вы, — говорит, — возьмите-ко просто ружье, да и стреляйте в любую птицу».

Мы шли дальше; к нам доносились голоса, слышались как будто крики. Лес поредел. Открылась поляна, отделенная от леса речонкой, через которую перекинут был пешеходный мостик — несколько досок, связанных прутьями. Влево — большой накатный мост, с которого тянулась дорога, изрытая колеями, прямо в чащу леса с одной стороны; с другой — на поляну, довольно большую и почти сплошь установленную чумами.

Это — низенькие, сплоченные из тонких досок палатки или балаганы. Все без крыши, без дверей, которые заменяются циновкою, и только у некоторых парусиной; крыши нет, окон также; посередине яма, в яме разведен огонь, над огнем висит чугунный котелок; кругом этой теплины, на голой земле, разбросаны

пуки соломы и сена. Таков внутренний и наружный вид чума, который так напоминает любую палатку в цыганском таборе. Нет только лошадей, привязанных на длинной веревке; нет телег и кибиток, доверху набитых разными тряпками; но зато вокруг те же лица, хотя и не в такой мере смуглые. Белый цвет преобладает над другими; та же жизнь, то же движение и тот же крик, который несется со всех концов поляны.

В середине ее собралась куча. Оттуда доносятся до слуха звуки песни, но однообразной до крайности; слышится только: «дуй, дуй! ай, ай, яй!..», сопровождаемые нескладным и не в такт хлопаньем в рукавицы.

— Разобрала, знать, кумышка-то: пляшут! — замечает ямщик.

Идем смотреть, как пляшут, но разочаровываемся; это не пляска, скорее толкотня, хлопанье ногами, с приличными ударами в ладоши. Невольно приходит на мысль, сравнить эту пляску с чем-нибудь другим; приискиваем похожее, и кажется нам, что эти веселые люди сняли подряд ухлопать ногами эту землю, но как можно скорее и как можно глаже. Жалеешь об их шептунах, которые они могут измочалить, и потом наутро осмотреть и, по скупости, горько всплакаться. Зачем они пляшут: весело им, плясать хочется? — но пусть бы в таком случае поучились пляске у своих соседей русских, а вотяцкая пляска нехороша, до того нехороша, что даже ямщик решил заметить:

— Словно в ступу толкут! досада нали берет, глумовство одно, а не пляска. Вишь, старый хрыч как упер на одно место, так тут и толчется. Вон тот молодец хоть ногами дрягат, отскакиват. Ишь как брыкает: нали упрел!

— Не так по-нашему! — говорит ямщик, следя за движениями подгулявших вотяков, которые до того были заняты своей пляской, что не обратили даже внимания на наш приход.

Все сбились в кучу и с замечательным вниманием смотрели на тех пятерых, которые убивали землю.

К ним постепенно присоединялись новые плясуны, те, которые стояли молча и били в ладоши. Они отходили на середину и тоже начинали топать, иногда хватая друг друга за плечи, иногда разводили руками из стороны в сторону. Иной, умаявшись, садился на землю и бил по ней руками; песня звучала нескладно. Становилось скучно, утомительно скучно!

Вдруг ямщик улыбнулся, задергал плечами, подбоченился:

— Позвольте, ваше благородие, покажу им: по-нашему!..

— Что же мне-то, сделай милость!

Ямщик засучил рукава, крикнул, погладил бороду, растолкал толпу.

Я подвинулся ближе, гляжу: он, подбоченясь, сначала выбивал ногами дробь и покачивался с боку на бок, изредка вздергивая то одним, то другим плечом, и все время как-то удивительно глупо улыбался. Вдруг он неистово гикнул, присел на корточки, вскинул одну ногу вперед, переменял другую, опять и опять.

Быстро долетел он таким образом до другого конца круга. Здесь с прежним гиком вскочил на ноги, подбоченился одной рукой, опять стал выбивать дробь и шевелить, поочередно, то одним, то другим плечом, что-то неистово закричал, опять присел на корточки, и опять начал *слать трепака* к тому месту, с которого начал.

Кончив колено, он, словно бешеный, вскинулся на ноги, опять растолкал вотяков и скрылся назад, как казалось, с намерением произвести эффект, более верный и разительный. В другом месте он бы увлек целую кучу плясунов, которые тоже пустились бы в пляс на состязание с выскочкой, но здесь ямщику не повезло: вотяки опять скучились и опять начали убивать ногами землю.

Смотреть уже окончательно было нечего: я отошел от круга, направляясь к чумам, и не без удивления заметил, что в одном из них угощались кумышкой две

бабы. Одна была совсем пьяна; кумышка лилась у ней и из ковша, и из склянки; шлык сполз набок. Другая очищала яйцо и протягивала руку к ковшику: обе что-то болтали по-вотяцки...

В другом чуме валялись ребятишки: у одного из них на спине завернут был в тряпицах грязный-прегрязный ребенок. Ребенок кричал, нянька с другими сверстниками играла в лычки; один стоял подле и, как видно, уговаривал их идти играть в бабки, вынимая последние из мешка...

Все ребятишки были беловолосы, но безобразны не хуже родителей, волоса их, жесткие, торчали снопом. Сколько можно было заметить, глаза у всех серые, рот большой до безобразия, украшенный приподнятым кверху носом с широкими ноздрями, и у всех до одного лица были облеплены веснушками.

— Неужели же они все так безобразны? — невольно отнесся я с вопросом к ямщику, который все-таки считал, кажется, непременно своею обязанностью провожать меня по чумам.

— Все, почитай, такие, — отвечал он мне, — который белобрысый, который словно цыганенок, а все больше рыжий народ вотяки эти. А красота-то их — известная красота: коли от русского идет парень — ничего, — красив задается.

— А часто бывает так?

— Коли не бывает. Наши-то, признаться, не очень падки, а они ничего, — любят.

Навстречу нам шел сутулый вотяк, курносый, со впалыми щеками, в белой рубашке, подпоясанный ремнем; сбоку болтался нож, в губах торчала коротенькая трубка и пахло тютюном.

— Здоров, Ванька! — крикнул ямщик. Вотяк вытащил изо рта трубку, прогнусил что-то себе под нос, поклонился, но, как видно, удивился оклику ямщика.

— Кто это такой? — спросил я.

— А кто его знает.

— Как же ты назвал его по имени?

— Да как не назвать, когда они все, почитай, Ваньки либо Николки.

— Почему же?

— Обычай такой, так, стало, нарекают, сами просят... Промеж себя-то, слышишь, окликают по-своему, а ты спросишь — одно тебе имя: либо-де Ванько, либо Миколай.

Больше ничего я не мог добиться от ямщика, попробовал сам проверить его наблюдения и пришел решительно к тому же заключению. Спрашивал и вотяка Ваньку: отчего он Ванька, а не Архип?

— Баско имя, бацько! У меня два Ваньки! да Анна... Архип русский, Архип у меня цяски торгует, ложки торгует, лукошки торгует...

— Как же вы сами-то себя называете?

— А Ванька, бацько!.. Ванька! — стоял на своем вотяк, но хитрил, потому что его же самого удалось мне поймать почти тут же: он окликал своего соседа Ки-маем, одну бабу называли Зельной, по-нашему Анной, другую Бальбике, но на вопрос мой — тоже Анной.

Эта Бальбике занята была, на первый взгляд, странным делом: перед ней стояла ступа довольно большая; в ней накладено было что-то черное. Бальбике держала в обеих руках по песту или палке и поочередно мешала ими черную массу в ступе. Подле ступы стояло лукошко с золою; ее-то сыпала баба в ушат и подливала туда воды. Другая вотячка, Зальпа таскала белье на реку и полоскала там. Нетрудно было с первого же раза догадаться о том, что вотячки моют белье в золе, по-русски бучат, и не употребляют для этого мыла, как привелось узнать впоследствии.

На обратном пути в деревню мне удалось заметить в одном из чумов целую компанию вотяков, которые пристально занимались какой-то работой. Это показалось мне удивительным, потому что на дворе стоял праздник, я только что сейчас видел пляску, но ямщик объяснил мне это коротко:

— У них завсегда так, либо пляс, либо вон грохоты плетут, лукошки гнут. Они у нас деревянной работой промышляют. Вот теперича на Успеньев-день в Нылге праздник и базар, так они туда это приспособляют. Медов навезут и невесть что!

— Еще они чем промышляют?

— Ткут вот сермягу на армяки и, почитай, почище наших баб. Холст ткут, лапотки плетут и все одни бабы; мужик у них лежебока, только что кумышку гонит. Мы вон и на покосах и на жниве все, почесть, что одних баб видим, а мужик ихний разве вон в неделю-то десяток ложек сделает да лаком наведет, а то опять-таки и кузовья бабы плетут, все бабы...

— А ходят вотяки на чужую сторону?

— Да куды им уходить-то? завсегда дома, разве что на железные вон заводы нанимаются, да и там более наши либо татары. Это народ здоровый, чище, пожалуй, и нашего брата выдет. А вотяк что? вотяк слабый человек! мухортик!.. Я его одной ладошей пришибу, а что я? — вон у нас Демка-кузнец, так хоть какой лошади норовистой ногу приспособит; кочерги гнет, раз осерчал, целую *поседку* в лоск уложил, а и из себя невидной — ломаного гроша не дашь...

Случилось ли вам, читатель, засыпать с отрадными мыслями о приятно проведенном дне, когда всюду преследовала вас удача, даже превосходящая ожидания, и просыпаться на другой день с вопросом о том, что вы будете делать дальше, будут ли вас встречать те же удачи, как накануне? Просыпаетесь, — и вас начинает мучить сомнение, сначала как будто слегка, потом несколько сильнее, вы спешите взяться за дело с прежнею же энергиею, но встречаете полное разочарование во всех заранее придуманных вами планах. Думаешь сделать — не сделаешь ничего; целый день пропадает в этих поисках и стремлениях, и делается скучно, безысходно скучно, особенно если окружает вас гармонирующая с настроением вашего духа об-

становка, подобная такой: кругом глухой лес в стране незнакомой, — странные люди, поразившие вас своею оригинальностью, при первом же шаге; все так дико и необычайно, нигде этого нет в знакомых местах. И как живут эти люди, и отчего они не умирают с тоски? отчего они дурно вас понимают, другие совсем не говорят по-русски? Не с кем решительно слова сказать; даже ямщик, верный своему долгу, уехал. Что вы будете делать? а между тем, еще так много дела, еще многое интересует вас и едва ли не главное, не вернуться же так, не достигнув цели, не узнавши, например, как вотяки правят свою свадьбу, нет ли у них оригинальных обычаев при похоронах, кто их, хилых и больных, лечит, отвык ли он от своих закоснелых обычаев? Да и как же узнаешь все это так скоро? — на это требуются года, а не месяцы, а между тем, знать это хочется, тем более что предоставляется возможность, есть надежда. Положим, что русский мужик про себя и не скажет всего откровенно, хотя и бывает болтлив, когда рассказывает про чужого, да и тут ему необходимо быть навеселе. Вотяк между тем — и прост и бесхитростен, да новая беда — говорит дурно, нужно догадываться наполовину и, следовательно, попасть впросак, и на другую половину обмануть и себя самого и других. Хотелось бы все это видеть самому или же услышать, по крайней мере, от людей доверенных.

— Не будет ли у вас, Ванька, свадьбы, на днях? — спросил я на другой день первого попавшегося вотяка (разговориться с бабами не было никакой возможности; раз десять пробовал и всегда неудачно).

— Рано, бацько, свадьбы осенью, свадьба годи!..

— Есть у вас в деревне хоть один русский?

— Ни!

— Отчего же?

— Не ведаю. Один жил, бацько, умер!..

— Кто умер? где лежит покойник?

— В чуме, бацько, лежит, неделя лежит...

— Когда же в землю?

— Чуказя поп приедет, — обмолвился вотяк, но не в том дело: слово *чуказя* значит завтра и было сказано как нельзя более кстати и к невыразимому моему удовольствию. На завтра есть надежда, хотя в этот день я успел узнать только немного и весьма немного, так что досадно стало даже на себя. Вот все наблюдения целого дня: избы летом все заперты, отпирались вчера только потому, что ждали окружного; какая же ему изба понравится, ту пусть и возьмет. У некоторых женщин, вместо монет, в косах вплетены были, по бедности, простые жестяные кружочки; у других весь шлык, или айшон, обвит был, как чешуей, старинными же мелкими монетами, гривенниками и пяточками, но довольно симметрично. Вот, думалось мне, откуда идут по России эти монеты с дырочками, значительно истертые и большею частью старинные. Не раз удавалось видеть, что этот обычай существует и у татар, и слышать, что, по мере поселения русских молодцов, обычай стал искореняться: часто целые косы летели прочь, целые айшоны обчищались догола и так, что на другой только день вотячки узнавали о пропаже.

Случилось видеть, как один вотяк брал у другого денег взаймы и, получивши их, отдавал заимодавцу продолговатые красные палочки (бирки или жеребьи), наподобие таких, какие выдают русским избам красильщики при приеме от них холста в краску. На этих бирках вотяк, должавший, тут же нарубил ножом столько насечек, сколько рублей получил взаймы; полтина нарезалась крестиком. По окончании сделки вотяки, по русскому обычаю, угощались кумышкой. Это было как нельзя более кстати, потому что во весь этот день вотяки были пьяны. Не без удивления привелось заметить, что кумышку пили даже и подростки-ребятишки, чуть ли и грудным детям не мочили они соску в той же кумышке.

Кое-как удалось объяснить одному вотяку желание мое знать о том, есть ли между ними грамотные,

которые умели бы читать и писать по-русски, но получил ответ отрицательный. Сколько известно, и их собственный язык не имеет письменности; впрочем, словоохотно объяснили значение некоторых русских слов по-вотьяцки; так, например, лес называют сурман, лапти — курт, онучи — иштыр, кафтан — сукман, рубашку — дерем, кремь — ильканы, огонь — вот, ножик — пурф, топор — тир, корову — скал, лошадь — вал, дом — юрт, рот — ум, каша — жук и проч.⁴⁴.

На обратной дороге из чумов в деревню попадают два вотяка, оба с ружьями, оба подпоясаны ремнями, сбоку у каждого в кожаной сумке лежал нож; один за плечами нес мешок. Я остановил их и увидел в мешке живых щенков, лисиц, пугливых, с дикими взглядами. Другой вотяк настрелял рябчиков. Мы кое-как объяснились: один вотяк продавал лисиц, но другой ни за что не хотел уступить рябчиков, которых называл *рябами*.

— Как ты поймал лисиц?

— А матке вот!.. — и вотяк показал на собственный нос и засмеялся.

— Где же матка, отчего не взял с собой?

— Убег!.. сердитый матка! убег!..

— Много у вас охотников?

Вотяк показал рукой на себя и на товарища, но потом, как будто спохватившись, сильно закачал головой, давая, кажется, знать, что много в деревне охотников, и кроме их двоих.

— Нет ли у вас в лесу керемети? покажите мне.

— Ни! кереметь ломали, — вдруг, как бы испугавшись, поспешил ответить вотяк, и, робко поглядев на меня и своего товарища, поспешил удалиться.

Новая попытка расспрашивать вотяков окончательно отбила у меня охоту обращаться к ним с вопросами. Бог весть к каким смешным и вместе трудным телодвижениям нужно было прибегать при расспросах; с трудом удавалось подбирать те русские слова, которые были бы вдомек вотяку и он бы кое-как, тоже часто с

кривляньями, мог удовлетворить любопытство. К тому же вотяки стали подозрительно смотреть на меня и на всякий почти вопрос отвечали «ни!» и отрицательно качали головами. Оставалось одно — вернуться в пустую деревню и дожидаться завтрашнего дня, который подавал еще некоторую надежду, а между тем, что будешь делать? Сон бежит от глаз; скука и тоска гнут невыносимо. Сидишь у старой керемети на сгнивших приступках и бессознательно смотришь кругом: вот гурт уток плетется из заплесневелого пруда, вероятно, к чумам. Утки идут, побрякивая, вперевалку, сначала в нестройной кучке, но потом начинают выравниваться, пропуская передних вперед и образуя таким образом цепь прямую и правильную; все идут в ногу, не мешая друг другу. побрякивают, переваливаются с ноги на ногу и ни на что не обращают внимания. Вот из-за угла выскочила молоденькая коза, она пугливо озирается и разбитым голосом дает знать о том, что она потерялась, не найдет своих товарищей; козочка кричит все громче и громче, и небезуспешно: из-за противоположного угла выскочил лохматый козел-бородач, а за ним вприпрыжку еще двое маленьких. Из лесу дико несется рев коровы, страшный рев, неприятно действующий на нервы; у коровы захватывает даже дыхание от напряженного неистового мычания... На трубе одной из изб деревни села глупая ворона, накаркалась досыта и улетела к лесу...

А между тем, тоска давит вас, безвыходность положения становится опять ощутительною; опять считаешь на неудачу... что будет завтра? а теперь и тяжело, и скучно...

Завтрашний день оправдал ожидания как нельзя лучше: в полдень, когда летнее солнышко припекало с ужасною силою, на краю вотяцкой деревни показалась телега в одну лошадь. На козлах телеги сидел дьячок; в главном месте, седой как лунь, старичок священник. Его встретил у своей избы тот же старшина, в доме

которого и мне отведена была квартира. Я подошел к священнику; мы познакомились и вместе отправились в чумы. Священник совершил священный обряд отпевания тела покойного вотяка-старика. Принесли гроб, положили туда покойника, одетого, как я заметил, не в лучшее свое платье, рубашка была нечистая; не умер ли он в этой же самой рубашке? Когда стали заколачивать гроб, родные покойного засуетились и успели положить вместе с ним *коточик*, то кривое шило, которым тачают лапти, и начатый (заплетенный) лыковый лапоть. Сын умершего сунул покойнику в руку рубль серебра, и крышку гроба заколотили. Священник объяснил мне это тем, что лапоть дают покойнику для того, чтобы он не соскучился в гробу и имел бы при себе работу, а рубль получил для того, чтоб на всякий случай мог откупиться от шайтана, который, по их поверью, непременно будет мучить старика за то, что он долго жил на свете. Прежде в могилу клали с покойником ложки, ножи, даже конскую сбрую; тело покойного обертывали в бересту; хоронившим же, при возвращении домой, бросали навстречу пепел и проч.; но теперь все это давно уже оставлено, как уверял священник.

Гроб отнесли за лес на опушку, где нарочно огорожено было особое место для кладбища, уставленное покрявившимися деревянными крестами. В могилу закопали, и мы вернулись назад в чумы, где в это время приготовлена была закуска, состоявшая из яичницы, жареного зайца, лапши со свиной, *табани* (как объяснил священник) или довольно толстых грешневых блинов, с запеченными рублеными яйцами, весьма, впрочем, невкусных. Нас угощали медом довольно крепким, хотя и не сладким, и пивом жидким, слабым, которое скорее походило на хороший крестьянский квас, с некоторою, впрочем, пригоркlostью. Дьячок угощался дрянной кумышкой; священник заметил мне, что, дескать, привык, и тут же, кстати, сообщил кое-что из того, что меня более всего интересовало. Так, например,

я узнал от него, что вотяки выбросят из чума все вещи, которые принадлежали покойнику, начиная с войлока, служившего постелью и кончая шапкой и рукавицами; но объяснить этого обычая не мог; равно как того, что вотяки, вообще, охотники напиваться кумышки, никогда не бывают пьяны на поминках; на всех же других празднествах считают пьянство главнейшею обязанностью. При этом сообщил он мне несколько данных и о самых поминках: они обыкновенно совершаются в урочный день, по назначению старшин и по общему соглашению всех обитателей деревни. Для этого выбирают толстый ствол дерева, с таким количеством сучьев, скольких покойников намерены поминать. На каждом сучке прилепляют по восковой свечке и с этим отправляются на кладбище, захватив с собою каравай хлеба, яйца по числу поминальщиков и проч., но никогда не берут ни кумышки, ни пива, ни меду. На могилах отламывают по кусочку всего съедобного, половину едят сами, другую бросают на могилу; домой с собою ничего уже не берут. Все остатки бросают на кладбище между могилами, куда, по уходе поминальщиков, собираются огромные стаи собак, инстинктивно знающие это время. Вотяки считают посещение собак хорошим знаком и бывают довольны этим как нельзя больше. Прежде, — говорил священник, основываясь на рассказах стариков, — вотяки убивали на могиле самого ветхого старца, который всегда добровольно соглашался на это. С вечера, обреченный на жертву, старик приглашал в свой чум всех соседей и на другой день давал им богатый пир, угощал всем, что у него было. Гости его, чтоб сытнее есть на пиру, накануне постились целый день, ни слова не говорили друг с другом; уходили для этой цели в лес, молились в керемети, чтобы с полным хладнокровием видеть предстоящее им убийство. Старец обыкновенно добровольно соглашался на жертву себя за упокой душ усопших.

— Основываюсь на слухах, — говорил священник, — но не доверяю истине. Вотяки народ не кровожадный

и более, чем какой-нибудь другой народ, смиренны... Не всякому слуху верь! сказано...

— А давно вы, батюшка, знаете вотяков? — спросил я разговорчивого отца Павла.

— Да вот уже 58-й год пошел, как священствую и все в их стороне; сюда и ставлен был, а живу от сего места в 70-ти верстах, впрочем, навещаю их по мере сил и возможности раз до десяти ежегодно...

Священник был суший клад для меня при настоящих, можно сказать, плачевных обстоятельствах.

— Как вы находите вотяков? переменились они с тех пор, как вы приняли их, оставили ли они свои языческие обычаи? — вот были вопросы, которыми я решился утрудить почтенного отца Павла и не ошибся в предположениях, найдя в нем старика словоохотливого и опытного.

— Много переменились вотяки с тех пор, как приняли христианство, — говорил отец Павел, — уже одно то, что бросили свои керемети и стали усердны к храмам Божиим и молитве. Стали свыкаться с русскими и брататься с ними везде, где сведет их судьба. На редком базаре не увидите вы веселого круга, в который не забрался бы вотяк вместе с русскими. С некрещеным вотяком такой вотяк не ведет компанию, даже боится его и не ест уже теперь лошадиного мяса.

Всем, что дальше удалось мне узнать от священника, спешу теперь поделиться с желающими узнать быт этого народца, для знакомства с которым недостало бы самому двух или трех лет, при всем старании, терпении и твердости в перенесении всевозможных лишений. В той деревне, где мы находимся, все крещеные, и почти половина обывателей уходит по зимам на урочные работы по железным заводам. Там вотяк свыкается с русским до того, что, возвращаясь домой, приносит в семью кое-какие посылки наших крестьян; так, напр., прежде не видать было у них блинов, до которых теперь они большие охотники, не варили браги, теперь и

она завелась у них; справляли когда-то свои праздники, ныне и святки и масленицы по русскому обычаю. Нельзя, впрочем, сказать и того, чтоб не осталось у них кое-чего и из старого, в похвалу же им самим, а не в осуждение. Взять, например, их свадебные обычаи; до сих пор еще этот порядок ведется у них по-старинному: молодой сначала начинает присматриваться по чужим деревням к невесте, а из своих соседок деревенских почти никогда не берет за себя. Смотрины невест большею частию совершаются на покосах, и вот отчего в здешних местах ведется такой обычай, чтобы, выходя на луга, одеваться в свои лучшие, самые нарядные платья. Присмотревши невесту, вотяк уже начинает думать о калыме и из-под руки выведывает о том, что будет стоить его будущая супруга. Затем подсылает отца, если есть, или идет даже сам и торгуется; большею частию долго не сходятся они в цене и оставляют друг друга ни при чем. Будущий тесть обыкновенно хочет взять подороже, жених старается уторговать как можно больше даже из той суммы, которую сам назначил в калым, хотя бы отец невесты просил несравненно меньше. Сходятся таким образом для торгов и переторжек раз десять и больше; часто случается, что целую зиму не могут сладить любовного дела. Иногда, однако, удастся жениху сбить цену с 50 рублей серебр. на двадцать, но едва ли когда продаст вотяк свою дочь дешевле. Несостоятельный, бедный обыкновенно крадет невесту, но всегда попадает; у него отнимают невесту, увозят назад и сверх того стараются намять бока как можно больнее, чтоб окончательно отучить его от подобной забавы. Жених не унимается. Вотяк упрям, как норовистая лошадь, он подговаривает всю молодежь деревенскую; берет колья, выжидает удобную минуту и опять-таки настоит на своем, украдет невесту, хотя бы это стоило ему новых побоев. Не приведи Бог испытать жениху новую неудачу, упрямство его переходит в зверство. В таких случаях сам отец невесты спешит

поправить дело и уступает девку даром, иначе ему предстоит страшная неприятность: несчастный жених на другой же день поспешит *повесить* себя *бедой* на воротах невесты. Этот обычай теперь совсем почти вывелся, и несостоятельный жених получает невесту в долг, с обязанностью выплатить калым впоследствии. Невесту отдают ему в руки, сажают в кибитку, вывозят за околицу; но девка непременно вырвется и убежит к отцу; ее опять берут и силой сажают в кибитку. Тогда-то, ухватившись за кибитку, невеста начинает кричать и причитывать благим матом до тех пор, пока не привезут ее в чужую семью. Здесь поят ее и родителей пивом и кумышкой; невеста становится на колена и стоит на них все время угощения поезжан. В это время замужние бабы кладут на стол новый айшон, который гости обязаны обвешать посильным приношением мелких и крупных серебряных монет. Когда же сядут за стол, невесту тоже бабы уводят в сени и здесь снимают с головы ее девичью шапочку и надевают айшон. На другой день купленная невеста спешит снискать расположение новой семьи и работает в поте лица, как трудолюбивая, хлопотливая хозяйка; на ее руки переходит все домашнее хозяйство; она встает раньше всех, ложится позднее. Без того ее не скоро отпустят к отцу, где она должна быть целую зиму. В это время жених спешит справиться с калымом, потом едет к тестю с большим поездом (это бывает почти всегда в январе или феврале). В это время выплачивает калым. У тестя жених затевает пир, затем едут в село, откуда в деревню жениха возвращаются уже муж с женой. В избе жениха идет угощение всем соседям, но всегда скупой и расчетливый вотяк не приглашает в этот день русских. Нет у них также и того обычая, чтоб на свадьбе давать главное место девицам; молодых не дарят; у невесты во все время пира лицо закрыто; пируют после того дня по три и больше. Прежде велся еще тот обычай, что невеста, при уходе в клеть, собственными руками перерезывала курице горло и потом замечала,

трепещется она или нет; в первом случае ей предстояла счастливая жизнь. По окончании свадьбы, при отъезде в свою деревню, отец невесты, в знак особого расположения и как бы в подкрепление кровной связи с новыми родственниками, вколачивает два медных гроша: один в угол избы, под образами, другой в прялку молодой и с тем уезжает. Но особого расположения того чувства родства, которое составляет характеристическое коренное отличие русского человека, в вотяках не замечается, особенно в женщинах. Вотяк, по скупости, не балует жены, как балует ее любой из русских, только что успевший сыграть свадьбу. Вотяк, с барышом продавший плоды своей летней работы и возвращаясь домой, не купит в семью ни платка, ни ленты, только крайняя необходимость заставит его иногда разориться на какой-нибудь кушак и много-много на бисерную подвеску. Муж спешит спрятать деньги не только от жены и родных, но и от самого себя, и мелочная расчетливость, переходящая в скупость, заставляет вотяка водить свою жену в отрепьях и всегда в черном теле; она у него забитая, подневольная работница, обязанная безропотно исполнять все приказания мужа, который хотя и смирен характером, но подчас дает знать жене, что и у него кулак так же здоров, как здоров кулак русского, который удается ему попробовать на заводах. В старину водилось так, что у редкого вотяка не было две или три жены, которые забирались отцом семейства, за известный калым, в работницы. Нередко случалось, что жены эти имели лет по двадцати пяти в то время, как парнишко-муж имел только семь или даже меньше. Вследствие подобных обстоятельств большею частью случалось так, что жены покидали мужей, убегая в родную семью, и таким образом обязывали несчастного мужа искать себе других. Теперь этого, как и понятно, решительно не существует, и вотяк живет себе с одной женой, как любой наш русский крестьянин. Отец, женивши сына, считает своею неременною

обязанностью, поскорее отделить его от себя и для этого строит особую избу позади своей старой, так что у иного таких изб настроятся до того много, что они образуют целый *азбар*, род выселка. Здесь уже все друг другу родня, все свои; у них и выгоны подле и луга пополам и лес общий с разделом на участки, по количеству наличных душ азбара. Прежде этих выселков было гораздо больше, потому что вотяки еще недавно привыкли к оседлости; в былые времена они целыми селениями переселялись с одного места, почему либо невыгодного, на другое более удобное и богатое сочной землей. Без этих условий жизнь вотяка едва ли была бы так достаточна, какова она теперь сравнительно с соседними татарами. Трудолюбие вотяков на пашне примерное; хлеб у них родится как-то особенно обильнее, чем у соседей русских, но отыскать секрет этот решительно кажется нельзя: вотяк почаще заглядывает на пашню, поглубже пробороновывает землю, не скупясь унавоживает и не только довольствуется вымолоченным хлебом для домашнего обихода, но даже продает зерно по соседним базарам. С особенным нетерпением поджидают вотяки благоприятное время для запашки; но вот с вечера весеннее солнышко закатилось чисто, ни одно облачко не помешало ему светло сесть за горою. Завтра, думают все, будет ведро, воробушки полоскались в реке и хоть бы ворон каркнул или ухнул пугач, все как нельзя лучше благоприятствует запашке: спросили кое-кого из знающих, и те не перечат. День задался, действительно, на диво; вотяки снарядили сохи; послали наперед баб на полосы с яйцами, кашей и грешневыми лепешками, и когда те разбросали половину принесенного между бороздами, являются мужья, прорезают новые полосы, съедают остатки яств; ребята подбирают яйца, бегают, дерутся... Мужья уходят в деревню и принимаются за кумышку в то время, когда на полосы являются девки с ведрами для поливки новой запашки. Кончивши это дело, снова наливают ведра водой и идут уже в деревню обливаться мужиков и

себя самих, чтобы потом пировать целым селением дня два, а затем, с замечательным рвением и постоянством, приняться за работу. Но вот вотяк сжал свой хлеб, свез его на адресах в овины и запасные амбарушки на черный день и доволен урожаем. Опять все селение делает складчину по семействам и отдельными кружками идет в поле, на свои полосы. Здесь разводят теплины, варят кашу, с песнями прыгают вокруг огня и, достаточно утомившись, начинают подкреплять свои силы той же кумышкой и пивом до совершенного истомления. Этот праздник тянется больше, чем первый; вотяки пируют иногда по неделе и кончают тем, что или расходятся по заводам, или запираются на целую зиму в душной избе, где тачают лапти, ткут холст и понитки, плетут грохоты, вытачивают деревянные чашки и ложки. Редко-редко увидишь в суровую зиму вотяка на улице; он постоянно в избе и словно боится морозу, хотя и привык к нему не хуже русского; но лишь только начнет припекать весеннее солнышко, станет на дворе Страстная неделя — вотяцкая деревня оживает: все просыпаются и высыпают на улицу выгонять шайтана. Отворяются настежь ворота и двери, откидываются волоковые окошки, за околицей слышатся дикие крики и на улице показываются подростки и женихи-ребята верхом на своих маленьких, кругленьких вятках с огромными хворостинами в руках. Крики становятся сильнее; наездники машут хворостинами, въезжают на каждый двор, прыгают с лошадей, заходят в хлева, в амбарушки, в избу; во всяком углу шарят хворостиной шайтана и на спасибо получают от хозяев медные деньги, грешневые лепешки, кашу... Бабы, вотячки, спешат прибраться избу; мужики — вотяки колют скотину, чтоб приготовить к Светлому празднику — *Быдзим-Нунял*⁴⁵.

Особенных, более резких обычаев отец Павел сообщить не мог, но объяснил подслеповатость почти всех вотяков их золотушным телосложением, курными чадными избами, грязью, в которой они держат себя, а

всего более привычкою курить постоянно коротенькие в вершок трубочки с тютюном, а за неимением последнего с высушенными васильками или какой-нибудь другой душистой травой. Справедливо посетовал отец Павел на упорство вотяков в принятии просвещения; из тысячи один умеет читать и писать и ни за что не отдаст своего мальчика в науки, хотя бы и видел в том существенную, видимую пользу. При этом словоохотливый священник рассказал мне о том, как вотяк является к нему просить на крестины:

— Ребенка, поп Иван, жена сделал.

— Кого же, мальчика или девочку? — спрашивает священник.

Вотяк начинает переминаться с ноги на ногу; улыбается, вынимает из-за пазухи кошелек, вертит его в руках; хочет, как кажется, считать деньги, но опять кладет за пазуху и опять улыбается.

— Не скажу, бацько, — говорит он, наконец, довольно решительно.

— Отчего же? — спрашивают его.

— Приходи — бацько, увидишь сам, деньга мало взял?

Священник уже понял, в чем дело — вотяк хитрит; думает: в деревне выпрошу ребенку имя, какое захочу сам, а то просто крестить не дам; не поедет же священник назад, не выполнивши своего долга. Священнику нравится комическая сцена до того, что он начинает шутить с простаком.

— Может, Анну жена-то родила или Ивана? — спрашивает священник и тотчас же ловит неловкого хитреца; вотяку хочется иметь Ивана, потому что у него действительно родился сын. Вотяк радуется, кричит:

— Ваньку родила жена, бацько — поедем!..

— Нельзя же ей Ваньку родить, когда прошлой зимой родила Ваньку, — шутит священник, но вотяк пренаивно уверяет его, что действительно родился Ванька; священник не верит и обещает дать имя Елпидифора.

Вотьяк и руками и ногами, но видит, что дело плохо; священник не соглашается на Ваньку. Он уходит, думает долго и опять входит к священнику, с новой просьбой:

— Дай, бацько, Миколу...

— Отчего ж не Ивана? разве раздумал?

— Микола дешево, Иван три золотой, Микола одна, один золотой дома забыл ... Жена Ваньку хочет...

Священник знает, что и тут вотьяк хитрит, что он не забыл денег и что жена совсем не может выбрать ему имя, продолжает шутить с вотьяком. Этот готов торговаться с пятак серебром; будет предлагать муку, деревянную чашку, чтобы не отдать только лишнего гроша денег, но священник оставляет вотьяка в покое. Он сделал свое — пошутил над простаком; тотчас соглашается на просьбу и вотьяк опять будет с Ванькой и только для разнообразия, при новой оказии, выпросит имя *Миколы*⁴⁶.

Рассказывать о простоте вотьяков и их тупой хитрости решительно нечего; они в этом отношении так похожи на чухонцев, что повторять давно уже сказанное и известное — совершенно излишне. В тех местах, где живут вотьяки, недавно сделался известным один случай, в справедливости которого можно поручиться. Один вотьяк, работавший на каком-то железном заводе, приводит к лекарю слепого старика отца; вотьяк кланяется, просит:

— Слышал, бацько, глаз делаешь. Делай оба — мой отец слепа!..

Лекарь осматривает, находит дело возможным, соглашается.

— А что, бацько, берешь глаза делать? — говорит вотьяк.

Лекарь спрашивает его, что он сам может дать, но вотьяк заминается; повторяет снова прежний вопрос. Лекарь просит десять рублей, зная достаток рабочего вотьяка.

— Нет, бацько, много. Много, бацько! Шесть рублей даваю, десять много! — говорит вотьяк.

Они еще некоторое время торгуются, лекарь, однако, соглашается взять шесть рублей. Вотяк тащит мощну, отсчитывает три рубля и говорит:

— Делай, бацько, одна глаз; отец стара — живет и с одна глаза...

Там же рассказывается еще один забавный случай, доказывающий простодушную хитрость вотяка, желающего схитрить, но не умеющего приняться за это. Дело в том, что этот вотяк-Ванька, работавший на заводе уже несколько лет, сманил с собой нескольких соседей, обещая им на заводе протекцию как в рекомендации на место, так и в помещении на квартиру, которую Ванька занимал уже несколько зим сряду. Простаки приезжают на место. Ванька стучится в окно знакомой квартиры. Дело было темною ночью, хозяин окликает его, желая знать — кто именно из знакомых просится к нему.

— Я, — говорит вотяк, — Ванька Бегаш, бацько!..

— Места мало, — говорят ему, — весь двор заставлен; одного-то, пожалуй, еще можно пустить; а вас сколько приехало?

— Да двое только, я да мы, — отвечает Бегаш, уже успевший обдумать хитрость, пользуясь темнотою зимней ночи. Хозяин, спросонья, не вслушался хорошенько в его ответ, отпер ворота, но немало удивился, когда въезжает на двор более десяти возов, вместо обещанных двух.

Другой вотяк, издавна занимавшийся продажей хлеба на соседних базарах, раз узнал от кого-то из своих соседей, что верст за сто от его деревни, в Глазове, покупают хлеб копейкою на пуд дороже, против той цены, за которую сбывал он свой хлеб по соседству. Вотяк, мучимый барышом по скупости и расчетливости, не задумался, и вот уже, как сказывали, каждый год справляет свои возы в Глазов и, таким образом, тратит весь новый барыш на проезд, который прежде ничего ему не стоил. И никто из соседей не надоумит его, даже

сам он не догадается положить конец своей опрометчивости.

Флегматичность, разгильдяйство вотяков, по выражению соседних русских, бросается в глаза при первом же знакомстве с этим народом: тупой взгляд вотяка, его хладнокровие ко всему новому, впервые поражающему его; эта замечательная угловатость медведя во всех движениях и неопрятность; неразборчивость в пище; наконец, самая простота в характере служат решительными тому доказательствами. Вотяки, в этом отношении, даже далеко перещегооляли соседей русских и резко отличаются от последних везде и во всем: и на базаре, и в своих деревнях, и на заводах. Но, во всяком случае, по общему замечанию, они далеко отошли вперед от того состояния, в каком застала их христианская вера и окончательное сближение с русскими на заводах.

На другой день я выехал из вотяцкой деревни на Нижний, откуда мне шел путь во Владимирскую губернию, в правую сторону от Вязников на Шую и Лух. На этом огромном пространстве живут в некоторых слободах (Холуе, Мстере, Палехе и друг.) иконописцы, а по соседним деревням офени.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

Нижегородская ярмарка в полном разгаре. На двух башнях китайской архитектуры, обращенных к Оке, и выстроенных на ее берегу, выкинуто два флага; в Гостином дворе нет ни одного пустого номера. Все они наполнились произведениями всевозможных русских городов: здесь и кяхтинские чаи и сибирское железо, московские и ивановские сукна и ситцы; ярославские, кинешемские и вятские полотна; романовские и слободские овчины, казанские козлы и другая кожа, торжковские шитые сапожки, башмаки и туфли; кимвровские и

московские сапоги всех сортов и достоинств; орловские, тульские и др., яблоки и вязниковские вишни, киевские варенья и сушеные фрукты; петербургский сахар; железные сундуки и подносы на азиатский вкус и бухарскую руку; тульские стальные изделия и самовары; углицкое копченое мясо; крымские и кизлярские вина, имеющие потом превратиться в иностранные, преимущественно французские; польские сукна; сибирские и камчатские пушные звери галицкой и московской выделки; уральская икра; оренбургские и донские балыки; астраханская и пермская соль; подгородные крестьянские изделия и мосальские хрусталь и фарфоровая посуда; нежинский листовый табак и корешки, и чудного рисунка ковры фабрики князя Енгальчева, и пр., и пр., и пр. По дорогам, идущим к Нижнему, реке тянутся обозы, застилавшие прежде весь путь и мешавшие проезду тарантасов с хозяевами. Все эти обозы направляются в Нижний и редко назад.

За Окой, на огромной песчаной косе, обрамленной с другой стороны желтыми водами Волги, выстроился новый город, решительно не имеющий нужды и ничего общего с тем, который чудною панорамною раскинулся на горах противоположного берега. В этом городе все свое, начиная от собора, армянской церкви и мечети до местопребывания губернатора, почтовой и ярмарочной контор, и оканчивая возможными удобствами обыденной жизни. Самый Нижний на время переселился сюда, прикрывши свой Гостиный двор и ежедневно отправляя за Оку чуть ли не половину своего населения. И хотя кратковременна жизнь этого нового и временного города, уничтожаемого волнами бурливой реки во время весеннего разлива, но тем не менее жизнь эта своеобразна и полна интереса. Вся Россия собралась сюда, чтобы положить свою долю влияния. Трудно, даже, кажется, и невозможно представить себе хоть один самый дальний уголок нашего обширного отечества, который не прислал бы сюда своего представителя.

Мост, соединяющий город с ярмаркою, давно уже наведен и во всю длину его, на целую версту, расставлены оренбургские казаки, обязанные криком «легче!» останавливать и ретивый бег пары лошадей приезжего собственника и легонькую побезуку с перебоем лошаденки извозчика: нижегородского, костромского, владимирского на пролетках непременно на лежачих рессорах и заезжего казанца на своей оригинальной долгушке. Положим, что мы уже на середине моста; поспешим обернуться назад и полюбоваться чудным видом Нижнего Новгорода, который уступит в этом отношении только Киеву, но превосходит все города России.

Город весь раскинулся на высоких горах. Далеко от нас влево, за самую высокую гору, цепляется зубчатая стена древнего кремля, помнящего доблестный подвиг Кузьмы Минина. Ближе к ярмарке широкой змеей вьется длинный подъем в город; еще правее прилепились к горе старинные церкви и здания старинного мужского монастыря; несколько выше прикреплены полуразрушенные деревянные домики бедных обывателей, разделенные густою зеленью садов, которые далеко отошли от домов их владельцев. Дальше и выше за горою весь Нижний со своими оригинальными домами, стены которых большею частью выкрашены красною под кирпич краскою; но самого города уже не видать с мосту, и только часть его «Нижний-Базар», имеющий большое отношение к ярмарке, составляет красивую, сплошь каменную набережную Оки, над которою высятся Строгановская, необыкновенно красивая и оригинальная, церковь на каменной, довольно высокой насыпи. Обернемся направо, и целый сплошной ряд мачт судов, со всяким товаром, бросается в глаза, мешая проникнуть дальше. Кажется, все суда Волги и Оки, все эти расшивы, барки, кладные, шитики, завозни, струги, гурянки, сурские межеумки, суновки, соминки собрались сюда, чтобы запрудить устье и всю Волгу направо и налево от города и щегольнуть разнохарактер-

ными пестрыми флагами с изображением целых картин вроде похищения Прозерпины, прогулки Нептуна с огромною свитою Нереид и Тритонов, или ловли кита, бросающего огромный столб воды в лодку зверопромышленников. Тут вас прежде всего поражает пестрота, безвкусие и безграмотность в надписях; самые суда от верху до низу размалеваны всеми цветами радуги и, кажется, в этой пестроте спорят друг перед другом. Оглянемся налево: широкая, глубокая, черная бездна Оки потянулась вдаль в своих крутых берегах. Кое-где мелькают по ней лодки, перевозящие пешеходов и управляемые русскими мужиками в оригинальных шляпах грешневиком. Не увидим только дощаников, до последнего «нельзя» заставленных лошадьми и экипажами, и всегда управляемых татарами, в белых круглых валеных шляпах. На место их перекинулся мост и перевел их трудовую, тяжелую, ломовую деятельность на Волгу, с другой стороны города Нижнего.

Между тем, мы подвигаемся дальше вперед, ближе к самой ярмарке; мост как будто кончился, т. е. уже не видно под ним черной Оки, которую сменили пески, расстилающиеся под ногами, направо и налево застроенные амбарами для склада хлеба и лесу, постоянными дворами для извозчиков или так называемым «кругом» и теми пекарнями, которые снабжают всю ярмарку ржаным хлебом. По количеству этого хлеба, как известно, определяется приблизительное число ярмарочных посетителей. Направо пестреют раскрашенные садки для рыбы. Здесь любители лакомятся настоящей неподдельной и диковинной стерляжьей ухой.

Толкотню на мосту встречающихся экипажей сменяет новая толкотня, не менее затрудняющая проход и проезд. Толпятся огромные кучи мужиков, оборванных, с изнуренными, страшно загорелыми лицами. Всмотримся в них и увидим следы трудовой, ломовой работы; прислушаемся к разговорам и подивимся разнообразию выговора. Вот один приземистый мужичок,

в рваном армяке, подошел к толпе земляков, поместившихся кучей у перил моста. Он показывает гармонику, которую берет один из товарищей и начинает наигрывать камаринскую, но, видимо, недоволен игрой. Он несколько времени вертит инструмент в руках, остальные ребята оскалили зубы.

— Да тут, земляк, один клапан никак совсем порешился, да и из-под донушка-то дух идет. Поди, невесть что дал, — проговорил игрок тем певучим наречием, так характеризующим костромича, страшного охотника окать.

Замечание игрока принято за остроту и встречено довольно громким смехом, который обратил на себя внимание окружающих. Инструмент с изъянцем подвергается исследованию; проходившие без дела, праздные люди останавливаются и нетерпеливо желают знать — о чем тут судачит народ. Из толпы сыплются остроты и советы вроде тех, которыми готов угостить русский человек своего брата в минуту неустойки и неудачи, особенно если они сопровождаются комической обстановкой. Один советует снести инструмент в кузницу; другой хочет купить, да просит прибавки — гривенник на шкалик; третий забыл захватить денег; у четвертого карман с дырой. Все эти замечания встречаются смехом и новыми остротами:

— Да ты бы, земляк, лучше сапожишки купил, а не то бы шапку какую: а то, гляди, эта и воронам на гнездо не годится.

— Ну, да и вам, ребята, не укупить мне новой: бегунцов-то за спиной, поди, тоже больше, чем в кармане денег.

— Небось под бечевой-то в таких сапогах по музыке пойдешь; оно, гляди, и с ноги не собьешься... и т. п.

В справедливости этих замечаний никто из остряков не сомневается, но прислушайтесь кговору, и вас поразит его разнохарактерность, начиная от низового выговора, с оригинальным падением на мягкие буквы,

до лесного, где грубое о нередко превращается в еще более грубое у.

Здесь, на мосту, мы решительно можем прислушаться ко всем наречиям и встретить их представителей: тут и *родимый* ростовец и частобай тверяк, который подчас дзекает не хуже своих соседей — белорусов, в лице какого-нибудь зубчовского *купча-молодча* или бежечанина, которого рици цисце в свити нету.

Сколько есть у Волги притоков, столько и губерний всей внутренней России, столько же и разнообразия в представителях этих губернии на ярмарочных толкунках и площадках; а таких только губерний мы свободно можем насчитать 21 с двенадцатью инородческими соседями, которые и портили, и изменяли родной язык великороссов. Не диво бывало прежде, если прогонят через мост целый гурт быков мужики, в измаранных дегтем рубашках, которые, сгоня непослушных длиною палкою в кучу, кричали на чистом малороссийском наречии, и в созерцательном молчании шли за ними следом, словно развинченные, вперевалку, и ни на что не обращая внимания. Теперь этого стало не видно с тех пор, как чугулки стали ломать наружный вид и внутреннее достоинство и свойства древней Макарьевской ярмарки.

Толпа кинулась к чему-то белому и массивному,двигающемуся от ярмарки по направлению к городу, и, вскоре окружив верблюда, толпой провожала его за мост. Все эти кучки на мосту людей, по-видимому, праздных, но на самом деле только временно праздных, — бурлаки, пришедшие наниматься в нынешний год уже на вторую путину. Завтра же, может быть, они по зову урядчика и найму хозяев судов, которым всегда нужен и дорог работник, накинута на плечи лямку и тяжелым, перевалистым шагом побредут по луговой стороне матушки-Волги, в предшестве вечного своего шишки — человека более других изможденного, но более других знающего местность. Запоют они свои

заветные песни, которые так хороши на Волге и так богаты содержанием. Только бы с ноги не сбиваться да подхватывать враз, а за словами у них не стоит дело. Там придут они на заветный бугорок, где-нибудь на Телячьем броду, достанут из чередового мешочка горсточек пяток крупички, да вольют в котелок ведерко воды кормилицы-Волги — и сыт бурлак-трудоу человек, и опять он ломает свою путину все дальше и дальше, все туже и туже. Не страшат его беды незнаемые, лихорадка и самая немощь от усилия в труде и упорства в лишениях: тем же настойчивым шагом подвигается он и при конце путины, каким шел вначале. Недоволен он только грязью после дождей да ветром противным. Пожалуй, он и без особенного удовольствия переезжает на судно, когда того требует местность и особая непогода. Ему бы только кончить скорее путину да добиться до честного и безотлагательного расчета, а за себя он не стоит.

— Легка беда две путины сломать, а на третью, глядишь, и сам назовешься. А что и об доме-то тоску разводить. Вестимое дело, как у бар, так и у нашего брата, одно выходит: как не видишь своих, так и тошно по них, а увидишь своих, да много худых, так лучше без них. Давай Бог толкового шишку, да тороватого хозяина, да спопутную погоду, хоть бы и парусила она, да только дождей бы не давала. А что там болести разные, да немощь!.. Вот, слышь, к нашему брату и подойти нельзя, — так и это опять ничего. Наш брат-бурлак как ступил на берег, да пошел на свои деревни: на первом же селе бабы тебя словно пчелы облепят. Мы уж у них без бани и обеда не берем. Давай нам, тетка, щей, дескать, горячих, да пару, да веник, а нам со своим двугривенным не до дому же тащиться, — на вот бери... ведь и ты — глядишь — не разживешься с него. А посмотрел бы ты, как наши ребята на Рыбном пьют, так тем, что нашего брата ни в грош не ставят да еще и глумством всяким доходят, — в нос кинется, в почесотку введет и

в зависть всякую. Ведь у нашего брата копейка ребром стоит, а с нее пар валит...

Довольный собой, бурлак в Нижнем ни в чем не откажет себе перед трудами, которые ждут его в пути: пьет и бушует под кружалами не тише московских купцов.

Между тем, на мосту через Оку с каждым днем заметен прилив новых бурлаков, которые ждут только обратной путины, и не дожидаются ее долго. Вот подходит урядчик:

— Кто, ребята, на Рыбное? Кто на Казань? Кто на Симбирск?

— Мы, хозяин!.. Отправляй нашу артель попервоначалу: вон те и шишка наш! У него и пашпорты наши.

— Ну, так молись, ребята, да и ступай с Богом, — собирайся!

Мост еще не кончился, но начался уже ряд лавок, в которых хотя и производится торговля, но мелочная: шапками, картузами, шляпами, сапогами и прочим добром, необходимым в быту крестьянском и бурлацком.

Между тем, к концу моста окончательно начинает поражать близость ярмарки: со всех сторон тянутся навстречу длинные обозы, запирающие проход дальше. Толпа делается гуще и разнообразнее; говор становится громче и сильнее, и несколько напоминает базар в каком-нибудь маленьком дальнем городишке или торговом селении. Но еще несколько десятков шагов — и мы уже на самой ярмарке. Длинная, широкая улица потянулась с моста, образуемая дощатыми балаганами, выстроенными наскоро, на живую нитку. Как бы для того, чтобы скрыть их вопиющий недостаток, все они выкрашены серенькой краской, но тут пока только старое платье, зазывные приглашения вроде апраксинских или гостинодворских московских с теми же неудачными приглашениями купить то, что уже у нас есть и с такою же настойчивостью. И здесь также готовы ухватить за руки и силою втащить в лавку, если

только найдется хоть малейший повод к тому. Мужиков и баб подгородных торгаши просто таскают за руки силой.

Вот две дороги — одна налево, мимо груд дынь и арбузов к центру ярмарки: двум заветным флагам и так называемому Главному дому; другая прямо к театру. Выберем последнюю и будем иметь удовольствие видеть Новинское или Исаакиевскую площадь во время Святой недели или Масленицы. Целая площадь обстроена балаганами с заманчивыми картинами и вывесками. Там намалевано целое поле сражения; здесь целая пирамида людей, исковерканных в различных фантастических положениях. Из некоторых балаганов раздаются выстрелы; один — сильнее прочих: проходившая толпа праздных мужиков ухает, останавливается. Мужики переглянутся, улыбнутся, отпустят доморощенную остроту и пройдут дальше. На самокатах раздается однотонная музыка, которую и можно слышать только на народных гуляньях. Здесь — целая ватага горничных, отпущенных господами, мещанок, раздобывших двугривенный на каком-нибудь шитье или вязанье, соседских деревенских орженушек, доставляющих себе удовольствие на проданные торговкам ягоды, и продажные красавицы, набежавшие со всей России, — по гривеннику. Все это качается в самокатах на слоне, на коньках, колясках и на других разного рода и вида сиденьях, и все они крайне довольны и собой, и ярмаркой, и людьми, которые дали им на то средства.

Тут же, напротив самокатов, или как обыкновенно называют их здесь — *кружал*, вечно сидят торговки-бабы с орехами, подсолнечниковыми и арбузными семечками, моченым горохом, гнилыми яблоками, услаждающими вкус катальщиков.

В страшный восторг приходит вся эта ватага, когда главное лицо начнет подбирать рифмы в ответ своему старосте-командиру, или когда на него напяливают мундир вверх ногами. Он жметя и ёжится и что-то

кричит; его не хотят слушать, но когда четыре мускулистые руки, окончательно надевши мундир, начинают его встряхивать, как бы в мешке, народ кричит:

— Шибче, ашшо встряхни: небось уколотится!

Но когда нового солдата ставят на учење и дают ему в руки ружье, и он вместо «на плечо», кричит «горячо», вместо «от ноги» брякнет во все горло «погоди!» — толпа гремит тем неистовым смехом, который только ей одной и под силу. Толпа ждет не дождется того антракта, когда, после показа актеров, участвующих в следующих представлениях, является давно ожидаемый скоморох-утешитель. Кажется, и сам он мало думает о себе и тоже в свою очередь не дождется антракта, того последнего антракта, после которого он со всех ног бежит в ближайшую деревянную будку, с елкой, и с лаконической какой-нибудь надписью: «Мечетная выставка, № 10». Это какой-нибудь портняжка, пьющий запоем, но во время охмеления работающий за четверых. Он отбился от всех рук, в какие только ни бросала его судьба и от каких представлялась ему возможность отбиваться. Он и теперь, может быть, убежал от хозяина на время ярмарки из страсти к своему веселому ремеслу, которое влечет за собою огромное количество водки, притупляющей в нем всякую щекотливость к побоям. Кончится ярмарка, портняга опять придет к старому хозяину после долгого-долгого похмелья и начнет подводить:

— Что так как-де довольны очень вашей милостью, то не примете ли опять на верстак? Заслужим чем можем, а о другом-прочем не сумлевайтесь: все очень пойдет прекрасно.

Сядет он опять на верстаке, подхвативши под себя ноги, если только не до конца рассердил и этого хозяина. Сидит он до первого запоя, но уже перед ярмаркой опять улизнет, не спросясь и постаравшись всеми неправдами забрать свои деньги вперед. Глядишь: он опять где-нибудь на балаганном балконе под Новинским.

На Великий пост фигляр опять пропадает, но на Святой он опять тут как тут, если только не успеет его изломать запой, как вещь лишнюю и ненужную на этом свете. Народ гудит в восторге от его острот, и никто не спросит, никто не пожалеет его, если явится другой с тем же искренним желанием насмешить толпу и потешить. На ярмарке в Нижнем он тут как тут, но уже на целое лето.

Раешник — тоже человек, обрекший себя на потеху, но уже решительно иного характера: он даже, если хотите, враждебно смотрит на паяцев, которые, привлекая толпу к себе, отвлекают от его театра. Вот почему он всегда выбирает местечко подальше от кружал, но всегда видное и, по возможности бойкое. Ясно, что и здесь зрителей у него немного. С большой радостью пускает он на какой-нибудь пятак в складчине целую кучу ребятишек. Редко-редко навернется на него и здесь такой любитель, который, желая потешить себя приговорами, бросит ему полтинник и, отойдя на приличное расстояние, не глядя в стеклышки, слушает вранье сказочника, которое в Нижнем вращается на остротах и насмешках над купцами: «купцы продают рубцы, сено с хреном, суконные пироги с навозом», и проч.

— Вот бы и ярмарочное дело теперь, — говорит он любопытствующему знать о положении дел и ходе его торговли, — а что? Лучше бы и не трогаться из Москвы. Все барыши отбивают у нашего брата эти кружала проклятые — и Петрушкой бы стучишь, и «ватрушками», и разными приговорами трогаешь. Оглянется к тебе весь народ-от этот, да и опять на паяца зевает. Тут не токмо что, а и киятра-то не окупишь. Вот один этот маленький 20 рублей стоит, да два раза в год окрась его, да надпись подбери позаманистей, что вот-де «сия понорама показывает разные виды городов и селений», — так и будешь знать, как себя прокормить. А потаскай-ко ее на плечах, так и даст она тебе знать себя, хотя и не ве-

ска — всего только два пуда будет — да зато занозиста: все тебе плечи пообширкает. Только вот один работник и выручает еще кое-что: не то поглаголистей он, не то киятер-то у него большой. Одного весу в киятре будет пудов 18; сам и картины подлаживаешь, коли не унорочишь достать большую. Тут ведь ширины одной два с половиной аршина, есть на чем поразовратиться, особо когда хмельком заберешься. Тут уж врешь и сам не ведаешь что! — прихвастнет раешник.

Неправда в его словах только одна: не поедет же он даром за четыреста верст, не рассчитав и не испытав барыша заранее. Никогда не пойдет в раешники мужик, привыкший трудом зашибать копейку: всегда уж это какой-нибудь аферист, прошедший огонь и воду, и вот теперь ударившийся в скоморошество и всегда с верною, заранее рассчитанною целью. Знает он очень хорошо, что таких досужих людей, как он сам, едва ли насчитывается до десятка. Все они знают друг друга, и все они, по большей части, приказчики одного какого-нибудь достаточного хозяина, который посылает их в другое время по дворам для потехи детей и их нянюшек.

Еще несколько шагов вперед, и перед вами большое серое здание театра, все облепленное афишами, на которых буквами в вершок обозначены имена заезжих столичных артистов. Василий Игнатьевич Живокини почти никогда не сходит. Те же афиши пестрят все городские фонарные столбы сверху донизу, но публики привлекают, против ожидания, мало: внутренность театра неудобна, освещена дурно какими-нибудь тремя десятками свечей, неудобно прилепленных к ломам; всюду сквозит ветер, музыканты играют, хотя и старательно, но всегда фальшиво. На сцене ставят плохие пьесы провинциального репертуара, большею частью трагические и драматические со всегдашним враньем на афишах того, что не покажут да и подчас и показать не могут. Пьесы к тому же и разыгрываются плохо, с

весьма немногими исключениями. Отсюда вы можете отправиться в железный ряд, самый длинный из всех, где выставляют напоказ иногда вещи удивительные. Мы видели целый дом, сделанный из железа в один этаж: весь он складывается несколькими рабочими в двое суток, но разбирается весьма скоро, чуть ли не в 10 часов или того меньше. В доме этом пять комнат: прихожая, контора, зал, спальня и кухня. Хозяин ценил его в полторы тысячи; говорил, что в нем весу восемьсот пудов, и в расчетах ошибся, потому что ярмарка — не выставка: изделие его никто не купил.

Обогнувши театр и повернувши немного налево, мы вскоре очутились в самом центре ярмарки, который можно считать у Главного дома. От него прямо потянулись ряды каменных корпусов Гостиного двора, разделенных между собою на две половины узеньким бульваром, еще не достаточно обросшим. Сейчас налево, самое почетное и видное место отведено было строителем ярмарки (при Александре I) Бетанкуром — книжной торговле. Но ее нет и следа: все лавки модных и иных ходовых товаров. А книги на ярмарке — не товар (дешевые картины еще туда-сюда); книжному торговцу перед всеми другими оптовыми нельзя и признаться. Зато все другие ряды и линии честно и буквально сохранили за собою свои старые названия: москательные, бакалейные, бумажные, кожевенные и даже колокольный. Бульвар ведет до огромного ярмарочного собора с одной стороны, а с другой примыкает к главному корпусу, в котором временно помещается ярмарочное управление: начиная от квартиры губернатора и лиц, нарочно командированных на этот случай, и кончая почтовым отделением. Середину нижнего этажа этого корпуса занимает огромная зала, образованная четырьмя меньшими наподобие креста, середина которого занята несколько возвышенным помостом для помещения оркестров военной музыки. Залы эти отчасти напоминают москвичу его Голицынскую галерею, а петербургско-

му жителю — Пассаж, с которым он, кажется, и имеет большое сходство, если только присоединить к тому запах пригорелого масла, который врывается сюда из смежной трактирной залы.

Под Главным домом помещаются магазины персидских товаров, со своими горбоносыми, смуглыми краснощеками хозяевами, в пестрых халатах, с длинными, ни к чему не нужными руками и в высоких мерлушчатых шапках. Тут же, в одном углу, приютились изделия Екатеринбург: все эти топазовые, аметистовые, сердоликовые печатки, вазы из орлеца, тарелки и чашечки из калганской яшмы, крестики из горного хрусталя, запонки из тяжеловесов и дымчатого топаза, целые иконы и картины из всевозможных яшм, и из них же пресс-папье, и т. п. Попадают на глаза и небольшие шкафчики, в которых приезжий оптик разложил свои инструменты, а местный токарь — свои безделушки. По вечерам здесь играет музыка и бродят толпы городских фатов и иногородних заезжих гостей, между кучами сундуков, ящиков, на которых чинно-важно сидят уставшие. Вам предстоит приятное удовольствие задевать за чужие ноги или до невыносимой боли ушибить колено об выставившийся угол ящика, на каждом шагу наталкиваясь на новый прилив гуляющих, толпы которых, как тени, шатаются из угла в угол. Разойтись тут решительно негде и слово *гулять* приличнее было бы заменить в этом случае словом *толкаться*. И все-таки находятся охотники: чуть ли не целый Нижний является сюда для прогулки, как бы для того, чтобы в сытость насладиться удобствами ярмарки (которой и веку-то всего только два месяца) и потом на целых десять месяцев замкнуться в свой заветный кружок.

Один выход из Главного дома ведет к Оке. Он с двух сторон окружен целым рядом извозчиков, потому что это главный подъезд от города, а другой выходит на бульвар; к нему извозчиков не подпускают. От бульвара Главный дом отделен небольшой площадкой, на

которой постоянно толкутся продавцы — ношатые: господин неопределенного вида, в длинной чистенькой сибирке с целою связкою ящичков и коробочек за плечами. Та, которая в руках, открыта: он показывает пряник и называет последний заманчивым именем вяземского. Зная о близости Городца, богатого села здешней губернии, расположенного на берегу Волги в Балахнинском уезде, давно уже получившего известность в деле печенья пряников, можно усумниться.

— Да вжеж усе у Вязме пекли: городецкие-то на меду, а наши на сахаре. Наши рассыпчатые, с цукатом! — выкрикивает нам в ответ продавец и не обманет. Мы должны ему поверить если не на слово — по крайней мере, за произношение, которому он остался верен и на нижегородской площадке. Это чистый смоляк, приказчик или родственник какого-нибудь вяземского пекаря, который разложил свой товар где-нибудь в Гостином дворе, в каком-нибудь бакалейном ряду, под какую-нибудь литерою И или К. И поверьте, что надпись на прянике, гласящая, что «Сеи праник спечен в Вязме» или «сия коврышка вясемска», как нельзя больше справедлива и неподдельна. При этом (если есть досуг и время) смоляк готов нам забраковать и охаять городецкие пряники, называя их «перепечами», поджаренными на сковородке в масле. «Их-де перед ярмаркой щетками оттирают, медом да маслом приправляют для скусу; они все оржаные пополам с мякиной; медовики, сухари, сусленики». — «Они и идут-то только на Масленице да на Святой неделе под кулак ребятам фабричным по пятаку на перешиб за десяток...»

Тут же как из-под земли возьметса, подступает казанский или симбирский татарин, подсланный с бракованным, редко добротным мехом из крымских барашков или воротником часто настоящего камчатского бобра, редко польского с подкрашенными сединками. Так же как и везде, верный себе самому, татарин запросит страшную сумму и уступит за половину, по не-

сколько раз отходя в сторону, упуская покупателя иногда далеко из виду, и опять выходя откуда-нибудь из угла или подсылая товарища, если заметит стойкость в назначенной цене и упорство.

— Купи, барин, у меня мех! — говорит подосланный и покажет тот же мех, который уже видел покупатель, и немного сбавит цены против прежнего. — Нонче дорог крымский баран, — настоящий, барин! Тебе не убытка, а нам деньга нужна! ... Слышь, барин — тебе добра хотим.

При дальнейшем упорстве он еще, пожалуй, несколько сбавит цены и, если видит хоть маленький барыш себе и хозяину, при надбавке, непременно уступит мех: — за большим не гонится, как и те его родичи, которые продают в столицах халаты, платки и мыло и покупают всякую рвань: старые штаны и голенища, треугольные шляпы и изломанные шпаги и сабли.

Вообще сказать, эта площадка между Главным домом и бульваром — место сходимости всех мелочных торговцев: тут и мальчишка лакей, стащивший у барина несколько томов журналов старых годов, и человек, приплывший из Москвы продавать свою ваксу, которая способна сделать сапоги наши на целую неделю чище зеркала и не боится ни дождя, ни грязи, ни пыли, а в сущности дрянь, какую только себе можно представить. Тут же протискивается вперед и казанский татарин с коробкой мыла, способного в два приема согнать загар и выводить веснушки. Все эти люди, с утра вытащившиеся из своих конур где-нибудь в подвале Кунавина, начинают обыкновенно свое путешествие по трактирам. Мимоходом только останавливаются они у Главного дома и, Бог весть, в каких занятиях проводят вечер, когда стемнеет и начинается торговля новых лиц, также приехавших из Москвы, Ярославля и ближайших к Нижнему губерньских городов, всех этих рудневских и иных красавиц aus Riga, aus Reval и даже aus Hamburg und Lübek.

Всюду видно кропотливое желание продать, навязать товар, как это встречается на любом толкуне в столицах. Но этого торгового движения целой России, движение нескольких миллионов рублей, собственно предполагаемой ярмарки, в том значении, как мы привыкли понимать до образцам других губернских городов с ярмарками, решительно, против ожидания, не видно, не заметно. Ярмарка налицо, но ее торговля, движение? Мелочные покупки в лавках нижегородских жителей решительно ничего не значат. Ничего не доказывают и это множество лавок, которые целый день, по-видимому, стоят отпертыми без цели, и эти хозяева, которые пьют чай решительно в невозмутимом спокойствии, заботясь, кажется, только о том, чтобы вовремя передать горячий стакан из одной руки в другую и не обжечь себе ладони и пальцев. Весь Гостиный двор пройдешь из конца в конец, и не заметишь предполагаемого движения ярмарки; не удивит незначительное движение, немного больше того, какое встречается в любом гостином дворе любого губернского города. Нередко, впрочем, виден перед рядами, в которых производится оптовая продажа, десяток возов, которые нагружаются шерстью, цибиками чаю, бочками: сахару, вин и пряностей. При этом, всегда и неизбежно, заметны, как и на перевозе, широкие, богатырские спины татар и их изрытые оспой лица: вся ломовая работа производится этими коренастыми, здоровыми татарами здешней и соседних губерний. Татары приходят сюда недели за три-четыре до начала ярмарки целыми артелями. Начальником артели в таких случаях от нанимающих хозяев назначается доверенный русский, которого иногда нетрудно и заметить тут же в синей сибирке с большою палкою. С ним легко свыкается рабочий татарин, делается ему, по-видимому, безропотно послушен, скоро выучивается и водку пить и при первом случае просит на чай за работу, даже острит и глупит не хуже другого рабочего из русских подгородных мужиков. Толь-

ко плохо еще говорит татарин по-русски, но во всяком случае делается далеко не похож на своего единоверца, например, обитателя дальних уездов Вятской губернии, на оренбургского, а в особенности на сибирского татарина.

Возы эти, нагруженные татаринном, дают вам еще некоторое право заключить о близости коммерческих сделок, но, взглядевшись в то же время в дороги, ведущие от Нижнего в Вятку, Кострому, Казань и Москву, и тогда уже делается несомненный полный разгар ярмарки. Нет, кажется, никакой возможности пробраться никакому экипажу между бесконечными вереницами возов, уставивших в своем медленном движении всю дорогу, со своими неизменными мужиками по сторонам — владельцами лошадей и длинной телеги, жителями или подгородних деревень или, по большей части, Муромского уезда, Владимирской губернии. Молча плетутся они по сторонам, страдая от всех перемен прихотливой погоды и только по привычке перенося скуку однообразного пути, на который обрекли они себя по нужде и по обычаю отцов и дедов. Три-четыре раза успевают они отправить доверенный им товар на свой страх и полную ответственность за его целость. Хозяева отпускают с ними только одного приказчика, а сами едут уже в конце ярмарки в вагонах, каютах, но всего больше на тройке, в тарантасе и в компании пяти-шести человек, из которых трое главных сидят в главном месте, один молодец на козлах, двое других позади, в каком-то мешке из рогож, отличающихся всевозможными неудобствами и неуклюжестью.

Вернемся на ярмарку и подивимся всем удобствам, которые предоставлены здесь торговому классу, начиная от подземного коридора кругом всей ярмарки, до избышек, сколоченных наскоро из досок и торчащих на каждом главном угле. Коридор подземный — отхожие места, выстроенные Бетанкуром так, что особым током воды они прочищаются почти во мгновение ока и служат, при чистоте своей, помещеньями и для курящих,

так как курить в рядах и на бульварах запрещено. Надпись на одной из избушек ясно говорит вам, что здесь:

Икс соменованой палик махтер и фелтъшал Иванов, в нов приехадшей из Москвы.

Таких не одна, а около десятка.

Выставленные в окнах другого домика портреты дают вам знать, что тут фотография, прибывшая из Петербурга, из Москвы, спустившаяся из города Нижнего на время ярмарки.

Невольно поражает безграмотность московской вывески, с претензиями на подробное исчисление всего, что может сделать хозяин, и краткой, почти лаконической вывеске петербургского человека, вывеске, которая большею частью пишется на двух, часто на трех языках и уже с гораздо меньшим числом орфографических промахов. В Москве: «продажа, торговля, лавка и т. п. разных овощных и колониальных товаров, табаку, цыгар, чаю, сахару, кофе купца Ивана К.»; в Петербурге: овощная лавка, «мелочная лавка № 1». Московские вывески словно дали вековой зарок ссориться с грамматикой; в Петербурге только уже чересчур пережитивший маляр поддастся соблазну и переврет, но зато в остальном — преимущество далеко на стороне Петербурга. Та же безграмотность замечается и в Гостином дворе, большая часть которого наполнена приезжими москвичами; редко, весьма редко заберется между ними приезжий из Петербурга, Варшавы или Одессы. За доказательствами ходить весьма недалеко: стоит обойти кругом ярмарки и пересчитать, сколько на этом пространстве выстроено различных трактиров, харчевен, рестораций и других заведений подобного рода. Чья прихоть развела их в таком огромном числе, при такой величине самого помещения, как не прихоть москвича, который не откажется по десяти раз на день пить чай вприкуску, со сливками и без сливок, с лимоном, с медом, с изюмом. А между тем эти трактиры едва ли не главный притон для всех коммерческих сделок.

По чистоте и убранству, наконец, по самому названию этих заведений можно, кажется, судить об относительном количестве совершаемых в них сделок. Здесь-то, можно сказать, заключается корень ярмарки. как выражаются сами купцы. Сюда-то сходятся они, чтобы заключить последнее условие, сказать друг другу последнее слово: «да» или «нет».

Дело, обыкновенно, производится следующим образом: купец, желающий купить по мелочи, является к тому, у которого есть то, что ему нужно. Покупщик кланяется, улучшает свободную минуту; несколько времени мешкает, переминается — он незнаком с продавцом; тот спешит предупредить его и спрашивает:

— Что вам угодно, почтеннейший?

— Да вот-с, желательно бы из сукон-с недорогих... ситцев московского производства... дардедаму...

— От каких и до каких цен? — спрашивает продавец.

Но покупатель желает видеть самый товар. Продавец приказывает приказчикам снять товары с полки, и, когда покупатель займется самым внимательным разглядываньем их, он спешит с ним разговориться; допрашивает, из какой губернии он родом, где производит торговлю и кто его рекомендовал ему. При получаемых ответах москвич придакивает.

— Тэкс, тэкс, знаем Ивана Спиридоныча. Отчего же вы по-прошлогоднему не обратились к Андрею Фектистычу? У них товар без обману; сами в фабричном деле обиход держат... на несколько тысяч товару производствуют.

Покупатель, человек, не впервые имеющий дело, знает, к чему ведет речь продавец, и потому тотчас же спешит рассеять сомнение и, если намерен покупать на чистые деньги, не нуждаясь в кредите, отвечает прямо.

Слово за словом, и покупатель уже назначает количество нужного ему товару, а затем:

— Позвольте уже, выходит, утрудить ваше досужество, на кое время попросить в заведение чайком побаловаться.

Продающий соглашается, отдает нужные приказания приказчику, а сам с покупателем отправляется в ближайший трактир. На пути первый спешит заговорить со своим покупателем. При этом кстати пожалуется на времена тугие, упомянет вскользь, что и он потерпел убытку на несколько сотен; расскажет какой-нибудь несчастный случай на перевозке, где от водополя и недостатка в перевозчиках подмочили у него товар рублей на триста и более. Тут же сошлетса на трудность найти и придержаться за честного, доверенного приказчика. К слову прихвастнет, что за всем свой глаз нужен; без того — хоть в гроб ложись.

Но вот они уже в заведении, где их встречают клоны хозяина трактира, буфетчика, двух приказчиков, приставленных для надзора за служителями. С радостью видит москвич во всем обстановку любого московского трактира. Те же маленькие столики с вечно мокрыми и сомнительной чистоты скатертями, накрываемые маленькой салфеткой; те же полоскательные чашки на столах; тот же песок на полу и морс на среднем большом столе, всегда готовый к услугам даром, без платежа пошрины; те же заветные парочки и вечный *кувшинчик* сливок; та же даровая закуска к водке, состоящая из куска ветчины или соленой рыбы с двумя огурцами и, наконец, те же половые в белых рубашках, с полотенцем на одном плече — бойкие ребята-ярославцы, охотники прислушаться к вашему разговору и, по мере средств и возможности, вмешаться в него, надеясь вполне, что их не оставят без внимания. Привычные люди, знакомые гости — москвичи, всегда готовы подразнить полового каким-нибудь не любимым им словом, разговориться с ним и отвечать на все его замечания, высказываемые всегда отборными выражениями, большею частью заимствованные у своего

же брата, который знает грамоте, в досужий час почи- тывает романы московского изделия и вслух читает но- вые газеты, кривотолком объясняя места темные.

Кучкой, расправляя бороды и разглядывая до по- следней нитки своих гостей, стояли половые подле сто- ла, когда вошли новые гости. Мгновенно все они пере- мешались, засуетились, хватаясь как угорелые за кучу салфеток, пока один, побойчее прочих, не отделился вперед. Подойдя к столу, он разложил салфетку, опра- вил ее, бессознательно повернул полоскательную чаш- ку, вытер, поставил ее на салфетку и вопросительно перебежал взглядом с одного гостя на другого.

— Три парочки чайку, да смотри хорошенького: са- мого, знаешь, лучшего! — говорит покупатель.

— Лансену, что ли? — спрашивает несколько грубо привычный половой. — Чашек-то две принести, лимо- ну али сливок?

— Вели *собрать* цветочного, да лимонцу два кусоч- ка принеси, хорошенького, — отвечает заказывающий.

При этом он самодовольно потирает руки и начина- ет общелкивать пальцы, в то время как продавец бес- сознательно обследует со всех сторон полоскательную чашку, и, Бог знает с какою целью, щелкает в ее доньш- ко своими пятью ноготками. Видимо, они еще не освои- лись, а продолжать давешний разговор, прекращенный ответными поклонами хозяину заведения и его приказ- чикам, находят теперь уже решительно излишним.

Не проходит пяти минут, половой уже мчит на всех парусах, растопырив руки и живо передергивая плечами. В одной из рук мотается приподнятый выше головы поднос с чашками и двумя чайниками, которые, Бог весть каким чудом, не падают на пол и, кажется, только чисто акробатической ловкости служителя обязаны этим спасением. Половой не поставил, а лов- ко бросил поднос на стол, причем посуда страшно за- звенела, но, к удивлению, осталась цела. Он отскочил и опять дал знать о своем присутствии подле стола, мет- ко бросив серебряную ложечку прямо в чайную чашку,

причем ложечка жалобно завизжала и раза три перевернулась с боку на бок. Половой опять отошел на свое место к столу и, обкусывая бороду и подпершись локотком, искоса наблюдал за своими гостями.

Покупатель долил чайник, сполоснул чашки, налил их и, придвинув блюдечко с тремя парами сахару к гостю, просит его угощаться. Гость снял один кусочек, перекрестился, налил чаю из чашки, растопырил свою пятерню в виде рогульки и, уместив на нее блюдечко, начинает пить, прищелкивая сахаром решительно в гомеопатических приемах. Половой продолжает обкусывать бороду и наблюдать своих гостей. Оба они выпили чай. Один закрыл чашку и положил на ее донушко оставшийся в руках кусок сахару. Тот, который заказывал, сбросил сахар и вскрыл чашку, сухо промолвив:

— Не в одолжение!.. уважьте еще чашечкой!

И тотчас же спешит долить последнюю чаем.

Половой продолжает наблюдать и видит, что у купцов дело совсем не ладится. Его привычному взгляду нетрудно угадать в них продающего и покупающего. Половой переступил с ноги на ногу; перекинул полотенце с одного плеча на другое, оправил рубашку и, отодвинувшись немного от стола, начинает опять наблюдать за ними. И вот, наконец, к крайнему его удовольствию, заказывавший догадался и, подзвав его сначала звонком в полоскательную чашку, а потом пальцем, говорит ему:

— Принеси-ко, молодец, графинчик очищенной... али какую вы более уважаете? — продолжал он, обращаясь к своему гостю.

— Что до нас, то все едино-единственно, какую прикажете-с! — отвечает тот и заметно повеселел.

— Так уж поуважительнее по крайности графин принеси, да и рюмочек-то, знаешь, хозяйских подай!..

С теми же ловкими порывами и громким звоном поставил половой на кончик стола требуемый графин с куском ветчины и двумя огурцами на тарелке. Затем он

опять скрылся, чтоб принести нож и вилку, разрезать закуску и вывалить целую ложку крепкой сарептской горчицы, от которой у купцов зажжет во рту и захватит дыхание. Половой опять станет наблюдать и, если не позовут его на новую услугу уважить парочкой чайку или порцией селяночки, он заметит у своих гостей большую перемену: после первой же рюмки, сопровождаемой криканьем и обтиранием бород, они делаются заметно разговорчивее. Первым начинает покупатель:

— Так как нам очень нужно товар этот получить во свое во владение, то соблаговолите уже назначить ему и сумму безобидную. Вам, значит, продать без убытку, а нам купить без оного.

— Да вот что, — отвечает продавец, пережевывая закуску, обтирая вытребованной салфеткой рот и руки и придвигая уже налитую чашку. — Если вы теперича, выходит, перводобротного самого купите, то дам вам на редкость лучше, чем вы сами отложили, а уж на брак так мы и цены накладывать не станем... Так уж для первого знакомства, чтоб уж и вперед нам компанию и дела вести.

— Всегда, выходит, покупатели ваши! — перебивает его первый, и при этом приподнимается и кланяется. Продавец дает ему руку через стол, так же привстает и так же низко кланяется. Они уже знакомы и, по-видимому, довольны друг другом.

— Так как же теперича цена ваша будет, добротному-то?..

Покупатель, сколько заметил наблюдающий половой, съежился, даже покраснел, как бы и не рад был, что так скоро приступил к концу, не догадавшись оттянуть ее подальше.

Продавец медлит, покупатель наливает еще две рюмки и просит *пригубить*.

— Очень благодарствуем... и опять-таки не будет ли? Я вот лучше чайку еще плошечку выпью! — церемонясь ответит гость и придвинет чашку.

— Нет, вы уж не беспокойтесь: чай-то и опосля можно. Нас ведь, к примеру, водка не разорит; только будем друг другу в одолжение делать, чтоб и напредки в обязательстве происходить. Прошу покорно!.. Послушай-ко, молодец, вели-ко нам обрядить соляночки московской, да посолонее, капусты вели накрошить побольше.

Половой пристукнет каблуком, монотонно, скороговоркой объявит буфетчику о желании купцов и мелкою дробью слетит с лестницы в то время, когда покупатель успеет опять напомнить о назначении цены.

— Без лишнего, почтеннейший, — ответит ему продавец. — Для ради первого знакомства сделаем и уступку. Вот, положи руку на сердце, если вам на чистые — по полутораста целковиков за партию, а то продаем и дороже!..

Покупщик не соглашается, дает свою цену; продавец долго крепится, говорит, что нынче и матерьял и рабочие стали дороже: почти что, дескать, не из чего и биться. Но ведь и покупщика — старого воробья на мякине не обманешь; он подается ленивее самого продавца.

Солянка между тем съедена; графин опростан, но купцы еще ломаются: окончательно не сошлись в цене. Только к концу чая они заметно подаются и мало-помалу убеждаются в том, что нельзя же одному без барыша, а другому купить с убытком. К тому же цены и тому и другому известны хорошо, так хорошо, что, принимая во внимание и самое время и другие зависящие от него обстоятельства, они друг перед другом не останутся в больших барышах, а свое возьмут безобидно.

— На угощеньи благодарим покорно! — говорит продавец, берясь за шляпу и раскланиваясь.

— Просим не прогневаться! — отвечают ему. — Уж, выходит, теперича извольте и задаточек получить...

— Обойдемся и без оногo, — отвечает продавец, — милости просим теперича товар получить; а мы во всякое время готовы, пожалуйста!

Отдавши товар новому хозяину, он обязан, в свою очередь, для поддержания знакомства на будущее время, угостить его, по окончании сделки, по крайней мере обедом, если, что называется, *не расхарчиться* на большее. Впрочем, тут частую и большую роль играет шампанское, обыкновенно тотинское (Тотина), которое сплошь и рядом уходит за Кликко и Редерер.

Вот вследствие каких обстоятельств целые десятки трактиров, окружающих Гостиный двор, всегда полны народом и нет, кажется, ни одного места, которое бы в таком количестве зашибало копейку, как заведения подобного рода, если не принимать в расчет те, которые расположены за Московским шоссе. Недаром же хозяева трактиров употребляют всевозможные приманки для тороватых хозяев, у которых, кроме главной мысли о торговле, замечаются и другие наклонности, сродные иному человеку в минуту прилива денег. В нескольких трактирах для услаждения слуха посетителей ревет целый хор московских цыган с гиком и диким выкриком, который решительно заглушает треньканье гитары или торбана. Издали он кажется вам простым криком пьяных певцов, вблизи делается довольно сносным или, по крайней мере, поражает некоторою стройностью голосов, согласно аккомпанирующих друг другу после хоровых вскрикиваний. Наконец, хор этот способен привлечь полное ваше внимание и затронуть даже кое-какие струны чувствительного сердца, когда начнет петь solo какая-нибудь Лиза или Танюша. Но отходите дальше от этого буйного хора, если у вас нет особенного желания истребить все заготовленное хозяином трактира количество бутылок шампанского. Предоставьте это тем, которые исподтишка от отцов и хозяев бурливо тратят свободное время.

Есть на ярмарке другие трактиры, в которых происходит то же, только несколько в тесных рамках. Там какая-нибудь смазливенькая немочка-арфистка, умеющая говорить и по-польски и по-французски, страшно

жеманясь и, кажется, стесняясь собственными приемами, несколько похожими на приемы горничных, подойдет к вам с засаленною тетрадкою нот и попросит на починку арфы. Не стесняйтесь: кладите гривенник, пятиалтынный — здесь всем довольны; от вас большого не потребуют, а и откажете — за вами не будут следить насмешливым взглядом, не будут делать оскорбительных замечаний на ваш счет, замечаний, которые в другом месте долетят до ваших ушей и оскорбят ваше самолюбие, если только вы несколько обидчивы. Не дадите... но едва ли вы не дадите хорошенькой девушке, которая стоит долго, готова отвечать на любезности. И посмотрите: она, словно маков цвет, раскраснелась. Ей, кажется, даже совестно незавидного своего положения тут, среди этих людей, которые чуть не во все горло говорят о ней замечания, и ждут со страхом, что вот и к ним подойдет она. Арфистка действительно подходит к сидящим, но не ко всем: у ней уже замечено несколько господ, которые раз отказали ей. Компания других всегда спешила кончать угощение и братья за шляпы при первом появлении арфистки с засаленными нотами. К ним не подойдет она, но зато охотно подсядет и с полчаса полюбезничает со знакомым и тороватым господином, с которым она без церемонии, и даже сама назначает ему сумму в рубль, два, три и больше. Он вчера только, может быть, пил здесь шампанское и портер, и заказывал арфисткам свои любимые песни. Подосланная девушка особенно любит подходить к тем посетителям, которых видит здесь в первый раз в жизни или в первый раз сегодня, когда они только еще успели взойти; на это у арфисток глаз острый, хотя голос всегда почти надтреснутый.

Вот и теперь обратилась она к двум купцам, совершающим сделку.

— Извините! — говорит тот, который только что дразнил полового какой-то «горчицей с молоком» да «перемыславскими сельдями».

Она обращается к другому.

— Нет уж, барышня, мы ведь не молоды, да и не за тем пришли, признаться. Вот похоломимся чайком, да и уйдем.

— Ужотко, барышня, наши молодцы вечерком пойдут, ты вот коло них-то пофинти. Этот народ похотнее хозяев. Коли к водочке пожелание имеете, так милости просим — велим подать.

В некоторых трактирах поют даже знаменитости, сошедшие со сцены, но уже растерявшие известность по всевозможным ярмаркам; и голоса с изъянцем и поют они весьма фальшиво, хотя с большою бойкостью и навыком. Неприхотливый вкус посетителей в других трактирах легко удовлетворяется испорченным органом или даже просто шарманкой, которая шипит им камаринскую или щелкает какую-нибудь «жил-был у бабушки серенький козлик», и т. п. модное по сезону и политическому настроению общественной столичной жизни, но с перевесом и преимущественным влиянием Москвы.

Настает пора обеда. По рядам чаще стали показываться разносчики, но не в таком огромном числе, как в московском или в здешнем Гостином дворе. Причиною тому, вероятно, также близость трактиров, где ожидают проголодавшегося огромные московские порции кушаньев, из которых одна в состоянии насытить вас, а один обед всегда подается двум посетителям; но и тут, кажется, трудно обойтись без остатков. Если прискучат жирные трактирные кушанья и хочется отыскать разнообразия, и притом тут же, на ярмарке, не делая шагу дальше, к услугам оригинальные армянские кухни. Стоит только пройти мимо этих мастерских на свежем воздухе, в которых перешивается старое платье и шьются личные сапоги, и глазам являются два балагана, из которых клубами несется масляный дым. Внутри балагана простые деревянные скамейки, накрытые коврами, перед маленькими столиками, на которых пока еще ничего нет. Это-то и есть армянские кухни. Войдите туда,

если хотите, но имейте терпение перенести духоту, которая наполняет балаган, и не обращайтесь внимания на господствующую там нечистоту, какая только и может попадаться в учреждениях такого рода. Без подобной решительности вы откажете себе в удовольствии есть пилав, кебаб, шашлыки и другие национальные армянские кушанья. Если нечистота эта сильно поражает, и непонятно, каким образом можно сидеть тут и есть эти жирные кушанья, — оглянитесь кругом и успокойтесь. С тою же целью пришли сюда все эти господа, не только прилично, но даже роскошно одетые, все эти грузины, персияне, армяне, привезшие в Нижний свой шелк шемаханский, свои платки и материи шелковые — бурсу, канаус, свои ковры, кизлярские вина и т. д.

Какой-то аферист, оренбургский татарин, ежегодно пригоняет сюда штук до пяти кобыл, сухих, изможденных, и сверх того привозит несколько бочонков с заранее заквашенным кумысом. Пройдя китайский ряд с его оригинальными киосками и целыми грудами цибиков чаю, вы вступите на мост, с которого открывается с одной стороны сибирская пристань на Волге, а с другой, за широким Мещерским озером, поле и дальнее село за черным лесом. На этом-то поле, на мыску, образованном озером, палатка, около которой привязаны приведенные татаринном кобылицы и воза три с бочонками кумыса. Гугнивый татарин раскинет под ноги ковер; вы должны сесть и поджать ноги, иначе рискуете ушибиться головой о козла палатки, которая крайне узка и низка. Татарин продает кумыс в бутылках и штофах; наливает его в деревянные чашки; хвастается тем, что целого штофа не выпьешь — при этом покажет сначала на голову и покачает ею, а потом на ноги, прибавив:

— Неможно, а садись, а ноги неможно!..

Он, видимо, рад угостить своим добром, уверяя, что кумыс не свежий, а уже достаточно выбродившийся, что напиток этот очень здоров, и при этом расскажет

случай, как один барин из Петербурга приезжал к ним пить кумыс эдаким (татарин показал валяющуюся на ковре соломинку), а на зиму уехал вот каким (татарин размахнул руками на сколько можно было в его узенькой палатке). Вы потчуете его папироской, он берет, но не курит.

— Отчего?

— Жена... бранит! — говорит он в ответ, указывая на свою старуху, почти всю укутанную в какую-то темно-го цвета тряпицу. Татарка в это время доит кобылицу.

Мимо мечети и рядов, наполненных целыми кучами невыделанных кож, где хозяевами сидят исключительно одни татары, можно пройти на сибирскую пристань, с которой во время ярмарки производится отправка пароходов всех четырех обществ, которые и имеют здесь, по этому случаю, свои временные конторы. Но здесь, кроме огромных груд всякого товара, бесчисленного множества возов, то и дело прибывающих и отъезжающих, ничего не встретишь, но зато ясно видится результат ярмарки. Это, кажется, единственное место, где она принимает свой настоящий вид. Тут уже нет тишины, тут уже не видно прогуливающихся, как в Гостином дворе, но все это труд. Здесь суетливость не бесполезна, но направлена к известной, прямо положительной цели. Если утомителен этот однообразный вид ломовой работы, вид рогож, веревок, крючьев, поспешите на ярмарку, — там, вероятно, уже играет по рядам музыка, направляющаяся к главной цели своей (на целый вечер) под арки Главного дома. Но пройдите все ряды два, три, несколько раз взад и вперед, и здесь не найдете ничего оригинального, резко бросающегося в глаза. Всюду страшное однообразие, к какому привыкает столичный житель и какое дня на три-четыре еще может занять провинциала, незнакомого с разнообразиями суетливой, деятельной жизни. Здесь те же наряды и то же гулянье, те же перерыванья в лавках, одним словом, все то же, как и везде, и Нижний в этом случае

не представляет ничего самобытного. Вот проскакал на лихой паре соседний богатый помещик, который привез с собой много денег для покупки и других экстренных расходов. Вот рыщет целая компания ниже городских чиновников, явившаяся погулять до позднего вечера, чтобы потом в общественном, неуклюжем omnibusе выбраться на подъем в городе и разбрестись по всем этим Варваркам, Покровкам, Печоркам... Вот отца семерых детей вытащила его хозяйка, вырядив в праздничную сибирку и заставив расчесать седую бороду. Впереди родителей идут дочки молоденькие, хорошенькие, в пух разряженные; какой-нибудь приказчик или сын знакомого, при встрече с ними, сгорит со стыда, неуклюже сдвинет шляпу и, страшно кобелясь и поглядывая искоса, раскланяется и зашуршит по песку ногами. Вот вырядившийся по последней моде приказчик вышел кстати из своего магазина — людей посмотреть и себя показать.

Магазины, по всем главным линиям, хорошо обряжены, с теми же огромными зеркальными стеклами, за которыми выставлены всевозможные приманки для гуляющих покупателей. Вот, наконец, и этот человек, всегда небритый, вечно общипанный, всегда веселый шутник и всеобщее посмешище, без которого едва ли в состоянии обойтись хоть один в свете Гостиный двор; для него шутник едва ли не столько же необходим, как и разносчик с лотком, наполненным всякою снедью. Человек этот — или лучше жизнь его достойна подробного описания, потому что это один из тех людей, которые в молодости подают кое-какие надежды, но к старости, в зрелые лета, делаются ни к чему негодными и достойно заслуживают осмеяния и шуток порядочного человека. Эти люди в частности не похожи друг на друга, но в общем поражают вас изумительным сходством. Главная цель их добыть, вымолить у вас возможными шутками небольшое количество денег, достаточных для того, чтобы к вечеру быть пьяным. Это какой-нибудь

прощельга, забубенный забулдыга, по выражению простого народа, — кабацкий завсегда, попрошайка, вот как бы, например, и этот человек, которого вы каждый год встретите на Нижегородской ярмарке. Без него даже сомнительною кажется полнота ярмарочных удовольствий для торгующего класса. Приехал он за весьма сходную цену. Переночевав где-нибудь в канаве, он на другой же день спешит отправиться для обревизования ярмарочных трактиров и находит их решительно набитыми посетителями. Забулдыга самодовольно улыбнулся, отошел в сторону, вытащил из кармана берестяну, юветлужского производства, тавлинку и угостил себя до слез костромским зеленчаком, потом оправился и подошел к первому столу.

— Бедному прохожему! — говорит он, протягивая руку.

Его не слушают, а если и слышат, то не дают ничего. Он направляется к другому столу и уже успевает обдумать новую фразу для просьбы. Лицо его искривляется улыбкой; он кладет голову на плечо, делает возможно смешную гримасу, руки прячет назад и разбитым голосом говорит гостям, которые пьют водку:

— Попросил бы я у ваших степенств рюмку водки, да ведь, поди, не дадите.

Шутка попала прямо в цель с полным успехом — шут крикнул, выпив рюмку, и начинает опять:

— Вот теперь — так хоть на спор готов идти, с кем угодно, что не дадите другую!..

И эта шутка удается ему как нельзя лучше: с ним начинают шутить, над ним смеются; он входит в свою роль и, будьте покойны, не останется внакладе, т. е. получает третью, иногда четвертую рюмку, после чего ему уже сердито и грозно приказывают отойти прочь. Он громко стучит ногами, повертывается на каблуках, руками шибко ударяет по боку и марширует с выкриком: «раз-два, сено-солома», к соседнему столу, перед которым вытягивается в струнку и выкрикивает громовым голосом:

— Здравия желаем, господа купцы именитые, благотворительные! Жертвуйте старому кавалеру пятиалтынный на подметки!..

По окончании такой речи он спешит даже показать свои измызганные сапожищи и, получив просимое, делает опять налево кругом и таким образом обходит все столы, перед каждым придумывая новые шутки. К вечеру он уже, что называется, готов и валяется где-нибудь за рядами до нового утра, с которого опять начинается его побирайство.

В середине ярмарки человек этот Бог весть откуда успеет набрать целый оркестр музыкантов, состоящий из двух татарчонков со скрипками, разбитыми и ни к чему негодными. Но забулдыга об этом нисколько не заботится. Он сам берет лукошко, обтягивает его кожей наподобие барабана; барабан этот ставит под ноги, в руки берет гармонику, садится на стул, татарчонкам велит играть, что им придет в голову; сам же гудит разладицу. Татарчонки пляшут, он вздергивает плечами и свищет; нескладная музыка гудит, пищит, щелкает. Оркестр готов. Сам капельмейстер играет разом на трех инструментах; товарищи его играют и вместе с тем пляшут — чего же лучше? Цель достигнута, все смеются его выдумке до тех пор, пока она достаточно не наскучит, и бросают в шляпу подставного мальчишки-попрошайки трехкопеечники, пятачки, гривенники, а в счастливый час и полтинник. Мальчишки дня на два сыты, сам капельмейстер пьян, и все, стало быть, остались при своем и не в убытке.

Между тем незаметно настает вечер; густой мрак опустился на всю ярмарку и ее окрестности; ярче других мест освещены площадки перед Главным домом, где толпятся неопределенные тени, с одной стороны, для найма извозчиков в город, с другой — с таинственной целью. По бульвару шмыгают взад и вперед другие тени; некоторые сидят на скамейках, — сколько позволяет различить это тусклый свет фонарей, слабо

мерцающих у Гостиного двора, который весь уже заперт, кроме пяти-шести чередовых магазинов. Хозяева их забрались на верх своих номеров, где в маленьких комнатах пьют в десятый раз чай и ужинают вместе с главными приказчиками. Хозяева скоро лягут спать, приказчики... но не трудно сказать, как они проводят время отдыха в ту пору, когда хозяева их спят непробудным сном: приказчики закатываются в Кунавино, в места подешевле, чтобы не столкнуться с «самими». Вот уже в редких окнах над лавками мерцают огоньки, бросающие свой слабый свет на бульвар и мостовые. Под арками Главного дома еще гремит некоторое время музыка и толкается огромная масса гуляющих. Музыка к десяти часам кончится. Персияне и армяне к одиннадцати спешат напиться чаю и, закусив всухомятку, запереть свои магазины, чтоб тут же улечься спать до другого утра, когда нужно вставать рано. Толпы гуляющих, после ухода музыкантов, делаются все реже и реже, под арками становится тише, огонь гасится. Сквозь отворенную дверь к Оке несется прохлада, слышен стук сторожей в доски, дальний лай собак из города и последний звук рожка отъезжающего омнибуса.

ПОСЛЕ ЯРМАРКИ

Развеселое ярмарочное время давно миновало. Ярмарочное место запустело. Теперь оно представляет тот уныло-пустынный, тоску наводящий вид, который неопратно глядит и неприятно поражает везде, где вчера кипела жизнь, тысячи людей, суетясь, торговали, пили, пьянствовали, резвились, пошаливали, грешили и не каялись, — сегодня нет ни живой людской души. Беспорядочно валяется без употребления все то, что служило для дела. Ярмарочное место казалось бы совершенной пустыней, если бы не приходили сюда из Кунавина свиньи пропитаться от остатков праздничной трапезы, которая и тянулась долго и была весьма

обильна. Старики-купцы такую и примету имели, что если свиньи близко Главного дома стали шататься — ярмарке скоро конец (все устали и надзор ослабел). В Ирбите другая примета: ярмарке скорый конец, когда попы по рядам пошли (это последние покупатели на более дешевый остаточный товар).

На берегу Оки по вешнему толпятся обозы, выжидая очереди и парома: плашкоутный мост, составляющий одну из праздничных принадлежностей, после ярмарки снимается. Московское купечество, корень и воротило ярмарочной кутерьмы, давно уже шатается по заветным московским трактирам. Ближние иногородние успели уже поделиться со своими покупателями свежим товаром; дальние, если и добрались сами, то еще долго будут обещать своим потребителям скорую получку товаров: с собой они привезли только дорогой, невеский, на дворянский вкус и блажные деньги. Приволжские покупатели уже почувяли, что кое-что и вздорожало (напр. сахар), кое с чего цена сбавилась (как напр. с бумажных товаров), но отчего, в силу каких обстоятельств: — о том и сами купцы толковать не умеют. Прежде бывало, понятное дело.

Сначала цен нет. Чай развязывал руки. Сибиряки при деньгах. Закупали они мануфактурные товары для Сибири и на Кяхту для китайцев. Закуп большой: деньги из сибирских карманов переваливались в карманы московских, ивановских и других фабрикантов. Эти начинали шевелить шерсть, хлопок, краски, металлы; а гудело железо — значит пошли гулять по ярмарке крупные деньги. Тогда-то устанавливались и цены: незачем было дольше прислушиваться: садись — принимай гостей; ступай — покупай товар.

Теперь все как-то вверх ногами встало. Кяхту убил шанхайский чай — это верно. Многие кяхтинцы так и решили: от чаю отстать и искать новых занятий; с тем и домой, как слышно, уехали. Железных торговцев прижали, вынудили разбить партии и пустить товар

враздроб, себе на убыль; и их дело из обычной, веками налаженной колеи, выскочило и не выплясалось. Начинается теперь ярмарка не с чаев, а необычным делом с дешевых бумажных товаров. Промежду старыми — врезался новый покупатель — крестьяне — и еще больше перепутал: забравшись товаром, скрывается и ярмарочное дело не вменяет в праздничное, не пьянствует. Сибиряки были не сильны, а потому мало видны и остались на глазах, за отвалом только, пестрые ситцевые чекмени, разрезные висячие по спине рукава да бараньи шапки закавказских армян — не больно сильных, но сильно ловких торговцев. Товару по обыкновению они нахватили много, и самого плохого, и самого разнокалиберного: армянин, как известно — на одном товаре не усидчив, любит веселое разнообразие галантереи. К тому же он на деньгу бережлив и ею не силен, а дешевый товар предпочитает хорошему потому, что дешевый скользит на Кавказе во все стороны; а за Кавказом и захочешь хорошего, да взять его негде: вся торговля в ловких армянских руках. Хорошего товара не много увезли и русские торговцы: хорошим товаром и сама ярмарка мало торгует. Где ни посмотришь — все дрянь; кого ни спросишь: «все — говорят — залежь, такой уж товар ярмарочной, особенный бывает».

— Не от этого ли и торговать плоше стали? — спрашивали мы, сидя в вагоне и возвращаясь в Москву в соседях с купцами.

Нам отвечают:

— Покупатель подобрался. Помещиков совсем не видать. Нонешний покупатель серенький, тихонький, клюет полегоньку и норовит так, чтобы ни видно, ни слышно: кто бы-де не приметил и не избидел. Осетры-то вот которой год не вязнут?

— Да с той поры, как стало меньше народу на ярмарку ездить, — поддержал нашего соседа другой сосед. — Денег нет, кредит упал: скоро и ярмарке конец придет; чугунки строят, телеграфы ведут, долго ли до беды?

— И слава Богу! — вздохнул третий.

— Чего «слава Богу?» — спросили все вместе.

— Безобразию-то этому конец: ярмарке-то Макарьевской. Ведь, бесстыдница, пуще на кабак похожа, нежели на двор Гостиной. Я вот не первый десяток лет смотрю на ярмарку: какой на ней первый и самый ходовой товар и притом на всякую руку? Зелено вино с товарищами: мадера, коньяк, шампанское. Будь на место грязной воды в канавах кругом ярмарки и в озере Мещерском напитки эти — высушили бы. Протекай Ока зельями этими, я бы и за нее опасался — обмелела бы. Нынче ярмарка отмену имела: выставок на перекрестках не было. За то, что ни самокат, то в одном углу — кабак, в другом — полпивная, трактиров несветимая сила. В театрах пьют, дома пьют, натошак пьют; в части за пьянство переночевал; выпустили — опять в кабак пришел. Ярмарка всех споила; чего хуже — татары спились, магометов закон презираючи. Да пушай уж это повсеместно так, по всей России, а то ведь худо, что поговорка московская на ярмарке в Нижнем что пословица, как закон какой: с покупателем выпьет, с приятелем выпьет, с продавателем выпьет и сам по себе тоже выпьет.

— Я вот от старых приятелей такие повести слышал о том, как они водятся с иногородними покупателями. Расскажу, как запомнил. Приятель мне сказывал:

«Живут на городах люди, деревенеют как-то. Приезжают в Москву к нам, чудные какие-то. Пуще всего дикий народ из Сибири идет. Хороши, однако, и те, что в России по глухим городам ведут торговлю. Все уж они и пекутся там из муки непровеяной; да к тому же и позалеживаются, еще пуще черствеют. И выходит из иногороднего совсем другой человек. Приедет в Москву, станет говорить с тобой, смотришь — поверх всего словно бы плесень какая выросла, ничего и не видно. Кремень ли он в сам-деле или только такую фанаберию накинул. Разговор ведет необычный, чудной какой-то; товар ему

накладывай, чтобы сплошь был добротной, цены кладет такие, что по его понятию лавку запирай: торговать не из чего. Потому, когда мы ближе к делу идти хотим, прежде всего плесень с этого народа соскабливаем: без того ты с ним ничего не поделаешь. Плесень полощем на городских показах и погляденьях, а сердце и нрав умягчаем на трактирных и других услаждениях.

А как такие дела еще родители наши пригоняли, по тому в Москве все уж и приспособлено так, как надо. Город Москва, так надо полагать, вся для торговых людей выстроена; неторговому человеку в ней и дышать нечем. Так уж от сотворения мира там признано. Прежде баре жили, теперь повывелись: мор пришел в недавнее время, всех повыбрал.

Вот мы и начинаем иногороднему Москву показывать, шлифовать, значит, так как он совсем железный человек: ему надо протереть глаза, просветить надо.

В Кремль милости просим; сот шесть лет всякую диковину из разных земель туда собирали — есть что поглядеть. Вот, мол, ворота, в которые не пройдешь в шапке, обругает тебя солдат таким манером, что и родным своим не скажешь. Есть и такие ворота, что и в шапках проходить позволяют. Есть и такие, каких и совсем нету: зовем только так воротами. Пушка большая, из которой никто не стрелял, колокол разбитый, в который никто не звонил. Колокольня — Иван Великий — самая высокая и вид за Москву-реку такой, что, сказывают, и в иностранных землях поищешь. А пойдешь по другим всяким диковинам — счету не сведешь. Ходи да диву давайся.

Показывают иногороднему все эти диковины, он как бы и помягче станет: вздыхать начнет, голосом ослабевает, говорит шепотом, оглядывается.

— Забрало — думаем. А чтобы в конце он размяк, возим его еще больше и дальше.

— Слушай-ко, вон на Спасе часы играют молитву, а на Чудовом картину посмотри: с какой стороны ни подойдешь, все разное кажет.

Замотаешь его так-то: плесени-то на нем как будто и нету. Полоскать его! В трактир! К тому же устали. Вот отсюда первая наша наука и начинается.

В трактире глядишь и смекаешь, если баран он, так какой такой: не бодливый ли?

— Ну-ко, мол, молодец, разных. Какой угодно: желтенькая дроздовка на желудок хорошо действует, изумрудная листовка на вкус очень приятная, а заграничный померанец и лекарственный и полезительный.

— Чем закусить?

— Рыбкой.

— Ну да, как не рыбкой?! Рыбку в Москву чуть не на почтовых тройках возят. Сегодня ешь, вчера в Волге выловлена. Хорошая рыба со всей России вся на одну Москву идет. Кушайте!

По другой пропустили.

По третьей чокнулись. Свежей осетринкой застегнули. Гость и подпояску опустил и рукава засучил. В благодущие вступить намерен, да мы не позволим.

С молодых лет этой вороне твердили одно, что Москва на благодущии каменные палаты выстроила и занобила сердца русские. Хлеба-соли на всякого станет, за чужой не бегает. Спрашивай, сколько влезет; ешь, чего хочешь. Все найдем.

— Блинов хочешь? есть воронинские: язык проглотишь. Квас бутылочной: ворота запирай. От пива угореть можешь; а розовый мед только бархатным барышням пить, не мужичью хохлатую бороду мочить в нем. От старины это в руках наших! Растегая в Новотроицком, по свиной части и поваренному делу в Московском; чай у Егорова, рыбная селянка у Воронина. В губернаторской зале захочет сидеть и музыку слушать — водили в мраморную залу к Барсову.

— Вот сколько снадобьев всяких, чтобы заезжий кремень искру дал. А искру даст — это верно. Не то ведь мы и в Грузины, к цыганам закатимся. И нет того иногороднего покупателя, который в Грузинах не плясывал.

А чтобы чувствовала душа всякую радость и удовольствие — кладем на нее верное искушение, в руках бывалое и на опыте испробованное. У Московского такие лихачи ушами прядут, что у редких в Замоскворечье такие найдутся, да прикрикнешь — света не видно. И тверская часть в стороне и *трухмальные* ворота, каких нету, посторонятся.

— Ну-ко запевай почетную, да другую какую поглубже, со взломом, разухабистую.

Посмотрел бы я, кто из заезжих наших почестей не прочувствует, как цыганок напустим да станем кости править — на руках качать.

А так как дело к ночи и надо к жене поспевать, то и начинаем это дело с утра. В Кремле-то не задерживаемся, в трактире подольше сидим, а в Грузины подгоняем так, когда там народ в бани подваливать начинает.

Отдохнет там гость, на другой день опять лезет, ухмыляется. Понравилось. На голову жалуется. Понимаем мы это дело на Москве так, что опять, значит, играй с начала.

Берем радужную, для эффекту.

Ну — и играем, сколько влезет, в пять дней, а не то и в десять.

Нам это дело в привычку, так как этот иногородний — не первый. И сами рады, потому как не всегда так-то да к тому же на повадке мы возросли; нам ни-почем; к тому же пьяную-то эту науку еще пуще понимаешь. Больше пьешь — больше силы приобретаешь. Москва этакие дела в обязанность себе полагает. У нас один такой-то до того с иногородними довозился, что когда пошла мода бороды растить — пустил и он, так вместо волос-то у него перья выросли. А не пить нельзя, потому что крепнешь, а крепость эта вперед пригодится. Непривычному только это дело другой стороной кажется. Он, пожалуй, и зачумеет на тот случай, как мы все ворота отопрем. А отпираем мы эти ворота, когда

уж совсем друг с другом ознакомимся, когда распознаем: на какую водку гостя тянет, какая закуска ему пуще приглянется и на каком сорванце с ним говорить невозможно, на каком можно благодушествовать и всякий любезный разговор вести.

Крутится иногородний и все чумной. Который попроче-то, из угара этого и не выходит. С ним и дела уставляет. Мы в трактире, молодцы ему товары накладывают. И чем крепче завязал ты с ним дружбу, тем он тебе больше верит: товары берет и не проверяет. Наиграется вдоволь, нагуляется досыта; домой едет, об нас доброе слово везет.

А что ему мы? Ничего такого худого не сделали. Мы к нему всей душой и всем помышлением. В Нижнем встречаемся, полагать надо, как братья бы родные. День уж начинаем прямо с конца — “пить!”»

Рассказчика остановил сосед его вопросом:

— Сколько же вы тратите на такое удовольствие улаживать дело с иногородним покупателем?

— Ста по шести с брата приводится.

— По-моему, мало.

— Бывает и больше.

— Тут все равно — две, три тысячи: отпирай ворота — деньги не пропащие. Все эти деньги потребители внесут, за вас заплатят. Ведь не на малый же процент от гулянок и благодушие вашего товар в цене поднимается.

— Да вот как. Сибиряки дороже продают, зато круче их на гулянках этих никто не забирает. По нашим приметам: дальше город, да глуше место, народ приезжает сумрачный, а расшевелишь его да расположишь, — сильней такого народа на кутежах не бывает. Сибиряк, окромя шампанского, и вин никаких не понимает. Стали, однако, и они в теперешние времена устаиваться. Пить-то пьет, а сам оглядывается: не пролил ли. Деньги тратит, а кошелек считает: не промахнулся ли.

— А долго ли это безобразие продолжаться будет?

— Да вот пока навал живет на свете; а незнакомы с этим предметом, — я вам и про него расскажу.

Пока хозяин с гостем пьет и гостю глаза заливает, приказчики тем временем промежду хорошего и такой товар прокладывают. Где его тут весь-то перетряхивать, когда на виду весь товар клевоу? К тому же и поспешать надо: много времени на гульбу ушло. Опять же другой, которой попроче, как в Москве или у Макарья, это все равно, как зачумел, таким и домой уехал. Дома уже разбирает он, что пьянство до добра не доводит. А когда глаза протрет да смотреть начнет, — увидит, что товар-от отпущен больно худой. Просил одного сорта — дали другого; навалили и такого, что и вовсе не спрашивал и в фактуре его не показано; а так, дескать, мы не то чтобы по ошибке, а больше для того: авось, мол, назад не перешлешь — хлопотать надо. Опять же и вышлешь на сдачу, — какое мнение о тебе иметь можем? Значит: либо очень плохи дела твои, когда от дарового товару отказываешься, либо такой ты плохой купец, что и сбывать не умеешь. Да и лавка-то у тебя, может, в проходном ряду сведена углами-то в голубятню. Потому навал этот складывают городовые на полки, а чтобы не беременил досок да худой молвы не клал — ворошат и его, когда хороший на исходе. На навал и кредит без острастки и векселя такие, что и протестовать нельзя. Об этом товаре и разговор другой, разочтешься нынче — ладно, а то и до другой ярмарки погодим, потому что это добро и в Москве добром не считаем. Навал этот Москва выдумала и много на нем нажила денег; а для успеха его она приладила и то дело, что и сама спивается и других спаивает. Без пьянства и кумовства навалам не бывать и не держаться бы, а так как от них все города завалены московским товаром так, что иностранным и носу не проточить, то покупатель волей-неволей товар бери. А задешево он куплен, да самому на кредит отпущен, то при этих порядках городовому купцу можно и самому уважить покупателя, и ему на долг поверить.

Навал тут — как нельзя больше статья подходящая и для долговых оттяжек удобная. Соберет — не соберет: за ворот не хватают; а барыши от того все-таки к тому клонят, чтобы и из Макарьевской и из Ирбитской ярмарки делать праздники: есть что и выпить и закусить.

Стало быть, от одного горя, что покупателю есть вход, да нет выхода — на Руси три горя: торговать и пьянствовать, торговать и обманывать, торговать и в кредите вязнуть, в счетах путаться. Потребитель и пьянство мое оплачивает, и гульбе моей потворствует и на всякую мою блажь деньги дает. А почему? Потому что и он, как и я, в московских ежовых руках да к тому и необразован; товар потребляет, а не знает в нем толку и словно чем больше его расходует, тем меньше разумеет его — замечают наши товарищи городовые (купцы). В России, говорят, по губерниям дураков углы непочатые; а старики понимают это так, что какой бы несообразный товар на города ни навалил — городской купец его сбудет и деньги привезет.

Так вот, вся моя речь к тому: слава Богу, что московским порядкам приходит конец в Нижнем, у Макарья. Незачем покупателю платить за провоз товару в Нижний, чтобы получить его в Рязани, в Туле, в Калуге; незачем платить купцам за прожитье там и по тем блажным счетам, какие составляют в трактирах на ярмарке и в Кунавине. Слава Богу, что хоть поздно да смекнули настоящее дело и без ярмарки станут выписывать товар прямо с места заготовки. А пуще, слава Богу, что авось перестанут и болезни всякие развозить по России с ярмарки. Ведь до таких смехов дошло дело и бывалые люди мне сказывали: городской торговец и гостиную комнату дома обряжает так точно, как Руднев свою танцевальную залу: и мебель так расставлена, и зеркала такие же повешены, и занавески так точно прилажены. Кабы ведали про то жены купеческие!!

— Когда же этому безобразию конец?

Рассказчик наш на это не мог дать ответа, а тем временем мы и в Москву приехали.

ПОВИТУХА-ЗНАХАРКА

Лежит мужичок на полатах — сумерничает: *уповод* на дворе еще не поздний и в избах не зажигали лучины. Лежит мужичок и нежится, сон не берет его, а лезут в голову разные мысли: вот хотелось бы ему пройтись по деревне *на́большим*, чтоб всякий давал почет и ему, и хозяйке-сожительнице. А то — он и в выборных бы миру не прочь послужить, лишь бы не в сотских только.

«Замотаешься! — думает он — да опять же и про *на́большего* надумал, — не худо и *на́большим* быть — не выберут... Всякому, знать, зерну своя борозда, а давай нам тюру да квасу, было бы за что ухватиться и зубами помолоть... вот оно что! А что и Бога гневить: хозяйство веду не хуже кого: всего вдоволь — и скота, и птицы, и землицей мир не обидел; вон и ребятенков возвел. Не морю их, не пускаю по подоконьям...»

Мужик повернулся, скрипнул полатами, обхватил голову руками и опять призадумался:

«Одного не пойму, что хозяйка совсем захирела: вон лежит на печи, словно пень, али бо колода какая, а работающая баба, не во грех сказать: на печи-то ее не удержишь в другую пору. Совсем захирела баба, совсем: сел даве за стол — глядь: и щи не дошли, да и каша перепрела. Стал говорить: ответу не дает толком. Все на подложечку жалуется; не то дурит, не то обошел ее какой недобрый человек. Взял бы плеть... так время-то, кажись, не такое: по лицу веснухи пошли, да опять же и тяжелина...»

— А которая тебе, Мироновна, пошла неделя? — окликнул мужик сожительницу.

— Да вот; считай, с заговенья-то на Петровки: которая будет?

— То-то, смекаю, Мироновна, не пора ли?

— Ой, коли б не пора, кормилец! — всю-то меня, разумник мой, переломало: и питье-то долит, и ноженки-то подламывает, вот к еде-то и призору нет... ни на что-

то бы я, сердце мое, не глядела. Даве от печи словно шугнул кто: еле за переборку удержалась; в головушке словно толчея ходенем ходит; утрось пытало мотовать...

Мионовна не вынесла и заплакала; мужичок опять заскрипел полатами.

— Да ты бы, Мионовна, поспособилась чем!.. — заговорил он после продолжительного молчания.

— Напилась даве квасу, ну словно бы и полегчело. А вот теперь опять знобит. Душа-то ничего не принимает, разумник; позыв-то не на то, что следно брать: глины бы вон я от печки поела, пирога бы калинника пожевала...

— Нишкни-ко, нишкни, Мионовна, никак опять у тебя к концу ведет! Давай-ко Бог этой благодати на наше бездолье. Да смотри же ты у меня, опять рожай парня, а я, вот, тем часом пойду да баню тебе истоплю. Пораспаришь косточки-то — полегчает. Вот я ужо...

Мужичок слез с полатей, захватил топор, сходил истопить баню, вернулся назад, подошел к печи и опять окликнул Мионовну:

— Что, спишь ли, Лукерьюшка, спишь ли, кормилка? али уж тошно больно стало? нишкни же, нишкни, дока!.. вот я позову повитуху, добегу хоть до тетки Матрены!.. уж и мне-то, глядя на тебя, таково тошно стало!..

Мужичок махнул рукой, повертелся по избе туда да сюда и опять ушел вон.

Вот он уже у тетки Матрены — деревенской повитухи-бабки. Кланяется ей в пояс и просит:

— А я опять со своей докукой, тетушка Матрена. Большуха-то у меня калины попросила; опять никак на сносе: подсоби.

— Как же не на сносе, Михеич! По-моему, ей еще вечор надо бы... на тридцатую-то неделю шестая пошла...

— Не откажи! — просит Михеич. — Ты, вот, и Петрованка повивала, и Степанко, и Лукешка от тебя шли: прими — куды ни шло, еще какое ни на есть дитище. Рука у тебя легкая, — так по знати тебе и веру даешь: к другим нашим бабам и не лезу...

— Ладно — ну, ладно, Михеич!..

— Полтину-то я уж от себя сколочу, ну — там, поди, с кумовьев пособерешь: будет тебе за повит-от. Овчины я сейчас припасу, бери только бабу, да и веди в баню...

И Михеич опять поклонился в пояс; думает, задурит баба — заломается, хоть и за своим же добром пойдет; сказано: женский норов и на свинье не объедешь, — ни с чего иную пору чванятся. А поклониться ей, не надломить спины, не волчья же у мужика шея, не глотал мужик швецова аршина.

— Ладно — ну, ладно! — говорит повитуха, — а сколько ты посулил за повит-от?..

— Грешным делом полтину медью отвалю тебе, тетка Матрена; не стану врать — дам пятьдесят копеек: не ругайся только!..

— Ну, а припасы-то какие будут?

— Да уж на этом стоять не станем: приходи, да и хозяйничай. Я тебе и поросенка зарежу, и барана зарежу, куды ни шло! Сама и сметаны напахтаешь!..

— В кумовья-то кого позовешь?

— Да брат Семен будет и Степанида, Базиха Степанида...

— Что ж ты бурмиистра-то не попросил, аль заломался?

— Не то, тетка Матрена, заломался! да нужно ведь и честь знать. Вон Лукешку принимал, говорит: в последнее принимаю, ни к тебе, ни к кому не тронусь; изъяну, слышь, много, а крестники-то разве кулич принесут на Пасхе, а о Рождестве, глядишь, самим денег давай. И так уж их у меня больше десятка... Пускай, говорит, Евлампий-земской крестит, тому это дело совсем нанове. Благо ведь приохотиться, говорит, к этому делу, а там — подавай только...

— Так ты бы лучше земского попросил, Михеич, все же и тебе лучше. Вон он, толкуют, гужей накупил, дуги гнет — так лавку, слышь, открывает; кузницу, поговаривают, у Демки скушает...

— Лучше по родству, тетка Матрена, водиться; и Евлампий чванлив больно, богат — так и занозист. Мы ведь с тобой и в лаптях ходим да не спотыкаемся, а и брат — мужик хороший: три коровьи на дворе, опять и жена тяжела... Сама знаешь: тебе же на руку...

Еще раз поклонился Михеич в пояс, но повитуха Матрена не ломалась больше. Вдвоем стащили они роженицу в баню, и увидел здесь Михеич свою радость, хотя и не в первой уж раз. Видел, как повитуха дала роженице сначала воробьиное семя, а потом стакан вина и на закуску — кусок круто посоленного черного хлеба. Видел, как поили потом его жену пивом с толокном, и знал, что и вперед ей не будет запрета ни на какую пищу.

Вечером собрались у колодца две бабы-соседки — воды накачать, и повели пересуды.

— Смотри-кось, — говорила одна, — новый месяц никак народился, глянь-ко, мать, какой лупоглазый вылез; знать, на утре-то сиверком завернет...

— А видела, дева, как даве Михеич-то из бани выскочил?

— Нешто, родная, запарился?

— Чего, мать, запарился: сама-то, слышь, родила; ведь она на последях ходила...

— Кого же Бог дал: бычка или телочку?

— Опять, дева, парнем прорвало. Выбежал, слышь, даве из бани, словно сблаговал. Ухватил меня за пониток, да как крикнет чуть не на всю-то деревню: радуйся, слышь, Агафьюшка, — третьего парня рожаю. А мне-то что? по мне бы девоньку-то лучше!..

— И по мне-то, дева, кажись, девонька-то лучше. Ну, да давай ему Бог; над его бы семьей и сбывалось; мужик-то ведь он больно хороший. Чего ни попросишь: всего дает, коли б не перечила ему большуха-то...

— Зелье-баба, и говорить нечего; попроси горшочка — задавится — говорила другая баба и расписала бы Михеича хозяйку хуже всего, если б не перебила ее первая баба:

— Кого же они, мать, повивать-то взяли?

— Опять, дева, те же завидущие, бесстыжие глаза, опять Матрена криворотая!.. уж такая-то прорва, такая-то волчья снедь, ненасытиха! Все бы тебе она поперечила. Вон пришла я летось к Скворцу на повит: и дело, было, сладили за полтину. Она тут и подвернись, ненасытиха-то эта и подвернись: да у Агафьи, говорит, рука тяжела, кость широка; да у ней, говорит, глаз недобрый, обыку, говорит, не имеет; у Базихи ребенка, слышь, заморила... У, прорва эдакая!.. волчья снедь! уж я ж ее допеку!.. вон на месте мне тут провалиться!..

И ничего больше не узнала любопытная допросчица — первая баба, как ни пробовала, как ни пыталась разговорить соседку, но добилась только одного, что та и глаза Матрене песком заслепит, и на задах поймает — в косы вцепится, со свету сгонит Матрену: пусть-де она не перечит другим, — не супротивничает. От других уже кое-как допыталась расспросчица, что сам-де Матрене полтину посулил за повит; брат самого идет отцом крестным, Вазиха рубаху начала кроить, — стало быть, в матери крестные назвалась: послезавтра, может, будут крестины, а может, и нет... а сам-де куды-шибко радуется: то в баню забежит, то опять вернется в избу: поиграет здесь с старшенькими ребятенками, да и опять лезет в баню. И зачем его носит туда: студит только.

Но вот словно и угомонился отец: разделся, прилег на полати, свесил вниз голову, ласкает ребятишек, улыбается, подушки в одного парнишку бросил и — спать бы. Нет, Михеич опят зашевелился, раз пять перекинулся с боку на бок и опять таки спрыгнул с полатей и опять стал суетливо оболотаться. Потом подбежал к зыбке — покачал ее за кромку, да вспомнил, что пустая была еще эта зыбка; потрепал старшего мальчика

за волосы в виде ласки, но не поняли буки-ребята этой ласки — разревелись. Отец того да другого погладил по голове, тому да другому посулил купить пряников да орехов. Вот, опять вышел в сени и опять вернулся назад в избу: шапку забыл на полнице, да и вместо лаптей были на ногах у него туфли — берестяные ступанцы. Отец поправил оплошность, бессознательно перебрал на столе обглоданные, замусоленные кусочки ржаного хлеба, забытые ребятишками, — и не прибрал. Порылся в ставце — и ничего не вынул. Заглянул зачем-то за переборку, толкнул ногой в голбец, — и не притворил двери. Наконец, опять вышел на крылец, спустился на улицу, но не пошел в баню, а прямо-таки в свое приходское село.

— С требой уехал!.. помирают! — говорила ему отца Ивана работница.

— Я подожду: ведь, поди, скоро приедет?

— Чего скоро — почитай, только что, только уехал!

— Я подожду, подожду, а скоро обещали?

— Кто ж его знает?.. срок-от с ним! Дьячком-то Изиосим поехал, — добавила от себя работница.

— Ну, вот, поди ты! — бессознательно вымолвил Михеич. — А я, как тебя звать-то? я... подожду лучше...

— Чего тебе надо сказать — я, пожалуй, молвлю батюшке-то.

— Паренек, кормилица моя, родился, паренек... и такой-то, мать моя, гладкой, да тяжелой, уж такой-то резвунко, девонька, родился! В меня, бают бабы!.. да и на матку похож, славный будет, во... славный! Завтра в избу перетащу и зыбку уж навязал на ту притчину...

— Да ты из какой деревни? — перебила работница каким-то плачевным голосом и, подхватившись локотком, пригорюнилась.

— Из ваших, мать ... из соседских ... вон: с поля на поле! сказывают, гоны трои будет, а по мне так и двух не наберется...

— Там моя сестра зиму-сь на супрядках гостила, — сказала с глубоким вздохом работница и еще больше пригорюнилась.

— Нешто померла сестра-то? — спросил Михеич, готовый в эту минуту сострадать всем и всему. Стало ему жалко, крепко жалко сироты-работницы.

— И — что ты, батько, с чего б помереть?.. так только гостила!.. — сердито вскрикнула работница и отняла ладонь от подбородка.

— А скоро ли сам-от приедет? — опять за свое ухватился отец.

— Сказала: с ним срок! ну, и проваливай.

— Нет, уж я подожду лучше! — закончил докучный допросчик и сдержал свое слово.

На третий день отец привез новорожденного парня в село, здесь отдал его на руки кумовьям, чтобы те отнесли его в церковь, а сам опять зашел к священнику просить его дать парню имя.

— Как же ты сам возжелаешь нареци его? — спросил священник.

— Твое дело, батюшко — отец Иван: какое хочешь, то и ладно, по мне... сам знаешь: все на тебя полагаю, на то ведь уж ты и приставлен.

— В сей день Анемподисту празднуем! — отвечал отец Иван и слышал, как Михеич перевертывал имя на разные лады — словно балалайку настраивал; и наконец-то поймал:

— Енподист, вишь Енподист... хитро больно имя-то, батюшко. Дал бы ты какое ни на есть попроще, а то перевернут дуры-бабы!..

— Еще память Герасима?

— Как ты, батюшко, молвил? — ровно не вслушался. Никак опять...

— Герасима! — перебил священник.

— Ну вот и ладно, батюшко! никак и выйдет-то Гаранька, коли по скорости надо. Благослови, отец Иван: кумовья-то в церкви!..

И стал Михеич с Гаранькой — свежим детищем, новой утехой и радостью, будущим кормильцем и помощником!

Пока он был на селе, в избе его повитуха подняла пыль коромыслом: *напекла-нажарила, наварила-напарила*; приготовила все, что припас хозяин, уложила роженицу за переборкой, накрыла на стол и поджидала дорогую роденьку хозяев, батюшку-священника с матушкой попадъей, и дьячка со старухой просвирней. Гости уселись за стол: священник с женой в переднее место под тябло, рядом с ними кум с кумой, ближе к краю дьячок с просвирней, против них родня хозяев, а с самого краю и большак в семье сам Михеич, потому что с него и начнется сейчас угощенье.

Бабка-повитуха засуетилась, забегала, схватила со стола принесенный родными подарок — горшок *порушки*, приготовленной из сушеной малины с медом, и отнесла его за переборку, откуда, накормивши роженицу, явилась с другой порушкой, которую приготовила сама из пшенной каши с перцем и хреном, страшно заправленной солью и, только для прилики, обсыпанной изюмом. Отец новорожденного попробовал, поморщился, да хоть бы и назад отдать, до того нехороша была эта порушка; но, таков уж обычай, нужно было доестьстряпню бабки, которая к тому же и объяснила отцу:

— Что вот-де, как твоя хозяйка третеводни мучилась, так и ты поломайся теперь. Не нами-де сказано, что муж да жена — одна сатана; обоим и гуж заодно тянуть.

Но этим только не окончилось дело: Михеич должен был съесть еще ложку соли в то время, когда кум с кумой подняли пирог над головами с заветным желанием, чтоб «крестник их был так же высок, как приподнят пирог». Затем шло угощение кашей, за которую бабка получила от кумовьев деньги, а за вино, которое она первому поднесла отцу, получила обещанные за повит пятьдесят копеек медью.

Остальной порядок и угощение шли своим обыкновенным чередом: первая чарка и первый кусок священнику, последняя отцу и бабке. Гости церемонились, заставляя себя долго упрашивать, пока не подвеселились и не повели обыденные разговоры, в которых, по обыкновению, главная роль принадлежала священнику, и самая последняя, незначительная — хозяину.

Священник говорил, что у них скоро благочинный будет новый, владыка по епархии ездит, так дьякона не мешало бы попросить. Мужички потолковали о том, что давно уж подумывал об этом и барин, да бурмистр не ручается за достаточность вотчины, говорит, что и одним-де можно удовольствоваться. Тут же кстати потолковали гости и о том, что в Онтушевской волости мужики землю оттягали, и была у них свалка с деминскими такая горячая, что только и удалось залить в онтушевском кабаке. Гости говорили все громче и громче, так что разговор их перешел в какой-то шум, из которого только и можно было понять одно, что всякий, как бы по заказу, старался перекричать остальных. Затевались к концу и песни, но, по обыкновению, не ладились. Целую ночь, да и половину другого дня Михеичев сивко развозил гостей по домам, а самого большака только на другой день к обеду едва доискались в углу на повите.

Роженица недолго пролежит в постели: завтра же она будет возиться у печи, отрываясь только для того, чтобы покормить ребенка. Она и теперь не лежала б за переборкой, если б не был на свете обычай класть на зубок новорожденного и непременно под подушку матери и если б не послаблял Мироновне муж-баловник.

Не задумалась бы она родить, как и многие деревенские бабы, на том же месте, где час приспееет, будет ли это подле печи, среди чистого поля на пожне и покосе, во время самой спешной и трудной работы.

На другой день после крестин в Михеичеву избу то и дело приходили соседки на навиды: приносили

посильный подарок: иная пирог, другая пасмы две ниток, иная успела сшить рубаху, другие просили простить, что ничем не могут порадеть, или по недостатку, или по беспамятью. Одним словом, все было так же, как обыкновенно бывает на любых крестьянских крестинах.

Ребенок покрикивал сначала тихо, но с прибавлением числа дней и недель все громче и громче, так что подчас получал порядочные шлепки и громкую брань от матери, на попечении которой он и оставался до тех пор, пока не начинал сам ползать медведкой или стоять дыб-дыб, опираясь ручонками на лавки. Отцово дело тут сторона: разве иногда возьмет он сынишку на руки и, поднимая к потолку, начнет стращать букой или пугает его своей бородой, выигрывая на губах какую-нибудь дребедень. Дальше, когда парнишка начнет подрастать, он предоставляется вполне самому себе, а когда войдет в разум, то сам и радеть о себе должен; «вырастет с мать, сам будет знать, как из песку веревочки вить».

В наших деревнях, где едва ли не всякая баба исполняет обязанности повитухи, всегда уж найдется такая, которая исключительно посвящает себя этому занятию и, следственно, пользуется у рожениц особенным предпочтением перед всеми другими. Она вместе с тем и лекарка, и знахарка, и наговорщица, одним словом, такое лицо, без которого трудно, кажется, обойтись русскому человеку. К таким-то исключительным личностям принадлежала и тетка Матрена.

Происхождение ее очень просто: она почти всегда дочь тоже повитухи и редко принимается за свое заветное ремесло по собственному желанию. Это последнее обстоятельство совсем от нее не зависит. Оно устраивается как-то уже само собою, как у всякого другого русского простолюдина.

Смолоду у Матрены, разумеется — общее горе и радость, как и у всякой другой деревенской девчонки. На руках у ней вечно ребенок — сестренка или братишко,

к которому она приставлена на правах няньки. С ним она обязана носиться целый день, — пока не кликнет мать на насесто. Позовут ли ее играть в прятки — те из товаров, которых судьба избавила от этой неприятности быть сестрой, — Матренка вскинет парнишку на закорки и идет к овинам. Здесь посадит брата к уголку и бегаёт с другими — резвится, забывает свою докучную службу, а там, смотришь, опять идет она по деревне босоногая, растрепанная, и опять у ней торчит за спиной черномазый братишко, ухватившийся обеими ручонками за голую шею сестры.

Пригласят ли Матрену хороводы водить, и опять, смотришь: прыгает она, резвится по-старому и опять по-старому сидит ее братишко, в пыли и грязи, накупившись, и кричит благим матом, когда обнюхает его проходившая свинья или собака. Но вот беда: заметила это нерадение Матренки проходившая мать и еще больше встрепала ее лохматую голову и вперед наказала не покидать братишки. Этот грех куда бы ни шло, сама назвалась на него, а бывает и так, что сам парнишка затевает беду себе на голову, да еще и на глазах матери, как случилось это в то время, когда играл он с котенком. Баловливый котенок, оцарапав парня, напугал его так, что перекинул навзничь и свалил плашмя с лавки, но и тут не прошла беда мимо няньки: зачем-де не смотрела, ты уж не маленькая! И это бы ничего: горе пополам с братом, да и мать дала наческу, — никто другой, а то бывает и такой грех, что и сам-то он, братишко, всей пятерней врезывался в сестрино лицо и оставлял на нем царапины на целую неделю. Конечно, и тут извернуться можно: стоит только затащить его подалее на зады, нахлопать там досыта, да подождать, пока отойдет, а там сунуть корку хлеба, и гора с плеч долой. Но вот уже беда неисправимая: когда девчонки затеют хороводы, а братишка спит, мать не пускает на улицу:

— Подожди ходить, вон братенко проснется и его с собой прихватишь...

— Да, мамонька, хороводы-то на ту пору разобьют, не поспеешь...

— Подрастешь, дура, наиграешься...

Ничего не остается делать, как надрываться — плакать, пока не рассердится мать и не исполнит обещания.

Но вот уж подрос братишко, сам по себе стал ходить и бегать, нянька на радостях.

— На-ко, — говорит мать, — сестренку тебе, похоль и ее, да смотри не по-летошнему, а то опять дубцом отстегаю, целой веник истреплю!..

Делать нечего, опять нужно покориться горькой участи и ожидать той поры, когда или мать рожать перестанет, или сама Матренка сделается подростком и ее скучная обязанность перейдет на другую сестру.

Но эта пора не далеко, время летит своим чередом скоро и незаметно: вот уж на Матрену начали ногами зариться большие ребята. Один, что ни пройдет мимо, то и заденет: либо щипнет, либо просто начнет по плечу трепать, либо над ухом что есть силы языком щелкнет.

А надумает парень в хороводе пройтись с платочком, опять за Матрену:

— Выходи-ко, Матреха, воробушком!

В горелки ли врежется парень, — опять-таки ловит ее, а не другую девку.

На камушке ли горит Матрена — никто ее не выкупит прежде того же парня; никто из ребят не поцелует прежде выбранного-суженого.

Матрена и сама не прочь отвечать на ласки парня: не пустит она колечка дальше своей руки, если довелось ей играть в веревочку и ищет это колечко ее молодец. Никого не бьет она жгутом так больно, как того же парня, не слушает и усиленных криков его: «чур меня!» У ней и «ох болит!» по том же парне, *а и рубль пойдет*: у Матрены в руках застрянет. Одним словом, девка во всем становится покорною парню.

— Слышь, Матреха, выходи-ко на супрядки к бурмистру: я там буду! — скажет волокита-парень.

И Матрена идет на супрядки, не противится, хотя и у самой в избе супрядки идут, и много еще девке пряжи прясть и мотать без бурмистрова добра, на которого хватит работниц и кроме нее. Придет девка к бурмистру, непременно придет и найдет там своего молодца, который подсядет к ней и наговорит с три короба всякого вздору.

Запоеет ли, от скуки, Матрена песню: парень первый подхватит ее. Захочет ли девка уйти из избы, опять-таки тот же молодец провожает ее; надумают ли девки пошалить, подурачиться, погасить лучину в избе: первый бросается к светцу Матренин парень; а Матрена и лучину запрячет на повит, как только можно дальше, в самый угол на сеновале.

Пойдут ли ворожить девки в баню о суженом: первым засядет туда тот же парень и велит Матрене завораживаться прежде других. Пойдут ли невесты слушать на поле звон или пение, — Матренин парень уже стоит за овином, дожидается суженой: ее колокольцем пристращает, а для других пропоет погребальную. Начнут ли подходить к шапке за жребием: кому с кем в этот вечер женихаться, — Матрену как будто надоумит кто вынуть ломаный грош, словно ее Матюшка и не мог бы положить неломанный. Девки молчат, как будто не замечают ничего, а ребятам и подавно нет никакого дела: всякий думает о себе и о своей — таков уж исконный обычай. Не любят только они захожих гостей и не дают своих девок в обиду. Не думают о Матрене ни парни, ни девки; думает о ней только одна мать и выговаривает:

— Ты что это, нечеса, со старостиним-то Матюшкой женихаешься: нешто не нашла попроче?

— Да он сам пристал, не я выбирала! — отвечает Матрена и хоть в слезы пуститься.

— Не женится он на тебе, дура, помяни мое слово. Ведь ты сирота, да и без достатку; а у Матюшкина батьки мощна-то потуже бурмистриной, бают...

Но девка не верит матери, не может перечить сердцу: она и во сне с Матюшкой по ягоды ходит, грибы собирает.

— Не обманет! — говорит она в свою защиту матери, — сам обещал ожениться, не станет врать. Вот намясь пряников купил, платок обещал подарить. Какой только, слышь, любишь: желтый или красный, тот, мол, и принесу...

Мать все-таки стоит на своем:

— Брось-де, девка, Матюшку; выбери кого другого. Этот бычок не по нашему стаду. Вон, говорит, сестрина Паранька взяла себе Кузьку Кузнецова и идет дело по любовному; перед Масленицей, слышь, и свадьба будет...

— Нет! — стоит на своем девка, — не отстану от Матюшки, хоть живую режь. Иной и выводное даст — да плачется, а другой и даром возмет — да любится. Пусть же, коли богат Матюшка — не моя вина. Не даром он пряники носит, за меня же безинского лакея отколошматил...

Мать пригрозила было к бурмистру свести, собиралась и — не собралась.

Девка продолжала любиться с парнем, пока не приехала в деревню барская горничная, которой сам барин велел выбрать лучшего парня по всей деревне.

Как назло, — словно предчувствовала Матрена — горничная выбрала старостина Матюшку и пошла вместе с ним на поклон к барину с полотенцем и куском деревенского полотна. Барин поцеловал молодую в щеку, дал ей на крестины пятьдесят рублей и велел быть ключницей, а молодому мужу приказал выдать синий армяк и послал привыкать к кучерскому делу, да не подстригать бороды...

Долго ли, после такого горя, девке поплакать, проплакаться и, опомнившись, с ужасом увидеть, что все подруги-сверстницы вышли замуж: каждая за своего суженого, не несет этой доли одна только Матрена, не будет она петь на прощаньи родителям, хоть и кстати была бы эта песня:

Я еще у вас, родители,
Я просить буду, кланяться,
Не оставьте, родители,
Моего да прошеньца:
Не возил бы меня чуж-чуженин
На чужую сторонушку,
К чужому сыну отецкому,
Не пасся бы он, не готовился,
На меня бы не надеялся.
У меня ль, у молодешеньки
Еще есть три разны болести:
Я головонькой угарчива,
Ретивым сердцем прихватчива,
Своим свойством не уступчива.

В деревне нет для Матрены женихов: остались одни подростки, а из других деревень не едут по девью красоту, потому что все знают Матрену, знают и ее Матюшку, но еще больше того знают, что злее обойденной невесты и зла мало на свете.

Если вообще всякая деревенская баба не прочь на чужой двор закинуть камушек, посудачить-посплетничать; то тем более те из них, у которых не уладилось дело на семейное житье, тихое-беспечальное. Матрене — все соперницы; всякий парень женихом считался. Она одна осталась теперь, как былинка в поле, как *сосенка-сиротинка при дороженьке*. Обойденная невеста, что дом зачурованный, к нему крещеный неопытный человек и подойти побоится: черти в нем поселились, змеиным ядом дышут на всякого; а и житье в нем — ад кромешный.

Девка на первых порах покручинилась, разливалась горькими слезами, размывалась громкими рыданиями, не пила в меру, не ела в сытость; от тяготы сердечной была сама не своя, а когда и пришла в себя, то не много радостей вызнала, не много отрадного выпытала.

— Агашку за вихряевского питерщика Михея сговорили, — в воскресенье в полуден и свадьба, слышь, — сообщали одни соседки.

— Лукешку побратали вечер, да у сестры-то ее, Степаниды, тоже на мази дело, — сообщали другие.

— Гаранька в Михееве — сказывают — подыскал. Ванюшка тоже свах засылает, Степка, Иван Кандра-тьев... — высказывали трети на горькую кручину и слезы Матрены.

А на ее дворе ни свата говорливого, ни щebetуньи-свахоньки, словно Мамай войной прошел по деревне: ниоткуда нет засыла и подговоров.

Раз сорвалось с сердца Матрены супротивное, неладное слово на подруг-соперниц и на ребят-обидчиков, — и пошло у ней с той поры, что дальше, то горше. Никому не стало пощады, на всякого нашлось у ней с три короба всяких обид. Про кого ни скажут доброе слово соседки — все не по ней.

— Вот Степанида-то питерщикова сговорена, складная девка, что стеклушко — чистенькая, во всех порядках, и смирная и к родительской воле прислушливая, — выговаривает, бывало, соседка.

— Голыми-то руками за нее не берись; она только по глухой поре за овины-то к ребятам ходит, днем ее там не увидишь, — ответит Матрена, да и ни слова больше.

— А Лукерьюшко-то? Эта и в церкви завсегда наперед стоит, да в землю молится, а и на поседках-то не больно чтобы уж очень шустрая...

— У этой и matka-то за солдатами в поход ходила, да и отец-от, как ушел в Питер, в деревню не заглядывал...

— Ну, да уж про Агафьюшку-то не скажешь же худо?

— Про десятникову-то?

— Смирена девка, не тайщица, не привередница, ни она тебя облает, ни сделает по-своему. На супрядки попросишь — первая придет; на помощь позовешь — первая с серпом на пожне; подарок посулишь — отказывается; на дом его принесешь — назад отдает...

— У ней только что рожа-то пряслицей, да коса — что голик, а пальца-то тоже ей в рот не клади, — крикнет, бывало, Матрена во всю избу, да и решит тем, что говорить перестанет, заключив вопросы коротким ответом:

— Хороша наша деревня — только улица грязна,
Хороши наши ребята — только славушка худа,
Хорошо нашими девками тын городить.

А между тем, одно зло выручает другое: Матрена скажет у себя в избе, а гул разойдется после и по всей деревне. Брось калач на лес, пойдешь — найдешь, — говорит пословица; а на брань слово купится, — утверждает другая.

— Матрена, что ворон: — на чьей избе сел, на той и накаркал! — говорили промеж себя девки-соперницы и решали на том, что черного кобеля не домоешься до бела, а на чужой роток не накинешь платок.

Женихи-ребята и думали и поступали иначе: на личную брань — отгрызались, на злую сплетню отвечали тем, что ворота мазали дегтем, в окно снегом бросали, на трубе горшки били, на улице не давали проходу и пошли еще и дальше того, на том основании, что озорная корова до той поры и бодлива, пока рога у ней есть.

Случай смирил Матрену, заставив и ребят смотреть на ее бездолье иными глазами, глазами участия и снисхождения.

У Матрены умерла мать-старуха. Пошла сирота на кладбище и взвыла — горько там взвыла о своем сиротстве и бездольи; осталась одна на белом свете, как перст, как былинка в поле. Горьким, раздирающим душу голосом причитала она по родителям, добралась до родимой — помянула добрым словом, вспомнила тут же, кстати, что любила покойная; вычитала истово и то, что родимая носить любила. Долго каталась Матрена на свежей могиле и выла, верная исконному обычаю отцов и дедов, пока не подобрала ее с места дряблая, сердобольная старушка-нищенка, верный друг всех надрывающихся от слез и кручины.

Плакала Матрена такой заветной старинной *заплачкой*:

Ты послушай-ко, родитель — моя матушка,
И сердечное желаньице,
Ты, денная моя заступушка
И ночная богомольщица!
Уж мы как-то будем жить
Без тебя, родитель — моя матушка!
— Кто-то нас по-утрушку ранешенько
Будет будить со мягкой со постелюшки?
Кто-то станет разряжать нам
Крестьянские работушки?
Как встанем по-утрушку ранешенько
Со пуховой со мягкой со постелюшки,
Мы не водушкой ключевой будем омываться,
Омываться горячими слезами,
Отираться злодейской-великой кручиной,
Зазнобушкой великой будем поклоняться.
— Как нонечку-теперечку волос к волосу не ладится,
Моя младая головушка не гладится,
Моя вольная волюшка на головушке не ладится
Не уплетается моя русая косынька милешенько,
Все без своей-то без родителя — без матушки,
Без слова сердечного желаньица.
— Как нонечку-теперечку веют ветры полуденные,
Говорят-то многи добрые людишки посторонние.
И все круг меня-то кручинной головушки,
Веют ветрушки с западками,
И говорят-то многи добрые людишки с прибавками;
И не видала я-то после своего родителя — матушки
Благословеньица-блаженьица,
Со Исусовой молитовкой буженьица,
— Как нонечку-теперечку мне-ка
Как будете кручинной головушке
Без своей-то, без родителя — без матушки,
Без своо-то, сердечного желаньица?
Вы придайте-тко ума-разума
Во младую во головушку,
Мои сродцы — мои сроднички,
Вы, спорядные соседушки,
Вы, пристаршие головушки,
Мне, душе да красной девушке,
Провожать свое прекрасное девичество
И ходить-то по тихим-смирным беседушкам,
По гульбицам — по прокладницам,
По обедным — по свадебкам,
И по Господним — Владычным по праздничкам!
Я все буду бояться, кручинная головушка, теперюшко
Чтобы ветрушки меня не обвеяли,
Чтобы людишки не облаяли.

С нищенкою коротала первые скучные дни одиночества сирота наша, но не нашла полной утехи в горести, все напоминало ей мать и все вызывало на слезы: и пучки калины, соком которой натирала мать лишаи, и полынные листья от лихорадки, и пережженные квасцы от озноба и дикого мяса.

Возьмется ли за кремень и огниво — огня высечь: и тут вспоминается ее мать, присекавшая и обметанные губы, и все другие летучие сыпи этими же самыми кремнем и огнивом.

Осядет ли в жбане гуща квасная — и тут пред глазами Матрены мать-лекарка, круто солившая эту гущу, чтоб наложить потом на ногтеду и заусенцы.

Попадутся ли ей на глаза два горшка рядом, и тут вспоминается ей, как покойница смачивала эти горшки и терла один о другой, чтоб стертой черной грязью натирать лишаи и ветряные сыпи всякого приходившего к ней за пособием.

Ремесло старухи, как живое, перед глазами Матрены; а нужда как на вороту виснет, хоть сама в сырую землю ложись и гробовой доской прикрывайся, а брюхо-злодей старого добра не помнит.

Задумалась Матрена над своим бездольем, но ненадолго. С первой же вешней водой полезли в ее избу все больные по привычке:

— Поспособь, Матренушка: чай, тебе matka-то натолковала. Нам ведь к другим-то почесть и идти не к кому. Голова болит...

— Обложи глиной, али-бо кислой капустой — полегчает, завтра приходи — понаведайся...

Но больной не приходил в другой раз, а поутру прихвалил Матрену при всех своих бабах и сторонних людях. И знали через день в деревне, что Матрена-де по матери пошла, способит как нельзя чище: от кашлю печеным луком кормит, от лихорадки дегтем с молоком поит и посылает на реку в самую полночь искупаться,

да так, чтобы никто не видал и не слышал, и рубаху велит там оставить, как бы и мать ее прежде наказывала.

Стала Матрена и над кровью нашептывать, и зубы заговаривать с немалой удачей и навыком: и опять пошла молва по деревне, что и Матрена задавила крота между пальцами и не умывалась после того целые сутки, как и мать-покойница.

Пришел кузнецов сын с бородавками, так только нитку взяла, навязала на ней столько узелков, сколько бородавок было, да и бросила нитку в навозную кучу, примолвив: «сгниет нитка и бородавки пропадут» — и словом-то этим, что рублем подарила: прошли бородавки.

Другой парень пожелтел совсем и кашлять начал: так только живую щуку дала подержать, и желтизна прошла, как заснула и пожелтела сама щука.

За одним лихоманка увязалась на покосе, да случилась Матрена и только лягушку за пазуху кинула и холодной водой облила — отвязалась болезнь и забыла о парне.

У мужика ноги отнялись на пожне, так что и ступить нельзя было — Матрена только в муравьиную кучу посадила ногами и тут же получила гривну медью, потому что опять пошел больной подбирать серпом ржаные колосья.

С грудным парнишком солдатки собачья старость приключилась, стало парня сушить в щепку, в соломинку: Матрена пришла, когда печи топились, и только посадила парня на лопатку, да три раза всунула в чело, и не успела мать третьего раза взвизгнуть — парень был готов и вскоре пошел на поправку.

У старостина брата зубы не давали спать ночей и лицо уже вздуло горой, а пришла Матрена, да только рябиновый сук расколола на-четверо, пошептала над ним, да положила на зубы, три года не велела есть рябины — и как рукой сняло.

И действительно, в светленькую, чисто выметенную избу сироты-лекарки часто стали наведываться немощные и страждущие.

— Вот, — говорила ей одна, поклонившись куском крашенины, — мой-от опять сблаговал. Ушел на село кросны продавать, да и глаз не казал почесть что трои сутки...

— Опять, поди, запил.

— Нешто Матренушка! На глазах-то, мать, и все бы по мне делает, а вот эдак провалится куды и пошел своим разумом... Вернулся домой-то, да и лег на полу... лей, мол, я на него воду, а то, слышь, боязно ему на глаза мне пьяным казаться. Ладила я с ним и так, и сяк, и водой-то облила, и ноги велел к лавке привязать — и ноги привязала, и за волосья трепать наказал — натрепала, да уж и не выдержала, вскипело сердце, — ухватила голик, весь истрепала, невтерпеж же, мать, стало экое посрамление! Как на село — так и водись!.. И не дерется бы, мать, урчит только да плачет. Да поди, удержишь.

— Поспособила бы я тебе его, кабы не такое хитрое дело: дорого стоит...

— Да уж не стою, Матренушка, не стою...

— Самой все надо, и без меня, да и без чужого зазорного глаза. Купи ты вина ведро, да двух щук достань, да живых только, и замори ты этих щук в вине-то, замори так, чтоб заснули. Подогрей это вино в печке, покрепче подогрей, да и напой этим на ночь; потом вся дурость-то и выйдет из него и призору не будет. Да и помяни ты меня, не от худа...

— Твои плательщики, Матренушка, — спасибо за совет; не сердись, родная!..

И опоит баба пьяного мужика по совету Матрены, и еще раз поклонится за совет прежде, чем муж снова добьется до села и разрешит общее недоумение буйным запоем. И приругает Матрену хлопотунья-жена за неудачное пользование, но не повредит ее уже установившейся славе, разве даст только свободу языкам

и пищу сплетни, но не помешает мужику-богателю по-привередничать, зайти к Матрене раза два в неделю в свободный часок поплакаться:

— Попробуй-ко, Матренушка, опять нешто в боку-то заломило, не то в правом, не то в левом...

И знает Матрена, что врет богатель, на небывалую хворость жалуется, но осматривает его и выговаривает полтину медью.

— О том не стоим!.. что нам полтина?.. хворость-то бы отвязалась. Вот-вот, ровно бы тут защемило, словно бы иглами колет.... Вечор с голбца на полати перелезал, и ухватило поперек-то, — еле отдышался!..

И мнимый больной напьется, по совету Матрены, ромашки на ночь и велит себя вытереть солью с вином и опять придет к ней, от нечего делать, и опять принесет полтину и на глаз ей укажет.

— Посмотри-ко, Матренушка, не песьяк ли вскочить хочет?

— А вели-ко ты, Еремей Кузьмич, старшенькому-то парнишке ячменем проколоть, да и показать ему кукиш: «ячмень, ячмень! вот, мол, тебе кукиш; что хочешь, то и купишь; купи себе топорок, пересекися, мол, поперек», да и проведи по ячменю-то пальцем.

С бедным, со слабеньким значением в деревне, привередником Матрена поступает иначе. Пожаловался мужичонко на боль в пояснице, да рассказывает про болезнь не то, что надо: Матрена отворит избу. Выберет баб да ребят молодых, велит им шибче смеяться, чтоб было веселей боли выходить из тела, и положит привередника поперек порога. Накладет ему на спину из голика прутьев и начнет тять по прутьям косарем, да приговаривать, а привереднику велит петь песню, какая только на ум попадет, и сама смеется.

Встает привередник и гладит спину:

— А никак, Матренушка, и впрямь легче стало! — и похвалит ее пятому и десятому: сам при своем; и лекарка не внакладе.

На серьезных больных Матрена — и теплые хлебы накладывает на поясницу, и горшками накидывает, и бьют освирепелые больные от невыносимой тяготы горшки эти о первый попавшийся угол, и бранят Матрену, словно виноватую, но при первом же случае кланяются ей и маслом и яйцами и других посылают к ее же досужеству. И какая бы болезнь ни была, у Матрены всегда найдется снадобье. Но ни один больной не разделяется с болезнью без того, чтобы не пропарила она его до самого нельзя в бане, не напоила бы его круто посоленным, не натерла бы перцем, хреном или редечным соком.

У одного шибко голова болит и упорно держится в ней целый содом всяких дрязгов — болезнь всегда неприятная; Матрена и над ней не задумается: поставит на стол горшок с киноварью и угольями, посадит больного, накроет его теплым и велит разинуть рот и дышать тем паром, который лезет из горшка. Иной раз и удавалось. А случалось когда несчастье, задышался мужик, — знать, сел в час недобрый, — знать, присмотрел за ним недобрый глаз, а за ней самой вины совсем никакой нет.

Не всегда с делом и за делом собирались в избу Матрены мужички, но просто и посудить-покалякать: Матрена и тут не терялась в ответах.

— Вот, красавица ты наша, — заговорили соседи, — корчи теперь эти в человеке живут, ведут они тебя всего, как есть всего выворачивают, от чего бы это такая притча состоялась?

— Это от нечистого духа, — ответит Матрена, — да от другого недоброго человека, который умеет след человечий с земли поднимать. Поднимет след — начнутся корчи. На такое дело надо взять ковш да накласть туда угольев горячих да на щепотку соли. Тут сказывай над ковшом этим наговор такой, какой надо, и с тех твоих слов вся эта корча и судорога на тебя идет; с больного, значит, на себя переводишь. Затем в этот ковш-то

воды наливаем и прыскаем на больного раз либо два. Позевнул — полегчало.

Вообще Матрена всегда охотно сообщала все то, что знала про секреты колдунов, на том основании, что колдун и знахарь не одно и то же. Если колдун продал душу свою и знает черта, то знахарка боится черта и черт ее не любит, как и всякого другого крещеного человека. Если кликуш, у которых сто бесов животы гложут, не возьмется вылечить колдун, то ей, знахарке-доке, тут и рук прикладывать не к чему. Дознаемой, впрочем, молитвой да умелым наговором бегут и от знахарки разные людские житейские напасти. Оттого-то и идет к ней за советом и помощью весь православный люд и просит научить опахать на голых девках деревню, чтобы не падал скот, как муха, и у них так же, как и в соседних сельдищах.

На Васильев вечер придут боязливые бабы к нашей же Матрене просить смыть у них в избе лихоманку, слепую и безрукую старуху, что залезает в избы и ищет виноватых. Матрена придет на раннюю зорю, чтобы не видал только никто из мужчин деревенских, прихвативши с собою четверговой соли, золы из семи печей и земляной уголь. Встречают Матрену с хлебом-солью и ласковым приветом хозяйки. Матрена не входит в избу и обмывает сначала косяки дверей, а потом потолок снадобьем и вытирает чистым рушником, чтобы не было где уцепиться проклятой старухе.

На день Трех Святителей Матрена смиряет домовых в своей деревне: режет в глухую полночь черного петуха, выпускает кровь его на голик и выметает этим голиком все углы на дворах, где любит жить этот мохнатый старик капризник, обратившись всегда лицом к стене и никогда, впрочем, никому не видимый. Смиряет домового — перестанет он и скот мучить, и хозяев давить за горло, и творить другие свои неладные шутки.

На Василья-капельника ребята часто от овечьей одышки в брюхо растут, и тут нужда в Матрениных

оговорах и помощи. На Марью Египетскую Матрена строго-настрого велит угощать водяного, — бросать в глубокий мельничный омут яшные пироги — сгибни; за два дня до Егорья вешнего она учит окликать на могилах родителей; со Стретеньева дня наказывает она не спать по вечерним зорям, чтобы не приставала кумахатрясовица.

На Ивана Купальника — в жаркое лето — она траву-купальницу собирает против того же нечистого духа, который любит пугать по зарям несладным криком своим косцов на покосах и жнецов на пожнях; на Прокофья-Жатвенника в синюю склянку она собирает росу по зарям для излечений очных призоров и стрелы в виски; на Илью Пророка собирает дождь для той же цели и против всякой другой вражьей силы. А когда на первого Спаса замрут до ранней весны ведьмы, Матрена учит мужиков поить лошадей с серебряной монеты из шапки, чтобы не приставал к ним во всю зиму ни мокрец, ни столбняк, ни сап изнурительный. На Усекновение главы Предтечи наказывает щей не варить из кочанной капусты, затем, что кочень капустный, как голова, круглый.

На Андрея Первозванного Матрена прислушивается к воде и сказывает, по стону ее — какое будет лето, будут ли метели зимой, бури, морозы крепкие и иные разные беды. За два дня до Нового года гадает она о земле на свиной селезенке и сказывает: долго ли, коротко ли затянется весна-красна и будущее жаркое лето.

Короче — ни одна из житейских примет, выжитых вековыми опытами, не прошла мимо Матрены-знахарки, без заметки и внимания. Некоторую часть из них сообщила ей мать-знахарка, прожившая, потолкавшаяся между людьми не один десяток лет; большая часть пришла к ней с ветру частью от баб-соседак, частью от старух нищенок, которых она любила прикармливать и которые Бог весть, где не побывают на своем сиротском веку, Бог весть, где и чего не вызнают,

не выслушают. Раз выслушанное и поверенное личным опытом становилось для Матрены навсегда законом, не имеющим никаких сомнений и исключений. Если на чем и случалось ей споткнуться впоследствии, она и тут не задумывалась:

— Никто как Бог, — говорила она, — все в Божьей власти, а чему быть — тому не миновать. Все Божье дело: к всякому делу человеческому разуму нельзя приступаться. Не стало сегодня — станет завтра, и наш бабий век не клином же сошелся. Терпи и надейся!

И все-таки Матрена не оставалась в накладке: круглый год у ней прибыль. Большого почету никому нет в деревне. Она и на именинах не на последнем месте и не с остаточным куском; а крестины где — она первая в пиру и почете. К ней о всякой болезни с советом, о всякой невзгоде мирской с поклоном и приносом.

— Не житье Матрене — масленица! — толковали соседи.

— В шугаях штофных ходить начала по праздникам, платок — не платок, лента — не лента, даром что обойденная, немужняя жена! — говорили соседки.

— На всякое, мать, счастье в сорочке надо родиться. Сдуру-то начнешь — дуростью кончишь: талант, стало быть, от Бога вышел за ее долготерпенье да обиды! — решали благодетельствованные ею нищенки-старушонки.

— Пущай и злиться перестала теперь: не ругается так, как в ономянщную пору!

— Взыскана теперь — зачем станет ругаться? Кузнец Гаранька, слышь, позарился: свахоньку засылал, да Матрена и след той навсегда заказала.

— «Мне, слышь, теперь хомута-то мужнина надевать не приходится. Сама, мол, стала в вольной воле. А ты ему, косому черту, и на лбу запиши и всем накази: ко мне-де теперь дорога заказана, всякими-де она крепкими наговорами зачурована».

— Так вот она ноне баба-то какая стала! — решили соседи и мало-помалу забывали о прежних несчастиях

и неудачах Матрены, начиная видеть в ней нужного, а потому и дорогого человека.

— Сватьюшка! Матренушка-то знахарка баню новую приговорила рубить...

— Богоданная! У Матрены-то криворотой навес на дворе настилают новый; подкаты под избу-то новые ладит!

— Дьякона Арсения от запоя вылечила, у матвеевского плотника — Лукой звать — ногу вправила: опять работает... здоров.

— К управляющему на усадьбу возили: кровь отворила не хуже, слышь, коновала доброго!

— Эка баба, экая лихая баба: и к сиротам податливая, и к нищим призорливая, и к церкви усердная: не колдунья какая. На ворожбу ни на какую не подается; не гадает на картах; — цыганское, сказывает, это дело, не мое сиротское!

Вот уже что говорили в одно слово соседи и соседки год-два спустя после того, как обзывали ее недобрым словом.

Деревенский люд незлопамятен; а обзыв да покор не считают грехом, причастные и сами этой слабости, по пословице: «брань на воротах не виснет, на нее слово купится, да так прахом и минуется».

Сделавшись знахаркой, Матрена не отказывается и от повита и с прежнею заботливостью старается не разглашать по соседям, что вот та-то баба мучится родами, чтобы легче разрешилась роженица.

По-прежнему советует родителям давать новорожденному имя первого встречного человека, чтобы не было ему тяготы и невзгоды в предстоящей жизни: ко всем приветливая, всякому готовая на услугу, Матрена вызывалась из дальней деревни съездить к попу за именной молитвой с шапкой. Поп читал ей молитву эту в шапку, произносил имя первого встречного в пути Матрене человека. Привозила Матрена эту шапку в избу роженице, вытряхивала имя и молитву из шапки

и вполне убеждена была, что тем спасала всех, присутствующих при обряде и дотрагивавшихся до поганой роженицы руками, от осквернения. В последнее только время стала она отказываться от подобных поручений и прежде всех обряжала подводу, чтобы везти новорожденного прямо на село. Говорили соседи потом промеж себя, что Матрену выстегали за то на становой квартире больно шибко, что тут был благочинный и старик поп, который давал молитвы, что наказывали Матрене напередки не делать эдак.

— И пригрозили кандалы надеть и между солдатами по столбовой прогуляться в непутное место, что острогом зовут да каторгой прозывают. А деньги, что нажила про себя, все отобрали, да и еще наказали через год принести столько же! — подтвердил сотский говор и молву народную.

Соседи покручинились и про себя и с Матреной вкупе, Матрена повыла-поплакала горько, но устояла-таки на своем и жила опять своим ремеслом — не кручинилась.

«И крута гора да сбывчива, и лиха беда да забывчива», — говорит пословица. У Матрены пошло дело опять своим чередом — дорогой торной, прямым путем.

Матрена любила между делом и посудачить — не идти же ей наперекор со своим делом бабьим.

— Вот, — говорила ей вестовщица, та же побирушка-нищенка, которая подняла ее на погосте, — за Осеновым Митюхино выгорело; ребятенки репу пекли, да и набаловали в овине.

— А не обрубай они соседским коровам хвосты; не мешай они соседским поездом, не кори девок горшками на свадьбах, не пачкай ворот дегтем...

— Все-то, мать, избы испепелило; десять животов сгорело; махонького парнишку еле вытащили живехоньким. И жара-то какая, кормилка, была: словно из печи парило... Думали все, что светопреставленье... сам становой наезжал!..

— Чай, пойдут на погорелое место просить?

— Вестимо, родимая, народ-то ведь все господской был; на овчинах стояли, да все — слышь, красавица ты моя, погорело... И первохристосные яйца бросали — не помогло, и молоко лили — не лучше стало. Старушонка тут у них жила, Ориной звать, так и ту в избеночке-то ее захватило. Кинулся народ-от: «батюшки, мол, Оринушка-то сгорит!» Ан из избы-то, мать моя, ни словечка не слышно, хоть бы те што... Знать, мол, задохнулась, захватило дыханьецо-то. Да швецы, на ту притчу, случились в деревне: народ-то, знаешь, боевой; один и выискался, Мартыном молодца звать, и кинулся к избушке-то. «Простите, мол, православные, мою душеньку! не погибай-де, слышь, душа человечья на моих глазах; либо-де сгорю, а душеньку, говорит, спасу». Да и вломился в огонь-то, индо, мать моя, зашипело что, — и вытащил старушоночку, Оринушку-то эту, и вытащил сердобольную... живехонька!.. Народ-то весь, моя мать, и шапки снял, стал креститься да кидать молодцу гроши да пятаки. Сам становой серебряный гривенник дал, да по начальству, сказывали, отписать хотел. «Дадут, мол, тебе и больше супротив того»... Да обгорел Мартын-от: всю-то рожу опалило, пузырярей наскакало и невесть какая сила!.. Куды шибко обгорел...

И нищенка медленно покрутила головой и проследилась.

— Пришел бы ко мне: поспособила!.. а не то ведь и самому не какая хитрость лапушнику-то нарвать, да и обложить рожу-то с маслом...

— То-то, желанная ты моя, тебя-то я тут и вспомнула: вот как бы, мол, божья раба Матренушка-то наша была здесь, — отдохнул бы молодец; желанная-то, мол, моя не поспесивилась бы... помогла. А пойду-ко, мол, к ней да поклонюсь, не изломала ли-де кручина-то ее, да и ниточек-то, мол, попрошу: армячишко заплáтить. Знаю, смеаю себе, не откажет душа ее добродетельная сироте бесприютной!.. наградит ее Тихвинская Пречистая!.. сама... сирота...

Последние слова нищенка выпевала громко уже посреди судорожных всхлипываний, но, конечно, не оставалась внакладе: старый кафтанишко в заплатках заменился хотя и подержанным, но еще крепким, а ниток получила целую пасму.

Матрена знала, что старуха, бродя из деревни в деревню, разнесет об ней молву как об лучшей лекарке и сторицею заплатит ей за подарок.

Дело повитухи справит, пожалуй, легко и удобно всякая баба, — Матрена повитом немного бы взяла; ухватила бы ее нужда поперек живота, если б не помогли ей первые удачи в знахарстве и сердобольные нищенки, в беседах с которыми она находила и отраду, и заручку. При помощи их рассказов в самых дальних деревнях стали знать о Матрене. Правда, что нечасто берет недуг неладно скроенного, но крепко сшитого русского человека. Правда, что сильны и тяжелы исходом и последствиями те недуги, какие ложатся на могучие плечи простого человека, и, старея со дня на день, делаются по большей части неизлечимы до гробовой доски. Правда, что надежда больного не покидает до последней минуты жизни и он продолжает искать искусного человека, который бы мог дать такого снадобьнца, чтобы болезнь заморило. Правда, наконец, что твердо знает всякий мужичок о том, что нет того города, где бы не жил такой присяжный искусник, который лечит от всех недугов и зато носит пуговицы светлые, чиновником зовется, и в уезд наезжает все на мертвые тела.

«Да как ты к нему приступишься? — думает мужичок. — С медюками-то ржавыми к нему не пойдешь, а серебро-то по карману не чёрт же сеял; бумажных денег и по полугоду не доискиваешься. Да и на какого человека попадешь — иной тебе и говорить-то по-нашему не умеет; ни он тебя расспросит, ни то место больное нащупает. Снадобей-то всегда забывает прихватить с собой и отсылает за ними в город. И не диво бы в город съездить про свой живот, кабы пора не рабочая,

да коли б и снадобья-то эти сподручнее были, а то жгут, больно жгут и карман и спину. Кладут там нашего брата в больницу такую, где только за выписку берут деньги да за харчи, какие ты там поешь, а попробуй-ко лежи там подольше, да расплатись с ними по чести — в избу-то свою и не заглядывай: волком взвоешь, все там быльем порастет: собаки ложки моют, козы в огороде капусту полют. А давай-ко нам знахаря поближе, да такого, чтобы его руками-то ухватить было можно, чтобы за приход-от либо пасмой ниток, либо пахтаньем, либо новиной какой, а не то — коли и денег выпросит — так полтиной медью и себе бы и ему удовольствие можно было сделать. Это вот по-нашему, по-крещеному. А то светлых пуговиц до смерти боюсь, ну их!.. Эти же к тому немчи — нехристями такими смотрят, что нашему брату, православному человеку, и подступиться боязно. А гляди — как ты тут ни судачь, ни ворочай — по знати-то, да по старой памяти, что по грамоте — и полезно и никому не обидно. Сказывали бабы: в которой деревне Матрена — что божьи-то люди хвалили — живет?»

Идут к Матрене и мужики, и бабы больные: и последним подчас легче, потому, что Матрена и ласковым, обнадеживающим словом найти и приголубить умеет всякого и потому еще, что тех больных, которые подошли крепко и немогутны стали, она не поскупится — у себя в избе оставить и станет ходить за ним, что за своим роженным детищем. Да и Матрена не внакладе от своих больных и советчиков. Запасы свои она продает на чистые деньги офеням-ходебщикам, да прасолам-булыням, ест она — не свое, а дареное; житье ее, что сыр в масле: кроме прибыли ничего не видать ни с какой стороны.

Раз порастрепал ее, сказывали, становой, по наговору городского лекаря, и пригрозился ее в острог запереть, так только с год у Матрены изба новая некрытой стояла, да жалобилась девка недель пять кряду

своим соседям: что нонече-де житье сиротское еще горше стало, чем было прежде, что и народ-от беднее стал, деньгами-то ей за знахарство и носить перестали и только. Через год — не дальше, изба ее все-таки стояла такую приглядною, новою; чистота в ней соблюдалась такая, что и у иного помещика не отыщешь: на Рождество Матрена все стены мылом мыла, в великой Четверток к Пасхе весь пол ножом выскребала. Дивились мужики толковости и находчивости Матрены и упрекали ею своих баб:

— Смотри, нечесы, в избе-то у ней словно рай цветет. Просто так посидеть, так в удовольствие тебе и в веселье. Про снадобья-то у ней шкапчик эдакой зелененький, а и там, что в лавке городской, таково приглядно... Все хорошо, все благовидно, одно слово сказать: чай начала пить купецким делом и разговоров не надо...

Позднее, гораздо позднее, когда уже Матрена приобрела значительный навык в лечении болезней, привелось ей попечалиться на тот общий недуг, которым давно уже, хотя и излечимо, болит простой русский люд. Матрена была неграмотна и, не имея случая подумать об этом, жила себе, горя не ведая до тон поры, пока местный грамотей-доточник не принес ей писанной книги, значительно засаленной и измызганной. Прочел он ей заглавие. У Матрены и глаза разгорелись: «О травах различных вкратце, на каком месте которая трава растет и какова ростом и цветом и к чему которая трава угодна, и о болезнях вкратце». Понеслись мимо ушей Матрены лакомые, соблазнительные заголовки: вот средства от зубов, от угрей, от лишаев, у кого ум или мозг порушится, буде кто не спит, у кого очи свербят, о сверчке у кого в ухо зайдет, аще кто храплет, у кого волосы в гортани растут, у которого человека битого кровью займет у сердца.

— Прочитай-ко, прочитай, кормилец, экое место, — перебила Матрена.

— Добудь 10 раков, — читал грамотей, заручившись полуштофом угощения, — истолки и процеди и того от-
весь три золотника, да крови козлячьей 7 золотников,
смешай все с пивом и пей по-разу.

— А кая жена долго не разродится, — продолжал грамотей на соблазн повитухи.

— Выпей-ко еще на здоровье да читай, что пони-
же этого значитя, — приговаривала та, жадно следя
за глазами читающего и вся превратившаяся в слух и
внимание.

— Напиши на бумаге ирмос: «От земнородных», кто
слышал таковая, — весь до конца и привяжи на голову
или под пазуху: скоро Бог дает.

— От зубов, — читал грамотей, — поймай воробья
живого и выколи у него зеницу и положи на зубы и
зубы тем мажь. От икоты — грызи капустникова коре-
нья: сердце икать перестанет. Огнь в очах — излови во-
исходную пятницу зайца живого и вынь из головы мозг
и тем мажь очи. Сие сотворил лекарство Адам, праотец
наш. От уразу и от побоев: — емли травы чабру, и пари
в вине, и пей на дщее сердце (натоцак).

— Есть трава именем Архангел, собою мала, на сто-
ронах по девяти листов, тонка в стрелку, четыре цвета:
червлен, зелен, багров, синь. Та трава вельми добра; кто
ее рвет на Ивань-день сквозь златую или серебряную
гривну и та трава носит, и тот человек не боится дьяво-
ла ни в ночь злого человека; аще на суд пойдет — одо-
леет сопротивного, и цари и князи любят его и всякие
люди. А корень ее добр; у которой жены детей нет: то
истолки, в молоке и дай пить, то конечно будут дети,
или порча за тридцать лет здрава сотворит, исцелит.
О купальнице: до солнечного восхода встань и будь
чист, а копать руками без дерева, а говорить: «Госпо-
ди помилуй» 100 раз, а потом: «аминь», а она вынять
из земли перекрестись, а взять тремя персты правые
руки, да левые один большой и поцелуй траву триж-
ды, а корень ее пятью и обвей златом, или атласом, или

камчатным лоскутком, и держи в дому твоём, на путь её с собою емли, и на войну, и на суд, и в пир, и от ведунов, не будешь испорчен. Есть трава, именем глава Адамова, растёт возле сильных раменных болот кустиками по пяти, и по шести, и по десяти листов вместе, высотой в пядь, цвет багров, иной рудожелт, а как расцветет — ино вельми хорош кукшинцами, всяким видом, и ту траву рвать с крестом Христовым и говори: «Отче наш» и псалом 8, а кто не имеет грамоты да сотворит 300 молитв Иисусовых, и принеси ту траву в дом свой и который человек порчен: да пьёт — здрав будет; а кто хочет дьявола видеть или еретика, то ту траву пей и корень освяти водою и положи в церковь на престол и как минет 40 дней и ты носи пря себе и узришь воздушных и водяных демонов; а кто хочет мельницу ставить — держи при себе — вода стоит, где хочешь, или церковь ставить — положи на землю ту, а как ранят человека и приложи, и та трава именуется во многих травах — царь-трава.

Вот те три великие, заповедные, зачурованные от непосвященного глаза тайны, без которых не смеет умереть ни один доточник, ни одна знахарка, не передавши её при приближении смертного часа кому-нибудь из приспешников и при том при смертной клятве на родных и внаемых, на кровных родителей, на свою утробу богодатную, на свои кости от ребра Адамова. В противном случае затаивший иди не успевший передать при жизни эту тайну другому надёжному человеку и по смерти не найдет покоя: станет подниматься в глухую полночь из гроба, выходить из могилы и плакаться человеческим плачем и голосом и изнывать на всех тех местах, где сотворил какой-либо из семи смертных грехов. Будет пугать тот мертвец всякого живого человека до той поры и времени, когда найдется смелый и умелый, чтобы переложить мертвеца в гробу навзничь, подрезать мертвому пятки и вбить ему в спину между лопатками осиновый кол.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Лишь только кончится в овинах молотьба хлеба, и время подойдет к, так называемым, кузьминкам, простой народ уже начинает, по заведенному порядку, готовить зимние развлечения. Во всех деревнях затеваются ссыпки. За четыре дня до Козьмы и Демьяна девушки известной деревни ходят по избам и собирают складчину; хозяева побогаче и зажиточнее дают говядины, поросят, кур, крупы, муки, солоду, масла; победнее — яиц, молока, хмелю. Собравши складчину, выбирают и отпрашивают просторную избу и начинают приготовления к празднеству: варят пиво и сусло, пекут пироги, готовят лапшу и в самый день праздника открывают пир сытным, жирным обедом. Главными гостями на этом пиру, разумеется, являются деревенские парни в красных рубашках, обязанные принести вина для себя и хозяина избы, орехов и пряников для хозяек и заводчиц пиршества. После обеда бывает первая вечеринка, как бы репетиция будущих святочных посиделок. Какой-нибудь ухарь-парень, засучив по локоть рукава, затренькает на балалайке, и начинаются пляски и песни, продолжающиеся всегда до третьих петухов.

После этого вечера начинаются, так называемые, супрядки и именно следующим образом: какая-нибудь хозяйка баба, накопившая много льну и превратившая его в мочки, идет по домам и приглашает девушек помочь перепрясть ей накопившийся лен. Девушки, одетые запросто, являются с копылами и гребнями к самому обеду, после которого принимаются за работу и таким образом открывается первый вечер супрядок, при тусклом свете лучины в каганце. Чтобы спорилась работа и не клонило ко сну шипенье веретена, нередко запеваются заунывная песня, к которой пристают и праздные деревенские ребята. В промежутках между

песнями рассказываются сказки и бывальщины, в которых часто принимает участие и сам хозяин, где-нибудь в углу точающий свой лапоть или зашивающий конскую сбрую. Такая беседа продолжается иногда часов до 12 вечера, смотря по работе или, лучше, по количеству собравшихся ребят-сказочников.

Так однообразно тянутся эти супрядки, переходя из избы в избу, — вплоть, до рождественского сочельника. Не бывает их, конечно, в праздники, и не поется песен по субботам. Нередко такого рода посиделки, смотря по обстоятельствам, затеваются и в промежуток времени между святками и масленицей; иногда являются даже и на первых неделях великого поста. В исходе этих супрядок перед святками, беседы несколько оживляются приездом гостей-питерщиков: песни поются тогда веселее, сказки сменяются интересными рассказами о Питере, из соседних деревень являются гости-невесты. Местные девушки, в свою очередь, уходят в гости и самая цель вечеринок принимает более серьезный характер: питерщики выбирают себе невест, с кем вместе жизнь коротать, — вместе горе мыкать, с кем жить да поживать — по пословице только, потому что женившийся в конце великого поста оставляет свою *молодуху* и снова идет в Питер на работы.

С приезда питерщиков самая картина супрядок значительно изменяется: работа тянется как-то вяло, девушки чаще начинают вставать со своих мест и выходить в сенцы, да и проказники-питерщики не сидят в сторонке, а норовят подсесть поближе к девушкам, и следом за ними выбегать на двор.

Накануне 24 декабря копылы и гребни покидаются надолго, вплоть до 8 января, и не берутся в руки в предчувствии святочных удовольствий. Цель супрядок достигнута: питерщики выбрали себе невест. Остается на святках замысловатыми, комическими ряженьями окончательно расположить в свою ползу сердце выбранной суженой. Недаром же иной навез из Питера

целую связку масок, самых смешных, самых уродливых, целую дюжину расписных платков и несколько пачек цветных, самых ярких лент.

На другой день Рождества начинаются святки, или лучше сказать, *посиделки*, вечеринка, называемая просто: *поседками*, иногда *беседами* и даже *беседками*. Выговаривается у какого-нибудь хозяина самая просторная изба из деревни на все время до 4 января, когда бывает последняя поседка. Редко бывает, чтоб она переносилась в другую избу, разве случится в доме несчастье — умрет кто-нибудь из хозяев. В больших селах и деревнях таких вечеринок бывает вместо одной — две, иногда даже и три в один вечер, смотря по богатству деревни ее, народонаселению и по числу наехавших гостей. Не бывает поседок накануне праздников, — зато в праздники они бывают и многочисленнее и веселее, особенно если деревни лежат по соседству с уездным городом, посадом, усадьбою богатого помещика. Из уездного города и посада приходят гости-канцеляристы, писаря станového, почтальоны, привозят с собой вино, чтоб расположить в собственную пользу местных ребят, всегда враждебно смотрящих на гостей не своего приходу и иногда затевающих с ними на улице страшную свалку. Из соседних усадеб приходят лакеи, улучившие свободную минуту, когда господа лягут спать иди уедут в гости. Эти приносят с собою скрипку, почему всегда живут в ладу с ребятами и нравятся девушкам. Иногда — и весьма нередко — сами помещики со всеми гостями, на нескольких тройках в кибитках, приезжают смотреть, как веселится простонародье и даже принять некоторое участие в их удовольствиях. Исключительная же привилегия веселиться предоставляется девушкам: ребята обязаны их развлекать и оборонять от незваных и дерзких гостей. Иногда, впрочем, и молодухи, и то разве по просьбе приехавших господ, вмешиваются в толпу веселящихся, потому что, по общему обыкновению, замужние женщины должны

быть равнодушны к пляскам молодежи и только разве могут, и то тихонько, подтягивать в песнях.

Поседки эти редко отличаются от супрядок не говоря уже об однообразии последних и веселом разнообразии первых. Даже в освещении, в нарядах девушек и самых удовольствиях существует между поседками и супрядками большая противоположность. Первые освещаются всегда и непременно свечами, доставляемыми ребятами, последние — непременно лучиной; наряд девушек на супрядках простой, домашний, на поседках — лучший, праздничный сарафан и цветные ленты в косах. На супрядках редко или почти никогда не услышишь ни балалайки, ни даже гармонии, тогда как без них и поседка — не поседка, и потому на прямой обязанности парней лежит, кроме доставки свечей, — и доставка музыки. Наконец, прямое и редкое отличие поседок от супрядок то, что на последних невест *выбирают*, на первых окончательно их *побеждают*.

Считаем излишним упоминать, что накануне Нового года на Васильев-вечер все девушки ходят заворачиваться в баню, овины, на перекрестки дорог, что при этом происходит много комических сцен, производимых шутниками-ребятами, что подобные заворачивания совершаются, хотя уже и реже, и в следующие за тем четыре вечера.

И вот, в заключение, по возможности, верная картина деревенских святочных вечеринок, конечно, ежедневно от различных обстоятельств изменяющаяся, в общем весьма похожая на описанную здесь, одним словом, всегда верная самой себе, иногда даже и в частности.

Представьте себе большую крестьянскую избу с черными, закоптелыми от дыму, стенами и потолком. Тотчас по входе туда трудно разглядеть собравшееся здесь общество: духота и мрак невыносимы. От жару — свечи, стоящие по полкам надстроенным в параллель скамьям, обтаяли и бросают на все собрание какой то

тусклый и тяжелый полусвет. Изба битком набита народом, так, что с трудом можно продраться до середины главного места действия, где на лавках чинно уселись деревенские девушки. Прямо против них на полатах взгромоздились ребятишки, по пояс свесившиеся вниз. Впереди их детских лиц виднеется густая рыжая борода, опершаяся на оба локтя рук и принадлежащая хозяину избы и полатей. Прямо под ними поместилась огромная ватага взрослых ребят. Из их толпы время от времени раздается настраивание балалайки. Налево от них огромная печь, с которой слышны невнятные звуки храпенья кого-либо из тех домашних, которые свое отгуляли. Далее, впереди печки, перегородка, из дверей и через верх которой торчит несколько лиц в кичках или платках, принадлежащих уже отплясавшей молодежи — замужним женщинам.

Вечеринка только что началась. Затрынкала впервые балалайка веселого голубца; ей, не складно, но смело подыгрывает гармония. С одной лавки важно поднялись две девушки и, обдернувши сзади свои платья, начинают одна против другой прохаживаться, обмахиваясь платками. Но вот уже одна из них подперлась рукою в бок и притопывает ногами; затем, громко шеберстя башмаками, пускается прямо к своей *поруке*, взяла назад, еще раза два в сторону и остановилась. Другая делает то же самое точно с такими же приемами, и ей уже время остановиться, как первая, подпершись в оба бока руками, летит ей навстречу и заставляет ее делать то же самое. Сделавши таким образом два-три круга, и порознь, и вместе обнявшись, они кланяются на все стороны и садятся на свои места. Пляска, кажись бы, и кончилась, но музыканты все еще назойливо продолжают веселые трели. С лавок поднимается, с теми же обдергиваньями платья, — другая пара, которая пляшет, или лучше, шаркает точно так же, как и первая.

Музыканты замолчали. Девушки начинают обмахиваться платками, парни о чем-то переговариваются.

Вскоре в избе наступило затишье, нарушаемое изредка щелканьем съемцев по нагоревшим свечкам. Видно, что дело еще не спорится, как будто чего-то недостает для общего удовольствия.

— Что же вы, орженушечки, замолчали? — раздастся голос с полатей. — Не заставьте меня, старика, взбаламутиться. А вы, дураки, что глазеете-то? — продолжал старик, опустивши вниз голову и обращаясь к ребятам.

Как будто пристыженный замечанием, робкий, свеженький голосок, приятно дребезжа, запел песню: «Как за реченькой слободушка стоит», смело и громко сопровождаемый всем хором девушек.

— Вот так! давно бы так, Аннушка! — сказал удовлетворенный старик, разглаживая самодовольно бороду и приятно улыбаясь.

Недолго тянулась песня, скоро смененная другою: «Я вечор млада во пиру была», а вслед за нею и третья: «Ты скажи-ко мне, воробушек», сопровождаемая пляскою двух девушек, или, лучше, мимикою, представлением, телодвижениями всего того, что пелось в песне.

Между тем, число зрителей значительно увеличилось, к прежним инструментам присоединились новые, между которыми нетрудно различить даже скрипку и гитару, принесенную из соседней усадьбы помещичьи-ми лакеями. Пляски стали живее и непринужденнее, и вдруг, в самом разгаре их, из дверей и с полатей раздались радостные, громкие крики: «Нишкните-ко ребята, ряженные идут! ряженные идут!»

И в самом деле, отворилась дверь, толпа ребят расплывалась, и из густого пару, вдруг обхватившего всю избу, явились посреди избы три фигуры в вывороченных наизнанку шубах, представляющие медведя, козу и вожатого. Они встречены взрывом хохота с полатей и несколькими замечаниями, относящимися к костюму козы.

Началось представление, столь нередкое в деревнях, селах и на площадях наших отдаленных уездных

городков, сопровождаемое невозмутимой тишиной. Заметно было, что оно не произвело особого впечатления на зрителей, и только, по уходе актеров, раздалось колкое замечание из толпы взрослых ребят:

— «Мало, знать, Михея-то зимусь собаки порвали: так он, слышь, сам-от теперь хозяином, а сергачом-то нарядил Степку Горелова».

Только что скрылся медведь, как снова из заднего угла раздалась голоса:

— Пойдемте-ка, ребята: что-то больно шибко шаландуются на лестнице, знать питерварки сейчас, нахряют.

Вслед за этими словами из дверей послышался торжественный голос:

— «Полно, Офимья, артачиться-то, пойдем; аль не знаешь, что хозяйки добрых людей пуцат и всяким словом угощат. Эй! развернися, хозяйюшкам в пояс поклонися. Любите и жалуйте, добрые люди!»

Последние слова, уже посреди избы, говорил высокий чучело с страшным животом и горбом, в длинном сером армяке, в кудельном парике, с такою же бородою. За поясом его торчал кнут, а возле — длинная, тонкая фигура, одетая в изодранный сарафан, едва доходивший до колен, и с какими-то грязными тряпками на голове. Эта последняя фигура, поклонившись девушкам, садится на пол.

— Что это она у тя севодни больно *примахрилась* (нарядилась), аль поминки по бабушке Акулине справлять? — заметил какой-то остряк из толпы ребят.

— Глупый ты человек! аль не смекаешь; пондравиться, вишь, вам, молодцам, хочет; знает, что невест выбирать пришли, — отвечало чучело.

— А колькой ей годок? — продолжал неотвязчивый остряк. — Коли больно молода, так я и не возьму, чай деда мово махоньким помнит.

— Что еще, братец: баба, вишь, шустрая, здоровенная. Да вот нишкни, — посмотрим. — И брюхан с плетью

начинает, при общем смехе ребят, глядеть старухе в зубы.

— И впрямь, брат, цыган! — заметила какая-то оби-
девшаяся баба из-за перегородки.

По освидетельствовании оказалось, что ей два ста
без десятка.

— Плясать-де еще может, — заметил цыган. Но
Офимья что-то не в духе и не слушается мужа.

Тогда последний прибегает к более действительно-
му средству — кнуту. Старуха быстро вскочила и на-
чала делать, сколько умела, карикатурные прыжки: то
упадет на пол, то снова вскочит и немилосердно стучит
своими сапогами *вкяданс* скачкам мужа, распорядив-
шегося уже насчет музыки. Наконец умаялась, упала
в последний раз и брюхан прочел тут же над усопшей
приличную торжеству речь, что «баба-де уважитель-
ная была, работящая, а вишь и померла, желанная моя,
касатка моя, раскрасавица ты эдакая», и что в груди его
сил и духу начинает, при общем взрыве хохота зрите-
лей, реветь во всю избу. Потом берет с полки свечу и
осматривает усопшую: развернул ее головной убор, из-
под которого мгновенно выставляется клинообразная,
черная бородка — причина страшного взрыва смеха,
преимущественно, с полатей и лавок. Но верх востор-
га публики произвело то мгновение, когда старуха, как
бы нечаянно, подожгла кудельную бороду мужа и этим
фейерверком возбудила истинный фурор: у многих де-
вушек от смеху появились на глазах слезы, старику на
полатах поперхнулось и он сильно закашлял, во всех
углах слышались восклицания, оканчиваемые новым
взрывом:

— О, чтоб вас разорвало!.. Уморили со смеху, баляс-
ники!.. колика взяла!..

Долго еще после представления чихало, сморкалось
и кашляло общество, пока, наконец, не успокоилось и
одна, побойчее прочих, девушка не загорланила во все
горло песню: «Выйду ль я на реченьку, посмотрю на
быструю!» Пляски пошли живее, среди избы толкает-

ся уже множество пар, между ними показались даже и парни. Много пропели песен, участники почти уже все переплясались и вот, будто снова на подкрепление, явилась новая, самая большая орава ряженных, которая потешает неприхотливых зрителей разными шутками и прибаутками.

Между этими шутками наибольшим уважением пользуется следующий диалог, вроде театрального представления, разыгрываемого обыкновенно барскими лакеями. Разговаривают двое; один одет барином; другой рваным лакеем. Разговор этот везде почти один и тот же:

Барин: Афонька Новой!

Афонька: Чего, Барин Голой?

Б: Много ли вас у нас?

А: Один только я, сударь.

Б: Стой, не расходишь: я буду поверять, — всякого в ремесло какое назначать, в Питер на выучку посылать. Отчего ты, мошенник, бежал?

А: Вашу милость за волосы подержал.

Б: Я бы тебя простил, а может и наградил: в острог бы тебя посадил.

А: Я, сударь, не знал, а то бы еще дальше забегал.

Б: Где ж ты это время проживал?

А: Да все в вашей новокупленной деревне — в сарае пролежал.

Б: А, так ты и новокупленную деревню мою знаешь? Скажи-ко, брат, каково крестьяне мои живут?

А: Хорошо живут, барин: у семи дворов один топор.

Б: Как же они, мошенник, дрова-то рубят?

А: Один рубит, а семеро в трубы рубят. А вот хлеб у них, барин, хорош уродился.

Б: А каков в самом деле?

А: Колос от колосу не слышать девичья голосу, копна от копны на день езды, а как тише поедешь, так и два дни проедешь.

Б: Что они с ним сделали?

А: А взяли собрали: истолкли, да и поставили под печной столб просушить. Да несчастьицо, сударь, повстречалось.

Б: Какое?

А: Были у них две кошки блудливы, пролили лоханку, хлеб-то и подмочили.

Б: Что же они с ним сделали? неужто так и бросили?

А: Нет, барин! они сварили пиво да такое чудесное, что, если вам его стакан поднести, да сзади четвертинным поленом оплести, так будет плести.

Вот и театр доморощенный, но монолог этот смешил девок до хохоту, а на почтенных лицах вызывал лишь легкую улыбку да и то в деревнях, что называлось прежде, вольных, т. е. у крестьян государственных.

Затем, по данному знаку, заиграла музыка, ряженные пустились в пляс. Кто побойчее выделывал ногами такие антраша и так высоко, что судья с полатей вынужденным нашелся заметить следующее:

— Ты, сударь, ваше благородье, не очень больно ногами-то дрыгай, а то, слышь, запутаешься в бороде, да меня вниз стащишь, тогда берегись: осрамлю, как пойду сам плясать.

— А чьи это ребята? — спросил он тихо, наклонивши вниз голову под полати.

— Говорят, жомеровские, — отвечал один голос из толпы ребят, — Андрюха — повар и Матвей — кучер: господа-то, знать, в Безине на менинах (именинах).

Но вот и эти актеры убрались восвояси. Было два часа за полночь. Девушки немедленно составили круг, в котором приняли участие все, бывшие в избе, даже старик слез с податей и пристал к хороводу. Начали хоронить золото, заплетать плетень и завертели сеянием проса. После того изба мало-помалу начала пустеть, ребятишки давно уже убрались с полатей.

Наконец, в избе все смолкло, кроме грудного ребенка, но и тот вскоре угомонился, и только изредка раздавался скрип его люльки, качаемой ногой сонной матери, да чириканье сверчка за печкой.

ДРУЖКА

(Рассказ)

I

— «Уж куды это меня, свет батюшка, снарядил; снарядил-то ты меня, знать, во чужие люди, что за гостя ли то, за нежданного. Уж простите вы меня, мои родители, свет ты мой, матушка — Арина Терентьевна; не давайте вы меня, братцы родные, ворогу вашему, что ни с ветра ли он пришел, с непогодушки. Повопите вы обо мне, сестрицы-голубушки, товарки-подруженьки, мово девичества соучастницы, вы не замайте моей русской косы, не троньте волосиков моих русских! Знать, идти уж мне во чужие люди, не видать мне порогу родительского; словно надоела я вам, напостылела; оди-то ли был свет, что в окне видела, не видать-то мне и его из-за горючих слез; въздыханья-то мои грудку белую надрывают; вы не троньте меня, мои подруженьки-поперешницы, не замайте моей русской косы, ленточки аленькой...»

Долго раздавался вопль на всю избу, долго еще причитывала невеста, обливаясь слезами и покачивая головой из стороны в сторону. Ломает она руки и не смотрит на своих подруг-поперешниц; не слышит даже, как расплели ей девичью косу и накрыли голову чистым рядом; и вопли матери невдомек ей. Выкрикивает невеста во всю избу: недолго уж ей пировать. Пойдет она в чужие люди, в чужие руки; — будет ли так хорошо ей там, как хорошо было дома? — никто не скажет. Хоть на последних порах дайте ей волю

натешить свою душеньку — наплакаться. И всего-то ей стало жалко: и котка белобрысого домовита, и стола, на котором обеживала, и лавки, на которой сиживала, и решета, и коромысла, и горшочка, и плошечки. Плачет сговорена и соблазнила своих милых подруг: полна изба рёва и причитанья, и в ум не возьмет сам большак, кто тут кого разобидил, от кого тут весь сыр-бор горит. Стоит отец среди избы словно громом пришибенный; крикнул бы, топнул ногой на бабью дурь, на грошечные слезы, да опомнился: вспомнил, что уж таково дело бабье: не хитро расплакаться, да трудно уняться. Видит большак, что и сам виноват.

С утра еще вчерашнего дня забрались к нему подсылные сваты, почесали под бородами и начали закидывать похвальбы на какого-то молодца заезжего. Долго толковали, все как-то не толком, да неладно: не шли их речи прямо к делу, и вертелся хозяин на месте и все кланялся, да благодарил за честь. Стали обыкшие в деле своем сваты закидывать намеки поближе, прояснилось дело и хозяину. Видит, в чей огород камушки кидают, да не знает, кто зачинщик, — темна ему эта сторона. А сваты хитрят — ломаются.

— Может быть, говорят, и знаком тебе этот молодец, не горд, не хитер, сам напрашивается. И приметы, если хочешь, не хитрые; не комом спечен и облик не блином, лицо и кругло и румяно.

— И не хитры бы, сваты, речи ваши, а все-таки в толк не возьму. Может, и соседской какой, может, и заезжий честь делает, а все поди имечко крещено носить. Назовите как следует, по тому и чествовать станем.

— Зовут-то Степаном, да ребята Глыздой прозвали; а отец его в твоей же деревне соцким состоит. Коли будет твоя воля, так и быть ему зятем послушным, а тебе тестем тороватым. Так бы по-нашему. Да твое ведь слово дороже.

— Честь ваша перед вами, а мне что за след хорошему делу поперечить. Давай сюда парня, да и с миром!

Парень уж тут стоит за дверью, — ждет не дождется хорошей речи. Поиззяб он немного (дело было, как и у всех православных — в осенях), да, зная, затем и пришел. Вышли сваты на крылец, взяли жениха за руки и впихнули в избу.

— Кланяйся, говорят, отцу названому, да пониже. Вот говорят, так... вот этак!.. и еще вот так!.. Подойди поближе, попроси его родительского благословения, да и беги за отцом. А наше дело сватье — мы свое кончили.

Приходит отец жениха, выводят невесту из-за переборки; кланяются друг другу и сватья и родители. Невеста передается жениху из рук в руки, из полы в полу; целуются. Сватья тащат из-за своих голенищ жениховой водки, и прежде чем совершится пропой, затеяли рукобитье. Слово за словом, старшины подопьют напорядках, накричат на всю избу; нацелуются сговорены, и конец заставанью — доброму делу.

Поутру другого дня осталось только отца Ивана позвать, благословить сговоренных образом, а там невесте вольная воля — надрывайся хоть так, что как бы с живой лыки драли.

Больше трех раз не удастся такое блаженство, да и это-то счастье дается не всякому. А тут мать подстанет к причитываньям, и от себя кое-что добавит. Пойте, бабы, во всю мочь, а отец уйдет куда-нибудь подальше к соседям, или завалится на печь. Там уж вы его ничем не доймете.

Теперь за женихом одним и вся недоимка: нужно ему в город съездить за меледой-орехами — девичьей потехой, пряников купить на закуску и разных бус и медных колечек; ситцу, сукна-армячины прихватить, плису отцу Ивану на рясу, дьякону пояс, дьячкам по шапке и всем поезжанам по подарку, какой взбрдет на разум или приведет доморощенная сметка на намять. Нужно только помнить и на лбу зарубить (если скупиться надумает жених), что на девишнике покоры начнутся, и

хоть так они... в шутку творятся, а все, гляди, на кого нападешь: иным покором прямо в глаз метнут, помутят иной раз и свет в очах. У невесты целая куча подруг защита, да и все за нее, а у жениха только и есть заручка дружка один, да и тот подчас словно вешний лед ненадежен.

Главное дело, по всем правам и обычаям, выбрать веселого дружку жениху; а за невестой пойдет либо брат, либо кто из холостых свояков; у этого и заботы немного, хоть а брякнет что невпопад, — все с рук сойдет: либо не услышат, либо и совсем не обратят внимания. На женихова дружку вся надежда: им одним вся свадьба стоит, весь пир и веселье.

II

Кого чем Бог поищет — так и станет: иному, например, грамота далась, — нашел где бумажку, хоть бы волостной писарь из окошка выкинул, — развернет и читает: «проба-де пера и чернила, какая в них сила, кто меня обманет — трех дней не живет и проч.»

Иному плотничья работа далась: с маху полено кроших и просто — без клинушка. Смотришь, выведет на чистом новом столе и петушка с курочкой и зарубочки на всех углах с выемками. Другому иное художество далось: — подопьет, например, крепко подопьет, ну, и спать бы, — так песни любит петь и такие, что не слышать по соседству.

Вот Фомка-сорвиголова: слова не даст никому сказать просто: сейчас подвернет свое щетинистое. Сказку ли смастерить на смех и горе, чтоб и страшная была и потешная, песню ли спеть, чтобы в слезы вогнуть и кончить сиповатым пеньем старого петуха и кудахта-ньем курочки; овцой проблеять, козелком вскричать и запрыгать сорокой; собаку сотского передразнить и замычать соседской коровой; старой нищенкой попро-

силье милостынки (сморщить при этом лицо и погро- зить ухватом), всюду хватало мастера Фомку, оттого и сорви-голова, что перещеголял всех деревенских своим досужеством.

— Ишь, *одмен* какой уродился! — толковали ребята. — И чем бы тебя, братцы, чище? — А вот поди ты тут! — Рукой махали товарищи и завидовали.

— А ведь ни с чего пошед, — добавляли они, припо- миная прежнее время, — так вот: пошел ему талант, что ни день, то внове.

— Шла мельничиха домой, а мы коров в хлева за- гоняли. Кто-то стегнул ее плетью, она и вскинулась; грызлась долго, а на Фомку отцу хотела пожаловаться; только ушла, а он, сорвиголова, и глаза скосил, как у Матрены было, и рожу свернул, по ее, на сторонку: нос на губу уложил, да как свистнет на нас, и отцу хотел на себя пожаловаться, ну вот словно так, как ругалась мельничиха.

— А то купец проезжал, так ровно вчера было дело: и вперед выпятится и волоса на затылке со лба пригладит и руки оботрет, и крикнет Фомка: «Эй вы мужи- ки! — посторонитесь».

Дивились молодцы своему товарищу еще смолоду и во всем отдавали ему почет.

В свайку затеют ребята играть, — привычное бы дело, так никто чище Фомки не ввалит ее в середку колечка: свистнет оно, завизжит, прискочит к головке и вопьется в землю так, словно *редька* или *репа* какая. Уговорится в краек попадать, так посмотришь и меряют сто шагов-пирогов, если еще и не того больше. А то обманет ловчак и взовьет кольцо кверху, ребятам бы мерять *пирого*, а уж колечко у Фомки в руках: подхва- тил он его на лету и расставил ноги, гордо подбоченив- шись.

В чехарду сговорились ребята: обочтет их Фомка, чтоб самому начинать, расставит ребят у стены горкой, головы на спины — а сам разбежится и как раз очу- тится у самой стены, на загривке переднего. В прятки

играть, так и не снимайся лучше: заберется туда, что целый час ребята ищут, да так и бросят. На этот раз не жалел молодец ни лица, ни спины, а царапины и не считал вовсе. Залезет в овин и кто его знает, на чем стоит и держится; тут бы ему и шею сломить, так цел и невредим; только, говорит, левый бок, ломит.

Так-то велось и во всем остальном: любили его ребята и нельзя сказать, чтоб боялись, а бывало, *сорви-головой* только в сердцах назовут и то про себя, потихоньку. Беда, если услышит Фомка.

— И не хотел бы, говорит, бить, — надоело, да руки чешутся: уж лучше не снимайся, коли кто меня не сумеет побить. Тут уж дело такое, кто кого тронул, тот и в ответе.

— Да ты бы, Фомка, Машке-то, Гришухиной сестре, спасибо сказал, — присоветовали ему раз ребята до супрядок, когда они уже имели право посещать их, но только молча, и стоять назади за старшими; дозволялось им залезать и на полати, но они сами стыдились водиться с малолетками.

— А за что же, братцы? — спросил Фомка совета.

— Да, вишь, она тебя полюбила больно. Мне, говорит, изо всех ты что ни на есть лучше. Вольно, слышь, волоса шибко вьются, кудри-то кужлеваты очень.

— Бодай ее бык, коли нравлюсь: рассердился бы, кабы захотел, — прихвастнул молодец. — У меня не одне кудри и глаза все девки хвалят. Дай-ко вот я отпущу себе бороду, так и жениться в нашей деревне не стану.

— А чем она хуже тебя. Дай-ко мне ее, так я и умирать не стану. Ее, брат, сама барыня хвалила, как лето-сь ягоды ей продавала.

Впрочем, и у нашего Фомки сердце тоже не камень; хоть и не у себя в деревне, а все где-нибудь по соседству найдется и для него зазноба. Отчего иной раз не потешить себя, не покрасоваться, когда не пройдет ни одна девка без того, чтоб не взглянуть на него и не закрыть

своего лица вплоть до глаз рукавом рубашки или ситцевым передником. Стал Фомка мудрить: спознался с писарям-ibaхвалами и сам незаметно сделался хватом. На первый грош зеркальцо купил и увидел, что уж порядочный пушок на обеих губах показался. Стал он и усвой и бороду холить: на первый случай, когда пушек стал виться немного, обрил он его, по совету приятелей, в той надежде, что волос скорее полезет. Скоро он и до настоящей бороды дожил. Бросил Фомка стричь волоса в скобку: спереди пустил на всю вольную волю, а сзади подстриг их казачком-лесенкой и затылок ему писаря выбрили гладко-нагладко. Попались кой-какие деньжонки; он купил гребешек медный, и повесил его на гарусный пояс; что ни снимет шапку, то и причешётся, что ни соберется куда, — вымоется. Стал он молодцом и увидели девки, что едва ли Фомка не пригоже всех в деревне: и лицо кругло, и румяно, а кудри и курчавая кругленькая бородка — только бы, кажется, ему и годились, и на девичью погибель выровнялись.

— Никак, Фомка-то сорвиголова Лукерью полюбил, — толковала одна соседка-орженушка другой.

— Нет, дева, давно бросил, теперь с писарем Григорьем Аннушку сомущают. А все оттого, дева, что пригяден пострел.

— Чванлив только, кормилка, бахвалить стал. А попробуй, что не по его сделать, откуда супротивности наберет.

— Уж и ребята-то наши хороши, только и живут Фомкиным разумом, словно нет своего. Что тот ни молвит, то и ладно.

— А будет он на поседках?

— Кто его знает? Вишь, в соседскую деревню повадился: свои, толкует, надоели. А что мы станем делать, коли не придет к нам, другие ребята и потех не сумеют придумать. Им одним, по правде сказать, и вечеринка-то наша стоит.

Так ли не так, а девки говорили правду. Фомка с товарищами повытеснил передних — старших ребят

совсем из избы. Иные оженились и бросили поседки: часть разбрелась в другие хорошие места, а и остался кто, так очень немного, да и тот присоседился под Фомкину власть и руку; только старичок чванился немного, а во всем слушал молодого и ему подчинялся. Без Фомки теперь не ладилось дело: ни песня не запевалась, ни пляска не подымала пыль от полу до полиц, и ряженные не плясали бы в избе, если б Фомка велел притворить двери и не пускать никого из посадских. Ссору ли затеет кто из захожих, Фомка сразу опешит его:

— Ты не очень гордобачься; не трогай девку; садись на свое место. Наша девка — не ветошка: а мы тебе укажем, где раки зимуют.

Беда, если гость скажет супротивное слово. Слово за слово, и чем он занозистее, тем и противники горячеей.

— Убирайся вон, — кончает Фомка, — нам либо ссориться, либо драться. Лучше уходи подобру-поздорову; да другой раз и глаз не кажи. А упираться стал?.. Хватайте его ребята, да в шею и спину! Там лестница кочковата для его милости: так свету не давайте, а пусть приглядится пристальнее сам. Укажи ему носом, как хрен копать.

— Силен Фомка, силен в своем слове! Только приказ отдает, — сам и рук не приложит; все ребята делают. А поди сунься поучить — век не забудет, — толковали гости и как-никак, а выводили одно, что нужно Фомку заручать заранее, а то ни к чему придирается, и словами колет: откуда берутся. И рукой крепок, да и ребята больно любят — горой стоят.

— Пойдем-ко, Фома Еремеич, выпьем крепительного. Да вот пряник вечор купил битой: так не хочешь ли побаловаться немного; а сладко, и горько, знаешь, — все к одному.

— Эх, молодец ты, Фома Еремеич: тобой только и деревня наша стоит, право.

Тогда уж смело подступай тороватый гость, — все заодно, хоть бы и из чужой деревни был.

— Только Машутку мою не трогай, — а то все в твоей власти!

— Гришку шокиринского не трогать, ребята: из наших будет, хотел вина принести и орехов, — отдавал такой приказ Фомка перед поседками.

— Заноза, — сорвиголова! и парень не олух; в работе спешен и песнями умеет потешить, с ним и стог нагребешь шутя, и сноп завяжешь, — говорили старики семьеяне. Один грех — тороват шибко: не жалеет копейки, коли в бахвальство заберется, а то бы и хозяйство вел хорошо, а разум-то свой, не купленной, доморощенной, и мою бы Груню не обидел, коли б засватать.

— Сказки рассказывает лихо и поговорки плетет, словно сам набирает. Здоров затылок — нечего сказать: лихой малой! А уж выпить надумает, против него никто не возьмет; мало только, плут, с крючка сливает, — толковал целовальщик.

— Больно зубаст да привередлив! — отзывались бабы замужние. — Сам, поди, и засватается, если надумает свадьбу играть. Мало учили парня, баловали его отец и мать, — оттого и вышел щетинист. Со старыми, словно с малыми, заигрывает; а не по нем что — грублив; грублив плут, а уж до поры до времени сломит голову.

«Эх, кабы Фомка взял за себя! — думали девки, — во всем бы его слушалась; купили бы саночки писанные и все бы катались. В Питер бы пошел: платочков наслал с городочками, душегрейку бы купил, что на подрядчицах наших. Уж и слушалась бы я его, все бы в глаза глядела, и побил бы — не плакала. Да нет не бывать тому, — супротивница есть; полюбил не меня, а мою разлучницу».

Девки краснели при первой встрече с сорвиголовой и перекидывались словечками. Доходили и до того, что не только сами заговаривали с ним, но и сами первыми заигрывали, щипком или локотком. Фома только оглянется и редкой счастливице погрозит пальцем или язык высунет, а то всем одно:

— Не замайте меня: и без вас тошно. Хороши вы, девки, да лучше вас есть.

Правду сказал Фомка: хороша была Аннушка и голосом взяла и телом породиста; на первых порах Фомке и желать лучше нечего. Что ни встреча, то Аннушка и глаза потупит, а заговорит подбочася Фомка: у красавицы и сердечко запрыгает, и в горлышке перехватит, голосок станет, словно надтреснутый: говорит, словно боится, и все как-то не то, чего хочется. Заиграл Фомка на балалайке, ударил всей пятерней бойко и порывисто, у Аннушки не то чтобы озноб, а задрожит-таки улыбка на маленьких губках, и плечиком шевельнет она. Пригласит молодец плясать — не пойдет. Песню ли ухарь запоет про нее, за товарок Аннушка спрячется или убежит далеко.

— Про себя страдает девка. А вижу — любит. И богата же, братцы, Анютка: жили бы славно, все бы пиво варил; бурмистром бы выбрали.

— Барышник ты, брат Фомка, и ничего больше! Послушай-ко, что она про тебя вечор говорила: мне, говорит, в воду с камнем — либо за Фомку замуж. Я, говорит, его люблю больше всех; братишки, говорит, так не милы.

— Да чего, коли хотите? — подвернул парень. — Раз за руку схватил ее, так не вырвала: стоит сговоренной, да как захнычет. Я говорю, чему плачешь? Так, говорит, что-то неладно. А сама уперлась глазами в землю и ни слова не молвила больше; вырвалась с маху, да и убежала в избу. Ну, ее...

— Нет, брат Фомка, не обижай ты девку, а коли за богатством гоняешься, возьми лучше мельничиху Агашку, — рябую. Та на все удала: и на песни горласта, и слово скажет — словно в кузов ударит.

— Ладно, ну — ребята: молчите до время!

Ребята молчали, и Фомка молчал. Раз пришел к своему закадышному приятелю становому писарю, покурить картузного да побаловать на балалайке — отвести

душу (свою балалайку подарил кому-то); говорят ему приятели писаря:

— Молодец, братец ты, Фомка. И кто тебя знает, откуда у тебя речи берутся. Не хитро бы, кажется, сказать иное слово, а ты молвишь — что хочешь дай — не сумеем. И как-то это ты и рукой и языком прищелкнешь, кстати коленком ввернешь, плечом шевельнешь, все это впопад у тебя.

— Знаешь, брат Фомка! тебе бы хорошо дружкой быть, и Егору кузнецу за тобой бы совсем не угнаться. Пошли бы и мы, да нет того маху. А уж почет-то какой: одно слово — дружка!

Думал да думал Фомка — и надумал:

— И вправду, господа, дружке много почету; от дружки все идет. Да приступ страшен: одного боюсь.

— Приступу бояться нечего, — утешали его, — тебе бы и начинать. Ведь и все неучеными были, вот хоть бы и мы.

— Да ваше, господа, дело бумажное; у вас и разум с другим складом.

— И тебе его не занимать-стать: девки хвалят, ребята любят. Окунись, да и с миром. Умей только слово кстати ввернуть; прибаутки свои давай да чужих поприслушайся. Походил бы по свадьбам, кузнеца бы Егора послушал, — все бы пригодилось.

— Ин вашими устами да мед пить! Попытка не шутка, спрос не беда; ведь наше авось не с дуба сорвалось. Идет битка в кон!

— Ну, вот и пошло! — подхватили писаря и залились дружеским смехом. — Начинай дело, а мы придем да послушаем.

С той поры, где ни затеется свадьба — Фомка как выльет. Случилась она по соседству — молодца все ребята знают, рады ему как баляснику, а не то он сам дойдет хитростью и прибаутками; волей-неволей все поддается его желанью. А в своей деревне он сам-большой: молодые боятся, а не то он и сам накроет, и от девичника вплоть до конца свадьбы болтается он по весельям

и руководит поезжанами. Иной богатый жених поску-
пится, бывало, ребят угостить. Фомка ведет перегово-
ры, как бы до горшков добратся, что на брусьях лежат,
и если не дадут ушата браги, все горшки буйная ватага
пошвыряет на пол. Бывали случаи похуже того: ходил
в дело и деготь с песком; зацепляли и поезд на выгоне.
У Фомки одно на уме: как бы попристальнее присмо-
треться ко всем свадебным свычаям, как это там люди
женятся и что следует дружке делать, чтобы им одним
весь пир стоял. А потехи разные — уже так спроста
срывались.

Так ли не так, а Фомка стоит на одном — выслежи-
вает, что делает один дружка и в чем перехитрит его
другой; с чего один начнет и чем другой кончит. Прямой
его метой и задачей сделался его кузнец Егор — старый
воробей на мякине. Он уж двадцатую свадьбу говорил,
так стало-был на своем месте. К тому же он и Фомке
крепко нравился; все это у него творилось как бы по-
заученному; все к стати и на потеху. Запоет прибаут-
ки, и глаза зажмет, и ногой притопывает, ко всякому
речь обращает, и не то, чтоб облает, а таки иному такое
скажет, что того ударит в краску. Никого не пропустит
кузнец; всем почет отдаст с прибауточкой: «все, мол, вы
гости, все равны, — и вот вам всем по серьгам, только
на молодых не пеняйте».

Вот к этому-то частобаю-кузнецу и поступил в нау-
ку, на первую пробу, наш Фомка, в званьи *поддружья*
и в первый же раз на потеху: что ни скажет кузнец, —
Фомка такое подвернет, что тот и замолчит, а этот под-
хватит и начнет строчить: зависть возьмет. В одном
сбивался новичок, порядки не сразу понял: как-то мно-
го их и все разные.

— Научи, брат Кузьма, порядкам-то всем; вот я тебе
и угощенье принес: не погнушайся!

— Коли дружкой быть хочешь, так первое тебе —
смелость. Она тебя выведет, она тебя на путь поставят.
Записал бы приговоры: да, вишь, оба мы грамоту-то за-
были, а что схватишь сам по себе, так то и ладно.

— Нет, да не о том речь, дядя Кузьма, ты вот указал бы, как там стать и сесть, или что там такое. Кое-что уж я и запомнил, одного не пойму: хитер больно девишник. Как это там девки, поезжане... ну и с отцами-то ладить надо.

— С отцами нехитрая штука; где какой, там и ты такой. Коли чванлив да гордость обуяла, ты ему спицу по сердцу пусти, только не колí его прямо в глаз, а то с девишника прогонит. А поезжане эти, — такой уж народ, одно, значит, на чужое добро добрались: их ты режь чем ни попало. Им бы попить да поесть, а твой покор да прибаутка, что вода в решете. Расскажу-ка я тебе кстати одно дело.

Довелось оно мне, как я жил у шерстобита. Был он бедный мужик, пришла дурь да блажь в голову — идти к богатому подрядчику на свадьбу. «Куды, говорит, не шло, поднесу каравай; ото всего, стало быть, усердия: чем богат, тем и рад». А правду сказать, каравай-то один и был в целом доме. «Авось, думает, позовет; буду сыт, и ребятишкам кое-чего прихвачу». Сходил мужик, да на том и сел. «Что, говорю, рано?» «Хоть бы ты, говорит, Кузьма — горбушку отрезал; а то хоть голодный ложись».

— Первое, Фомка, я тебе, брат, вот что скажу; смотри в оба и себя не обидь. Дружке после невесты первой подарок идет; да чтоб и невеста была торовата, да и другой кто надумает дарить, так и он чтобы тебя не обошел. Подверни ему загвоздочку по душе, чтобы как-никак, а не отвертывался. А чтоб еще крепче дело стояло, так вот послезавтра в Овсянники звали: хочешь в поддружья опять?

— Спасибо, дядя Кузьма, на добром совете, а теперь мы и сами кое-как справимся.

— Как, брат, там знаешь, только меня не обидь. Я, вот видишь, и ребятишек повывел, а все бы побаловать и напредки не прочь. Начинай, Фомка, с миром!

Между тем, давно пошла молва по деревне, что никак-де Фомка в дружки хочет идти: был уж в поддружьях и всех напотешил, да и дома все по избе из угла в угол ходенем ходит да прибаутки твердит. И такой бледный да сердитый. Все с кузнецом водится, что ни утро, то он и там, либо заручные пьют, либо о свадьбах толкуют. Фомка с ребятами уж и не водится и девок не трогает; осадила его совсем кузнецова дурь.

Попытался один приятель об Аннушке напомнить:

— Ты бы, говорит, хоть словечко ей молвил; шибко, вишь, она кручинится: песни не поет, на девок огрызается; совсем загубил девку.

Но Фомка все приговоры твердит и ходит опять ходенем по избе, горит его сердце завистью, стало ему мастерство кузнеца поперек в горле. Бывали минуты — урывалось у Фомки и бранное слово на соперника, словно и не вместе пили, словно и не доброму делу учил его тот спроста, с охотки. Опять пошел слух по деревне, что Фомка совсем одурел: и сердится, и ругается, а все приговоры твердит и руками разводит. Случилось это дело как раз на ту пору, когда обвыкшие в своем деле сваты засватали девку за Степана Глызду. Ходил Фомка в сердцах и в тот день, как совершилось рукобитье, твердил приговоры и тогда, как завопила девка и причитывали ей подруги. Вот уж Фомка и руками замахал, и ногами затопал, начал хитрые колена отгибать, и пяткой пристукнет, и плечами поведет. Смотрит на него мать с печи и в толк не возьмет, с чего дурит сын, уж не белены ли объелся? Вот рукой развел от печного столба прямо к столу и кланяется, да ухмыляется, вон скрипнула дверь и отворилась, поднялся пар и завертелся под полатами, охватила старуху холодная струя и ударила в кут. Видит баба, как пронеслась хмара и прочистилось в избе: стоит у дверей Степанко Глызда и дивится вместе со старухой коленам Фомки.

— Ты за мной, что ли? — прямо начал тот и опять засмеялся.

— Не откажи, брат, Фомка, уважь!.. ведь уж сговорились!.. Завтра в город еду, да вот и зашел к тебе. Хотел было Кузьму попросить, да слышь, ты берешься за это ремесло.

— Ремесло не коромысло, плеч не отдавит. Бери, брат Степка, бери меня! Постоим за себя, а того просто в прах загоним. С твоей легкой руки, всех напотешим: и поезжанам скажем слово, и ребятишкам дадим приговор, всем дадим. Как там в избу зайдут, за стол усядутся!.. Нет, да постой, и прежде будет... вот что будет, — и Фомка опять было повел рукой от стола к переборке, но его остановил жених:

— Да уж ладно, Фома, на тебя надеюсь, а после сам все услышу. Ты у нас завсегда был шустрой. Только меня-то, брат, не кори! бери подружку получше... кого из наших...

— Не нужно подружья! сам один справлюсь. Уж не Кузьму же брать. Я твой дружка, а за невестой пусть братишко пойдет. Если Кузьку позовут — не пойду за тобой и поезду помешаю. Слышь, Степка, лучше не ссорься; один буду всю свадьбу справлять; на то, вот, никуда и не хочу идти, как ни звали все.

— А что тебе, Фомка, из городу привезти? — кушак али гармонию?.. Может, балалайку хочешь?..

— Ничего не нужно, даром иду! только вина давай больше, да чтоб никто в мое дело не мешался!.. Слышь, Степка, купи зеленые рукавицы. А когда девишник?..

— Сегодня и завтра в городе буду...

— Ну ладно погодим. Зато уж удружу тебе на смех и радость. Не обходи только худым словом, да не сказывай ребятам, что с Кузькой не хочу идти. Скажи только Анютке, чтоб она пришла, пусть ее поплачет!

Фомка опять заходил и опять замахал руками. Долго еще носились по избе его причитыванья, одно

другого складней, давно уже и мать его заснула, давно уже и жених был в городе и закупал все, что нужно для свадьбы.

III

Фомка встал — не дождался желанного времени. Рано вставал, поздно ложился; и армяк его синий беспокоил, и плисовые шаровары, и сапоги с крепким подбоем, с гвоздем чуть не в кулак. Наконец, удалось ему подобрать, прирядиться и учинить пробу в дружьем наряде; а вот ему поутру, в самый день девишника, принесли полотенце от невесты с кистями, изукрашенное красным подбоем. Перекинул его Фомка через левое плечо и подвязал под правым; взглянул в зеркальце: концы полотенца нахально болтаются, красная рубаха торчит на груди, а шаровары плисовые словно ветром раздуло, и сапоги дегтярные крепко постукивают... Борода расчесана, волоса крепко смазаны топленным коровьим маслом; топнул Фомка ногой, отхватил коленце, перегнулся с правого боку на левый и прошелся раз по избе.

— А что, ребята, будет Анютка в причитальщицах? — спросил он друзей, пришедших за приказами.

— Звали ее, да уперлась — не послушалась. «Может, говорит, приду, коли кто-де попросит».

— Ну, ладно, братцы. Вечор хотел было в *заседчицы*⁴⁷ попросить, да знаю: не утерпела бы — заплакала, надоели мне ее слезы совсем. Поди-ко кто, да проси ее от меня. «Фомка-де в дружки не пойдет, коли не придешь на девишник». Горшки, братцы, не бить, а набирайте к завтраму сковород да бубенцов; сходите на почту, может, ребята колокольцы дадут. Надо уважать Степку: впервые дружкой иду, так чтобы не ругался после.

Отдав приказания, Фомке осталось только выбрать двух молодцов к лошадям, чтоб они и впрягли их и сами

изукрасили все как следует, а ему сесть только, да и ехать в поезде, который, говорят ребята:

— Большой будет: всех наших просили. Степка сам ездил с отцом и матерью; да опять же и сваху засылал: долго один бурмистр, слышь, ломался: «Я, говорит, лучше на свадьбу заверну, а на девишнике быть, говорит, мне, старику, совсем не пристало». Степка, слышь, в ноги: «Не обидь, говорит, а мы, говорит, твоей милости всегда плательщики». Тут и отец закинул слово. Подался бурмистр: «Хорошо, говорит, как поразыграются, — заверну на часок, — погляжу».

— А ты, Фомка, с чего начнешь? — спросил в заключение любопытный рассказчик.

— Увидишь после! да ступайте вот, скажите там, что сейчас-де идет: ждать не заставит!

Хоть и тотчас же ушли ребята, по дружкину приказу, но ему самому словно жалко сделалось: хоть бы и назад их вернуть. Запрыгало сердце, словно перед бедой какой; словно вот сейчас ему окунуться в прорубь. Побледнел молодец, словно то полотенце, которое подвязал под плечо. Заговорил было опять свое, да защемило горло и звякнул голос, словно овечья струна на балалайке. Стало Фомке стыдно, — стыдно не людей, а себя самого; рад уж он был, когда бы опять обиделась на него Аннушка и не пришла на девишник, да и остальные девки совсем будут лишние, да зачем и ребята придут.

«Лучше бы сделать дело по-домашнему, чтоб никто не видал, — думает он. — Беда, коли страмоты наберусь, тогда за одно выстрадаю — наймусь прямо в свинопасы, или уйду из деревни, чтобы совсем и в глаза ее не видать».

— Нет, Фомка, — вскричал он вслух так, что заставил вздрогнуть свою мать на печи, — окунися смело, не дурачься! Коль взялся за гуж — не говори, что не дюж; на тебе б и стряслось, да и Анютка к тому же будет.

Пока принаряжался дружка я поджидал его жених у себя на дому с ребятами — в невестинной избе уже с утра собрались ее подруги. Лишь только все чинно и тихо расселись по лавкам, невеста была выведена из-за переборки и посажена на видное место. Лицо ее было заплакано и сдержанные, еще вчерашние, рыдания надрывали ее грудь. Тяжело ей было смотреть на свет Божий, досадны казались и веселые лица подруг: пришла пора, по завету, проститься с родителями. Долго ей не хотелось приступить с прощаньями: желалось бы ей дольше продлить дорогое время, а все, глядишь, нужен же конец, ведь затем и вышла она, того только и ждут и подруги, и поезжане. Нечего медлить. Да вот и дружка — старший брат ее пришел повестить, что-де «баня готова, милости просим нашего пару отведать, сестрица милая, попрощайся с родителями! не век же в девках вековать, не век же и пару в бане стоять». Братьино слово сказано — пора приступить к новым причитаньям. Плачет невеста от всего сердца еще пуще, чем в самый день сговора: не утешат ее подруги. Вот и отец заплакал, и мать надывается, и брату как-то неловко на месте: машет он веником, что держал в руках. Кое-какие еще соседки забрались в избу и те, глядя на семью сговорены, заплакали. Тут хоть и за милого друга иди, а трудно женским делом не расплакаться, и кто знает, что дальше бы случилось с невестой, если б не увели, наконец, ее в баню в то время, когда Фомка пришел с ребятами в женихову избу.

Вымылась сговорена с подругами, стоит черед за женихом с приятелями, и слышала вскоре деревня, что и они повершили дело: забили во всю мочь в заслонки и сковороды. Один шутник колокольцем зазвенел, другие подхватили его шоркунцами. Впереди ватаги шел сам дружка-жениха, молодец молодцом: знать, будет смел и на девишнике, особенно, если в меру подопьет за жениховым обедом.

— Поди-ко, — говорит ему Степка-жених, — купи-ка мне невестину косу, а то, говорит, и на вечер не пойду, если не принесешь мне косы; стриженной девки совсем не люблю.

— Сколько дашь, по тому и надежду дадим; не скупись только, не срами меня, а то от себя прибавлю.

Фомка принял от жениха два двугривенных, лент клубочек, игольник костяной, пару башмаков, зеркальце с размалеванной картинкой и чрез полчаса сидел уже рядом с невестой и точил лясы; слушал, как она и ему причитывала, да видит как-никак:

— Расплети-ка, свахонька, косу, а то веры не даст жених, как придет на девишник.

Встал Фома — подбоченился, и сам дивится своей первой удаче и находчивости. От его слова тут и сваха поднялась, и коса расплелась, и невеста опять стала причитывать. Начали ей вторить подруги, и видит Фомка, что Аннушка тут: все вперед выбирается, чтобы поголосить за невестой. Еще больше красуется дружка, и хотелось бы выкинуть штуку, да не знает, к чему придраться, а невпопад сказать, боится оборваться на первых порах, за ним все девки следят, да и ребята собрались: пришли звать его опять к жениху.

— Милости просим с вашим князем к нашей княгине в гости пожаловать! — говорят ему перед уходом подруги невесты.

— Примите — не погнушайтесь! Рады и мы вашему досужеству угодны быть, — подвернул Фомка, шапкой хлопнул по коленку и зелеными перчатками махнул над головой.

Вечером вышли оба на невестин девишник: один с прибауткой, другой со своим холостым горем. Жених гостинцев купил; дружка принес их и раздавал девушкам. Радовалась чему-то Аннушка и смеялась, как будто и не обижал ее Фомка и, уж верно, тому, что не обделил он ее хоть чужим добром. Жених подсел к невесте; Фомка к девкам присоседился. Слово за словом и пошло дело к тому, что хоть бы и пляску затеять, если

бы мало-мальски было прилично невесте и позволяли обычаи-свычай.

— Не пора ли нам, добрый молодец, к домам прибираться? — начал присмотревшийся к делу дружка. — Тут и ночь просидишь, а рассвету не увидишь. Нужно невесте отдых дать, и нам с утра будет ломки много. Ты, невестонька наша дорогая, не плачь, не кручинься! завтра придем, напотешим; наш жених берет тебя и не кается, чтобы по любви жить, а не маяться. А пока мы до дому идем, поспрошай-ко, кого попримечнее: как тебе во чужих людях жить, чтобы не наприниматься потом лишнего горя, не плакаться на лихую беду; вдвоем придется побраниться, вдвоем и помириться. Хозяйкой, помни, дом стоит, да и нет большака супротив хозяйна, — проговорил дружка у порога, когда жених уже скрылся за дверью, чтоб, слушая его советы, не ввести невесту в соблазн и искушение.

Проводив жениха домой, Фомка не вытерпел: захотел вернуться на девишник, куда собрались в это время все поезжане. К вечерку завернул на пирушку и сам бурмистр, чтоб оказать почет соседям, пусть не жалуются: честь лучше бесчестья, а на доброе дело всегда можно удосужиться.

Пока расходились все гости, пообсиделись, пока невеста оканчивала свои обычные приговоры: которые что ни место, то внове и иначе читаются, — подружки девушки затеяли покоры. На то их воля, и вся эта вечеринка во всей их власти: это девичий праздник, они тут полные хозяйки. Сам жених не смел бы и глаз показать на девишник, если бы подружки невесты не захотели сделать ему такого почету. Дружка еще может приходить вместо жениха покупать косу; может разговориться, заболтаться и незаметно засидеться до конца вечеринки, но и его хозяйки праздника могут смело выслать вон и притворить двери. Поезжане, в этом случае — другое дело: им честь и место, собственная выгода девушек держать их подольше на девишнике, а и самые покоры тоже в их власти, хоть и не составляют они общего обычая.

Развеселились гости от девичьего потчеванья; слышат поезжане, что и до них стали добираться, чтоб на чужие караваи рта не разевали. Но первый покор свату и свахе: запели девушки бойкую, но не слишком веселую песню; растянута она была и отзывалась даже чем-то неприветливым. Вот и весь ее склад, вся хитрость:

Ой ты сваха, косые глаза!
Не гляди под стол: там нет мослов
На твои глаза, на бесстыжие.
Ой ты, сватушка, косые глаза!
Что у тебя, сватушко, шея синя?
Аль на тебе, сватушко, петля была?
Что у тебя, сватушко, рожа пестра? —
Аль у тебя, сватушко, лягушка — сестра?

Песня эта была вызовом на подарки певицам со стороны жениховых сватов и свахи. А вот и Фомке-баляснику сережка в ухо:

Друженька пригожий на полатки взглянул,
На полатки взглянул:
Трои лапотки стянул.
Сыч — пострел, отдавай скорей!

Дошло дело до поезжан, и песня изменилась в бойкую, плясовую песню, начали корить посмелее, надеясь обильного количества подарков, тем более, что и сам бурмистр стал раскошелиться.

Пели смелые девушки такие покоры:

Как по тыну-тыну все воробьи,
У Степана в поезде все дураки!
Они лесом едут лыки дерут,
Полям едут лапти плетут,
Лапти плетут, оборы вьют,
А на двор въезжают-обуваются.

С окончанием одариванья невестиных подруг бусами, колечками, грбеночками, настал конец девишничку. Затем, однако, и поезжане пришли, чтобы одарить, а за это взять невестину перину и отнести ее жениху.

Не дают девки перины даром, требуют новых подарков, ухватились поезжане за перину и тянут к себе, дружка и плечом и коленком стоял за жениха, но все-таки перина не давалась. Пух летел, пылью слепило глаза: стойки были коренастые подруги в своем слове. Делать нечего, жениховы деньги не останутся у дружки в кармане; не сумел он схитрить — догадаться, не умел и силой взять, со всеми своими подручными поезжанами. Отдал Фомка девушкам деньги, данные женихом на заручку, и поволок перину к своему названому князю: пусть его порадует, что кончено дело, невеста наполовину его, а завтра уж и вся такова будет.

V

Не хвастался Фомка, что в день свадьбы всем им ломки много будет. Еще с утра, раннего утра, тотчас после третьих петухов поднялись обе избы и женихова, и невестина.

Утро началось одариваньями с обеих сторон. Фомка у жениха повел такие штуки, что ребята от него сроду не слыхивали, а как начали убирать жениха, помогать ему советами в том, что почище нужно сделать, чтоб вышло получше, — бахвал-дружка из себя выходил. Пуговку жениху застегнет, и ту осмеет наповал, да и петелька не по нем; а попался кушак в руки, да не ладился на женихе, — Фомка такое сказал, что ухватились ребята за бока, хоть из избы вон. Хохотали чуть не до икоты, так что даже щеки заломило у самых скул. Один так прыскал со смеху, что осовел совсем: кинулся на улицу и начал по снегу кататься.

— Будет, ребята, — прикрикнул Фомка, а сам как ни в чем не бывало, словно и не его дело, — вот эти-то штуки и разбирали ребят еще пуще.

— Да не пора ли уж нам и по невесту? — спросил он в то время, как Степка был совсем готов.

Жених принял благословение и сел рядом с дружкой в свои казанские саночки. Фомка не забыл прихватить целую бутылъ водки и сани двинулись прямо к невестинной избе, где уже расплели невесте косу и натешились слезами и причитаньями.

— А зачем вы приехали? — закинула сваха приезжим гостям.

Начал Фомка свое дело бойко справлять.

Не по дрова, не по сучья,
Не по рожь, не по пшеницу,
А по вашу красную девицу.
Ваша девица в тереме сидела,
Тонко пряла, громко ткала,
Бердо ломала, за окно кидала...

Пошел Фомка набирать, что на язык навертывалось, да остановила сваха новым запросом.

— Да все ли вы, братцы, здоровы?

— Все у нас, свахоньки, здорово, — прикинул дружка.

Все здорово: и быки, и коровы,
И телятки — гладки
Привязаны хвостами к лавке:
Будет вам и тепло, и привольно.

— Ладно, братцы, — подхватила сваха, — вашими бы устами да мед пить. Коли жених молодец, так поскорей и под венец: с миром, да с родительским благословением! — закончила она, чтоб уступить место новым слезам, едва ли не горшим прежних.

Эти слезы нельзя жениху слушать, а потому он уселся раньше в свои сани. Впереди их потянулась целая вереница саней поезжан: в одни села невеста со свахой и своим дружкой, еще подальше отцы посаженные, и подруги невестины, за жениховыми санями поплелись пешком и его приятеля. Зазвенели колокольцы нескладно. еще безалабернее подтянули им шоркунцы-бубенцы и грянули зычно ватага провожатых — ребят.

Только лишь повернул весь этот поезд за овины:

— Стой, братцы, у нас завертка оборвалась, пособи-те подвязать, голубчики! — крикнул Фомка и добился своего: угостил всех поезжан запасной водкой.

На полдороге Фомка опять со штукой:

— Стойте, говорит, братцы-кормильцы, взяла вот нас вьюга-вялица, зимняя метелица: вьет-метет, прямо в рот несет; дайте, братцы, время глаза протереть.

Попадались какие-то прохожие по дороге, совсем незнакомые люди.

— Милости просим, — приветствовал Фомка, — к нашему князю и нашей княгине хлеба-соли откушать — не погнушаться, авось пойдет любовь да совет от вашего прямого глаза.

— Спасибо на зазыве, — отвечали ему, — пусть их с миром повенчаются!

Но вот уже недели и венец — всем радостям конец. Заплели невесте две косы через руку, накинули бабий повойник, усадили с женихом в одни сани; тут же села сваха. Поезд с тем же криком ребят, звоном колокольцев и стуком в чугунки и сковороды, поехал в деревню, прямо в женихову избу.

А там уж и пир заготовлен: кругом всей избы протянулись столы, наставлены кушанья и покрыты все одним широким рядом — тонким холстом. Ждут дорогих гостей отцы и матери и обсыпали их при входе хмелем; подвели под каравай с солоницей, дали обоим из одной ложки меду: будьте-де богаты, пейте сладко, да чтоб и самая жизнь-то была не горька..

Усадили потом молодых за стол на переднее место, подложив на лавку пару овчинок — шерсткой мохнатой наверх. Тут же, откуда ни взялась, сваха и ввернула обоим молодым ребенка, посоветовав подержать его в руках.

— Хоть не подолгу, а подержите ребенка первобрачные мои писанные, князь мой со княгинюшкой; пошли-ко вам Господь милости Божьей! Не печалься-ко ты, моя касатушка — невестонька ты наша, гляди-ко каким молодцом твой голубок-от поглядывает.

— Поцелуйтесь-ко вы, мои писанные — расписанные, да передайте мне чужого-то ребенка, до вас еще не дошел черед, — закончила сваха шутливо-сердитым голосом.

— Ну-ко, дружка-разлучник! — крикнула баба на Фомку.

— Что тебе сваха-косорежка? — ответил обычным ответом всех дружек наш Фомка; выпрямился, осанился, когда поезжане залезли за стол. В руках у него очутилась бутылка с вином, и подвернулась под бочок сваха с рюмкой и стаканом на подносе.

Бойко обвел дружка глазами всю беседу, выпрямил грудь, расправил плечи, крякнул во всю избу, отплюнулся и повел старинные, простоплетенные приговоры:

Стану я добрый молодец
От прибоинки кленовые,
От столба перемычного,
Из-за скатерти бранные
Из-за сгибня высокого.
Стану я вас величать,
Стану чествовать.

Фомка поклонился важно и опять откашлялся во всю избу, и левую руку отвел. Сваха присела немного, прищурила левый глаз и замотала головой, одобряя начало и истовый выкрик своего подручника.

Не всякое слово укор,
А и стыд — не дым, глаза не выест.
Приговоры мои — не обида,
Не долго пек, да и солил не круто.
Кому что не по сердцу придет
Бери свой покор к себе на двор.
Благословите у молодых хлеба-соли отведать.
Гости званые и незваные,
Холостые и неженатые,
У ворот приворотники,
У дверей придверники.
Старые ли старики
Суконные языки;

Старые ли старухи
Косые заплатки;
Малые ребятки
Из кута с полатай
Благословляйте у молодых хлеба-соли отведасть!
Тетушки Федоры
Широкие подолаы;
Девицы-молодицы.
Молодецких наших сердец пагубницы.

— А не пора ли нам, свахонька, вином угощать?

— Ну, господин бурмистр, Иван Спиридонович!

Изволь повыступить
Молодых челобитья повыслушать:
Принимай подарок — выпей, утрись,
Богатством своим не скупись.
Ихное дело на нове, — надо много:
На шильцо, на мыльцо,
На санки, на салазки:
И тебе, может, пригодится
На масляной прокатиться.
А ну-ка, господа поезжаны,
Давайте молодой на румяны:
Надо нам коня купить
Чтобы воду возить:
Вода-то ведь не близко
Да и ходить-то ноне склизко.

— Кланяемся, вашей чести подарочками! — заключил дружка, приглашая поезжан к чарке и подаркам, которые состояли из платков, кусков полотна, лент, ниток и прочего добра. Видно, что совсем не скупился Степан и не жалел денег для вековой радости.

Кланяются молодые в землю и долго лежат на полу, пока ломается гость и пока не скажут им, пригубив чарку.

— Горько что-то; не мешало бы подсластить, наши первобрачные!

Молодые поднимаются с полу; подслащают водку: целуются и снова в землю и снова просят откусать — не погнушаться, принять подарочек — не почваниться.

Долго еще ломались гости, но все меньше и выше кланялись молодые; время и за стол сесть, — отведать хлеба-соли новобрачных: поросенка с хреном, поросенка в квасе и целых двенадцать сортов квасов, пока не доберутся гости до жареных гусей и баранов.

Но и тут дело не обошлось без Фомки, без него бы и сваха не тронулась угощать.

Прикрикнул и он в свой черед на нее:

Ну-ко, свяхонька-стряпухонька!
Ноги с подходом,
Руки с подносом,
Язык с приговором,
Голова с поклоном,
Отходи-отступай
От печенки кирпичные
От столба перемычного:
Порастрогай-поразломай свои косточки.
А что есть в печи
Все на стол мечи!

Наконец, началось угощение, сопровождаемое постоянными приглашениями отведать.

— Как у вас там хозяйство-то, молодые, идет? — закинул словечко бывалый свадебный гость, чтобы поддержать дружку и втравить ребят: «Пусть-де мелют, было бы только складно, на то и потехи эти придуманы испокон веку».

— Ноне в хлебе недорода, — поймал чего требовалось красной Фомка:

На низких повымокло,
На высоких повызябло.
Да спасибо хозяин догадался:
Нагреб ржицы в лукошко,
Да и вышвырнул за окошко;
Стала пшеница всходить,
Да повадились свиньи ходить,
Стала пшеница колоситься
Начали свиньи пороситься.
А пестрая корова совсем сдуrowала,
Задние ворота поломала
Да и пшеницу-то всю помяла.

— Ну, а хорошо ли сеяно было? может, и не случилось бы такого горя, коли б лучше по полосам проходили, — опять подвернул подгулявший гость — любитель бывать на чужих свадьбах и мастер поддерживать беседу и веселье.

— Да вот как сеяно! — подхватил находчивый Фомка:

Колос от колосу
Не слышать человечья голосу,
Копна от копны,
На день езды,
А коли тише поедешь,
Так и два дни проедешь.

Подобными доморощенными прибаутками забавлял Фомка поезжан-гостей до тех пор, пока новобрачных не проводила сваха в клеть, поставив на часы невестина дружку. Фомка далеко за пенье петухов пирувал с оставшимися гостями и не остался в долгу: от души нарадовался и своему досужеству — краснобайству и Степкиной радости — законному браку. Шумели страшно, били плоски, ломали ложки и кидали под стол и под лавки деревянную посуду.

На другой день, чуть брезжится, Фомка был опять на ногах, — осталось еще за ним последнее дело: истопить в свой черед баню и пригласить туда новобрачных.

Эти, проснувшись, отправились на поклон к родителям; затем явились к ним самим с поздравлениями, а наконец и Фомка показался в дверях жениховой избы с венком в руках.

— Экой у вас, сват и сватушка, порог (повел приговоры дружка от самых дверей) — насилу ноги переволок, хоть бы дали чем поправиться!

— Погляди-ко, молодая, — продолжал дружка, допив чарку и не обтирая губ, — какой у вас потолок, — черным соболем меня оболот, хоть бы дала чем утереться!

— А привыкла ли ты, молодая, к хозяйству? — продолжал Фомка, получив полотенце в подарок. — Покажи-ко мне своего удаль!

У Фомки откуда ни взялся мешок с рубленой соломой, которую он тут же, в глазах, разбросал по полу. Новобрачная должна была выметать избу, показывая тем, что привыкает к новому хозяйству.

Но Фомка опять охорашивается и веничком помахивает, когда молодая, наконец, уселась рядом с молодым на лавке и потупилась.

— Князь и княгиня новобрачные! — начал дружка, показывая веник. — В баню иду пару попробовать — годится ли вам попариться? Опарил бы вашу баню, да вот беда прилучилась: веник развязался. Связать бы надо, да нечем; а княжья-то бы баня давно у меня готова!

Надо давать дружке новый подарок. Молодой связал ему веник новым красным кушаком и пошел со своей подругой, за дружкой следом, в баню, где поддают пар брагой и угощают ребят вином.

Ударили ребята, по приказу Фомки, в заслоны и сковороды, и кончил Фомка свое дружье дело на собственную похвалу и утеху приятелей.

Осталось молодым сходить на *спознатки* сначала к невестиным родным и родителям, а наконец, ко всем остальным соседям, господам поезжанам, которые сделали им честь: побывали на свадьбе.

Вскоре у невестиных отца и матери будет званый стол для прежних гостей, которые нашьют им предварительно всякого добра из живностей; молодые вином запасутся; придет на этот пир и Фомка. Может быть, будет он шутки сказывать, приговоры подбирать, хоть это уже и не обязанности его, а лежит на доброй воле.

— А вам бы молодым — любовь да совет! Может быть, и над вами сбудутся кое-какие из поговорок — пословиц, которых так много знает Фомка и которые он так любит твердить всем новобрачным:

«Шубу бей — теплее, жену бей — милее.

Не прядет мужик, да без рубахи не ходит, а и прядет баба, да не по две носит.

Жене спускать, так в чужих людях ее искать, а жена не мать: не бить ей стать.

Нет большака супротив хозяина, а хоть и лыком он сшит, — все же муж.

В девках сижено — горе мыкано; замуж выдано — вдвое прибыло».

— Живите же с миром, добрые люди, чтоб была у вас в доме тишь, да крыш, да благодать Господня, — и не сбывалось бы с вами, про что говорят старые пословицы.

А что же Фомка?

Будут его теперь зазывать на свадьбу в дружки; будет твердить все одно и вперед, как заучено; может ухитриться при случае: придумает что новенькое. Не будет, может быть, часто ходить на поседки. А дальше что будет с Фомкой, если он останется при своем? Дальше надо вспомнить, что по Фомке тоскует еще Аннушка.

VI

— Потерпи, перемогись, Аннушка, ведь не над первой же тобой такая беда сбывается. Все эти ребята таковы, а твой ведь совсем в дружество втравился, вот и завтра в Кулагино, вишь, звали. Хоть не пьет, мать, и то ладно; погоди, вот, пост наступит; на масляной можешь перемолвить. Ты ему, сычу, прямо в глаза говори, да не бойся, не тронет! — утешали Аннушку подруги, когда той уже невтерпеж стало, и высказала она свое горе.

— Вот, — говорит, — все с писарями знается, а чего от них дожидаться, от табашников-чихирников? Лягу, девоньки, спать — и все это во сне: Фомку режут. То

он тебе согрубить хочет и ногами лягает тебя, то ластится: люблю, говорит, тебя; завтра свадьбу станем играть. И со всем бы к венцу снарядиться, — ан!.. и проснешься.

— Да ты, дева, на левом ли боку-то спишь. Вот меня, так что не ночь — домовою давит!

Но не до ответа было Аннушке; одно наяву, одно и во сне. Фомке *спола-горя*: его любит девка, а он любит свадьбы да дружьи приговоры; подчас не прочь чокнуться с приятелями на последний грош, на последний кушак, что выгадает после сговоров и в самый день столованья после венца.

— Мне, братцы, одно, — хвастался он писарям, — что коли полюбил работу, да не любит она сроку — изо всех жил потянусь. Само бы дело не годило меня, а я его дождусь, да уж коли и дорвусь до него, так не скоро отстану. Анютка особая статья — погодит, не помрет до той поры!..

— Да кручинится ведь, надрывается!..

— На свою же потеху. На то это ихнее, бабье дело. Поскулит-поскулит, да и отстанет, тогда опять можно с начатков пойти.

Писарям речь Фомки совсем по сердцу пришлась: смеялись они от души находчивости краснбая и трепали его по плечу, и по спине хлопали, и трубочку закуренную подавали.

— Люблю тебя, Фомка, пуще брата двоюродного. С тобой и умереть, так на потеху. Парень урви да отдай!.. сто рублей не деньги! Ну-ка, брат, выпьем, да поцелуемся.

Между тем, прошел пост; наступила Святая, до того теплая, что можно было даже хороводы водить на полянке.

— Вот, — думает Аннушка, — придет мой суженый в хороводы, угожу ему молвить. Как-никак, а все сердце изныло.

Но ошиблась девка в расчетах, Фомка словно назло ей затеял в городки играть, а в хороводы прогнал ребяташек. Оседлал Фомка какого-то парня-верзилу и едет от одного города к другому: и опять с одного маху и одной палкой гонит все чушки с кону, и опять поехала его сторона до другой — побежденной.

Видит Фомка, что больно изнывает девка, и любо ему, что как он ни крут, девка не сдается другим ребятам.

— Побалую, говорит, немного: после крепче любить будет!

И решил он опять избегать встречи с Аннушкой, избрав для этой цели ближнее село, где свел еще теснейшую дружбу с писарями, научив некоторых из них своим шуткам. Не умели ученики перенять одной только сороки, да как на бабу собаки лают, а петух задался чуть ли не чище Фомкинова.

Но вот стали по деревням кое-какие летние новости проглядывать: у одной глупой коровы, забравшейся в яровое, хвост отрубили. Заходили с задов кожевники и надули баб, скупили овечьи шкурки дешевле пареной репы — серчали мужья и перебрали всех баб одну за другой. Рекрутов провели и песни рекрута пели и в бабки играли — поговаривали по деревне, что последняя-де партия провалила. Рожь на низких местах завязалась, и отцвела земляника: стала она в ягоду наливаться.

— Вот, — думает Аннушка, — ягоды пойдут, возьму чашку и пойду за земляничкой. Попадется Фомка, скажу ему напрямки, что коли-де не возьмешь меня за муж и не люби лучше, а то вот писарям хвастался, что изо всей-де деревни я лучше всех.

Нехитро было Аннушке надумать это, недолго привелось и земляники дожидаться; взяла она чашку деревянную и встретила Фомку в лесу.

— Что, аль и ты за земляничкой вышла? — начал Фомка говорить ей и посмотрел своим нахальным взглядом.

Забыла Аннушка, что хотела сказать ему и о чем целое утро продумала, не сумела даже и ответа прибрать. Присела она на лужочек, который весь был усыпан спелыми красными ягодками, словно платок набойчатый цветочками. Сел и Фомка рядом с ней; оторвет ягодку и бросит ей в чашечку; другую оторвет и опять швырнет туда же.

— Ты, — говорит, — не сердись на меня; я тебя никому не дам в обиду. Писаря говорят, побей, коли надоедать станет. Нет, говорю, братцы, не трону, во... не трону!

— А зачем ты все туда ходишь? — осилив, наконец, свою робость, проговорила девушка.

— Оттого, что мне лучше там; ведь и тебя же не прихвостнем таскать за собой.

Промолчала девушка, но видел Фомка, как подернулись ее губы легкой судорогой, пробежали две морщинки на щечках, сдвинулись ее ресницы и крупная слезинка капнула на ягоду. Ответил ей Фомка своим бойким смехом, встал на ноги и закачал головой.

— Кислая ты девка — Анютка, плакса бестолковая! Ишь полюбила!.. больно, вишь, тоскует!.. очень мне тебя нужно! Вон, скажут, Фомка с плаксой связался, и говорить, скажут, она не умеет. Убирайся ты от меня, и без тебя много!.. — сказал и, плюнув, пошел Фомка наперекосьяк через поляну, в знакомое село, покурить картузного у приятелей.

С тех пор, что ни утро, Фомка торчит на скамейке у писарской избы; целые дни проводил в селе; случилось, что ночи заночевывал, а на Аннушку и глядеть не хотел. Говорили в деревне, что писаря совсем приворожили парня; вместе хмельным занимаются с ним и на балалайках вместе играют, Фомка петухом кричит, сороку передразнивает. Еще, говорят, новый молодец приехал вместо того, что прогнал становой; в какой-то куцой одежде по утрам ходит, а к вечеру халат надевает пестрый. Говорили еще, что у молодца и чубук

длинный, и играет он на гитаре; хочет Фомку учить. Во всем, говорили, новый молодец лучше двоих: и с девками сельскими бойко играет, и деревенские песни как-то по-своему перекладывает.

Наконец, и Аннушка увидела хваленого молодца уже в то время, как после бойких дождей проглянуло солнышко и высунули масляники свои слизистые головки; показались и рыжечки на зеленых полянах.

Шел новый писарь, как и говорили, в пестром халате, но только трубки не курил, а пел какую-то песню. Поравнявшись с Аннушкой, которая шла за грибами, краснощекий писарь переменял напев и запел другую песню, ловко прищелкнув над самым ухом девушки и откинув ногу.

— Должно быть, эту Фомка-то любил, и про нее, знать, рассказывал; да ведь дурова же голова, сорока проклятая! Не умел девки любить — и словно сельская Матрена лучше ее!

— Мужик-то мужик и есть, мужик деревня, голова тетерья, ноги курицы, — проговорил писарь, и с тех пор каждый вечер приходил по близости в Фомкину деревню, словно тот нарочно посылал его наместо себя.

Узнал пестрый халат, где живет Аннушка и все ходит около ее избы и напевает громогласно: «Кончен, кончен дальний путь!» или «Ударим во струны, ударим!»

Улыбалась Аннушка и, при встрече с писарем, била его по руке, когда начинал он заигрывать. Не приняла сначала его первого подарка, платка с картинками, но пестрый, краснощекий писарь сам повязал ей на шею. Сбросить его постыдилась девушка, тем более что Фомка, кроме лишнего пряника на чужом девишнике, ничего не дарил ей. В другой раз писарь подъехал с орехами — и тут не дал маху: краснела Аннушка, увертывалась, а соблазнилась-таки на орехи, тем более что они были грецкие, хоть и наполовину с гнилью внутри, — и не отказалась от фунта конфет крупчатых, которыми разразился волокита в последнем подарке.

Между тем, начали слухи носиться, что грузди пошли и уж два воза повез сельский грибовник на соседний бор. Пошла и Аннушка за груздями, да все набирала одни свинари; вот ей и груздочки стали попадаться, сначала большие, а вон и маленький проточил головку из-под кучки сосновых иголок; за ним другой, третий... успевай только брать, — откуда берутся грибы. Не успела она и дно лукошка завалить порядочно, как зашелестели листья и откуда ни взялся пестрый халат писаря и его длинная трубка.

Слово за слово, подсел писарь тут же и стал помогать девушке. Долго сидели они и о чем-то толковали, вовсе не подозревая, что подвигалась к ним буря — и сам Фомка как вылил тут.

— Ты это зачем в чужой-то огород залез? — крикнул он на писаря и в сердцах схватился за палку. — Бахваль, сколько хочешь, на гитаре своей, а наших не трогай; на меня вот целую неделю дуешься. Почище тебя ваши ребята, да и с теми в миру живем. Ишь, говорит, мы их чище; мы, говорит, не напиваемся допьяну и на бала-лайке не любишь играть; гармония, говорите, скверный струмент. Девки все скверные... а в нашу деревню для прогулки ходишь? — кричал Фомка, передразнивая писаря, и расставил ноги, ожидая нападения.

— Я вот ввалю тебе свойских-то, штук со сто, так и будешь ты ходить по жердочке, чернила ты этакие, бумага проклятая! — выкрикивал Фомка, выжидая ответа, которым не замедлил писарь, и высчитывал ему полновесными дулями.

Фомка как ни ловчился, но принужден был уступить сильному писарю и лечь на землю, может быть, и по своей воле, а вернее, всего поневоле.

Так как подобные случаи бывают не часто и притом же всегда занимательны, то и драка двух приятелей не прошла втихомолку, а огласилась на целый лес. Долго ли собраться грибовникам, долго ли смекнуть им, в чем

тут дело и что Фомка повинен в начине, если лежит на земле.

— Встань, — ободряли его ребята, — да мазурни его! Али сердце отшиб? Изловчись, Фомка, полно валяться-то! Ты ведь у нас завсегда бахвалист был! Эх, укатал, брат, тебя писарь: вон и кровь потекла... Что, брат, Фомка, кусаться начал? — дай ему еще! еще... лихо!.. лихо! — травили Фомку ребята и заухали, когда избитый дружка, наконец, был оставлен писарем и, встряхнувшись, встал на ноги.

— Под силки взял, да угодил под ножку, — оправдывался Фомка, — а то бы и не свалил. Пойдемте, братцы, пора коров заставить!

После этого замечательного события Фомка совсем позабыл об Аннушке, стыдился даже встречи с нею, да раз толкнул ее ни с чего, когда встретился на задах и обругал обидным словом.

— Пусть его ругается! — говорила Аннушка своим подругам. — Лишь бы только не дрался: а то толкнул так, что насилу духу набралась, — прямо против сердца угодил.

— Нешто ты совсем его разлюбила? — допытывались любопытные подруги, но Аннушка покраснела только и ничего не отвечала.

VII

Прошло, наконец, наше северное неустойчивое лето. Было сухо: долгое ведро тянулось. Пошел раз дождик, припрыснул слегка, и заволокло широкое небо серыми тучами вплоть до самого Покрова. Что ни утро, то и грянет назойливый ливень и мутит целые сутки.

Наконец, пришлось мужичкам порадоваться: проглянуло солнышко, но узнать его нельзя: совсем стало не летнее. Да и на том спасибо, что хоть опять установилось ведро и дало время поубраться, а то хоть зубы

клади на полку: к ниве просто-напросто приступить не было; все залило водой; все отсырело.

Повелись опять работы обыденные: что ни день, то зарево, сначала словно свечка вдали, шире, да гуще и размалюет половину неба кровавым цветом. Резко обозначался этот цвет при густой темноте осенних вечеров, и понеслись обычные слухи, что в одном месте овин сгорел со всем добром; оставили ребятишек сторожить, а сами завалились на полаты. Ребятишки — глупый народец — вздумали в яме репу печь; да стрекнул уголек некстати и попал в недоброе место: прямо между колосницами. Затлелся уже высохший сноп, обхватил его огонек синей змейкой — и долго ли до греха: пошло крутить и по соседним снопам. Занялся овин и скоро запылал, запыхал; только успели ребятишки выбежать. Хорошо еще, что дело обошлось одним овином: растаскали его по бревнышку. По соседству же совсем лихая беда приключилась; пронесло огонь из конца в конец деревни: живого места не осталось; торчат одни обугленные веревы, а печей и места не знать. Один исход такой беде — целая вереница погорелых с замаранными лицами пошла по соседям: «подайте, говорят, на погорелое место!»

Но вот и первоснежье наступило: пошла бездорожица, настали метели да вьюги — и обелилась земля, замерзла она вершка на два. Завалились старики на печь; сел большак за лапоть, большуха за стрижку башек, а молодое племя ссыпки затеяло, и начались заветные супрядки. Коренной и неизменный их посетитель Фомка, как будто и не жил в своей деревне, забыл об них вовсе и не ходил смотреть на ребяцкие игры. Где он и что? — никто не заботился. Знали только одно, что Анютка сговорена за писаря Егора Степаныча, который летом в пестром халате ходил, а к зиме надел синий овечий тулуп.

Ходит писарь каждый день в Фомкину деревню и все у невесты сидит, принесет гитару и бренчит на ней

вплоть до третьих петухов. Веселее были супрядки эти, чем прошлогодние; где они ни затеются, везде сидит писарь с невестой: он на гитаре играет, она прядет и песни поет, да как-то совсем неохотно.

— Не то она, братцы, Фомку крепко любила, не то... что...

— А лихо его писарь поломал! Совсем, братцы, опешил наш парень; говорят из батраков-то он на Волгу пробираться хочет, — толковали промеж собой ребята, но ошибались немного, потому что лишь только прошли Святки, Фомка как снег на голову.

— Здорово, ребята, чай, и в живых не чаяли? — далеко, братцы, был... куды далеко! — приветствовал он своих старых друзей. — Да не уладил ли кто из вас дела любовного? Так берите в дружки: не бойтесь! — уважим по-прежнему.

Одному только удивились ребята, что Фомка не спросил ничего об Аннушке, а у них уж и ответ готов был, и только заикнись тот — целый бы короб вывалили, что вот-де в будущее воскресенье свадьба у писаря, у невесты сарафан новый в подарок от жениха; сам становой посаженным отцом вызвался, и жена его приезжала на тройке рыжих вятков; Матюха кривой кучером был в новом армяке и в кушаке золотом; кузнец Кузьма дружкой от невесты; писарь Изоська дружка с жениховой стороны; да у земского буренка поколела.

— Сам, — решили ребята, — проведает обо всем. А что-то будет? пропустит ли это дело так, а не таковский бы парень.

Фомка же как ни в чем не бывало: с Анюткой ни слова, с Егором Степановичем и не поклонился. Прорвался было в самый день свадьбы (сказалось ретивое): подучал ребят горшки бить, да запастись дегтярницами, но опомнился: догадался, что шкура на спине своя — непрокатная, и махнул рукой.

Сыграна была наконец и свадьба писаря на славу и всеобщее удовольствие. Только, говорят, куды как гром-

ко вопила невеста, набирала таких приговоров и так громко выкрикивала, что и Глыздиха молодая позавидовала бы в прошедшую зиму. Подруги говорили, что голосила по Фомке, но большаки решили правдивее:

— По своем девичестве сокрушалась, Молодец-от этот показистее Фомки будет: грамотку ли разобрать из Питера, другую ли смастерить туда «с родительским благословением, навеки нерушимым», по деревне ли пройтись осанисто, — всем взял парень, и хмелем не зашибается, и становой крепко любит. А Фомка что? — шалопай, бахвал — и ничего больше! Ему-то бы в мутной воде и рыбу ловить: девка любила, родители не косились; жил бы на тестевы деньги. Вон и теперь тесть пять возов отправил в Питер с грибами солеными и сушеными; да и в сундуке нет ли побольше тысячи залежалыми. А век дружкой ходить — приестся, да и хорошего мало. Может, и женится парень, спроста, так того и гляди, что как на льду обломится, и себе на невзгоду, да и жене на маету. Жил бы жил, дурак, в теплом за пазухой у тестя богатого; и лапотки бы не плел, все бы в сапогах со скрипом щеголял. То-то ведь дураково поле! А что тесть мужик умный и тороватый — так весь околоток присягу примет, не даст солгать. И богат, а не рогат.

СЫСОЕВ

Из множества новостей, сообщенных приказчику одной из тысячи петербургских лавочек досужими его покупательницами, приятнее всех была, может быть, одна только, и именно та, что в 40-й номер, к прачке, наведывался жилец и дал задатку.

На другой день вести значительно увеличились и представляли уже род чего-то целого, по которому краснолицый, кровь с молоком, приказчик-ярославец мог ясно видеть, что новый жилец будет неизбежным

его покупателем. С утра от 8 до 2-х часов включительно являлись вестовщицы и до такой степени пополнили вчерашнюю новость, что Григорий Матвеич знал уже, что у нового жильца комод красненький, кожаный диванчик — только-только одному протянуться; пары две плетеных черненьких стульев; стол белый.

— А уж клеток сколько, Григорий Матвеич! так словно птиц продает. А только все до одной пустые, — сообщала лавочнику одна из кухарок того дома, в котором помещалась лавочка.

— Стало быть, работает их! — глубокомысленно заметил сметливый Григорий Матвеич.

— Да тут не одни только клетки: картонок еще много, — добавила другая вестовщица.

На эту новость лавочник не сделал никаких замечаний, вероятно, считая делом решительно излишним, прямо подтверждающим его первую догадку. Но зато не без внимания оставил другую новость, сообщенную смазливенькой горничной, что приезжий жилец совсем старый и что он на деревяшке приплел, немного спустя после ломового извозчика.

— Волоса на щеках, — говорила она, — словно войлок: все лицо завалило; из-за усов ни носа, ни рта не видать было. На голове военная шапка с козырьком, а на плечах тулуп бараний.

Остальные вести, полученные лавочником, уже не имели большого интереса и только пополнили и округляли новость: рассказывали, что жилец подъехал к той самой лестнице, на которой живет прачка; извозчик перетаскивал мебель потяжеле, сам кавалер перенес клетки и картонки; ухватились было вдвоем с извозчиком перетащить диван, да не смог кавалер: сел на первом приступке; а извозчику подсобил уже дворник. Хозяйка-прачка, явившаяся купить на копейку сливок с пригорелой пенкой к кофею, сообщила, что жилец дал полтинник задатку, а как приехал, то позвал ее к себе и все деньги за месяц заплатил вперед.

— Больно только кашляет, — закончила она свою речь, — зальется, зальется, Григорий Матвейч, словно на целой день, и все-то, батюшка, с перхотой. Уж куды стар кавалер-от!..

— А как его зовут, Аграфена Семеновна? — спросил лавочник.

— Забыла, голубчик, — имя и отчества не успела спросить.

При таких, довольно, впрочем, достаточных на первую пору, сведениях оставался лавочник до другого дня. Поутру сам жилец не замедлил явиться и познакомиться, спросивши, на первый раз, пяток огурцов и фунт черного хлеба.

— Нет ли с чесночком огурчиков-то? — спросил он лавочника, который, всмотревшись пристально в кавалера, убедился, что весть черноглазой Аннушки была, действительно, справедлива: кавалер весь опушился волосами; приплелся на деревяшке, которую держал под мышкой, а на голове, действительно, была надета военная фуражка с козырьком.

— С чесночком, извините, кавалер, не держим! Да признательно сказать здесь и во всем-то городе едва ли найдете, разве на домах где делают.

— Жил вот я до вас в Семеновском полку, — так там нашел одну лавочку, из которой чуть ли не целую кадушку перебрал. Так отпусти, по малости, получше огурчиков!.. крепких, знаешь.

— Ванюшка, — крикнул лавочник на прислужника, — попробуй пальцем, который деревянистее, так отложи пяток кавалеру.

— Не люблю я мягких огурцов, — заговорил кавалер, — как ножом тронешь, так он тебя всего и обидит, если не посторонишься. Да и вкусу-то никакого нет, словно рассол, совсем несоленый.

— Это точно что справедливо: кто что как любит; другой так вот и духу-то чеснокова не терпит. А на что требований нет, так мы, знаете, и попридерживаемся: не берем того.

— Что прикажете? — продолжал лавочник, любезно перегнувшись через прилавок и сделавши из своего приятного лица совсем сладкое выражение.

— Кофею на две копейки, полфунта ситнику, на копейку сахару; да сливок получше, с пенкой. На книжку отпустите! — денег забыла прихватить с собой, — высчитывала вчерашняя вострушка, которой не понравился старик кавалер, заковылявший в это время на деревяшке под ворота нового приюта.

— Почтенное лицо, — заметил лавочник, — и кавалерией обвешан. Главное, знаете, приветлив!

— Ласковое теля две матки сосет! — заметил старичок в старой шинели, каждый день по два раза заходивший в лавочку съесть кусок семги или пары две-три миног, и запить все это ковшом квасу, который по знакомству отпускался ему даром.

Новый жилец, обвешанный кавалерией, успел до такой степени заинтересовать лавочника, что этот последний к вечеру знал уже, что кавалера зовут Иваном Сысоичем, по прозвищу Сысоев, восьмидесяти с чем-то лет, правой ноги не имеет: должно быть, на войне утратил. Хозяйке он платит четыре рубля в месяц, с обедом; держит водку; а вчера вечером затем покупал огурцов, что пришел к нему такой же кавалер-инвалид. Долго и много говорили они о военном; один, было, песню такую затянул, да голосом не дошел, сам-от закашлялся, а гость беззубый, не докончив песни, оборвал ее на первых словах.

— А песня-то бы военная, кажется, была, — продолжала квартирная хозяйка-прачка. — После уж все только целовались, да по рукам хлопали. Сам-от больно, слышь, кашлял, а тот, гость-от, ничего, — только подсмеивался: «что, говорит, ножки, что ли, промочил: ложись, говорит, в лазарет!» И оба они засмеялись; потом взялись за руки и сошли вместе с лестницы. Мой-от куды — долго подымался вверх. Вполз кое-как, да и опять раскашлялся.

Прошел еще один день, и, через посредство лавочки, едва ли не половина дома знала, что израненный жилец прачки делает деревянные клетки для птиц и поставляет их в лавки; туда же справляет он и картонки для эполет и шляпок. Целое утро возится кавалер с бумагой и клейстером, для которого хозяйка разводит огонь вечером, и что за подобное одолжение жилец обещался ей приплачивать лишний полтинник в месяц. Сказывали потом, что к нему изредка приходит другой инвалид, и оба приятеля иногда поднимают такой спор, что как будто один у другого денег взял займы, но все дело обыкновенно кончалось мировой-магарычной.

— Был еще еднова, — рассказывала вскоре прачка, — купец толстой. Денег моему оставил; к себе звал мальчика крестить, — третьего, как сказывали.

— Стало быть, достатец-то у кавалера запасливый! — заметил лавочник. — А добрый он человек?

— Куды-добрый! — стукнет иной раз в дверь ко мне: «Поди-ко, говорит, хозяйка, сюда; выпей-ко со стариком кофейцу крупцу, а может, говорит, и водочки хочешь?»... Она-то завсегда у него в нижнем комодке стоит; вот уж никак пятый раз посылает, — и прачка показала посуду. — А уж шутник-то какой, Григорий Матвейч, особо выпимши. «Купи-ко, говорит, хозяйюшка, бодряшки, да приходи: побалуемся! напустим сорванцов в старую кровь. Авось, говорит, разогреет». Это сорванцом-то он рюмочку с бодряшкой называет. У него и косушка инако слывет: кантонистиком ее прозвал.

— Чем же он занимается? — допытывался лавочник. — Неужели все клеит?

— Все клеит... все клеит: картонки кругленькие клеит; еще какие-то клеит, тоже кругленькие. Картинку обделал одну, теперь за другую принялся. Вот, говорит, хозяйюшка, хочу книги переплестать. «Что ж, говорю, хорошее дело, батюшко, книги переплестать». — «Вот, говорит, игрушку мастерю: дом, говорит, на горе, а тут,

говорит, река и мостик». И показал мне игрушку-то эту: все это так, батюшко, похоже!.. Словно и деревца тут есть, и моху наклеил по бокам. «А что это у тебя, говорю, черненькой-то лежит?» — «А это монах, вишь, будет: под гору пойдет, а вот этот, говорит, в воротах будет стоять с тарелочкой, собирать подаяние», — и тарелочку-то мне показал. Все же, говорит, детям господским на потеху хорошо будет. «Вот говорю, пойдет верба, ты бы туда ее, батюшко, отнес».

— «Да уж я, говорит, тебя, хозяйюшка, попрошу; где уж мне, говорит, на морозе-то стоять; последнюю ногу, пожалуй, отзнобишь». — «Так, так, говорю, батюшко, коли не я, так другого кого попрошу постоять». — «Я, говорит, и вербы тебе надаю и головки, говорит, леплю из воску; чего будет стоять постоять: я, заплачу, говорит». «И, что ты, говорю, добрая ты душа, даром сделаем! Право, добрая ты душа!»

Расчувствовавшаяся прачка долго еще говорила похвалы своему жильцу, напевая и о доброте его, и о приветливости: и шутник-то, говорит, он, и знает много, и ни про кого-то ругательного слова не скажет, и живет скромно: песен не поет, да и нечем, говорит: зубов-то всего-навсего не больше пятка наберется; кашляет только с перхотой, да и к кашлю, говорила прачка, стала привыкать.

Одним словом, приезжий инвалид сделался, в короткое время, предметом уважения целого дома, но особенно чувствовал к нему влечение лавочник, при первом же посещении инвалида, предложивший ему забирать на книжку, хотя это и не так-то легкое дело для тех, которые забирают уже совсем по мелочи. Инвалид отказался от предложения книжки, но попробовал привозной икорки и поблагодарил хозяина.

— Милости просим, — говорил лавочник, — к нашему досужеству на кое-какое время поговорить часом. У вашей бы милости только и слушать поучения эти самые. Холодно вот только теперича; а с привычки, вот

нам, и ничего-с! — проговорил лавочник, шмыгнув плечами по своим доморощенным ярославским овчинкам.

— Да и мы, брат, видали не такие страхи: в двенадцатом году галка на лету мерзла, а мы себе таки — посогрелись — и ничего... Вот и теперь, как с полка в бане, так и окачусь холодной водой. В деревне так просто в снегу валялся.

— Тяжелое было это время, двенадцатый год, а ведь ничего же: себя отстояли! — затронул лавочник ретивое инвалида, как будто знал, что это его живая струнка.

— Вы эти раны-то не тогда ли получили? — продолжал ярославец, когда все покупатели, воспользовавшись счастливой минутой, приготовились убить дешевое время за поучительной беседой. К тому же пора была вечерняя: начинало смеркаться — стало быть, все живущее напилось, наелось, — и об мелочной лавочке позабыло думать.

— Всех ран у меня четыре! — отвечал инвалид, усаживаясь на изломанный стул подле прилавка. — Если бы все их получить в полгода, едва ли хватило духу пройти все наше отечество; да еще притом к немцам завернуть, и к супостатам-то нашим понаведаться. Прощел я все заморские земли и знаю, как и немцев всех зовут. И с французом пожил. Пустой, братцы, народ эти французы, как пригляделся я к ним: черного хлеба не едят, нашей бодряшки не употребляют, а хватают эдак чашечку чайную бульонцу... да травы разной вот с таким хлебом — и сыт, говорит. Теперь бы, говорит, вина какого бутылочку, — потом по садам пойдет... шляпа с заломом и тросточка в руке; а там и пошел заглядывать под шляпки, пока не засядет в кофейной.

— Что же вы касательно ран-то ваших хотели рассказать? — опять спросил лавочник.

— Что ж рассказать вам про раны? Рана ведь, брат, скверное дело; делает ее все эта пуля проклятая; одну только и прорвали штыком, ну, зато она и живет

посмирнее всех. Как вот эдак непогодь начнет заниматься: дождик ли полил, снег хлопьями пошел, — заскулят мои раны — места не найду. Одна разве штыковая и сноснее всех, и то потому, что в мягкое место угодила, да в тому же и позатынуло ее порядочно.

— Где же вы их получили, кавалер?

— Разумеется, не в одном месте: одна до двенадцатого года еще попалась, и куды она жгуча была!.. Был я еще солдат молодой, непривычный; перевалили мы за границу и пошли на француза. Шли-то бы, кажется, и не очень долго и все ко врагу ближе: старые солдаты смеются над нами, Суворовым корят: «в ногу, говорят, ребята!.. в ногу!.. приклад к левому боку держите, а то выскочит сердце на ветер и сухопарого француза не увидите. А подраться, говорят, славно с французом: народ горячий, стойку знает не хуже нашего; не плошайте, однако, ребята, — ловок француз, и глазом целит прямо в сердце, а посторонишься — и череп, пожалуй, расколет. Далеко, говорят, теперь наша Россия, и глазом не докинешь. А постоим за нее: на то, стало быть, послали!..» Так вот мы балагурим со стариками-то, ну! — и сами прибодрились. Думаю я: нас тут чуть не двадцать тысяч и все на одно шли. Пойдем и мы за ними: что, думаю, смотреть на деревенские слезы? «Смотри, слышь, Иванушко, хоронись от смерти. Господь, говорят, с ей; а убьют, так и мы за тобой следом!..» — толковали старики-то мои. Помню, старики ревели. Да Господь с ними; старое время только и хорошо, когда вспомнишь. Нет, думаю, батюшка с матушкой, теперь в Неметчине: вон вчера командиры сказали, что чуть ли мы не завтра врага увидим. Тут хоть бы и просили меня, ни за что б не послушал; двух смертей не бывать, а одной не миновать. Слышим: застучали отбой — отдыхать велели. Тут со мной два земляка шли, так мы все около друг друга держались. Завалился я с ними под кустик соснуть немного, да нет: не смог! Стали мы толковать, что вот-де завтра никак в дело пойдем. На-

чали мы друг другу давать советы: кто-де из нас будет жив, — пусть в деревню передаст все, что останется: главное не бояться пули, стоять — не сторониться. Старики говорили, что она-де тут и ловит, а коли в грудь попадет — святое дело!.. Пока что, а солнышко поднялось и попригрело нашу команду; стали зорю выбивать; в ряды строиться... Пришел полковой командир и говорит, что нам-де сегодня вечером в сражении быть, кровь свою проливать; передовой-де полк совсем уж недалеко от врага. Да и нам, говорили, один переход остался, — верст на двадцать, эдак, примерно... Встали мы в ряды и повалили вперед; прошли лесок-то свой жиденький; по поляне прошли и как раз очутились на горе. Провалили тем временем передние ряды под гору; вижу я: поляна большая; кругом все горы да горы... речка бежит; немецкий город построен на поляне и немецкие церкви с петушком на колокольне.

Видите, братцы, как я похрабрел, что даже и это замечать стал, а в запрошлую ночь, так чуть-чуть не заплакал: на сердце словно пудовая гиря привешена и голова разболелась; как бы не казенная чарка водки, так и того бы не заметил. «Вон, говорили, за этим городом супостат наш засел; туда и нам самим лежит дорога». Вижу: мостик далеко направо; деревенька разбросана, кругом словно сады разведены, — закончил инвалид и призадумался.

Слушатели его молчали, дожидаясь продолжения рассказов. Мальчишка-лавочник заикнулся было про немецкие церкви спросить, но приказчик велел ему нацедить квасу вошедшему покупателю, а сам, опершись на прилавок и вздохнув глубоко, опять затронул старого кавалера.

— Как же вы, господин честной, в сражение-то попали?

— Известное дело — ногами, да по командирскому приказу. Сошли мы под гору и стали пробираться поляной, — и как теперь вижу: завернули опять в кустарничек жиденький; не видать нам стало немецкого города.

Шли мы, помню, не очень долго, стал кустарник редеть, и слышим все: поднялся гром справа, ровно бы за немецким городом; ухнет, да ухнет, да так — глухим раскатом и залетится. — «Что это, говорю, пушки палят, или ружьями стреляют?» — «Все, говорят, есть: и ружья и пушки. Льетса, говорят, кровь. Да что ты, говорят, Сысоев, не труса ли праздновать хочешь?» — «Нет, говорю, чего трусить!» А у самого сердце словно провалилось: руки чуть-чуть ружье держат; гляжу старики наши хохочут. «Эй, говорят, вы; щелкоперы, мужики нечесаные; с ноги, смотрите, не сбиваться, а то дойдем, говорят, вас прикладами. Вишь, говорят, словно овцы в кучке: ровняйся!..» Вижу одного старика: совсем словно струнка: усы расчесал, на лицо веселую улыбку нагнал, — не то в хоровод козырем пошел, не то на стражение. Эх, молодцы, были эти старики-то суворовские, да только не помногу их доставалось на полки!..

Инвалид опять вздохнул и призадумался.

— Вот, господа, — продолжал он, — прошли мы кустарник. Вижу я, вижу, словно вчера это было: несут три ундера кого-то, в шинель его завернули. Поравнялись они с нами; видим мы — не то полковник, не то майор — эполеты густые — лежит, словно смерть, бледный. Сюртук расстегнут и из-под подтяжки, помню, правой, сочится кровь, красная кровь, и запеклась она на рубашке толстым хлебнем. «Раненый, — говорят ребята, — в кустарнике-то, выходит, перевязку ему сделают, да, никак, говорят, уже помер». — «Вот, думаю, командир не уцелел: что же, думаю, нашему брату, солдату, задумываться? Только бы, думаю, в сердце не попадало». — «Стой! кричат, стройся! Правое плечо вперед! марш!..» Не помню уж я, господа, куда повели и как повели; слышал только свист по сторонам, а стал приглядываться: одна пуля налетела, да бац моего флангового; крикнул тот и пошатнулся. Не помню, что с ним случилось, а сам я иду за передними. Про пули вспомнил, — взял немного вбок, а она тут и легла на поми-

не: в правое плечо угодила, угорелая! — «Не балуй-де, глупый баран, — не сторонься; коли-де почет делаю, — принимай с честью!» Шут с ней, с дурой! — пролежал из-за нее три недели в гошпитале. На выписке оттуда принесли мне медаль. Сам командир навестил нас и поздравил с победой. Славное было время, братцы, горячее время! А двенадцатый год, так тот еще лучше задался. Тогда мне вот еще две пули влепило, одна в грудь, под самую ложечку, другая клок мяса на левой руке оторвала. Говорили, каким-то, слышь, огнем зардеется и пилить было хотели, да спасибо главный доктор вмешался. — «Не нужно, говорит, пилить, так заживет!» — Как, стало быть, сказал, так вот и есть.

— Как же это, кавалер, ногу-то вам оторвало? — подхватил лавочник.

— Это под Туркой, когда в двадцать восьмом году ходили.

— Затесалось в наши ряды ядро горячее; стало жужжать, да лопаться, плюнуло и на мои ходули; как ни вертелся, а вывалили из рядов, да и записали опять в гошпиталь. Там таки нашлись хорошие люди: лишнюю, да больную ногу подрезали. Полковые мастера из полена деревяшку выточили, и стал вот я калекой, с золотой нашивкой и отставку чистую получил тогда же...

Прощайте-ко, братцы, никак и клестер и клей дома готовы: к клетке донушко осталось подклеить — и совсем готова. А то прибранит хозяйка, что дрова-де попустому жгу.

С этих пор кавалер частенько заглядывал в лавочку, чтобы потешить своей умной беседой. Лавочник ждал, бывало, не дождался, когда придет Иван Сысоич; не нахвалится он им всякому новому гостю. Зато и кавалеру эти беседы доставляли немалую радость.

— Словно молодцом живу с вами, братцы, — говорил он, — ровно бы и не прожил столько годов, сколько засело на плечи.

Немного спустя кавалеру пораненному чуть не целый дом снимал шапки, а к прачке стали заходить незваные гости наведаться.

— Что-де кавалер-то опять клеит?

— Клеит, матушка, — целый день клеит, — всем одно отвечала прачка.

— Смотри-ко, мать, какой ретивый!

— Тем живет, голубушка!

— А ведь больно стар?

— Осьмой, говорит, десяток доживает.

— Да что, мать, дети-то есть у него?

— Нет, говорит, рано, слышь, овдовел; был один мальчик, да помер.

— Ну, а у того-то, что ходит к нему?

— Один сын солдатом, другой в писарях; оба как-то раз заходили к моему. Да чтой-то, матушки, ровно бы недоброе что затевается; долго они говорили моему об войне какой-то, турку поминали. Старик мой куды как шибко серчал и палкой своей стучал. Закричал, было, им, да не расслушала что: одолел его опять кашель-от этот проклятой.

* * *

— Порасспросите ко, голубушка, старика-то вашего, что это там затевается? — допытывались вестовщицы.

Между тем, весть эта не была уже новостью, и объявленная печатно, только потому не могла сделаться в скором времени известною, что лавочник не получал газет. По совету инвалида, наконец, запасся он этим добром, и с тех пор каждое утро собиралась небольшая компания слушать чтение и внимательно следить за ходом военных дел; доходило дело до того, что в подробности читалось все, что написано было на втором и третьем (добавочном) полулисте «Пчелки». Чтение производилось громогласно, при всеобщем сдержанном молчании; лавочник не закидывал своих запросов. Из-

редка инвалид объяснял им, по своему крайнему разумению, те места, которые требовали некоторых пояснений бывалого человека. Естественно, что Сысоев был тут выше всех в этом отношении, и при помощи чтеца, того самого старика в старой шинели, который любил завтракать и обедать семгой и миногами, сведения о современных событиях становились ясными для всех слушателей, не исключая, пожалуй, и кухарок, имевших глупое обыкновение перевирать самую простую и обыкновенную весть. Все это немало способствовало тому, что у догадливого ярославца лавочка была полна каждое утро; сюда заходили даже с улицы и перешла большая часть покупателей соседней овощной. Григорий Матвеевич сразу убил двух бобров и еще больше привязался душою к доброму и опытному старику кавалеру, который, наконец, объяснил во всеуслышание весь ход дел в следующих коротких словах:

— Главное, стало быть, звено тут — англичанин-маклак; он, выходит, и турку подговорил, и француза сбил с толку. Этот народ — вертопрах и делает, как я вижу, не своим умом. По настоящим обстоятельствам, чего бы лучше сидеть ему дома: ведь уж знает, какого жару задали в двенадцатом году, хоть и зимы дожидался. А пришли мы в столицу ейную: «не буду, говорит, братцы, и с вами, говорит, навсегда в дружестве останусь». А турка этот... такой уж народ необстоятельный, совсем как есть некрещеный. Магомету верует; трубку больше наших барабанщиков любит, по пяти жен держит, такая уж шабала бешеная. Хватит горячего, ну, и орет и саблей машет, а прикрикнешь да влепишь пулю, так и опешит и летит кубырем. А лошади у них, братцы, такие, что разве у черкеса одного лучше. Сбрую разукрасит, словно похвастаться хочет, ну и при себе капитал хороший держит, и одежда богатая: прозументов налепит, золотом обошьется; сабли рублей по сту имеют. Да нет! ведь с ними куды легко воевать, не то,

что с французом. Этот, пока не истек кровью, не выльупит глаз: стойку лихо держит, так что задор даже берет, как бы сломить его поскорей.

— Ну, а англичанин-то каков, Иван Сысоич? — спросил лавочник.

— С этим, признаться, не удавалось иметь дело. Об этом нужно спросить моряков наших; те у них частенько бывали в гостях. Говорят, машины славно делает; а что до военных обстоятельств, так тоже не очень маракует; все, говорят, хитрит, да мазурничает: грабежом, слышь, больше берет. Вон стояли мы у прусаков, так офицеры рассказывали, что привел англичанин-то этот кораблей с тысячу к Копингавину-городу да палил по нем. Хоть, говорили, и не смел бы он этого делать. Палил да палил, а так и настоял на своем: одолел город и пошел грабежом донимать. Французский набольший, Наполеоном звали, больно им не по нутру, рассказывали, приходился, они его и на остров Олены законопатили; там он и помер, Наполеон-он этот самый.

— Этот, что Москву зорил? — опять спрашивал любопытный Григорий Матвеич.

— Храбрый был король. Сказывают, офицером был и против турка ходил, а как побил не то немцев, не то австрияков, — так и сел на трон и полюбился французам. — «Мы, говорят, с тобой в Москву пойдем, когда велишь». А тому что?.. известное дело, коли сами навязываются, да и самого одолело высокоразумие там это самое. — «Идем, говорит, ребята, куды ни шло!» — И пошел подговаривать да смущать по дороге немцев; навалило их к Смоленску чуть, слышь, не миллион народу. Пугнули их наши, да и пошли к Бородину — селу богатому, по Московской дороге; вот тут-то мне и попала другая пуля в мякоть руки.

Пощипали мы их под Бородином. Дай, думаем, в Москву пропустим: пусть посидят малую толику, а там и накроем. Да как припрыснем на них, как начали щелкать в спину, да под коленку: просто руки заболели!

Тут мороз их подхватил; наши только покрякивают да в рукавицы бьют, а их-таки доняли славно. — «Руби, говорят нам, гостя незваного; тут же вот, слышь — на старой дороге». — Как-никак, а исполнили командирский приказ: начесали им бока за Березиной-рекой. И пришли сами-таки к ним в гости — в самую столицу их Париж.

Вот они, враги-то наши и супостаты! и чего хотят? может, опять по-старому; вишь, их — турка-то бусурман больно обижен, что православных в котлах варит, мечом сечет. Прощайте-ко, братцы, совсем вы меня растрогали, кабы не деревяшка вот эта, да не старость беззубая!.. Пришли-ко наверх, Григорий Матвейч, полфунтика медку побаловаться.

Между тем, прошло уже столько времени, что в лавочке давно знали и о подвиге Нахимова, и о том, что флот английский подступал к Ревелю, и пошел прямо оттуда к Кронштадту.

— Уж не Питер ли наш брать хотят? — спрашивали словоохотного кавалера.

— Нет, пусть-ко сначала Кронштадту попробуют. Тут, рассказывают, что ни вершок, то пушка, а по воде кругом, что ни шаг, то и разорвет тебя и с кораблем, и с пароходами ихними в крошечные щепки. Пусть погуляют, да полюбуются: какая громада стоит там и каких страхов не боится, если сама, того гляди, не задаст им еще больше.

— А в Питер прийти — мы не позволим! — поддержал старика всегда внимательный к его рассказам лавочник. — Сказывали: охотников на лодки набирают; наших трое молодцов и одежду уж получили; армяк синий, крест на шапку; по восьми рублей в месяц, на всем готовом. Нарядились, слышь, они и прошлись по Сенной: — «какой, спрашивают, все ребята губернии?» — «Ярославцы, мол», говорят. «Государственные или господские?» — «Государственные», — говорят. Молодцами, рассказывали ребята, все называли. Офицер,

вишь, их поймал, тоже об этом спросил, и тоже, слышь, молодцами назвал. Вот оно теперя и попробуй, как сядет тысяч сто, да ударят по ним.

— Да ведь они не будут воевать; их, сказывали, в лодки посадят, чтоб команду возить, тут и пушки под рукою, — поправил лавочника любитель миног и семги.

— А топоры-то на что? — поправился Григорий Матвеич и чуть не сбил с толку своего постоянного покупателя, который поправился, весьма, впрочем, неудовлетворительно, сказав, «что топоры-де так; дойдет до сражения, и им ход дадут, а не то будут лодки починять, если произойдет какое повреждение».

— Да что! они там в Крыму-то, Иван Сысоич, гомозятся? что они нейдут на чистое-то поле? — опять допытывал лавочник.

— Это, я тебе скажу, одна ихняя трусость, по моему глупому разуменью. Пойти им на чистое поле — это, значит, одна будет глупость; как ни стали мы сходиться с супостатами — всегда наша брала; я и okazji таких ни разу не помню, чтоб когда наш брат солдат срамоты на себя брал. Перебьют кой-кого, а свое место отстоим, и ступай лучше прочь — не ссорся!

— Так, батюшка, так, Иван Сысоич. Вон и здешних солдат, кого и спросишь: не сойду, говорит, с места — коли велят это делать.

— «Солдат чести не кинет, хоть головушка сгинет», — ходит по свету солдатская поговорка, да, поди, и вы слышали не один раз, что у честного солдата очи сокольи, а плечи, — что твои крылья орлиные, — закончил на этот раз свою беседу старичок, любимец всей честной компании Григория Матвеича.

* * *

Иван Сысоич был как-то раз именинник, и поутру, лишь только приплелся он от ранней обедни, явился Григорий Матвеич в чистенькой сибирке. Волоса его

лоснились от избытка непокупного деревянного масла; гладенькая, мягкая бородка разделялась на две пряди, вившиеся красивыми колечками. Лавочник пришел сюда с признательным и искренним поздравлением: с баночкой килек и пирогом с брусникой. Когда ушел он на свое приличное место, получив приглашение на досужее время, если не к обеду, так по крайней мере на вечер, — старый кавалер узнал от хозяйки, что Григорий Матвеич три селедки дал ей, луку наклал, уксусу даром налил, и два фунта семги обещал прислать со своим прислужником-мальчиком.

Щедрость всегда расчетливого приказчика, разумеется, была весьма приятна имениннику, но прачке показалась до того удивительною, что она не замедлила передать это в соседнюю дверь, откуда, по назначению, перешла новость сквозь все двери и заинтересовала всех обитателей углов и кухонь. Узнавши об этом, чтец газетных новостей, желая воспользоваться удобным случаем еще с большею приятностью послушать бесед инвалида, также не замедлил явиться с поздравлением.

Не желая останавливать коммерческих дел своих, всегда до тонкости аккуратный ярославец поручил все дела по лавочке своему же земляку — хлебопеку. В шестом часу он в той же сибирке и с тем же лоском волос и сапогов явился в комнатку инвалида, когда в ней собрались уже гости: приятель-калека, запевший песню на новоселье и не кончивший по случаю кашля хозяина; два его сына: франт-писарь, перетянутый в рюмочку, и солдат, плотный и высокий с бакенбардами и большими усами.

Молодые люди курили табак: один в папироске, другой в сигаре полуторакоепечного достоинства. Оба они, по требованию хозяина, пускали дым в форточку в то время, когда явился Григорий Матвеич с фунтиком карамелек. Хозяйка в сенях раздувала самовар старым сапогом инвалида: приятели-калеки сидели рядом на

диване. Один кашлял, другой кричал сыновьям бросить до времени курево.

Хозяин просил до чаю пройтись по водочке, а чтобы завязать общий разговор, заговорил о погоде.

— Да что нам с тобою значит холод, скажи ты на милость? Ведь молодой народ, чего доброго, пристыдит, пожалуй. Вон-де старые дураки на холод жалуются, когда один картонки клеит, а другой сапоги точает да в теплой передней сидит. Словно нам и в диво такие морозы?

— Оно знаете, почтеннейший кавалер, мороз рассейскому человеку — плевое дело значит. Но ведь здесь, выходит, погода совсем необстоятельная: по пяти раз на одном дне меняется. Это, выходит, старому да непривычному человеку... как бы это вам сказать... совсем, значит, отягощение, — вступил в разговор Григорий Матвеич, имевший странную претензию, как и вообще все заезжие в Питер торговцы, подпустить кудреватое слово, навыворот, там, где обошлось бы спроста и легче. Разного рода посетители, приятели-земляки — служители по трактирам, петербургская занозливость, личное убеждение в своих столичных замашках и другие кое-какие недостатки делают из питерщика такого красноглаголивого пиита, что ему иной раз позавидовал бы любой провинциальный краснобай, хвативший через меру книжной премудрости. Простой мужичок, не лазящий в карман за словом и округляющий фразу легко и удачно, до такой степени не умеет высказаться, побывавши в Питере, что только слова: «значит, выходит, примером будучи» заменяют настоящий смысл, но с прибавлением различных «оних, примерно сказать», и речь питерщика делается до того темною, что если она не настоящая чушь и дичь, то по крайней мере порядочная безалаберщина.

Однако замечание лавочника осталось без приветов. Молодой кавалер-гвардеец, не зная, с кем имеет дело, нашел нужным промолчать, а брат его писарь реши-

тельно не обращал внимания на незнакомого гостя, может быть, совсем не подозревая, что почти вся закуска шла от него и хваленые кильки принес Григорий Матвейч.

Напившись чаю, оба кавалера совсем нечаянно приступили к воспоминаниям о добром старом времени. Оба они были земляками, оба служили в одном полку, и, следовательно, не разлучались во всех военных походах, с тем только различием, что отец двух гостей-молодцев несколько дольше был в строю, потому что роковое ядро пошутило с ним уже в Польше, перед Прагою.

— Вот вы намедни рассказывали, Иван Сысоич, об ранах ваших и об остальном прочем. Как же вы последовательную-то службу производили? — закинул неугомонный, вечно любопытный Григорий Матвейч.

— Былое время, старое время! прошло — не воротить, а и рассказать — так на две недели хватит, — проговорил чуть слышно именинник.

— Да полно же ломаться-то!.. расскажи им, молодым: пусть поучатся, как отцы их работали. Вот и мои бы ребята послушали — да и меня самого как-то ты всегда куражишь. Зазорного мы с тобой ничего не делали! — подстрекнул разговорчивого Ивана Сысоича его друг и земляк. — Слушайте-ко, слушайте, молодое племя: дайте вот ему дух перевести, да прокашляться. Он ведь у меня ножки промочил, в лазарет, хочу вести: пусть понежится!

— Да полно, доведешь ли до лазарету-то?.. Тебя еще вести самого нужно, — подтрунивал над шуткою гостя Иван Сысоич.

— Вот, брат, смотри-ка, молодцы какие! — отвечал тот, указывая на сыновей, которые опять приладились в форточку. — Меня-то, брат, есть кому дотащить, да и тебя еще, пожалуй, прихватим. Так ли, ребята, отец говорит?

— Уж если, чего Боже сохрани, на то пойдет, так и мы Ивану Сысоичу подсобим, — подвернул Григорий Матвеич. — Их старости и дряхлости мы всегда помощники: так и закон повелевает.

— Чтой-то вы, братцы, никак меня заживо похоронить хотите! А все это ты, старый хрен, затеял; да я, брат, без тебя не тронусь с этого места; мы никак и его-то увидели чуть не в один день.

Подобного рода шутки не переставали вылетать от добрых стариков, даже и тогда, как начался между ними обыкновенный их спор о годах, вечно оканчивавшийся одним заключением: что если с турецкой кампани считать, так выйдет шестьдесят, а с двадцати язык, так и все восемьдесят.

— Да вот дыры-то эти на плечах, да на груди (закончили приятели) — ноги поломанные, далеко угнали вперед нашу старость. Поразберите-ко, братцы, хоть по пяточку годов на свои плечи, так мы бы вас просто-напросто за пояс заткнули, а на турку полезть и не задумались бы.

Воспользовавшись благоприятной минутой, Григорий Матвеич опять закинул вопрос о том, как провел время Иван Сысоич после чистой отставки и как перемогался до настоящей поры. Как-никак пришлось старику, что называется, распоясаться.

— Если начать после Парижа, так просто-напросто получил я от полка отставку и пошел к своим наведаться; пошел, стало быть, в свою деревню, в Костромскую губернию. Шел-то я туда долгое время, все больше пешком по привычке; а где навернется случай, затекут ноги — на телегу прилягу, если попадетсЯ добрый человек. Привезли меня на родину, стали мне видны знакомые деревни, где, когда молодым был, на поседках сиживал, по праздникам пивал пиво да брагу крепкую. Вот уж и скворечники вижу: один, словно бы, на нашей избе, вон и баня наша пополам с кузнецом — все как есть свое, деревенское. Сердце у меня ходуном ходит.

Думаю: живы ли то свои, а давно они мне не отписывали, хоть и посылал я им о своем здоровье весточку. Стал я в окно стучать; в ворота ударил; слышу, жучка залаяла как-то глухо; стар, думаю, стар; на дворе, слышу, отец жучку унимает, и меня окликнул: «кто, говорит, там?» — «Я, говорю, батюшка! сын твой, говорю, вчистую пришел, — примите, коли в тяготу не буду». — Крикнул старик и дверью хлопнул. — «Просыпайся, говорит, Матрена!.. вставайте, бабы!.. Касатик-то наш жив; на побывку, кричит, пришел, красавец-то наш, кавалер государственный пришел на побывку. Ох! — пришел!.. Отворяйте поскорей калитку, а я и с приступков не сойду; эти радости-то наши совсем, говорит, не втерпеж на старости лет!»

Отворила старшая невестка калитку; бросилась на шею и начала реветь; тут матушка ухватилась; ребятишки-племянники глаза простирают. Стыдно, думаю, солдату реветь, а вот, поди ты, одолей, отвертись от слез, когда вот какие-то тебе соблазны подвернутся. Батюшко стоит на повите, словно оробел, и слезы кулаком подхватывает; да как кинется на меня, откуда у старика сила взялась? давит меня, больно давит. Матушка за руку в избу тащит, ребятишки за ноги ухватились... гостинцев просят. «Эх, думаю, соблазнили вы меня, родные». Заплакал, братцы, и я, как ни моргал глазами; старое бы дело, а не грех вспомнать!

Старик рассказчик обвел глазами слушателей и видит, что он был прав, и иначе сделать совсем было нельзя. Лавочник глубоко и тяжело вздохнул: солдат-гвардеец быстро покрутил усы и погладил бакенбарды; даже писарек повернулся на стуле и ни с того ни с сего обдернул свой скюрточок франтовской. Старый же друг и сослуживец Ивана Сысоича, не удержавшись от наплыва приятных воспоминаний, махнул рукой.

— Который ты раз мне все одно рассказываешь, а уж лучше бы и не снимался: только тоска одна от того, что и со мной то же было! Говори-ко скорее, что вышло дальше!

— Пришли в избу: отдохнули немного. Вынул я сдуру шинель свою парадную и надел на себя: как вскинутся опять на меня, как начали опять реветь да кричать — насили унялись к рассвету. Слышу я, как опомнились: жена моя померла в осенях, недели за три до моего приходу. Господь, говорю, с ней, совсем хворая она была; только маялась, да как свечка таяла, — а домовина все болезни стишит. Крепко только жаль, что меня не дождалась, — при мне-то, думаю, все бы лучше помереть ей. «Все-то тебя, нашего касатика, поминала, велела поклон отдать и родительское свое благословение», — говорила мать. «Мы ее, — говорили невестки, — рядом с Петрунюшкой твоим положили, туда, знаешь, к овинникам-то ближе». Слышу я опять: зять один помер года уж три, говорили, одна невестка убралась, два парнишка малолетки — племянники мои, старшего брата детки. На все, думаю, власть Господня! Вот и живу я на родине, господа, чуть не десять лет; а чтоб не отяготить стариков, не быть в семье лишним, — стал я думать, как бы пользу им какую сделать. Староста церковный стал место предлагать в сторожа, — место теплое, покойное, обойти раз ночью кругом церкви, ударить в колокол — и все тут. — «Нет, говорю, Михей Спиридонич, поищи кого другого, калеку присмотри; калека-солдат любит спокойствие да теплую печку, его нужно холить; он за тебя и за твоих родных, за всю родину кровь проливал, жизнь свою на кон ставил, а мы еще кое-что и тяжелое справим; только левое плечо щемит временем, а правым какой хочешь хомут натяну». Похвастался я ему, а таки не послушался, — настоял на своем, достал себе работу не ломовую, ран не бередила она, а другому кому с неохотки показала бы эта работа небо с овчинку: пошел я кашеваром на бурлацкие лодки. Ведь мы вот с земляком-то с Волги, господа; всего три версты от реки и бурлаков из нашей деревни много ходит. Походил лето и приберег для дому пятьдесят рублей на ассигнации. Заплатили недоимку на эти деньги, корову проме-

няли; сена на зиму не хватило, — так и сена прикупили. Пришла вот и зима, да не застала в холодной одеже; полежал я немного дома на печке, отогрелся. «Прощайте, говорю своим, пойду в Кострому, понаведаюсь: нет ли местечка какого». Иду вот я, примерно, по площади, где теперь Ивану Сусанину памятник поставили: слышу, окликает меня офицер какой-то; и саням велел приостановиться.

— «Здорово, говорит, Сысоев!»

— «Здравие желаем, говорю, ваше высокородие!»
Гляжу: господин майором в нашем полку служил; вместе с французом дрались.

— «Как ты сюда, говорит, попал?»

— «В свою деревню, говорю, пришел; вчистую уволили».

— «А я вот, говорит, полицмейстером здесь служу! Зайди-ко, говорит, ко мне завтра утром».

— «Слушаю, говорю, ваше высокородие!» Пришел я, по его командирскому приказу; вижу, полковником уж мой старый майор.

— «Места, что ли, говорит, ищешь, хочешь ко мне в сторожа поступить?»

— «Благодарим покорно за вашу милость, ваше высокородие! Вот если, говорю, благодеяние оказать хотите, в брандмейстеры бы имел желание поступить и ундерским чином дошел, говорю».

— Все же, думаю, больше принесу пользы, чем сидя в передней — конверты принимать, расчищать песок да чернила наливать. А тут пожар случится — жизнь буду спасать, имущества разные. Полюбились мои слова полковнику, сделал он меня брандмейстером, пожарным начальником: сослужил ему службу на два года, да раны разболелись, и видит полковник, что уж совсем я не такой ретивый стал, как был на первых порах.

— «Ступай-ко, говорит полковник, в имение мое, в Малороссию; двести душ тебе на руки даю; знаю, не обманешь меня».

— «Благодарим, говорю, покорно, ваше высокородие!.. Опять, думаю, не с руки. Вон, говорю, Ивана Кулакова намедни встретил; совсем грибом стал; а солдат был куды как ретивой: пять ран за удалство свое получил. А что не глупый солдат, так фельдфебелем служил в полку, сами, говорю, знаете, ваше высокородие».

— Отпустил он меня в деревню, и опять я там поправил стариков, да и потянулся в Архангельск, зверей бить. Страстишка давнишняя была у меня эта охота, да все как-то ружьем не удавалось завестись; а тут помогли добрые люди. Дальше, братцы, не стану надоедать вам, — был я и в Малороссии и по всей Польше прошел, пока не поднялся турка и не поступил я опять в строй; тут под Браиловом мне ногу оторвало. Оттуда кое-как притащили на родину и жил я там чуть не двадцать лет: то в сторожах при гимназии да по присутственным местам, то в деревне бураки гнул, детские игрушки мастерил: коньков там разных, побрякушек; на то у меня и краски водились, и все материалы какие следуют. Старики мои перемерли; думаю: что мне тут засиживаться; семье не полезен, как хотелось мне; пойду, думаю, в Петербург; город-то знакомый, к тому же, как-никак доживу остаток; может, думаю, старых товарищей встречу. Да вот один этот, старый хрен, и попался: все померли. И нам-то, брат, пора с тобой, земляк ты мой беззубый, калека негодящий: хорошо, что еще молодцов-то за себя поставил, а то бы дожжевика этакого и целовать не стал, — закончил свою речь инвалид, горячо и долго обнимавши своего друга.

Беседа тянулась уже недолго, но при радушном и посильном угощении добряка-именинника. Опять оба инвалида кое-как сползли с лестницы; опять распрощались за воротами, и снова долго полз Иван Сысоич в свою квартирку, и опять, сказывала прачка, целую ночь кашлял.

Как-то спалось в эту ночь остальным гостям Ивана Сысоича после его поучительных рассказов, но что касается до любопытного приказчика-лавочника, то какой-то жар напал на него и долго мучил, пока наконец привычка не взяла верх над истомой: маленькая конурка Григорья Матвеича вскоре огласилась легоньким храпом.

Снятся Григорью Матвеичу бестолковые сны: вот он еще парнишко маленький, живет у отца и матери; да пришел дядя-питерщик и увез его в столицу. Жутко на первых порах деревенскому мальчику переносить столичные обычаи; дядя посадил его в лавку, отдав на руки своему земляку-приказчику. От этого пошли все приказы и подчас изрядные побои, когда Гришка задумается, стоя подле кадушки огурцов и припоминая чехарду деревенскую, крынку с молоком, где до половины густые сливки стоят, хоть ложку воткни, а тут у дяди и привезут-то разбавленное, да и ему еще велит подбавить водицы, толкнуть ложки четыре муки крупчатой. Там, дома, в свайки бы швырял, в козанки щелкал, а тут тебе велят квасу нацедить, свечи отнести к верхнему жильцу, да бутылки собрать из-под квасу или кислых щей. Только и утеха одна, когда удастся тишком от приказчика выворотить из кадки большую деревянную ложку меду, карамельку стащить, орехов горсточку и общелкать их под воротами, когда опять пошлет приказчик по жильцам. Об этом не стоял Гришка, да только ведь бывают же такие случаи, что как вот напоминает теперь прежнему Гришке, теперь Григорью Матвеичу, во сне: послали его за маслом с бутылью большой, и все бы шло хорошо: масла нацедили, написали записочку; ухватился Гришка за свое добро, идет и зевает, по обычаю. Как теперь видит Григорий Матвеич: поравнялся он со Щукиным двором, в проездные ворота попал и занялся своим делом: стал смотреть, как перегнулся приказчик и зазывал барынь в лавку; разом обступили их другие ребята, и закричали барыням на тысячу

голосов, и все одно и то же. Опомнился Гришка, как бутылка с пудом масла лежала в ногах у него, а собака далеко бежала, страшно выла и облизывалась. Обступил Гришку, до икоты рыдавшего, весь апраксинский народ, и помнит он: ценили купцы бутылку, жалели масло, стращали, что парнишке хозяин вихры надерет, березовой кашей попотчует.

Опять новый сон: Гришку хозяин домой отпустил, а как вернется оттуда, так обещал в приказчики посадить у себя под рукой. Рады были Гришке все домашние, не знали, куда посадить и ровно бы все так было, как рассказывал и старик кавалер. Но вот Гришка опять в Петербурге; взял его дядя в свою лавочку и выручку доверил, наполовину положившись на его аккуратность и честность. Не ударил в грязь лицом Григорий Матвеич: чисто вел дела и тонко обходился с покупателями; дядя спасибо сказал и послал в другую свою лавочку на полную отчетность, — чуть-чуть не в хозяева.

Тут в воображении Григорья Матвеича начало кружить и крутить совсем уже необстоятельное: и горничные быстроглазые, задевающие его за живое, и свои деревенские породистые красотки — кровь с молоком. Тут вот женат Григорий Матвеич и жену выписал в Питер; повел ее смотреть красивый город, а в лавочке оставил хлебопека. Идут два молодца-голубочка по Апраксину и хвалят приказчики лавочникову молодуху, и потчуют ее разными товарами заграничными. — «Вот, говорит Григорий Матвеич, тياتер стоит!» И хочется ему объяснить, что такое театр, но не может. Все бы шло хорошо; в театр молодые собрались, да пришел инвалид израненный и такой сердитый; на себя не похож, по волосам и по голосу ровно бы Иван Сысоич, да браниться начал: «ты зачем, говорит, без моего спросу женился? тут, говорит, англичанин нас обижать хочет, французики разные, а он бабьим делом забавляется. Стыдно, говорит, тебе, хорошему человеку, торговлей мелочной да бабами заниматься; ступай, говорит,

за отечество, за веру православную кровь проливать, по царскому слову — Божьему слову. Вот и я, говорит Иван Сысоич, — израненный человек, калека немощная, и я на вторую службу иду, — вот и мундир купил, и ружье купил; твоим командиром хочу быть. Одурел со страха Григорий Матвеич: да я, говорит, кавалер почтенный, тут ни в чем не повинен, вчера еще хотел тебя спросить касательно дела этого самого, да не хотелось, говорит, при сторонних признаться. Ты не сердись на меня, Иван Сысоич, до времени! Я вот завтра к тебе понаведаюсь, приду...

Мгновенно исчезли и жена-молодуха, и кавалер знакомый: Григорий Матвеич лежит лицом к стене, и темно еще в его комнате. Перевернулся он на другой бок, приподнялся на руки и заглянул в окно: на дворе было еще так же темно, как и в самой комнате, а хозяйские часы в лавочке, по которым чуть не целый дом распределял свое время, зашипели, защелкали и, словно старый инвалид, отхаркнулись четыре раза, к немалому удовольствию Григорья Матвеича.

И опять захрапел приказчик дяди-благодетеля, и опять в молодой его голове зародились сны неотвязчивые. Вот он молодец молодцом стоит в строю и побивает маклака-англичанина, что машины горазд делать; хвалят его командиры в один голос; самый старший в управляющие к себе зовет. Григорий Матвеич отказывается и продолжает побивать пикой турку большеголового и французика сухопарого, что по садам в новых перчатках ходит, вино пьет и по трактирам газеты читает. Вот храбрец наш в деревню пробирается: запахло ему веником пареным; у бурмистра избу затопили; мать, отец выходят; кавалерию видят и плачут, горько плачут. Старик Иван Сысоич о походах толкует, и все его, Григорья Матвеича, хвалит: как он там пикой коллол, из ружья стрелял; наскочил было турка, он и его под лошадь подмял. И правду говорил кавалер: турка

завсегда при себе весь капитал свой имеет... все червонцы, да целковые новенькие; один только трехрублевый попался, да бумажка сторублевая...

— Не пора ли, дяденька, лавку отпирать? шесть часов пробило, — в пятый раз проговорил над самым ухом Григорья Матвеича тоненький, робкий голосок посыльного мальчика Мишутки.

— Что тебе надо? — спросил очнувшийся приказчик.

— Кто-то в дверь стучал, дяденька, — квасу требовали. Шесть часов сейчас пробило.

— Отпирай поскорей! да сходи наверх к тому кавалеру, что у прачки живет: не встал ли, мол, он, не помешает ли-де ему, если хозяин зайдет.

— Встал уж, дяденька, — говорил возвратившийся мальчишка, — всю, слышь, ночь прокашлял. Вышел сам ко мне: «зови, говорит, коли нужно что».

Григорий Матвеич, по общему замечанию всех покупателей, в это утро словно не выспался: бледный такой стоял за прилавком; ничего никому не сказал; отпустил вместо муки соли крупной; вместо одного фунта ситника отвесил два, да еще и с походцем; семгу с кадушки, ни с того ни с сего, на стойку поставил; повертелся немного в лавке и долго потом сидел в своей комнате. Вышел оттуда расчесанный, в праздничной сибирке. Все думали, что приказчик в гости собрался и, действительно, не ошиблись, потому что немедленно за ним явилась за стойкой та же рыжая борода хлебопека Мартына, который стоял в лавке и вчера целый вечер. Рассказывали потом, что Григорий Матвеич заходил к кавалеру, а что там было и какие разговоры велись, так прачка в точности и в большой подробности передать не умела; пересказала только так, как далось ее разумению, с неизбежными собственными прибавлениями.

Изо всех рассказов хозяйки Ивана Сысоича любопытные узнали только одно, что Григорий, вошедши в дверь, совсем на себя не был похож; робел, что ли, Бог

его знает, о порог запнулся, вместо Сысоевой комнаты чуть в хозяйскую не прошел, если б прачка не поправила и не указала, куды нужно было идти ему.

Григорий Матвеич отворил дверь робко и опасливо; поклонился старику в пояс и оговорился:

— Что, может, помешал, так уйду сейчас!

— Нет, — говорил кавалер, — милости просим: рад дорогому гостю. Не хочешь ли чайку?

— Благодарим покорно! — отвечал Григорий Матвеич и сел на диван.

Тут они начали чай пить и разговаривать, разговаривали долго; Григорий поклонился опять, но кавалер целоваться заставил и по плечу трепал Григорья-то. Вышел старик проводить приказчика в дверь и опять поцеловал.

Так по крайней мере рассказывала прачка, добавив в заключение: «что, если б не кашлял старик, все бы выслушала. Да и Григорий-то очень тихо говорил, как ни прикладывала уха, ничего не поймала. А тот как назло ни разу не позвал к себе, хоть бы чашку чаю выпить. А что в самое темя поцеловал, так своими глазами видела».

Досадовала прачка на свою глупость и неопытность; сердились на нее и все соседки.

— Я бы, — думала одна, — немножко бы, только немножко услышала; не задумалась бы и все бы поняла сразу.

— Я бы так просто вошла туда; разве нельзя найти к жильцу дела какого? Ведь не запретит же он хозяйке входить в свою комнату.

Как-никак, а любопытным представлялась с каждым днем новая попытка, как только ни появлялась за прилавком рыжая борода хлебопека. Редкое прежде обстоятельство, оно с некоторого времени сделалось ежедневным, смотря по желанию приказчика, и по тому, утром или вечером заберется Григорий к Сысоеву.

Но как следствие посещений этих сделались гласными, то и сущность их не должна быть секретом. К полной

досаде опытных вестовщиц, не умевших справиться с весьма простым делом, расскажем нашим читателям о тех беседах, которые имеют наибольшее значение и привели дело к благополучному исходу.

В первое посещение инвалида Григорий Матвейч опять начал с похвалы заслугам старика, напустив туда кудреватых, но топорных выражений, как будто целую неделю придумывал, да еще с десятком таких же краснобаев советовался.

— Вот теперича будем дело вести таким порядком. Извините, значит, храбрый кавалер, что мы вашей милости совсем по нечаянности беспокойства причиняем, и по своей воле, стало быть, пришли к вам. Начнем хотя бы и с того, что теперича, выходит, вы много на свете Божьем пожили; видим, значит, что и кавалерией изукрашены: живого места на груди не осталось; все, примерно, кресты, да медали. К тому же все одно и раны, сказывали, в преизбытке. Истинно, скажу вам, храбрая вы душа кавалерская, Иван Сысоич!

При этом лавочник вскинул даже глаза несколько кверху, вероятно, с целью придать своей красноглазости прилично торжественное выражение, а на красивом лице выразить и довольство своим умением высказаться по-питерски, и глубочайшее доверие и уважение к заслугам и делам храбрости достойного чести кавалера.

— Что ты мне похвалы-то непрошенные рассыпашь? — заметил кавалер. — Что и от меня шло, так по одной обязанности следовало. Если бы другой кто не сделал на моем месте, так и человеком-то русским называть бы стыдно. Тут нечего хорониться, когда супостат тебя хочет обидеть, да стоишь с ним глаз на глаз. Вали его под ноги, если упрямится да станет из ружья целить: на то, стало быть, обрек себя, а побежишь назад, свой же брат, как труса поганого, приколет. Тут ведь, на то, если хочешь, идет дело: всякий солдат, перед врагом стоя, за Россию-матушку идет, родину свою от вра-

га грудью заслоняет. Ей слава, ему слава; а тебя убили, да его убили — обоим хорошо, потому, все что за твоей спиной — вся Россия стоит: все это там деревни, города разные, тебе крепкое они спасибо скажут. Вот-де, мол, за меня солдат этот шел; на свою грудь раны принимал, за меня-де кровь свою лил, потому, стало быть, и помин тебе по церквам сделают. А поранят сильно, так опять-таки одно и то же: будешь ты страдать и опять-таки за Россию-матушку, за родину православную. Вот ведь ты и грамотный человек и книги, поди, почитываешь, а знаешь ли, что такое эта родина твоя? — и старик рассказчик вопросительно взглянул на собеседника.

— Как же не знать, честной кавалер? По нашему глупому разумению, так это, выходит, Рассея вся, амперия наша, родиной зовется.

— Ну, а Россия-то что? Вот и видно, что ваш брат только за прилавком и хитер, а свету-то видел только что в одном деревянном окошке. Россия это такая, стало быть, земля, что ни один супостат не одолеет. Начать с Москвы-золотых маковок, где калачи да сайки такие пекут, что ни в одном заморском царстве не сделают. Вот за ней тут и пойдут разные города наши: Ярославль-городок, Москвы уголок — твоя родина, рядышком и моя Кострома — веселая сторона. Тут Вятка, всему богатству матка, здесь народ черемиса живет, что чисто и погано пожирает; а там и пошла писать Сибирь большая, где бабы бьют соболей коромыслами, а золота да серебра на ста возах во сто лет не перетаскаешь. Хохляндия бы теперь, по-нашему Малороссия, где хохлы живут, — страна хлебосольная и галушек разных много, вареники с творогом подадут, водкой, поихнему горилкой, хоть облейся, только не дразни его хохлом, — смирной народ, а казаком назвал — так все, двери настезь, наливком таких поднесет, что и сладка бы она, а с места навряд ли встанешь, если не пострадается добрый человек помочь. Тут у них и Киев, старый город, и Крым — благодатная сторонushка; заходи

в любой сад, ешь, что хочешь и сколько душенька твоя примет, только не бери с собой, на это и сторож тебя у ворот осматривает. Здесь-то вот и засели эти мазурики, супостаты-то наши, да еще на *Капкас* пробрались. Тут, словно воры, давно засел народ буйный, несклонный; грабит по ночам да стреляет и всякую супротивность делает. Дальше — Польша идет, латыши народ, чухна сердитая, что один сделает, то и другой повторит. Вот этот-то народ и подошел к самому Питеру и продает здесь рыбу, молоко, да масло свое. Тут опять пошла чухна вплоть до Соловков, где Архангельск город, — всему морю ворот. Не бывал, признаться, в нем, а Вологда — славный город, церковей много и строением каменным берет. Дальше — опять идут либо твоя, либо моя родина. Да ты, земляк, какого уезда?

— Даниловского, честный кавалер!

— Ну, так, брат, с романовцом барана в зыбке закачал, толком Волгу прудил...

— Ведь и про ваших, Иван Сысоич, идут приговоры-то эти самые.

— Как же, брат, есть и про наших. Вот хоть бы теперь чухломский рукосуй рукавицы ищет, а рукавицы за поясом. Ну, так, оставя шутки, ты вот сказал теперь, что из Данилова города; стало быть, Данилов тебе родиной будет. Вот теперь и читай, как по-писаному: и деревня твоя, где тебя отец и мать на свет произвели, и баня, где тебя родили, и село, где крестили; отец крестный, мать крестная, родные твои невестки, золовки, братья, сестры — все это тебе родиной будет, по моему разумению. Девка-красавица писаная, что полюбит тебя пуще брата родного и даст она тебе детей на утешение, на твою подмогу, дети эти самые — опять-таки родина будет. Царская воля, царское слово, законы наши, что от незаслуженной обиды тебя защищают, старики, что тебя иную пору уму-разуму учат; погост, где твои деды и прадеды лежат; войска, что за твою жизнь и за твое хозяйство деревенское стоят;

хлеб даже самый, что мы трудом добываем, — все это опять тебе должно быть дорого, та же родина, которой ты всем обязан, потому — она сама обязала тебя по гроб твоей жизни. И ни за что, смотри, обязала: разве за то только, что мужик деревенский тебя пустил на свет Божий, в подданные Царя-Батюшки. Я так вот теперь по себе знаю, что такое отечество-то наше, родина-то эта, Россия-матушка. Шли мы, братец ты мой, из Парижа назад, домой; прошли Польшу, да раз на стоянке остановились. Разместили нашу команду по избам, пошел и я в ту, которая назначена была. Вижу, совсем изба моя деревенская, и три окошка на улицу глядят, и труба деревянная, да и изба-то, как у нас дома: почернела вся и к соломенному навесу немного нагнулась; крылечко тоже пошатнулось и два приступка вывалились и лежат в сторонке, словно поправить их некому. Так, думаю, так и у нас было; и ни с того ни с сего вошла мне на ум мысль такая, что вот-де отворю дверь: отец с матушкой на шею кинутся, обнимать станут. Вот и овца заблеяла, словно бы наши прыгуны; петух запел, курицы клохчут, а в избу вошел: и образá православные на тябле стоят, и свечка желтенькая приставлена к тяблу. Старик и старуха кланяются нам, просят милости не погнущаться: отведать их щец свежих. Яичницу, говорят, сделаем; молоко, коли хотите, принесем; хлебушко-то, говорят, сами рушайте; вот и нож! — говорят. Не утерпел я, Григорий, одолели меня слезы, словно ребенка малого: кинулся на стариков, обнимать стал, словно отца, мать родную обнимал. Тут ребятинки заревели. Эх, думаю, лучше бы где под забором соснул, а то тут такие чувства подступили, что совсем нет мочи одолеть себя. Пристыдят, думаю, старики; по всей роте расскажут, по батальонам пойдет, весь полк узнает: что вот-де Сысоев — баба, чужих стариков за своих принял: совсем одурел, онемечился. Взглянул я на своих товарищей опасливо, левым глазом: один усы крутит, а сам знаю, щетинисты у него усы; он и сам

знал это, и никогда, что ни припомню, никогда не крутил их. Другой кавалер под стол зачем-то залез, а ефрейтор Михеев так в окно стал глядеть, и вижу: хитрит, седая крыса, тоже плачет. Славные вы, думаю, ребята; солдатская кость каменная — сердце восковое; сказалося оно, как Россиюшку-то увидало, родину-то свою узнало, да понюхало деревенского духу!

— По-моему, кто таких чувствий не понимает, либо знать не хочет, просто нехристь какая-нибудь, бусурманин проклятый, турка некрещеная! — продолжал кавалер, после тяжелого вздоха и продолжительного кашля, которым он заключил свою первую речь.

Иван Сысоич, с трудом впрочем, привстал с дивана, и откуда голос взялся: начал говорить так, будто и Бог весть как разобидели его, словно на целый свет разгневался.

— Вот, говорил он, тут всякая сила на тебя идет; хочет одолеть тебя, отнять у тебя все, что вот мы и в Москве отстояли, и за чем в Париж ходили; а есть трутни такие, что и глядеть не хотят ни на что. Хорошо еще, если ты службой какой обязан, а не вольный человек, ты бы вот, например, Григорий. Ведь только и дела-то, чтобы утянуть осьмушку с двух фунтов, да взять за то барыша полкопейки медью; начать откалывать сахар да крошки подбирать в месяц на пятак серебра. А тут тебе попадетя плохонькой человек, да еще макура какая-нибудь близорукая: на весы-то не смотрит, а и смотрит иной раз, да не видит, — так и четверку утянешь с фунта: вот она торговля-то ваша крохоборливая, отягогительная. Ты вот одного обвесил на две копейки, тебе совсем польза малая; а у него, глядишь, и денег-то только две копейки лишних, на другой день он эти две копейки оставил, и все червяк бы не глодал: фунт черного хлеба и ты бы дал ему, да еще и соли осьмушку прибавил. Вот и живешь ты хозяину, и будешь жить еще дольше; может, хозяин помрет прежде тебя и есть в твоей суме капиталишко; лавочку, пожалуй, захочешь скупить

на себя. Хорошо, положим, и лавочку скупил, твоя она собственность, никому не даешь отчету, кроме себя самого. А кому, скажи на милость, польза от этого? Ты-то ведь опять станешь обмеривать да обвешивать; только начнешь чай пить в трактирах, брюхо отрастишь да величаться станешь, что мы-де капитал имеем, можем и садок с рыбой скупить. Вот тут тебе и толкуй об родине-то! Глупая твоя жизнь, Григорий, если ты себя не хочешь понять, а тянешь туда, где и без тебя много.

Старик, кончив укоры, сел опять на диван и долго всматривался добродушным взглядом в своего слушателя, на лице которого выражалось сильное нетерпение и какая-то необыкновенная краска, как будто ярославец только сейчас соскочил с банного полка и окатился холодной водой.

— Вот вы теперича, — заговорил он робким нерешительным голосом, — меня корить начали и совсем приругали не за дело. Я и пришел-то к вашей милости чуть не за этим самым делом: больно, видите, хотелось бы испытать все, что вам довелось на белом свете. Время-то, знаете, подошло благоприятное, так что же, думаю, зевать? — пойду-ко спрошу кавалера.

— Мое тебе слово, доброму человеку, всегда от сердца пойдет. Старик Сысоев никому зла не делал, разве лягушке какой, когда шагал по болотам в походах. Иди, Гриша, иди, не задумывайся! В настоящем деле всякого человека родина ждет; она перед тобой в долгу не останется, помани мое слово! Только ты заслужи это, а волка бояться — в лес не ходить: страшен гром, да милостив Бог!

Старик Сысоев, в виде поощрения, целовал Григория Матвеича и вогнал его в слезы не столько укорами, сколько, может быть, собственным примером и ласкою. Иному старику слезы дорого даются; случается, что и совсем нейдут, если поломало его горе да беды непрошенные.

Задумался Григорий Матвейч; крепко отуманили его речи старика умного и бывалого. Задумался лавочник до того, что и в лавочку не пошел: и вот отчего видели покупщицы одну только рыжую бороду хлебопека.

— Что это, — спрашивали они, — сам-от хворает, что ли?

— Письмо никак в деревню пишет, — отвечал им хлебопек и несколько удовлетворил любопытству кухарок, потому что дал им повод вывести из этого-то, что, должно быть, с Григорием что-нибудь особенное приключилось: недаром же кавалер целовал его и по голове гладил, как сказывала прачка.

Действительно, Григорий Матвейч царапал в это время обглоданным пером из заплесневевшей чернильницы следующую нехитрую грамотку:

«Родителю нашему любезному Матвею Спиридонычу, матушке нашей любезной Орине Мироновне от сына вашего единокровного рожденного Григорья Матвейча посылаю я вам niskой поклон и прошу вашего заочного родительского благословения навеки нерушимое и желаем мы вам на многие лета здравствовать и будь над вами Божья милость братцу нашему единоутробному Степану Матвейчу от братца вашего Григорья Матвейча niskой поклон посылаю. (Далее следовали низкие поклоны деверю, невестке, бабушке и прочим родным деревенским.)

При сем письме уведомляю я вас, что я совсем по своей воле в солдаты пошел все нас обижают и Иван Сысоич тоже говорит ступай говорит кровь говорит руская а вы об этом не сокрушайтесь мне ничего я от места отстал Александрешко подростет будет с вас а оброк отдам и подушное все коли найдете кого все едино единственно за него пойду сироту бы Григорья отстояли а я за сим письмом остаюся слава Богу жив и здоров а впредь уповаю на Бога чего и вам желаю о чем желаем слышать и радоваться а обо мне сумлений не имейте никаких с кавалерий приду а убьют Господня влась 1854 года месяца декабря 17 числа».

Сложивши письмо пирожком, Григорий Матвеич сам отнес его в почтамт и, вместо того чтобы отправиться в лавочку, опять завернул к инвалиду.

— Письмо, говорит, сейчас в деревню отправил; вот только вернулся с почты, да и завернул к вам.

— Спасибо, Григорьюшко, что не забываешь старика. Подержи-ко вот палочку: я ее обточу.

— Опять я буду утруждать вашу доброту, Иван Сысоич, глупым спросом, — заговорил Григорий Матвеич, исполняя просьбу старика. — Ведь вот теперь рассуждать станем таким манером: мужицкое бы дело теперь одно, а солдатское ведь опять другое. Хотелось бы утрудить вашу милость — спросить: как это у вас-то, примерно, было?..

— Не глупи ты, Григорий. Одне бабы дуры говорят, что страшно на первых порах, да и воют словно по покойникам на погосте. Мне так вот теперь это самое наилучшее время стало; после походов да ран моих об рекрутстве приятнее вспомнить, чем об деревенском сиденье да гульбе на поседках.

— Как же с вами-то было, Иван Сысоич? Вот это-то бы мне и желательно знать; все от старого, да израненного кавалера многому наш брат, молодой человек, может поучиться.

— Дело нехитрое! да к тому же и время-то было горячее; все француз-то этот, про которого вам рассказывал, копошился. Мы себе живем в деревне, никаких бед не чуем. Пришел раз к нашей избе соцкой, поступал падогом своим в окошко. Слышим: «С твоей, говорит, избы, Сысой, рекрут требуется; приводи завтра в волостное!» Мой старик, как-никак, собрал всех братьев, а было нас в семье четверо и все женатые; только я один, после всех, в супружество вступил, потому что был самый младший. — «Что ж, говорю, благословляйте, да и в губернское едем». Прикрикнул на свою бабу: «Собирай, говорю, что мне следует по вашему бабьему разуму! не ссорься со своими, не гневи меня!» Да как

закричу на них, крикну благим матом, так и теперь не пойму совсем, отчего так мне рассердиться довелось, а прежде, да и после, никогда не ругивался так. На другой день рано встали, помолились иконам, стали меня благословлять: замерло у меня сердце глупое, ноги хотят подкоситься, а все оттого, что батюшко с матушкой ревмя ревели, я хоть бы слезу проронил, стою и наказываю братьям: не обижать стариков; жене не спускать, если верховодить станет; да чтоб меня вспоминали известиями о доме. Может быть, говорю, далеко нас уведут.

— Извините, кавалер, перебью вашу речь: говорите — сердце стучало у вас; родители рыдали. Хорошо, что так, что вот вы на глазах были, а эдак... издалека будут благословлять.

— Это, брат, еще лучше, — скажу я тебе... Там ведь вот как: лица твоего не видать станет, а армяк либо шуба твоя белеется: вон, говорят, касатик-он наш! и заревут благим матом, а докажи им издали шапку, — так и не уймешь целый день. Ты уж далеко за лесом едешь и под гору уж спустился, а твои все стоят: авось, думают, вернется. Прежде-то и мне это на утеху было, а разревись теперь, — вот тебе солдатское честное слово: рассержусь и совсем разругаю. Так ли я говорю, Григорий Матвеич, а?

— Ведь вот видите что, Иван Сысоич, это опять по человеку; как ведь кто это на сердце принимает.

— Отступись ты с сердцем своим! Что оно тут сделает, когда уж такая линия пошла; сердце-то ты в пазуху хорони, да и закрой пирогом деревенским с кашей. Вот тебе и сердце — когда такая дурь полезла!

Чтобы успокоить расходившегося старика и поправить собственный промах, Григорий Матвеич просил кавалера продолжать любопытный рассказ.

— Ну, чего тебе там захотелось? — все еще с некоторым гневом говорил Иван Сысоич, но доброе лицо его опять в минуту просветлело и снова полились его за-

душевные рассказы, от которых куды как легко становилось лавочнику.

— Вот тебе и дальше пойдет толкованье! — продолжал добродушный старик. — Пришли мы в волостное, там и спрашивают: «Сам, что ли, Сысой, везешь сына?» — «Сам! — говорит батюшко. — Нагляжусь, говорит, на него хоть по дороге-то. Ведь он, соколик мой, за братьев, по своей охотке, пошел!» И ревет мой старик, старуха увязалась с нами — и та плачет. Привели вот меня в губернское, поставили под меру, помню, что чем-то холодным припало мне к темю; «лоб!» — закричали. И каюсь в старом грехе: одежду чуть ли не целый час надевал; а пришел к своим на фатеру, так еще родителей своих стал унимать и ни одной слезы не проронил вплоть до той поры, как посадил своих на телегу и пришло нам время — партией пойти на место сходки. Шли мы в народе весело, смеючись, попевая песни. Где на дневку придем, — в пристенок начнем играть; другие ребята бабок с собой набрали; городков, бывало, на колем из поленьев, так и ездим друг на дружке верхом. Соберемся кучкой, орлянку кидаем: тогда еще глупая игра-то эта в ходу была. Бывало, все деревни по пути напотешим: песни поем для девичьей потехи, и учатся девки у нас нашим, своим, значит, песням, какие у них не поются. А там разместили по полкам, и пошло наше дело своим чередом. Только ведь, говорят, с медведем в берлоге не уживешься, а человеку с человеком — плёвое дело!..

— А потом и из войны вышли? — опять спросил Григорий Матвеич.

— Удадь молодецкая из одной только могилы не выносит, а из огня, из воды, — вынесет! Тут, брат, и толковать нам с тобой не о чем!

Этим кончилась настоящая и, кажется, последняя беседа торговца-ярославца, человека себе на уме — и кавалера, прокопченного порохом и закаленного горячим железом, потому что в тот же день вечером Григорий Матвеич отправился, как сказывал хлебопек, к

дяде-хозяину. Но так как и это свидание, при настоящих обстоятельствах, не секрет, то и рассказ об нем, думаем, вовсе не будет лишним для тех, кого заинтересовала судьба нашего белотельца.

Пришел он в дядину квартиру задним ходом и, следовательно, прямо попал в кухню, где в это время стряпала его тетка. Робко поклонился он ей; робко спросил о здоровье хозяина — дяди.

— Здоров!.. ничего!.. — говорила она. — Да что это тебя, Григорьюшко, давно не видать? Сам-то пытал спрашивать: «Чтой-то, говорит, Григорий давно не приходил: да не без меня ли был; может, говорит, ты старуха, запомятовала как-нибудь?» — «А мне чего, говорю, запомятовать? Сам знаешь! — как вот в Покров чаю заходил пить, так с той поры и помину нету».

— Да некогда, тетушка, было; делов много набралось!

— А ты получил ли, отец тут тебе как-то меду послал кадушку; парнишко твой заходил, — так я варенья две банки отдала ему. Не разбил бы, постреленок! Все ли он тебе приставил в целости?

Не зная, как отвечать тетке на ее привычные вопросы, над которыми прежде нисколько не задумывался Григорий Матвеич, даже не выдавший варенья, спросил только:

— Сама, что ли, тетушка, варила? — но и тут попался впросак.

— Словно не знаешь, батько: завсегда варенья-то ваши — мое рукоделье. Вот уж который год этим занимаюсь!

— Да что, дядя-то дома, что ли, тетушка?

— Отдыхает, должно быть, теперь; даве все на счетах что-то щелкал. Да вот загляну пойду. Войди!.. велел! — говорила она возвратившись.

Робко приотворил дверь, робко просунул в нее свою фигуру Григорий Матвеич и, словно бить его дядя станет, совсем не по-обычному, поклонился хозяину еще в самых дверях.

— Что это тебя, красное солнушко, видом не видать уж который день? Тут к тебе порученья кое-какие были, — заговорил дядя и пытливо взглянул на бледного приказчика. — Вечор твой парнишко забегал, — продолжал хозяин, — сказывал, что ты и в лавке сидишь редко; все, говорит, Мартына посылаешь; у солдата все, слышь, у какого-то сидишь. Словно, брат Григорий, ты на уме какую ни на есть потаенность держишь? Да и погляди-ко в зеркало, совсем, значит, и на себя не похож! Говори же скорей!..

— Я ничего, хозяин!.. — робко заговорил Григорий Матвеич, но оправился. — Тут к твоей милости дело у меня есть, — продолжал приказчик.

— Что это?.. по лавке, что ли?.. не случилось ли чего худого? Садись-ко, да рассказывай!..

— По лавке все обстоит хорошо, да вот тут какая оказия вышла, ты не сердись на меня сперва. Пстой! да я тебе все по порядку расскажу.

Григорий Матвеич уселся на кончике стула и шапку в руках оставил.

— Вот тут какая статья идет, — продолжал он несколько погромче и смелее прежнего.

В это время вошла тетка, но старик муж оборвал ее на первых шагах:

— Поди-ко, матушка, стряпай! Тут вон парень что-то хорошее хочет рассказывать; не след бабам мужчинские дела слушать. Говори же, Григорий, что у тебя там на уме засело!

— Теперь вот супостат нас страшает! Говорит: «Все возьму!» — нет, говорю, не дам тебе, чего не следует; постою, говорю, за себя! Ты, говорю, не хорохорься, собьем тебе спеси — и будет с вас.

— Что ты, что ты тут городишь? с чего ты-то тут храбришься? — перебил дядя. — В ополчение, что ли, идешь?

— Выше хватай! Я, брат дядя, совсем в солдаты иду! — проговорил громко Григорий Матвеич, поднял дядю с дивана и сам привстал. Я уж и в деревню об

этом писал. Благословите, говорю; а я уж дал себе зарок крепкий на это дело. Так уж тому и быть следует.

Дядя долго думал, кусал свою бороду и, словно из угла, заговорил тихо и истово:

— А обдумал ли ты это дело, не сгоряча ли, брат, схватился? Тут ведь, смотри, вот какая статья, что она на всю жизнь тебе пойдет, зря-то нельзя к ней приступить. Что ж ты англичанина, что ли, бить станешь? — закончил дядя, изменив свой тон на полушутливый.

— Иван Сысоич говорит, что куда пошлют, туда и пойдешь, тут, говорит, все едино-единственно кого ни стрелять, все супостат, да враг и твоей семье, и родине твоей, России-то, враг.

— Нет, уж ты, брат, ступай на англичанина: на корабли ступай! Этот народ, как я вижу, только того и ждет: вот, сегодня утром в лавке читали, что всех-то он народов подговаривает. Колоти ты его, сутягу возмутительного! Ступай, Григорий, да смотри, чтоб твои старики не поперечили тебе. По мне, брат, святое это дело — солдатом теперь быть. Вон, посмотрел я, апраксинские молодцы газету толком не дадут прочитать, все-то, брат, ругаются, англичанина корят. Я, Григорий, с своей стороны прав, мне тебе нечего указывать, сам ведь себя знаешь, только, смотри, старики-то твои...

— Я отписал уж им, что коли-де хотят, пусть Григорьев черед на меня перенесут; все же христианское дело сделают: сироту оборонят. Знаешь Григорья, что бобылем после Егора кузнеца остался? Пускай за меня лето у нас на дому работает! А уж я так порешил, что завтра и в губернское пойду, все уж и подвел к тому. Братишку-то моего, Александрюшку-то, не оставь, дядя; завсегда твоим плательщиком буду: возьми его на себя; пусть за меня родителям окажет пособие! — и Григорий Матвеич поклонился дяде в ноги; а когда встал, видел старик, что у племянника выступили крупные слезы и побежали по щекам.

Тронутый дядя крепко обнял его; благодарил за службу честную: слегка прихвастнул, «что и я, мол, тебя ничем не обижал!» Тут откуда ни взялась тетка-старуха и, не понимая, в чем было главное дело, стала также обнимать племянника — и заплакала.

— Ты смотри же, Григорий, не возгордись! — говорил старик дядя при прощанье. — Наведывайся к нам — и Боже тебя оборони — уйти не простившись. Ведь я тебе все же дядя родной, не бойсь, постоим за себя — не обидим...

— Твоею милостью и в люди пошел, дядя Егор Кузьмич. Парнишком ты меня взял, да вот и на отчетности состоял у тебя четыре года Ты и в молитвах у меня сейчас за отцом-матерью стоишь!..

— В лавочку я пошлю своего подручного. Поди, теперь, тебе уж будет не до того?

— Да уж уволь — поскорей свое дело кончить; на душе словно груз какой, на сердце тошно!

С этих пор Григорья Матвеича совсем не видать было в лавочке; а где пропадал — совсем было неизвестно. Через неделю уже видели его кое-кто из знакомых жильцов, как прошел он в серой шинели и в шапке солдатской серой прямо в прачкину квартиру, к старику жильцу. Сказывали потом, что должно-де Григорий новым нарядом приходил старику похвастаться. Но вот пришел он прощаться, и весело смотрит, и к старику инвалиду ластится.

— Прощайте, говорит, старый кавалер! Жил бы я с вами не плакался, да уж, знать, дорога теперь прямая и торная. Благословите вы меня, да не скажешь ли чего на прощанье?

— Один тебе мой совет, Григорий. Слушайся ты того, кто приставлен к тебе будет, назовут-то его дядькой, да ведь он, смотри, обтешет тебя, уму-разуму научит, будешь ты брякать ружьем так же, как и он сам. Вытянет он тебя в струнку и поперек обточит в рюмочку: станешь ты ходить молодцом, на загляденье всем. Тут

тебе опять солдатская наша поговорка пригодится: делай дело в семь рук, а слушайся всегда одного: сам знаешь — худая песня без запевалы. Он тебе, дядька-то этот, первую песню и в зорю, и после одну будет петь. Знай ты ее: стой — не шатайся, ходи — не спотыкайся, говори — не завирайся, а ляжешь спать, так раньше вставать собирайся. Твое дело одно теперь: отдавай ты честь тому, как Государь указал: не твоя о том забота, а твой ответ. Да ведь вот я что тебе скажу, Григорий Матвейч, — если всю теперь пересказать тебе службу-то солдатскую, — так разве-разве к завтраму вечеру кончим; пожалуй, эдак ты и переключку прозеваешь — а уж это, брат, совсем худо. Сказано одно: солдат царский слуга — и ничего тебе больше. Что завтра, говоришь, уводят, с дядей-то попрощался?

— Тридцать рублей серебром давал. Да я не взял, Иван Сысоич, думаю своими пока справиться.

— Ты их, как придешь в полк, прямо дядьке, какого приставят, отдай! Он ведь тебе добро из этого сделает: разные струменты, какие нужны солдату, справит. Только сходишь ты с ним по миру — по согласию, а за тебя поручусь — всякой тебя солдат полюбит, как ни крепкоруки бывают иные дядьки.

— Хотел я опять-таки спросить, Иван Сысоич: как вот мне с супостатом-то сниматься?

— Придешь на место — всему научат; а до того тебе далека еще песня. Нужно сначала узнать ружье, стойку, да вытяжку уметь держать. А дальше, по-моему, вот что: сошелся ты со врагом глаз на глаз, — меть ему пулю горячую прямо, слышь, в щекотливое место, чтобы он тебя и обидеть уж не смел. Не пускай, стало быть, пули через голову; не оглядывайся; торопись заряжать и не боронись от пули. Коли улужишь — в офицеров вражьих стреляй, орудие подбивать старайся; а от твоей меткой пули живая душа далеко не уйдет: сама в руки дастся. Опять-таки главное тебе: раненых и пленных, коли попадутся под руку, не обижай; краденое до-

бро, сам знаешь, впрок нейдет. Без чести солдату жить нельзя; без совести и шагу путного не сделаешь. А чист, да добродетелен, всякому и в глаза смотришь прямо и неробко, по командирскому приказу, да и на часах стоишь чутко. Тут и на часы поставят, первое слово скажут: вот-де тебе честь и место...

— А поранят, Иван Сысоич?

— Подберут. На то уж тут и начальство такое приставлено.

— Ну, а если убьют-то, Иван Сысоич?

— Вечная тебе память, и твой же брат-солдат добром вспоманет: правдивая в нем была солдатская душа, скажут они! Клади же и ты свою душу за царя и родину!.. А вот тебе на память и образок мой: из-под турки вынес, под французом был и на немцев ходил со мной; да вот и тебе теперь пригодился. Прощай же, прощай, Григорьюшко; вышел бы тебя проводить, да совсем ослабели ноги: так никогда не случалось, и с дивана-то встать насилу могу...

* * *

Прошло времени не много, но в знакомой нам лавочке накопилось много новостей: из десятого номера кухарка сошла — обижать стали; Матрена какая-то задурила — попить начала, так и той тоже отказали от места; из пятого номера жильцы съезжают; домовый хозяин водовоза сменил. В четвертом номере жильцы подкутили, до полуночи пели песни и так ревели, что из нижней квартиры купец присылал сказать, чтоб были потише, потому что над самой спальней его затеяли пляски, от которых штукатурка валилась.

— Посылал-то Ивана Степанова — приказчика, — рассказывала кухарка купца — да тот дураковат у нас немного, слов объяснить не умеет. Вернулся назад и говорит, что не слушаются: говорят-де, что мы сами платим деньги и сами запретить можем, чтоб купец вечеров не

делал, не призывал музыкантов, а то и нам, говорят, делает беспокойство. Один было, слышь, драться кинулся, да не устоял на ногах — упал. Другой на лестнице уселся, пел песни и хватал за ноги всех, кто ни проходил мимо; да так и уснул тут, пока не подобрали другие гости.

Между этими новостями главнейшую роль занимала одна: за прилавком, вместо Григорья Матвеича, стоял какой-то Иван Семеныч. Спорили, что он красивее прежнего Григорья и в обхождении поделикатнее. К этому одни прибавляли собственное замечание, что новый приказчик сродни старому, а другие, что он просто был подручным главного хозяина и будущей осенью в деревню идет — жениться хочет.

Замолвили словечко слегка и кстати и про прачкина жильца Ивана Сысоича, что вот-де, как проводил Григорья, так и в лавочку перестал ходить, словно стыдится чего.

Но последнее заключение было решительно несправедливо, как и доказала в тот же день его хозяйка-прачка. Пришла она в лавочку заплаканная, рассказывала, как будто нехотя: что вот-де послал ее в Измайловский полк к другу своему инвалиду: к себе велел звать.

— Знать, проститься с ним хочет!.. Священник уж был! — добавила она в заключение. — Совсем на себя стал не похож. Поди-ко, говорит, сюда, хозяйюшка; подыми мне голову, подложи под нее другую подушку. Шубой, говорит, прикрой меня; совсем озяб... знать, приходят мои последние часы... Тут он, батюшки, призабылся немного; отходит, думаю, да нет, опять подождал меня и послал вот к старику-то!..

Земляк и старый друг инвалида, пришедший опять с обоими сыновьями, нашел Ивана Сысоича в забытьи; но тот не заставил их долго дожидаться: открыл глаза и протянул руку.

— Спасибо, говорит, братцы!.. спасибо...

— Что у тебя болит?.. ноги, что ли? — едва проговорил его старый друг.

— Просто, брат, старость! чему тут болеть?.. все болит: вот и голова, как кирпич, и ноги чешутся; слышу, кровь бежит, — холодная, словно лед, кровь бежит по жилам... раны ноют, глаза туманом завалило, — и старик застонал и закашлялся.

— Пора, пора, брат, убираться! землю только тяготим... Вот и в этой квартире другой какой бы жилец получше меня жил; побольше бы меня хороших дел делал!.. А тут что?.. картонки да клетки ... вон домик клеим... (старик опять закашлял). Оставляй, брат, и ты сыновей-то своих: приходи!.. дожидаться буду!.. все бы вместе!..

Инвалид не договорил и провел холодной рукой по такому же лбу, как будто припоминал что хорошее.

— Возьми-ко за лоб, старик ты мой, старый друг!.. В жизни ни разу не ругивались!.. Попробуй, какой лоб-то холодный, — лед!.. В голове словно свинец налит!.. вот!.. — и старик инвалид покрутил головой и опять приложил к ней руку.

— Ну, вот... слава Богу!.. вспомнил!.. — заговорил он снова. — Из нижнего комода деньги вынь ... в бураке лежат... Раненым было все собирал, да вот пришлось иное сделать. Половину-то на похороны мне, а другие... с десять рублей наберется!.. да еще в комитете осталось!.. эти ты Григорью отправь! Да чтобы взял, а то, мол, старик сердчал, у!.. крепко, мол, сердчал!.. крепко сердчал!..

Старик сделал усилие, чтобы вскричать на последних словах, но голос ослабел; глаза закрылись. Он встрепенулся и опять заговорил:

— Господь с вами!.. Приходи же, старик, скорей!.. от похорон останется... хозяйке моей отдайте! За кумом еще, кажись, было!.. ей же!.. Позовите-ко кума!.. а сердце оторвалось!.. Слышу: сердце вниз покатились!.. Господь с вами...

И видели все, как старика дернула судорога: вытянулся он и руки по швам сложил, словно перед фронтом в старину равнялся; открыл глаза, устави́л их в печку. По лицу пробежала улыбка, добродушная улыбка Ивана Сысоича, которо́ю радовал он в бы́лую пору своего земляка и старого друга. Еще раз дернула его судорога: вздохнул Иван Сысоич, тяжело вздохнул и отвел левую руку, которая словно плеть спустилась с дивана. Крикнул Иван Сысоич чуть не на весь дом — и затем не слышно стало его тихого, добродушного голоса.

Умер он для беседы поучительной, для ласкового слова и доброго совета. Похитила его смерть у друзей, которые его горячо любили; умер он и для родины, которую он сам так любил и так знал хорошо. Поклонитесь же христиане, русские люди, его праху — последнему свидетельству существования его на земле: вон, везут его на ломовом извозчике; сзади писарь и четверо солдат идут; старика дряхлого легковой извозчик везет, словно туда же, в могилу. Еще везет извозчик купца толстого, в коленях у него два маленьких мальчика; сзади едет купчиха и грудного ребенка завернула в шубу. Проходящие люди шапки снимают и крестятся. Немного сзади поезда отстала квартирная хозяйка-прачка, вся заплаканная, об руку с товаркой — тоже плачущей. За ними нищенка какая-то увязалась и тоже утирает глаза рукавом. Неспроста плачут старухи; ведь жил же на свете добрый человек, и потребовал его Бог для награды вечной; третьего дня был живой и с тобой говорил, а теперь и крышкой тяжелой накрыт и на кладбище увезен. Там уже и могила вырыта на его трудовые деньги, и готов могильщик с лопатой, чтоб завалить его холодной землей, на веки вечные.

Зарыли Ивана Сысоича в могилу; помянули по обычаю. После крест ему деревянный сколотят, красной краской покрасят и выведет щеголь-писарь хитрую надпись. Будет ходить его старый друг на могилу, пока

силы хватит или сам не уляжется рядом. Но все-таки не пропадет о них память: в праздник Смоленской летом придет помянуть их молодое племя. Понаведается и Григорий Матвейч, если не сразит его пуля вражья и вернется он назад, на побывку.

ПИТЕРЩИК
(Похождение кулачка)

I. РАССТАВАНЬЕ

В крайней избе деревни Судомойки, у хозяина Артемья — небывалое горе, которое подкралось к нему незаметно и подняло его жену Матрену еще далеко до первых петухов. Старуха завозилась около печи и изредка глубоко и тяжело вздыхала. Вздохи эти, сопровождаемые какими-то однозвучными восклицаниями, незаметно учащались, и когда старуха вышла из-за переборки, с лучиной в руках, легко было заметить, что глаза ее опухли и покраснели, а на ресницах висели не первые свежие слезы. Вставивши лучину в светец, старуха осторожно подошла к лавке, во всю длину которой вытянулась фигура, накрытая овчинным полушубком. Старуха осторожно потолкала эту фигуру, подперлась локотком, и тем жалобным, робким голосом, который так живо вспоминается всякому, при первой мысли о давно минувшем младенчестве, шептала сквозь слезы, спящему:

— Петрованушко!.. разумник!.. очнись-ко, желанный мой! Никак светать скоро станет, радость!..

Спящий перевернулся, но с полатей раздался другой голос, несколько строгий и неприветливый:

— Эку рань тебя, старую, нелегкая подняла: не замай!.. отстань!.. Дай хоть на последях парню-то покуражиться. Никак еще и первые кочетье не пели: ложись-ко!..

— Нет, уж не засну, не засну!.. Всю ноченьку мутило, и призабыться не удалось! — было ответом.

Опять раздался в избе тот же урывистый шепот, который так назойлив и неприятен просыпающемуся в самую лучшую, сладкую пору ночи.

Не хитрил и тот, чей голос оговорил сердобольную старуху будильщицу, потому что вскоре показались его босые ноги на приступках и, наконец, вся фигура самого хозяина Артемья пробралась с полатей в кут, в то время, когда спящий поднялся на лавке и лениво потягивался.

Артемий молчал, продолжая одеваться, молчал и сын его Петрованушко — виновник настоящего семейного горя.

В избе было по-прежнему тихо, как бывает тихо в любой крестьянской избе в раннюю пору утра, когда можно слышать и шипенье в лохани стрекнувшего уголька от лучины, и корову, лениво пережевывающую жвачку в подызбице, и треск над голбцом сверчка — этого незваного и досадного гостя всякого теплого места в деревне.

В избе Артемья на эту пору тишина нарушалась еще вздохами его жены, которые вскоре превратились в всхлипыванья, неблагоприятно подействовавшие на обоих мужчин: сам Артемий упорно молчал и покрякивал. Сын его вышел на крыльцо и задумался.

Вот где-то вдали выкрикнул первый голосистый петух-запевало; ему ответил другой, третий еще голосистее — и вскоре началась задорная чередовая переключка досужих соседей, по пению которых деревенский человек узнает время ночи.

Привычная переключка петухов, проходившая незаметно для парня в былую пору, на этот раз увлекла его и навела на продолжительное раздумье: голос одного петуха, бойко начавшего выкрик, прорвался на самой середине, и петух не дотянул полной трели.

«Надо быть, крепко начал, покачнулся на шесте и слетел вниз!» — думал парень, и в воображении его уже рисовался содом и неугомонное кудахтанье, которое подняли напуганные, всполохнутые куры.

«И ничем не уймешь их до самого рассвета, народ такой! А вот скворчихин петух совсем стар стал, и поет сипло, и скоро кончает. Не спуста: пятую зиму живет...»

Парень еще долго стоял и вслушивался; но видно, как ни отгонять тоску, накопившую на сердце, придется опять за нее взяться, когда войдет он в избу и увидит, как тоскливо смотрит ему в лицо мать-старуха, и сам отец, подсевши к столу, разбитым, не менее тоскливым, голосом говорит ему:

— Не отринь, Петрованушко, стариковскую молитву: не забудь на чужой стороне!.. Пошли тебе, Никола-Чудотворец, да Казанская Богородица, таланту да счастья!.. Нас-то не забудь только!..

— Зачем забыть?.. не для чего забывать!.. Вы-то... — мог только ответить парень, но упорно сдерживал накипавшие слезы.

— Ой, отцы мои родные! кормилицы мои! — завопила старуха и пала на плечо сына.

— Под сердечушком-то своим я тебя выносила; выкормили-то мы тебя, выпоили, а пришла неминуча напасть на чужую сторонущку снаряжать! Помрешь — не увидимся!.. Ой, батюшки, ой, родители мои! Ой, ой, ой!..

Градом полились у старухи слезы, Артемий вылез из-за стола, махнул рукой и побрел под полати.

— Спи, Ондрюнька! спи, шустрой! Рано!.. — говорил он одному из ребятишек (вразброску валявшихся на полу под шубейками).

Этот парнишко, приподнявшись на постели, пугливо озирался, вероятно разбуженный громкими причитываньями большухи. Плачу этому не мешал старик-Артемий, и даже видимо сочувствовал, потому что продолжал по-прежнему побрякивать и откашливаться.

Немного оправившись, он опять подошел к столу и опять заговорил с сыном:

— Дорога-то дальняя, туды-то обрядим! А там все от тебя, Петрованушко, да от Семена Торинского! Коли не он — так и надежи никакой нет, да, я чай, не отринет — в сватовстве ведь, — свои... Поклонись ему, попроси!..

— Знамо, надо поклониться! — отвечал парень.

— Ну, и наши питерщики, чай, покажут: свои ведь, соседские!..

— Знамо, покажут!.. Ондруха покажет!.. Матюха!..

— Жениться, Петрованушко, надумаешь — домой приезжай!..

— Куды, как не домой, — знамо!..

— На вот от трудов своих, Петрованушко! возьми... десять рублевых, чай, хватит.

— Как не хватит — хватит!.. останется!..

— Дал бы и больше, радельник, да не вмоготу: сам знаешь!.. Вон и то лысуньюшку продали, и сено все сгребли с повета!.. Тулуп-то свой лонишной тоже!.. сам знаешь: из каких достатков?..

В ответ на это парень только сильно безнадежно махнул рукой и опустил голову.

— Все на тебе, разумник! От твоей милости!.. не отринь!

И старик уже не вылезал из-за стола, а тут же, при всех вытирал обильные слезы. Одному только парню почему-то хотелось удерживаться от них, и он ушел за переборку и долго бессознательно рассматривал, как густой дым валил из печи и сильно лез к потолку и по лицам.

— Вставайте, робятки! Матвеюшко, вставай! — будил он потом маленьких племянников — сыновей покойного брата.

Потом прилег было к ним, хотел поиграть — и не нашелся. Встал опять и опять начал выговаривать.

Из-под полушубка показалось одно покрасневшее личико, а вот и другое — и оба, спросонок, тупо смотрели на дядю, не понимая, в чем дело.

— В Питер сегодня еду, вставайте, — чуть не вскричал парень тем безнадежным голосом, после которого едва ли кто удерживался от слез.

В избу вошел дядя Петр, старший брат старика Артемья, человек, живший в Петербурге долго, разбогатевший там, а теперь уважаемый всею деревнею за ум и опытность.

Старик пришел поделиться, по-родственному, с парнем своим толком и опытностью, и говорил:

— Беги кабаков — главное! Вот отец-то не приучил тебя к водке и там остерегайся. Водка — огонь: многих сожгла. В харчевне — ничего, чайку попить, и то, смотри, не часто — ожжет... Больно-то с шустрыми да бойкими не дружись: народ там прожженный...

— Ой, поучи-ко, поучи! Больно ты толков, брат!.. родной!.. Сам-то я и придумать ничего не мог, а хотел, больно хотел, да не знаю как.

— Ну, где тебе знать: свету-то и видел, что в окне-то своем: домосед ведь...

— Домосед, брат, домосед, родной!.. Поучи-ко, поучи — кровной, ведь — свой...

— Идешь-то ты в толковое ремесло плотницкое. Артели у них крепкие, только держись за них, да тут смотри с толком. Ведь и у них всякой бывает, что рубль-от зарабатывает в неделю, почесть, а выпьет, так и в грош не ставит. Пуще бегай полпивных, там в игры всякие играют; — втянешься: водой не отольешь. Присмотру-то там да уроков ни от кого не жди, всяк живет по себе, и тебе доведется также.

— Спасибо, дядюшка, кормилец! так-то вот словно и выучился. Все-то так запомнилось ловко...

— Не на чем, племянник дорогой, Петр Артемьич! Ведь с отцом-то твоим мы не чужие — одна полоса мясу: родные братья.

— Да, поучи ты, поучи, брат!.. еще.

— Будет с него пока. Всего-то не втолкуешь; свой на то разум имеет. Отца-то не забывай, не зазнавайся очень-то.

— Да, уж не забывай, Петрованушко, не забывай!..

— Ну, и меня: дядя ведь тебе. А вот тебе и мое благословение и деньжоночек, сколько мог: не обессудь! — Становись же на колени: благословляй, брат, коли не благословлял еще, да и с миром.

Отец благословил сына створчатым медным образом и запихнул ему этот образ за пазуху. Старуха передала ему мешок с подорожниками и низко поклонилась; невестка присоединила свои рыдания к причитаньям старухи. А вот, когда совсем рассвело, отворилась дверь: и из рассеявшегося густого пару, мгновенно ворвавшегося с ветру, показались фигуры питерщиков — Ондрюхи и Матюхи, которые взяли новобранца на свой страх и согласились доехать вместе с ним до Питера.

— Не оставьте, ребята, парня! вразумите, коли в чем не дойдет своим-то толком! Не отриньте, но знати!.. свои ведь: во какими запомню! — просил Артемий питерщиков и, вероятно, для большего убеждения их, намекнул на свою старость и односелье с ними.

— Не проси, что просить? Знаем! — ответил Ондрюха

— Сам себя должен смотреть, а мы, значит, люди натуральные: все можем предоставить. На то, примерно, в столице... разных господ, выходит, знаем, а опять-таки и хозяев разных. Радение его будет какое, значит... а мы... вот, это в каком сложении понимать надо... настояще так! — говорил другой питерщик Матюха и, как видно, что называется, зарапортовался вследствие столичной заносчивости, которая, видимо, немало усилилась и деревенскими крепительными средствами, которыми любит заручиться простой человек в привычную дорогу.

Как ни бестолковы были последние речи, старик Артемий понял их по-своему и низко кланялся. Кланялся и сын его, Петр.

— Пособи, братцы! народ вы доточной, не впервые в Питер-то ездите.

— Приобыкли, молодец, приобыкли! — заметил Матюха с тем важным тоном, которым любят важничать заезжие на родину питерщики.

— Грамотной ведь он у меня: и церковное читает, и гражданскую печать маракует. Не обидел Бог, неча говорить: может пригодиться и в этом досужестве.

— Завсегда в избе у дьячка, перед обедней, житие читает! — сочла за нужное прибавить мать и не нашлась больше; а только низко-низко поклонилась и опять принялась за слезы.

— Не просите: не обижайте, значит! — говорил первый питерщик.

Но вот наступила и минута разлуки, которую обставляет русский человек, по старому завету отцов и дедов, везде одинаково: когда дорожный человек оделся потеплее и туго-натуго подпоясался кушаком, все находившиеся в избе присели. Недолго длилось молчание: все, вставши с мест, молились на тябло, по примеру большака избы, который, кончив молитву, обратился к сыну:

— Ну, прости, Петрованушко! прости, родимый! благослови тебя Господи. Не забывай ... Жениться-то, мол, домой приезжай, да скорее!.. Хвор стал: не в силу подчас. Прости, петой!.. Да дядины-то слова пуще помни: он ведь неспроста.

Дальше он не мог говорить и передал сына матери, где ожидали его безнадежно-судорожные объятия и рыдания; старуха повалилась ему на плечи и не смогла ничего выговорить. За нее причитывали другие бабы-помощницы, в объятиях которых также предстояло Петровану испытать, как тяжело ложится на сердце бремя разлуки, от которой и отказаться бы даже так в пору.

Дядя простился хладнокровнее всех.

Между тем изба Артемья густо набилась соседками, которых привлекло сюда сколько любопытство и досужество, столько же и обычное сострадание ко всем

неутешно рыдающим. Прощание с ними было гораздо короче. Учащеннее слышались только разные искренние пожелания, во все время, пока парень подошел к ребятам-племянникам.

Ребята спохватились, что дело идет не на шутку, когда все в избе голосят и что, знать, скоро некому будет снаряжать им тележки, носить шляпы и лодышки. Ребята растрогали своими слезами дядю до того, что он поспешил за дверь, на крыльцо, к роковым саням и концу расставанья...

— Прости, родимой... сердце!.. не забудь, да отпиши попервоначалу... как там... Пошли тебе, Казанская!.. ой!.. ох!..

— Прощайте, родные, прости, Гриша!.. Дядя Михей, прости, родимой!

— Не поминайте лихом! А в чем не разобидел ли кого? Простите, желанные, — слышалось с обеих сторон.

— Трогай; да легче сначала: сани разойдутся! — раздался другой голос, усиливший рыдание баб.

Старик Артемий только махал рукой и низко кланялся во все время, пока пошевни питерщиков были в виду.

Но вот они обогнули околицу, скрылись за банями, опять стали видны и спустились под гору, за лес, все дальше и дальше...

Старуха мать давно уже лежала на лавке чуть не в беспамятстве. Над ней выли золовка и невестки. Артемий ушел на поветь и долго-долго возился там с колесами; потом накинул полушубок, надел шапку и ушел под знакомую елку, откуда поздно вернулся домой, залез на полати, постонал, поворочался и замолк, может быть, только до первых петухов...

На другой день, когда путешественники будут далеко, старик опомнится и крепко погорюет. Бабы еще долго будут хныкать, а старуха мать — при первом воспоминании о сыне.

Пройдет неделя, и дальше, — по непреложному закону природы, — все пойдет своим чередом: домашние оглядятся — и попривыкнут, устремив все желания свои к тому, чтобы дожидаться из Питера первой грамотки, над которой опять целой семьей плачут, и опять все пойдет старым, заведенным порядком.

II. ДОРОГА

Привыкшие к расставаньям и дальнему пути спутники Петра всю дорогу спали невозмутимым сном, просыпаясь только там, где останавливались привычные лошади извозчиков: был ли это серенький гнилой домишко, с елкой и выбитыми стеклами, или большая изба с длинным-предлинным навесом над двором, где путешественники пили и ели до устали, и ничто не возмущало их. Дивился Петр Артемьев хладнокровию земляков и не мог вполне понять и совсем подчиниться их обычаям.

Прижавшись к бочку саней, чтоб не потревожить спавших товарищей, он невольно должен был страдать под обаянием воспоминаний, обильный наплыв которых и ласкал его, и уносил, против воли, в далекое прошлое.

Там привелось ему встретить так много отрадного, что недавняя разлука с домашними еще глубже западала ему в сердце и щемила его и выжимала не обильные, но все-таки горькие и неутешные слезы.

Сначала он прибегал к хитростям, чтобы отдалить гнетущие воспоминания, и занимался дорогой делом отчасти привычным, но прошедшее, — такое светлое и отрадное, — опять брало свое место в воображении и опять сжимало ноющее сердце.

Дорога, выбираясь из серых полусгнивших деревень, шла обширными полями, как белым саваном,

покрытыми снегом. Вдали чернелся березняк, с сухими остовами своих деревьев и густо сплывался вечно юный еловый и сосновый лес на бору. От деревни к лесу, по снежному полю, прихотливо виляла узенькая полоса проселка, обозначенная по полям спасительными во время вьюги и метели елками, наставленными кое-где догадливыми мужичками. Дорога — гладкая и светлая — врезалась в лес и пошла переходить от одной стороны просеки до другой, увеличивая расстояние, но спасая путешественников от толчков в ухабах и других неприятностей.

Парень, повернувшись на бок, глядел на дорогу: вот чей-то след потянулся, из лесу прямо на колеи, рядом с ним другой, третий и чуть не до сотни насчитал их наблюдатель.

«Надо быть, волки выходили сюда! — решил он, немного подумав. — Может, за волчицей гнались, а может и на проезжих напасть хотели. А вот этот след уголком вышел: стало, сидел волк на дороге и спугнула их проезжая почта. Отскочил волк — посторонился, чтоб не задела, а проехала почта — опять на дорогу вышел, и сел опять, и взвыл, больно страшно взвыл, по-волчьи... ух!...»

И можно было заметить, как парень покрутил при этом плечами, вспомнив знакомые завывание вора — зверя, хитрого и смелого.

«А оттого, что охотников нет в наших сторонах: избаловался зверь и не боится тебя, а еще и бежит за твоими санями, пока не устанет, да не покажешь ему длинного хвоста гусевой плети... избаловался зверь... Да и человек так, только ты дай ему повадку, — избалуются...»

И вслед затем длинный ряд живых воспоминаний увлек наблюдателя и перенес его к дальнему прошедшему.

«Вот он семилетний парнишко — смирный, нешаловливый; любимец семьи, и в особенности баловни-

ка — старого дедушки. Дедушко указку из лучинки сделал, азбуку изорванную с поллицы достал и желтые большие очки надел на нос. А нос такой большой был, а борода такая желтая, длинная и широкая. У дедушки мало и зубов уже осталось во рту, и старик только кисель с сулом, да горох, да изредка кашу; к мясу по праздникам и не приступался. «Не доймут зубы! — говорит, — ешьте одни; а я, мол, киселька с молочком потреплю; и вдосталь мне будет!..» — Сделал дедушко указку, книгу достал (а было дело вечером, лучина трещала; отец под хомут войлок пришивал: старый-то поизмызгался).

— «Ну-ко! — говорит дедушко, — подь-ко ко мне, Петряюшко: залезай под тябло. Начнем-ко с Божиим благословением!» — И прочитал дедушко «Начальное учение человеком»:

— «Во имя Отца и Сына и Святого Духа; аминь. Боже в помощь мою вонми и вразуми мя во учение сие!..»

— Читай, говорит, за мной, Петряюшко, да перекрестись: всякое дело с молитвой надо, — вот так!..

И зарябили у парня в уме все буквы церковные и гражданские по порядку, за ним «слози имен», все эти: аз — ангел, ангельский, архангел, архангельский... Вот и числа пришли на память от аза до і с елочкой, а за ним и заветное написание: «по сему же и прочая разумевай!» А вот и имена просодиям, которые любил парнишко читать в старину всякому встречному сверстнику и даже давать им по этим просодиям прозвища и теперь не утерпел он, чтобы не повторить их сызнова. Твердо остались в памяти его эти: «оксие, исо, варие, камора, краткая, звательцо, титла, словотитла, апо-строф, кавыка, ерок, запятая, двоеточие, точка, вопро-сительная, удивительная, вместибельная»...

А вот перешел с ним дедушка к кратким нравоуче-нием. Перепутались они в голове парня еще хуже про-содий, но помнит он и бойко так пробегает в уме все нра-воучение: и «буди благочестив, уповай на Бога и люби

Его всем сердцем», и «в несчастьи не унывай, в счастье не расслабевай, а скудость почитай матерью осторожные жизни», и «счастье есть не постоянно, причиняет различные случаи, часто печальные; что терпеливый сносит, о том малодушный въздыхает, плачет, воеет», и «будь к низшим приветлив, встречающихся приветствуй, приветствующих восприветствуй взаимно, невежу наставь, говори всегда правду, никогда не лги. Сие храни и будещи благополучен».

— «Так, смотри, всегда поступай! — говорил старик дедушка. — А это все выучи на память, да подтверже, чтобы слово в слово выходило, как дьячки “помилуй мя Боже” читают».

До сокращенного катехизиса дедушка не доходил, а выучил только молитвам. Достал в волостном правлении синей бумаги и довел вскоре до того, что парень стал писать с любой церковной книги. Вперемежку учили псалмы наизусть по старенькой псалтыри, которую выпросил дедушка у отца дьякона Никанора...

Петр Артемьев повернулся на другой бок, взглянул на спутников: те все еще спали невозмутимо-сладким сном, в ожидании остановки.

Он опять увлекся воспоминаниями и припомнил живо простую домашнюю сцену, опять из времен далекого детства.

В избе кончилось сумерничанье; домашние принялись за обычную работу: мать сидела перед ткацким станком, ткала синюю серпянку отцу и дедушке на рубахи, и однозвучно раздавалось хлопанье бердом и жужжанье челнока между натянутой основой и утком. Старшая тетка пахтала сметану; другая на дворе заставала скотину. В куту на конике отец дотачивал лапоть, а подле него старший братишко Ванюшка вил обору и гудел в лад отцу, себе под нос, ту же самую песню. Старик дедушка сидел за столом и, опершись руками, читал вслух толстую книгу — Четьи-минеи. Дедушка хвор уже был, совсем разваливался и киселя мало ел: все

лежал либо на печи, либо на полатях, а вечером только слезал вниз и садился за стол под тябло.

Ясно, необыкновенно ясно вспоминается Петру Артемьеву то, как он расщепил лучину, вложил в расщеп небольшой кусочек и, нажавши снизу, выстрелил в маленькую сестру, которая тут же, у светца, возилась с куском пирога и котенком. Помнится ему, как шибко опрокинулась назад сестренка и залилась слезами, как бойко прыгнул тощий котенок с лавки на переборку, как рассердилась мать и встала из-за станка, желая отомстить обидчику, и как вмешался в эту расправу добрый старик дедушка, который ухватил за руку парня, притянул к себе и оговорил невестку:

— «Не замай, не дам!.. Забьете вы у меня парня, что Ванюшку старшего. Побаловал немного: ну, что беды? — на то молод еще. Ведь главу не выкувырнул, синяка не налепил — пройдет, заживет до свадьбы!..»

— «Ты завсегда, батюшко, потатчик: твое дитя — не замаем!» — заметила было обидчиво невестка, но прикрикнула на парня, пригрозив кулаком и промолвив: «Ужо, я тебе!.. дедушка спать только ляжет! — нахлопаю так, что небу жарко будет!»

— «А ты меня, Петряюшко, разбуди, — поругаемся! — ответил дедушка и оставил книгу. — Ты сестренку-то не бей только, а поиграть можно, на то ведь вы у вас ребята малые. Расскажи-ко мне лучше, баловник, про вчерашнее: как это будет по твоему по разуму, коли муж с женой, брат с сестрой, шурин с зятем. Сколько народу ехало?»

Старик улыбнулся, весело смотрел в глаза своего баловника, который, помня вчерашнее толкованье, не замедлил ответом, что было не шестеро, а всего только трое.

— Ну, а как же, коли так?

На минуту было задумался мальчик, но тотчас спохватился: глазенки запрыгали, голосок зазвучал

громче обыкновенного. Заметно ребенок спешил ответом, чтоб угодить бабушке, спешил до того, что дыхание захватывало, шея вытянулась, и толково ответил на радость старику и на улыбку матери, у которой отошло уже сердце — она не сердилась.

— «Да вот коли тятка, да мамка, да дядя Матвей, что в Осеново уехал — так и стало ровно трое».

— «А ну-ко, молодец, отгадай теперь новенькую: шурина племянник — как зятю родня?»

Мальчик крепко задумался и губки надул и глаза нахмурил, почесываться начал, вскинулся на стол локтями: видно, крепко хотелось опять угодить старику, потешить его своей доморощенной сметкой.

Бабы оставили на время работу и смотрели, как мучился и хитрил парнишко, а бабушка молчит и прикрикнул на ту из них, которая, не выдержав, хотела было надоумить парня.

— «Еще бы тебе-то, мать, не знать эку хитрость: пусть молодняк сам своим толком дойдет! Он ведь у меня, вишь, какой разумной. Ну-ко, ну-ко, Петрованушко, понатужься да поразмысли: кого, мол, бабушко-то зятем зовет в избе, да и шурина-то, мол, кто? Понатужься-ко: смекни, Петрованушко, смекни — не обидь меня!..»

Бойкая, живая улыбка показалась на лице отгадчика; он хотел было уже говорить, но спохватился скоро, и голосок порвался. Бабушка ободрял его:

— «Не робей! скажешь. Знаю — скажешь! Ну-ко, ну-ну!.. вздынься, Петрованушко!»

— «Да вон, дядя Матвей, ину пору тятку шурином зовет за глаза, стало, сам-от он дяде Матвеем зятем будет. Ну... а я-то... коли дяде племянник, отцу-то сын».

— «Эку толковость послал нам, Господи, эку благодать. А вы еще, бабы, бить парня собираетесь. Да экого разумника хоть сейчас во священники — не опрокинетя. Во как! Ай-да петой, ай-да сердце! На-ко, на тебе!»

И старик крепко поцеловал внука в голову и дал ему пряничного коня с золотой гривой да обещался еще из села каленых орехов принести.

«Добродетель был старик! да помер, прибрал Господь его святую душеньку, — давно уж, больно все ревели!» — думал парень, и горячие слезы покатались одна за другой по его лицу.

Парень спохватился: не увидели бы эти слезы его спутники и опять бы не обозвали его бабой, теленком — сосунчиком, но все еще крепко, невозмутимо крепко, тесно прижавшись один к другому, спали привычные к дорожному делу питерщики. Один обмахнул рукой лицо свое и откинул эту руку прямо на лицо соседа; тот только вздрогнул, но не отвел руки, которая так и осталась тут, медленно спускаясь по бороде на грудь соседа, который, задыхаясь от наслаждения, щелкал губами и раз даже зубами скрипнул.

Все это почему-то рассеяло тяжелые мысли Петра Артемьева: он улыбнулся сначала слегка, а потом и совсем вслух. Но некому было оговорить его в этом движении; даже ямщик, свалившись с облучка в кузов, забил свою лохматую голову под седоковы ноги и, как казалось, упорно старался хранить свое сонно-ленивое молчание.

Теперь почему-то наплывавшие воспоминания становились веселее, хотя и не менее оживленными. У мечтателя даже приятно защекотало сердце: воображению его рисовались последние сцены, ближайšie к настоящему времени, и именно к той поре, когда подростки-ребята начинают на девок поглядывать, бычком задевать при первой встрече и заигрывать с ними щипками и щекотками. Девки хохочут, ругаются, бьют ребят по рукам и, проходя мимо, хотя и закрываются рукавом, но все-таки задевают ребят сами. А кто из ребят побойчее, то любая орженуха не постыдится сама затронуть его, что есть силы ударив вдоль спины

мясистой ладонью. Ожжет у парня это место удар и побежит он за девкой, словно угорелый, поймает и доволь, до сверхсыта, нащекотится, нащиплется.

К охоте подобного рода отчего-то не лежало у Петрухи сердце, ребята его оговаривали — стыдили:

— «Что не затронешь? — ишь, озорницы какие! А лихо, Петруха, — ей-богу лихо!.. Так — али самому щекотно станет. Ты только начни; начни: не отстанешь ни в жисть, больно полюбится. Ишь, я как!..»

И парень, для примера Петрухе, свернувши голову набок, стрелой ринулся в кучу девок, искоса поглядывавших на них во все время беседы.

Бойкое движение парня немедленно сопровождалось визгом, тем несносным визгом, от которого долго потом шумело у Петрухи в ушах и учащенными ударами, которые бесят храбреца-парня, и он начинает рушить и опрокидывать все окружающее, изредка поправляя длинные волосы, падающие на глаза. Громче и чаще раздается визг, и учащенное сыплются удары, и щекотнее становится самому парню.

— «Во-как, по-нашему, по-заморскому! — хвастался парень Петрухе, вырвавшись из кучи девок и едва переводя дыхание от усталости. — Ужо, девки, хуже будет, и не выходите лучше: всех обломаю, право слово! да еще Гришуху подговорю — только пух полетит. Вот, мое слово крепко! Особо тебя, Параха, до смерти защекочу...»

— «Мы тебе бельмы-то повыцарапаем — сунься только!» — пригрозились девки издали (но не испугают парня: не таковской).

— «Что ж Петруха-то нас не затронет, что быком-то глядит, словно сыч уставился? Поиграй, Петрован! Толкни его к нам, Гаранька, что он, словно медведь?»

— «И впрямь, пра, Петруха! Поди-ко к нам, ишь какие, зубастые, а лихо: ты только попробуй!.. Завсегда сам начинать будешь!.. нали знобит!»

Гаранька, покрутив плечами, толкнул было приятеля, но тот уперся и устоял на своем.

— «Боязно, Гаранька! Не замай: дерутся-то больно, — зря, во что ни попало! Нет, уж лучше так погляжу, да и тятка узнает — ругаться станет».

Как говорил и думал Петруха, так старался и делать. Девки щипали его, но не получали в ответ щекоток. Парень увертывался, отбивал щипки и ругался на досаду девок, вызывая их на возможные насмешки и оговариванья. Так тянулось дело все лето и зиму. Девки отступились от него и не затрагивали больше. Только одна из их больше других обращала внимание на робкого парня, который даже и в песнях не участвовал, а у хороводов и на поседках стоял столб столбом. Изредка только, и то насильно, успевали ребята втащить его в круг и заставляли медленным, медвежьим шагом, против воли, ходить в нем. Но как только доходил до Петрухи черед гореть на камушке, парень вырывался, опускал оба платка, державшие его в круге, и опрометью бежал вон из избы или из хоровода. Все это почему-то нравилось той девке, которая не оставила его без приветов и внимания, хотя тоже была охотница до щипков и щекоток, и едва ли была не побойчее всех остальных. Нельзя сказать, чтобы особенно нравилась она и Петрухе, хотя и казалась сноснее других; по крайней мере не надоедала ему, не приставала лишний раз, без пути и толку. Лицо ее тоже не представляло ничего особенного, что могло бы привлечь парня: по обыкновению оно выпеклось блином, немного пригорелым, румяным; круглилось, лоснилось, так же как блин, но блин плохо испеченный, и потому все в нем слилось и заплыло жиром.

Раз подошла эта девка к Петрухе и пожалела, что у него не растет борода.

— Погоди, вырастет! — бухнул Петруха.

— У тебя черная будет, а вон у Гараньки, так у того рыжая пошла, такая-то... клочьями.

— Такой, стало, надо быть! — ответил парень.

— У тебя черная будет, — опять приставала девка.

— Вестимо, черная, коли волоса задались такие.

— Тебе она пристанет: ты не скоблись.

— Для-ча скоблиться, пусть сама растет: не стану скоблиться.

— То-то, ты, Петряюшко,пусти ее: она тебе пристанет. У тебя и волоса-то кужлеватые.

Петруха не нашелся, что отвечать ей на это, и промолчал, уперши глаза в землю и боясь поднять глаза на шуструю, бойкую девку. Изругал бы он ее, да зачем, подумал, когда такие речи говорит? Но не смекнул парень, не дошел до того, чтобы догадаться, к чему и отчего говорила девка такие речи.

Другой раз подъехала она к нему с упреками.

— Что это ты, Петруха, со мной не играешь? Гляди, у всех девок по парню, а меня на тебя наущают девки, да и ребята ваши тоже: тебе, слышь, Петруха достался.

— Для-ча достался, зачем достался? я неделеный! — был ответ Петрухи, который опять потупился и опять хотел было изругаться, но одумался: «за что ругаться, — пристаает, меня не убудет» — решил он и опять замолчал.

Но не отставала девка:

— Ты хоть бы в горелки играл, коли на камушке-то гореть стыдишься...

— Глянь-ко, сапоги-то какие, вон они!

И Петруха показал девке свои чудовищные отцовские сапоги.

— Не запутаешься, не упадешь.

— Нет, упаду; я бегать не шустрой: все ребята скажут.

— Сними их, легче будет!

— А ногу занозишь?

— Эка, паря, ногу занозишь! — впервой, что ли?

— А то нет, не впервой.

— Ишь, ведь, ты словно барин у меня какой.

— Слышь, Матренка, отстань! — не ругайся: пошла прочь. Слышь — дура: ее щекоти — черт! Не дури: я не обхватан!..

Какое-то время спустя после этих объяснений девка явилась к Петрухе уже с более решительными и простосердечными объяснениями.

Она начала стороной:

— Ты мне, Петруха, сегодня во сне привиделся: словно бы ты медведь, а я медведица, и мы вместе бы с тобой у твоих в избе кашу грешневую с молоком ели; а ты бы все урчишь, а я бы все говорю, да рукой бы тебя эдак... да рукой бы по морде-то...

— Не тронь, что ты дерешься-то, не дури, щекотно! — бухнул Петруха.

— Я тебе только сон-то рассказываю, а не дерусь; что ты огрызаешься-то? Ишь, словно и впрямь медведь! Ты, Петрованушко, не ругайся, я ведь люблю.

— Что мне ругаться? ты только не замай.

— А что, Петрованушко, тяжело у вас бабам-то, много работы поди? Мать-то измывается?..

— Мать смиренная — никого не замает. А бабам только и дела, что мозоли на глазах насыпать. К одной вон, к Лукерье-то, куричья слепота, бают, привязалась за то.

— Коли б я за тебя пошла, да полюбилась — не бил бы ты меня? — вкрадчиво-льстивым голосом спросила девка.

— На што бить? я не драчлив, я смирен.

— А полюбил бы ты меня?

Девка помолчала, выжидая отзыва; но парень упорно не давал ответа и швырнул сапогом попавшийся ему под ногу камень, который, далеко пролетел, звонко ударился в валявшееся на дороге худое лукошко.

Парень усмехнулся; поднял глаза на девку, вспыхнул и опять потупился.

— Полюбил бы ты меня? — продолжала, приставая, девка. — А ты мне изо всех ребят полюбовнее пришелся: вон и во сне уж начала тебя видеть...

У девки уже начало захватывать дыхание. Последние слова она сказала отрывисто, и даже, как показалось парню, плаксиво.

Он опять робко поднял глаза и, убедившись в истине своего предположения, снова потупился.

— Как бы не на улице, я бы тебя, Петруша, поцеловала, мне что?..

— Отстань!.. отступись! — мог только крикнуть Петруха и, отчаянно махнув рукой, повернул к избе, но оглянулся.

Девка стоит на прежнем месте, и ее, сколько он мог заметить, начинает подергивать.

«Вот, — думает Петруха. — сейчас обольется».

— Слышь-ко, Паранька! Ты на улице-то не приставай, а то бабы наши заприметят — про ходу покорами не дадут. Не плачь, — слышь! Вон Ключариха идет — увидит. Отстань, я тебе говорю!..

При следующей встрече с глазу на глаз, опять Паранька остановила Петруху:

— Ты что это все словно бык, али бо медведь?.. черт чертом! Ишь, курчавой одмен! — говорила она, однако, тем ласково-бранным тоном, который только и можно подметить в ласках простых русских людей.

Петруха улыбнулся и нашелся:

— Я, брат, что? Я не сердит, я ласков! Вон и бабы наши обозвали *раздевульем*: ни на парня, мол, я не похож, ни на девуку.

— А что же завсегда огрызаешься, коли не начну с тобой говорить?

— А что ты при людях-то пристаешь? Осудят! Ишь, ведь у нас народ-то какой, особо бабы-то.

— Все такие! что народ? небось, другие-то ребята не по-твоему — им трава не расти, и знать не знают и ведавать не ведают.

— Те ребята шустрой меня — сам знаю, они мне не указ.

— Да ты хоть не ругай меня, не лайся. Что все лаешься-то?

Девка хоть бы опять в слезы.

— Ну ладно, ну, не стану, нишкни только!

Последнее объяснение приятно подействовало на парня. Он круто повернул дело, и вот как рассуждает теперь об этом переломе.

— На село пришел к обедне. Народу гибель... ярманка стояла. Лавки открыты. В кармане двугривенный был, куплю, мол, ярмолию, али платок, мол, Параньке. И то, мол, платок. А ярмолию-то, мол, и у Гараньки можно выпросить, коли надо будет. Взял, да и купил платок, пятак еще сдачи дали. Баской платок купил. Когда отдал, обещала поцеловать за него, коли, мол, на задах встренемся, да никто не увидит. И что это стало такое? Совсем ведь девка-то на сердце увязалась; вовсе краше всех; а в платке-то бы и еще лучше себя-то самой. «Я, говорит, только по праздникам стану его надевать, а скажу, что сама купила». Во сне увидел Параньку: и шел бы я к ним в избу благословенья просить; ожениться, мол, захотел. Сто рублей давай, говорят, выводного; девка-то больно хороша. Меньше-де взять нельзя. А где взять эки деньги; прошу посбавить. «Нет, говорят, и не ломайся, — мы не навязывали, — сам пришел». Я так и так! — в слезы, да ручьем, да ручьем и заливаюсь. Опомнился, водой — отливают, совсем одурел... Господи прости, мол, великие мои прегрешения! Поутру встал, да и рассказал матери: «так слышь, либо-де дождь, либо горе какое». А невестки-таки стоят на своем: «Недаром-де Паранька раза по три забегает к нам, не спуста же девка все про Петрована проведывает; а преж и глаз, бывало, не казала в избу. А тут вон и платок приносила показывать, да хвалилась. И платок-то этот смотри неспроста...» И подробно рисуются ему остальные сцены:

— Не ты ли, соколик, купил ей платок-от? — спрашивала мать.

— Пошто я ей куплю, сестра, что ли?..

— А на селе был, куды двугривенный-то дел: баял, гармонию купишь, а запреж и все орехов приносил? с пустыми-то руками и домой не ходил, — подхватила старшая невестка.

— Двугривенный-то этот на дороге обронил, в орлянку играли, так и обронил, — хитрил было парень, но спохватился: — Да тебе что больно до моих-то денег заботы? знала бы лаялась с Матреной-то вот, а то, вишь, везде поспела. Что я тебе — сказывать, что ли, стану, куда деньги-то свои деваю, дожидай, как же!..

— Да что вы и впрямь, бабы, пристали к нему? — заговорил отец. — Благослови его, Господи, коли стал входить в толк. Пора. На десяток-то восьмой никак годок доходить стал: так ли я говорю?

— Считай сам, батько: накануне вешнего Егорья родился, а теперь, вон, и Евдокеи на дворе, — толковала мать.

— А вот что, Петрованушко! — заговорил отец снова, и, пригорюнившись, пытливо глядел в лицо сына. — Семья у нас и без того большая: старуха хвора, да и сам-от я похилел, немогота одолела... Землицей нас мир обидел — сам ведаешь: отрезали, почесть, все песок для пожни-то, да и луга-то углом на свателовское болото вышли. Хоть волком вой; говядинки-то вот с Рождества не видали. Ох, тяжело, Петрованушко, больно тяжело! И никак ты тут не приспособишься.

Старик, махнув рукой, приумолк.

— Как не тяжело? что и говорить, батько, — брат-то в осенях помер — одним радельником меньше стало. Лен не родился, и бабам нечего делать. Матушка все на лихоманку клеппет, и сам-от ты... как не тяжело! Накачались печали — видимо.

Старик отец, во все время речи сына, молчал, только подмахивал, как бы в такт, рукой, и глубоко и тяжело вздыхал.

— Я, батюшко, хоть лоб ты взрежь, не приложу разуму, как бы нам тут изловчиться.

— Вот как смекаю, кормилец! По-моему, вот это как выходит. Начать с того, что вот брат Елисей, дядя, жил он в Питере долго. Я оженился на то время, ребят

возвел, а он все жил... да стосковался, знать, по родине — приехал, да ведь и живет теперь, что твой господин, али бы там бурмистр: все есть, все что захочешь. Без самовара не встает и спать не ложится: шуба-то на нем не овчинная, а волчья. А и в купцы, бает, записаться можно, слышь, да не хочет. Опять же, теперича, Петрованушко, и весь-то народ наш деревенский, все ведь в Питер потянулись. Поди-ко и ты — право! Что мы эдак-то будем?

— Коли твое благословенье, батюшко, будет — ладно: перечить не стану.

— Не неволю я тебя, Петрованушко. Подумай сам, своим толком размысли: плотницкая тебе работа, али бо что, не чужая какая. За топор-от тебе браться — не учиться стать. Там есть наши ребята в подрядчиках... не откажут. Вон, хоть бы, взять Семена Торинского.

— Ладно, кормилец, смекаю, да и наших ребят питерщиков поспрошу, как это у них там ведется.

И с этих пор носился он с мыслью о Питере, на который соблазнили его заезжие гости обилием работ во всякое время, а главное — хорошей платой и дешевизной в паю с ними. Задумываться тут было не над чем. Если все идут в столицу, то и Петруха не лыком шит.

Парень совсем согласился на дальнюю дорогу и сказал об этом отцу твердо и решительно. Отец сначала было начал колебаться, и одобрял выбор нынешней же зимы, и именно ближние недели Великого поста, и нет: советовал отправиться будущей зимою. Колебался старик между выбором, и решил, по-сыновнему, не откладывая дела дальше поста — к тому же и попутчики под руками, а на будущую зиму будет ли еще кто из них, Бог весть. Со своей стороны и парень остался тверд в исполнении намерения, и только раз как будто поколебался немного, когда за несколько дней до отъезда встретил Параньку и увидел на глазах у ней слезы:

— О чем рюмишь, али кто разобидел?

— Нет, кому обидеть? Ты-то вот... слышала... ваша старшая невестка сама забегала... в Питер...

Она не могла говорить дальше, глотая слова и слезы.

— Ну, так что — что в Питер? приеду небось, не съедят там.

— Да ждать-то придется — может, и невесть что.

— Подождешь!.. это дело твое. И то дело — опять особое. То перво-наперво надо... а хныкать станешь, уйду. Сказал — терпеть не люблю ефтих слез самых.

Петруха последние слова выкрикнул громко, в сердцах.

— Не стану! вот-те Христос не стану! — могла только скоро проговорить девка и угодить парню.

— Ты уже не выдешь ли к кузницам? — робко спросила она его, немного помолчав.

— Пошто к кузницам?

— Выйдешь, — так ладно, а не выйдешь — так как хошь, — не неволю.

— Ладно, выйду. Да смотри, опять невестка бы не заметила.

— А ты будто топор понес показать, заклепку, мол, сделать.

— Ну, да ладно — ступай!

Вечером, во время деревенского сумерничанья, Петруха, действительно, был за кузницами и, конечно, нашел уже там Параньку. Она подала ему медное колечко и просила выслать из Питера другое, хоть такое же.

— На што мне колечко?

— Да возьми, дурашной, на память возьми. Там ведь, чай, всех попризабудешь — и меня...

— Опять реветь! сказал — уйду: слушайся!

— Как не реветь-то, Петрованушко?

— Не завтра еду, через неделю еду. Колечко-то на вот, возьми назад.

— Да дурашной — помнить станешь. Вот и Лукерья с кузнецовским Ондрухой — так же; а приехал домой — оженились.

— Я жениться не хочу, возьми колечко-то!..

— Да что-то это, батюшки, родители мои! И не боженник бы ты, а такой дурашной. Наши девки все ведь так, другие ребята запреж покупают колечко-то; поносят с неделю и поменяются.

— Ладно, ну давай сюда! Только смотри никому не сказывай, а то вон с платком-то пришла к нам в избу, да и расчуфырилась, эка невидаль.

— Не скажу, Петруня, не скажу, — знай это. С камнем в воду кинут, гробовой доской накроют — не скажу, помру — не скажу...

— Что ты орешь-то, дура, услышат... Я пойду...

— погоди! — поцелуемся!..

— Я, брат, боюсь с чужими-то целоваться, сейчас губы опрыснет, после и присекай кремнем. Я только со своими целуюсь, и то только в Христов день... погоди, может, под венец пойдём — тогда уж.

— А под венец-то пойдешь ты со мной?

— Что Питер скажет, — туда допреж надо. А то батюшко благословенье обещал, да свадьбу играть нечем; погоди, разживусь через год... Ты смотри у меня, Паранька, молись за меня, я тебе бусы пришлю.

— Да поцелуемся, желанный, дорогой мой, поцелуемся, хоть раз-от. До свадьбы-то долго ждать.

— Отстань ты! сказал, не стану, — опрыснет, после присекать надо. Невестка заприметит — оговорит. Ты смотри у меня, с ней не водись, как волка бегай; язык у этой ехидной бабы острой, настоящее, значит, как бритва. От нее дальше — и меня не ссорь. Я смирен — боюсь осерчать...

— Повременил бы ты, Петрованушко, ехать-то, что зря-то?.. скоро больно. Только было начали мы с тобой женихаться — таково ладно — ты-то не серчал, и я бы уж попривыкла.

— Нельзя временить. Ондрюха да Митюха торопят: «собирай, слышь, всю путину; да скорей, ждать, мол, не станем»; это дело такое.

— Повременил бы.

— Нельзя! — и парень махнул рукой безнадежно. — Коли делать, по мне так делать; а стал клянчить да ломаться — все из рук поплывет.

— Да что тебе больно Ондрюха-то да Матвей-от дались? Будто уж на них-то и мир клином сошелся.

— Как порешили — так, стало, и будет. Одно надо понимать, кабы вмоготу, и один бы, вестимо, доехал.

И он опять безнадежно махнул рукой.

— Ты, Петрованушко, хоть бы в зую пору выходил бы сюда, нагляделась бы я на тебя вдосталь, налюбовалась бы.

И сдерживаемые насильно слезы, найдя свободный доступ теперь, полились обильно и опять рассердили парня.

— Я, брат, плакать не стану по-твоему, а коли станешь эдак... и ходить сюда не буду... Прости, пора никак. Наши, чай, поднялись — ждут. Сумку шью.

«В избу пришел, — думал парень, — и никто не узнал; батюшко только спросил: что, мол, совсем не поладил с ребятами-то? Совсем-де, батюшко». А остаться не думал. Наглядеться-то на тебя подольше не соблаговолишь? Эх, пропадай, мол, моя голова! куды кривая не вывезет.

— Совсем, мол, батюшко, порешил, ехать, вот-те грудь и сердце: благослови!

— Что ты, парень, толкаешься-то? да под самое сердце попал, насили отдышался. Аль заснился Петруха, а Петруха?.. бредил словно бы!.. Петруха, слышь!.. — раздался неожиданный голос над ухом, разогнавший все мечты и думы парня, потому что этот голос был голос одного из его дорожных спутников.

Парень не заметил за собой, как последние слова безнадежной решимости произнес он вслух и, увлекшись недавней живой картиной, махал даже руками, и в последний раз так сильно, что задел за спавшего спутника.

Этот последний, проснувшись, будил товарища, на том основании, что впереди на дороге виднелись уже

черные старые избы, скучившиеся в одно место и между ними белелась большая каменная церковь. За церковью ряд черных изб потянулся вдоль на целую версту; сперва перед въездом виднелись кресты кладбищенские, далеко влево бежала в село почтовая столбовая дорога. Начались бани, за ними избышки и избы: одна совсем развалившаяся, другие новые и большие. Одна совсем покривилась и чуть не вросла в землю со своим сгнившим крылечком, которое вело к загрязненной, захватанной двери. Над дверью красовалась высохшая елка, а внизу известная надпись гражданскими буквами для грамотных.

— Тпру! — закричал тот, который прежде других проснулся и растолкал товарища и ямщика, напомнив обоим, что приехали в Вожерово.

— Тпру! — кричал он и ухватился за вожжи. — Проехать эко место!.. аль не привычны? Надо же ведь отвальную-то запить — иззябли совсем...

Путешественники полезли из саней.

— А что ж ты-то, Петруха, пойдём! — посогреемся.

— Спасибо, неохота!..

— Аль не пьешь?

— Не начинал еще, братцы: претит.

— В Питере, брат, научишься; там без того нельзя — да и на такой же промысел едешь. Хоть пивка али медку? небось, заплатим.

— И не просите, — не стану!.. негоже.

— Твоя воля, как сам знаешь, не неволим! Была бы честь предложена, а от убытков Бог избави.

— Губа толще — брюхо тоньше! — приговаривали товарищи Петрухи, направляясь в заветную дверь, у которой Бог весть сколько раз переменялись петли.

Домишко этот совсем развалится; откуп живо — в неделю — выстроит новый на том же самом месте, и мужичок останется верен до гробовой доски и новому питейному, как был верен старому. Идет он в него по-прежнему так же охотно, сохраняя в уме то убеждение

и род поверья, что «как кабаку ни гнить, как ни гореть: от овинов ли, или от какой другой беды, а стоять ему скоро опять на старом месте. Словно место это клятое! А из старого леса только и можно жечь, что в одном кабаке, в другой избе нельзя, неладно».

Путники наши медленно, мучительно-медленно подвигались вперед, благодаря разбитым ногам рабочих кляч, которых нанимали они под себя за баснословно-дешевую цену.

Вот они в Москве — пришли на чугунок, которая возит рабочих людей за три рубля в двое суток. Здесь новичок получил от бывалых людей спутников кой-какие наставления, вроде следующих:

— Вынь пачпорт и держи в руках! Становись за рогатку гуськом и жди череду! Деньги тоже в руки возьми; здесь — деньги вперед берут. Да смотри крепче держи деньги-то — народ здесь столичной: зазеваешься — не дадут маху. А подошел к окну: «в Петенбург, мол, — вот пачпорт и деньги!» Возьмешь билет, и ступай в сторонку и жди нас — подойдем, покажем дальше.

— Здесь ведь во всем порядки. Зевать учнешь — отяпают так, что и жизни не рад будешь. Ну, с Богом!..

— Упрись же, Петруха, упрись покрепче, придерживай-ко вперед, к окну-то поближе, а то ночевать придется! Понатужься, Петруха, посильней, вот так!.. упрись еще, упрись... — поощрял наставник новичка, который рад был, при таком удобном случае, порасправить косточки и показать свою доморощенную силку.

Рогатка затрещала. Напиривший народ волной повалился к стене, волнение замечено солдатом-жандармом.

— Ты что это, капустная борода, лезешь-то? черед на то есть! Что толкаешь-то?

— А не мы, ваше благородье, сзади прут! — оправдывался ловкий питерщик и перестал напирать.

— То-то — не мы! Что толкаетесь-то, вы, сиволапые! — обратился солдат уже к задним, но оттуда слышались голоса:

— Да ты бы наперед-то смотрел; ведь это вон тот-то, что на нас указал; он подушает. Вон смотри, как впереди земляк-от его месит.

И в самую живую, задорную минуту своей разгулявшейся храбрости новичок Петруха получил приличное награждение; но билет взял-таки и сидел вскоре в вагоне, который перед отъездом затворили огромными дверьми и засунули тяжелым засовом. Сделался мрак; слабый свет проникал только сверху. Чтобы добиться вперед, нужно было сзади лезть через ноги и головы, через ряд многих скамеек, ежеминутно оступаясь и получая пинки и ругательства. Но Петруха добирался, несмотря ни на что, и не мог насмотреться на медную силу, которая волокла их паром до Питера. К услугам его предлагались сбитень, квас, пироги с творогом, выносимые из ближних деревень, но Петруха купил — и закаялся: на все стоят дорогие цены, каких он не слышивал и даже во сне не видывал.

Машина стучала, визжала. Вагон мгновенно наполнялся теплотой, когда его запирали засовами, и мгновенно выветривался, до морозной температуры окрестного поля, когда засов вынимали и отворяли двери на станции. Петруха забился под лавку на пол (на лавке спать нет никакой возможности), — и спал мертвым сном до самого почти Петербурга.

Не удивил Петербург своим чудным видом с дороги этот товарный поезд. Живым существам, находящимся на нем, суждено было любоваться в последний раз спинами своих соседей, которые, может быть, уже и порядочно надоели друг другу, и только слышать, как машина яростно и пронзительно завывала, перестала на время, опять завывала, опять перестала. В вагоне сделалось темно, машина крикнула раза три, и так безнадежно, что на лица всех пассажиров нагнала веселую

улыбку. Посыпались кое-какие остроты, вроде известных: «устала кормилка, — оттого и взвыла»; «скоро кормить станут, а потом попойт, да и опять...» «Тпру!»

Но вот машина пошла все тише и тише; загремели цепи, поезд бесцеремонно и сильно дернуло назад. Пассажиры покачнулись и чуть устояли на ногах. Загремел засов, заскрипели двери — и «милости просим, дорогие гости, полюбоваться на красавец Питер, с его широкими прямыми улицами, страшно высокими домами, которые изумляют даже москвича и приводят в ужас и благоговение деревенского жителя!»

Что станет с Петрухой дальше, а пока на сердце у него накипело много: и сомнения, и безнадежность, и маленькая искра надежды — все это перепуталось вместе с дорожной ломкой, и все это до того отуманило его, что он разинул рот и совсем растерялся.

— Ступай спрашивать Сенную, там большой, в 4 этажа дом угловой (хозяина забыл). Спрашивай плотников, там и своих галицких найдешь. В одном доме с ними и Семен Торинской живет... Ступай теперь все прямо, все прямо... там налево, и опять все прямо... там спросишь — укажут. Спрашивай только Сенную, а пока прости, — толковали новичку его недавние спутники.

— Да коли надумаешь к нам: спроси — там наши знают, заходи, — говорили они ему уже в зад.

Нетрудно узнать заезжего молодца, который брошен в огромный город — Петербург, без указателей и проводника: он робок, взгляд его не может остановиться на одном предмете и бросается с одного края улицы на другой. Он часто останавливается перед громадным зданием, и один, молча, про себя, дивится им и любит иногда подолгу. И если проходящий шутник толкнет его, он не ответит грубостью, он боится даже обидеться, думая, что так, стало, нужно, и пугливым взглядом проводит обидчика. Идет новичок тихо, улицы перейти боится и, часто перебегая, принаравлива-

ет прямо на лошадь. Он изумлен, озадачен донельзя невиданными диковинками, какие попадают ему на каждом шагу: тут все ново, и решительно ничего, ни капли нет похожего на родную деревню, даже на ближний уездный город, даже на губернию. Плетется он медленно вперевалку, за всякого задевает и всякого толкает. Перед иными останавливается и раскрывает рот, чтоб спросить: где живет Семен Торинской и это ли Сенная? Пока он готовится — все бежит мимо и не обращает на него ни малейшего внимания. Досужие саешники, даже и те отвечают ему грубо и не удовлетворяют его. Везде так неприветливо, все несловоохотны, заняты делом. Вспоминается ему тут же, как ему самому удавалось удовлетворять любопытству и прохожих, и проезжих, и даже высчитать число гон или верст от деревни до деревни, и рад он был с досужим человеком целый день прокалякать. Не может понять новичок, отчего его не хотят не только слушать, но даже и говорить с ним.

Опять он медленно подвигается вперед своим развалистым шагом, в своей синей суконной шапке, до последнего нельзя набитой пухом, в своих измызганных лаптишках, со своей кожаной котомкой и лыковой плетущкой за плечами и опять он толкает всякого встречного, и толкают его самого. Плаксиво и робко смотрит он на всех, как бы стыдится и боится за себя, что осмелился попасть в такой важный город. Уже на ночлеге ему живо и ясно припомнится родная деревня, и он горько-горько, хоть и украдкой, всплачет об ней, но покорится злой участи.

Теперь же он идет все прямо, по указанию какого-то доброго человека, которого он готов уважать в эту минуту не меньше отца родного.

— Ну, спасибо, пошли тебе Господи милость Божию! а то хоть живой зарывайся — совсем запутаешься. Эка деревня, Господи, и не видывал!

Семен Торинской — в настоящее время вся надежда Петрухи и семьи его, принадлежал к числу тех людей, которые из бедного простого мужика-наемщика, благодаря своей русской сметке и толковитости, мало-помалу переходят в завидное положение хозяина, когда они раздают уже милости и ставят других, себе подобных, в безусловную зависимость и подчинение. Пришел он (давно когда-то) в Петербург таким же, как Петруха, и с тою же положительною целью, попытаться добиться в столице счастья. Счастье это сначала не находило его, и Семен Торинской был простым плотником. Толк его вскоре замечен был хозяином-подрядчиком, и приезжий плотник назначен уставщиком, и в то же время, по общему согласию артели, выбран был в артельные, и на честность его положились все сотоварищи. Топор, с этих пор, он уже редко брал в руки: его заменил аршин и кулечек, в который укладывалась артельная провизия. Семен имел дело с мелочными торговцами и приблизился в сношениях своих к подрядчику. Подрядчик делал распоряжение, Семен спешил приводить их в исполнение, имея таким образом ежедневный, едва ли не ежечасный, случай угодить хозяину, потрафить на его милость, говоря их же собственным выражением. От хозяина-подрядчика зависит многое в судьбе его подчиненных, и особенно в судьбе артельного. Счастье последнего, если он попадает к богатому, доверенному подрядчику, который снимает подрядов много. Не удивительно, что один из таких подрядов (поменьше и не так выгодный) он легко может передать своему честному помощнику-артельному и уполномочить его на все доходы и остатки. От уменья, сметки и сноровки молодого подрядчика зависит пробить себе трудную дорожку до доверия и будущим работам на себя, независимо. И вот почему всякий молодой подрядчик льстив, угодлив до последней степени, низкопоклонен, даже велеречив и

остроумен по-своему. Таких людей любят строители, и постоянное снятие шапки чистенько одетого человека при всех, на улице, считают они за вежливость, должное уважение к своей личности, и всегда помнят о них при начале новых построек, приглашают их и во всем на них полагаются. От такого рода подрядчика зависит только спешить обставить себя поприличнее; бросить мужицкие деревенские привычки и помаленьку привыкать к обычаям торговцев средней руки, чтоб и самому в некотором роде разыгрывать роль купца с капиталцем. Тогда со стороны подчиненных, по непреложному закону природы, и доверия к ним, и уважения оказывается гораздо больше, и к имени его, вместо прозвища по деревне или по какому-либо физическому недостатку, присоединяется, с должным уважением, величанье по-батюшке.

То же самое случилось и с Семеном Торинским — толковым, сметливым, угодливым.

Он превратился в Семена Ивановича, сшил себе до пят синюю суконную сибирку, завел пестрый бархатный жилет, шляпу, хотя и порыжелую, но все-таки пуховую и круглую, часы серебряные луковицей, при длинной бисерной цепочке; на руки счел за нужное натягивать перчатки, сначала нитяные, а потом и замшевые. Бороду он оставил в прежнем виде, и только круглил ее, подстригая снизу; волосы носил также порусски, и до конца жизни решил быть верным старым обычаям.

Квартиру из трех комнат снял он прямо от домового хозяина и убрал приличную и прочную мебелью и, вслед же за этим, имел удовольствие принимать в новой квартире свою сожительницу, которую поспешил выписать из деревни. Не без особенной досады и неудовольствия увидел он, что хозяйка его совсем боллезная деревенская баба, которая далеко не умела соображаться со столичными обычаями, была болтлива, бестолкова, любила собирать в лавочке все квартирные

дразги и приносить ему, несмотря на строгий приказ оставлять про себя и не беспокоить его. Вследствие недовольства женой и отчасти самим собой, Семен Иванович рассчитал кухарку, которую принанял было для того, чтобы сожительница понежилась вдоволь и отдохнула бы от деревенских работ, как подрядчица. Разузнавши же теперь, что она не рождена для столицы, низвел едва ли не до простого звания кухарки, подчинив ее досужеству всю кухню: ухват и веник, горшок и ведра. Заклявшись держать ее вне своих интересов, он не делился с нею никакими секретными планами и предположениями. Только по праздникам наряжал он ее в немецкое платье, с трудом отучив от сарафана и повойника. Последний заменила баба шелковою зеленою косынкою, которую обматывала кругом головы, наподобие колпака, и на самом лбу завязала маленьким узелком, из которого торчали коротенькие кончики. В ушах у ней всегда были серьги, по праздникам с жемчужными подвесками; на руках серебряные кольца, которых у самого Семена Ивановича было на пальцах едва ли не больше десятка.

Вырядившись чистенько и прилично, подрядчик с подрядчицею любил пройтись в церковь, оттуда зайти к доброму земляку одинакового с ним веса и значения, где неизменно много выпивалось кофею, еще больше того решалось коммерческих вопросов. Составлялась закуска, приносился праздничный пирог, даже кильки и бутылка дешевого шиттовского хересу. Любил тем же поклониться и поважить земляка и сам Семен Иванович в другое время, на следующий праздник, и на самом деле приводил в исполнение известную поговорку: «костромици в куцу, галицане в куцу, ярославцы проць!» На основании этого правила и Петруха отыскивал его, и отыскиали и не ошиблись, еще прежде Петрухи, не один десяток земляков Семена Ивановича, Герасима Степаныча, Ивана Парамоныча. Здесь всегда рука руку моет — и в трактире, где если один романо-

вещь, то уже и все романовцы, в колбасной лавке хозяин из Углича, то и повар его и приказчики и мальчишки углицкие. В галицкой же плотничьей артели перепутались и галицкие, и костромские, и кологривские, и чухломские, и галицкая эта артель потому только, что галицких плотников больше числом.

Семен Иванович сидел и писал обглоданным пером из заплесневелой чернильницы на клочке порядочно засаленной бумаги (будучи плохим грамотеем, чуть ли даже не самоучкой, он любил и обстановку подобного же рода, и некоторую чистоту и опрятность не считал делом важным, имеющим какой-либо смысл и значение). Комната, в которой сидел Семен Иванович и которая на языке его жены имела название «хозяйской», в отличие от другой, отделенной перегородкой и называвшейся просто спальней, вся до последнего нельзя набита мебелью, сделанной хотя и аляповато, но прочно и плотно. Подушки на диване и стульях были набиты едва ли не булыжником и обтянуты клеенкой, во многих местах уже обтершейся. Над диваном висели два портрета, писанные масляными красками и принадлежавшие к числу тех портретов, которые имеют поползновение быть решительно непохожими на тех, кого хотел изобразить самоучка-маляр чухломец. По обилию перстней на руках, по сибирке и пестрому жилету, наконец по бороде, еще можно было заподозрить, что один портрет был писан с Семена Ивановича, и другой с жены его, на котором торчало криворотое, кривоглазое лицо без малейшего намека на что-либо человеческое, увенчанное косынкой с заветным узелком на лбу. У Семена Ивановича в руках был розан, жена его просто подобрала свои руки, сложила их на грудь и съежила губы, как бы давая зарок хранить вечное гробовое молчание.

Остальная комнатная мебель была обыкновенная: зеркало, втрое и в ширину увеличивающее лицо, высокий комод, бедно покрашенный красной краской,

сложенный ломберный стол с выгнившим сукном, покособившейся половинкой крышки и с поломанными двумя задними ножками. Вообще комнату подрядчика с первого раза можно бы назвать квартирою какого-нибудь переписчика-труженика, по двугривенному за лист перебеливающего всякое писанье, самое неразборчивое и самое безграмотное, переписчика, просиживающего за своей работой всегда далеко за полночь, робкого, стыдливого и почти всегда презираемого своим *давальщиком*; наконец, даже можно назвать квартирою старого, опытного, закаленного в своем деле журнального корректора, сквозь голову которого прошла бездна живых, свежих мыслей, не оставивших ни малейшего следа, кроме твердого машинального знания корректурных знаков и привычки сейчас же приниматься за корректурный лист и кончать и отсылать его в типографию. Только рубанок под диваном, пила и даже, может быть, топор обличают в хозяине скромной, но чистенькой квартирке плотничьего подрядчика, который — надо сказать, кстати и к чести его — не брезгает и умственными занятиями: под резным позлащенным киотом с образом Воскресения и другими маленькими на маленьком круглом столе, рядом с вербой, лежат три-четыре книги духовного содержания в кожаном переплете и в папке — толстые московские святцы с историею об Артамоне Сергеевиче Матвееве и описаниями всех всероссийских монастырей и пустынь. На комодѣ валялась даже «светская книга»: «Похождения прекрасной Анжелики с двумя удалцами, перевод с французского».

Семен Иванович сидел за счетами в халате, с дешевой сигаркой во рту, сигаркой сомнительного цвета и удушающего запаха (а нельзя подрядчику без сигарки — таков закон и обычай), когда в комнату вошла его жена, сейчас только бросившая стряпню:

— Сколько раз я вам говорил, Окулина Артамоновна, чтобы обряжались вы по-христиански; фартук бы

надели, а то что, с позволения сказать, этаким-то не-ряществом украшаешься?..

— Ну, вот, батько, опять облаял, и забыла зачем пришла-то: словно пришиб кто, запамятовала.

— Да вы бы лучше мне в таком разрушении и не ка-зались. Ведь здесь, мать моя, столиция, государство, — не деревня какая.

— Ладно — ну ладно, батько, который раз слышу?.. а зачем пришла-то — забыла: убей — не вспомню.

— Ступай, опомнись: приди в забвение.

И Семен Иванович, тем досадно-насмешливым взглядом, которым только и смотрят вслед человеку неприятному, посмотрел на удаляющуюся в кухню со-жительницу.

Кстати сказать, что Семен Иванович, как обжив-шийся питерщик, и к тому же ломавший из себя купца, любил ввернуть в обыденную, простую речь книжные и даже иностранные слова, вовсе не понимая их настоя-щего смысла, но самодовольно гордясь завидным пре-имуществом столичного человека и притом грамотного. До изумительного правдоподобия справедлив тот анек-дот, в котором пьяного «кавалера службы военной», выпившего на счет гулявших в трактире и за спасибо ударившего, без видимой причины, по лицу одного из них, хозяева просили «отставить эфти куплеты и быть без консисторий». Особенно резко щеголяют этим недо-статком петербургские люди средней руки, вроде Се-менов Ивановичей — подрядчиков, мелочных лавочни-ков, апраксинцев, артельщиков и проч.

Хозяйка Семена Ивановича не оставила-таки его в покое и вошла опять, но все же, по-прежнему, без фар-тука и в том же растрепанном виде.

— Что еще? — спросил он ее.

— Да вспомнила, батько! переварки-то у меня гото-вы — велишь, что ли, кофею-то засыпать?

— Законное дело! а сливок-то приобрела?

— Ну, батя, когда еще? Не успела сбегать. Даве ходила два раза — запомятовала... Да там тебя какой-то молодец еще спрашивает.

— Какой такой?

— Сказывает: с письмом; из деревни, мол, — из соседских.

— Позови сюда, что ему надо? Да там есть ли обо что обтереть ему ноги-то, а то нагрязнит — а на тебя плохая надежда, все в беспамятстве. Есть ли рогожка-то?

— С коих пор лежит, как не быть? — и не трогивала, целехонька.

— Ну, позови. Да спроси, как зовут.

Вскоре затем тихонько отворилась дверь в «хозяйскую» Семена Ивановича, и из кухни вылез в нее Петруха, который, робко взглянув на подрядчика, низко, в пояс, поклонился ему.

— Здорово, молодец! — сказал Семен Иванович.

Парень подвинулся было вперед, вероятно, с намерением поцеловаться, но хозяин сделал движение рукой, примолвив: «не надо!.. и так хороши!»

Парень остался на прежнем месте и опять робко, но все-таки в пояс, поклонился.

— Ты от кого? — неласково спросил опять подрядчик.

— Да все из ваших же, из галицких... из Судомойки. Коли знал Артемья — Совой зовут — сынок я его, дядя Семен!

— Что ж тебе надо?

— Письмо тебе привез от ваших; крепко-накрепко наказывали самому тебе отдать в руки: вишь, ты им вольную обещал справить, ждут, так...

— Ну, хорошо, хорошо, знаем! — перебил Семен Иванович парня.

Но тот, видимо, собравшись с духом и сделавшись похрабрее и пооглядевшись, продолжал передавать указы:

— Домашние тебе поклон велели низкой справить. Да тетка Лукерья попенять велела, что ты с лета

ни единого письма не написал. Больно, вишь, они маются-то.

— Знаю, знаю! — перебивал было Семен Иванович, но парень стоял на своем:

— Вишь, овин новый к лету-то ставить хотят, — навес на дворе перестилают; полы, слышь, погнили; да и избу-то, мол, новую зауряд перестроить: ты, слышь, подрядчик.

— Все это так, братец ты мой! — опять перебил его подрядчик. — Что же тебе-то надо?

— Да, вишь, поклон велели справить, письмо тебе крепко-накрепко в руки отдать, — да поклониться: не надобен ли?

Малому поперхнулось, он закашлял в рукав и в то же время неловко, но опять поклонился в пояс.

Хозяин в это время кликнул жену; спросил, готово ли у ней все, и велел тотчас же накормить парня, а сам занялся в это время чтением письма и соображениями.

— Поешь-ко вот, кормилец, похлебочки-то: вечор с говядиной была. Сам-от велит супом звать, а по мне похлебка она, так похлебка и есть. Да как тебя звать-то? что-то я тебя ровно бы совсем не знаю...

— Петром зовут, да как, чай, не знать, тетка Онисья? судомойковские ведь... Есть ли, полно, до вашей-то версты четыре?

— Чей же ты — судомойковской?

— А Сычов.

— Ну, да как, батько, не знать? С матерью-то твоей в сватовстве еще, по покойнику, по Демиду Калистратычу. Он-то ведь мне деверь был, а у матери-то твоей сватом шел, за батькой-то за твоим. Артемьем, кажись, и звать батьку-то твоего.

Петруха ожил. Словно в деревенскую семью попал. Он и ел, против ожидания, с охотой, и словоохотливо удовлетворял вопросам тетки Онисьи:

— Все ли здоровы, наши-то, Петрованушко? Чай, бабушка Федосья куды как плоха стала?

— Одно только толокно и ест и с печи не слезает.

— Так, батюшко, так; всегда хвораю и запреж была. Овин-то новый у них?

— Все тот же. Наказывали дяде-то Семену поклониться — не прийдет ли, мол, пособица?

— Ну, от него не дождешься, батько! Такой-то стал крутой! И все лається ни зря — ни походя! Совсем стал чуфарой.

Это немного озадачило парня.

— Да ты зачем к нему-то, места, что ли, просишь?

— Это бы дело-то, правду сказать, да не знаю, возьмет ли? Вишь, он...

— Возьмет, батько, для-ча не взять? наших галицких пытается ходить к нему: всех берет.

— То-то кабы взял, я бы за него вечно Бога молил.

— Возьмет, для-ча?..

— Войди, молодец! — раздался хозяйский голос из соседней комнаты.

— Вот, вишь, парень, какая канитель идет: пишут взять тебя...

— Возьми, дядя Семен, яви божескую милость...

— Так опять-таки обряды-то наши такие: местов-то, молодец, нет.

— Найди, дядя Семен, яви ты... Христа ради!..

Парень, хоть бы в ноги, готов был поклониться: у него уже опять заскребло на сердце, и опять увязалось чувство безнадежности.

— Народу-то, вишь, молодец, нашло много, а работа-то наша плотницкая совсем плоха: дома-то, вишь, все каменные — так только полы да потолки и настилаем нынешним временем. Вон одна у меня артель забор около казенного дома ушла строить, а другая на Неве свай вколачивает, — там и я в паю, — не один.

Петруха не нашелся, что отвечать на это, и только бессознательно поклонился.

Хозяин опять начал:

— Да тебе во вразумление ли эта работа-то? не зря ли пришел, как много ваших ходит? Умеешь ли ты плотничать-то?

— Как не уметь, дядя Семен: не пришел бы.

— А строил ли что?

— Ну, да как не строить: в Вихляеве три овина сколотили, баню вашему, — торинскому, — соцкому. Хотел к твоим подрядиться и — брали, да, вишь, ждуть твоей милости.

— В чьей же ты артели ходил?

— Да с Максимом Матвеевским: зимусь с ним у испидитора целый дом и со службами поставили. Славной такой дом-от вышел: лес *хрушкой*, не нахвалится.

— Твоя-то работа какая же была?

— Да всякая, какую укажут. Я, признательно сказать, все больше коло косяков да дверей; и рамы сколачивал и чисто производил...

— Здесь, брат, и двери, и косяки: все столярной работы; наша плотничья совсем, говорю тебе, плохо идет.

— Так! — только и нашелся ответить Петруха.

Хозяин подумал немного, пристально посмотрев на парня.

— Ладно! — говорит. — Зайди завтра эдак в вечерни... али поутру пораньше — тогда уж и порешим. Я хлопочу, постараюсь, сделаю, что во власти.

— Как тебе не во власти, дядя Семен? яви ты божескую милость! Не в деревню же опять, Христовым именем. Я тебе по гроб плательщик.

По уходе земляка и соседа, которого и узнал Семен Иванович, но почему-то не соблаговолил признаться и приласкать его, он в тот же вечер, однако, собрался и ушел куда-то надолго. Чаю он дома не пил, а пил его в одном из множества столичных «заведений», с двумя другими подрядчиками.

Началось дело с того, что потребовали газету, потолковали, но Семен Иванович, разливавший чай, как хозяин, и пригласивший других, мало вмешивался в разговор и отвечал односложно и не с такою толковитостью, как всегда делал прежде. Один из гостей начал было интересный рассказ, чтобы поддержать беседу:

— Теперича будем говорить вот какими резонами: сколько, значит, раз Касьян в году бывает по святцам?

Ответу на вопрос, несколько щекотливый, со стороны двух других собеседников не последовало. За них ответил сам спрашивающий:

— Касьян этот самый бывает, через три года на четвертой, один раз. И этот самый год теперича Касьянов бывает что ни на есть самый тяжелый: на хлеб червь нападает; этот теперича самый червь и деревья гложет и весь лист точит. На скотину идет Божие попущение — падёж, выходит. На небеси знамения: это Каин и Авель. И каково есть большая эта самая планида — луна, то вся она обливается кровью. Леса горят, бури это...

Разговор на том и кончился и привел Семена Ивановича к тому заключению, что пора уже и приступить к делу: он налил пустые чашечки чаем; опять потребовал меду и изюму (подрядчики не пьют с сахаром в Великий пост); крикнул Семен Иванович, оправился и начал без обиняков, прямо:

— Не надо ли, братцы, молодца кому? А у меня есть важный и к плотницкому делу приспособлен — соседский еще вдобавок, и деревни наши почесть с поля на поле. Чистую работу знает. Пришел ко мне прямо и всплакался: «помоги-де!» Ну, отчего, мол, не помочь? Ступай, мол, молись Богу, а я скажу благоприятелям, припрошу их за тебя. Тебе, Евдоким Спиридоныч?

— Песок пересыпать — у меня больше работ в навидности никаких нет, да и та поденная.

— Зачем опять же поденная? Этому парню такую не надо, такая-то и у меня есть в пильщиках, да что?.. это не такой: свои просили, ну, и сам такой толковитый. Прямо, братец, ко мне пришел.

— Нет, благодарим, Семен Иваныч, и рад бы, не надо.

— А тебе, Трифон Еремеич?

— Да молодой?

— Слышь — только в силу вошел: укладистой такой, на-вот! Сыромятной ремень перервет, кажись.

— Так. Холостой али женатой?

— Тебе-то больно что: не все ли едино?

— Ну, да как тебе сказать, Семен Иваныч, не все-то едино, что хлеб, что мякина. Женатой-то не что холостой, — дороже стоит.

— Я это, Трифон Еремеич, не рассуждаю.

— Надо. И тут имей, значит, сообразность, а потому и для тебя резонов из того выходит больше.

— Воля твоя... (Семен Иваныч при этом покрутил головой), а я этого самого не понимаю.

— Надо. И малая рыбка завсегда лучше большого таракана — не нами сказано. Ты коли норовишь по закону, ты и должен брать больше всех. Так ли, небось?

— Это не в сумнении; это сущее, значит, обстоятельство...

— То-то. Так женатой?

— Нет, холостой.

— Что же ты-то входил уж с ним в уряд: уступочка мне будет?

— В уряд-то я не входил, а расспросил только...

— Так, стало, мне придется? Дело! Что ж он к тебе зайдет, что ли?

— К себе велел.

— Присылай! Работнику рады... ну, да нет: я лучше забреду к тебе сам. В вечерни, что ли?

— Может, утром...

— Ну, да ладно; как сам знаешь — так и делай, — присылай, присылай.

Трифон Еремеич нетерпеливо заворочался на стуле, выглядывая глазами полового.

— Молодец, вы, почтенный! как тебя звать-то?

— Васильем.

— Так, брат ты мой, Василий, вели селяночки рыбной, с осетринкой.

— Слушаю-с.

— Да постой, постой!

— Еще что не прикажете ли?

— Дай горькой графинчик, да побольше; закусочки сухариков, али — что уж тут! — давай пирогов маленьких.

Как бы то ни было, но участь Петра Артемьева решена; он не уйдет обратно в деревню. Завтра же его запишут в артель, отберут паспорт для прописки в квартале, дадут топор, долото, сапоги, если захочет — все на артельные деньги, которые вычтутся при месячной уплате. Если у него остались деньги от дороги, то он обязан отдать их в артельную, если не все, то возможную часть, потому что артель будет кормить его завтраком, обедом и ужином на другой же день.

Артель для него теперь заменяет родную деревню и напоминает ее живо, потому что в это общество не заползают столичные обычаи. По-деревенски: артель спит немного, но зато крепко и в сытость; артель ест часто и много и — нужно отдать ей справедливость — всегда хорошо и чисто приготовленное: говядина у ней недавнего боя, пшено не затхлое, хлеб от хлебника по заказу, и, следовательно, всегда из свежей муки. Артель дружна и крепка; обидеть одного — заставить мстить всех; тайн здесь ни у кого нет — все по-деревенски, попросту, нараспашку: домашние письма читаются вслух, при всех, и желающие могут приходить, слушать, давать советы. Захворает кто — артельный объявляет хозяину, и артель везет больного на общие деньги, в больницу; умрет больной — и в могилу провожают его на артельные же деньги, и на них же один раз совершают панихиду. В большие праздники, а нередко и по воскресеньям у порядочной артели на столе — ведро или полведра вина, смотря по количеству паевщиков. В некоторых даже бывали трубки артельные, но всегда и во всех собака и кот, вечно сытые и раскормленные до последних пределов.

С ранним светом дня, с топорами за поясом, пилами, рубанками, скребками, бурачками плотники плетутся на урок. При спешной работе завтракают там, но всегда обедают на квартире в ранний полдень. Шабашное время отдыха у них коротко, плотник отдыхает на переходах; вечерняя работа продолжается до сумерек, когда всякий петербургский житель может встретить около Сенной (плотники почему-то особенно полюбили это место) целую ораву таких молодцов, крайне разговорчивых на своем так называемом суздальском наречии (плотник из губерний к югу от Москвы замечательная редкость). У всех под мышками щепы: у одних побольше, у других поменьше; бойкий и загребистый не прочь захватить целый кряж, если только под силу дотащить его до квартиры. Щепы эти важны в домашней экономии плотничьей артели, которая никогда не покупает дров. Щепами отопляет она квартиру, на щепках же готовится артельная пища, для чего всегда бывает нанята кухарка на артельные деньги. На обязанности дневального-чередового — сходить в лавочку за квасом, зайти по пути к хлебопеку; потому-то дневальной в свой день не берет топора в руки, прибирая квартиру, нары и проч. Он же носит и завтрак на работу, когда требуют того обстоятельства.

Работают плотники весело, посреди шуток и доморощенных острот, вроде следующих:

— Кто это косяки-то прилаживал? — спросит один.

— Кологривских два парня! — отвечают.

— То-то, гляжу работа дворянская — завсегда поправлять после них надо.

— Ты что это больно распелся, парень?

— Да, вишь, бабушка померла, так выть до смерти наказала ему.

— Петруха — подпояшься, а то, вишь, и рубанок что-то не скоро ходит.

— Эх, кабы сковороду яишницы мне теперь, да водки, выпил бы и закусил.

— Ну, выпей кваску, да закуси бородой! и т. д. и т. п.

А между тем работа подвигается вперед. Приносят завтрак, и за завтраком те же остроты и прибаутки, до тех пор пока не крикнет урядник:

— Ну, баста!.. Будет с семиовчинным-то возиться, пора и за работу приниматься!..

Опять начинается стук топора, свист пилы, визг рубанка вперемежку с песней, затянутой где-нибудь вверху, на стропилах, и подхваченной и под полом, и во всех четырех углах нового дома.

Артельный — атаман, глава артели, выборный по общему согласию, он на работе уставщик, и указчик, дома — экономай, закупающий провизию, следовательно ему за топор и рубанок братья уже решительно некогда, если только не приспичит задор и похвальба перед насмешками бойких паевщиков. Он ставит треугольник, прилаживает равновесок — гирьку, щелкает на меленной ниткой и отвечает перед подрядчиком за всякий кривой косяк, за всякую выпятившуюся половицу, за неровный бут и настилку. В праздник плотники, сверх артельной водки, любят побаловать себя и сверхсыта: день гулевой, и залишные деньги случаются, а добрый благоприятель под рукой. Плотники никогда не напиваются в одиночку, но опять-таки всегда артелью, хотя иногда меньшим числом и объемом. И потому куча пьяных, ругающихся перед кабаком мужиков всегда и непременно из одной какой-нибудь ближней артели плотников. Они всегда толкуются и считаются между собой, упрекая себя только в том разве, что один отказался раз распить с ним косушку, другой — хотел его обидеть, но когда и за что? — неизвестно

От них не услышите брани на хозяев, без чего ни за что не обойдется пьяный маляр, портной, сапожник... Эти не прочь задеть и обидеть встречного; плотник никогда не решится на это: он или орет в полпивной, или, налаживая нескладную песню, ковыляет по панели на

свои нары и таким образом спит всегда дома, и никогда не ночует в части. Если бы и случился такой грех, что один, отшатнувшись от компании, попал в ночлег на съезжую, то артель не замедлит отрядить на хлопоты... Артель этого не терпит, в артели каждый работник дорог, и в рабочую пору ежедневно нужен.

Каждый почти год артель принимает новых паевщиков, отпускает старых, но всегда верная старине, живет одним толком, тесно и неразрывно. Нередко случались такие годы, что подрядчики не нуждались в целой артели и хотели брать поодиночке: артель не соглашалась, приходила на биржу, решаясь даже на поденную, ломовую работу, но и тут: «бери их всех, порознь не пойдут — не с руки!» Бывало и так, что целая артель сговаривалась, садилась на чугунок и брела в разные стороны, на родные полати и в закутье, если не спорилась им работа в столице целой артелью. Одним словом, артель крепко держится и старается быть верною родным, заветным поговоркам, что «один и в доме бедует, а семеро и в поле воюют», «две головни и в поле курятся, а одна и на шестке гаснет» — да, вероятно, и сами поговорки эти родились в артели, хотя, может статья, и не плотничьей.

Петра Артемьева, записавшегося в галицкую артель, теперь уже трудно отличить в ряду остальных рабочих: он или засел внутри дома на потолочный брус и, мурлыкая себе под нос деревенскую песню, тупает топором по брусу, или прилаживает доску к забору и сглаживает ее рубанком, если доска эта приходится клином и забор просвечивает. Петр Артемьев еще добросовестен в работе, по деревенским обычаям, где делают хорошо и плотно, и не привык (но скоро привыкнет, по неизменному закону природы) к петербургским работам на «авось, небось, да как-нибудь». Может быть, даже он послан подрядчиком и на Неву — сваи вбивать, и все-таки его трудно отличить в той толпе, которую не в

редкость видеть петербургскому жителю, гуляющему по набережным.

Толпа этих рабочих мужиков ухватилась дружно за длинные концы веревок, привязанных к огромному рычагу. Толпа эта несколько времени стоит молча, как бы собираясь с духом и выжидая сигнала — и вот из середины ее раздался бойкий звонкий голос запевалы, и вся рабочая сила, дружно подхватив на первом же почти слове следующий громкий припевок, оглашает широкую, черную поверхность Невы:

Чтой-то свая наша стала?
— Закоперщика не стало.
Эх, ребята, собирайся,
За веревочку хватайся!
Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зеленая, сама пойдет,
Ухнем!!!
Ух! ух! ух!

Немедленно, вслед за песней, раздается звяканье толстой цепи, и огромный молот падает несколько раз на сваю, далеко углубляя ее в рыхлую болотистую землю.

Стоит только прислушаться к переливам этой песни, чтоб безошибочно решить, что песня эта принесена сюда с Волги, что она сродни с «Вниз по матушке по Волге», но далеко не имеет ничего общего с плаксивой петербургской песней:

Как на матушке, на Неве-реке,
На Васильевском славном острове, и проч.

Особенно доказывают это смелые переливы песни, рассчитывающие на громкое вторенье эха, которым так богаты гористые берега реки-кормилицы. Наконец, наглядное доказательство тут же, налицо: стоит только выждать, когда заговорят между собою работники, наречие которых любит букву о, переходящую даже на

букву у, и, наконец, эта певучесть со странным переносом ударений, всегда ясно отличает говор костромича от говора других соотечественников. При том же костромич не словоохотен, как будто груб в ответах с первого взгляда, но, затронутый — разговорчив и откровенен. В этом он далеко перещеголяет белотельца-ярославца.

* * *

Несколько исключительное значение Петра Артемьева в артели объяснилось вскоре. Случай к тому был весьма прост и немногосложен: одному плотнику понадобилось написать письмо в деревню, а идти в полпивную, где уже почти всегда сидел присяжный писака, не хотелось.

— Да и рожон бы ему острый! — говорит плотник. — Без пары пива не садится, да еще гривенник дай, а то не запечатает и не напишет, куды письму идти следно.

Петр Артемьев вызвался помочь горю.

— И впрямь, Петруха, садись-ко! Эдак-то мы к тому чихирнику-то и ходить не станем. Садись: я тебе пятачок дам.

— За что пятачок? — я и так, даром.

— За что даром: даром-то сам, брат Петруха, знаешь, — и чирей, слышь, не садится.

Представилось маленькое затруднение: у писца не было ни чернил, ни пера, ни бумаги, но проситель нашелся лучше его: доставши шапку, он пошел по всем собирать на артельные чернила и чернильницу, перья и бумагу. Складчина по копейке серебром с брата, — материал готов, и к тому же артельный.

С этих пор у Петрухи неожиданно-негаданно явилась другая работа и лишняя копейка, которою он успел рассчитаться начисто долгами с артельным. Все потянулись к нему с просьбами, до бесконечности разнообразными и оригинальными.

Один пришел к нему и бойко начал:

— Ну-ко, Петруха, садись! и напиши ты мне, братец ты мой, — такую грамотку, чтобы затылки все в кровь расчесали...

— Что же так больно страшно?

— А вот видишь ты, разумный человек: хозяйка у меня молодая, дома-то две зимы не был — обрадовалась, и дошли до меня, к примеру, эти самые слухи, что она, примерно, баловать стала. Накажи, Петруха, обругай ее: я, мол, крепко сердчаю и так, мол, что приду на зиму — дом вверх ногами поставлю. Вишь, там на станциях нынче писарей завели, а дорога-то по нашей деревне напрорез пошла, а ребята-то все холостые, — что волки, значит.

Петруха, сколько мог, удовлетворил желанию.

— Да ты бы завертки-то покрепче... эдак, чтобы жарко было, чтобы так всех в слезы и положить: пусть измываются.

— Нельзя же ведь так в письме-то, как говоришь: так ведь не напишешь, не выйдет...

— Ну, ты лучше знаешь: твое дело грамотное, а мы вахлаки: всяко-то по твоему не разумеем. Слышь!.. хошь напою пивом, али-бо водки куплю?

— Нет, спасибо: знаешь — не принимаю.

— То-то, паря, дуришь! Не по-нашему, неподходяще ты делаешь. Ну, так считай: за мной гривенник; грамотку-то ловко настрочил. Молодец ты, брат, у нас, Петруха! золото, серебро. Братцы, кто хочет письма писать, ступайте: Петруха с пером сидит.

— И впрямь, Петруха, напиши-ко зауряд уж и мне.

— Сказывай, как надо.

Петруха, при последних словах, обыкновенно насто-роживал уши, выслушивал бестолковую, отрывистую болтовню, из которой привык составлять нечто толковое, знакомясь таким образом с семейными тайнами каждого товарища, у которых не было на это завету.

— Пиши по-первоначально поклоны: батюшке, матери, дяде Демиду, тетке Офимье, ребятенкам: Гришутке, Параньке...

— Ну, да как следует, ведь уж знамо. Сказывай имена-то только, да какая родня кто, потому и писать станем: коли теперича отец, либо брат, то низкие поклоны с почтением, а ребятенкам и жене родительское благословение навеки нерушимо, и опять — низко кланяюсь.

— Ну, ну, ну, так-так! Экой, свет, толковой! А потом пиши, братец ты мой, что вот, мол, посылаю деньги, мол, посылаю... на оброшное. А останки поделите: рубль жене на платки, да батюшке с матушкой; а повремените маленько время спустя — еще вышлю.

Петруха уже давно писал, до подробности зная остальную историю на подобные письма. У него в голове давно уже сложилась форма, и не осмелится он изменить ее до конца жизни, как не изменили и прежде бывшие писцы, от которых досталась она ему по наследству, вместе с грамотностью. Несколько затрудняли его на первых порах неожиданности, вроде первой, но и к тем он привык, стараясь передавать их прямо целиком, со слов, для большего вразумления домашним.

Скоро по всему дому разнесся слух, что в плотницкой артели завелся писарь, что всякие письма пишет и дешево берет, а в добрый час попадешь — и даром настроит. К Петрухе с просьбами о письмах стали ходить и посторонние лица. Приходила кухарка:

— Пиши в деревню, к моему соколу ясному Кузе, что, мол, крепко люблю и обнимаю и по гроб в верности нелицемерной пребуду, а мне здесь по тебе больно тошно. Да пожалостней, голубчик, напиши.

И кухарка пропела ему последнюю фразу. Но не угодил писец заказчице, прочитавши своим обыкновенным тоном...

— Пожалостней бы ты: эдак неладно! — толковала бестолковая баба. — Пожалостней-то, как я говорила...

— Ну, да так и выйдет! иначе нельзя... пером-то... — вразумлял он бестолковую.

— Ладно, уж коли и так запечатай. А я тебе ужю пирог занесу.

Приходила и горничная, — и, стыдясь компании, закрывалась рукавом под градом доморощенных острот, и убегала, и опять приходила, чтоб вызвать грамотея на лестницу.

— Ваши-то улягутся, напиши мне, да не смейся, не стыди при всех, не показывай.

— Вам как, по какому?

— Да по такому, что... да ты смеяться будешь, я убегу!

— Зачем бежать? сказывайте — всяко, значит, можем.

— Мне вот как... Да нет, не скажу: смеяться станете — стыдно! Я уж из полпивной вызову: тот мне всегда писал — знает.

— Сказывайте, как надо, по тому и напишем, а зачем смеяться? — не краденые с вами. А наши ребята так только... с полдурья. Вишь, делать-то нечего — ну, и ржут.

— Вы напишите; что так как, мол, киятр сегодня, представления, то господу едут, а мы дома с Глашей. Выходите — под воротами будем в ожидании зренья: ну, как там сам знаешь.

— То-ись это приходи, значит, а мы тут. Так, ничего можем!.. а как зовут?

— Нет, уж этого не скажу.

— Да ведь так-то нельзя. Кому пишешь — не знаешь. Эдак не толк: без имени, по-нашему, — по-деревенски, и овца баран.

— Я сама знаю и там знают. Отдадим.

— Ну, ладно — пожалуй и без имя.

— Я через часок зайду, постучу в дверь, а вы и выходите.

— Да коли услышу. Вы уж так бы вошли: ребята наши смирные — ничего... ладно, приходи!

Петруха сел к столу и принялся за писанье.

— Что, али востроглазой-то той строчишь? Что велела?

— Приходи, слышь, под-ворота. А кому писать, не сказала?

— Ишь ты! ну, да не сказала — тебя испугалась.

— Чего меня пугаться-то?

— Ну, чего: может, прибить захочешь того-то?

— За что прибить? — не за что.

— Ну, да ведь, брат, девка-то и!.. огонь! Эких-то, брат, в нашем доме мало. Холостой, ведь, ты, черт! что козлы-то ставишь, без пути-то?

— Я не такой: я смирной.

— Ну, да ври-ври: пальца-то не клади тебе в рот. Знаем, ведь, как ты козыряешь.

— Нету, я смирной.

— Как, паря, не смирной! Пиши-ко, пиши: зайдет, ведь поцелует.

Действительно, вместо поцелуя, Петруха получил какую-то серебряную монету, которую не разглядел впотьмах. При расплате девушка прибавила, однако: «Примите от моих трудов, сколько могу». Петруха отвалил грубое, неизменное «спасибо» своим резким, топорным голосом, который был везде кстати, но тут, что тупой звук в пустой бочке.

Между тем, новое ремесло его получало широкие размеры и дальнейший ход, породив даже некоторое количество врагов, в лице домового лавочника и завсегда полпивной.

Лавочник, впрочем, скоро успокоился, утешив себя тем, что не всегда имел для того свободное время, но завсегда — сказывали плотники, наведывавшиеся в полпивную — хотел поколотить Петруху, и только откладывал: из боязни ли мщения артели, или выжидал явления врага в месте его ежедневных заседаний, где

предоставлялось более удобств. Но, к несчастью его, Петр Артемьев еще долго не ходил в полпивную, не ходил до тех пор, пока в жизни его не совершился крутой и неожиданный переворот.

IV. СТОЛИЦА

Петруха по праздникам писал письма; по будням ходил на работы тятать топором и строгать рубанком; в свободные минуты выходил зевать на диковинный город, присоединяя свои остроты к замечаниям других зевак. Товарищи его, верные заруку и нелюбознательные, выходили только в ближайший питейный. Все, одним словом, шло тем же порядком, как и прежде, в течение всего лета. Наступала осень: Петрухе мечталась уже родная деревня, куда он въедет питерщиком, с громом бубенцов и с неистовыми криками Никиты, присяжного ямщика ближнего села, который уже всегда принимал пеших питерщиков на свою тройку и бойко разносил их по окрестным деревням.

Мечталась Петрухе радость болезной матери, оханье и хлопанье по бедрам обрадованного старика отца: молчаливого, тихого, но сильно чувствующего и всеми помыслами привязанного к родной семье.

Петруха снимает бараний тулуп, синюю праздничную сибирку, которую только что сшил перед отъездом, и очутился в красной рубахе-астраханке и плисовых шароварах. Родные охают, бабы начинают ощупывать и смекать доброту и плиса и астраханки.

Петруха торжествует, весело ухмыляется и отставляет ногу. Отец гладит его вдоль спины и называет кормильцем, радельником, сердцем. Питерщику любо, так любо, как еще никогда в жизни не удавалось испытывать. По сердцу масло плывет, тело щекотят мурашки; глаза чуть не под лоб закатываются. Он не знает, кого

обнять прежде, кого приласкать: отца или мать. И медлит, и все ухмыляется.

Полез он за пазуху, — и медленно вынимает оттуда новый кожаный кошелек с изображением, которое объясняется нижнею подписью так: «Наварицкая огненная баталия и корабли горят». Петруха развязывает кошелек, при общем молчании подхватившихся локотком баб и отца, и вынимает оттуда ровно две красненьких, которые уберег посреди всех соблазнов столичной жизни. Вручает их отцу молча, с низким поклоном: «Тут, говорит и оброшное и государево, за вас и за тебя... и за всех!..», и видит опять слезы, и слышит оханье, и опять его гладят и вдоль спины, и по голове, и по плечам.

— Спасибо, говорят родные, спасибо, радельник! отец ты наш родной. По твоей милости и на твои кровные денежки мы и баню новую выстроили, и на повете накат новой настлали, и за твое доброе здоровьице два молебна, кормилец наш Петрушенька, отпели.

— Вам спасибо! — говорит Петруха: — а я ведь сын.

— Да уж и сын-то какой, кормилец ты наш, на редкость. Экова-то у нас и отродясь не бывало. Пошли-ко тебе, Господи, милости Божьей, да Казанская Матушка.

Парень кланяется в пояс и садится за стол, с приговорами матери:

— Не ждали мы экой радости сегодня, не чаяли. Ты уж, серцонько, не обессудь: мы тебе и не состряпали ничего: почечек-то твоих любимых. Яишенку-глазунью — коли хошь — так сейчас бабы справят.

— Благодарим на угощеньи, благодарим! Признательно, и еда-то в голову нейдет — ни к чему бы и не прикладывался: больно, вишь, радостно, любо таково!

— Ну, да как, петушок ты наш, не радостно: ведь отца с матерью увидал.

Петруха стал подарки раздавать: отцу шапку теплую; матери — платок шелковый; бабам — которой колечко, которой бусы. Не забыл даже и племянников: и им привез по свистульке.

— Ну, а Паранюшке привез ли что? — спрашивала мать. — Кажинный день, кормилец мой, шастает в избу. Когда, слышь, ваш-от приедет, обручельник-то мой, и колечко твое показывала, что из Питера-то ей выслал.

— Не высылал я ей никакого колечка из Питера.

— Ну, да что маяться-то, Петрованушко? — заговорил сам отец. — Коли есть любовь — так по миру да по согласию, — с Богом, да со Христом. Я сам, коли хошь, и сватом пойду: дядю в отцы посажённые попросим.

— Хорошо, батюшко, хорошо. Ладно бы, больно бы ладно: затем почесть и приехал-то.

В воображении Петра Артемьева сначала все перепуталось, но опять замелькали новые образы с другой обстановкой:

Стоит он среди избы; мать с гребнем стоит подле; а обоих их обступили девки и поют знакомую песню: «как Петруне мати голову чесала, под венец свою милова снаряжала». Одевает его дружка в ту же сибирку, какую привез из Питера, и творит приговоры по-своему. Снарядивши парня, благословляют его образом и сажают в сани; отец и мать остаются дома; с женихом едут отец и мать и посаженные, и едут прямо в село, и шибко едут: колокольцы и шоркунцы стон поднимают. Сторонятся прохожие и кланяются, — желают: «счастливого пути, законного брака!» Дружка творит свое дело: останавливает поезд чуть не на каждом перекрестке: то у него построжки оборвались, гужи перетерло, связать надо. И поит всех поезжан вином и глумится над женихом: «Что и близок-де локоть, да не укусишь!» И несет чарку мимо, другим поезжанам. То у дружки под ложечкой закололо — смазать надо, то у одного из поезжан бородища с чего-то загорелась — тушить надо, то между встречными прохожими колдун идет и оговоры нашептывает, а тогда совсем будет худо: и вместо лошадей на медведях поедут, да и не на село, а в лес, и изба повернется задом — ворот не найдешь, и вместо

яств всяких одни черепья, да уголья каленые будут: опять надо остановить поезд и кланяться встречным, потчевать их вином, чтобы не кляли поезд, а желали бы молодым миру, да согласья.

Но вот Петруха в церкви, рядом с молодой, вырядившейся в штофную, на заячьем меху, душегрейку, с синим платком, вышитым золотом, что привез он ей из Питера. Петруха с Паранькой уже за столом сидят, как бы и муж с женой, новобрачные, и подслащивают своими частыми поцелуями горечь водки.

Дружке в складных приговорах горло захватывает, сваха так и носится с подносом, и сшибает с ног всякого встречного: свадьба идет на славу. Поезжане не нахвалятся: и угощением, и вином, и молодыми. Все идет по чину, весело, шумно...

Молодых выводят из-за стола и велят по три раза кланяться в ноги родителям, просить их благословения на начин, а поезжан велят благодарить за почет, за внимание. Сваха ухватила молодых под руки, поместившись сама в серединку, и повела их в клеть... Петрухе любо...

— Ты, что ли, Петр Артемьев Сычов? Эй! — раздался над ухом мечтателя резкий и грубый голос.

Петруха опомнился. Перед ним человек в светлом колпаке и с сумкой на боку, а сам он в нарах, в артельной, и начал было призабываться, дремать.

С трудом он оправился, протер глаза: опять взглянул на почтальона, — и увидал усы, колпак, сумку, письмо.

Почтальон повторил вопрос.

— Я Петр Артемьев Сычов! — отозвался Петруха.

— Тебе письмо из деревни, давай скорей три копейки; мне ведь тут растабарывать-то некогда.

Петруха поспешил исполнить приказание.

Почтальон обратился уже не прямо к нему, а ко всей артели:

— Вашего брата, плотника, всего хуже отыскивать : в одном доме живет три артели. Пришел в одну: «Здесь, мол, Петр Артемьев Сычев?» — «Нет, говорят, не слышать такого. У нас, говорят, тверская артель: вон не в той ли?» И в ту пришел — так нет, вишь: мышкинская, ярославская. И тут нет, кого мне надо: насили добрался...

— Наша костромская, галицкая...

— Теперь-то знаю, буду помнить: я ведь недавно еще в ваших местах.

— Так. Приходи, приноси прямо! Мы все здесь костромские, — других не пуцаем.

— Да и адрес-то пишут грамотеи ваши...

— Захотел ты от наших грамотеев!

— Разбираешь-разбираешь, не найдешь толку, так и бросаешь.

— Зачем бросать, не надо бросать!.. для ча бросать?..

Во время этих растабарываний Петр Артемьев успел осмотреть письмо со всех сторон и нашел в нем все в порядке: по обыкновению всех деревенских писем оно было страшно засалено; адрес написан слепо: «отдать сие письмо в Сан-Питербух галецкому плотнику Петру Артемьичу по батюшкину отзыву Сычеву; весьма нужное из деревни Судомойки». Запечатано было письмо, также по обыкновению, кабацким сургучом, который отстал в некоторых местах и вообще плохо прилип к бумаге. Вместо печати оттиснут был медный грош орлом.

Петр Артемьев открыл, начал читать, по обыкновению, вслух, потому что нашлось несколько слушателей, и все нашел по обыкновению исправно: письмо начиналось поклонами от родных. Отец только не посылал своего родительского благословения навеки нерушимого.

— Опять, стало, дьячок Изосим писал: завсегда, шальной, кого-нибудь пропустит. Така шабала! — решил Петруха и продолжал читать дальше.

На целом полулисте рябили имена и низкие, земные поклоны с почтением и желаниями на многия лета здравствовать. Но вот пошла настоящая суть: «При сем письме уведомляю я тебя, сын мой, любезный Петрованушко, что горе у нас в семье: родитель ваш на Оспожин-день приказал долго жить, а мы и ума не приложим. Ходил по реке, да в прорубь провалился во хмелю, и изломало всего, а перед смертью тебе родительское благословение свое навеки нерушимое посылал и домой велел идти, а мне, сироте, даром по крестьянству жить не сходно, а с бабами не сладишь и вы домой приезжайте. А по сие письмо остаемся» и проч.

— Эх, брат Петруха, не было печали, да, знать, черти накачали!

Худо дело по крестьянству, коли бабы домом править учнут...

— Иди домой, Петруха: одна дорога!

— Вот поди ты тут: живешь — и ничего, а придет эко место, что с дубу...

— Бабы весь дом разнесут, по ветру развеют.

— Иди, Петруха, домой: артельный пособит.

— Иди домой, не откладывай! — сыпались советы на оторопевшего, обезумевшего парня.

— А стар отец-от был? Петруха, а Петруха! стар батько-то был?

— Какое стар? Пожил бы, кабы Божья власть.

— Эка, братцы мои, причина.

— Петруха, слышь-ко! а братья-то есть у тебя?

— Какое братья? Один как перст.

— Эка, братцы мои, какое поущение! Эка, братцы мои, какое горе!

— Господские али государственные?

— Господские!.. барина Бардадымова.

— Эка, братцы мои, горе: не слышали бы уши!..

— Деньги-то есть у тебя зарушные-то: не давали вперед-от?

— Кажись, ровно бы есть...

— А колькой тебе год?

— Жена-то есть, али холостяга?

— Ребятишек-то завел, али еще не успел?

— Отстаньте, ребята, тошно: не слыхал бы! Такая дурь в голову полезла — утопился бы! — мог только вскричать Петруха тем отчаянным голосом, который озадачивает толпу, приводит ее в содрогание, жалость и мгновенно разгоняет по сторонам.

Это — крик безнадежно утопающего в самой глубине омута, когда несчастный в последний раз высывается из воды, собирая оставшиеся силы, как бы для того только, чтобы крикнуть и замолчать навеки. Крик этот заставит дрогнуть мимо идущего путника, перекреститься, — и невольно толкает его в воду за дорогой, родной душой человека.

Крик, подобный этому, слышится и на тех несчастных пожарищах, где горят доспавшиеся до роковой минуты погибели. Опомнившись, с ужасом видят они реки пламени: и нет другого выхода, кроме огня, кругом огня. Кричат несчастные, оторопелые, растерявшиеся — и благоговейно крестятся все живые, слышавшие этот крик, и едва ли не у всех проступают слезы, и едва ли не все бессознательно, как бы толкнутые кем-то сзади, бегут ближе к пламени. Но в это время рушатся обгорелые стропила, за ними потолок и крыша, а с ними и все надежды на спасение. Толпа отскакивает назад, сторонится, как бы еще выжидая среди себя погоревших. Некоторые бросаются к воде, другие снимают армяки и держат их наготове, — но нет несчастной жертвы — она сгорела!

— Господи!.. святые отцы!.. мать — Пресвятая Богородица!.. упокой их в царствии своем!..

— Кузнецова старуха — болезная, хворая — семей десяток доживала...

— Кричите соцкого!.. бегите к становому! — раздаются новые крики, но имеющие уже не тот смысл и силу, как прежний.

Не спит человек, отбивается от еды, от работы, от веселого ласкового слова при подобных известиях, и сам не свой, и люди не те, и все как будто новое: такое спокойное, безмятежное, на пушную горечь и даже досаду.

Петр Артемьев и письма отказался писать, и перестал шутить (даже говорил редко). Работу обязательную и подневольную исполнял вовсе вяло, и заметили это товарищи.

— Ишь, маешься-то: полно, брось! Ложись-ко вот тут в уголок, я тебе армяк подстелю, а свой-то в голову положи. Сосни часом — полегчает. Полно!

— А шел бы ты, Петруха, по мне в деревню: все бы, кажись, лучше.

— Что мне деревня? — думал и говорил Петруха товарищам. — Не пойду в деревню: незачем. Мать в горе, невестка — чужой человек, с ветру; дядя толковым таким смотрит — не уважит... Не пойду я в деревню! да и с чем? — деньги-то все выбрал, да домой переслал, а на пяточки-то с писем не разгуляешься — дорога дюже далека: не осилишь сиротством-то. Не пойду в деревню, хоть колья берите.

— Да больно ведь тебя, парень, перекосило-то: на себя-то ведь ты, Петруха, не похож.

— Пооглядится — пройдет! И все ведь так по началу-то; я знаю... Эдак-то тоже у меня отец-от помер; и на глазах еще, братцы! Ну, и давай с бабами зауряд реветь. А на другой день встал: «да что, мол, это я: подряд, что ли, снял? почему, мол, с пуда... слезы-то? борогато, мол, с ворота, а ума с накопыльник не вынесла!» Право, братцы, так: застыдился и перестал реветь. Заберет эдак при бабах-то — и побежишь на поветь, али-бо в сени и ничего, — и опять в избу лезешь. А там гроб стал сколачивать, на саван холста отмерил и в гроб уложил, и омыли, а не ревел — право слово!

Да вот уж когда больно жутко подошло: как спустили мы это гроб с батюшкой; поп Иван с дьячком землицы кинули, и я сгреб в кулак... Тут перво-наперво защемило. Ухватил я лопату-то (сам и могилу, братцы, копал): дай-ко, мол, загребать стану. Тут вдругоряд, братцы, защемило, и таково-то больно: так кровью и обдаст и обольет разом, да опять — слышите — да опять, знаешь, обольет... сердце-то: «отца ведь, мол, родного засыпаешь, родимого; вспоил он тебя, вскормил, на разум направил...» А сердце-то так обольет, так и ошпарит горячим. Держусь, креплюсь: голова в круги пошла, а тут как звякнул бабы, да всем миром, да всей деревней, да на унос, да на разные лады... и, Господи!.. Как стоял: бросил лопату, да за бабами в слезы, ручьем. Пришла было блажь: дай-ко, мол, лягу наземь, да покатаюсь; народ подсобит — подымет. И хотел было: да нет, мол, осмеют холостые ребята, скажут после, что Мартын-де словно жеребец сначала ржал-ржал, да как хватится оземь и учал кататься и учал... и ногами дрыгает... Так и не лег, а проплакался, да и с кону долой! Вот я как! Да и на глазах помер отец-от, а то за глазами!.. Да за глазами-то бы я, кажись, не то что, — а...

— Ну, не говори, Мартын, что дурости-то плетешь? не путем. Не как ты... смехом, ведь... сын да отец одна полоса мяса. Что Бога-то гневить? сам ведь сказывал, что ревел, ну? Эка, ведь, у нас язык-то мелет, что не разумеет; а замков-то не догадались привесить. Отстань!.. Не люблю я тебя за это. Шутил бы ты, знал, другие какие шутки, да не такие...

К зиме — поздней осенью — галицкая артель вся разбрелась по домам, чтобы к весне опять сойтись вместе на летних работах.

Петр Артемьев не пошел в свою деревню, как ни уговаривали товарищи. Домашним наказал сказать, «что не пошел-де оттого, что не на что; деньги все по-высылал в деревню, а ищет места теперь — и, если поправится, — прийти не преминет: ждали бы».

Оставшись без артели, Петр Артемьев, окончательно упал духом; у него еще больше захолонуло сердце: как быть и чем жить? — брюхо-злодей старого добра не помнит, а Петербург такой город, где не дадут даром куска хлеба. Всюду народ трудящийся, всюду зашибающий копейку, и весь город, кажется, на том стоит, чтобы зашибать эту трудовую копейку, проживать ее и с усиленным трудом сберечь на черный день одни только остатки, поскрёбыши. Рабочего народа много в столице, так много, что и приткнуться негде, особенно отбившегося от своего ремесла и отыскивающего такого, где бы не много нужно было толку: было бы только терпение и маленькая сноровка. Таких мест и для простого человека много найдется в столице, но везде и всегда — неизбежно нужны знакомства, своего рода протекция и покровительство, а где найти последние Петру Артемьеву — плотнику, для которого до сих пор весь мир сходилась клином в его артельной квартире и на работе? Раньше позаботиться пристроить себя он, по общему русскому толку, не догадался. Хлопал себя по бокам и крутил головою в безнадежности, уже в то время, когда бедность, вопиющая бедность, повисла на воротах и грозила еще горшим горем.

Сунулся бы он и к тому и другому, ухватился бы и за несподручное ремесло, но кругом холодно, неприветливо, тоска и опять безнадежность. А между тем деревенские сцены, одна другой сумрачнее и неутешительнее, мелькали в его воображении, не давая почти покою: мать его бранит, коряет невестки, одна чуть не кидается драться... Племянники — мелкота, неразумны, баловливы, сердят бабушку, и та встает поутру, обливаясь слезами, и ложится спать с теми же горькими рыданиями, которые так знакомы и так давно возмущают сына. А там подходит подушное, оброк, починки, перестройки... Денег нет, а матери хочется и крестов на средокрестной неделе напечь и жаворонков, из теста же, поест в день Сорока Мучеников.

Следом уже за этими воспоминаниями проходят такие минуты, когда Петр Артемьев бежал бы, летел бы по ветру на родные места и выплакал бы там свое горе; но минуты эти разлетались быстро перед сухой, голой действительностью. У Петра Артемьева в кармане остался один какой-нибудь полтинник, но нужда уж и его высасывала по копейкам.

Во всяком деле важен случай, этот толчок, который иногда бывает спасителен; случайно попадаются в беду — случаем же и искупаются от нее. Между тем, давно уже ходят по свету две пословицы, едва ли не более всех других разумные и справедливые: по одной утешаются горемыки тем, что мир не без добрых людей, а по другой: не было примеру, чтоб на нашей земле кто-либо умирал с голоду.

Дворник того дома, где жила галицкая артель — и которого Петр Артемьев раз одолжал письмецом, однажды как-то к слову и без умыслу сообщил интересную новость, что вчера вечером дворники соседнего дома сотворили такой запой на целый день, что все квартиры оставили без дров и воды.

— Управляющий сбеленился (прибавил дворник), начал ругать, — отобрал хозяйские сапоги и рукавицы у всех и велел приискивать новое место.

«Не пойти ли мне?» — думал Петруха.

— Рукавицы-то да сапоги я, пожалуй, и свои буду носить! — сказал он вслух и сделал.

Его приняли и через неделю дали подручного, самого его назвав старшим дворником, потому что был грамотный и на первых же порах показал изумительное прилежание: в конуру свою заходил только спать. На лестницах подымал пыль столбом и не только обметал тротуары, но даже и улицу каждый день, раза по три.

Старание его обратило даже на себя внимание местного городского, который вытребовал к себе Петра Артемьева, похвалил, узнал его имя, число лет и попросил понюхать табачку. Одним словом, дела нового дворника

шли блистательно: он раза по четыре на дню надоедал переехавшему жильцу, требуя контрамарки и говоря, что господину ничего, но что он один за это ответчик.

Отпирая ворота ночью жильцам, приходившим поздно, он не ругался, не ворчал им вслед, даже не просил на другой день на водку и, только побрякивая и гремя ключами, смирно пробирался в конуру свою, где снова ложился на нары и засыпал в ту же минуту до нового звонка. Жильцы уже никогда не оставались без дров и воды. Еще с самого раннего утра он начинал лазить по черным лестницам, громко стучал в дверь и бешено звонил в колокольчики, на досаду кухарок и горничных, которые не упустили в другой раз случая отомстить ему, заставляя дожидаться. Но неутомный дворник звонил и стучал опять и гораздо сильнее прежнего: кухарки бранили его в глаза чертом, мужиком, прорвой. Дворник слушал и с ужасным громом валил на пол охапку дров, стучал ведром об ведро; получал за это уже толчки в бок и все-таки оставался верен своему долгу, который считал прежде всего. Самых сердитых кухарок он, в свою очередь, наказывал тем, что лазил и стучал к ним прежде всех — и все шло своим чередом. Петр Артемьев, казалось даже, и душевно успокоился: он шутил, острил, калякал с новыми знакомыми, круг которых с каждым днем расширялся все больше и больше. С одним из соседних дворников у него даже завелись интимные отношения, нечто похожее на дружбу: приятели сходились в своих конурах. Другой дворник закуривал трубочку, которая вскоре соблазнила и Петруху. Он сначала попросил дать попробовать, закашлялся, назвал зельем, потом попросил другой раз попробовать и вскоре сам завелся этим инструментом и угощал приятеля уже своим табаком. К услугам последнего была во всякое время готова балалайка, слабость и пристрастие к которой Петруха привез еще из деревни и лелеял ее даже в плотничьей артели. Приятели сходились каждый день раза по два,

по три; наслаждались поочередно трубочкой, тренькали на балалайке, кое о чем молчали и расходились до нового и скорого свидания.

Петруха раз попробовал сообщить приятелю о своем несчастье и нашел в последнем человека, не только понимающего это, но готового страдать вместе с ним: приятель даже, во время этих разговоров, и за балалайку не брался, а с каким-то остервенением начинал курить табак, так что сам же спешил встать и отворить дверь в подворота.

По праздникам случалось так, что приятели складывались по четыре копейки и шли в ближайшую белую харчевню чай пить, иногда покупали при этом у входа сайку и ели ее, размявши на блюдечке в тюрю.

Дружба обоих соседей скреплялась все более и более и стала заметна глазам посторонних, которые часто выговаривали им таким образом:

— Эка, посмотреть, у вас сожительство какое, словно собаки... али бо братья-двойни: завсегда вместе, ровно колдун вас какой обошел наговорами.

Петр Артемьев был прав в этом деле: ему нужно было такого слушателя, которому он бы мог выплакивать свое горе и безделье, а тот, вероятно, любил послушать, уважал компанство и сам был не прочь тоже поплакаться на свое горе.

Без горя русский человек не обходится, он редко когда-либо чем бывает доволен. Так и у этих друзей: то собаку из дворницкой сманили и убили фурманщики, то топор соскочил с топорница, и хорошо еще, что не попал по ноге, то одно ведро расплескалось до половины на самом верхнем пятом этаже, то вот табаку бы купить надо, так вишь, посулил жилец на водку, да не дал, а напомнить не соберешься с духом, и проч. и проч.

Раз толковали таким образом приятели в Петровой конурке, по обыкновению скромно, изредка потрннькивая на балалайке. Отворилась дверь. В нее быстро прорвался дым табачный и духота, из мрака которых на

лесенке показалась неуклюжая фигура деревенского парня. Петр Артемьев быстро схватился со своего места и по долгу спросил:

— Кого надо?

— Али не признал, Петруха: взглядишь-ко!..

— Батюшки! Луканька Кузнецов... Здоров ли?

Земляки крепко и радушно поцеловались.

— А я, Петруха, от твоих, по наказу: велели кланяться...

— Спасибо, родной, спасибо. Садись-ко!..

Петруха засуетился; рад был земляку и соседу по избам.

— На-ко: поешь пирога, — даве управляющего кухарка, Орина, дала. Сам-то уж я и не пеку: она всегда все дает... Ну, что, родной, как там мои-то?

— Ничего — живут! — отвечал приезжий, с жадностью глотая пирог.

— Мать-то что?

— Да по миру хотела идти, и избу надумала запечатать: у батьки замок просила — дал. Невестки-то больно измывались над ней, да обе и ушли в одно утро, и ребятенков забрали своих, племянников-то твоих.

— Так, родной, так я и ждал!

Петруха всплеснул руками; сел рядом с земляком на лавку, покраснев до ушей, чувствовал, что опять все тело наполнилось жаром, который был знаком ему с рокового письма о смерти родителя.

Словоохотливый приезжий продолжал рассказы:

— Вот как это оставили бабы те: матка-то твоя к дяде: «живи (говорит тот-от) у меня!» И жила, да, знать, надоело, что ли? — кто ее знает: ушла опять в свою избу. А как стали меня обряжать-то путиной — пришла к нам, да и выпросила замок: «иду — говорит — на все четыре стороны» — и взвыла. К дяде-то твоему и не ходила, а пытали наши посылать: наведайся, мол, мужик хороший, на чести... Стало, на другой-то день, как я уехал, и матка-то твоя ушла в побирайство, не то молиться в Тотьму, али бо что... Прошли слухи, что дядя

на тебя, мол, серчал: зачем не пришел с питерщиками, и крепко, слышь, ругался...

— Да за что, Луканюшка, скажи мне; за что?..

— Знамо, не за что.

— Пошел бы, кабы деньги были.

— Знамо, бы пошел.

— Вот и теперь пошел бы, да нельзя...

— Вижу, что нельзя, сам вижу. Да ты бы, Петруха, денег-то послал.

— Да каких, Луканюшка, откуда деньги-то: из боку, што ли, вырезать?

— Знамо, не из боку. Ишь ты, братец мой!..

Приезжий соболезнавал сильно: крутил головой, жал плечами, разводил руками, чмокал языком...

— А ты-то в какие сюда пришел? — счел за нужное спросить и нарушить воцарившееся молчание приятель Петрухи.

— Да мы по письму; завтра приходите велели совсем: мы печники.

— Петрухе-то родня, али нет?

— Нет, не родня, а из одной деревни: и избы-то наискось.

— Эка, неладное дело какое: будь оно пусто! — рассудил вслух Петруха, при общем молчании и довольно тихо, как бы в бреду. — Шубенку продать — не дадут много; управляющий не уделит вперед — намнясь отказал. Эка, неладное дело какое! Не красть же, не воровать. Грех воровать, лучше так обойдусь. Эка неладно это все как пошло — словно ждали, словно нельзя лучше-то! Хоть бы не сказывал!..

— Да уж это дело такое Петруха! — утешал его приятель. — Накрыло тебя это горе самое шапкой, что ли, и пошло жать, шапку-то на плечи надвигать. Так все к одному и пойдет. И пойдет это горе-то самое, и начнет нажимать шапкой-то...

Приятель, при этом, счел за нужное, для большего вразумления, нажимать кулак и стучать им по столу.

— Завсегда так! — и от себя прибавил приезжий.

— Да не надо! — закричал Петруха. — Не надо нажимать-то: больно ведь. И так больно от прежнего осталось. Ишь ты, неладное дело какое! Хоть лоб ты взрежь, ничего не придумаю — и таков-то... Эко Божие попущение какое! смерть...

— И то тебе сказать, Петруха, — начал опять утешитель. — Сказано: тугой поля не изъездишь — нудой моря не переплывешь... Сколько раз говорил: «выпей!»

— Отстань ты — «выпей»!.. С чего стану — ни разу не пил, не знаю, как и приступиться-то.

— Да ты только попробуй! Эдак-то и я — затащили: пей; поморщился: горько, а другую-то и сам попросил. В водке-то ведь скус: легко таково. Ругай тебя — и не сердись; еще сам норовишь кого бы облаять. Выпей!..

— Горько, черт! как выпьешь-то: ни разу не пил.

— Выпей и есть, Петруха! — со своей стороны присоединил приезжий. — Что ломаться-то? хуже ведь будет, все хуже; а выпьешь — лучше...

— Нет, не лучше: и так горько, а тут еще горечь.

— Сладко будет, Петруха, говорил ведь. Попробуй!

— Отстаньте, братцы, не стану.

Петр Артемьев повалился на постель и не послушался на этот раз приятелей: все же мысль о вине, облегчающем горе, запала ему в голову, навела на раздумье и постепенно наталкивала на решимость.

Он уже вскоре рассуждал так:

— А что и есть, — отчего не попробовать? не сдуру же говорят ребята. Не какой грех вино — пьют же всяко и все. Вон и в артели все пьют. Дома только не надо пить, а в Питере можно — отчего нельзя? При отце нельзя, да при дяде, а тут можно — не кой грех: не сдуру же пристали ребята. Все пьют. Только пьяным не напивайся, а ломовому человеку, говорят, на здоровье: кровь крепит, сон слаще.

Петруха припоминал все, что когда-либо удавалось ему слышать в пользу вина, и сильно поколебался в своих убеждениях: он даже сосчитал свои наличные деньги, припомнил, что водки можно купить порядочное количество на трехгривенный с пятаком, а на два двугривенных и с закуской даже. Он даже улыбнулся, проверив свои деньги и найдя количество их удовлетворительно-достаточным, а когда увидел приятеля, то сам уже с ним и начал разговор:

— О вине ты вечор толковал: да боюсь — горько — опешит.

— Кое опешит? попробуй: на первую пору только горчит, а там войдешь во вкус.

— Эка неладное дело какое! — продолжал между тем опять рассуждать про себя Петр Артемьев. — Спишь — сны страшные грезятся, одолели! Мать нищенкой ходит; батюшка помер... опять же дядя. Пойдем, паря, поучи, — выпьем! — вскричал он, схватившись с места, и в минуту собрался, так что едва успел опомниться его приятель-наставник, который мог только сказать от себя одно:

— Что дело, то дело: люблю за это!

Он едва попевал за Петрухой.

Перед дверями питейного последний опять было поколебался:

— Али уж оставить? Неладно, кажись, не так.

— Ну, толковать еще стал.

Приятель ухватил его под руки в намерении тащить в дверь...

— Ступайте, братцы, ступайте: внидите и угоститесь: там благо! Да скорее ступайте — не теряйте златого времени! — заметил им оборванный господин, отпавлявшийся по тому же направлению.

Приятель Петрухи еще сильнее уцепился за друга и еще сильнее потянул его к двери.

— Не так ли, полно? — продолжал все-таки рассуждать Петр Артемьев, упираясь в землю изо всех

своих сил. — Нет, брат, так лучше пройдет! пойдешь ты лучше выпей: на вот!

Но последние слова Петр Артемьев произнес уже в питейном — приятель его действовал решительно, и блок с визгом захлопнул за ними захватанную дверь кабака.

Петруха и там было вздумал оказывать некоторое сопротивление, но убежденный просьбами и чуть не мольбами благоприятеля, отчаянно махнул рукой, толкнул кого-то под руку (его обругали и даже ударили) и, подойдя к стойке, громко потребовал себе полштофа. Ему не отвечали. Петруха изумился и повторил вопрос.

— Порядков не знаешь! — грубо обозвал его неприветливый рязанец и повернулся спиной.

— Каких порядков? — спросил недоумевающий парень.

Не знал об них или лучше не смекнул и его приятель.

— Деньги вперед! — опять глухо и отрывисто отозвался целовальник.

Тогда-то только нашелся благоприятель и заметил Петрухе:

— Здесь завсегда вперед; без того и распечатывать не станут...

Дедновский Макар сосчитал деньги, звякнул громко сдачей, снял с полки требуемую посудину, сорвал крючком пробку набок, взболтнул полуштоф, нагнавши наверх быстро мелькнувшую пену, и поднес, чуть не толкнувши в самый нос Петрухи, посуду; поставил ее на стол; полез под стойку и так же ловко вышвырнул два стаканчика, как ловко делал все предшествовавшее. Петруха следил за всем этим и дивился порядкам.

— Наливай! — подсказал приятель.

— Пей! — просил Петруха.

— И ты пей, без тебя не стану.

Петруха с замиранием сердца выпил одну рюмку, ухнул, плюнул, покрутил головой; потом другую, третью и т. д. Вскоре приятель вел его под руку; Петруха говорил громко и все почти одно и то же:

— А мне черт ли... лешой... все равно!.. в деревне ли — в Питере ли. Мне черт ли... — пфу!.. друг... друг!.. поцелуемся! Не ругай ты меня!.. сделай Божескую милость, не ругай, — и, не... бей... не бей!

— Да я тебя не ругаю. За что ругать? и не бью...

— Не ругай ты меня!.. не ругай!.. не бей — вот что бредил Петруха, и упирался в землю, опустивши вниз голову, над которой постоянно махал правой рукой: левая висела как плеть; приятель держал его поперек.

Вино Петрухе понравилось: парень учащал пробы. Вскоре даже сам вызвался на угощение, взаимно угостил, опять просил угощения, и опять пил... пил... пил — и запил. Такова деревенская натура — ничего пресного она не любит, меры она не знает, о толке и слышать не хочет, а указания, наставления считает за упреки, брань, оскорбления.

Мельничная плотина держится, крепится все лето, а раз подточило ее порядочно — и скоро пойдет вода рвать все, разрушать, подмывать, и трудно, даже почти невозможно бывает остановить ее на пути разгула. Оборвался раз русский человек, живущий по себе и своим умом, и пойдет крутить, и нет для него уже ничего заветного: и армяк новый долой, и недавно купленная шапка нипочем, и рукавицы прочь, и сапоги крепкие долой — можно и в стареньком щеголять, что тут ломаться, чваниться? что за щегольство! что за бахвальство! Куды тут лезть с суконным рылом да в посконной ряд?.. мимо, все мимо, все долой и прочь! Пей, душа — веселись! Да балалаек давайте больше, да гармоний, да песен, рому, коньяку попробуем, и что в хересе за скус? и херес попробуем и... девок давай. Приходите, гости, да больше: на всех хватит, всем будет что выпить и где

улечься, милости просим: у нас и двери всегда настежь и званным и незванным. Пейте все и наше и ваше здоровье. Не сердитесь только: у нас все друзья и приятели: душа нараспашку и сердце за поясом! Вали, народ — будет и на похмелье!

Похмелье идет тем же порядком: гудят по-прежнему песни, идет топанье на целый дом, внизу штукатурка с потолка валится, и не уймет никто и ничем разгулявшихся кутил... Все прочь, все мимо, знать никого не хотим!.. сами большие и больше нас нет! А там еще горе незваное накачалось — долой и его: топи его глубже на самом донушке и донушко опрокинь на лоб! Давайте же песен, песен больше, да веселых, да громких, да красивиц...

Петр Артемьев сначала, как новичок и непривычный, выпивал немного и был уже пьян. Он учащал для того только, чтобы поддаваться обаянию той веселости, которая поразила его и привязала к себе на первом еще дне запоя, и нечаянно дошел до того, что выпивал прежнюю порцию и был только, что называется, на кураже, когда все так отрадно и весело, сам он в задоре и готов спешно и толково сделать все, что укажут.

Прежнее дело дворницкое спорилось удачно; сам он, однако, изменился, как изменился наружный вид его конуры, которая украсилась лишнею мебелью, в виде стеклянных посуды, начиная от маленькой и постепенно доходя до большой бутылки. Его теперь не удивишь полштофом, а к склянкам маленького объема он прибегал только в крайней бедности, при безденежье. Привычка брала верх и сильно укрепила в начинаниях. Сделать самое трудное дело для него было нипочем, лишь бы только обещана была дача «на выпивку». По будням он чуть не с утра был навеселе, — по праздникам непременно пьян, а к позднему вечеру — мертвецки. Он готов даже быть таким и в будни, если бы больше имел тороватых и денежных приятелей, а сам не был

дворником, у которого лишняя копейка — изумительная редкость. Петруха и тут изловчался, стараясь придумывать разные хитрости, до которых достиг своими непокупными толком и сметкой.

Особенно помогало ему в этом замечательное знание всего дома, сверху донизу, всех квартир с их жильцами, всех жильцов с их характеристикой, и физической и нравственной. Конечно, все это у Петра Артемьева делалось на мах, — спроста, но тем не менее всегда почти верно и толково. Изо всего этого он успел приучить себя извлекать личную пользу, и не задумывался заходить в 40-й номер к чиновникам, которые, по его наблюдениям, всегда собирались по субботам играть в карты. От его внимания не ускользала их кухарка, чаще обыкновенного забегавшая в лавочку за миногами, капустой, огурцами и пр. Случалось, что она проносила бутылки из погреба и всегда непременно имела в руках четвертную бутылку, которую привозила на извозчике. Петр Артемьев запирает с первым признаком ночи ворота, подпоясывал полушубок и отправлялся в 40-й номер. Здесь он просил кухарку вызвать жильца-хозяина:

— Дворник, мол, пришел, видеть желает.

Хозяин выходил, дворник кланялся и говорил:

— Ворота запер; спать сейчас лягу.

— Так мне-то что за дело? зачем ты лазишь без спросу?

Дворник при этом указывал одной рукой на кухарку, как бы давая знать, что ей приказывал докладывать о себе, и не лезет без спросу; а другую руку засовывал в волосы на затылке и ухмылялся:

— Гости-то у вас долго будут сидеть?

Если хозяин догадывался, к чему ведет свою речь дворник, то спешил дать ему на водку и наперед задобрить его. Если же нет, — дворник, почесываясь, начинал опять приставать:

— Коли долго — так уйду: дома-то не буду ночевать сегодня; а хозяин велит запирает ворота на ночь и ключ с собой брать.

— Во всяком случае, ты должен оставить кого-нибудь вместо себя?

— Кого оставить? оставить некого. Надо ему на водку дать, кого оставишь-то: так-то не остаются, а нам поздно не велят сидеть.

— Кто это мне не велит? — спрашивает рассерженный жилец.

— Хозяин домовый не велит, — спешит перебить его дворник. — Нам он говорит: как-де ты, Петр, сделал все, до одиннадцати часов калитку не запирай, а после запри и ложись спать, долго-то не сиди.

Чиновник только при этом догадывался о том, отчего дворник не хочет ночевать дома, запирает ворота и ключи уносит с собой — он называл дворника мошенником, плутом, но все-таки давал ему гривенник или просто выносил водки и давал рюмку.

Петруха кланялся, благодарил и почесывался:

— Лестница-то высока, вишь, — не захромать бы, ваша милость?

Получал ли, не получал ли Петруха второй рюмки, он все-таки оставался доволен и собой, и жильцом 40-го номера и его гостями, которых выпускал со двора сам и не ворчал.

Если же жилец, по собственному выражению дворника, не уважал его и не смотрел ни на какие резоны, т. е. не подносил рюмки водки, не давал гривенника, Петруха на другой же день останавливал его под воротами, снимал шапку и кланялся:

— А я, вашей милости, услужил вчера: гостей выпустил. Двое совсем растянулись под воротами. Я поднял и извозчика живой рукой отыскал. Сегодня, вашей милости, прежде всех воды натаскал: поутру, мол, проснетесь — чайку напиться захотите. Я в ваш номер всегда захожу раньше, прежде управляющего. Сегодня праздник: поздравить не мешает вашу милость!

Вообще почему-то с чиновниками Петр Артемьев вел себя осторожно; при встрече с офицерами всегда

почтительно снимал шапку и ни в грош не ставил тех сердобольных вдов, которые живут квартирами и у которых жильцы целый день не бывают дома, по обыкновению почти всей петербургской молодежи. От этих вдов он редко получал «на водку», и потому, не имея средств мстить открыто, старался вредить им втайне, срывая с ворот безграмотные билетки их, которыми извещается искатель, что здесь: «сдаеца комната со-столом, смебелю и сприслугой у вдовы для холостых спросить дворника», или «в таком-то номере». Дворник может ответить, что в таком-то номере отдана квартира, хотя она еще до сих пор пустая, что в таком-то и есть свободная, да ребят много, беспокойства будут, — у ней и не живут жильцы подолгу.

— А вот есть в 11-м способная для вашей милости, и мебель дает кому надо, и с кушаньем берет, и барыня важная завсегда при жильцах. — «Эта комната опросталась оттого, что жилец помер, а то у ней завсегда живут и всегда довольны остаются».

Во всей болтовне часто нет ни малейшей правды: нанимающий видит комнатку маленькую, тесную, мебель поломанную и порванную, даже плесень от сырости во всех четырех углах, и сама хозяйка не столько барыня важная, сколько бойкая, и досадует искатель квартиры на себя, что поднимался так высоко и остался внакладе. Не оставался внакладе один только дворник: он выпивал рюмку водки или получал пяточок от своей важной барыни до тех пор, пока не приводил в 11-й номер охотника до сырой комнаты, высокого и грязного хода.

Петр Артемьев обставил себя, наконец, так, что имел номеров десятков таких, где ему каждый праздник подносили по рюмке водки, и был одним из счастливейших петербургских дворников, потому что в его доме, в одной из квартир, поселилась целая ватага молодых людей, у которых дня не проходило без кутежа и скандала.

Петр Артемьев не замедлил скоро познакомиться и с ними и тут также придумал хитрость. Он явился с искренним советом быть потише и присовокупил прямо от себя, но с привычною смелостью и решительностью:

— Нижние жильцы к хозяину приходили жаловаться, что всю штукатурку на потолке отбили... над самой, вишь, спальней пляшете! Хозяин прислал сказать, чтоб не плясали.

— Пошел, дурак! скажи хозяину, что мы его знать не хотим. Мы от себя наняли квартиру и деньги вперед отдали! — кричал один из более бойких гостей и кинулся было на дворника.

Тот немного попятился; он мог бы, заручившись таким важным поручением, хотя и им же самим сочиненным, нагрубить, но счел за нужное выдерживать привычную роль:

— Коли, говорит, — не уймутся, вели квартиру очищать; пусть-де новую приискивают.

— Молчи, дурак! — не сегодня же ночью отыскивать? Пошел, скажи хозяину, что вы оба дураки, невежи.

И пьяный гость опять было задорно кинулся на дворника, но его опять удержали товарищи. Дворник все-таки стоял на своем:

— Мне, говорит, — эких жильцов не надо; они у меня изо всех квартир повыгонят и дом останется пустой.

— Я тебе всю бороду выщиплю.

— Зачем бороду? борода дорога; она долго растет. В бороде вся сила. Вон у вашей милости и нет ее.

Пьяный гость выходил из себя; его успокаивали товарищи; но дворник продолжал быть верен себе, и во все время оставался спокойным; он рассуждал:

— Наше дело подневольное: что велят делать, то исполняем; таково дело, не сами. Что бородой-то стращать? — лучше бы, барин, водочки поднести велели дворнику-то.

Один, догадливый, исполнил его желание, и даже, против ожидания, удовлетворительно: Петр Артемьев успокоился. Сходя с лестницы, почувствовал то знакомое ему приятное наслаждение, какое испытывал после первой рюмки, потом у него закружило в голове, и когда Петр Артемьев улегся, голова его пошла кру́гом и сон был невозмутимо-крепок.

Когда ушел дворник, конечно, начались толки о недавнем событии, и более рассудительные решили это дело таким образом: дворника всегда не мешает задобривать, дворник человек нужный; он многое может сделать. Он для дома важнее хозяина; его и за водкой можно послать, если некого; он и в глухую полночь достанет ее, потому что имеет огромное знакомство и опытность и проч., и проч.

С тех пор Петруха не встречал уже неприятностей и не придумывал со своей стороны хитростей, а просто тихонько отворял дверь и только выставлял свою бороду. К бороде этой привыкли кутилы, и лишь покажется она, приятели спешили потчевать ее водкой до того, чтобы она решительно неспособна была беспокоить их в другой раз и нагонять темную тучку на их светлую и беззаботную радость. Некоторые даже заговаривали с этой бородой (до того она сделалась не страшна и пригляделась):

— Ну, а что хозяин?

— Спать лег! — чуть не шепотом отвечал дворник.

— Не сердится, не ругается? не велит искать квартиры?

— Отошел!.. забыл!.. Добряк ведь! — шептал Петруха.

— Ну, а нижние-то жильцы не жалуются?

— Перестали! Да ну их!..

Петруха при этом махал рукой, и даже на лице старался изобразить возможно-презрительную мину. Он заключал всегда почти одинаково:

— Пейте, господа, знайте! Не бойтесь, постоим. Скажу, что свадьба у вас — и все! Есть ли водка-то у вас? а

то схожу, пожалуй: в погребке можно достучаться: такая форточка завсегда отперта. В кабаке только трудно, а пожалуй, и т. д.

При таких соблазнах и благополучном начине Петруха шел все в гору да в гору: его уже, что называется, чарка бьет. В надворном хозяйстве стали обнаруживаться кое-какие беспорядки и упущения: лестницы были грязны и едва удобопроходимы, двор почти никогда не просыхал; городской заглядывал в его конурку чаще и более для того, чтобы выгнать его на тротуар. Петруха и здесь прибегал к некоторой хитрости: он отгонял от своих тумб извозчиков и позволял тут останавливаться только тем, которые помогали ему подметать панель, красить тумбы, не сорили сеном, и проч.

При заметных деньгах у Петрухи водились даже некоторое время, так называемые чередовые выставки, которые так обыкновенны и пагубны в столице у мастеровых и рабочих, не имеющих постоянной и усидчивой работы, держащей на одном месте: на верстаке, у наковальни, у стамески... Особенно эти чередовые выставки часто заводятся компанией дворников, водовозов, носильщиков мебели и всякого рода поденщиков.

У Петра Артемьева эти чередовые выставки прекратились как раз около того времени, когда приближалось время его именин. Молодец уже, что называется, разлакомился, расходился, а товарищи и приятели подзадоривают:

— Скоро ты именинник будешь, Петруха, — угощение нужно предоставить — знаешь какое... ждем! Придем, брат, и незваные: не думай ты этого.

— Штоф с косушкой куплю, — отвечал Петруха.

— Этакое-то угощение для именин и звания не стоит; это и губ не помочит: вон ты толковал из плотников своих кого позвать, то народ петой, ну, да и мы не прочь почтение тебе сделать по-рассейски. Тут не то бы что, а полведром только-только удовлетворишь.

— Полведра много, лопнешь.

— Эй, гляди, паря, только подрумянишь.

— Да вон подожди — посмекаю: хватил ли еще капиталу-то на это? — обещал Петруха и смекнул по своему.

За два дня еще до именин он уже шастал по квартирам, вызывал хозяев и прямо просил о пособии.

У одних говорил с тою привычною смелостью, которая чуть не приучила его самого верить сочиненному.

— В деревню иду: пачпорт надо выправить, а денег нет, хозяин заперся — не дает, обижает и в квартал ходил жаловаться, да не слушают: совсем хозяин обижает: пособи́те, ваше сиятельство! Вот в десятом номере полтинник дали, в пятом рубль серебра посулили, — врал Петруха и кое-где выманивал, уходя от других с более или менее надежным посулом.

В смежном номере он уже говорил почему-то новое и путал себя до того, что решился говорить остальным одно:

— Мир в деревню требует — оброки тяжелые; одеться не на что; ехать надо — пить-есть дорогой, дома пособие требуется; хозяин обижает; пять целковых собрал: еще не хватает трех, либо четырех...

При последних словах Петруха низко кланяется: благодарит за выдачу и внимание, раза по три в день надоедал посулившим, засылая кухарок, которые все-таки состояли в некоторой зависимости от него и боялись даже его присмотру, справедливого и всегда необузданного гнева.

Вследствие ли собственной назойливости или некоторого даже предстательства и влияния кухарок, но только Петр Артемьев собрал столько денег, что в день именин из конуры его то и дело вылезали четвероногие, которые долго бранились под воротами и некоторые доходили до дома, другие валялись на тротуарах (догадливые и толковые выбирали места поглуше), а некоторые подбирались в часть.

Однако сам именинник, по русскому обыкновению, напившийся прежде и больше всех других, еще до конца заветного полуведра улегся спать, и никакие силы не могли поднять его с места: он как будто опился и замер.

Поутру Петруха опохмелился, и так крепко и задорно, что когда позван был к управляющему для объяснения по некоторым беспорядкам, замеченным в прошедший вечер и ночь, он разговорился и, против воли, рассердил управляющего.

— Отчего трудовому человеку на день ангела не выпить? — один раз в году бывает — надо выпить покрепче. Вот от вашей милости завсегда пьяных провожал с лестницы. Сами вы, Иван Тимофеич, в контору посылаете и пьете: раз и вашу милость на лестницу волок, — рассуждал Петруха и не чуял грозы.

Управляющий вспылил, сочтя все его заключения за обиду, и закричал:

— Да тебя, чухну полосатую, кто об этом спрашивал?

— Вы спрашивали.

— Да ты пьян, дурак! еще не проспался.

— Вы, что ли, напоили? а я не дурак, да и не спал.

— Ты еще поговори со мной, погруби! — кричал управляющий и ругался.

— Я не грублю, Иван Тимофеич!

— А зачем вчера собирал по квартирам деньги?

— Я не собирал никаких денег по квартирам, что вы Бога-то гневите, Иван Тимофеич?

— Зачем врал, что в деревню идешь и хозяин обижает, и на меня пожаловался везде, как будто подослал кто?!

— Я ничего не говорил и по квартирам не ходил, — стоял на своем Петруха. — Не обижайте, Иван Тимофеич: обидеть нашего брата легко — да душе каково.

— Ты вот мне еще душу-то трогай, дурак!

— Я не дурак! меня еще никто так-то не называл... Не знаю, кто из нас дурак! — бухнул сдуру Петруха и повернулся, чтоб идти к дверям.

Но управляющий дома уже совсем обиделся: он топал ногами, кричал, бранился чаще и сильнее прежнего и, наконец, назвал его даже запойным пьяницей.

Последнее слово почему-то особенно не нравилось Петру Артемьеву. Он повернулся назад и подхватился фертмом:

— Коли не угоден чем, Иван Тимофеич, так лучше пачпорт и расчет пожалуйста: мы других местов поищем.

— Да я и без твоей просьбы это же бы сделал — не думай ты!

— А старались угодить, и все, значит рачение, к примеру, клали: на, мол, что можем!.. а не то что... А выпил наша милость и не угодил вашей милости! Обидеть легко, — нашего брата легко обидеть, — продолжал рассуждать Петр Артемьев и вывел из терпения слушателя.

— Ступай же вон, вон скорей!

— Уйдем, Иван Тимофеич: будьте не в сумлении и в деревню уйдем, коли надо будет. Вот что, Иван Тимофеич! Прощения просим, пошли вам Господи всего хорошего! — бормотал Петруха тем жалобным голосом, которым любят говорить притворяющиеся обиженными и как бы желая этим тронуть и смягчить взволнованное сердце мнимо-обидевшего.

В конуре дворницкой Петруху уже ожидали некоторые из товарищей, желающие и надеющиеся опохмелиться.

Петруха, войдя к ним, махнул только рукой и сказал коротко:

— Надо места нового искать: обижают!

— Что так, Петруха?

— Жисть не мила. Ничем не угодишь: все не по них.

— Али гонят?.. хозяин, что ли?

— Сам пачпорт попросил — и расчет: никто не гонит. Меня не прогонишь, коли сам не захочу — не таковой. Местов мне будет всяких, не то, что эка дрянь, невидаль!

— Надо искать, Петруха! Когда? Завтра, что ли, выгонят-то?

— Меня не погонят! я сам погоню. Давай лучше выпьем, братцы: три рубля еще осталось.

Петруха на этот раз не врал только в последнем случае: потому что вечером был опять в омертвелом состоянии, как и накануне, а в тот же день не прогнали его со двора потому только, что не могли не только добудиться, но даже и вытащить из дворницкой.

Поутру, на другой день, он был уже без места и оставался в таком положении целый год. Чем он существовал во все это время — решить трудно.

Видали его земляки и на Сенной, подле воза с поросятами и мерзлую дичью, иногда с кулечком, другой раз с другим каким-нибудь узелком под полой; видали его и на Толкучем Щукина двора и Апраксина переулка со старой шпагой, мундиром, скуртуком, книгами, сибиркой, бритвами, палочками сургучу. То он вдруг появится у ящика, в котором за стеклом лежало много всяких мелочей, то вдруг пропадет и ходит снова — с парой сапог и калошами, то он башмаки по дворам разносит, то вдруг выводят его из полпивной или кабака и перемещают из одной *сибирки* в другую на веревочке, то он в новом полушубке попадался, то опять в рваном, то в шляпе пуховой, то опять в картузе с разодранным козырьком. Наконец, совсем пропал он и с Сенной, и со дворов, и с Толкучек.

Земляки решили тем, что, должно быть, Петр Артемьев совсем промахнулся, и подъели его безнадежно все досужества, все перекупки, перепродажи, и т. п.

— Не спуста же парень заходил в артель, да все плакался, что в Питере совсем жить нельзя — как-де ни ладить (думали земляки).

— Сказывал — дорога-де мне дальняя, тяжелая, невольная лежит — долго, мол, братцы, не увидимся. И таково-то говорил жалостно и руками подпирал голову, и волоса на лицо спускал. Звали выпить: «нет, — говорил, — не начинал в артели и кончать не стану», — какого-то Мартына обругал и Луканьку нашего прихватил... Стал ходить вдоль избы и все что-то урчал, и все ругался, и руками махал, а тут и пошел со всеми целоваться: «простите, — говорил, — не ругай меня артель, не бранил-де я вас, а не сжилось в ней — стражся такой-де грех: сам причина. Лежит мне теперь путь и тяжело будет!» Ушел от нас, да вот уж не видали, почесть, две недели (а то чуть не каждый день заходил); а узнать, где, мол, и как, — ума не приложим. Знать, ушел в какое неладное место! — решили его бывшие сотоварищи и сокашники, и пожалели душевно, однако напрасно.

Петруха в долг да в поколоть пробирался в деревню, и, действительно, дорога эта была ему и трудна, и решительно не сподручна. Долго — втрое дольше прежнего — был он в дороге и едва-едва достиг до того, что увидел и село с погостом, на котором похоронил когда-то старика дедушку и старшего брата, и на котором также, вероятно, похоронили без него и старика отца. Увидел и знакомый бор, на котором собирал он грибы и ягоды, и речонку, в которой купался и купал сивка и буланого, и Бараново в стороне, в котором — когда-то давно — мужики поймали баловливую попову кобылу и, привязавши к хвосту длинный шест, пустили передом в овин: билась лошадь вперед и не пустила палка, а назад попятиться не догадалась скотина до той поры, пока не привели самого хозяина. В воображении Петра Артемьева рисовались и отрубленные хвосты бодливым коровам, и материны рыданья при прощаньи, и толстый бурмистр, запарившийся в бане, и дедушкины похороны, и высокая шапка, свихнутая набок, и сладкая кутья из яшного пшена с медом, и жаркая — черная

баня, в которой так хорошо париться, и дядины наказы, и его толковитость, и то уважение, с каким обращалась к нему вся окольность...

«Идти ли полно к нему навязываться? — думал Петр Артемьев. — Облает, обессудит: крутой обычаем... Али пойти? доводилось же так и в Питере: придешь — думаешь, ругаться станут, а ничего — словно и не виноват, почтение отдадут, словно и не знают твоих провинностей, и ровно бы не ты их сделал».

С такими рассуждениями он подвигался все дальше вперед — ближе к родной деревне, которая казалась ему сначала вдали одним черным большим домом, который несколько раз скрывался то за горой, то за лесом, и, наконец, выставился совсем на глаза рядом изб, над которыми различил он и скворешницы, а подле деревни — бани, овины, кузницу, сотского изба с краю, напротив их домишко, дальше дядин...

У Петра Артемьева защемило сердце.

V. ДЕРЕВНЯ

— Здорово, батюшко Петр Артемьич, здорово! — говорил дядя, вытащившись из-за стола и сухо обнимая племянника, который мгновенно приободрился и начал уже спокойнее и радостнее глядеть на свет Божий.

— Ну, что? как там Питер-от ваш — богатый город? — продолжал спрашивать дядя, видимо любопытствуя знать о столице и желая приласкать гостя.

Так, по крайней мере, подумал и решил Петр Артемьев.

— Не говори ты мне о этом городе, не вспоминай его — глаза бы не глядели!

Племянник махнул рукой.

— Что, брат, больно рассерчал на него? али и у тебя тоже, как и у других наших ребят, что в осенях вернулись? Пришли, братец ты мой, — и начали загигать тут

бабам-то да мужикам-домоседам: мы-ста и на свет-то глядим инако, и денег берем много. Наши-то домовики слушали да ахали, а денег-то ребята им не давали: жизнь, мол, дорога там. Сталось на моем, что в Питере, мол, живал, на полу сыпал, и тут не упал.... Так ли небось, племянник дорогой?

— Что тебе, дядя, врать с пуста-то: всю перед тобой, значит, правду скажу. Одно, стало быть, горе было: хозяин, дядя, невзлюбил.

— Знаю, племянник дорогой! Знаю так, что коли хочешь, все расскажу тебе, — все как по пальцам размажу: перво-наперво, видишь, ты у одного жил и ладно бы жил — толково жил, пока не надоскучило. Что-де думаешь — все ребята, как есть вольные, куда надумал, туда и пошел. Чем же, мол, я-то матери пасынок? Немцев хозяев, вишь, хвалят молодцы: пойдут-де к ним. На то моя добрая воля — никто не указ. Ну, — вздумал, да и пошел, и принял немец, и живешь у него. Да чистоту, вишь, немцы-то любят: а где тут за собой на всяком шагу смотреть, да на всякой-то, мол, день и мыла не напасешься? А шут, думаешь, с ним! ребятам русские хозяева по полтиннику, где и по целковому дают на гулянку, а тут тебе немец отвалит двугривенный — и раскутись на него, как знаешь! Не так ли я говорю, Петр Артемьич, племянник дорогой?

— Чтобы тебе молвить — не соврать: не живал, дядя, у немцев. Хоть наших ребят спроси — и не думал.

— Ну, да ладно, пожалуй: я ведь и в долг поверю. Не живал ты у немцев, так, чай, к нашему какому нанимался?

— К Трифону Еремеичу ходил и жил у него: не стану врать, дядя.

— Ну, да хоть и... к Михею бы какому Савичу. Что же, поди, прогульные дни вычитал? Коли выбрал ты все деньги свои, не давал вперед на гулянки?

— Раз дал, дядя, да после, вишь, другие-то ребята сбили, из-за них и мне не давал, а то завсегда на почете был.

— Ну, а те, стало быть, на тебя клепят, что из-за тебя-де хозяин отказывать стал: у вас и идет круговая! Вот ты и стал стонать да охать: и этот-де хозяин обижает, — надо другого приискать. Тут, мол, тебе не токма-де чаю в харчевне, и водка-то на диво станет. Заходили, поди, к тебе земляки, так и угостить их нечем было: посидели с тобой, помолчали: один, поди, на балалайке тряхнул. Али гармонию держишь?

— Балалайки, дядюшка, придерживался: не солгу ни в чем. Кори ты сколько хошь, сколько душе твоей надо: все буду слушать; обидного тебе слова не молвлю.

— Корить тебя что мне? А обидного слова от эдакого наянливого человека мне не диво слушать. Отступись ты, провались совсем!!

И старик дядя, махнув рукой, замолчал.

Молчание это коротко было знакомо семье (которую — надо признаться — держал старик, что называется, в ежовых рукавицах), понятно было молчание это и для племянника. Старик, видимо, шибко сердился, и только непонятым казалось одно, что он не топнул ногой, не кричал до перхоты и кашля.

Он медленно вытащился из-за стола, сильно и громко крякнул и медленно пополз на полати.

Все это делал он при общем гробовом молчании. Гораздо после нарушилось это молчание им же самим. Старик говорил:

— Дали бы вы ему, бабы, поесть, что ли? — авось дядиным-то хлебом-солью не поперхнется...

Но Петру Артемьеву, кажется, совсем не до еды было: горячим варом обдавало его лицо, и горело оно словно на ветру, после жаркой бани. Неловко ему как-то и стоять у стола: рук и ног девать некуда и бороду бы спрятал... А тут еще дядя с полатей уставился на него своим строго насмешливым взглядом, и концы бороды подбирал в рот и обгрызывал их, и все смотрел пристально на нежданого гостя.

«Не с того дядя начал! — думал этот. — Сначала-то бы и ладно, и по мне бы, а тут круто, круто пошел. Кажись бы, лучше, кабы лаской-то донял. А то тут тебе и слов не приберешь — все одно да одно. Ну, знамо, худо дело: сам вижу. Кабы знал я это: в Соснине бы лучше остался, в работники бы, что ли, какие нанялся...»

— Не проси, тетушка, — говорил уже вслух Петр Артемьев, бессознательно усаживаясь за стол, — сыт еще от соснинских.

— Да не гневайся, Петрованушко! — не гляди ты на него, знаешь ведь: всегда крутой был, а теперь совсем стал грублив, и не приступайся. Все не по нем, — шептала старуха тетка. — Как ты ушел в Питер, так словно кто его пополам переломил: такой-то стал неповадной, все урчит, все не по нем. Ох!.. крут на старости стал, больно крут!..

— Проси его, старуха, проси — кланяйся! — заговорил дядя с полатей. — Столичной народ любит повадку, шибко любит: на то ведь и жил там ровно четыре года, а нас, стариков, и в грош не ставил, и за родню кровную не считал, потому что сам лучше. Всех мой племянник лучше, и меня лучше.

— Ох, не казни ты его, Селифонтыч, не казни своей немилостью: вишь, на парне и лица-то не знать стало. Брось ты покоры-то эти! — не слышали бы мои уши, не видала бы лучше срамоты на нем. Родной ведь — племянник-то тебе...

Старуха давно уже заливалась слезами. Сочувствуя ей, нелегко было удержаться от того же и другим бабам; крепился еще виновник печали, да дядя его, немедленно приказавший быть слезам за переборкой, на своем месте. Он не любил шутить, и стал действительно крут и сварлив, вздорен, капризен, как все старики, умудрившиеся опытом жизни и совершенно забывшие об увлечениях своей и чужой молодости, ища всюду только одного почтения к себе и беспрекословной полной подчиненности. Они, как мухи, которые сильнее брыз-

жат и более кусаются перед скорой зимней спячкой. Законно ли это и разумно — семья старика рассуждать не смела и не находилась; а племяннику и подавно не было до этого дела. К тому же он совершенно был убит и озадачен.

В избе опять все замолчали, кроме лучины, которая продолжала шипеть, трещать и стрекать угольком в воду лоханки.

Петр Артемьев к расставленным яствам и не при-трагивался, а сидел, потупив голову, ворочая ложкой, чашкой, сукроем хлеба. Дядя начал первым, после долгого неприятного, убийственного затишья, и опять не так, как бы желал и смел ожидать племянник.

Дядя говорил, как будто про себя и ни для кого другого:

— У нас на днях свадьба наладилась: Паранька Стрекачиха за Пузанова старшего парня выходит, и знатная парочка — баран да ярочка. Михайло-то Пузанова славный вышел: у отца в лавке правая рука. На Макарьевскую батько посылал, — так сам, слышь, сказывал, так бы не съездил: подобрал таких красных да пестрых товаров, что целую округу собери мужиков, да баб наших — лучше б не выбрали. Ну, и невеста — коли в хорошие руки попадет, — бабенка с обхождением будет: порукой семья неопозоренная.

— Да тут в осенях вот еще что было, — продолжал дядя несколько погромче и уже прямо обращаясь к Петру Артемьеву. — На братниной могиле крест поставил: совсем, вишь, без него стояла, да и дождями-то, знать, поразмыло ее: насилу распознал. Вот обо всем попечение имеем, мы-то, мужики деревенские, а и детки бы есть, да вишь: деткам-то некогда, что ли?..

За этими словами из-за перегородки послышался новый вой и новые всхлипыванья, которые перестали было, пока старик говорил вначале.

Не обратив на это особенного внимания, он приза-молк ненадолго, дал угомониться причитальщикам и

начал снова, все-таки прямо обращаясь к Петру Артемьеву:

— Мать твоя по миру было побираться стала и совсем в это дело втянулась. Я и так и сяк ладил; и к себе в избу брал, и других просил. Вразумляли всяко: нет, говорит, никого собой тяготить не хочу, — лучше сама, говорит. Тоже, знать, и на ее дурость закон не писан и ей никто не указ, в сына, надо быть, вышла.

При этих словах Петр Артемьев уже не мог выдержать вынужденного упорства в молчание.

— Где же тепереча матушка-то? — робко спросил он у дяди, но получил ответ от старухи тетки, выскочившей из-за перегородки в сопровождении остальных баб.

Тетка, сквозь слезы и рыдания, успела проговорить немного:

— В Овсяниках: у Матрены... гостить пошла... на неделю, мол... а там опять к попадье.

— Сходил бы, добро, повидался: всего-то никак версты три! — опять заговорил дядя тем же полусердитым тоном, хотя уже и заметно помягче.

— Сегодня-то переночуй у меня: милости просим! Только извини ты меня: на щите придется; пуховиков-то не держу и не привыкал к ним. А то, коли хошь, на полати взлезай: у меня полушубков много. Собирайте, бабы, ужинать: пора!

Сказав это, старик слез вниз, сел к столу, задумался и не говорил больше, до тех пор пока не было все готово.

— Водку-то пьешь? — спросил он племянника. — Иные, вишь, для задору, как к ложке, так и за рюмку: спорчей, слышь, яства-то!

— Нет, спасибо, дядюшка, не хочу: совсем отвадило; не стану теперича... и опосля не стану.

— Ну, да чего — нет? держу ведь: есть про всякой случай. Наша водка дешевле питерской: похуже, может, только, не так шибко разбирает. И опохмеляются-

то от нее квасом; а другие так прямо берутся за работу и все рукой вымашут, весь хмель этот. У нас ведь нет этих запоев, чтоб года-то по три... таких нет!

В половине ужина, начатом при прежнем всеобщем молчании, старик как бы поразвеселился; пошутил даже один раз с любимой невесткой, и тем ободрил и племянника, и плаксивых баб. Все заметно повеселели.

В конце ужина он опять заговорил с Петром:

— Ты на меня не сердись, Петр Артемьич.

— За что стану сердиться? — на разум ведь...

— Я тебе родной дядей зовусь. Коли что и не по мне и за сердце хватает, так опять-таки оттого, что ты племянник мне доводишься. Вот тут и пошло опять такое...

— Знаю, дядюшка, как не знать? Знаю: все это на душу принял.

— И дело — и баста! Сегодня уж и толковать перестанем, а завтра все и порешим, и к матери сходишь, и к брату на могилку вместе заберемся, вон и баб прихватим. Да нет! — лучше без них путем, а то голосить начнут — и не удержишь.

Под влиянием последних дядиных ласок свидание Петра Артемьева с матерью было скорее трогательное, чем безнадежное и тяжелое.

Старуха, по обыкновению, жаловалась на бездолье, на дядю и его семью, хвалила Матрену, попадью и других добрых людей, бранила своих баб, с которыми — говорила — и не видается; скорбела, что не может приласкать внуков; плакала при этом и обнимала сына.

Про отца и его кончину Петр Артемьев не мог узнать от матери: она отвечала слезами, и одними только слезами с присоединением однообразных и отрывочных ласкательных слов, которые могли столько же относиться и к покойнику-мужу, сколько и к вернувшемуся с чужой стороны сыну. Старуха не жаловалась на него и даже пеняла дяде за то, что тот называл Петруху пьяницей.

— Ну, как тебе не пить?— говорила она. — Большой ведь стал. Кто нынче не пьет: вон наши деревенские свахи еще оговаривают за женихов, когда спросят, не пьет ли-де парень? Кто, мол, нынче толкует этак: спрашивали бы лучше: во хмелю-то каков? А то пьют, — все пьют. Один только дядя не пьет, и то потому, что крут, неповадлив, да и у того завсегда есть водка в ставце, и прочая.

Старуха рассказывала долго и много: и о том, как в Тотьму ходила, и о том, как поповы ребята хорошо священное поют, и как у господ о Святой и о Святках речи сказывают, и получают за то где гривенничек, а где и двугривенный, и о том, как у Матрены ребята вечор поссорились да чуть не перекололи себе глаз веретенами, как об них мать целый голик истрепала, и проч., и проч.

Петр Артемьев слушал, все слушал с большим вниманием, и от этих рассказов у него на душе становилось почему-то легче. Он успокаивался и предлагал матери вернуться к дяде, но получил решительный отказ. Старуха соглашалась вернуться в свою избу и жить по-старому, но Петр Артемьев решительно не мог служить ей этим и отклонить мать от побирайства: она привыкла и слышать не хотела об иной жизни, тем более зависимой и подневольной. Со своей стороны мать советовала было сыну наняться к кому-нибудь из овсяниковских, чтобы быть ближе к ней, но Петр Артемьев обещался во всем подчиниться и слушаться дяди. Вместе сходили они на погост, на могилу большака. Здесь старуха выла и жалобно причитывала.

— Каждую сорочинку так-то вот все делаю, — при-совокупила она, в назидание сыну. — Как бы ни забрела далеко, и уж знаю время и приду повыть, и в Митриевскую, и в его день ангела-то, и в свой, и в обе сорочинки... Крестик-то был, — врезать велела. Хотела было попросить молитву прописать, да некого было. Ну, уж,

мол, думаю, Петрованушки подожду: он ведь грамотей, напишет. Что, мол, я к чужим-то приставать стану.

Старуха не забыла вспомнить и о Параньке, хотя самому Петру Артемьеву и в голову не пришло спросить про нее.

— Паранька-то твоя сговоренкой ходит; за смиренность, слышь, берут. Об тебе-то, моем ясном соколе, и забыли. Пузанов берет за сына, за Михайлу.

— Сказывал дядя; мне-то что?

— Как что, разумник: разве уж и напостылела?

— А зачем выходит, что не ждала?

— Ну, как тебя, батько, ждать? девичье дело. Четыре зимы ведь не был, где тут и ей-то?

— Кабы захотела — дождалась бы, ни на невесть какой долгой век, не умер.

— Знамо, не умер, да поди ты — сладь с девками! Михайло-то, бают, ей больно полюбился.

— Не драться же и мне с ним: пущай! — решил Петруха и слова не говорил больше о Параньке со своей матерью.

Встретив сговоренку с ведрами на возвратном пути к дяде, он как бы не узнал ее и прошел было мимо. Но Паранька сама остановила его вопросом:

— Никак ты, Петруха?

— А то нет: взглядись, коли не ослепла.

— Давно ли из Питера-то пришел?

— Тебе-то, вишь, больно нужно знать: не скажу!

— Давно я тебя не видала, и весточки не присылал о себе на последях. Пытала выпрашивать, словно в воду канул.

— Небось, не помер — жив! На вот колечко-то, что поменялись, и мое-то отдай!

— Не надо мне своего и твоего не отдам: потеряла.

— А это что на мизинце-то?

— Это не твое: твое-то потеряла.

— Ну, смотри, прибьет Мишутка — станешь знать.

— А пущай бьет, что мне?

— Отступись ты, чертовка! не глядел бы я на тебя. Ишь какая корявая стала, словно на роже-то черти горюх молотили!

С последними словами Петруха оставил девку и всеми мерами старался не встречаться с нею, хотя это и трудно было, потому что один раз Паранька пригласила его в поезжане со своей стороны, а в другой подослала просить его в дружки.

— Он ведь грамотный! приговоры-то славно скажет. Питерщики завсегда хорошо это делают.

Но Петруха не соблазнился на лестные предложения в дружки, не хотел даже быть ни поезжанником, ни подружьем. Когда ему поставили на вид, что отказать от приглашения на свадьбу — все равно, что обругать и кровно обидеть пригласивших, он обещался прийти горшки бить и оконные стекла. Намекнул даже, что и дегтю прихватит с собой ворота мазать. Но его отговорили, и с величайшим, впрочем, трудом сделали это знакомые ребята.

Между тем Петр Артемьев продолжал жить у дяди, исполняя по дому кое-какие подручные и легкие работы, потому что для остальных старик всегда держал батрака, которого выкупил, за свои деньги, в трудные времена рекрутства и обязывал за это жить у себя зимой, отпуская летом для летних потреб.

Летние работы старик исполнял разом — помочами и таким образом не обременял ни домашних, ни чужих, ни себя самого. Племянник в его хозяйстве был почти лишним, хотя и не отягощающим нахлебником. К тому же он старался показать все свое рвение, и как будто скучал неимением работ, и, следовательно, средств угодить и отблагодарить дядю за теплый приют и кусок хлеба. Старику это нравилось, и он радовался и был доволен сколько самим собой, столько и плодами его влияния на исправление питерщика, свильнувшего с большой на проселочную.

Часто, очень даже часто старик крепко задумывался, глядя пристально на племянника, и как будто придумывал что-то важное и разумное. Наконец, однажды вечером, при полном сборе семьи, при матери племянника, он сказал Петрухе:

— Надо бы, тебе, парень, о себе-то подумать хорошенько: у меня жить — не кручинну быть, не объешь — не обопьешь, не отяготишь. У меня не только про тебя, да и на твою старуху хватит. Достатками своими не хвастаюсь; а не обидел Бог: сам видишь и знаешь. Да за тебя-то боязно: облежишься, обленишься, хуже тряпицы рваной станешь. Попридумал бы — попригадал сам. Я-то смекнул и так, и эдак.

— Надо, дядя, подумать. Что говорить — надо.

— По мне, — надумал я, — в плотники тебе идти в артели: так, вишь, не умеешь ты этого делать. Опять, гляди, — сблагуешь по-старому.

— То-то, дядя, опять не сблаговать бы и есть!

— Вот, видишь — и за себя мы не стоим и надежи не кладем на себя, а где уж другому-то за тебя ручаться?

— Где другому ручаться? — никто не поручится: всяк по себе.

— И я так-то думал да мудрил — и ничего не выходит. А уж это дело законом идет испокон веку, ты еще и на свет-то не казался, да и дедушка-то твой, да и дедушки-то твоего дедушко.

— Да так, так, дядя! Святые твои речи — никто не посмеет спорить.

— Вот ты и разумно бы говоришь, а придумать не придумал сам. Я-то опасался, признаться, маленько. Скажут, мол, что дядя гонит тебя, скупой стал; сединаде в бороду увязалась и бес в ребро вляпался. Так и не начинал говорить, да и это по любви, от сердца. Все, думаю, не в мать же парень, не станет ругать, да корить меня по перекресткам, а толково рассудит. По мне — живи у меня хоть до смерти.

— Зачем жить до смерти? Работать надо: на то руки, ноги даны. Научи! Приставь голову к плечам!..

Петр Артемьев встал и пал дяде в ноги:

— Наставь на правду-то... плательщик ведь по гроб, — говорил он, и опять пал в ноги.

— Вставай-ко, вставай — и так, просто потолкуем. Эдак-то больно дорого платишь за советы мои, я ведь и даром. Грамоте-то не забыл?

— Где забыть? и письму знаю, и книгу какую хошь прочту.

— Ну, лишь этим обрадовал. Хоть это-то не пропил. С этим можно уладить, а то и не думалось, и не разгадывал толком, — твердил дядя про себя и задумался надолго. Соображал, соображал и, наконец, решил он таким образом:

— Ребят рожают много: в Питер уходят и повестить некому, некому и письма написать. Брат так и умер темным и окромя кута своего да голбца ничего не знал; хоть ладно батюшку покойного Бог надоумил еще тебя-то выучить и ты-то не забыл. Вот я как надумал и, кажись, ладно: надо тебе избу-то свою поправить, на это я тебе дам лесу, даром: у меня много. Вот и батраку велю пособить; сам ты тоже это дело знаешь — не учиться. Мать-то возьми, не шлялась бы по подоконьям-то: только срамоты набирается и на свою, и на мою, да и на твою голову. Не пускай ее в побирайство: неладно это!.. Сама-то она и рассудить не хочет: в глаза я ей это говорю, и все говорят. Избу-то отделаешь: мы и дадим знать и на сходках мирских и так по селу, на торгах. Хоть, пожалуй, и шапку на палку повесишь и пойдешь вдоль базара между народом и станешь кричать: «Не хотите ли-де, православные, ребят отдавать грамоте учиться: приводите на зиму!» А чтобы не трогали тебя сотские, я берусь и исправника и станového попросить и денег на книги дам. Подумай-ко, да и принимайся за дело, с молитвой. Так ли?

— Чего, дядя, лучше! отчего не так? Ишь, как ты ловко надумал; мне бы во сто лет не пришло так-то. Палата же у тебя ума-то, дядя, эка палата!..

— Ну, да что хвалить-то, что? не годится хвалить своего, осудят сторонние! — мог только сказать старик, но, видимо, был доволен и похвалами племянника, и собственной выдумкой и толком, каким наградила его природа и долгая безупречная жизнь.

По совету и при помощи дяди изба поправлена, сделалась по-прежнему годною для жилья. Приблизилось желанное время ярмарки, собиравшейся в ближнем посаде. Понесся оттуда на всю окрестность громкий гул и бестолковый говор съехавшегося народа с телятами, мукой, медом, поросятами, всякого рода дичью, бураками, ведерками, хомутами, шлеями и пряниками и проч., и проч. Подторжье былолюдно и шумно: ярмарка и шумнее и люднее, особенно после той поры, как прошли образá, утих колокольный звон и начался самый важный развал и разгар ярмарки.

В эту пору над головами базара выставилась на палке косматая шапка-треух, которая медленно подвигалась вперед. Ближайшим кучам базарного народа слышался из-под этой шапки громкий разносистый припевок, обращавший на себя общее внимание. Некоторые спешили остановить и расспросить кричавшего. Другие сторонились и опять принимались кричать и громко спорить между собою.

— Что, Петруха, зеваешь? али корова либо лошадь пропала? какой шерсти-то? уж не буренка ли дядина? али буланой? — сыпались вопросы со всех сторон на кричавшего, ставив его в необходимость повторять свои предложения всякому порознь.

Одни молчали на это, нетолково придакивая, другие извещали его, что детей не давал Бог, не упуская при этом случая подшутить над молодухами. Иные отвечали короче:

— Ладно, молодец, будем знать! — ступай, сказывай дальше!..

Снова сторонился народ, снова поднимался над головами и массой базарного народа косматый треух и выкрикивал громко и нараспев голос Петра Артемьева своей длинный припевок:

— Не надо ли кому ребят учить: читать, писать и погражданскому и по-церковному? Приводите в деревню Судомойку на зиму. Дешево берем!

VI. УЧИТЕЛЬ

Базарный выкрик Петра Артемьева не пропал даром; по деревням понесли лестные для него слухи, что, дескать, в Судомойке один молодец из питерщиков грамотой маклачить хочет и избу на то построил новую, и ребят учит, и письма пишет кому надо. За науку всем берет: и мукой, и пшеном, и капустой, и солью, и маслом. Лен — так и тот берет: сырьем и в нитках. Судомойковский барин крепко-накрепко наказал всех ребят отдавать к нему: за тем и бурмистру велел смотреть, и сотского по избам гоняют. У учителя полна изба всяким народом: и девчонок даже берет, — есть и такие.

Подобные слухи, переходя из избы в избу, из уст в уста, поднимали, шевелили домоседство и закоснелость деревенского, соседнего Судомойке, православного люда.

Поднималась и приходила к учителю вдова-старуха, которой спалось и грезилось видеть своего Андрюшку грамотным, — таким, чтобы он читал в поученье мирянам и «Часы» перед обедней, и «Жития» у дьячка в избе но воскресным утрам, и чтобы истово и громко носился его голос по избе, услаждая и вразумляя слушателей, и плакала бы, горько и слезно плакала бы при этом она, сердобольная мать такого толкового, разумного и грамотного парня.

Приходила она в избу учителя и кланялась за парня, и его толкала вперед:

— Вразуми! возьми ты моего болезного-то на уче-
нье. Толков ведь, больно толков: сам змейки делает, ба-
лалайку, разумник, сладил из писарских подтяжек, из
ниточек медных.

— Давай! Берем всяких.

— А почему тебе дать за науку-то? — робко спра-
шивала мать у учителя и слезливо смотрела ему в
глаза.

— Всяко берем: и деньгами и житом. Да где, чай, у
тебя деньги? — спрашивал учитель.

— Какие, кормилец, деньги? Как помер покойник,
почитай, и на глаза не видывала денег-то ни копейки.

— Ну, так житом давай, коли денег нет — и жито
пригодится: овса, муки...

— Будет, батько, будет; занесу утре. Не бей ты толь-
ко парня-то, не хлещи до слез. Боязкой ведь, храненой!
Не напужай: обольется!..

Учитель уговаривался, брал парня и принимал дру-
гих просителей.

Приводил и сотский многих ребят, в сопровождении
ругавшихся и неутешно плакавших матерей: и грозил
им сотский своей палкой, и про березовые веники на-
поминал, и про станового. Еще больше и сильнее пла-
кали и бранились бабы, хватаясь за ребят; еще громче
и сильнее стучал сотский своим падогом, но все-таки
устаивал на своем и исполнял начальничий и помещи-
чий приказ.

Приходил к Петру Артемьеву и несчастный отец
баловников-ребят, отбившихся от рук своими шало-
стями, которые особенно участились в последнее вре-
мя. Жалобы на шалунов слышались чаще, приносились
со всех сторон. То ребята в овинах затеяли картофель
печь — того гляди подожгут не только овин, но и дерев-
ню. То на рога коровам пустые лукошки привязывают;
то длинные шести к хвостам; то вилашки у баловли-
вых свиней снимали и до упаду ездят на них, гоняют
по полю. То кошек чуть ли не всех побросали в пруд;

синяков девчонкам наделали. Все одни и те же ребята начинают, все дети того же несчастного отца, который и к розгам прибегал, и словами донимал, и все-таки не видал толку и исправления; ребята как назло еще хуже дурили: стали на старух насакивать и шлыки сбивать, — сбили шлык и у бурмистровой матери. Тут уже не вытерпел отец; развел руками, посекал ребят; побранил, сколько мог, крепко и решил отдать их в науку; авось дескать, там поотвыкнут, а то — того гляди — своей спиной придется скоро разделяться, отвечать за ребят.

Велел он им скорее одеться и повел из избы: замерли у ребят сердца, словно перед страшной, но неизбежной бедой, до того, что не раз на пути порывались на утек, за спиной отца, опять к другим деревенским ребятам в компанию. Отец переловил их и все-таки настоял на своем и привел к знакомой для деревенских мальчишек судомойковской избе учителя, откуда несло на всю деревню нескладное завыванье десятка детских голосов, накрываемое густым напевом руководителя.

Одни голоса побойчее, словно трещотки, тянули скоро и опережали остальных и даже самого учителя, густой голос которого сопровождался ударами по столу.

Он сидел в переднем углу; косматый, с толстой линейкой в руках, которой, может быть, сейчас только нахлопал на баловливой ладони десяток, а того и гляди дюжину горячих, невыносимых от боли паль, которые так и жгли всю руку и заплечья провинившегося. По обеим сторонам учителя, вдоль стола, уткнув головы в раскрытые, изорванные и до неопрятности засаленные книжки, скучившись, сидели невольные жертвы — мученики. У средних торчали указки из лучины с острым концом и широким, красиво зазубренным верхом. Трое стояли на коленях в углу, подле печи: один из наказанных таскал из-под себя горох и украдкой просовывал

в рот. Другому, более виноватому, досталась горшая участь: он поставлен был на дрясву, которая больно впивалась в колени, и виновный, тоже украдкой, разгребал ее по сторонкам. Над третьим виноватым подшутил учитель, поставил его лицом в угол и запретил оглядываться! В противном случае его ожидали земные поклоны, от которых потом могла пойти кровь носом и головная неутешная боль.

Такова была ежедневная картина избы Петра Артемьева, крайне обрадовавшая несчастного отца и запугавшая и опечалившая его баловников-ребятишек.

Учитель призамолк: мгновенно затихли и певчие его, воспользовавшиеся отдыхом, чтобы пощипать и пощекотать друг друга, и в свою очередь поместиться к печи, на дрясву и горох.

Отец баловников говорил учителю:

— Вот еще тебе три парня в науку: совсем одолели. Пошугай их вволю, дери сколько знаешь и сколько хошь — перечить не стану: и веников навяжу, если велишь, даром, и дрясвы наколочу, и гороху нагрёбу. Дери, знай, вволю, да шибче, хоть три шкуры спускай, — совсем одолели: вечер лошковской корове ни за што отрубили хвост. Уйму — нет!.. А ну-ко, ну! поставь-ко и моих-то на дрясву попервоначалу: я посмотрю!

Учитель рад был исполнить волю родителя, хотя и с большим трудом сделал это: новички еще не привыкли сразу повиноваться ему и спешить тотчас же подчиняться наказанию, как в воду — в омут — кидаться, в полной безнадежности и, не видя другого исходу ни назади себя, ни впереди.

Отец полюбовался потехой и заговорил об условиях:

— Чай, ведь, не даром берешь?

— Вестимо, не даром.

— Какое же тебе спасибо-то надо? я не постою. Отучи только ребят от баловства.

— Да вот барин за наших велел полтину давать в зиму, и эти за полтину идут! — толковал учитель, стараясь вразумить отца, что берем-де и житом, а все бы лучше, если б деньгами уговориться. К тому же тут три парня и поторговаться можно.

— Деньгами, по мне, не за что платить тут. Ты, вон, слышал я, больше житом берешь, и с меня бери житом. У меня, вишь, ржи залишной много осталось, поделился бы, и не в тягость бы мне было. А деньгами тут не за что платить.

— С тебя надо деньги: мужик ты с достатком, с другого кого беру и не деньгами, а с тебя неподходяще.

— По гривеннику ведь тебе положить за парня, чай, мало будет?

— Это только на книгу хватит. А труды-то во што ставишь?

— Ну, еще кладу по пятаку на парня! так и выйдет по пятиалтыннику.

— Нет, эдак-то несходно; эдак-то ты сам лучше учи, а мне не надо: и этих ребят будет с меня.

— Постой, да ты постой, поторгуемся. Ну! по двугривенному за голову, и книги куплю сам!

Отец уже протянул пятерню, чтобы ударить по рукам и решить дело окончательно. Но учитель знал норов и упрямство соседних богателей и не подавался назад от назначенной цены в начале до конца сделки.

Мужик ломался, хитрил, сколько мог, придумывая придирчивые и несходные условия — и не устоял, встречая, с одной стороны, устойчивость и упорство учителя, а с другой — вспоминая прежние и воображая себе будущие шалости ребятишек, за которые мог бурмистр рассердиться и ребяцкое дело отдать на мирской суд и расправу.

— Ну, ладно — быть по тебе. Не стою! Только больнее хлещи ребят — не жалея шкуры! Мои ведь, домо-рощенные.

Окруженный голосистыми и шаловливыми учениками, Петр Артемьев мало-помалу привыкал к скучному и однообразному занятию учителя: целую неделю по утрам выпевал с ними букварь и псалтирь, терпеливо повторяя зады и медленно подвигаясь вперед. Зато, с другой стороны, он был обеспечен совершенно; для обихода у него на все был запас даровой, некупленный. Старухе его было легче справляться со стряпней: ребятишки-ученики, по очереди, и дрова кололи, и воду таскали в избу, считая даже эту работу за особенную милость, за награду, на перерыв, с неизбежной дракой, хватались и за топор, и за ведра. На праздник уходили дальние по домам, ближние расходились каждый вечер.

Так тянулась зима до той весенней поры, когда в деревнях начинаются работы трудовые, тяжелые, где и помощь ребятишек приносит свою очевидную пользу. Петр Артемьев, вследствие этих обстоятельств, на все лето прекращал ученье и начинал его снова поздней осенью, когда прогорят овины, затеются супрядки — засидки по вечерам, катанья по праздникам (с 24 ноября) и незаметно подойдет 1-е декабря — пророк Наум, который — по крестьянскому присловью — наставляет на ум. В этот день, по принятому и укоренившемуся обычаю, ученики и их родители обдаривают чем могут учителя.

Не удивительно, если на учителя к празднику появится: и армяк синий рещемской, и полушубок из романовских ярок; платок на шее и рубашка из ивановского ситца, шапка новая теплая с выхухоловой опушкой галицкой (шокшинской) выделки; и валяные сапоги макарьевские. Учитель, вследствие подобного обстоятельства, спешит освободить учеников до Николаина дня от ученья. А там опять голосит с ними на всю деревню в целую зиму, до Пасхи, и, видимо, доволен собой, — и успокоился.

Летом у него другая работа и вследствие тех благоприятных случайностей, что родина его поместилась как раз в той стороне, откуда выбирается народ на заработки в Питер, где и живет все лето, высылая к ярмаркам и базарам в семью посильные денежные пособия. К тому же и деревня Судомойка лежала недалеко от того заветного места, где выдавался этот «присыл», и которое простым народом, по-старому, обыкновенно, до сих еще пор называется *испидиторской*, редко *канторой* и почти никогда с прибавлением главного отличительного эпитета — почтовой. Сюда-то ежедневно летом (особенно в праздники) целые кучи баб, урываясь от спешных полевых работ, приходят послушать, как читает *испидитор*, т. е. перечисляет деревни, осчастливленные присылом, при общем гробовом молчании всей массы слушателей.

Однозвучно слышатся бестолковые и толковые, забавные и остроумные названия деревень и погостов, починков и ямов, погорелок и сел, выселок и городищ, усадеб и займищ, поселений и *сельдбиц*⁴⁸, и проч. Следом за названиями деревень общая тишина нарушается выкриком однозвучным и коротким: «кому?»

Следует ответ, и за ним или молчок, или простое: «скажем!», или же веселое и радостное, с особенным выкриком: «здесь — отложите!»

Счастливые выдвигаются вперед и должны расписаться; но как? грамоте научиться им и в ум никогда не приходило, а ребят за себя поставить, — так еще когда-то приготовит таких грамотеев Петр Артемьев? Зато он сам всегда тут налицо, и в этом случае человек неоцененный, дорогой. Без него баба хоть целый день бегай — не нашла бы поручителя и расписчика. Петр Артемьев, за десять копеек медью, готов на услугу, и распишется, и баба останется при деньгах, и он сам, писец, не внакладе. Из этих десяти копеек, в спешное время, перед ярмарками, у него легко составляется капитал до того значительный, что дает ему средства безбедно просу-

ществовать лето и оставить залишнюю копейку для угощения того доброжелателя и благотворителя, который указал ему на этот род промысла, и помог легко и просто, но выгодно пристроиться.

Счастье, видимо, улыбалось Петру Артемьеву, и даже присыл заметно ослабевал и чуть не прекращался зимой, когда питерщики самолично приходят в семьи, как бы нарочно около той поры, как учитель начинает засетки и ученье, которые только в праздник позволяют ему навещать в почтовую контору для расписок: «по неумению грамоте и личному прощению» получателей.

В праздники любил Петр Артемьев забираться на клирос, откуда слышался мирянам густой (по их выражению — толстый) голос учителя, носившийся под церковными сводами затейливыми, смелыми переливами. Этот же голос слышался прихожанам и среди церкви в Шестопсалмии и чтении Апостола и до обедни во время Часов, и начинал гудеть истово и речисто во время раздачи кусочков просфоры, перед концом обедни.

Петр Артемьев и уголья носил в алтарь, и воду горячую, и кадило подавал, исполняя церковные требы, и во всем помогая приятелю-дьячку. Пономарь-старик, терявший голос, не сходил с колокольни, и только иногда носил подсвечник и тушил догоравшие свечи.

Во время храмовых праздников и в первые дни Рождества и Пасхи Петр Артемьев ходил вместе со священником, со славой; прибирал ржаные караваи и яйца, и таскал их мешками и лукошками в телегу, на которой вечером развозил священство по домам. Он уже знал напевы всех восьми гласов, и знаменной, и киевской, и троицкой распевы; умел объяснять и значение слов: паралеклисиарх, эксапостилларий, сикилларий, ирмос, тропарь, кондак, и толковал доказательно все жития святых, которые, по старому заведенному обычаю, читались степенным мужикам перед каждой обедней в

избе дьячка или дьякона. В Лазареву субботу рубил он вербу, в Светлое воскресенье распоряжал расстановкой куличей и пасок; перед Троицыным днем запасал березки для церкви и щипал целый ворох черемушного цвету. В день первого Спаса непременно приносил в церковь яблоки и смородину. Одним словом, от Петра Артемьева можно было выпрашивать и получать толкования на все церковные обряды и обычаи и не ошибаться; твердо знал он, в какую службу стоят со свечами и когда совершаются коленопреклонения. Сказывал верно, какая служба длиннее и короче; в какой день какому святому празднуют; когда дается разрешение на вино и елей и когда благословляется всеястие или только одна рыба и елей. Не затруднялся он в объяснении пасхалии зрячей и по пяти пальцам собственной руки сказать число месяца и даже день, в какой придется отправление подвижных праздников. К общему удивлению и вразумлению — знал он потом всех святых и все дни, посвященные их памяти, так что все миряне решили в один голос, что Петр Артемьев обогнал дьячка и знает больше его, уступая в этом одному только батюшке да отцу-дьякону.

Петр Артемьев вел себя солидно и важно, — не засиживаясь на завалинках, и не любил сплетен, толкуя одни жития тем умилительным и высокопарным книжным языком, какой только и можно слышать от странников и боженников и какой всегда удивляет простого человека.

— Ишь, ты: говорит словно по-печатному, как в книге, и в толк все возьмешь. Башка, доточник, на том стоит!

Однако же, тем не менее, Петр Артемьев поспешил обзавестись берестяной, ветлужского производства, тавлинкой, с фольгой и ремешком, и стал нюхать чумаковский табак-зеленчак, с забавными приговорками — насмешками над курящими. Борода у него выросла в лопату, на голове стала просвечивать и пробиваться

лысинка. На затылке он нередко собирал и завязывал косичку; носил длинные белые рубахи; часто оглашал избу церковным пением; писал полуустановом и разрисовывал сандалом и охрой поминальники; даже раз переплел вновь старую триодь и срисовал вид какого-то монастыря...

Одним словом, о петербургской жизни забыл Петр Артемьев, как забыл и дядя-старик, который не мог радоваться плодами своего влияния, руководств и советов. Все пошло как нельзя лучше, к общему — племянника и дяди — удовольствию, но надолго ли? Этого не могли сказать ни тот, ни другой. Сказало время и случай.

VII КУЛАЧОК

Петр Артемьев, в теплой избе, лежит на полатах и нежится; старуха мать забралась на невыносимо жарко натопленную печь, творит молитвы и охает.

— Спишь, матушка, али нету? — окликнул ее голос сына.

— Где уж тут спать: к вечеру-то опять косточки по всем суставчикам заныли, головушку-то словно свинцом налило: шабала шабалой.

— А слышишь, все слышишь, что толковать стану?

— Ну, да как, кормилец, не слышать: на левое-то чутка. Правое-то ровно куделей завалило, и ходит там такой-то гром...

Старуха снова заохала и снова творила молитвы.

В избе опять наступило прежнее затишье, которое мгновенно погружает в крепкий сон всякого трудового — рабочего человека. Спит в это время и кот в печурке, и овцы лезут по углам, и корова щурит глаза в подизбице. Не спали только обитатели учительской избы, потому что сам он вскоре опять нарушил молчание.

— Матушка, а матушка?

— «Асенько»? — было ответом.

— Вот что, — начал опять Петр Артемьев, — ладно бы зыбку навязать, и тебе бы забавно было.

— Да на што зыбку-то, про чьих это?

— На што?! — ребенка положить.

— Да чьего ребенка-то, — чьего?

— Своего ребенка, не чужого положить, хоть бы и моего ребенка положить.

— Да нешто ты, разумник мой — красавец, надумал ожениться?

— Отчего ж не ожениться, отчего ж не вступить в супружество, что не совокупиться узами-то брачными?

— Давно, батько, давно я тебе толковала: не слушал ведь меня, знать не хотел! Покачала бы, мол, я внучат своих крошечек, порадовалась бы я на них, поплакала бы на внучат-то своих! Господи, мол, Батюшко, внуши Ты Петровану-то моему мысль экую. Я бы и глаза-то закрыла покойнее и в сырую-то бы землю легла, Господи, мой Батюшко!..

— Ну, да ладно! благо надумал: теперь не отстану! сказывай только, какую хочешь и какие там невесты-то есть.

— Мало ли, батько, невест; сам, чай, видал: вон полесной один семерых девок возвел.

— Полесного девок даром не надо: и не вспоминай об них другой раз — злючие, всего изломают, я смирен. Сказывай про других.

— Лукерью Трепачиху бери: девка — гладь, писаная красота; сам, чай, видал. Изо всей деревни краше всех; вся в мать, как *окапаная*.

— А не станет по грибы у соседских ребят проситься с собой понять?

— Ну, да што ты, батько, больно вяжешься-то? то — дело девье, а бабий шлык наденет — другая станет.

— То-то я и сам так смекал... на нее!..

— Благослови тебя, Господи, вразуми Он тебя! — Покачала бы я зыбку-то, посмотрела бы хоть одним глазком на внучат-то своих.

— Пищать, чай, станут — одолят.

— Не чужие, батько, свое порождение! и крик-от не тем сдается, свой крик. Ты не сердись, пущай их кричат, и сам ведь кричал, и батько...

— Подлинное дело, что кричал: ну, а коли женато согрубления станет делать, да взвозжает тебя? — волком взвоешь.

— Твое ведь дело — большаково. На то и пословка сложилась старыми людьми: муж жену бьет — под свой норов ведет.

— Я бить не стану: я смирен!..

— Ну, да как, батько, не бить; все ведь так-то; оттого и согласие! Шубу бей — теплее; жену бей — милее.

— Я не стану бить: я питерской! Не велят там — ругают. Да опять-таки и дядю нужно об этом спросить: голова ведь — скажет.

Петр Артемьевич в тот же день был у дяди.

Пришел в избу: по обычаю, помолился на тябло и роздал поясные поклоны: сначала хозяину, а потом и остальным домочадцам; сел к столу, ближе к дяде, и замолчал, понутив голову. Дядя заметил это и начал первым:

— Али что неладное у тебя? давно не бывал, а пришел — и словом подарить не хочет. Сказывай: что за притча прилучилась?

— Нет, так — никакой притчи не прилучилось.

— Что ж волком-то смотришь: рассердил, что ли, кто?

— Никто не сердил. За что меня станут сердить?

— То-то, кажись, не за что. Что ж больно не весел?

— Вели, дядя, бабам не слушать, одному скажу: после все узнают. Ожениться, дядя, захотел: ей-богу таково-то скоро захотел. Благослови!

— Поздненько надумал... Ну, да что ж? Холостой-то — сказано — умрет: собака не взвоят.

— То-то, больно, вишь, хорошо: ребят миру поставишь; опять же и себя облегчишь. Мать тоже стара стала: всю ломает.

— По охоте ли только решился? не так ли, смотри — сразу *взгрептелось*: бывает ведь эдак-то...

— У меня — по охоте! Вот взял бы я бабу-то какую, да и жил был бы с ней, коли бы не злющая только попалась; все бы целовались.

— Ну, да хоть и не все бы целовались; а в миру с женой жить — чего лучше! Жена, сказано в писании, великое дело.

— То-то, дядя, смеаю: великое. Муж с женой — это чета... человек да не разлучает! сказано.

— Так, братец, так — и не иначе. Жена это теперича такое дело, что она завсегда у мужа под началом должна быть. Она, как на избе труба, а ты — как на церкви глава. Надо тебе жениться — что говорить?! надо хозяйку молодую — хозяйкой дом стоит; опять же и семейная каша погуще кипит.

— Вишь, ведь ты, дядя, как толково знаешь это: сказывай-ко дальше, сказывай.

— Выбирай только по сердцу, и живите вволю, а там деритесь, бранитесь — да не расходитесь только.

— Я драться не стану: не такой! Вон и мать тоже наказывала, да не дело наказывала.

— Ну, да оно — почитай что — и дело. Недаром ведь толкуют, что жене спускать — в чужих людях ее искать; а кто жены не бьет — тот и мил не живет. Женской быт — всегда он бит.

— Нешто ты сам-то бил, дядя, тетку-то?

— Бывалое дело, — не без того же. Дрались — бранились, а под одну шубу-то ложились. Свой ведь суд короче: на то у нас в дому и согласие стояло. Где грозно — там и честно.

— Да вот опять дело какое, дядя: ребята пойдут — за их ответу много.

— Ну, до этого еще далеко, — до ребят далеко. А ты бы смекал пока девку, да и за дело бы брался: не откладывал. Нашел ли невесту-то?

— Ну, да как не найти: вон Параньку-то тогда ладил, а теперь и пригодилась бы. Параньку-то и по любви бы можно, а ушло такое время: не вернешь. Параньку-то больно бы ладно.

— Что бредишь-то? что не дело-то разводишь? Чужая, брат, жена, что у волка в зубах: не вырвешь, сказано: не твоя — и воздержись!.. и мимо, — дальше проходи... кража ведь — это: грабеж, братец ты мой и... А есть непутные-то такие. На чужой каравай рта не разевай, а своим-то запасцем жить станешь — и мир не осудит, и на сердце у самого легче, и...

— Я тебе, дядя, не про то... не так бы тебе сказать-то надо ... Девку-то я, Лукерью, наметил.

— Трепачиху-то! смотри, не ожгись: огонь-девка! Не взяла бы она тебя за нос, да не водила бы вдоль избыто из угла в угол...

— То-то, дядя, не водила бы, не смущала.

— А что же я-то со старости, что с дурости: надо бы мне так тебе сказать, что умей дать жене ход, не пущай вожжей, что лошади, и брыкаться не станет; а не стегай по щекотливому-то месту — и норову не покажет и повезет тебя ходко, и набок, в колею какую, не свалит. Вот ведь оно как по-моему; так бы надо говорить!

— Да так и есть и вправду, коли по-твоему эдак! — решил Петр Артемьев.

По совету дяди, сам лично отправился он уторговывать невесту, прихватив кстати и выводное на всякий случай. Дело это ему было внове, и потому, когда он отворил дверь в невестину избу, то и смешался и растерял все, что успел придумать для разговоров с отцом и матерью и самой невестой.

Стал он у двери, как громом пришибленный, кланялся и махал без толку шапкой.

— Что не сядешь-то: садись! не впервые знаемся. Петр Артемьич! садись — гость будешь, — выручил его из неприятного положения хозяин.

Петр Артемьев помнил наставление матери и продолжал стоять у дверей.

— Я ведь не сирота! — заговорил он наконец. — Я купцом пришел. У тебя товар... и я купцом пришел.

Петр Артемьев еще больше смешался и перепугался:

«Эка притча! — думал он про себя, — угораздило самому прилечь, а и не мое дело-то это. И мать говорила. Сунуло голову в овин, хоть уйти до другого разу — так впору... горю со стыда!»

— Чем же торговать-то надумал? — спрашивал, между тем, отец невесты.

— Чем надумать-то? торговать!..

И в голове жениха заворочались кое-какие мысли о том, чтобы соврать, и даже какой товар придумать для торгу. Но отец невесты смекнул, в чем дело:

— Да ты не сватом ли за кого пришел? Товарец-от эдакой, признаться, есть у меня, — есть; что греха таить, — есть.

— Знаю, что есть; за тем и пришел сватом.

— Так садись, дорогой человек: садись в большое место. Сказывай, за кого пришел сватом, по тому тебя и чувствовать станем.

«За кого пришел? ни за кого не пришел, сам за себя», — продолжал рассуждать вслух Петр Артемьев и оправился:

— Лукерья твоя мне по мысли: по ее пришел. Отдай в жены, у меня и выводное с собой, поторгуюсь!

— Так надо по обычаю делать, Петр Артемьич, не разгневайся! Ты мне зять сподручной, да уж коли сам пришел сватом за себя, так надо и девку спрашивать, по мысли ли ты-то ей? Такое дело ведется у всех, — вон и баб спроси, да и сам ведь, чай, знаешь?

— Знать-то не знаю, а слышал. Спрашивай девку — по мне все едино! — решил Петр Артемьев спроста; но ошибся в предположениях.

Девка отказалась наотрез и пустилась в слезы. Если бы Петр Артемьев оставался в избе подольше, не уходил бы вскоре, он мог бы в причитываньях Лукерьи

слышать обзыванья себя «постылым, бесталанным, неладным», даже намеки прямые на лысину и старость, поклепы на Параньку, на учительство, на горох, розги, дрясу и проч. Устояла на своем бойкая девка, и не пела на сговоре, при прощаньи с родителями, хоть и кстати была бы теперь эта песня:

Я еще у вас, родители,
Я просить буду, кланяться:
Не оставьте, родители,
Моего да прошеньица:
Не возил бы меня чуж-чуженин
Во чужую во сторонушку,
Ко чужому сыну отецкому.
Не пасся бы он, не готовился;
На меня бы не надеялся.
У меня ль, у молодешенькой,
Еще есть три разны болести:
Я головонькой угарчива,
Ретивым сердцем прихватчива,
Своим свойством неуступчива.

— Заварил Петруха пиво, да случилось нетека! — реши-
ли на том мужики-соседи — и только.

— А все оттого, что сам ходил сватом. Ну, мужчин-
ское ли это дело? — толковали бабы.

— Нешто деревня-то клином сошлась? напились бы
сваты-то, — и я бы сходила!

— Да и я бы, мать, не прочь: и дешевле бы твоего
взялась, из одних бы почестей пошла, не токма что...

— Мать бы спосылал, и все бы лучше — гляди.

— Дядя бы сходил — мужик на почете, а то смо-
три — срамоты какой натерпелся; сама Лукерья отка-
зала, сама девка — да слыхивано ли эдак? Я бы на ме-
сте его не отстала.

— Смирен ведь, больно смирен, словно боженник.
Только вот с ребятами воевать умеет, и то, слышь, са-
мих сечь-то заставляет: сам не сечет. Смирен!

— Чего, мать, смирен? да экое попущение терпит:
девка обошла!

— Сам, сказывали, отец-от ломался; он, мать, всему вина. Он бает: отчего-де дядю не подослал; а сам пришел? И без выводного бы тогда, бает, отдал. Сам отец не отдал за Петруху, сам...

— Ну уж, поймала бы я на задах Лукерью; вдосталь бы я натрепала да нахлопала ее на Петровом месте — знай!..

— Смирен ведь: воды не замутит.

— Коли уж больно жениться-то приспичило: девок и в соседстве много.

— Да здесь-то срамота; по деревне-то своей срамота. Девок-то наших калачом теперь за него не заманишь...

— Что говорить, дева, что говорить: оплеванной.

— Эко зелье — девка, Лукерья-то! Смотри ты, какая шустрая, какую волю взяла: ей бы, вишь, Мишку, почтового ямщика, что высвистывает ее на бору, а уж натрепала бы я ее на Петрухином месте, вдосталь бы нахлопала.

— Ну, да ведь и Петр-от Артемьев стар стал: сунуло же его без пути-то, без толку, с большой бородой.

— Чего, мать, стар, не старе тебя.

— Небось — года ты мои считала; свои бы лучше смекнула!

— Смекать-то я и свои, и твои смекала, да все, гляжу, — не ровня мы с тобой.

— Ну, где ровня? У тебя-то и курицы-то петухами поют. Бурмистр сватывался, да отказала, за солдата пошла.

— А ты-то за разношерстного попала, прорва экая, — невидаль. Все бы она на облай да на облай шла, ненасытная!

Бабы пойдут дальше на крик и громкую брань; но Петру Артемьеву от этого не станет легче. Он сильно озадачен и как будто провинился в чем: бранил и себя, и Параньку, и Лукерью; но все-таки пришел к тому заключенью, что в настоящем случае ему не нужно бы

было самому ходить сватом; а в другой раз не следует и других засылать с тем же делом. Во всяком случае, отказ Лукерьи он почел за неудачу, за одно из несчастий житейских, которые ложатся на сердце тяжелым гнетом и нередко забываются вскоре, если не проточится на сердце новая ранка, которая, растравляя первую, еще не зажившую, сама в то же время болит и ноет.

Так случилось и с Петром Артемьевым. Опять-таки горе не живет одно — по смыслу одной из правдивейших русских пословиц.

Петр Артемьев заметно тосковал, но не жаловался, не надоедал никому своим горем, тосковал молча, про себя, и, между тем, старательно подчинялся заведенному порядку своей обыденной жизни: по-прежнему ходил с церковными требами по следам дьякона и священника; по-прежнему, был в приятельских отношениях с дьячком, во всем посильно помогая ему.

В одну из таких треб — слав по случаю храмового сельского праздника случилось ему возвращаться в поздний час глубокой, темной зимней ночи, в страшную пургу-метелицу, когда так любят кучиться волки и ходят на промысл толковые и сметливые, но боязливые воры. Снег хлопьями клубился и снизу и сверху, и со всех четырех сторон, разоряя старые и сметая новые сугробы, сначала на одном месте, потом на другом, дальнем. Ветер неистово свистел в сельских трубах и хлопал волоковыми окошками, разметая солому с крыш и раскачивая плохо сплоченное дранье тех же крыш на избах более достаточных обывателей. Злополучный ездок сбивался с торной дороги и не находил заветных вех, вплотную засыпанных снегом; лошаденка его фыркала, пряла ушами и безнадежно хлопала хвостом, боясь и не находя достаточных сил идти дальше. Ни говора, ни крика, ни спасительного огонька вдали, кроме свиста ветра и шороха по оледенелому насту нашей северной бестолковой вьюги.

Блуждали долго и ездук, и путник — Петр Артемьев, пробиравшийся в то время из села в родную Судомойку. Судомойки нет и в помине; а село далеко ушло или взад, или вправо, иль влево... нога Петра глубоко вязнет в рыхлый наносный снег и с трудом поднимается для нового шагу. Он утомлен, заметно весел, впрочем, и, вследствие последнего обстоятельства, свалился в овраг судомойковский и лежит в нем, и спит, крепко спит до другого утра.

Вьюга утихла; наступило заветное затишье и успокоительная теплынь. Она вскоре сменилась тем страшным морозом, который кует в сплошную и твердую массу вчерашние сугробы, леденит все сподручное, обындеивает густые бороды обозников. Она мгновенно будит и ставит на ноги спавшего в овраге Петра Артемьева.

Он едва держится на ногах, едва бредет до деревни, с трудом добирается до своей избы, бросается на лавку, плачет навзрыд, как ребенок, и показывает оторопелой, растерявшейся матери свои отмороженные руки. Приходит бабушка-лекарка — дожжевик лицом. Знахарка шепчет над ковшом, прыскает через уголь — больной стонет сильнее, и мечется, и плачет неутешно, как малый баловник-ребенок, у которого отняла блудливая кошка *сусленик* или кусок пирога — *загибеньки*. Лекарка добывает гусяного жира и обкладывает им и травой-подорожником отмороженные руки, но Петр Артемьев все мечет долой и бредит Лукерьей, миром, стыдом, метелью.

Лекарка утешается сама и утешает других только тем, что у больного хоть ноги-то остались целы, натертые сначала муравьиным спиртом, а потом дегтем, и что руки его — Бог даст, — пройдут, и натирает их кое-как добытыми и разведенными в холодной воде квасцами. Больной приутих — и заснул.

На другой день опять он горько всплакал; но опять натерли ему руки квасцами. На неделе приехал уездный лекарь, проездом на следствие — больной пона-

ведался, поплакался своей болезнью приезжему и показал руки. Лекарь поморщился, позвал подлекаря, велел больному зажмурить глаза, смотреть в сторону — не оборачиваться — и в десять приемов отрезал пальцы по вторые суставы. Петр Артемьев опять кричал, но, по отъезде своего спасителя, строго исполнял его приказания, — и смело и вовремя сбросил тряпки. Взялся потом за перо — пишет, хоть и не бойко; взялся за ложку деревянную — держится, хоть и не крепко; приложил пальцы к ладони и засмеялся — вышел не кулак, а кулачок.

Пошел он с тех пор зваться Кулачком не только в своей деревне, но и во всей окольности, где только знали его, и звали прежде Петром Артемьевым, по отцу — Сычовым. А русский человек — как давно и всякому известно — без прозвища не живет; злит и бесит это меткое прозвище родоначальника его и слегка привыкают к нему его потомки, считая праотцово прозвище чем-то законным и ненарушимым — и не сердятся, не смеются даже, как бы нелепо и забавно ни было это прозвище.

Вместе с прозвищем Кулачка, по соседству проносились про Петра Артемьева и другие слухи, может быть, даже и пустые сплетни. Одни говорили, что он был шибко пьян, когда ночевал в овраге, и что чуть не целый уповод перед горем прощался с дьячком и целовался с ним часто и песни пел; другие, что одолела его пурга, и, сваливши с ног, унесла ветром, против воли, в овраг и убаюкала свистом, что колыбельной, бабушкиной песней. Третьи — наконец, толковали совсем другое: что будто бы Петр Артемьев, с отказа Лукерьи, на все махнул рукой, жил спустя рукава, даже ребят реже сек и что будто бы, назло Лукерьину батьке, сам забрел в овраг и растянулся в нем, и что будто бы еще с вечера печалился дьячку на свое бездолье, кровные обиды в отказе Лукерьи ее отца, толковал об утонувших в полыньях и проталинах и о другом прочем.

Все это были, может быть, бабьи сплетни; а бабий язык, что мельница ветряная: пустил в ход и пойдет писать; все мелет, крушит и кружит, до тех пор пока не дунет противный и сильный ветер.

— Тонут люди; до смерти мерзнут и горят в пожары до самых костей; а вышла мне нелегкая доля, уродом стать! — думал Петр Артемьев о своем горе.

— Мир глаза колет, особо парни да девки проходу не дают, и ребятенки малые глаз не спускают, хоть и в привычку бы им мои кулаки. А и дядя бы сам — важный человек, да и тот подчас глумится: «Зачем-де — слышь — не нос отморозил». Ладил и на улицу не ходить — да вышло неспорное дело. На ребят больших сотскому жаловался и до старосты доходил — еще хуже стали, чуть не до грязи доходило дело: а и летами бы дошел и досужество бы такое, что у всего миру надо быть на почете. Нету проходу!

— Да ты бы сам-от не трогал: пущай лают — отстают. Эдак-то бы лучше! Вот и собаки тоже... — советовали Кулачку доброжелатели.

Но он при этом махал только рукой, и снова перебранивался с досаждавшими, поджигая их — по общему закону природы — на большие и сильнейшие насмешки.

Действительно, не было ему проходу. Почему-то любили соседи — русские люди — трунить над учителем всегда одними и теми же насмешками, следовательно, еще более досадными и неприятными.

— Что, Петруха, али коготки-то об ребятишек обломал? — приставал обыкновенно какой-нибудь парень-подросток, и готов был схватить руки Кулачка, чтобы показать их миру, но Кулачок тщательно прятал коготки по карманам своей длиннополой сибирки.

Остряк не унимался: садился подле Петра Артемьева, клал ему руки на плечо и начинал посвистывать. Кулачок обыкновенно сбрасывал руки и упорно молчал. Пример зачинщика увлекал других, и вскоре Ку-

лачка окружала целая ватага, которая скалила зубы и бестолково и без видимой причины начинала гоготать и ухать. Кулачок или вставал и бежал, разбивая стену ребят — но тогда его хватали и теребили за что ни попало, или оставался в кругу и продолжал упорно молчать.

Ребята не унимались.

— Вечор Лукешка ребятам сказывала, что коли бы-де у Петрухи руки были целы, без выводного бы, мол, пошла, а то так-то, слышь, коли на нас падет некрутчина — сама уйдешь за него, — говорил прежний остряк-зачинщик.

Ребята, обступавшие Кулачка, начинали смеяться сначала тихо, но, постепенно приходя в азарт, наступали на него и теребили за рукава и полы. Кулачок только отвертывался, кричал: «отстаньте!» и все еще выдерживал роль.

Но остряки не отставали:

— Дьячок Изосим опять засылал за ним: выходил бы-де опять в овраг волков пугать. Я, мол, и рукавицы принес. Слышь, Петруха, слышь: сказать наказывал крепко-накрепко! — говорил один и теребил Петруху, который, видимо, начинал сердиться, потому что спешил схватиться за близлежащую палку. Палку вырвали; к первому остряку приставал другой:

— А Петрухе, братцы, совсем на руку волков-то пугать... ишь, бородато: хоть корчаги мой; заместо оты-малки может...

— А на голове-то, гляди, какие проталины, а по бокам-то все клочья? — приставал третий, и мгновенно схватывал с головы Кулачка его городской картуз с светлым козырьком, и бросался из толпы.

Кулачок кидался следом за ним, бранился громко и сильно, и вся окружавшая его прежде толпа металась туда же, вслед за первыми, хватая на пути палки, щепки и проч. Все это бросалось в Кулачка.

Толпа становилась гуще. Кулачок рвался в свою избу; но на него продолжали наскакивать, подставляя ноги: он падал, мгновенно поднимался, хватал с земли и бросал в ребят грязью, если только какой-нибудь ловчак не садился на него и не начинал теревить за бороду. Кулачок выходил из себя; ребята хохотали, кричали, прыгали и увлекали своим весельем степенных мужиков, любивших выходить на завалинки и любоваться дешевой потехой.

— Да ты бы, Петруха, сам им подножку ладил, а не то бы палку взял, — советовали последние Кулачку, который измученным, едва переводя дыхание, наконец вырывался из толпы и брел в свою избу.

— Я бы на твоём месте сам их задираю — не приставаля бы: вот Мишутка-то на левый бок щекотлив, Мосейка старостин не любит, коли обзовешь его, что лукошком месяц в реке ловил; а бабушка вон этого на дединой голове блины с творогом пекла... Дразнил бы ты их: не приставаля. Али смирен, по отцу пошел? Тот тоже никого на пугал.

— Эка, Петруха! Дело-то твоё спорное, а ребята-то все головорезы, шустрые; на язык-то охулки не кладут. Гляди — какие гладыши: отцовы дети. А право бы, лучше, коли сам бы ты их ругал!

Но на эти советы Кулачок отчаянно махал рукой и говорил всегда одно и то же:

— Не надо было в овраг ходить и на улицу выходить не надо. А я смирен — мне не сладить. Пушай лаются — меня не убудет.

На другой раз он также терпеливо молчал в начале и кидался за толпой в конце: уставал также, задыхался, бежал в свою избу: ложился на полати и, привыкая спать крепко, привык мало-помалу и к своей роли деревенского потешника, к которой он незаметно и против воли, конечно, приготовил себя, и, смиренный человек, — подчинился. Даже сам толковый дядя не мог придумать средств избавить племянника от посмеянья

толпы; а сам виновник насмешек, при первом напоре их, терялся вовсе и не находился. Пример подан, а начало выдержано — и ребята не переставали. Привычка вторая натура — и Кулачок отшучивался и незаметно падал и в глазах соседей, и мало-помалу упал в собственных глазах.

«Стало, так надо», — думал он про себя.

— Отстаньте, черти — не то палку возьму! — продолжал он говорить другим, и бегал за ними, оправдывая себя тем, что играет же взрослый народ в городки и ездит же друг на друге, как малые ребятенки, отчего и ему не поломаться, не порасправить косточек: на то даны сила, досуг и свободный час и ретивая стая ребят-зачинщиков. Иной раз не чувствовал он задору и охоты на шутки и вследствие того мог бы превращать — против воли — игру ребят уже в простую драку, платясь собственными боками и спиной, — тогда Кулачку вспоминалась петербургская жизнь, которая подбивала его и брала верх над рассудком.

— Как это ты Бога да честных людей не боишься, Петр Артемьич: опять взялся за старое! — говорил ему немного спустя дядя при всякой встрече, и качал головой и охал.

Но Кулачок придумал отпор и отвечал, хладнокровно улыбаясь и махнув рукой, и всегда одно и то же:

— Ох, дядя! Одну выпьешь — боишься; другую выпьешь — боишься, а как третью выпьешь — и не боишься. Нет, уж теперь, — что хошь — ухватился опять за чарку: хоть на цепь сажай — не отстану.

— Да, чадо, глупое детище, пропащим сделаешься!

— Знаю, дядя; не я первой... хмель — продажная дурь, кому надо, тот и покупает. Горе, дядя, народ почету не дает: все глумовством отдает тебе — не приспособишься инако; а так-то легче, совсем легче, и пляшешь... На-ко какие я песни начал складывать!.. Горе, дядя!..

— Без вина одно, а с вином новых два: и пьян и бит. Сказывано: одну чарку пей, да к другой не тянись, от третьей беги — не оглядывайся.

— Слышал, дядя, и эдак. Знаю и так, что взялся за гуж — не толкуй, что не дюж, а по мне коли пить — так пить, а не пить — так и не начинай вовсе. Такое дело. Отстань — не ругайся! Делал до этого по-твоему, теперь по себе стану! Гляди-ко, какие знатные песни в питейном бурлаки поют, да какие и я сам подбирать стал.

— Не надо, не пой у меня, — не такое место. И не ходи ты ко мне, на глаза не кажись.

Дядя топал ногой и не на шутку сердился.

Кулачок умилялся, по-видимому, и говорил сладеньким, обиженным голосом, вздыхая глубоко и как будто искренно:

— Не трогал я тебя, — почитал... и как есть, значит, холил, уважал, и не заслужил я экой брани. Христос с тобой! Ты первый обидел — ты и ответ дашь. И у всех на обиды один я: шутком стал.

— Дуй все горой; сторонись душа — оболью! — кричал он, опрокидывая шкалики в питейном, где играл потом на балалайке, стлался вприсядку и с большим искусством и толком, чем прежде, отличался.

Вскоре ему нипочем было задирать самому и, по свойству разгулявшейся русской природы, придирааться и обижать всякого встречного. Только перед старостой и сотским снимал он шапку и просил извинения и прощения. Перед всеми другими он останавливался и делал возможные упреки, всегда щекотливые и, следовательно, справедливые. Одни из соседей говорили, что он *наянлив* стал и подучен кем-нибудь; другие, что он парень себе на уме, и не так прост, как казался; третьи, наконец, что он просто дурит, и додурится до того, что иной рассердится и наломает шею так, что не вспомнится после никакая заноза. Случались с Кулачком и подобные происшествия, но они еще более раздража-

ли его и он оставался верен своей задаче: для него ничего не стоило разбить стекла у богателя, выпустить у торговцев деготь из бочки, расколотить стеклянную посуду в питейном и сделать другие еще сильнее неистовства. Мир терпел, потому что не было другого исхода. Кулачок плясал и гудел своим разбитым и охриплым голосенком веселые песни на всяком перекрестке, и опять по-прежнему продолжал придирааться ко всякому встречному, исключая, может быть, одних только собутыльников, но и тех собиралось около него немного.

Озадачивая соседей-мужичков резким покором, Кулачок сделался вскоре, по заслугам и по всем правам, общим посмешищем. Уличные мальчишки встречали его, при первом появлении на селе, радостным криком:

— Кулачок пришел, братцы, вот лихо!

— Кулачок идет с бочонком, песни станет петь — пойдем *ускать*, пропляшет!

— Дядя Петр, дядя Кулачок! пропой опомняшную-то!

Кулачок ставил бочонок на землю, ловил и щипал ребятишек и, видимо, с большим увлечением — шутил и играл с ними. Переловивши ребятишек, он ставил их в круг, строго приказывал молчать и слушать, и гудел любимую песенку: «Ах, в середу было на масленице, у соборной было дьяконицы, девки пьяны напивались...»

При этом он подергивал плечами и повертывал бочонком.

На красном лоснящемся лице его, обросшем до густоты новой овчины бородою, прыгала та задушевная и веселая улыбка, от которой до последнего нельзя было было ребятишкам, хватавшим Кулачка за полы его коротенького кафтанишки.

Наполнивши бочонок вином по заказу соседа, приготовлявшегося к своему храмовому празднику, Кулачок

опять встречался с ватагой мальчишек и опять беспрестанно отмахивался от щипков и щекоток, приговаривая:

— Не нужно, вас, пострелят, баловать, не нужно! Стегать вас нужно, плетью хлестать. Стыдно старику с младенцами сниматься: прочь, поползни! — прочь, пострелята!

— «Ах, в середине было на масленице...» — и прежняя песня, при прежнем раскатистом хохоте сельских ребятишек раздавалась потом у сельских бань, резко отзывалась с переливами за крайним овином и, наконец, глухо замирала во ржи, которая желтым полотном облегла село.

* * *

В деревне Судомойке время брало свое: старые лица сменялись новыми. Тот, кто прежде торговал кнутами и дегтем, выехал в село и обзавелся там лавкой красных товаров. Ребята-подростки стали мужиками и обзаводились семьей и хозяйством; выстроилась новая мельница и две-три избы тоже новых. Тот, кто прежде любил поломаться в чехарду, — важно сидел теперь на завалинке и толковал о разных знамениях; у кого не было и признаков бороды — теперь она выросла в лопату; ребятишки-школьники, валявшиеся прежде на поседках по полатам, — толкались теперь внизу и впереди всех других; кое-кто из них успел заслать сваху, а другие и совсем ожениться. Одним словом, перемен в Судомойке произошло много; все они попеременно обращали на себя общее внимание и прошли незамеченными только мимо Кулачка, не затронувши и не задевши его. Для него существовали свои новости, более живые и современные: твердо знал он, что после Матюшки Пегого в сельском питейном пятого целовальника откуп сменил: поверенные обсчитали. Уважал более других Матюшку Пегого и до сих пор питал к нему

полное уважение и преданность, и не любил последнего цаловальника.

— Матюшка всем брал: и крупой, и солью. А этот ко-соглазый черт, кроме одежды, ничего не берет, да и то давай поруку, что твоя-де одежда, некраденая!

Знал он также, что если станového детям принести кипу гороху, нащипанного по пути на горошицах, то дадут одну рюмку водки; а если к почтмейстеру принести то же, то можно получить две рюмки водки и пятак денег в придачу. За репу давал и тот и другой порцию вдвое; а если спеть детям песенку и проплясать, то и обедом на кухне накормят и чаю, — пожалуй, — дадут.

Вследствие подобного рода сделок Кулачок почти совсем переселился было в село, таскаясь из дому в дом, со двора на двор. Только смерть дяди, оставившего некоторую часть наследства в пользу племянника, заставила Петра Артемьева вернуться в родную деревню, которая окончательно привязала его к себе с тех достопамятных пор, когда питейный откуп счел за нужное открыть новый кабак. Выбор, по счастью, пал на Судомойку, и Кулачок, на другой же день по открытии, поспешил познакомиться с новым лицом и тогда же посоветовал ему завести гармонию и балалайку.

С этих пор ничто уже не в состоянии было разлучить Кулачка с его новым знакомым. Благодаря достаточному наследству дяди он аккуратно четыре раза в день навещал новое место, — таким образом, что по этим посещениям судомойковские мужики и бабы верно расчисляли время завтрака, обеда, полдника и ужина. Идет Кулачок в кабак — бабы собирали на стол чашки и ложки, мужики спешили шабашить, ребятенки забирались с улицы в избу и садились за стол. Путешествия Кулачка до того приучили соседей, что они не находили в них ничего необыкновенного и вовсе не думали доискиваться причины; только в последнее время, перед его злополучной смертью, заметили соседи некоторую особенность. Совершая свои заветные прогулки прежде

молча, Кулачок в последнее время рассуждал во всю дорогу сам с собой, стараясь изменять голос при вопросах и ответах. Говорил же он всегда почти одно и то же.

Выходя из дому, он обыкновенно обращался к самому себе с таким вопросом:

— Ты куда лыжи-то наострил?

И тотчас же спешил ответить сам себе, вслух:

— В кабак.

— Зачем это тебя нелегкая-то туда несет?

— Обедать хочу; так для ради подкрепления...

— Не дело ты, Петр Артемьич, затеял, право, не дело. Неладно ты себя приучил: ел бы и так...

— Ну, так-то, пожалуй, не съешь: в горло не пойдет.

— Эй, не ходи, вернись назад!.. Ну, назад, назад, назад!..

Кулачок, при последних словах, несколько пятился назад, но тотчас же опять пошатывался вперед и опять начинал разговор:

— Пусти, больше не стану ходить.

— Знаю, как ты не станешь ходить: по четыре, а не то по пяти раз на день.

— Слышь, пусти, в последний раз.

— Нет, не пуцу — назад, бери назад, назад!..

Кулачок опять пятился, но уже в виду заветного места — цели прогулок.

— Гляди, дрянь какая, домишко-то! Водку откуп скверную стал давать, — целовальник больше деньгами берет, а не то давай, слышь, сапожным товаром.

— Да что толковать-то? всяк о себе радеет. Сказано: никто себе не враг. Пусти!..

— Слышь, не ходи, ступай лучше домой! не трать деньги. Дожди всю избенку загноили, набок свалило. Ветер всю солому поснимал, углы раскачало: течет ведь потолок-от. Порадей о себе!

— Чего радеть-то? нечего радеть... нечем. Я лучше туда пойду — была не была.

— Ну, как знаешь; коли идти — ступай, да скорей только.

Со всех ног перебежал Кулачок остававшееся пространство. Вслед затем раздавался сильный визг блока и — захватанная дверь, громко хлопнув, скрывала Кулачка от глаз любопытных.

ГРИБОВНИК

В самой дальней глуши одной из отдаленных и глухих северных губерний наших, в двухстах верстах от губернского города, завалился бедный городок, разжалованный екатерининским учреждением о губерниях в посады, — посад Парфентьев.

Городком с надолбами, чесноком, рвами и палисадом начал он свое существование еще в те древние времена, когда славянорусское племя пробиралось на север лесами и среди их и инородческого племени меря устраивало свою новую жизнь и начинало ее не совсем красно и привольно. До сих пор еще, по горе, на которой стоит нынешний каменный собор, можно судить об удачном выборе твердыни, за которою отстаивали свое право на оседлое житье древние пришельцы с юго-запада, и отстояли столь удачно, что память о меря осталась только в названии реки, протекающей под горою. Зовется река Неей; принимает в себя невдалеке: Сомбас, Вохтому, Кужбал, Ружбал, Монзу и т. п., но принимает также и Чернушку, оправдывающую свою название только по внешнему виду, но не по достоинству воды, чистота и вкус которой обратили на себя внимание путешествовавшего Государя Александра Павловича. Кругом посада, еще в 80-х годах XIX столетия называвшегося «бывым городом», самое ничтожное число селений сохранило непонятные инородческие звания, — громадное же большинство их свидетельствует о силе натиска и распространения русского племени. Кто первым

выбрал место и застроился, — имя того первого и сохраняется до сих пор в названиях деревень, обложивших посад в великом множестве. Вот с поля на поле Лошково и Свателово; вот Трифоново, Нечаево, Савино, Федюнино да и Федюшино, Ефимово, Семеново, Павлово, Еремейцово, Сидоровское и т. д. до бесконечности: все по именам первых выселенцев. Только в верховьях реки, в самой глуши лесов, и удалось удержаться названиям по языку более древнего народа, аборигена тех мест, где новые пришельцы умели выстроить и удержать такие крепости, как Шемякин Галич, как Чухлома, Кологрив и Макарьев, и город Парфентьев, лежащий между ними, как раз в середине, около 70-ти верст расстояния от каждого.

Не назвался наш городок Парфеновым, как назвался бы он в том случае, когда положил бы ему начало первой избой и хозяйством мужичок-колонизатор (Савва, Ефим, Семен, Еремей, Лошка, Нечай), но получил свое имя несомненно от монаха, выстроившего монастырь в честь Рождества Христова. К монастырю под горою пристроилась впоследствии, как и везде на Руси, слобода (до сих пор сохраняющая свое имя), — слобода из людей свободных, которые любили тянуть к монастырям под их защиту и на монастырские льготы. Но о монахе только догадка и даже о монастыре сохранились самые слабые и смутные предания. На том месте теперь кладбище с десятком необычайно древних сосен — остатком монастырской рощи, а за кладбищем опять клочок такой же рощи, принадлежащей некогда к воеводскому дому. От последнего остались только гнилушки, да и те уже высушило солнце в пыль и развеял ветер, может быть, в ту сторону, где и до сих пор за одним урочищем или лугом сохраняется название *палачовки*. Палачам земля эта принадлежала, на палачей посадские люди эту землю возделывали и тем их пропитывали. По другую сторону монастырской горы, где стоит старый собор внутри старой крепости, к соборной горе примы-

кает третья часть селения, расположенная по склону возвышенности и называемая собственно посадом, где жили посадские люди и ямщики, живут теперь сплошь мещане. В собственность ямщиков была отписана та земля, которая примыкает к Парфентьеву со стороны, противоположной реке Нее, — земля, которую удалось после долгих ссор и споров оттягать в недавнее время крестьянам соседней слободы Лошковой.

Дорога в Парфентьев от губернского города Костромы начинается сразу лесами, которые еще дают себя знать и чувствовать, как серьезные лесонасаждения на целых двух сотнях почтового пути, набегающего сплошь и кряду на высокие и крутые глинистые горы. На первой полусотне верст попадаетея также древнейший город княжеской постройки и древнего славянского имени — Судиславль. Еще через 70 верст от него также за лесами и горами, на низменности большого озера под крутой горой, сохраняющей остатки Шемякина дворца и крепости — древнейший город Галич. Кругом его лежат крутые каменистые горы, из которых за одной сохранилось древнее мерьское прозвище Чолсмы, за другое древнерусское — Свинная Нога. От Свинных гор в 60, от древнего Галича в 70 расположился и тот Парфентьев, на котором остановилось наше внимание. Двадцать пять верст от Галича тянется уже густой лесной волок без всякого жилья. Лес вырос на мокрой и еще до сих пор сохраняющей свой дикий первобытный вид местности, — огромный холодильник, в котором берет свой исток река Нее, настолько обильная еще водяным запасом, что лишь в двухстах верстах от этого места река теряет свое имя, впадая в Унжу — один из солидных и главных притоков Волги.

Мрачный и мокрый лес кончается лишь для того, чтобы дать место большому селу Бушневу с приселками и множеством других сел опять-таки с коренными русскими именами (Арсеньева слобода, Никола-Угол, Ивановское Лермонтова, Никола Каликино и т. п.), а

затем опять леса и селения попеременно. Селения: Бородино, Зикеево, Задний двор, Передний двор; Средний двор; и между ними Погорелки, Починки, Потрусово — как свидетели тех неключимых бед и напастей от пожаров и болезненных «трусов» — моровых поветрий, которыми приветствовала дикая страна новых непривычных пришельцев с теплого юга. Но вот и деревня Трифонова: остается всего пять верст, но лес неотвязчив. Он еще продолжает тянуться перелесками, хотя борьба с ним пошла не на шутку: то и дело по сторонам тянутся возделанные поля, засеянные или гуляющие под паром. Вот за три версты мелькнул крест посадского собора внизу под горой; надо еще ехать, чтобы увидеть купол, главы, крышу церковную: мы на возвышенности, и дорога наша отлого, но едва приметно спускается *тянигусом* по покатости. Остается верста, — и посад виден весь под горой, как бы в яме, как Галич, как Судиславль, Ростов Ярославский, Переславль-Залесский и другие древнейшие города, когда у пришельцев не было еще настолько смелости и права, чтобы победоносно взбираться на горы, как забрались на Днепре: в Киеве, в Могилеве, в Смоленске.

Подъезжая к Парфентьеву, оглянитесь: много ли таких картинных местностей на Руси святой? Кругом обступили горы; посад действительно в ложбине. По горам стоят густые сухие леса, так называемые боры, кое-где перерезанные пустырями, означаящими присутствие пашен, лугов и селений; пять сел кажут через лесные гребни золотые кресты и белые каменные здания: вот прямо Успенье Нейское, левее Дмитрий-Потрусово, Ефремье, Веденье и Никола-Ширь. Последний справедливо, с поразительною поэтической правдою, рисует свое место, — действительно непроглядную ширь, действительно одну из красивейших, очаровательных местностей, перед которою может уступить даже и парфентьевская. Очень нетрудно найти такие пункты, с которых леса кажутся в таком изо-

билии, что будто разлилось лесное море, среди которого даже не видать и этих белеющих островов с лугами и селениями. Огромное беспредельное море лесов, среди которого становится даже положительно страшно, представляет в этой местности именно то явление, каковое скоро делается большою редкостью на всех пространствах северной России, прорезаемой Волгой и ее притоками. Парфентьевская местность обманлива в том лишь отношении, что, представляя посад под горой и как бы в яме, в самом деле сохраняет его место на горе довольно крутой и высокой. Низменность предшествует лишь реке и, занятая слободой посада, суха, широка и привольна по богатым травю лугам, которые с древних времен принадлежат первым хозяевам местности и называются поповскими, составляя собственность парфентьевского духовенства.

Насколько выигрывает посад от такого своего красивого лесного положения, можно судить из того, что воздух весь пропитан ароматом окрестных сосновых лесов, весь наполнен смолою, без малейших признаков присутствия болотных миазмов: леса в этом случае блестящим образом исполняют свое главное мировое назначение — быть естественными регуляторами ветров и сырости. Кроме того, за лесами еще служба, при способности принимать в себя различные газы и перерабатывать их в собственное вещество, — очищение воздуха, который и портится дымом жилых строений, теплинами на полях и лесах, дыханием животных и людей и испарениями земли, которая к тому же здесь больше чем где-либо требует и получает удобрения. Насколько же сильно влияние лесных насаждений, буквально обступивших посад со всех четырех сторон, можно уже судить из того, что здесь ни разу не бывала холера, поглощавшая множество жертв в окрестностях не более десятка верст. Сверх того долголетие обитателей резко бросается в глаза: лошковский старик, бывший посадский церковный староста Роман Абрамыч...

дожил до 110 лет, его соседка по избам — до 122, Тимофею Аникичу — 90, старик рождественский священник Иоанн Клириков умер в 85 лет и т. д.

Насколько же выигрывает посад от своего положения в такой отдаленной глуши (даже по отношению к губернскому городу) при содействии отчаянных дорог, идущих по лесам, по крутым горам и по глиんにку (который в сухую погоду делает костоломный колок, а в дождливую невылазен) — читатель может судить по нижеследующему.

Бедность жителей поражает всякого при первом взгляде: нет ни одного каменного дома, а большая часть деревянных прогнили до слез, покривились и полуразрушились. На слободку подле кладбища, отделенную от посада глубоким оврагом (и потому названную Завражьем), и глядеть больно: как заселилась она в древности, по обычаю, самым бедным людом, не ужившимся в посаде, так и теперь на большую половину застроена старыми срубами, которые только оттого и похожи на хижины, что прикрыты обрешетившеюся дранью и не покрыты соломой затем, что это запрещено в городах и преследуется. Наряд жителей до сих еще пор на большую часть шьется из домотканых материй, и домашние станы, про свой обиход, еще не так давно щелкали почти в каждом доме. Только в последнее время двух десятков лет ивановские ситцы и московские сукна стали подспорять этому горю, но довольно слабо и не совсем удовлетворительно: много заплат, много наставок; лоскутков и рвани довольно. Не носят посадские лаптей только потому, что совестно это господам-мещанам, но окрестные крестьяне все сплошь обуты в дешевый продукт березового и липового дерева: в шептуны и лапти. Словом сказать — посадская бедность сквозит отовсюду.

Мещанское право — по положению — отняло пахотную землю, оставив лишь при выгоне, но парфентьевцы с отчаянием ухватились за кое-какой клочок пахоты и отвоевали ее по время введения екатеринин-

ского городского положения. Чтобы спасти себя, стали *кортомить* земли у соседних крестьян, но не спаслись и этим: земля их холодна и климат суров. Овес, ячмень, рожь, лен, да и все тут (один затейник — барин в 4 верстах по соседству пробовал за лесом высеять гречку, да на другой год уж и не убытчился, не сеял). К тому же и то, что высеваешь, — на шестой год, голодный, всегда не доходит, но и в счастливое время рождается только сам-3, сам-4, отбивая от земли всякую надежду. И удобренная щедро под самыми домами и на огородах, — земля не поднимает даже такого благодарного овоща, как огурцы: их привозят из-за семидесяти верст, из Галича. Вот почему людны и крикливы посадские базары в четверги по зимам, когда окрестный крестьянский люд собирается поделиться с мещанством мешочками убереженного жита и обменять его на сушеного и страшно соленого судака, которого перекупают мещане на более отдаленных ярмарках, шумящих в стороне к Волге и вблизи этой реки — всероссийской кормилицы. В базарном шуме прорывается ясно вопль отчаяния голодовки окрестного люда, а посадских людей всех звончее и отчаяннее.

Что же посадским мещанам остается делать, посреди самых невыгодных условий и гражданского положения, и климатических неудобств? Да то же самое, что и прочему мещанству иных городов, поставленных даже и среди более благоприятной и счастливой обстановки! Городская жизнь, при наибольшем развитии общежития и при сильнейшем подспорье нужды и бездоля, сделала из мещан людей бойких, смысленных, находчивых, и при этом поместила их в среде деревенских жителей, сплетенных проще и более подслеповатых. Отсюда постоянные стремления и возможность поживиться от простоты деревенщины, маклачить на ее счет на всякую статью, какая только подвернется. Вот почему в Парфентьеве народились барышники на крестьянских лошадей такие, что знают их и боятся даже

в очень далеком вятском городе — Котельниче, где, как известно, раз в году бывает одна из самых крупных конных ярмарок. Человек десять парфентьевских мещан мечутся, как цыгане на торгу, на двух своих ярмарках: в девятую пятницу (по Пасхе) и на Макарьевской (25 июля) с кнутом за поясом, с крупной, всегда готовою на устах бранью, с озорным криком, со лживою божбой и с тем плутовством, которое не щадит и отца родного. Вот почему посадские занимаются и таким *последним* делом, как битье кошек, и за то прозваны от соседних крестьян *кошкодавами*. Заводов кошачьих они, впрочем, не держат, а бродят по деревенским задворьям и воруют чужих. Воруют же и от бедности, и по той причине, что под Галичем с древнейших времен приладилась большая промышленная слобода Шокша с кожевенными заводами, выделывающими меха и кожи. Кошка идет на опушку шапок, а за скотскими шкурами пять-шесть парфентьевских мещан круглый год ездят по окрестным деревням. Шокша перерабатывает все это в ходовой товар, который и исчезает в ней, как капля в море, потому что шоковские ездят еще в архангельский город Пинегу, где и скупают все меха тундряного зверя: песцов, горностаев, оленей, волков. Наука воровать кошек не прошла для посадских совсем бесследно: хаживали они по ночам и за другими продуктами, угоняли лошадей и коров: то и дело ходили вдоль по базару мужики с шапкой на палке и с криком: «Не видал ли кто, таких-то примет, пропавшую скотину?» Бывали времена, что некоторые мещане выходили и на торговую дорогу встречать или провожать купеческие обозы с красным и дворянским товаром, а когда появился в тех местах, в двадцатых годах нынешнего столетия, известный разбойник Васька Торинский, — трое парфентьевских мещан угодили в Сибирь. Впрочем, это — худшие, более забаловавшиеся и более голодные, у которых отчаяние бездоля растравлено пьянством и налажено кабаком. У хороших и лучших — другие пути и средства.

Парфентьев выстроился именно в такой местности, где все население давно и крепко убедилось в том, что житьем дома на неблагоприятной земле не проживешь: надо уходить в хорошие места, искать заработков на стороне. Это тяготение вон на отхожие промыслы, — явление не только очень давнего происхождения, но и поразительное по обилию уходящего люда и по разнообразию способов и форм самой промышленности. Парфентьев в этом отношении составляет даже такой замечательный пункт, на котором встречаются два пути для выхода на отхожие промыслы и оба переламываются, расходясь один от другого в совершенно противоположные стороны. Тотчас же за рекой Неей, омывающей посад с северной стороны, все лежащие волости высылают народ на восток «в Сибирь», как привыкли там выражаться по древнему праву и обычаю, хотя в настоящее время эта «Сибирь» есть не что иное, как губернии Вятская, Пермская и Казань. Здесь нанимаются на заводские работы, но всего более любят коновалить, а подчас и колдовать. Затем все волости по сую сторону Неи, к Галичу и Чухломе, тянутся прямо на запад, и именно в Петербург, где в особенности много чухломского и галицкого люда: в десятниках и плотниках; в малярах и стекольщиках; в каменщиках, печниках и штукатурах; в сидельцах лавочных и торговцах-ношатах с разносным товаром. Насколько древен занейский уход в сибирские страны, настолько же стар теперь стал и местный отхожий промысел в Питер, одновременный первым годам основания столицы, когда потребовались туда лучшие русские плотники, и между ними самые лучшие — жители лесных деревень Костромской губернии. Мещанская гордость и городское тщеславие крепились очень долгое время среди окрестного соблазна, не поддаваясь тем двум тягам, которые равно были сильны: парфентьевские жили дома, рассчитывая на отсутствие мужчин и легкую добычу около баб. Но когда и баба выросла сметкой и толком до хорошего

мужика, но когда и мужик стал являться развитым и умным далеко свыше ума и развития торгового посадского, когда, наконец, попробовали двое-трое посадских, преодолев стыд и предрассудки, сходить в Питер, и им посчастливилось, с этими тремя отпустили мальчиков. Мальчики, сделавшись взрослыми мастерами и торговцами, потащили за собой и собственных детей и ближних родственников. И вот, лет тридцать тому назад, зазнали в Петербурге и мещан парфентьевских. Не выродилось из них ремесленников и мастеров, но в торговом классе мелких торговцев и приказчиков стали приметны и они: довольно парфентьевских на рыбных садках, есть и на Апраксином дворе, но всего больше, и очень много, на Андреевском рынке, который они особенно полюбили. Но много их остается еще дома, удерживаемых или предрассудками стариков, или крайнею настоятельно нуждою быта при своем пепелище, или выгодами найденного и налаженного промысла в ближней окольности, или, наконец, крайнею безвыходною бедностию, решительно не позволяющею подняться с места и обратиться в такой дальний путь. Однако домашнее дело плохо кормит, и на доморощенном коне далеко не уедешь. Судьба таковых поставлена невыгодно и подчинена замечательным случайностям. Так, например, благодаря обилию и сохранности окрестных лесов, житейская судьба парфентьевских жителей на большую долю и крепко подчинена урожаем на лесные произведения: отчасти на ягоды, но всего больше, и по преимуществу, на грибы. Надо сказать правду: в урожае грибов все спасение и вся надежда посадских домоседов и старожил. А так как не всякой год на них урожай, а надежды сосредоточиваются в этом пункте в большой массе, то и понятна та бедность и бездолие, которые резко и характерно бросаются в глаза. Как, по-видимому, ни странно, что жизнь сотен людей зависит от этих тайнобрачных растений, носящих название масляников, рыжиков, белых грибов или, по-торговому,

черного и белого гриба, — тем не менее, вот целая и большая местность с древнейших времен приурочила себя к этому делу, связала с ним свою судьбу и обратила грибы в товар, а дело собирания и приготовления их в особый промысел, способный прокармливать целые семьи, большой посад, великое множество деревень и т. д. Попутный посад Судиславль (также безуездный город Костромской губ.) за то, что принялся у парфентьевских скупать грибы и торговать ими, успел обстроиться гораздо лучше и выстроить даже несколько каменных домов, и все положительно от грибной торговли. Оборот грибов у самого богатого судиславца (Папулина), по самым верным слухам и расчетам, простирается в год до полутора ста тысяч. Посад Судиславль приобрел в России по этой торговле довольно громкую известность и успел затереть и затемнить совсем своего главного и первого поставщика — Парфентьев, и разделяет Судиславль свою славу и барыши только с Егорьевском (Рязанской губ.) и с Каргополом (Олонецкой губ.), откуда, впрочем, идут более рыжики, получившие очень давнюю и большую известность⁴⁹. И тот и другой уверенно рассчитывают и твердо опираются (хотя и не с прежнею силою) на обилие постных дней, число которых в годовом церковном кругу православной России простирается до 195, то есть более половины года.

Мы не сомневаемся в том, что грибной промысел бывшего города Парфентьева идет из древнейших времен, обладая всеми свойствами первобытного, сколько по замыслу, столько и по исполнению. Нигде в окрестностях он не развит в такой мере, да и вся мелочь сборов в более отдаленных окрестностях все-таки свозится в Парфентьев, или, собственно говоря, в село Успенье-Нейское, удаленное от посада только на четыре версты. Здесь также, по дешевому приему и указаниям самой природы, 15 августа бывает ярмарка специально грибная, которая и у места разыгрывается в одно утро, потому

что производят грибную развязку каких-нибудь десятков молодцов, приезжающих из Судиславля, и между ними приказчики такого крупного купца-капиталиста, каков Папулин. Посадская Макарьевская ярмарка (25 июля с подторжьем 24 числа) несколько ранняя для грибов, а потому шумит больше крестьянским товаром: изделиями деревянной посуды, лаптями, красным товаром и галицкими огурцами, за которыми приезжают чиновники даже из того города (Кологрива), к уезду которого приписан «бывый город Парфентьев».

Сбор грибов начинается в июле и к середине его не представляет еще такого множества продукта, которое обещало бы ему возможность сделаться предметом настоящей оптовой торговли. К августу собранные грибы приготавливаются уже впрок, т. е. высушиваются в печах, и над посадом стоит уже смрад, и на дальнюю окольность несетя характерный запах сушеных грибов. Мещанские избы пропитываются тем же запахом насквозь, на долгое время; понёвы и сарафаны, армяки и рубахи — все несомненно доказывает, что идет грибная сушка, требующая большого количества дров, которые, однако, не имеют почти никакой цены (березовые дрова, по заказу, толстые трехполенные стоят 1 р., 1 р. 20 к., а сосновые и хворост со щепами рубятся без всякой пошлины; весь расход — взять топор и нарубить, запрячь лошадь и привезти). Сначала идут масляники и сушат их: в торговлю поступают они под именем черного гриба; потом появляются целики и белые грибы вместе с родичами своими: боровиками и березовиками. Одновременно, к концу июля, поспевают рыжики, которые особенно любят августовские росы по утренникам, и в августе же, к холодам, выходят грузди с родичами своими — свинаярями. Три последние сорта грибов, — ostatnich — поступают в мочку и солку и, вылежавши под прессом, являются лучшим сортом соленых грибов, потому что необыкновенно тверды (ядрены), устойчивы для сохранения и потому пользуются наибольшим

почетом и уважением в торговле. Соленые грибы продаются в кадочках и ведрах, сушеные нанизанными на нитках связками, отборные с одними шляпками, неотборные и с корешками. Продают же на вес и те, и другие, и третьи.

Сбором грибов занимаются все от мала до велика, с раннего утра, можно сказать, с первым лучом восходящего солнца, отправляясь в соседние боры. Самые искусные сборщики, если грибы проявились поблизости, сходят в день раз до пяти и возвращаются обыкновенно очень поздним вечером. «После парфентьевских уже в лес не ходи» — таково общее окрестное мнение. И действительно, оживают соседние леса от перекрестного и беспрестанного ауканья, и нельзя представить себе в лесу такой глухой трущобы, где бы не привелось натолкнуться на кого-либо из посадских. Крестьяне мещанам завидуют и исподтишка побранивают; но древний обычай, по отношению к грибам, сохраняет леса в общинном нейтральном и неделимом владении. Рубить дрова нельзя, но ломать грибы не запрещается. Временные заявления со стороны крестьян на заповеди в своих лесах — замечательная редкость и не имеет особенной силы и значения. Парфентьевские грибовники и грибовницы ходят верст за 10 — 15, лишь бы были здоровы и выносливы ноги, но, по привычке, в такую даль за грибами ходят даже и старые старухи. За груздями же и свинаярками ездят парфентьевские даже за 20—30 верст в огромный березник под Задорином, в сторону Кологрива, который, как известно, получил и свое имя от того, что лежит коло грив или около двух грив лесных, т. е. сплошных полос: одна идет в Вологодскую губернию и исчезает вместе с архангельскими лесами на тундре, другая соединена с лесами вятскими и пермскими, а стало быть, и с сибирскими, т. е. не имеет конца. За груздями ездят посадские уже с кузовьями на двух-трех телегах, опять целыми семьями, но уже с запасами дней на 10 и на две недели.

Каждая хозяйка с детьми (преимущественно хозяйка, потому что мужчины охотятся на грибы только в крайних случаях нужды или обильного урожая), каждая хозяйка выхаживает летом грибов на 25—30 рублей, а считая семью в 5 человек, получает в подспорье хозяйству ровно такую сумму 150—200 руб., которая кормит дом круглый год. В этом отношении парфентьевские мещанки представляют собою то отрадное явление, которое на Руси столь резко-характерно, что женщина в домашнем и сельском хозяйстве с достоинством оспаривает у мужчин главную роль. При трезвости, при большой любви к семейству, при заметной честности и трудолюбии, — и на этот раз они являются ангелами-хранителями, и в десятках семей положительными спасительницами в бездолье мещанского быта. Не забудем при этом, что в Парфентьеве 12 кабаков и до шести трактиров, где мещанские мужья просиживают время и деньги из собственных заработков со значительным прихватом жениных и детских денег, выношенных на грибах, выхоженных ногами, буквально добытых горбом. Мещанское пьянство равносильно мещанскому безвыходному бездолью, и в Парфентьеве по праздничным дням с избытком довольно: и крутопосоленной брани, и кровопролитных драк, и неугомонного бесконечного буйства. Для парфентьевских же мещан, сверх того, к воскресным дням для драк и разгула прибавляются по зимам еще лишние праздники — базарные четверги. В этой бездонной пропасти, на засыпку которой тысячами умов еще не придумано никакого средства, — исчезают и те малые деньги, которые платят непьющим мещанкам за неверный и ненадежный грибной продукт судиславские кулаки. И слишком жаркое лето без дождей, и лето с дождями, но очень ветреное и холодное, в равной степени способны отнять и этот кусок хлеба, не слишком горький лишь по приятности целительных разнообразных и веселых (в компании) прогулок. К счастью, не грибовные

лета бывают не часто. Правда, заработок значительно упадет, судиславцы не много оставят денег, но все-таки оставляют, когда пройдет негрибовное лето, но зато неизбежно наступит осень с росами. Росы грибы выгоняют, и рыжики после утренников бывают даже лучше (сочнее и тверже). Развитию грибов — как известно — наиболее способствует холодный и влажный климат, потому что две или три тысячи известных доселе нечужеядных пород являются преимущественно на севере и в середине России. Костромская губерния играет в этом отношении одну из главных ролей, а описанная местность виднее и характернее всех прочих.

Познакомившихся с местностью и промыслом просим теперь обратить внимание на отдельного представителя — нашего знакольца, грибного охотника и любителя.

Едва только успели отозваться третьи петухи и разноголосый чередовый выкрик их замер в отдалении, в воздухе наступила прежняя, ничем не возмутимая тишина, как бы в ожидании появления солнца. Вскоре пронеслось едва ли не последнее кряканье коростеля, засевшего где-то во ржи, и топот шальных овец, напуганных обнюхиваньем проходившей коровы.

В чистом здоровом воздухе неся издали нескладный звон почтового колокольчика: лениво-сонно болтал его язычок. Ехал ли там угомонившийся и заснувший проезжающий, а может быть, и почтовый ямщик возвращался домой, растянувшись во всю длину своей тряской телеги. На улице сверкнула пролетавшая ласточка, успевшая уже набрать пищи; на дороге щebetала и прыгала сорока; далеко в поле заржал жеребенок, и звякнула колокольцем, где-то вблизи, стреноженная лошадь. Солнышко выглянуло сначала одним краем, но вскоре и совсем показалось, набрасывая на землю длинные и густые тени.

Все еще спало, но на дальнем конце улицы показалась маленькая темная фигура, при дальнейшем приближении которой нетрудно было узнать в ней Ивана Михеича — первого в околотке грибовника, испытанного знатока своего дела. Недаром же он поднялся так рано, прихватив с собою два больших лукошка, недаром и шаг его так порывист, — старик хорошо знает, что ему нужно еще четыре раза сходить в лес, прежде чем придется улечься до другого утра. Не хуже многих из своих соседей знает он то, что грибы — единственное средство его к существованию, и что этот год гораздо грибовнее прошлогоднего, благодатного лета — нужно же пользоваться этим себе на пользу, другим на зависть и удивление.

С вечера выпал довольно бойкий и крупный, но очень теплый и непродолжительный дождик, так способствующий росту грибов, и Иван Михеич идет в полной уверенности набрать оба лукошка доверху, в чем никто из соседей и усумниться не смеет. Хорошо было известно всем, что ни разу в жизни не возвращался он из лесу с пустыми лукошками; а в грибной год обтыкал даже их еловыми лапками, и клал сверху, для хвастовства и задору соседей, старый белый гриб, величиной с мещанскую шапку.

Нельзя было не удивляться его приглядке к тем местам, которые любят его кормилицы, наконец, тому громадному количеству связок белых грибов и масляников, которые продавал он зимой на ближайшей ярмарке и на порядочную выручку существовал до следующего лета. Одни говорили, что он счастлив на этот продукт и сам его ищет; другие — что он знает тайные заговоры и вызывает грибы наружу; третьи говорили, что он ищет гриба по нюху, как собаки дичь, и по ветру ходит на лес и попадает на грибные кучки. Более благоразумные соседи стояли на одном, что лиха беда приглядеться к бору да заприметить поприскальнее, какой гриб какое место любит; а там — смотри, да не зевай только.

За тридцать лет прогулок по соседним лесам, трудно не узнать их как свои пять пальцев, но все-таки завидная приоровка Ивана Михеича к грибному делу удивительна и непонятна. Были же в околотке старинные грибовники, но и те всегда отдавали почет нашему старику и являлись к нему на новую новинку, которая всегда сопровождалась некоторыми обрядами, имеющими смысл только там, где все летние занятия состоят исключительно в сборе грибов и продаже их.

Празднование появления новой новинки всегда случалось в избе Ивана Михеича, вскоре после того, как проиграют овраги и выступит первая зелень. Он обыкновенно приглашал к себе на закуску трех-четыре человек коротких знакомых, сажал их за стол и отправлялся за переборку, дверь которой всегда плотно притворял за собой.

Гости обыкновенно молчали, самодовольно улыбаясь и поглядывая то на водку, то на заветную дверь, которая вскоре отворялась, и в ней являлся тоже весело улыбающийся хозяин с огромной сковородой, налитой маслом и сметаной. Под этими-то снадобьями и скрывалась виновница сбора гостей — новая новинка или, лучше, первые весенние грибы — сморчки, хорошо вываренные в квасу и поджаренные.

Сковорода торжественно ставилась на стол, гости приглашались отведать; и всегда неизбежно начиналось переглядыванье и улыбки, пока сам хозяин не глотал гриба. При этом всегда кто-нибудь из гостей больно теребил хозяина за ухо, к несказанному удовольствию и утехе его, и приговаривал: «Новую новинку Бог послал: пуще теребить, слаще скажется». То же самое повторялось и между остальными гостями, причем хозяин вечно рассказывал о том, что сморчок только и годен как снедь, пока не прогремит первый гром. После того в гриб этот, по его мнению, заползает змея и пускает яду, отчего сморчок начинает гнить и пропадает до новой весны. Только три раза в жизни услышал он гром,

прежде чем попробовал новой новинки, и вот с тех-то пор дал он себе зарок всегда праздновать его появление и созывать гостей, и никогда не изменял себе.

Точно так же, как первый весенний гриб, Иван Михеич встречал появление и первых летних грибов: волнушек и сыроежек, отваривая их в квасу и обливая сметаной, но не поджаривая. Любил он при этом первым ухватиться за чье-нибудь ухо и весело ухмылялся. Рад был, несказанно рад старик, что, наконец, наступит пора его деятельности трудолюбивой, безупречной, невинной во всех отношениях.

Иван Михеич был старик приветливый, хлебосольный, вечно согласный со всяким, даже нелепым, мнением другого. Приветливо глядело его лицо, хорошо к нему шла и прическа седых волос с висков на темя, гладкое как ладонь, светлое как луна в зимнюю морозную ночь.

Но между многими добрыми качествами, снискавшими общее уважение соседей, разумеется, водились за Иваном Михеичем и слабости. Одна из них особенно достойна внимания, как слабость, свойственная столько же одному, сколько и всем записным грибовникам. Тайну своего знания мест Иван Михеич до самой смерти не высказывал никому. Трудно было от него добиться слова об этом и решительно, невозможно было уговорить его привести на свои заветные места, да, кажется, и сам он этого не в силах был сделать.

В минуты откровенности, когда у человека в полном смысле слова «душа на ладони и сердце за поясом», старик иногда соблазнялся: рассказывал, что рыжик синий — полевик любит траву и некоторую влагу; настоящий рыжик красненький боровик требует уже не столь густой травы, не нуждается в особенной влаге и сидит в том месте, где луг сменяется кучами сосновых иголок. А здесь уже, по его мнению, изредка селится хитрый белый гриб, в соседстве с красноголовым боровиком. Впрочем, оба гриба любят березняк и сосник,

ть и некоторую влагу, и при этом попадают не иначе, как в прошлогодней листве.

Впрочем, в этих сообщениях практической сущности было немного; рассказы показывали знание самого знатока, но слушателей знатоками не делали. Старик оставался верен завету хранить приметы и знание в тайне.

— Сыроежки, — прибавлял Иван Михеич в минуту решительной откровенности, — растут без разбору: где успел, тут и сел, только что не забираются сдуру в болота. А масляник такой уж гриб благодатный, что из всех грибов охочий расти. Припрысни только его дождичком легоньким, да солнышка покажи — он тебе все поляны облепит. Выгоняет его и роса по осени, — пожалуй, ему и дождей не надо на этот раз. Не люблю за одно: больно марок! А первачки по лету хороши в отваре.

— Главная причина, если хочешь больше грибов набирать — не спеши, не суйся, — прибавлял Иван Михеич, как бы в назидание, но все-таки сохраняя все свое достоинство и ни на волос не изменяя зарок.

— Набирай грибы исподволь, не торопясь. Бери пока, что есть под рукой; а передние и те, что по бокам растут, не уйдут от тебя. Иной гриб, пока сидишь подле кучки, при тебе только и на свет-то Божий выползет: оттого оглядываться не мешает. Там уже глядишь, новички народились, пока ты откапываешь передние — бери их, не чванься. Первачки-грибки — хорошие, хоть и марают руки, а ведь и без того и дело не обходится, особенно с маслятами. Зато уж умен белый гриб: тот тебе сам-от по себе и на глаза не покажется — стыдливый гриб! Много-много если даст повадку да крайком высунется, а то весь в земле и с шляпкой своей. На то и цветом к земле шибко подходит: не всегда отличишь. Жаль одного — червяк его точит, ни за что точит, и досада берет, если снаружи и хорош бы и свеж, а внутри — негодящая гниль! Красноголовые-то, дураки-боровики, те хвастуны; те ведь на весь лес сияние свое

производят. Для них закон не писан, их и слепой на сто шагов приметит. Вылезет один боровик и ребятишки маленькие подле стоят; только откапывать нужно, оттого что хороши в отваре.

— А вот ты свинарей ухитрись находить, да груздей в соленье подавай! — продолжал Иван Михеич, видимо горячася и желая похвастаться.

Слова его похожи были не столько на наставления, сколько на укор и упреки. Он продолжал:

— Листву они любят, в листве осиновою да березовой нарождаются!.. Знаем мы это: слышали, что в листве и листвой-то этой они накрываются от стыда от человеческого глаза. Не в игольниках же им расти, в трущобе этой. Знаем, что и расти-то они начинают к осени, когда дожди идут поназойливее и тень держится дольше — все знаем! А поди-ко покажи мне такую листву, так и поедешь, глядишь, к Задорину. А я так и здесь, поблизости найду и досолою на зиму, целых две кадушки посолю, а в Задорино ваше, за двадцать верст, не поеду. Вон есть, пожалуй, поджарый опенок либо долговязый березовик, тем иную пору возами вози — не изведешь и умаешься. А я так не люблю таких, по мне: либо белый гриб, либо груздь, либо боровик маленький...

Каков был на словах Иван Михеич, таков и на деле. На подобные наставления подчас он был щедр, но ни разу не приводил на свои заветные места: доведет, бывало, до кучки масляников, посоветует обрезать корешки и класть только шляпки, а сам и скроется в чащу бора. Тогда уже никакие ауканья не соблазнят его на отклик, до тех пор пока не кончит торжественно своего дела. Точно таким же образом поступил он однажды со мной.

Местом прогулки назначен был тот бор, который, по мнению Ивана Михеича, был менее прочих обобран, и те полянки, которые находились в самой чаще. Иван Михеич, по обыкновению, усадил меня подле кучек масляников и немедленно скрылся куда-то в сторону.

Грибов после вчерашнего дождика высыпало до такой степени много, что приходилось давить их ногами, и одними мелкими можно было бы набрать полное лукошко, а не добирать ягодами, т. е. не прибегать к невинной хитрости, общей всем несведущим в деле грибовникам.

Переползая от одной кучки к другой, я постепенно подвигался вперед и незаметно очутился перед едва проходимой чащей, где все сучья готовы хлестать вас и в лицо, и в шею. В надежде поймать в ней Ивана Михеича, сбиравшего грузди, я начал осторожно раздвигать сучья и пробираться на более безопасное место. Сухие прутья трещали под ногами; попадались такие чащи, в которые уже решительно не было никакой возможности проникнуть: нужно было обходить их. Таким образом переходя от небольшой полянки в чащу, а из этой в более густую или жиденькую, встречалась неодолимая трудность для ног, представляемая огромными, гнившими колодами толстых деревьев; кое-где валялись кучки моху и муравейники; пробегала по колоде ящерица; каркала ворона и чирикал воробей. Вскоре передняя чаща как будто осветилась; лес поредел; оставалось идти наудачу прямо вперед: иначе пришлось бы плутать и раз десять подходить к одному месту. Начался редкий осинник, или лучше — березняк, где догнивали прошлогодние листья и было совершенно тихо. Только векша прыгала по деревьям, цепляясь за тонкие прутья и покачиваясь на самой верхушке высокого дерева. За осинником начались сплошные колючие кусты можжевельника, и прямо перед глазами открылась большая поляна, окаймленная со всех сторон лесом, переход к которому составляли кусты маленьких елок и можжухи. Такой же точно кустарник вразброску пересекал середину поляны широкой лентой. Кое-где торчали обгорелые пни, а самая поляна, представляя вид давнишней новины, которая, может быть, на будущий же год должна будет превратиться в пашню. В некоторых местах даже приступлено было к этому делу, потому

что кое-где валялись вывороченные с корнями пни и навален свежий дерн. Между пнями занялась трава, до которой не касалась в нынешнее лето коса, потому что трава, обципанная в некоторых местах, была довольно густа в тени. Вправе поляна выгнулась и, как казалось, опускалась вниз; даже можно было различить вдали желтую песчаную окраину, и, наконец, заподозрить существование оврага или русла протекавшей тут речки.

ПАСТУХ⁵⁰

На поляне паслась скотина, в некоторых местах лежали коровы, подобрав под себя передние ноги, и, тупо вперив свой взор куда-то вдаль, пережевывали жвачку. Из-за куста прыгнул козел и погнался за трусиховой, нырнувшей в ближний кустарник. Свинья хрюкала в луже, вымытой вчерашним дождем; стреноженная лошадь зазвенела бубенцом, привязанным к шее, и сделала несколько скачков вперед. Другая лошадь, без видимой причины, брыкнула задом и фыркнула. Из лесу слева вышла целая семья свиней, в которой на старших надеты были треугольные вилашки. Навстречу им пронеслось стадо баранов, вероятно, напуганных прежним козлом. И над всей этой простой картиной пылало июльское солнце, способное наложить на лицо густой слой загара и выжать из тела последнюю мочь и силу.

Время подвигалось к полудню. Невыносимая жажда мучила меня. Оставалось спешить наудачу к оврагу, где, действительно, сочилась речонка, в это время шумевшая, но пересыхающая при продолжительном вёдре, доказательством чему служило множество бочагов, разбросанных поблизости. Некоторые из них осеялись кустами сплошной ветлы, иногда обгорелой, но большею частью красовавшейся своим темно-зеленым цветом. Перед речкой находилась довольно широкая

полянка, на которой рассыпались и анютины глазки, и кашка, и кусты репейника, и стебельки отцветавшего зверобоя.

Тишина в овраге была невозмутимая. Лишь внимательно вслушавшись в нее, можно было различить дальнейшее ширканье косцов, точивших свои косы лопаткой с песком. Издали пронеслось протяжное звонкое «ау» каких-нибудь грибовников, отыскивающих друг друга. Это же «ау» повторилось в другом конце леса и замерло, и опять наступила прежняя тишина. Но при перемене места слышалось только журчание воды, стекавшей вниз и пробившейся между сплутными кучками камней, да с горы пронеслось неприятное и страшное в лесу мычанье коровы.

Напившись воды, я оглянулся кругом и тотчас же заметил подле края речки, у широкого бочага, под густым кустом ветлы, распростертую фигуру в синей рубаше. Фигура эта, сколько я мог разглядеть, при дальнейшем приближении к ней, принадлежала парню, широкому в плечах, обернувшемуся ко мне спиной и угрюмо смотревшему в небо. Подле него лежала длинная плеть и валялась мохнатая собачонка, вероятно, покоившаяся глубоким сном, потому что не слыхала моего прихода. Не слыхал его и парень, который, опершись на руки, все смотрел в небо, и тоже, может быть, спал или находился в полузабытье и дремоте.

Невольно подчинившись его примеру, я совсем бессознательно взглянул также на небо и услышал дальний, едва слышный, крик журавлей, которые черной вереницей тянулись там. Пискливый крик пролетавшей птицы становился все слышнее и слышнее. Журавли, как кажется, хотели спускаться, потому что уже можно было различить отдельные фигуры и их длинные носы. По всем приметам, это были журавли, действительно, а не дикие гуси; они, в разлад друг с другом, продолжали гоготать и опускаться.

Парень, как казалось, следивший за ними, мгновенно встрепенулся, отнял руку от головы и обернулся ко мне в то время, когда я уже стоял подле него.

— Жаль — ружья не прихватил с собой! — заговорил он, как будто нехотя, но, тем не менее, смело и прямо обратившись ко мне: — а то бы ссадил одного, — вот, ей-богу, одного бы ссадил!

— Разве ты так хорошо стреляешь? — спросил я бессознательно, поощряемый тою словоохотливостью и доверием, которыми он поразил меня с первого раза.

— Да уж безинскому Петрухе за мной не угнаться. Для меня этих диких-то уток что ни есть проще сшибить, — сразу заныряет, а то что жираф? так только... долгоногая птица. А подстрелил ее и начнет ковылять на кривых-то ходулях. Знаешь что?..

— Да ты из каких? — спросил он, быстро изменив тон и пристально уставившись прямо на меня.

Я сказал.

— Так ты что же тут, грибы, что ли, собираешь, — может, заблудился, коли так далеко зашел? Ведь ваши-то места отсюда, почитай...

Парень замолчал, как бы высчитывая версты, и немало поразил меня, сказав, что до нашего посаду от Вертиловки, до которой наберется гон тридцать, считается двенадцать верст.

— А ты сам из Вертилова, должно быть?

— Вестимо, из Вертилова: там наши господа живут, а я при скотном дворе у них, в пастухах. Вот они теперь стаей, стало быть, летят, да не сядут; вожак-от опять поднимается: знать, нас с тобой завидел, — рассуждал мой пастух, продолжая смотреть вверх и следя взором за журавлями, которые, картинно развернувши дугой свою вереницу, потянулись дальше и выше.

Журавлиный крик делался едва слышен, а вскоре и совсем заглох в этом душном воздухе, который тяжелым свинцовым гнетом навис надо всем окружающим. Вдруг, откуда ни взялся, новый подобный же крик —

и перед глазами зачернела новая птица, но уже одна только — жалобно и скоро кричавшая вслед за стаей.

Пастух мой продолжал смотреть в небо и рассуждать вслух, следя за полетом последнего журавля:

— От стай отстал!.. не применился! должно быть, выводок весенний. Этих лихо стрелять: сейчас закружатся. Попрыгает, попрыгает да и ляжет. Тут ты его и бери. Только берегись: притворяются часто, и как раз носом глаз выхватит. Раз эдак-то и меня было, как господским детям хотел, на потеху, в гостинец живым поймать... Пстой-ко пстой, никак сядет!..

Пастух вскочил на ноги, схватил свою плеть, толкнул при этом ногой своего мохнатого жучку и опять присел, когда собака залилась звонким лаем и кинулась в гору.

— Напужали! — проговорил он с сожалением, усаживаясь на старом месте.

— Отдыхают они опасливо, словно бы и люди, — заговорил он снова, после непродолжительного молчания.

— У них в артели завсегда есть сторож чередной. Коли все прикурнут: стоит он на одной ноге и другую переменяет и не спит, а зачуял что, да завопил по-своему, так все и переполошутся. Разбегутся эдак на ходулях-то своих по лугам, да и кверху. Тут в них стреляй знай, — не промахнешься...

Он опять замолчал; а я, утомленный донельзя, расположился тут же, рядом с ним, в надежде отдохнуть после долгой ходьбы, и вполне уверенный, что мой товарищ давно набрал оба лукошка грибов и, бесполезно проискав меня по лесу, сидит себе дома.

Мне оставалось еще одно: отплатить за внимание вниманием, поддержать разговор, и потому я спросил парня о тех удобствах, которые представляет ленивая жизнь и спокойная обязанность пастуха.

— Ничего, — говорил мне, — ничего, коли сноровку знаешь да поприменился. Корова во всем стаде всех спокойнее. Ей куда велишь — туда и пошла, а то лежит

в тени, никого не замает, и всегда, помни, на старое место ложится. Напиться захотела — к реке пошла. Ну, и овца... тоже смирна, только не пужай, не наскакивай с плетью. Вон и к жучке попривыкли. Только два козла блудливы очень, у! — как блудливы!

Парень при этом прищурил глаза и помотал головой (один-то козел и мне памятен).

— А все кучера избаловали, да ребятенки господские особо вот того — черного-то. Зато свинья что ни на есть хуже всех: это, как сказано, свинья, так она и есть свинья полосатая.

На выраженные сомнения я получил такой ответ:

— Теперь начать с того, что свинья во всякую воду без разбору лезет, и лежит она в этой воде, — только покрякивает. А подыми ее, попробуй: да хоть сто палок обломай — ни за что не поворотишь. Того гляди, еще злость ее возьмет, проклятую: так и уноси Бог ноги. Слыхал, чай, как они с волком дерутся?

Получив ответ отрицательный, говорун мой продолжал разговор, растянувшись на спине и по-прежнему посматривая в небо:

— Я это сам видал, да и от других слыхивал, что коли волк напал на свиное стадо, — так ни одной не поживится — не дадут. Вот как бывает и дело это самое...

При этом рассказчик повернулся на бок и оперся на оба локтя. Волоса его свесились на лицо, и вся фигура, при занимательности предстоящего рассказа, представляла что-то особенно серьезное и привлекательное. Свежее, хотя и загорелое лицо, черные волосы, на висках вьющиеся колечками; красивая коротенькая, но круглая бородка, наконец, серьезный вид и какое-то сознание важности рассказа — возбудили во мне и интерес, и полное внимание. Я уже окончательно забыл и грибы свои, и Ивана Михеича: мне хотелось слушать и расспрашивать своего нового знакомца, говорить и сидеть с ним даже до тех пор, когда возьмет верх истомы, и я наклонюсь к траве и засну.

— Вот как бывает и дело это самое, — говорил он. — Ухватил когда волк поросенка, что ли, какого в стаде, да завизжал этот поросенок, то будь свиньи хоть за двои гон, — прибегут к волку. Они ни на реки, ни на озера попутные не посмотрят. Отобьют своего детища, да и встанут кучей: поросят собьют в середку, задами да спинами своими вместе сотрутся, и попробуй волк — вырви поросенка! Уж и ходит же он сердешный, долго ходит и сбоку-то, слышь, забежит и прямо кинется; а все, глядишь, назад бежит да хвостом виляет. Артель все вплотную стоит и на него напирает: поросята визжат посередке, матери свою музыку ведут. Волк только скалит зубы да щелкает, прыгает да щелкает, а в артель не посмеет ударить. До того мучат его свиньи эти, что так и кинет и пойдет к домам. Вот тут-то я одного и свалил пулей. А крепко же и он рассерчал: больно дрягался, как я его домой хотел стащить.

— И всегда отстоят себя свиньи, — не дадутся ему?

— Да чего не дадутся! — говорил он мне. — Иные боровья до того свирепеют, что из ватаги ино выскакивают. Клык наострит, слышь, да и метнется за волком вдогонку; отбежит, знаешь, немного, а себя таки помнит: сейчас и назад и опять задом в артель вотрется. А те все напирают да визготню ведут; все, знаешь, подвигаются. Зато уж и ушел хоть волк, не скоро свиньи разойдутся из кучи. Тут им человек не попадайся — всего изорвут. Значит, и тебя принимают за волка. Лягут они после того в озеро, так ты в трубы труби — не подынешь; пар так и валит, хоть на ночь оставляй, ровно, слышь, в бане были... Хрюкотня такая пойдет, что коров и овец переполошат, во как!.. — заключил рассказчик.

— А овца, так, я думаю, совсем беззащитна?

— Оно, пожалуй, кому, как не овце, трусливее быть: напужал ты одну, так, глядишь, и все переполошились.

— Что овца? — продолжал он, как бы рассуждая с собой, — у той и защита против волка одна, что на

стену кидаться, словно угорелой. Вон, у нас была такая притча в подизбице — лет тому пяток назад. Туда мы, на зиму овец застаем, так вошли с братом. Глядим: двух ярок загубил серый... зарезал, словно языком слизнул. Выходило, видишь, окно на улицу, а изба-то наша с краю как раз, подле бань, приходилась. Заколотить мы его забыли, али бо что? Только волк пролез, знать, туда, да и зарезал... Вдругорядь, думаем, не надуешь: взяли мы с братом да и заколотили окошко-то планками и двери плотно приперли. С братом порешил я так, чтобы мне сесть в подполицу с ружьем, да и дожидаться волка. Раз, смекаем, приходил, вдругорядь захочет. Вот я сижу это в подполице, да только вздумал, что, мол, придет понаведаться: а он как тут и легок на помине. Взвыл, слышь, за оврагом, да опять, да и еще опять взвыл. Может, думаю, товарищей подобрал. Коли не втроем идет, так вдвоем, может быть, как и водится у них завсегда, когда на грабеж подымаются. Может, думаю, и один позарился. Сижу, вот, я в подизбице и ничего не боюсь. Ружье подле, овцы в кучу сбились; а ночь хоть глаз коли. Дело это в осенях было. Взвыл мой волк за оврагом да и замолчал: идет, думаю. Только, слышу, он уж и тут: просунул в окошко лапу, да видит планками загорожено; пролезть нельзя; грызть нужно: он и грызет... Планки-то не подаются же, однако, на зуб-от даже, сколь ни востер: из дубового полена сделаны были, и вколочены плотно-наплотно. Я стал прислушиваться: так стал визжать, пострел, больно шибко принялся за работу. Вон и щепки полетели чуть не в глаза мне, и все он визжит да огрызается. Перестал, слышу. Что-то дальше будет? Гляжу на окно, а он хвост запустил в окно-то, ко мне значит, — да и начал болтать из стороны в сторону. Хитрит, думаю, серый, напужать хочет; пусть-де овцы со страху в двери кинутся, на двор выбегут: а я, мол, на дворе и перережу их. Только что овцы-то на стену бросились, я его и угодил за хвост-от, да и лажу к себе притянуть. Взвопил брата: что здесь-де, мол, сам в руки дался.

И притрухнул же мой волк, куды напугался — совсем понатужился: так, братец, всего меня и окатил. Мы его после и добили вдвоем; брат ему всю голову расколотил топором.

А то повадились после другие волки собак сманивать со дворов. Так уж мы тут просто всей деревней этих из ружей били.

Придут они, слышь, вдвоем и завсегда, помни, вдвоем: один встанет за углом, а другой идет к подворотне. Тоже запустит хвост да и выманивает. Собака-то побежит за ним, он от нее, а другой волк из-за угла выйдет да и накроет спереди и сзади: один возьмет за шиворот, другой за хвост, либо ноги в рот захватит и унесет в поле. Там сначала играть с ней начнут, и до того, сказывают, играют, что совсем заморят. Поколелую уж и поедают на последях, и так обчистят, что только одна голова останется да шкура. И шкуру-то начисто обточат, что словно мясник по заказу: сам видал, врать не из чего...

— Медведи, кажется, в нашу сторону не заходят? — спросил я, заинтересованный рассказами, хотя и не хуже его знал, что в наших лесах медведю негде водиться, разве притащится он по пути, да и уйдет обратно в свое место. В дальней окрестности, хотя и были леса, но большею частью боры, со всех сторон окруженные жильем, и притом же не представлявшие таких чащей, какие любит этот зверь. Пчел у нас также разводят мало; а ставить ульи на лесу — и обыкновения нет.

— Приходил один года три тому назад, коли еще и не больше того, и много натворил беды: одних коров надавил до десятка; мужика изломал из Соснины, — продолжал пастух, отвечая на мой вопрос. — Этот, сказывают, коли заберется в стадо, всех переломает. Чего бы, кажись, лошадь и на ходу бы легка, а не уйдет от него, коли влепит он ей заднюю лапу в спину, да правой уноровит за дерево ухватить. Визжит-ино, слышишь, бедная; а уж он ей и брюхо тем временем вспорет...

— Этот, я думаю, и со свиньей справляется?

Рассказчик быстро улыбнулся на мой вопрос и продолжал:

— Много свинье нужно, коли тот захочет: ухватил за щетину, вскинул кверху, да и разбил вдребезги оземь. С дедом этим расправа плохая: с корнями дерева рвет, не то что...

И рассказчик опять усмехнулся в то время, как на горе послышался шум, и показалось облако пыли, несущееся прямо к кособору. Какая-то дрожь пробежала по членам; пастух бессознательно ухватился за плеть, и мы уже готовы были видеть перед собою медведя или волка.

Ожидания наши были обмануты: в облаке пыли показались фигуры овец, выбивавших ногами частую дробь, которая глухо отзывалась, отбиваемая сухою землею. За овцами, тоже в пыли, неслась пастухова собака, высоко вздернув мохнатый хвост. Овцы вдруг остановились и столпились в кучу, наострив уши и как бы ожидая, что сейчас раздастся новый крик или лай, и они опять стремглав понесутся на свое место.

Пастух отправился наверх произвести должный распорядок.

Я остался внизу и слышал, как тот щелкнул несколько раз плетью, как снова пронеслись овцы, облаками вздымая пыль, и как опять сделалось тихо, так тихо, что у меня смежились глаза, и я заснул. Долго ли спал — не помню, но проснулся, разбуженный глупой коровой, которая рассудила фыркнуть мне в лицо, на пути своем к водопою.

Пастух мой шел от реки, прямо ко мне. Волоса его были мокры, с бороды капала вода; видно было, что и сам он сейчас из воды.

— Не хошь ли и ты искупаться? вот мой бочажок приговоренной, — лихо можно. А и не глубок: только по шею; на дне чисто. Сучья повытаскал сам; одни камни остались. Тут, коли хошь, и поглубже есть один, да вода

не проточная; волосатиков, поди, много. Вопьется, скажут, в ногу, никоими силами не выживешь, разве отрывать начнешь. А кости, слышь, скулят от него — и места не найдешь. Все от конского волосу, говорили, нарождается. А шевелится, словно бы и пъявица какая!

Таким рассуждением сопровождал он меня на пути к бочагу, над которым нависли целые кусты ветлы и откуда неслась особенно заманчивая прохлада.

Поместившись через час под тем же кустом, под которым и прежде сидели, мы молчали некоторое время, пока пастух мой ласкал свою собачонку.

В это время на противоположном краю оврага из желтевшей ржи выставилась белая фигура девушки лет пятнадцати, у которой в руках было что-то тяжелое, завернутое в тряпицу и завязанное. Девушка подходила уже к нам, но, завидев незнакомое лицо, остановилась на минуту и потупилась. Пастух махнул рукой и, обращаясь ко мне, проговорил:

— Племянница!.. старшего брата дочка, сиротой осталась. Ульяной зовут...

— Иди сюда скорее, не тронут: обед что ли принесла? — спросил он девушку, когда та, все еще не поднимая глаз, остановилась перед нами. На ней надета была длинная рубаха, коса заплетена и висела вдоль спины. Видно было, что она была все утро на покосе; загорелое лицо подсказывало о том же.

Робко зазвучал ее голосок; девушка говорила:

— Сегодня, дядинька, только одни щи варили, да вот молока прислала баушка. Крынку велела назад принести, когда опростаешь...

— А на-ка вот тебе гостинку, Уля: даве смастерил на бездельи; на — вот!.. годится ходить по ягоды.

Дядя отдал девушке красивенькую плетенку, свитую из ивовых прутьев, с крышечкой, плотно приделанной с одного боку.

— Крышку-то я сниму, дядя, — проговорила девушка, — а то мешать только будет.

— Как знаешь сама, твое дело. Да, вон, прихвати и братенку своему, Матюшке, дудку. Только бы рукой не хватался за дырочку эту, да языком прихватывал, во как!..

Пастух громко высвистывал свою, известную всем песню; посадил девушку подле себя и погладил по голове.

— Изо всей семьи, что ни на есть лучше, — продолжал он, обращаясь ко мне. — И куды ласкова! Сам, почитай, один вынянчил, зато и люблю пуще всех ее вот, да Матюшку — младшего ее братишку. Я ей и жениха стану отыскивать... сам. Хошь жениха, Уля?

— Рано еще, дядя! Баушка говорит: еще два года нужно погодить. Тогда уж, говорит.

Девушка взглянула на меня, покраснела и еще больше потупилась. Это, как казалось, понравилось дяде, потому что он, погладив ее по голове, крепко поцеловал в темя и принялся за обед, пригласив и меня — не погнушаться, отведать хлеба-соли.

— Сам-то ты разве не женат? А ведь пора бы, кажется!.. — спросил я его, по уходе девушки.

Парень крепко задумался, и заговорил про себя, тяжело вздохнув, и как бы желая умерить свою болтливость и излишнюю откровенность.

— Бабы говорят: скоро третий год на второй десяток пойдет: как бы, кажись, не пора? Уж и так семья серчает. Ты, говорят, в тягле лишной. Вон, говорят, у брата уж дети большие, а ты совсем бобыль, как перст одинокой. Вестимо бобыль — сами знаем, хоть и отец и мать живы, и брат родной... Ну, да что брат? один брат был, да и тот сплыл, — хоть и двоюродным он мне доводился. Ну, что ж что не женат? хотел было, сами знаете, да вишь пень словно какой подвернулся, и не стало по-моему. Одну девку три брата разом полюбили и не сказывали. А у ней только к Петрухе одному и лежало сердце. Меня, вишь, она за брата почитала, сама ска-

зывала. И померла... ну и, Господь с ней... ладно она это сделала.

Всю эту речь пастух говорил едва слышно, опустивши голову и перевивая плеть на коротеньком кнутовище. Как будто ему совестно было поднять голову и своим бойким, умным взглядом окинуть любопытного расспросчика. Долго он сидел в таком положении, по временам покачивая головой и передергивая плечами.

— Да ты, поди, знаешь, Петруху-то нашего? — спросил он, быстро приподняв голову и взглянув на меня. — Он у нас тут частенько бывал в посаде с проезжающими: отец мой лет пяток тому назад держал извоз, а Петрован-от и ездил ямщиной. Три лошади держали... Красивой такой парень был, лицо краснощекое еще такое, — чай, знаешь?

Получив отрицательный ответ, пастух опять спустил голову и задумался.

— Что же он — брат тебе был?

— Брат-то брат был, да не родной. После покойного дяди отец в нашу семью привел, с тех вот пор и стал он словно родной, особо мне-то... Брат Васюха невзлюбил его и сомустил у нас всех; только один я не послушал...

— За что же?

— Да, вишь, девка у нас Матрена была, и славная девка, голосистая, гладкая, смиренница такая, что слова даром не промолвит. И полюбились они с Петрованом-то; любятя и никому не сказывают. Только меня одного и ласкает девка, братом называет, а все, должно быть, Петруха нахвалил. Ласкает это она меня и гостинцев носит: то черники сушеной, то каленых орехов; не сказывай только, говорит, брату своему Василью. «Что мне сказывать? — говорю, — ведь и Петруха тоже брат!»

— Так вот и любилась они целое лето и осень. Слышу: наши бабы об этом проведали, стали толковать: что никак-де Петр Матрену за себя засватать хочет, — ожениться надумал. Я к ним. «Да! — говорят, — только, слышь, филиповки пройдут, да святки, и пойдет к дяде

с поклоном». Как услышал я это, так, у меня у сердца словно оторвалось что, — так и ошибло. И не то чтоб я любил ее, что ли, а все же, думаю, гостинцами кормит, братом зовет; целуемся ину пору... Промолчал я, однако, никому про то не сказал: ни отцу, ни невестке, ни брату, никому в семье.

Подошли у нас на ту пору супрядки осенние; стали свадьбы налаживаться. Слышу: брат Василий ребят сомущает: «Побьем, да побьем Петруху, — я за все отвечаю, не бойтесь. Пусть-де, слышь, к моей суженой не суется!..» Я опять промолчал. Да слышу, Васюха все одно да одно гвоздит ребятам нашим. Те уже и сговорились с ним, и место в банях наметили. Я и скажи Петрухе-то: «Ладно, говорит, нишкни до время! А там возьми, да и подошли ко мне Матрену с пряниками, да поцелуями». — «Приходи, говорит, тогда за бани, да и дожидайся меня за нашим овином!» Пришел я туды, а ему на ту пору из Соснина привелось идти, пошевни у земского ходил просить. Вижу: выскочил брат Василий, да и сгреб его; откуда ни возмись и наши ребята. Не олух же был и Петруха: за ним чуть ли не все соснинские пришли. Начали драться. Слышу: вопит брат Васюха: «Не стану, говорит, другу-недругу закажу; не трону твоей Матрешки... любитесь вволю!.. отстань только, не души!..» Стою я так за овином, к углу припал ни жив ни мертв. Слышу: Петруха меня кличет. Да я не пошел — побоялся... или так что-то...

А соснинские ребята наших лихо вздули! Да и брату Василью досталось: синяки по всему лицу были. Отцу сказал, что на супрядках с полатей упал. Так и прошло!..

Рассказчик улыбнулся и, как казалось, припоминал всю смешную обстановку давнишней свалки. По всему было видно, что радовался он за своего двоюродного брата-победителя, держал его сторону.

— Что же дальше было? — спросил я его.

— А уж дальше-то больно плохо было...

И он глубоко вздохнул.

— Васюха, брат, начал баб подмывать, а те сдуру отца сомустили, а как пришел Петрован-от к отцу, начал говорить: что вот-де невесту нашел, благослови!..

— «Чем, говорит, благословлю: откуда деньги? Брат вот только шубенку оставил, да буренку яловую. Эта девка и Василью либо Ванюшке годится. Мне, говорит отец-от наш, хозяйка к дому нужна, а ты сегодня здесь, а утре и с собаками тебя не сыщешь. Любишь с другой какой, а эта не по твоему рылу. Слышишь, говорит: завтра в город ступай, седоков присматривай, да и в дорогу. О себе оставь думать: сам завтра сватать иду, а тебе не видать ее, как своего уха». Тем было и порешил отец, да уперлась сама девка. Больно, вишь, любила Петруху: ни за меня, ни за брата не хотела идти. Господь, думаю, с ней! ничем я ее не обидел! Пускай гнушается!.. Пришел я только к отцу, да сказал ему, что я, мол, чужому счастью не завистник; не нужно мне Матрены, не стану заедать ее век девичий. И не сватай, говорю, лучше. Отец посмотрел эдак на меня, обругал да из избы выгнал. После не говорил он со мной неделю места, словом не приголубил...

— Что же случилось с Матреной? — спросил я опять призамолкшего рассказчика.

— Что с Матреной? знамо, неповадная была девка, как уперлась на свое, так с тем и отъехали все. Нейду, говорит, да и все! Либо Петруху, слышь, либо никого. Тут как назло лихоманка за ней увязалась и начала ее ломать да сушить. «Ступай, говорят, в баню: скорей пройдет!..» Нет и так, слышь, пройдет! И на улицу вышла. Тут с Петрухой встренулась, и тот ее стал уговаривать. Плачет только Матрена; а никого не слушает и в баню нейдет. Кореньев каких-то напарили ей в горшке и тех в рот не брала: «С души, говорит, тянет!.. горько больно, лучше так перемогусь!» Перемогусь, перемогусь, да на том и села; свалило ее на печь, да и

начало гнуть. Кричит, бывало, на всю избу, и никого не допускает! «Укушу! говорит, не замайте... Укусила бы, говорит, Василья Корепина!» И брата Петруху вспомянет, меня закричит, да и заревет. Начнет это причитывать словно по покойнику. Эдак-то ровно трое суток мы попеременно с Петрухой просидели у ней. А на четвертые отец Петруху услав в город, а меня засадил в избу. «Полно, говорит, с бабами возжаться, шалопай ты эдакой! Твое ли это дело! посмотри ты на себя!..»

— Слышу поутру: пришла наша невестка, да и говорит, что Матрена-то после третьих петухов побывшилась; поминала Петруху да меня, опять на брата Василья грозилась. Отец пожалел: «Первая, слышь, девка так помирала; никто себе ворогом, говорил, не бывает!» Сам оболочся, мне велел и брату и повел нас за собой. Смотрим: обмыта лежит, лица и не знать стало, все искалечено.

На другой день Петрован вернулся из дороги, да и взвыл, как узнал о Матрене, больно же взвыл!..

У рассказчика навернулись слезы. Вероятно, желая поправиться, он толкнул своего жучку ногой, поднялся с земли и отвернулся на ветер, который начало наносить прямо на нас.

Неловко было просить его продолжить интересный разговор, и я счел за лучшее, дав ему успокоиться, привести к тому окольным путем. Лучше всего, подумал я, спросить его о том, каким образом попал он в пастухи. Мне казалось, что и это обстоятельство имело некоторую связь с предыдущим.

Как бы не вслушавшись в мой вопрос и увлеченный своим рассказом, он продолжал его каким-то вялым, несколько дрожащим голосом, из чего, однако, можно было заключить, что он все-таки рассказывал охотно, без всякого принуждения со своей стороны.

— В осенях это было, о чем рассказывать стану; — только что заморозки пошли у нас. После Матрениной-то смерти ровнехонько бы через год. Сидим мы эдак в

избе, отец с бабами на овине рожь домолачивал. Васюха шлею конопатил, а Петра не было дома, опять в извоз услали. Я у светца с Матюшкой — племянником самострелы из лучины делал. Вот и сидим мы эдак одни-одинехоньки. Бабушка на печи храпит. Васюха-брат, как теперь знать да помнить, песню на ту пору мурлыкал; а Матюшка махонькой нет-нет да и загогочет: любо, вишь, что лучинка-то из рук прыгает. Я ему, знаешь, опять самострел в руки дал и опять лучинку вложил, да и поджег с правого-то конца. Только бы лучине-то этой загореться, а Васюха перестал песни, да и окликнул.

— Никак, знать, тот-от... одмен-от наш вернулся: слышь, воротами заскрипел!..

И опять замурлыкал песню и дратву зубом ухватил.

«Что ж, думаю, пусть его!» — да и опять новый самострел Матюшке сделал. Заливается мой парнишко так, что и мне ино любо стало. Тем временем и Петруха в двери.

Гляжу: лица на нем нет, весь бледный; совсем пьян, — шатается.

— Где, говорит, дядя? — И глазами своими масляными вскинул на меня.

— На овине, говорю; рожь домолачивает...

— То-то, слышь, рожь домолачивает, чтоб опосля, говорит, мне куском своим оржаным в глаза корить... знаю, говорит...

Снял эдак Петруха шубу и сел за стол, схватил шапку с головы да и кинул супротив себя.

— Вот теперича, говорит, есть хочу, больно есть хочу; груздей бы соленых поел с квасом. Да нет, слышь, не хочу я есть, ни за что не стану... Чебоксарский купец десять рублей сулил помесечно... и одежда его, и с одного с ним стола харчи идут...

Петруха, смотрю, и голову опустил на грудь, так что и бороды его курчавой не стало знать. Упер он эдак руки-то в колена и голову опять *вздынул*. Встряхнул

волосами да и замолчал... «Пусть, думаю, покуражится маленько...»

— Вот, говорит, братьев у меня двое... то бишь, один, говорит, брат — Ванюха.

И рукой на меня показал.

Что, думаю, дальше скажет?

— Вместе, говорит, пьем, вместе по соседкам ходим... Люблю, говорит, Ванюху... А тут тебя, слышь, корят ни зря — ни походя, день-то деньской... И бабы мусолят, да и дядя: «Ляд, говорит, с тобой, коли пьешь!» А нешто на твои пью?... Господа приезжающие дают на водку — так и пью... Попросил на армяк: у тебя старый, слышь, хорош, кушак дай — Васюхе годится. Вот жисть-то она!.. вот!.. не давайте, слышь, бабы, новых рубах ему, в старых нащеголяется, а эти и Василью годятся.

Петруха, помню, опять головой тряхнул и прошел по избе.

— Дай, говорит, Ваня, обух!.. дай топор!.. Дядю, слышь, подай!..

Тут уж я подошел к нему прямо, да и ухватился за руки; вижу — совсем его дурость какая-то одолела.

— Отстань, говорю, не ругайся!

— Ваня, слышь, не бранись, не сердись на меня!.. хоть ты-то!..

Да так, помню, болезно молвил он это, что у меня и руки опустились и кровь на сердце кинулась. Матюшка, племянник, ревет и самострел кинул.

— Тебя, говорит, что ни на есть люблю пуще всех. Не замай меня!..

Я опять ухватился за руки.

— Ваня, мол, оставь дурости!.. не ругайся!..

— Где, слышь, дядя? — гудет мой парень, словно вон бык на пастве. — Дядю, говорит, позови! Уйду, да и не приду больше, а дядю позови! Отдам ему вот эти десять рублей, да и все тут: пусть не корит!..

Десять рублей, помню, из-за голенища вытащил Петруха, да и кинул на стол.

Взял я эти деньги, засунул на тябло и опять уцепился за Петруху. Уйму, думаю, его пока до время, а отец придет на ту притчу, ничего не выйдет путного.

— Не ломайся, говорю, оставь эти дурости свои. Коли зла хочешь, на вот: бей меня!.. бей!..

На ту пору и рожу ему подставил и руки навел.

— Нет, слышь, не трону тебя, Ваня!.. а оттого, что люблю, пуще всех люблю... во как!..

И обнял он меня, шибко обнял: нали — крикнул. Да опять за свое:

— Дядя, говорит, где, где он?

— В овине, говорю, последние суслоны обмолачивают, что от вечерних остались.

— Туды, кричит, пойду!.. туды...

А сам ногами брыкает, словно баран шальной. Брат Василий сидит в углу по-давнишнему и все ухмыляется, да бороду обгрызает... все ухмыляется...

Я ухватился за Петруху, оттолкнул его от дверей; на пол свалил, да и сел на грудь.

— Оставь! — кричит, — тебя не трону!.. Вот тебе Христос, не трону!.. Васюху, слышь, только дай, да дядю, да невесток дай!..

А на эту-то притчу, как назло, и отец в двери, да прямо к Петрухе и лезет в глаза:

— Что, говорит, опять нализался? Опять, поди, на водку дали?

Петруха мой вскинулся с полу, да и встала эдак к печке; руки заложил назад, потупился.

Отец смотрит на него во все глаза и ровно бы шибко сердится.

— Нализался? — кричит. — На водку дали? Обродовался даровщине и все пропил: с горя, поди, дядя обирает?..

— Да! — говорит Петруха и качается. — Пропил!.. все пропил!.. вон только десять рублей осталось, а двенадцать дали: все, все пропил!..

И глаза прищурил и опять головой встряхнул. Гляжу: облизнулся, руками замахал. «Эх, думаю, пьян

ты, Петруха... Лучше бы было, кабы не грубил отцу». А он тут тебе опять, словно назло, рожон вострой в горло.

— Купец проезжающий в работники нанял: десять рублей задатку дал... Песни, вишь, ему мои да приговоры пондравились. Что ж? я пойду. Сам свой разум теперь имею, никого не хочу знать. Сам себе голова!.. Только, говорит, одного Ваню жаль, а то ничего!..

И опять на меня рукой показал. Я на ту пору на отца глаза вскинул, вижу — покраснел старик, словно мак рдяный, да как крикнет, да топнет:

— Вон! — кричит, — на печь!.. на полати!.. под лавку!.. спать! — кричит. — Пьяный, чихирник! У братьев невест отбивать надумал, дармоед эдакой!.. Деньги прогонные все лето прогуливал; с целовальниками подорожными спознался. Матрешку заморил! Ванюшку сомущаешь! меня обижать стал!..

И начал эдак усчитывать и вины насчитывал много, и, помню, рекрутчиной пригрозил:

— Как пьян, так и атаман, а проспится — свиньи боится.

— Вяжи его, дуры бабы, да и спать укладывай!.. Крепче вяжи, вот так. Бери, Васька, веревку, да крути руки назад: крепче, кричит, крепче!..

— А ты, болван, что рот разинул, что не подсобляешь? держи ему ноги! что он дрягается!.. ты!.. Ванюшка!..

Да как ляпнет меня, ни с того ни с сего. Тут уж и совсем опустились у меня руки и света Божьего невзвидел я. Лежу и земли не чую. Помню только — в избе темно; зыбка скрипит; отец на печи храпит. Петруха на полатах храпит; бабы за переборкой... Так я и не спал до утра.

Рассказчик мой замолчал и с трудом перевел дух, как бы утомленный наплывом тяжелых воспоминаний и текучестью оживленных подробностей события. Солнце клонилось к закату. От реки понеслась продол-

жительная прохлада, столь редкая и, следовательно, драгоценная в жаркие июльские дни. Мимо нас проплелась на водопой корова и проскакала стреноженная лошадь с жеребенком. Окрестность была по-прежнему тиха, но эта тишина сделалась еще приятнее и привлекательнее. В это же время молчал мой собеседник.

Едва-едва собрался он с духом, и только на мой вызов решился рассказать остальное.

— Так-то вот случилось, — заговорил он с тяжелым вздохом, — что Петруха от нас ушел к купцу в Чебоксары, да в два лета хоть бы одну грамотку прислал о себе. Только мне раза никак два наказывал поклон с ходебщиками.

Сказывали те, что Петруха там у купца товары возит по ярмаркам; три, слышь, лошади на руках имеет. Звал было меня к себе, да отец не пустил.

— Я тебе, говорит, последние звенья в костях вышибу! С чихирником непутным спознался, — сам таким стал... Собирайся! — говорит.

Оболокся я. Из избы вышли. Гляжу: прямо на барский двор ведет меня тятка.

Помню: выходит барин в халате. Старый уж у нас барин был. Вышел и табаку из серебряной табакерки понюхал, — мы ему оба в пояс, и еще, и еще. Поклонились.

— Что, говорит, вам нужно?

— К твоей милости, — говорил отец, — не обидь, яви милость! Парень совсем от рук отбился: работать на семью не хочет, за Казань просится.

— Хорошо, говорит. Что ж тебе нужно?

— Не возьмешь ли, — говорит отец, — на скотный двор скотину пасти? — да и чебурахнулся в ноги. Я тоже пал. Взглянул на меня барин. А добрый он был, всех уважал, какая бы ни была твоя просьба.

— Я, — говорит отец — и оброчное, и государево за него платить буду; яви милость!..

— Хорошо, — говорит. — Я прикажу управляющему.

Мы опять ему в ноги; да вот с этих самых пор, как лето, так и иду к скотнице принимать животы. Да шесть десятков голов на руках у меня. Я, стало быть, отвечаю за них.

Вот третеводни корова поколела, так почал меня управляющий мылить: «Ты, говорит, чего смотришь? разве не твое это, слышь, дело»? Мое-то, мое, вестимо мое! да поди ты, вот тут, свалило корову в канаву, да так и затянулась, замоталась. Это не то, что свинья — ту, коли не заколешь, сама не свалится скоро.

Овцы тоже маленько привередливы, нападает на них мокрец, что ли, такой; совсем из сил выбиваются: крутит их из стороны в сторону, просто-напросто вьюном вьет. Так и замотается; а там, глядишь, и другая почала. Да раз этак-то, позапрошлым летом, никак десятка два ярк поколело. Навязали было мне тогда гусей стережи, ну, и ничего: смирная птица; сядут этак на озеро и сторожа посередь себя посадят. Этот не спит, гусят стережет; на заре просыпаются и кричат всей артелью. Теперь за ними скотница Паранька приставлена. А мне за всем не в усмотр было, — сам отказался,

— Что же ты по зимам делаешь? — спросил я его.

— Вестимо, по дому работаю... Что дадут, то и делаю, ни от чего не отказываюсь. Теперь и отец словно бы не серчает. Иной раз кушак новый купит; рукава новые к полушубку прошлой зимой сделал; про невест толковал, да я не хочу...

— Отчего же? давно пора!

— Нет, так не хочу!.. Без меня много. А то опять, глядишь, чужой век заедать станешь, не хочу! После Матрешки боюсь, ну их!.. Да пора никак и скотину сгонять в кучу, напоить, да и в хлев придут заставить, — проговорил пастух, взглянув на небо, которое как будто заволокло туманом: солнце скрылось за оврагом, и только виден был его красноватый отблеск на верхушках деревьев знакомого уже мне бора.

Я поднялся с ним на гору. Пастух начал сгонять коров, оставляя лошадей и овец на ночлег, вероятно, и сам

предполагая остаться здесь же, чему неопровергаемым доказательством служит шалаш, сделанный из осиновых и березовых сучьев и примкнутый к оврагу.

Вскоре явилась сама скотница и угнала коров. Я стал прощаться с пастухом и расспросил о дороге.

— Иди на Печениково, — говорил он мне, — а там по болоту ступай на Свателово, да смотри, легонько. Гать-то у них положена, только стара больно; вертячих песков много по сторонам; чертовы воронки попадают, совсем засосет. А не то, коли не хочешь, бери на кирпичные заводы; вот все прямо на свателовские горошища. Тут тебе и посад свой, знать, приведется, как пройдешь мимо оврагу вашего.

— Ступай, вот, пока перелеском направо, — говорил он мне, указывая на то место, в которое мне нужно было углубиться.

На полпути к нему он остановил меня криком.

— Слышь-ко!.. В Ильин день у нас в Вертиловке праздник, заходи пивка выпить — лихо будет: хоровады заводят. Угощение не хуже вашего посадского идет. Отпущусь, — отпустят. Приходи, право: упощую во как!..

ДОБАВЛЕНИЕ

*Из путевых заметок
(на окраинах Сибири).*

1. ЯПОНКИ

— Понравились ли тебе японки? — спрашивал я матроса Ершова, моего неизменного спутника, в течение целого года делившего со мною и горе и радости по Сибири, по Амуру и на Океане, а теперь возвращавшегося с прогулки по японскому городу Хакодате на корвет наш «Америка».

Ершов был матрос старый, кругосветный. Ответ его казался мне вдвойне интересным: как ответ человека, перевидавшего на своем веку многих и многое, как и человека, в то же время не лишённого способности верно и метко определять людей и обыденные житейские явления. Несколько десятков раз убеждал он меня в этом уменьи и способности, и вызвал вопрос, предложенный ему по дороге из Хакодате, еще и потому, что женский пол был его слабостью, даже больше — его вдохновением. Крутой, угрюмый и молчаливый всегда, даже при щекотливых, иногда резких огорчениях, он становился разговорчивым до болтливости, когда спрашивали его о тех женщинах, которых удавалось ему видеть во время двух кругосветных плаваний. По нескольку раз он готов был отвечать на подобные вопросы; часто заговаривал сам — без всякого, по-видимому, вызова, без всякого повода с моей стороны. Но вызванный, или вызвавшийся, он всегда говорил одно: сумевши сделать выводы из личных наблюдений, он не развивал их далее за недосугом или нежеланием; убедивши себя в результатах личных наблюдений, он так и заморозил их для себя и для других навсегда. Выводы эти я помню, за долгими рассказами Ершова, почти слово в слово.

— Самые, что ни есть, лучшие на свете француженки! — говорил он.

— Чем же? — пробовали его.

— Чистоплотны очень и к нашему брату, матросу, ласковы.

— Да ты не перепутал ли? Чистоплотны-то ведь немки; они же и ласковы.

— Как можно перепутать?! Не могу я этого сделать, так как и тех и других доподлинно знаю. Немки — дрянь!

И затем круто поворачивал вопрос и всегда повествовал следующее:

— Я когда во Францее был в плену — ихним языком очень занялся. Сейчас подойдешь к ней: «Мадан»! Сейчас ножкой сделаешь, глаз прищуришь... сейчас она тебе отвечает: «русь»! Так, мол, точно, мадан: я русский!

Затем Ершов обыкновенно махал рукой, отходил в угол и тяжело вздыхал, вздыхал на всю комнату. И дальше говорил, но уже не столько словами, сколько движениями. Он приседал, щурился; щурил в особенности левый глаз, всегда выразительный и эффектный. Складывал руки ферттом, подхватывал правую руку и опять нагибался, желая показать, что и он хаживал с французскими *маданами* под руку. Не столько словами, наполовину ломанными, наполовину русскими, передавал он о своих куртизанствах, сколько объяснял это движениями своего приземистого, плечистого, не ладно кроеного, но крепко сшитого тела. Особенно работали его руки и по преимуществу пальцы, оmozолевшие на тяге брасов и иных снастей, грубые, толстые и совсем неспособные к передаче тонких сердечных ощущений. А между тем, ему хотелось выразить и передать все это. И передавая все это, он был решительно вдохновлен. На тот раз забывал он многое, если не все положительно. Оставляя обычное место свое у двери, Ершов дотанцовывал при рассказах до самых слушателей. Раз, забывши о том, что в числе последних был

его командир, он спокойно танцевал и перед ним долго и сосредоточенно. С трудом он потом догадался, вспомнил, спохватился, попросил прощения и спрятал свое покрасневшее лицо и охолодевшее тело за дверь.

Вытаскивая его из-за двери, мы все-таки и всегда слышали от него одно и то же: Ершов не занимался в сочинении новых приемов и новых слов, а потому в особенности и казался вполне искренним и правдивым.

Не утерпело мое сердце отнести к нему с вопросом и на тот раз, когда мы шли из Хакодате, — отнести, как к говоруну, любителю и знатоку.

— Как же тебе, Ершов, показались японские женщины?

— А я не видал их.

— У кого же ты sake-то покупал?

Ершов, получивший от меня утром две серебряные четырехугольные японские монеты — ицэбу, целый день носил подарок этот в кармане; терпеливо, и как будто даже охотно, ходил за мной повсюду: в храмы, по лавкам, в кипарисную рощу, на скачки в губернаторском доме, бродил за мной целый день. Вечером, перед возвращением на судно, высказался: купил себе огромную плетушку с водкой, и ее в числе других покупок бережно принес за мной и поставил у меня же в каюте, чтобы избавиться от конфискации и не входить в споры и ссоры с вахтером. Как любитель крепких напитков, он ходил всюду за мной с тою целью, чтобы за моей спиной и под видом моих вещей пронести эту водку. В этом чистосердечно сознался он потом, когда качкой судна, на возвратном пути в Россию, сбросило водку на пол, разбило посудину и пролило влагу с крепким, характерным запахом спирту. Протомившись битый день на одной мысли о покупке вина, он не замечал уже ничего больше; не заметил и японских женщин.

— Не стыдно ли тебе?

— Стыдно, ваше благородье!

— Иди же завтра: посмотри на них и скажи свое мнение.

— Непременно схожу: отпустите.

Сходил Ершов на берег и рапортует:

— Видел: и надо полагать, японки с каначками одной породы. Стыда нет и нашему брату одно препятствие — в разговоре. На перстах я с ними пробовал и нашел, что и они так-то, что и француженки, хорошо на перстах понимают.

— Об чем же ты разговаривал?

— Обо всем.

— Например?

— Я говорил: с русским не в пример лучше, чем с англичанином знакомство иметь. Русь — добрый, сказал я. Усмехнулась: поняла, значит. Я дальше пошел. Говорю: нехорошо на головах такие кибитки носить: голова болеть станет, а у вас, мол, жарко. «Жарко!» — говорит: головой покрутила. «Имеете мужа?» — спрашиваю... «Имею», — говорит: значит, засмеялась тихонько. Стыдиться, мол, тут нечего, потому как дело это христианское. Я вас не обижать пришел, а поговорить только. Я, мол, купить у вас могу все, что вы продаете. Позвольте! — Молчит: «Можно — значит». Я сейчас из-за сапога железную штучку вынул, кругленькую. Сколько пожалуете? Головой кивнула: значит, самому выбирать надо. Отобрал я у ней 10 груш; смотрю, — три груши к себе потащила: бери-де семь. Дай, — мол, поторгуюсь: я к себе из трех этих две придвинул. Гляжу: смеется и деньги взяла. Так и купил я девять груш за железку⁵¹. Дешево у них все, уж если на жестяных деньгах торговля идет.

— Да ты, Ершов, от разговора-то о женщинах ушел далеко.

— Вы, ваше благородье, отпустите меня еще погулять.

Погулял Ершов и принес новые вести.

— С японками я теперь могу разговаривать всячески. У них — значит — только покупай, а она без того

на тебя и внимания не кладет. Француженки сами зачинают: те, значит, лучше. От них щекотнее.

— Чем же эти-то хуже?

— Первое, — они в халатах, что и мужчины, ходят: распознать трудно. Оттого я впервые и опознался. Теперь на головы смотреть стал: отмену увидел. У мужчины волосы селедкой свиты и положены на лоб. У женского полу взбиты копной, и с затылка на темя приглажены: не хорошо! Наша бабья коса лучше. Вот и все...

— А второе-то?

— Сказать не могу...

— Забыл, или не знаешь?

— Сказать не могу.

Я знал Ершова: на чем встал — не сдвинешь. Наставил я и на этот раз, но не добился от него толку.

На другой раз он сам подъехал с предложением.

— А вы бы, ваше благородье, сами поглядели на японок.

— Я смотрел, да мало видел. Ты ходил по разным землям: глаз твой наметанный; дальше видит и больше смыслит.

Ершов самодовольно улыбнулся; грешный человек — и он не лишен был самолюбия (да еще какого!). Переступив с ноги на ногу, он ловко выправил плечи, твердо встал на месте, самоуверенно глядел на меня.

— Из некрещеных-то народов, признаться тебе, Ершов, я только почти первых и вижу.

— Это точно что так, ваше благородье, я это дело понимаю.

— Вот мне и сравнивать здешних не с кем.

— Где вам? — сказал Ершов, да и спохватился: — Человека понимать трудно; надо его к примеру всего... то есть знать. Всячески с ним... точно что не так, как бы... а насчет обхождения...

Ершов попал в труппу своей доморощенной философии и, не привыкший откровенно высказывать свои мысли и не выученный ясно излагать их, он, как солдат,

и притом неграмотный, говорил только слова, какие когда-то и где-то слышал или подслушал, когда грамотные читали при нем печатанные книжки и, по уверению товарищей и по собственному сознанию, считал их хорошими, красивыми, а может быть, и учеными. На стезе этого смутного понимания и спутанного изложения стоят все те, которые после грамоты, без предварительной подготовки, перешли прямо к книжкам и, поглотивши всяких таких книжек довольно большое множество без толку и смыслу, не сделались умными и учеными, а только резонерами и хвастунами. Военные писаря стоят во главе этого полуграмотного полчища, и примкнул к нему Ершов мой не по безграмотству, а по простой причине, — что судьба позволила ему видеть многое, слышать многое. Видел он, конечно, все вверх ногами, все не на своих местах, а понял так, что, по собственному его выражению: иному делу словно бы и так надо быть в голове-то, а станешь рассказывать — выходит не то. Язык с места не сдвинешь и никак к делу-то этому слов не приладишь.

В таких случаях необходимо прибегать к догадкам.

Ершов продолжал путаться и затемнять свою мысль.

— Ты хочешь сказать, что и с японцем надо пуд соли съесть, чтобы узнать его.

— Точно так.

— А можно и иначе.

— Извольте вы рассказать, что вы узнали, — предлагал он мне.

— Что ж из этого выйдет, и чего ты хочешь?

— Вот, извольте рассказывать.

— Видел я, что японки незастенчивы, и не скрываются за углом, и не прячут лиц своих в рукав, или за спиной товарки, как делают наши девки.

— Верно!

— Стало быть, по-моему, японкам вольнее жить: их не запугивают, их не заколачивают...

— Почему?

— Видно, закон такой.

— Это не может быть, ваше благородье; баба за- всегда бита. Я где ни видал, — везде один закон. Вот у французов — мы пивали в ихних кабаках — всегда их- нюю сестру бьют.

— Лжешь ты!

— Ей-богу, не вру. И не бить их нельзя.. Потому — капризны очень. Когда в ней черт-от этот сидит да раз- гуляться захочет: хуже зверя не бывает. Ругается, в лицо плюет, глаза царапает. У канаков, которая в на- шего брата вцепится — ничем не оторвешь, пока сама не отвалится.

— С тобой об этот говорить трудно, потому что ты женщин хвалить не любишь.

— До смерти не люблю, ваше благородье.

— Надо бы тебе к японкам-то приглядеться: может быть, и нашел бы в них что-нибудь хорошее, и полюбил бы их.

— А вы-то разве что-нибудь видели?

— Видел я, что японки не сидели сложа руки, как твои сибирячки, а они и в лавках торгуют: стало быть, мужьям пособляют.

— Да это, может, солдатки, которые вдовы. Те и в наших местах маклачат торговлишкой. Разноты я не вижу. Во Францее тоже опять все женщины этаким де- лом занимаются. Только на Таите-острове я не видал тово. Там бабы, как быть надо бабе, как быть надо: толь- ко брюхо наколачивает, да с нашим братом матросом компанию имеет.

— И знаете что, ваше благородье? — И Ершов с плутовато-насмешливым выражением в лице стоял, подпершись в бока руками, с выставленной вперед но- гой, готовый говорить свою любимую повесть о пребы- вании на о. Таити, о тамошних женщинах, о своих по- хождениях с ними. Но рассказ этот он не приготавлил для печати.

— Пишите, ваше благородие, в книжку свою, что матросу Ершову японки не пондравились. Первое — некрасивы.

— Второе — запишу, что японки тем хороши, что рядиться не любят, на наряды денег не тратят и мужей своих не иъзянят.

— Это не хорошо, ваше благородие! Чем же баба и угодить нашему брату может, как не этим самым? Если она нарядно одета, я и подойти к ней могу. Мне это не стыдно, мне и разговор начать есть с чего: вот, мол, какая ты нарядная! — и все такое, по-нашему. А похвалишь бабу — известное дело: она эти слова твои на сердце примет, и ты ей пондравишься. Значит, она чувствует, что ты за человек таков и чего желаешь. Мы этаким манером кругом света объехали, и нигде своего интереса не упустили. Нас всякие любили за одно то, что знаем, как говорить.

— Любили тебя за русские деньги, за серебряные.

— Деньги тут дело второе. За деньгами матрос не стоит: ему зачем деньги? На деньги скупы одни голландцы: ни француз, ни англичанин этим добром для барышень не скупятся. А уж нашему-то брату и Бог велел.

Я вот что о француженках смею говорить вам опять. Вырядится шельма, да начнет ласкать тебя: таешь. Маленькой ручкой по щеке тебя треплет, не глядит, что щетиной обросла. Целовать не целует, а смотрит так на тебя, что сто рублей будь, все отдашь и сдачи не попросишь. Я вот где ни бывал потом, таких людей и не видывал. Наша баба только целоваться может лучше, а ласковых слов она также мало умеет сказывать.

— Чем же, на твой взгляд, наша баба от японской отличается?

— Надо быть, мало чем. Наша с виду подбортней: как бы из себя потолще, да и лицом покрасивей. Есть ведь и у нас такие бабы, что во Францее не найдешь, ей-богу!

— Ты не бойся, Ершов, я тебе в долг поверю.

— Верьте, не верьте, а сказывать надо одно: вот мы на Амуре были, — маньчжурок видели: те не в пример японок лучше, те с нашими бабами под одну линию подойдут.

— Чем же?

— Круглоликие такие же, как и наши. В писаные цвета рядиться любят, и на грудь к ней взглянуть приятно. Японки как один цвет наладили, так и ходят все в сером да черном, словно монашенки. У маньчжурок и на голове любо: цветы всякие. У наших барынь я выдывал — и во Францее носят, а таких расхороших нет, как у маньчжурок.

Договорившись с Ершовым до маньчжурок, мы стояли уже с ним на твердой почве, могли идти по ней более смелыми шагами, на более знакомые тропы. Я не уйду теперь вслед за моим товарищем: прежде всего потому, что об этом речь наша впереди, а позади нас все-таки остается мудреная Япония. Хотелось бы сказать про нее что-нибудь определенное, но едва ли скажу многое: всего 10 дней стояли мы перед японским городом, и хотя, почти изо дня в день, из часа в час, бродил я по берегу, но видеть и слышать в такое короткое время что-нибудь определенное и полное — не мог. Мои личные наблюдения и усиленные розыски, руководимые на большую половину сторонними подсказками, — ни к чему привести не могли. И вот причина, почему и в оригинальном матросе я принужден был искать того же, чего искал в других, чего не мог найти в своих личных средствах.

Немножко материалист, немножко циник — Ершов отчасти был прав в основных своих воззрениях, преимущественно по отношению к японским женщинам: ни в чем в такой силе не отразилась оригинальность этого неизвестного и любопытного народа, как именно в вопросе об общественном положении женщин.

Известно, напр., по рассказам многих путешественников, что ни в одной из коренных азиатских стран женщина не получает такого воспитания, как в Японии. Здесь они все грамотны; здесь редкая из них не умеет играть на инструменте, имеющем форму тех же азиатских (или лучше еврейских) цимбал, с такими же металлическими струнами. Редкая не поет свои гортанные песни, причем человеческое горло силится уподобить свои тоны тому же инструменту, и дальше подражания ему не уходит. Редкая японка не умеет танцевать, и при этом танец ее медленный, рассчитанный, весь стремится к той цели, чтобы приладиться к смыслу той же песни, которой он служит дополнением и объяснением; отдельно взятый, — он не имеет никакого значения. На этих трех добродетелях зиждется, говорят, все здание образовательной премудрости: и в уменьи танцевать, петь и играть заключается вся суть воспитания японских женщин. Премудрость эту богатые японки приобретают дома, но бедные и женщины среднего состояния, т. е. 9/10 населения, получают ее там, где, по европейским понятиям, кроме зла, греха и нравственной порчи женщина ничего не заимствует.

Мы встречали каждый вечер на улицах Хакодате целые толпы японцев в масках и без масок, стремившихся по одному направлению в известный квартал, на гору. Мы ходили вслед за толпами этими и видели пять улиц, в каждой по двадцати домов, ярко освещенных и наполненных молоденькими девушками, набеженными, наряженными, с веерами в руках, сидевшими перед столиками, лицом к окнам. По приблизительному счету таких девушек на весь город каждогодно приходится около шестисот. Их же разбирают на время приезжие иностранцы, не исключая и русских, и сознаются в том, что роль жены-хозяйки они исполняют в высокой степени совершенства. Расставаясь в свое время, не терзаются, не ревут, расстаются с ледяным хладнокровием, словно старый башмак сбросила, как негодный.

Утром японские девушки учатся. По окончании полного курса учения ни один японец не затруднится взять за себя замуж любую из них и ту, которая пуще других ему понравится. И выйдя замуж и перекрасив, по обычаю, свои перловые, белые, девичьи зубы в несмываемый черный бабий цвет — всякая такая японка становится неприступно-целомудренна. Но, сделавшись женой, она не делается рабыней. Она помогает мужу, брату в торговле, она сидит за них в лавке (у японцев, как и у всех азиатов, страсть к торговле прочнее и сильнее всех других страстей человеческих): открытый, веселый, честный взгляд японской женщины, ее свободные, смелые и решительные движения доказывают необлжно, что и там, за бумажными ширмами, во внутренних покоях, она не преследуется и не заколачивается тем, чем заколотило свою женщину хотя бы, например, то же азиатское мусульманство. В Японии женщина ходит с открытым лицом, не прячет ни волос, ни косы, не прикрывает чадрами и халатами стройного стана своего. Она, как есть, во всей первозданной красоте своей ходит, не оглядываясь и не потупляясь. Кажется, даже ее и на улице никто обидеть не смеет, и это верно (по наблюдениям всех, долго живших в Японии), она пользуется некоторым почтением и, во всяком случае, днем ее оскорбить никто не решится.

Завернувши ребенка в широкий халат свой и ловко приспособив его на груди, японка, не боясь оскорблений, идет всюду смело: и в храм, где она частая и исключительная гостья (мужчины не богомольны, и к буддизму своему равнодушны до крайности), и в баню, каковые существуют в Японии на общем положении, как некогда и у нас, на Руси, т. е. в них и мужчины и женщины моются вместе.

Заручившись известными нравственными убеждениями и понятиями, японка изживает всю свою жизнь, не считая зазорным и безнравственным то, что европейцы и русские считают злом и преступлением. В этом

ее особенность и ее самобытность. Европейцы могут сказать, что Япония живет вверх ногами, делает все наоборот, не по-нашему (пишет слева направо и при этом снизу вверх, гребет веслами не на себя, а от себя, религиозный индифферентизм называет верой, воспитание женщин в публичных домах признает законным и правильным и пр., и пр.), но обвинить в варварстве с женщинами никто не вправе. Япония нам может не нравиться, порядки ее могут возбуждать негодование, отвращение, но народ живет себе в таких правилах не одну тысячу лет, живет, не шатаясь и не разваливаясь; живет в назидание и глубокое поучение тем, кто вместо халатов носит кринолины и юбки.

Кто знает, насколько исчезли в Японии общечеловеческие понятия, насколько далек стал народ ее от всех других, с которыми так крепко разъединился он, отрезанный широким и негостеприимным океаном, с которыми поставило препону его самоуверенное, самодовольное и деспотическое правительство.

Но вот уже там и сям, в Хакодате и Канагаве, в Симодэ и Юкагаме пустились европейцы в исследование и наблюдение над этим мудреным и даровитым народом. Вот уже кое-где слышались рассказы о стране (до сих пор мало противоречащие и всегда любопытные), вот уже скоро исполнится полтора десятка лет, как стоит там русская нога и высится над японским городом дом нашего консула с христианским православным храмом.

Посмотрим, к чему приведет сумма сведений и наблюдений, а до тех пор подождем произносить суд и осуждение и японским нравам, и японским понятиям, частицу которых мы решились передать в этой сжатой форме.

Заключая статью нашу сожалением о том, что так недолго привелось пробывать вам в этой стране, ради которой рассказ наш, — мы все-таки должны повторить

одно: что в Японии женщине лучше, и там она свободнее, чем во всякой другой азиатской стране. Для примера посмотрим на Китай, откуда, как известно, Япония получила свою цивилизацию.

II. КИТАЯНКИ

Если в святорусской земле — по пословице: «бабий быт за все бит» — и русская женщина находится в тяжелых бытовых и общественных условиях, то у соседей наших политическое положение женщин еще сумрачнее и безобразнее. Вопрос не о том, что в Европу порядки эти пришли из прямого ее отечества Азии, и что у нас в России — больше чем в каком-либо из других государств Европейского материка, — сохранились эти остатки кочевой жизни, — речь наша о порядках, существующих в Китае, где они стоят в самой странной и варварской форме. Нигде отец семейства не пользуется такой огромной властью, и если убийство детей по законам почитается одним из тяжелых преступлений, тем не менее оно совершается беспрестанно. Никто в это не мешается; полиции нет никакого дела. Число убиваемых детей женского пола превосходит всякое вероятие, потому что самое рождение девочки — по народным понятиям — почитается позором для семейства, и затем вся жизнь ее — тяжелым и бесполезным бременем.

Исходя из этого принципа, китаец держит дочь в самом униженном положении до тех пор, пока не вздумает отдать ее замуж тому, кому он сам захочет и когда захочет. И попадая в свежие руки, женщина и в новом положении своем испытывает те же оскорбления, подвергается тем же преследованиям. От излишних и смертельных побоев удерживается муж только в видах личной корысти, из боязни потерять в семье выгодного рабочего, но уже потом за все ее прегрешения он волен рассчитывать так, как повелит ему холодное серд-

це. Закон становится на его сторону и является самым усердным его защитником.

В южных провинциях Китая муж упрекает жену свою, если ее никакой другой мужчина не любит, — в северных всякий муж имеет право (и охотно им пользуется) отрубить и жене своей и ее соблазнителю головы, с головами этими явиться в главное судилище и покаяться. Блюстителя общественной и семейной нравственности судьи кладут на землю, дают ему в спину десять ударов камышовой доской и этим рассчитываются с ним за грех убийства. Затем, поставив его на ноги, показывают ему большой палец (бывалый понимает, что палец этот показывают ему в знак похвалы, как самому первому человеку), и в конце концов награждают по закону десятью ланами серебра за храбрость.

— Пречудный закон! — (говорит свидетель таких случаев) — Наказывают как виноватого, а награждают, как учинившего доброе дело.

Когда судьи убийце не доверяют, и нет свидетелей тому, что он убил жену не по злобе, то обе головы кладут в чан с водою и смотрят: если они обратятся одна к другой лицами, — у виновного десять бамбуков в спине и десять лан серебра за пазухой; если же мертвые головы встретятся затылками, — муж виноват, и сидит в тюрьме с тяжелой колодкой на шее: посинеет мертвенным цветом лицо, глаза нальются кровью, запекутся губы и лучше бы и во сне не видеть этих живых мертвецов, которых показывали нам и в Айгуне и в Маймачене. В таком случае, когда муж убьет кого-нибудь из двух, а не обоих вместе, он подвергается смертной казни.

«Буде же, который ветреник (говорит наш автор) пожелает чьей жены, то должен искать посредника, который бы склонил ее мужа, дабы он дал свободный доступ к своей жене, который, — без сомнения, — не возвратит оного, но уже должно на сей случай тому подлипале лишиться всего своего имения (коих примеров великое множество в Китае)».

Основываясь на показаниях этого нашего русского самовидца и на рассказах европейских путешественников, — мы приходим к следующим выводам:

Брак у китайцев имеет характер простой, коммерческой сделки, как и у японцев же, и, по этой причине, при всей страсти народа к церемониям и обрядности, обставляется так просто и немногосложно, как ни один из других семейных и общественных праздников. Обряд этот можно передать в двух словах. Невесту сыну, как мы сказали, выбирает сам отец. Жених посылает в условленный день украшенные цветами носилки, — невеста садится в них и отправляется в дом жениха в предшествии фонарей, украшенных резьбой и позолотой и в сопровождении носильщиков (с красными сундуками, заключающими приданое) и музыкантов (с бубнами и трубами). На дворе дома ее встречает жених с луком и стрелами. Две стрелы тотчас же пускает он в два угла двора с намерением убить злых духов, а третью в потолок средней избы и в третьего домашнего черта. Этим жених кончает весь обряд, завершаемый пиршеством, после которого он становится мужем, невеста — его рабыней на всю жизнь.

Она — купленная вещь; он — покупатель, истративший все свое достояние на свадебные церемонии и на подарки; отец невесты — продавец, получивший в свою собственность большую часть затраченного зятем капитала. Затем все трое остаются в тех обязательных между собою отношениях, по которым тесть обязан молчать, как купец, запродавший товар и не имеющий права почитать его своим; его зять — куплею получивший право на владение приобретенным — может поступать так, как бы со всяким другим товаром. Не пригодится ему товар этот, он, с разрешения начальства, может продать его тому, кто больше даст; продаст и тестю, если припадет тому охота взять дочь и вознаградить зятя за все издержки. Считая купленный товар для себя выгодным и притом только таким, который мог

бы, при более благоприятных условиях, быть лучшим, чем он оказался на самом деле, — покупатель употребляет все дозволенные законом и обычаями средства к его исправлению. А так как, по тем же законам и обычаям, — он дальше кулаков и бамбуков не ходит, и как все это падает на живые и чувствительные места, то вероятность боли предупреждается только единственным правом, оставшимся у продавца. Тесть с друзьями и родными может прийти к зятю и посоветовать ему не делать обид и притеснений. Если же зять убьет жену, тесть наказать его за то не имеет никакого права. Жена убьет мужа, — ее суд правительственный изрежет в мелкие куски. Над мужем же останется только единственный контроль и единый страх, — это его собственный отец, в свою очередь, полный властитель его деяний: за оскорбления невестки он может, если захочет бить своего сына, сколько его душе угодно.

Все это безобразия отношений вытекает из одного источника — из принципа повиновения старшим, доведенного у китайцев до той грани, дальше которой ни один народ на свете дойти не в состоянии. Уродливое же устройство семейных отношений прямо находится в зависимости от неограниченной власти, каковая представляется главе семьи и старшим лицам какой бы то ни было корпорации.

Отец непокорному сыну, с разрешения главного судилища, может отрубить голову, может задавить его тетивой. От детей не принимают на родителей ни обвинений, ни оправданий, не дают труда производить какое-либо следствие. Достаточно отцу прийти к судьям и объявить, что он не доволен сыном или дочерью, чтобы первым же вопросом получить от них вопрос о том, какое наказание он полагает для себя удовлетворительным. Сын, убивший отца, изрезывается в куски. Смерть родителей обязывает сына трехлетним трауром, и когда он опоздает надеть этот траур — его немилостиво бьют бамбуками. Точно так же поступают с

ним и тогда, когда он снимет траур раньше назначенного времени, или примет участие в каких-либо увеселениях. Чиновник на все эти года обязан отказаться от службы; купец — от поездки на места своей коммерческой деятельности. Брак, заключенный во время траура, считается недействительным.

Неуважение к старшим равносильно у китайцев безбожию и есть одно из величайших преступлений. Ударивший старшего родного подвергается смертной казни. Несправедливо обвинивший родных, выразивший желание начать с кем-либо из них тяжбу, даже оскорбивший их словом в одинаковой мере полагаются достойными того же наказания.

Таковы главные причины, содействующие тому обстоятельству, что китайская семья — главная язва и основной тормоз, замедляющий правильное шествие вперед народа, у которого ум необыкновенно быстрый и понятливый, физические свойства находятся в необыкновенно гармоническом сочетании, у которого сметливость идет рядом со способностью ко всякому ремеслу. К редкой способности извлекать пользу из своих знаний присоединяется ловкость и умение самыми простыми орудиями достигать громадных результатов. Но коренной государственный принцип умеет и здесь налагать свои цепи, и, ослабляя свою силу только по отношению к мужскому населению государства, — он вконец обездолил другую половину его — женскую.

Женщина не только в семье пролетария-кули (в южных провинциях) или сибарита-купца (в северном Китае), но и в семье самого сына Неба подвергается всем случайностям несчастий, какими награждают своих жен мужья из этого сладострастного и чувственного народа. Несмотря на то, что у жены богдыхана хранится государственная печать, и она в понятиях народа почитается лучшею женщиной во всей Поднебесной Империи — судьба ее подчинена деспотизму мужа на-

столько же, насколько силен этот деспотизм и в полу-сгнивших маньчжурских хижинах на берегу Амура.

Возьмем пример конца восемнадцатого столетия (что все равно).

В Китае царствовал богдыхан Цян-Лунь, человек безнравственный и корыстолюбивый, раз позволивший себе ограбить гробницу своего *евнуха*⁵², сумевшего скопить огромные сокровища. В могиле этой богдыхан нашел, как и ожидал, огромного идола (бурхана), отлитого из чистого золота, и совершив такой грех святотатства и уличенный в том мандаринами, он самопривольно осудил себя на 4 месяца в ссылку. На месте ссылки он встретил монахиню и влюбился в нее⁵³. Возбужденная ревность в жене его заставила эту просить богдыхана об том, чтобы он возвратил ее соперницу в монастырь. Цян-Лунь не только не послушался советов, но приказал жене своей самой удалиться и не считаться императрицей. Оскорбленная и сосланная в заключение женщина извела себя до того, что на возвратном пути из ссылки, по дороге в Пекин, умерла с тоски и горя. Но у Цян-Луня была вторая жена (и тоже законная⁵⁴). В сокровищах богдыхана находилась между прочим жемчужина, величиною с куриное яйцо, превращенная в табакерку и подаренная Цян-Луню одним из губернаторов, выкупившим ее за сто лан серебра от ростовщика. Табакерка эта пропала. Цян-Лунь заподозрил жену, пытал ее прислужниц, и трех из них замучил до смерти. Оскорбленная жена высказала свое негодование. Богдыхан начал ее сначала бранить, потом надавал несколько пощечин и, наконец, свалив ее на пол, стал таскать за волосы и бить ногами. Бил он ее до тех пор, пока сам не пришел в изнеможение. Тогда битая отправилась жаловаться к богдыхановой матери: говорила, что она не раба, и, как императрица, обид таких выносить не может. Свекровь обвинила ее самое в нескромности и отсылала к мужу просить прощения в

том, что позволила себе возбудить в нем гнев. Обиженная не согласилась и была обругана во второй раз до того, что с отчаяния отрезала себе тут же, перед свекровью, половину косы и тем показала, что она не желает быть больше женою изверга. Свекровь выгнала ее из своих комнат с бесчестьем. Вскоре пришел к матери и сам Цян-Луень. Мать выговаривала ему за его непристойные поступки и приказала идти тотчас помириться с женой. Богдыхан дал ей в том слово, но, придя к жене, снова начал ее бить и в заключение приказал выгнать ее со двора, предоставив ей полную волю искать себе приюта, где хочет. Узнав об этом скандале, мать Цян-Луеня, зная, что такого примера не было в Китае с самого его существования, требовала от сына, чтобы он дал жене приют и пропитание. Цян-Луень отвел внутри дворца особенные комнаты, и, исполнив таким образом священную обязанность по отношению к матери, — по отношению к жене остался все тем же злодеем. Вконец уничтоженная женщина вскоре умерла от невыносимых побоев и глубоких оскорблений. У простых смертных единственный выход из тяжкого семейного положения — самоубийство. Китайки часто прибегают к этому средству охотно, и случаи самоубийств в Китае и в особенности в Пекине довольно обыкновенны. Огорченные жены обыкновенно давятся; нередко находят их трупы в грязных и глубоких городских канавах.

Таков многопечальный жизненный путь, по которому идет китайка, одетая в отличный шелк, украшенная отлично сделанными искусственными цветами, на своих маленьких до уродливости ножках⁵⁵. Если идти за ней следом и следить за ней внимательно — мы можем прийти к таким подробностям, которые будут еще сумрачнее, еще бесприветнее. Мы не будем останавливаться на них, боясь утомить внимание читателей.

Скажем одно, что, отобрав у женщины всякое право и общественное дело, мужчины оставили ей много досуга, которым живое и разумное существо и поспешило

воспользоваться, к выгоде не только своей личной, но — как увидим ниже — и всего человечества. Так, напр. (между прочим), при всех неблагоприятных условиях, китайская женщина все-таки сумела во многих отношениях, своим досугом и знанием оказать не только общественную, но и государственную пользу. Не забудем того, что главная гордость Китая или то, что доставило ему всемирную известность и славу, то, наконец, что разнеслось из Китая по всему свету, — изобретено было женщиною, поддерживается и направляется до сих пор исключительно женщиною. Это искусство разведения шелковичных червей и приготовление из доставляемого ими материала — шелковых тканей.

Лучший шелк, как известно, китайский; лучшие шелковые материи — китайские. Ни один народ не достиг еще до той степени совершенства в выделке материй, на какой несколько столетий стоит народ этот — изобретатель искусства шелководства.

На этом же предмете — в заключение статьи нашей — мы хотим остановить внимание *читателей*⁵⁶.

Искусство шелководства изобретено в Китае — говорят — за 2600 лет с лишком до Р. Х. Изобрела его царица Цилин-Ши. Она кормила шелковых червей, выделяла шелк и собственными руками ткала из него материи. Пред началом этой работы царица постилась, по окончании ее вытканную материю приносила в жертву богам, сожигая ее. Так говорит предание, и вот что называют современные факты.

Как земледелие полагается главным основанием для благосостояния, и сам богдыхан, в пример и поучение подданным, проводит плугом ежегодно первую борозду, точно так и шелководство становится на ту же самую степень великого государственного значения. До сих пор все жены богдыханов, имея близ дворца великолепный дом, назначенный для шелковой фабрики, сами в установленное время в году с дамами и девицами своими занимаются искусством шелководства, — в

том расчете, чтобы примером своим поддерживать в народе сознание великой важности этого полезного занятия.

Вот что говорит об этих занятиях китайский подлинник:

«Спустя несколько дней после зимнего солнечного поворота принимаются за шелковые яички или семена, рожденные бабочками и прильнувшие, как мак, к толстой белой бумаге. Яички эти кропят снежною холодною водой в течение двух дней, по два раза. Потом бумагу с семенами свертывают и держат 20 дней в холодном и чистом месте, где не позволяют курить табак (что у китайцев в великом употреблении). После двадцати дней кладут в цинковую или фаянсовую корчагу, закупоривают и — до времени вступления солнца в знак рыбы — через каждые девять дней выносят по одному разу в день на солнце для обогривания; а по вступлении солнца в знак рыбы, бумагу с семенами, вынувши из корчаги, кропят один раз речной водой, — спустя 40 дней, выносят эту корчагу в теплый покой и кладут на полку.

Когда на шелковичных деревьях появляются личинки, бумагу с семенами вынимают из корчаги и греют на солнце, переворачивая на обе стороны и наблюдая, чтоб не горячо нагревалась. От нагревания семена вид свой переменяют, масса их оказывается пепельного цвета; бумагу опять свертывают и снова кладут в корчагу, где и держат ее полсутки. Вынувши оттуда, расстилают на лоточках, греют в полуденное время на солнце (полчаса времени), — потом выносят в покой, в котором через $\frac{1}{4}$ часа семена превращаются в черненьких червячков. Червячкам этим в то же самое время спешат дать есть шелковичные листья (тутового дерева), мелко — изрубленные и просеянные сквозь чистое решето.

Червячки, после еды, вырастают в три дня. На седьмой становятся желтыми и засыпают на целые сутки, поднявши вверх головы.

После сна, желтый цвет изменяется в белый, из белого переходит в черный, из черного опять в белый, а из белого снова в желтый — и на четырнадцатый день от рождения они снова засыпают.

После второго сна, червячки через семь дней еще раз переменяют цвета так же, как и после первого сна, и засыпают в третий раз: в 21-й день от рождения.

После третьего сна черви начинают вить гнезда непрерывно в течение трех суток, выпуская в то же время тягучую нить и обматываясь в нее кругом себя в продолговатый клубочек наподобие яйца (с пустотой внутри). В клубочке эти черви заматываются наглухо. Гнезда, нужные для семечек, вносят в особый чистый покой, на прохладный ветерок. Через 5—6 суток из гнезд выходят бабочки мужского и женского родов. Вышедшие тотчас совокупляются, и от самок рождаются новые семечки. Бабочки ничего не едят, и от места своего прочь не летят, а только порхают, поднимаясь не высоко и живут не дольше трех *суток*⁵⁷. Гнезда, назначенные для шелку, кладут в цинковатый горшок, и на них (чтобы не родились снова бабочки), сыпят немного соли, обертывая при этом, в большой и толстый древесный лист. Горло горшка замазывают глиной, и таким образом морят тут червей семь суток. Вынувши, варят в *котлах*⁵⁸, и затем уже мотают шелк.

Покой, в котором кормят червей, должен быть светел: окна в нем располагаются со всех четырех сторон. Стены, окна и потолок оклеиваются чистою белою бумагою. Для обогривания червей, по углам прилаживаются четыре печи. При этом наблюдают, чтобы тепло соразмерялось со временем года и состоянием погоды, и имея в виду, что сутки для червей равносильны году: утро — весна, вечер — осень, полдень — лето, ночь — зима. Наблюдают также, чтобы, когда червяки появятся — тепла было больше, а когда уснут — меньше. После последнего сна для них нужен холод, а когда начнут они вить гнезда — большое тепло. Черви любят

чистоту, тишину, сухость, а потому стараются наблюдать, чтобы не было дыму, пыли, сырости, дурного запаха, стуку и крику. Когда черви черны, — они голодны и много едят в это время; белые — меньше, а желтые — уже сыты. С этим соразмеряется выдача им листьев, которые должны быть ни слишком сухи, ни слишком мокры, ни слишком холодны, или горячи, и не имели бы дурного запаха. Кормят червей на лоточках, плетеных из тонких прутьев, на которые подстилается тонкое и мягкое сено, а сверху последнего кладется тонкий холст, чтобы червям было мягко. Лоточки устанавливают на стаканах в три ряда; одни сверху — пустые: для сохранения от пыли; другие в середине — с червями, где их и кормят; третьи, нижние — также пустые: для сохранения от влажных и сырых паров.

Наблюдают, чтобы на лоточках червям не было тесно, и для того делят их на мелкие лоточки, полегоньку их состукивая и снимая руками, или чем-либо другим. Когда созревшие черви начнут искать для гнезд места, в то время состукивают их на большие плетеные клетки. Гнезда бывают белые и желтые. Белые почитаются лучшими. Смотрят, чтобы на гнезда не попадала мокрота, пыль, копоть, или другая какая-либо нечистота. Те гнезда хороши, которые ближе к солнцу. Гнезда, отобранные для бабочек, складывают одно к другому, не стесняя их близкими сопоставлениями. Перед выходом бабочек гнезда шевелят. Бабочек сажают попарно, на толстую белую бумагу, отобравши неуродов, не имеющих страшного вида.

На этой бумаге самец с самкою совокупаются. Самки выбрасывают семечки, которые так крепко прилипают к бумаге, что не в состоянии от нее отвалиться. Бабочки потом умирают. Умерших и уродов, бабочек, зарывают в землю, по той причине, что их почитают ядовитыми, вредными для скота и птицы.

Бумагу с семенами до времени зимнего солнечного поворота держат в чистом, сухом и тепловатом месте,

где нет, как сказано, — зною, угару, дыму, пыли и сырости.

По наступлении времени зимнего солнечного поворота, опять принимаются за семена и начинают с ними ту же историю, которую мы рассказали, и подробностей которой мы уже не услышим ни от одного из всех других азиатских народов. Только одни китайцы способны на такую терпеливую чистоту отделки, поражающую всякого, кто подходит к этому народу с желанием изучения и поучения».

От того же, может быть, ни один народ и не дошел до такой мастерской выделки шелка и шелковых изделий.

Отдаленность Китая, затруднение в сообщениях, соперничество удешевленных в Европе шелковых французских материй и, наконец, то важное обстоятельство, что китаец, по своей натуре, живет только для настоящего дня, и не любит и не понимает запаса и излишка, — служат причинами тому, что китайские шелковые материи — в Европе редкость. Тем не менее у нас, в России, известны два сорта: канфа и фанза; а в Сибири, сверх того еще: канча, янча, чесуча, или как называют на Кяхте, чечунча, лянза и пр.⁵⁹. Не так давно материи эти вывозились в Кяхту для сибирячек. Привозят их и теперь, но не иначе, как по заказу; в китайских лавках — материи эти замечательная редкость и притом низшего достоинства. Чтобы получить высший сорт, надо обратиться к купцу и ждать материи по крайней мере целый год. Придет она с чайным караваном на верблюдах и явится в такой высокой цене, что, по сравнению с ней, французский *де-суа* значительно дешевле, несмотря на то что последний на пути своем испытывает до Иркутска и Кяхты несравненно больше мытарств. Китайская материя в России все-таки диковинка, а по высокой цене своей даже большая редкость.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Голбцом* называют в избе небольшой чулан, с земляным полом, строящийся обыкновенно около печи, под полатями, сейчас налево при входе. Отсюда ведет ход и в подполицу. В голбце ставится домашняя провизия, принесенная из погреба и назначенная на завтрашнее потребление, и кладутся такие вещи, которые должны быть всегда под рукой: топор, лапти, косарь, светец, тапки и проч., и проч.

² Нелишне припомнить то, что на печь ведет с полу лесенка, называемая общим именем *приступков*, между этими-то приступками и находятся *печурки*, небольшие, в виде окошек, углубления, куда кладутся варежки для просушки, онучки и проч. Здесь же обыкновенно спят и кошки. Верхняя доска приступков, за которую нужно держаться руками, чтобы забраться на печь, называется *причеленка*.

³ *Коником* называется род ящика, устраиваемого под лавкой, в левом заднем углу. Ящик этот закрывается задвижкой, свободно двигающейся в обе стороны. В конике обыкновенно запирают, кур зимою; летом сидят они на дворе на *наседале*, устраиваемом из жердей где-нибудь в углу. В коник кладут также лапти, топоры, но только в другое отделение, отгороженное от куриного доскою.

⁴ Разумеется, ассигнациями. За починку платят по 50 коп., за вставку двух новых рукавов 10 коп., за шаровары 10 коп., за шубу маленькому 10 коп. С кучеров, за бахвальство, берут за шаровары рубль.

⁵ *Ставец*, или посудный шкаф, небольшой, с двумя полочками существует только у зажиточных, которые держат и водку постоянно, и самовар и другую необходимую для чая принадлежность: чай, ник и чашки. Тут же лежат и ключи от амбаров и погреба. У бедных крестьян ставец этот заменяется простым *залавком*, устраиваемым за переборкою, около печи. Тогда здесь уже ставится какой-нибудь кисель, колобушки, *сулой* (ячменная жидкость для приправы к овсяному киселю) и проч.

⁶ Женское верхнее платье в виде полуармяка, без рукавов, которое шьется самими бабами, потому что работа чрезвычайно простая.

⁷ Местное выражение, означающее: кувыркoм; мурызнуть — ударить больно.

⁸ Имя существ. от глагола завидовать, — местное выражение.

⁹ Собрание девушек осенью с 1 ноября до 23 декабря, для приготовления пряжи.

¹⁰ *Андрецом* в некоторых местах Костромской губернии называется такая телега, которая устраивается, во-первых, отлого назад, так что боковые палки, правая и левая лежат на земле, а во-вторых, — она бывает двухколесная, часто, впрочем, и четырехколесная, но тогда она совершенно похожа на телегу. Все различие в том, что наперед и назад андреца ставится род лесенок, для удобного и большого помещения снопов; а потому и бока андреца гораздо выше тележных.

¹¹ *Запажинами* называются в овине доски или лавочки около стен, устраиваемые для предосторожности от искр, могущих залететь в снопы. На запажинах обыкновенно остается много зрен, которые и очищаются метелкой в лукошки.

¹² *Садило* — окно овина, в которое принимаются снопы.

¹³ *Колосницами* называют бревна, неплотно положенные вместе, так что остаются свободные промежутки для протока нижнего жару. На них-то и кладут снопы для просушки. Колосницы эти разделяют овин на две части: для нижней или ямы они служат как бы потолком, а для верхней, где лежат снопы, — полом.

¹⁴ *Молотило* — всем известное орудие для молотбы хлеба, состоит из длинной палки или ручки, и собственно колотила или тятала, небольшой в аршин длиною палки, которая прикрепляется к ручке ремнем и гвоздями.

¹⁵ *Ток*, или *ладонь* — гладкое место, на котором разбрасывают уже высушенные и освобожденные от завязи снопы. Ток этот готовится след. образом: назначают прямоугольный клочок земли, который проходят *косулей* или *сохой*; дерн, оставшийся после этой операции, уносят. Оставшиеся корни вырезают старой косой; потом приготовленное таким образом место, будущую *ладонь*, *осаживают*, т. е. убивают огромной колотушкой, или, чаще всего, проезжают, на лошади, огромным цилиндром, каменным и окованным железным листом. Затем несколько раз поливают и дело кончается — остается обровнять топором края ладони, называемые *берегами*.

¹⁶ *Паловня* — амбар около овина, устраиваемый для вымолоченной соломы.

¹⁷ *Вымолоченная* мякина называется *перхлиной*. Она чаще всего складывается в стога, которые служат приютом для сов и пугачей, а также и для мышей или *полевков*.

¹⁸ *Капустницею* называется, как всякому известию, время рубки капусты, бывающее обыкновенно не позже 1-го октября, — веселое время девичьих потех и лакомств кочнями.

¹⁹ Местное название *бабок*, у которых есть и другое имя — *козонки*.

²⁰ Так называются три бабки вместе; из трех гнезд составляется *кон*; цена гнезду $\frac{1}{2}$ коп. ассигн.

²¹ *Или в ход*; местное обыкновение уподоблять удачу ставке бабок в кон.

²² *Изгородью* называют ту часть двора, которую отделяют деревянной решеткой, а иногда и перегородкой из досок. Сюда *застают*, т. е. запирают, овец, коров, телят. Свинья иной раз вылезает, потому что двери не сплошные, а решетчатые.

²³ На языке швецов *рубец* означает *шов*, равно как *прошивы* значит заметки мелом, *оторочить* — обшить, *подкодычать* — подшить что-нибудь жесткое и плотное, и проч.

²⁴ *Ямоу*, как сказано, называется углубление, сделанное в нижней части овина и достаточно широкое для того, чтобы разложить *теплинку* и просушить снопы.

²⁵ Простонародное название *ухватки*, но такой, которая исключительно задумана с целью *побахвалить* — покрасоваться.

²⁶ Или лучше *уздой*. Все их различие состоит в том, что узда — ременная, а обротъ — конопляная или веревочная; по большей части она служит *недоуздом*, т. е. уздой без *удил*.

²⁷ *Бабки* — льняные снопики, низенькие и тоненькие.

²⁸ Этот деревянный меч-кладенец, длинный и тяжелый, вкладывается в довольно широкий и глубокий желоб. Желоб укрепляется на ножках, а самая мялка одним концом утверждена бывает на деревянной кобылке.

²⁹ *Трепало* — род деревянного меча или тесака, с рукояткой, около которой наделаны зубчики; на другом конце дощечка эта островатая.

³⁰ Какой-нибудь большой ушат или глубокое и широкое корыто, наливаемое теплой водой при совершении операции.

³¹ *Намычки* — лен, расчесанный предварительно на гребне, когда уже он годен для пряжи на пряслице или на том же гребне.

³² *Вороб* состоит из двух брусочков, сложенных в замок крест-накрест; в обоих верхних концах — дырочки, куда вбиты

деревянные гвозди. Оба бруска вертятся на железной палочке, укрепленной в столбик, называемый бабой. С вороба пряжа перематывается на деревянные цилиндрики-турики, которые вертятся на своей оси; с турика снуют основу или основной навой, натягиваемый на станок и продернутый сквозь бердо и ниченки (бердо — длинный гребень в роде рамы с поперечными, тоненькими пластинками: а ниченки — нитяные петли, при ударе ногой поднимающиеся и опускающиеся. Между ними продевают нити основы). С вороба свивают пряжу на тростниковые или берестяные трубочки, шпульки-цевки, с них пряжа идет уже на уток; они для этого вставляются в середину челнока. Уточные нити — поперечные нити основ; их — то прибавают бердом одну к другой, чтобы составить полотно, холст и проч.

³³ *Цевки* — береста, свитая в плотную трубочку; они надеваются на один конец железного прута скальни и обматываются нитками, назначенными для утока. *Скальня* — два столбика, утвержденных в доску, в верхних концах которых сделаны дырочки и сквозь них продет валик. Один конец валика имеет тяжесть — деревянный кружок, а другой железную сигацу для цевки. Со скальни на цевки навивается уточная пряжа; валик скальни вертят ладонью.

³⁴ *Бульни* ведутся только в тех губерниях России, которые смежны или близки к портам: Рижскому, Петербургскому, Одесскому и проч.; часто попадают они и около тех мест, где сильно развито фабричное производство. Например, богатый фабриками Шуйский уезд (Влад. губ.) обратил к этому роду промышленности всех мещан и ближних крестьян города Нерехты (Костромской губернии). Издавна уже они прозваны от своих земляков, в насмешку за этот род промышленности, *бегунами* и до сих еще пор бегают из одного селения в другое со своим безменом для покупки пряжи. Бульня в некоторых других местах России называется *закупень*.

³⁵ *Щеколда* — тот вал на ткацком станке, на котором наматывается вновь вытканное полотно или холст; она вертится на оси.

³⁶ *Кострика* — кора, верхние наружные покровы льняного стебля.

³⁷ *Волоть* — внутренняя выстилка льняного стебля, самая сердцевина, из которой собственно и выпрядаются нити.

³⁸ *Почиток* — ткань, основа которой, т.е. нитки основные, выпряжены из льняных вычесей, а не из изгребья.

³⁹ *Портнина* — где и основа и уток посконные.

⁴⁰ *Новина* — холст в девять вершков ширины, но если бердо плотнее и в нем более 200 зубцов, то это не *новина*, а уже холст.

⁴¹ *Пестрядь* — грубая ткань, в которой основа красная, синяя, а уток белый или наоборот.

⁴² Значение насмешки угморд объясняется тем, что вотяки сами себя называют Ут-мурд.

⁴³ Помилуй скот.

⁴⁴ Вот по-вотяцки дни недели: воскресенье — *дючарнал*; понедельник — *дючарнябер*; вторник — *кысненал*; среда — *вырненал*; четверг — *покчернал*; пятница — *арнепал*: суббота — *шумот*. Между прочим, вотяцкий городок Уржум называют Вирсум; имена других городов не коверкают.

⁴⁵ До сих пор некоторые вотяки, следуя примеру соседних татар, чтут пятницу, т. е. оставляют в этот день работы и пьют кумышку. Во всяком случае день этот почитается несчастным.

⁴⁶ Прежде, когда вотяки еще не были крещены в христианскую веру, новорожденному давалось имя того человека, даже той домашней скотины, которая прежде других входила в избу, где лежал ребенок.

⁴⁷ Так обыкновенно называют сестру или подругу невесты, которая сидит рядом с ней и торгуется о косе сговорены. Иногда заменяется она братом, который в таком случае редко носит какое-либо другое название, кроме данного ему правом рождения.

⁴⁸ Деревня — общее название всякого крестьянского жилья без церкви — видоизменяет, как известно свои названия: называется *починком*, если перестроена на старом месте, по новому плану, после пожара; *погостом* — если имеет церковь или часовню, на задах огороженное место для усопших (далеко от сел); главное население составляют священно- и церковнослужители, а при них кое-какие избы сельчан; *выселком*, если деревня выстроена недавно, поблизости другой деревни, выехавшими обитателями последней; *городищем*, когда служит остатком и как бы памятником стоявшего когда-то на этом месте села, монастыря, даже города; *займищем* и *сельдбищем*, когда было здесь в старину сходбище (поляна или площадь) для торгов, место, впоследствии застроенное жилыми избами; *ямом*, где жили в старину те обыватели, в повинностях которых состояла каменная гоньба, — и проч., и проч.

⁴⁹ В последнее время значительными массами на петербургские рынки стали доставлять грибы евреи из мокрых лесов Северо-западного края, но эти грибы дурного качества и очень дурного приготовления — слабые соперники грибов севера России, т. е. костромских и рязанских.

⁵⁰ В наших местах специальных пастухов не существует вовсе: скотина пасется на Божьей воле и Господнем просторе сама

по себе. Лесов еще так изобильно — много, что сделать загороди решительно ничего не стоит, а потому загороди кругом пахоты и огородов тянутся на целые десятки верст и ежегодно ремонтируются. К тому же, в угодьях такой простор, что вовсе нетрудно отводить под выгоны места подалее от полей и лугов, а выгоня скотину на пар, все-таки помещают ее в огороженных пространствах. Если случается такой грех, что блудливая скотина проберется в ржаное или яровое поле, тогда оповещают хозяев, и дешевым способом, палками и на лошадях, при помощи мальчишек, выгоняют скотину, а на пробитое ею место тотчас же кладут заплату. Самых непокорных блудливых животных сами хозяева знают, и сами же спешат употребить против их злого нрава домашние первобытные средства, на тот случай, чтобы злой человек или заведомый враг не «застал» скотины, т. е. не запер бы ее в свой хлев и не потребовал бы за это денежного выкупа, или даже не отрубил бы хвоста. Во избежание этого лошадей обыкновенно треножат, т. е. связывают путами две передние или обе задние ноги; (на шею) свиней, навязывают вилашки — треугольник, чтобы они не могли пролезать в промежутки между изгородью; на коровьи рога, которыми скотина ухитряется иногда поднимать задвижки в воротах, привязывают лукошки, и т. под. Последующий случай, как исключение, как явление поразительное и редкостное, осталось в воспоминаниях, почерпнутых во времена уже отжившего свой век крепостного права. Сдача в пастухи, на позорное до смерти в тех местах занятие, составляло тогда одно из часто практиковавшихся тяжких помещичьих наказаний. Собственно пастухи в Костромской губернии появляются лишь там, где истреблены леса, сменившиеся обработанными землями, к тому же сильно перепутанными чересполосным и перекрестным владением. Заиграй пастух в Парфентьеве, весь посад сбежался бы — слушать, дразнить и хохотать.

⁵¹ Круглая японская монета, называемая *каши*, которых 1700 штук в ицэбу, а ицэбу равняется стоимости наших русских 43 коп. сер. Каши, как баранки, носятся японцами на веревках: это употребительнейшая монета. Ицэбу в народных руках нечастая гостья, а золотой — овальный кобан — замечательная редкость.

⁵² Евнухи в Китае полагаются только у родственников богдыхана (ванах, чунахи и пр); при дочерях богдыхана также имеются таковые.

⁵³ Последователи Лао-цзы женятся и живут с женами в монастырях.

⁵⁴ Китайский закон не дозволяет многоженства, но терпит гаремы. Дети наложниц считаются законными детьми, но не собственных своих матерей, а той, которая признается законною.

⁵⁵ Маленькие ножки — принадлежность только богатых девушек, имеющих средства восполнять носильщиками недостаток искусственного уродования природы. Колодки для девичьих ног употребляют только у именитых китайцев, в особенности в Пекине.

⁵⁶ Мы будем держаться того китайского подлинника, перевод которого случайно достался нам во время пребывания нашего в Маймачене.

⁵⁷ Семена их похожи на мак — желтоваты. Из семян от каждой пары бабочек может народиться червей на один золотник весом, а из золотника червей может выйти слишком два фунта шелку.

⁵⁸ Котлы большие. Из одного котла выходит шелку около полутора пуда; а шелк мотают 5 женщин.

⁵⁹ Распределяем эти материи по относительному их достоинству:

Канфа — лучший атлас от 60—80 р. сер. по цене на Кяхте; выходит 1½ платья.

Канча — атласная материя, для покрывши шубок и салопов; легче канфы.

Неизвестного имени китайские материи, слывающие под именем крепа — легкая, матовая, узорчатая, употребляемая в Сибири на халаты и дамские летние платья.

Фанза — род плотного фуляра: легкая и жидкая, употребляемая для сорочек и на подкладку.

Янча — низкий сорт канфы.

Чемуча — с бумажной ниткой шелковая материя; идет в Сибири (где ее называют чунча) на халаты и подкладку; кусок 12 рублей.

Лянза — из сырца: легонькая, дрянная; ею обтягивают ящики с цветочными чаями; буряты покупают ее на оторочку своих лабашаков.

СОДЕРЖАНИЕ:

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ

ИЗВОЗЧИКИ.....	7
ШВЕЦЫ.....	33
СЕРГАЧ.....	65
БУЛЫНЯ.....	96
МАЛЯР.....	120
СОТСКИЙ.....	152
КОЛДУН.....	171
ВОТЯКИ.....	196
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА.....	234
ПОСЛЕ ЯРМАРКИ.....	267
ПОВИТУХА-ЗНАХАРКА.....	277
КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ.....	311
ДРУЖКА.....	321
СЫСОЕВ.....	359
ПИТЕРЩИК.....	407
ГРИБОВНИК.....	533
ПАСТУХ.....	554
ДОБАВЛЕНИЕ. ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК (на окраинах Сибири).....	576
ПРИМЕЧАНИЯ.....	600

Сергей Васильевич Максимов

Собрание сочинений в семи томах
ТОМ ШЕСТОЙ

Редактор *А. Полбенникова*
Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректор *Ю. Баклакова*
Компьютерная верстка *С. Шулаев*

Подписано в печать 10.02.10 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага офсетная.
Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 29,81.
Заказ № 0925750.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Литературное
приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0034-8



9 785422 400348

www.soyuzkniga.ru